

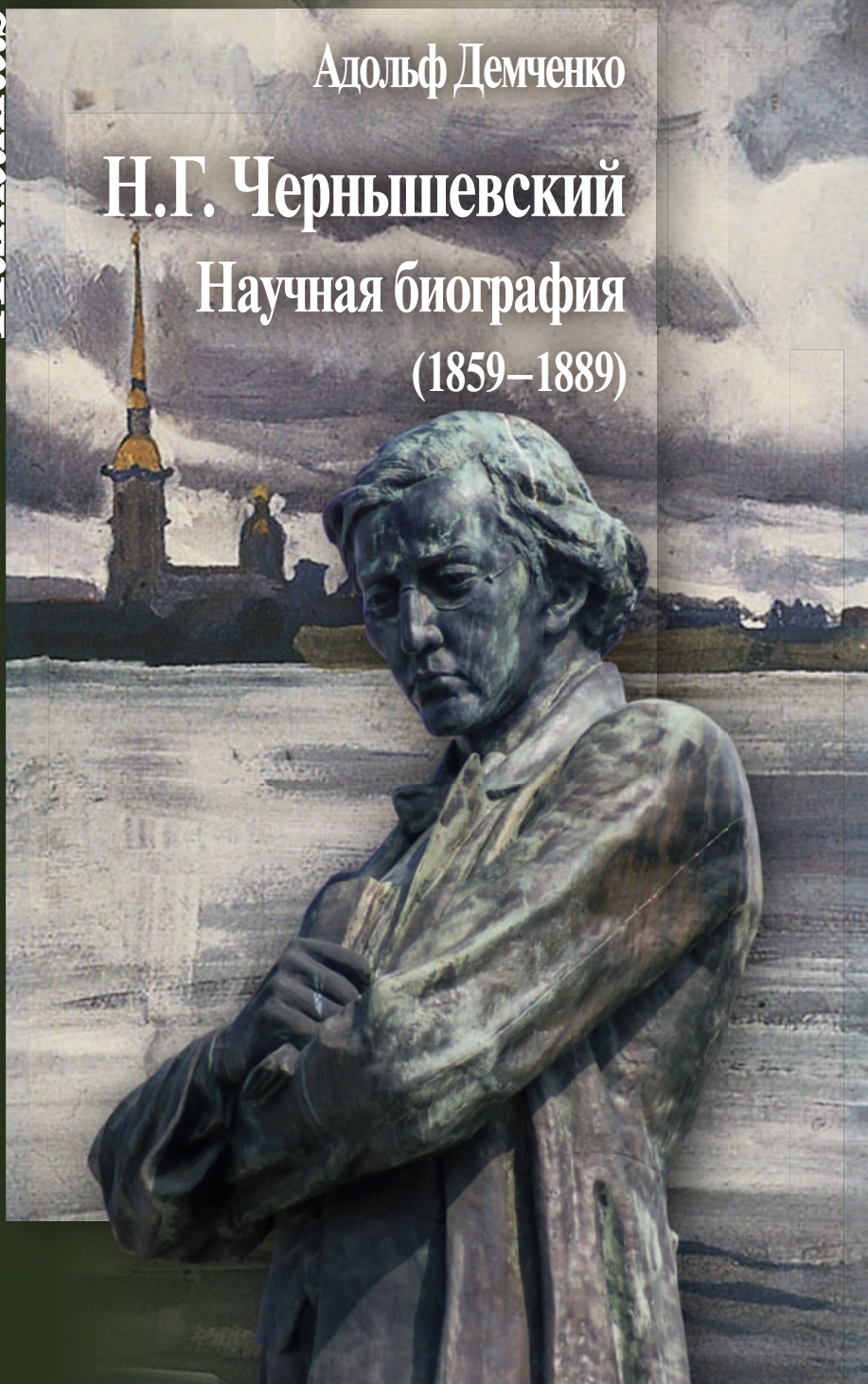
Humanitas

Адольф Демченко

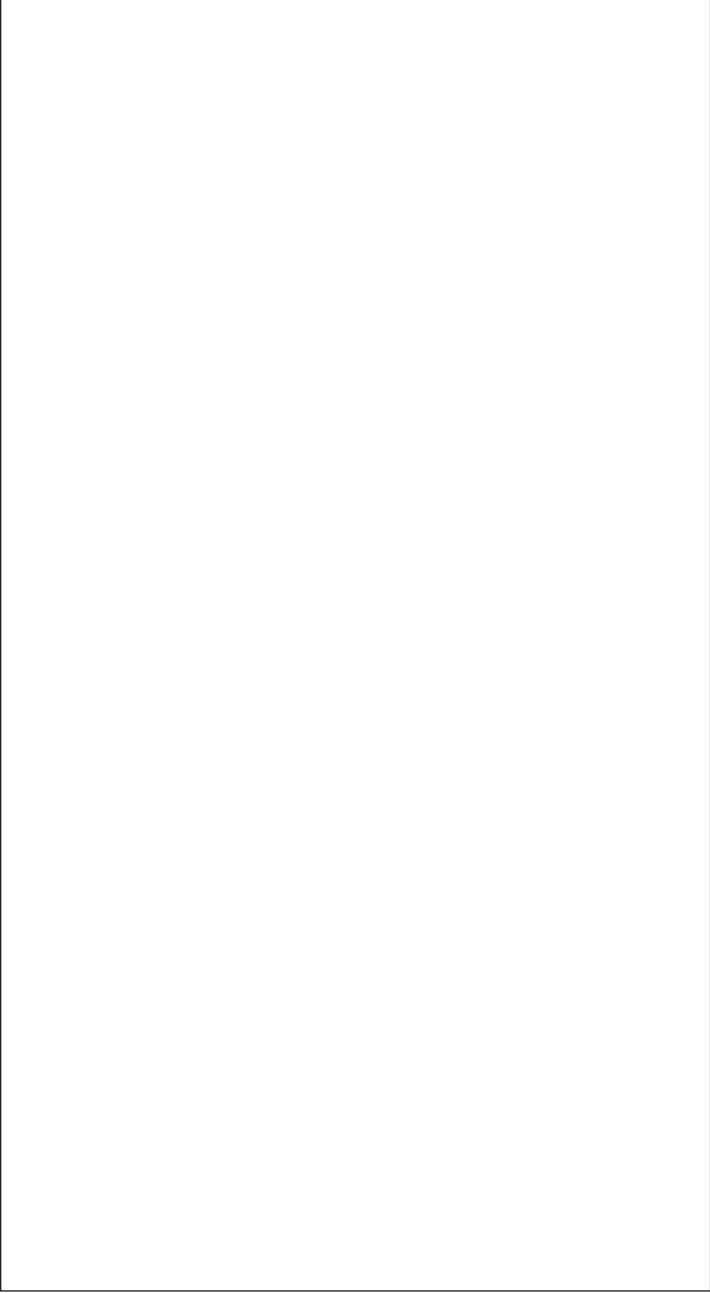
Н.Г. Чернышевский

Научная биография

(1859–1889)



Humanitas



Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Института научной информации по общественным наукам,
Института философии
Российской академии наук

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Адольф Демченко

Н.Г. Чернышевский

Научная биография
(1859–1889)



РОССПЭН
Москва
2019

УДК 82–94
ББК Ш5(2=Р)52-4Чернышевский Н.Г.2,0
Д31

Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов,
Г.И. Зверева, А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков,
М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Руководитель проекта В.К. Кантор

Редактор М.П. Крыжановская

Серийное оформление П.П. Ефремова

Демченко А.А.

Д31

Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1889) / Адольф Демченко. – М. : Политическая энциклопедия, 2019. – 687 с. – (Humanitas).
ISBN 978-5-8243-2287-3

Книга завершает научно-биографическое исследование, посвященное Николаю Гавриловичу Чернышевскому. В ней рассматриваются последние годы петербургского периода его жизни. Существенно дополнены, прояснены и уточнены на основе тщательно изученного большого архивного материала сведения о его поездке к Герцену в Лондон, отношения к Манифесту об освобождении крестьян, студенческим волнениям, цензурным действиям властей. Исследуются подробности ареста, заключения в Петропавловскую крепость и хода следственного дела. Представлена литературная работа двухлетнего тюремного периода, история создания и опубликования романа «Что делать?». Выяснены обстоятельства его жизни в период семилетней забайкальской каторги, почти двенадцатилетнего заточения в вилюйском остроге Якутской области и шестилетней ссылки в Астрахани и Саратове. Привлечен обширный (зачастую новый) документальный материал, характеризующий условия жандармско-полицейского надзора и проясняющий обстоятельства его творческой деятельности в области истории, философии, литературы. Подробно говорится о семейных отношениях писателя.

УДК 82–94
ББК Ш5(2=Р)52-4Чернышевский Н.Г.2,0

В оформлении книги использованы фрагмент картины З.Е. Серебряковой «Вид на Петропавловскую крепость» (1921), изображение памятника Чернышевскому работы Александра Кибальникова (1953).

ISBN 978-5-8243-2287-3

© Левит С.Я., автор проекта «Humanitas»,
составитель серии, 2019
© Демченко А.А., 2019
© Политическая энциклопедия, 2019

Часть I

Н.Г. Чернышевский

Научная биография
(1859–1864)

Репутация его растет не по дням,
а по часам — ход ее напоминает
Белинск<ого>, только в бóльших
размерах.

Н.А. Некрасов. Из письма 1861 г.

Знаменитый русский публицист, ру-
ководитель «Современника», самый
крупный литературный талант нынеш-
ней России, Н. Чернышевский.

А.И. Герцен.

Из письма в газету «Le Temps» 1864 г.

Ссылающие Чернышевского вымирают,
бросающие цветы — нарождаются.

Н.А. Серно-Соловьевич. Из письма 1864 г.

Введение

Петербургский период жизни Чернышевского с 1859 г.¹ отмечен напряженным творческим трудом, протекавшим в условиях подготовки и объявления важнейшей для России крестьянской реформы. Ученый и публицист, он всю силу своего научного дарования и литературного таланта направил на осмысление и разъяснение исторического этапа, в который вступала его родина, его народ и смысл которого был неясен большинству его современников. Основу мировоззрения Чернышевского составляла идея неизбежности исторического прогресса, совершающегося в силу заложенных в природе человека стремлений к улучшению своего быта. Но подобный исторический оптимизм, предупреждал он, обязан избегать односторонности, в которую впал, например, французский историк Гизо, один из самых авторитетных ученых в XIX столетии, полагавший прогрессивным каждый следующий значительный факт истории. По убеждению русского мыслителя, необходимо учитывать зависимость прогресса от «форм, под влиянием которых должен вырабатываться этот прогресс», от «общественных потреб-

ностей», нередко замедляющих его. Феодалы, например, «стремились к тому, чтобы держать трудящихся в полной зависимости от себя, а побуждением тут было то, чтобы постоянно захватывать как можно большую часть богатств, производимых трудом. <...> Точно такова же была и центральная власть, вышедшая во Франции победительницей из феодальных междоусобий» (VII, 477). В этих случаях успехи прогресса связаны с «краткими периодами усиленной работы», стремлениями и возможностями страны к глубинным преобразованиям.

В России середины пятидесятых годов сложилась своеобразная историческая ситуация, когда император Александр II повел наступление на крепостников-феодалов, обещая крестьянскую реформу, и русские прогрессисты, в том числе и Чернышевский, готовы были объединиться под императорским знаменем. Однако уже во второй половине 1858 г. Чернышевский убедился в нерешительности, непоследовательности реформистских начинаний монарха, в его нежелании существенно экономически улучшить положение поземельных крестьян и ради них хотя бы частично поступиться интересами помещиков. Чернышевский пришел к выводу о невозможности осуществления подлинно демократических реформ в рамках абсолютистского государства Александра II. С 1859 г. он резко усилил критику либералов, продолжавших надеяться на результативность императорских предприятий в сфере экономических и политических преобразований.

Критика Чернышевским либеральных иллюзий коснулась и Герцена, в ту пору переживавшего период разочарования в европейских революциях. Полемика с Герценом, их личное свидание, не принесшее редактору «Современника» надежды на перемену в позиции издателя «Колокола» (такая перемена наступит несколько позже), оказали заметное влияние на ход освободительного движения в России, ускорили процесс размежевания демократов с либералами. В течение 1859–1861 гг. инициатива сплочения оппозиционных правительству настроений переходит от лондонского «Колокола» к петербургскому «Современнику», направление которого определялось в основном участием Чернышевского и его единомышленников.

Глубокая убежденность в необходимости предстоящих социальных перемен, последовательная защита экономических и политических интересов закрепощенных крестьян обусловили силу воздействия идей и личности Чернышевского на передовую Россию. Демократизмом пропитаны его убеждения, демократизм стал главным нервом всего его существования.

Он верил в действенность своих призывов, способных пробудить и поднять общественное сознание, подвигнуть современников к мысли о необходимости коренных социальных преобразований. Однако широкие народные массы, интересы которых он так настойчиво защищал, оставались в стороне от этих призывов. Чернышевский ясно видел неспособность безгласного и забитого народа, уповавшего — в бытовом устройстве — на доброго барина и — в рамках государства — на доброго царя, к сознательным политическим выступлениям. Многие страницы его статей посвящены характеристике «рутинного» мышления и образа жизни народа, о котором нужно знать «правду без всяких прикрас». Чтобы стать понятным и близким народу, никаких «особенных штук» не требуется — «говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе» (VII, 881—882, 889).

Роль защитника народа обязывала, по глубокому убеждению Чернышевского, к высокой нравственной ответственности. Руководители народа должны всесторонне обдумывать свои действия, чтобы не привести доверившихся им к напрасным жертвам. Необдуманные, нерасчетливые и несвоевременные выступления ведут к «бесплодным катастрофам», к «вредной растрате собственных сил и общественных средств» (VII, 152).

Изучение опыта национально-освободительных движений передовых стран Европы приводит Чернышевского к мысли о необходимости разработки теоретических проблем демократии, нуждающихся в собственной идеологии, в глубоком историческом, философском, экономическом обосновании. И Чернышевский приступает к выполнению этой сложной и ответственной задачи: развивая материалистические идеи Фейербаха, обосновывает научность антропологического принципа в философии, объясняющего единство в человеке естественных и нравственных начал; свои исследования экономических законов производства, потребления и распределения сводит к построению экономической «теории трудящихся», пронизанной социалистическими идеями. В сельской общине и ассоциациях рабочих виделись ему будущие формы способа производства и распределения произведенного. История европейских государств дает картины длительной борьбы революционных и консервативных сил. Не скоро еще простой народ приобретет господство в исторической жизни, еще сильны «интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию», но «хода истории не остановите» (IX, 833). Чернышевский ищет строго на-

учного обоснования социалистических идей. Однажды, осторожно обходя цензуру, он, в полемике с тогдашними их противниками, обозначил основные черты социализма, акцентируя глубинный демократизм этого учения. «Мы слышали, будто социалисты провозглашают полнейшую децентрализацию, мечтают сделать каждый город, каждую деревню маленькой совершенно независимой республикой, заменить нынешние государства федерациями этих республик, мечтают об уничтожении всякой внешней власти над каждым собранием людей, над каждым отдельным человеком. <...> Мы представляли себе, будто бы основное стремление социализма состоит в том, чтобы избавить массу работников от всякого стеснения в экономическом отношении; чтобы дать каждому возможность заниматься именно тем, чем он сам хочет, и так, как он сам хочет» (VII, 469). Подобное представление убежденного демократа о социализме² в корне расходится с построенной в России после 1917 г. моделью социализма.

Чернышевский не успел свести свои наблюдения и выводы в капитальный монографический труд. Хлопотные обязанности редактора, необходимость постоянной журнальной полемики, наконец цензурные препятствия, создававшие особые трудности в выражении идей и порою вынуждавшие оставлять иные формулировки неразвернутыми, придавали его выступлениям известную фрагментарность, разбросанность, завуалированность.

Он был арестован, когда ему исполнилось всего 34 года.

Примечания

¹ См.: Научная биография (1828–1858).

² Ср.: Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000; изд. 2-е. М., 2010.

Глава первая Поездка к Герцену

1. Poleмика с издателем «Колокола»

К началу 1859 г. за Чернышевским установилась прочная репутация «одного из лучших людей, пользующегося большим влиянием и имеющего горячих приверженцев»¹. Эти слова авторитетнейшего среди либералов профессора-историка К.Д. Кавелина подчеркивали растущую популярность публициста в самых широких кругах, еще находивших единство в укреплении антикрепостнического движения. Об известности Чернышевского в литературно-общественной сфере свидетельствовало, например, избрание его в члены комитета учрежденного в феврале 1859 г. «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литфонда). Избрание происходило 8 ноября², и эту обязанность он как один из учредителей Общества аккуратно выполнял в течение двух последующих лет³.

Воздействие его на читателей существенно возросло с превращением «Современника», как официально значилось, в «журнал литературный и (с 1859 г.) политический», когда Чернышевский стал постоянным автором отдела «Политика». В объявленной программе указывалось, что новый журнальный отдел «Политика» обязывался печатать «1. систематические обозрения тогдашних политических событий, 2. историко-политические очерки для пояснения настоящего положения иностранных государств»⁴. Составляя «Политику», критико-библиографические статьи, издаваемую при журнале «Историческую библиотеку» и участвуя в формировании очередных книжек «Современника», Чернышевский, по существу, становился соредактором Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Указание на

обсуждение с Некрасовым редакторских обязанностей по «Современнику» и «Исторической библиотеке» содержится в письме Чернышевского к И.А. Панаеву, ведавшему хозяйственно-бухгалтерскими делами журнала. «Мы, — извещал Чернышевский 25 января 1859 г., — говорили с Николаем Алексеевичем о разных моих делишках и нашли к устройству их такой способ, чтобы предоставить мне “Историческую библиотеку” и воспользоваться наличными деньгами по ней, с тем, чтобы из этих денег я производил и все уплаты» (XIV, 372). Речь, разумеется, шла об уплате гонораров авторам, приглашаемым Чернышевским. Впервые свою подпись как редактор «Современника» он поставил 19 марта 1860 г. под официальным письмом членов комитета Литфонда к помещику В.Э. Флиорковскому с просьбой отпустить на волю троих крепостных — братьев и сестру Т.Г. Шевченко⁵. Усомниться в редакторском положении Чернышевского попытался было один из сотрудников «Санкт-Петербургских ведомостей». «Мы принуждены, — ядовито писал он о Чернышевском, — придать ему титул *редактора* “Современника”, под тайною высших воззрений»⁶. Однако в объявлении об издании “Современника”, опубликованном на страницах той же газеты в конце 1860 г., Чернышевский официально назван одним из «постоянных членов редакции»⁷.

В 1859 г. известность Чернышевского распространилась настолько широко, что жившая в Лондоне Н.А. Тучкова-Огарёва, автор мемуаров о Герцене и Огарёве, вспоминая предшествовавшее приезду Чернышевского время, писала о Николае Гавриловиче как человеке, «о котором говорила чуть не вся Россия, о котором мы постоянно слышали, который много писал, о котором постоянно упоминали в печати, которого не только хотелось видеть, но хотелось узнать...»⁸

В русском освободительном движении не было другого деятеля, по своему авторитету приближающегося к авторитету Герцена, издателя «Колокола», признанного руководителя передовой России. Казалось бы, «Колокол» и «Современник» должны были соединить усилия в общем деле видеть Россию обновленной. Однако этого не произошло.

Уже первые политические обзоры, начатые Чернышевским с январской книжки «Современника» за 1859 г., показали, сколь различно решались им и Герценом узловые проблемы отечественной и зарубежной жизни.

В брошюрах «Старый мир и Россия» (издана на французском языке в 1854 г., переведена на русский в 1858 г.) и «Франция или Англия?» (1858), широко распространившихся в России и нашедших многочисленных единомышленников, Герцен уверял, что с

1848—1849 г., после гибели революций на Западе, идет быстрый процесс разложения Европы. Ее общественно-политические порядки обречены, какого бы происхождения ни были: римского, христианского, феодального, монархического, парламентского или республиканского. Нынешняя Европа, по мысли Герцена, должна будет распасться, подобно Римской империи, чтоб войти в новые сочетания, связанные с будущим славянского мира⁹. Яркий пример скорого краха Западной Европы дает, утверждал Герцен, Франция. Комментируя покушение на Наполеона III (14 января 1858 г.), вызвавшее жестокие репрессии, Герцен прямо заявлял в брошюре «Франция или Англия?», что сомневается в возможности осуществления во Франции «общественного преобразования», что не верит в силу перемен, происходящих во французском народе. «В нашем распоряжении, — писал он, — слишком мало фактов, чтобы определить эту перемену». Если Герцен и допускал возможность возрождения Франции, то не иначе как посредством «освобождения от слепой веры в революционную будущность». Одна Англия, указывал он, «страна без централизации, без бюрократии, без префектов, без жандармов, без стеснения печати, без ограничения права собраний, без революций, без реакций: полная противоположность России и Франции» — может стать для России «единственно годной школой», «попутчиком в будущее». Все точки зрения, не согласные с этой, Герцен считал либо проявлением «политической слепоты», либо следствием «забитости доктриной»¹⁰.

Чернышевский рассуждал иначе, обострив полемику с Герценом, начатую еще в «Очерках гоголевского периода русской литературы»¹¹. Исторический процесс совершается медленно и являет собою смену революционных периодов (в подцензурной терминологии Чернышевского — время «благородного порыва», «скачков», «ускоренного движения», «светлой эпохи одушевленной работы») периодами реакционными. При этом «реакция приготавливает и потребность, и средства для движения вперед» (VI, 12—13). Европа после 1848—1849 г. действительно находится в состоянии «тяжелого застоя», «но несомненные признаки показывают, что полночь уже прошла» (VI, 14). Из десяти человек, интересующихся современной историей, девятеро утверждают, «что Франция погибла или погибает; что французская нация уже истощила все свои жизненные силы; что нечего ожидать от нее в будущем; что французы оказались неспособными к достижению своих целей, которыми некогда с таким жаром увлекались» (V, 395)¹². Действительно, соглашается Чернышевский, Франция представляет собою упорствующее в своей устарелой системе государство, где царят «полный произвол» и «безус-

ловное порабощение нации», где административная централизация подавляет все живое и самостоятельное (V, 399, 404–409, 423–426). Но историку следовало бы предвидеть все это как закономерное следствие поражения революции, следовало бы знать, «что старые принципы, очнувшись от первого поражения, возобновят борьбу, что борьба будет тянуться долго, что много в ней будет и на той и на другой стороне и успехов, и неудач» (V, 395).

Если для Герцена террор, вспыхнувший во Франции после покушения на императора, явился показателем силы реакционной власти, для Чернышевского, напротив – свидетельством слабости ее: «С 14 января открыто высказалось, что Вторая империя может поддержать свое существование только вооруженною рукою и безграничным насилием», а «такой порядок вещей» долго сохраниться не может (V, 436–437). Ссылаясь на статью из «Лондонского обозрения» за октябрь 1858 г. (доступный для Герцена источник), Чернышевский утверждал, вопреки Герцену, что живые силы во французском народе сохранились, и крутость мер, вводимых существующим порядком с целью удержаться против напора «новых интересов», доказывает силу этих последних (V, 395, 437).

Что касается Англии, то, по Чернышевскому, большого превосходства над французскою жизнью она не имеет, и ее история на протяжении XVIII и первой половины XIX века также изобилует примерами полнейшего произвола придворного управления, стремлений к подавлению прав, которыми нация пользовалась раньше (VI, 8–11).

Как бы переадресовывая Герценовы обвинения в политической слепоте тех, кто не принимал выводов автора брошюры «Франция или Англия?», Чернышевский писал: «Как превосходно мы все теперь рассуждаем о падении Рима <...> но из людей древнего мира, ценивших свою вольную цивилизацию, никто не умел тогда предвидеть, что цивилизация не погибает <...>» (V, 393).

Разумеется, суждения по поводу европейских событий имели целью привлечь внимание читателей к русским проблемам. Герцен – за Россию мирного развития, реформ, улучшений, Россию, «спокойно вступающую на путь экономической революции» без политических потрясений¹³. Чернышевский, напротив, твердо убежден, что характер исторического прогресса предполагает скачкообразное, революционное движение, что политическая самостоятельность «неразлучно связана» с экономической (V, 395), и «девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы» (VI, 13) – и это общая для всех стран закономерность развития.

Мы не найдем в сочинениях Чернышевского рассматриваемого времени прямых указаний на Герцена, имя которого для русской печати оставалось запретным. Но принципиально различное решение важнейших мировоззренческих вопросов свидетельствовало о намерении быть прочитанным в Лондоне и в итоге о близости открытого столкновения.

Последнее и состоялось — буквально накануне знаменитой статьи Герцена «Very dangerous!!!».

Речь пойдет о статье «Г. Чичерин как публицист».

Утвердилось мнение, что редактор «Современника» оказал Герцену своим выступлением существенную поддержку в его конфликте с Чичериным¹⁴. Анализ источника позволяет внести важные коррективы в сложившиеся представления о назначении статьи.

Связь статьи с герцено-чичеринским конфликтом подтверждается прежде всего временем ее опубликования. Она напечатана в майской книжке «Современника» за 1859 г. и представляет собою отзыв на монографию Чичерина «Очерки Англии и Франции», вышедшую годом раньше в Москве (цензурное разрешение — 22 апреля 1858 г.). Столь бросающееся в глаза запоздалое рецензирование книги, тем более что, по словам Чернышевского, «не стоило бы труда разбирать ее» (V, 616), объясняется лишь одним: автор рецензии нашел нужным выступить после того как полемика Чичерина с Герценом близилась к завершению, стороны высказались, и издатель «Колокола» уже обнародовал основные возражения своему оппоненту.

Каковы эти возражения и как они расценены Чернышевским?

Полемизируя с Чичериным, Герцен не принял его «точки зрения гуневвернементального доктринаризма», «регламентации сверху», «насильственного навязывания властью». Цель наша, разъяснял он Чичерину, состояла не в том, чтобы быть правительственным авторитетом или государственными людьми, не в беспредельном доверии императору и его правительству, противоречивое отношение «Колокола» к которому, отмеченное Чичериным, всегда было следствием противоречивости действий самого Александра II и его правительства. «Мы хотели быть протестом России, ее криком освобождения и криком боли, мы хотели быть обличителями злодеев, останавливающих успех, грабящих народ, — мы их тащили на лобное место, мы их делали смешными, мы хотели быть не только мезью русского человека, но его иронией — не больше»¹⁵. Таким образом, упреки в желании революции, основные у Чичерина, Герцен отвел как несостоятельные, и он еще раз печатно заявил о преимущественно обличительном характере «Колокола».

Особенно глубоко задели Герцена личные выпады Чичерина, упрекнувшего его в несдержанности характера, в пылкой страстности, переходящей в «эффектное безделье» и приносящей «вред делу», так как в России, поучал Чичерин, «страстная политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо»¹⁶. «Будьте строги, жестоки, несправедливы, — писал Герцен в ответ, — но об одном я прошу: будемте на английский манер говорить о деле, не прибавляя личностей»¹⁷. В письме к М.К. Рейхель от 12–17 марта (28 февраля — 5 марта) 1859 г. Герцен признался, что его «раздосадовали не возращения, а наглый тон» «Обвинительного акта» Чичерина и потому «с самим Ч<ичериным>» он «сойтись не сможет»¹⁸. Примерно так же высказался он в «Былом и думах»: «Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом»¹⁹.

Эти признания весьма показательны. И хотя, разумеется, в основе полемики лежали причины, коренящиеся в особенностях русского общественного движения, и было бы ошибкою сводить ее к обоюдной личной неприязни, все же нельзя не отметить, что личные выпады Чичерина наложили характерную печать на ход полемики в целом.

В неизменности политической позиции издателя «Колокола» убеждали и другие публикуемые здесь материалы, так или иначе явившиеся ответом Чичерину.

Так, в статье Н.П. Огарёва «Московский комитет» русскому правительству предлагалось энергичнее, решительнее принять один из вариантов освобождения крестьян за выкуп, иначе, предупреждал автор, будет поздно, народ выйдет из терпения, «и конечно не нас, а разве комитеты и дворянство можно обвинять в вызове кровавых мер для народного освобождения»²⁰. В следующем номере Герцен поместил статью В.А. Панаева «Автору “Обвинительного акта” г. Ч.», в которой также утверждалось, что «Колокол» не будет причиной пролития хотя единой капли крови. «Это вы! вы! — обращался В.А. Панаев к постоянно колеблющемуся в решении крестьянского вопроса правительству и деятелям типа Чичерина, — единственно вы можете быть причиной»²¹. Любопытно, что некоторые из славянофилов и даже сам Чичерин автором этой статьи считали Чернышевского²².

Точку зрения, близкую к такого рода критике Чичерина, изложил Кавелин в письме к Чичерину от 8 января 1859 г., подписанном еще некоторыми видными писателями и общественными деятелями, в том числе И.С. Тургеневым²³. Герцен с благодарностью принял письмо как выражение наиболее значительной поддержки в споре

с Чичериным и только из предосторожности не опубликовал его²⁴. Подобно Герцену, Кавелин не принял практики безоговорочного доверия правительству. Однако с основной мыслью протеста (против призыва к топору) он согласился и, пытаясь поддержать либерально-обличительное направление изданий Герцена, заявил, что Чичерин ошибается, причисляя Искандера к революционерам, и в подтверждение указал на общее обличительное направление «Колокола». По мнению Кавелина, выступление Чичерина сыграло на руку реакции, так как всякое действительно либеральное движение, выразителем которого является «Колокол», будет теперь рассматриваться русским правительством как революционное, в то время как «революционной партии», справедливо убежден Кавелин, в России не существует. Возмутили его и личные выпады против «лондонского изгнанника», и он резко осудил Чичерина за эту «холодную беспощадность упреков»²⁵.

Итак, все замечания в адрес Чичерина, с которыми Чернышевский, несомненно, был хорошо знаком, не выходили за пределы либеральной критики. Сам Чичерин в письме к брату от 11 октября 1861 г. справедливо заметил, что различное обсуждение его послания «до очевидности» показало «раздвоение либерального мнения в России»²⁶ — важное свидетельство.

Иной была критика со стороны Чернышевского. В своей цензурной статье он сумел противопоставить не только Чичерину, но и Герцену мнение представителя если не «революционной партии», то немногочисленной тогда группы радикально настроенных демократов.

Статья Чернышевского «Г. Чичерин как публицист» композиционно делится на две отчетливо различающиеся части, и в основном полемика с Герценом ведется во второй (V, 651–669); назначение же первой целиком состояло в том, чтобы подвести читателя к правильному восприятию авторского замысла. Чернышевский выполняет свою задачу тонко, остроумно, умело пользуясь эзоповым языком, и статья представляет собою один из блестящих образцов его публицистического мастерства²⁷.

Полемика с Герценом глубоко скрыта. Лишь перифразами, системой намеков, логическими построениями, противопоставлениями, иносказаниями Чернышевский давал понять, что в предлагаемой статье о Чичерине критике с демократических позиций подвергнуты не только склонный к консерватизму профессор, но и его либеральные оппоненты и особенно Герцен с его приверженностью к либеральной оценке переживаемых Россией общественно значимых событий.

Рассмотрим внимательнее, как именно ведет полемику Чернышевский.

Первая часть статьи предварена двумя своеобразными вступлениями, «предисловиями», как обозначил их сам автор, не связанными будто бы с последующим изложением. Замысел статьи раскрывался путем сопоставления возможных мнений читателей двух категорий — «людей обыкновенных», то есть людей «здорового смысла», способных непредвзято понять объяснения автора, и «проницательных людей» — так иронически именовал Чернышевский современных ему либералов, претендующих на глубокое постижение общественных явлений. Образ «проницательного читателя», впервые появившийся здесь в публицистическом контексте, возникает впоследствии в романе «Что делать?»

В первом предисловии Чернышевский с иронией писал о «проницательных читателях» «Современника», среди которых оказалось немало «умных, ученых и отчасти знаменитых», организовавших поход на журнал за критические высказывания о кумире итальянских либералов Поэрио, а также о либеральной, так называемой «обличительной» литературе. По поводу последней Чернышевский писал в том смысле, что «обсуждение важных вопросов, умалчивающее о существенной стороне их, касающееся только мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не может назваться удовлетворительным обсуждением, ничего не разъясняет, ни к чему, кроме пошлостей и нелепостей, не приводит» (V, 645). Этот вывод применителен не только к беллетристике: публицист «Современника» осуждает всякое обличительство, не затрагивающее корней происхождения социальных явлений, на которые направлено обличение. И нельзя не соотнести содержания приведенного отрывка с ответом Герцена Чичерину, где «Колокол» характеризовался прежде всего как обличительный орган.

Однако даже «проницательный» читатель, которому смысл статьи еще не разъяснен, мог сразу и не прийти к подобному расширительному истолкованию приведенных строк. Ему вообще пока непонятно, к чему в статье о Чичерине возникли столь пространные высказывания о Поэрио и «обличительной» литературе. И Чернышевский, последовательно осуществляя задуманное, указывает на второе «предисловие» в разъяснение смысла первого.

Речь во втором идет уже непосредственно о Чичерине, и первую же фразу — «мы хотим быть строгими к г. Чичерину» — автор с очевидностью обозначил причастность статьи к оценке конфликта Герцена с Чичериным. Этот факт отмечен исследователями. Однако в утверждении, будто в данном случае Чернышевский исполь-

зовал формулировки «Обвинительного акта» против Чичерина же с целью защитить Герцена и тем самым выразить солидарность с его взглядами²⁸, содержится неточность, изменяющая смысл статьи в целом. Поначалу отметим, что Чернышевский пользуется словом «строгий», заимствованным не у Чичерина — у Герцена. Вспомним: «Будьте строги, жестоки, несправедливы...» Чичерин же приступал к характеристике деятельности Герцена «с довольно высокими требованиями», слов о «строгости» в «Обвинительном акте» нет. Что же хотел сказать Чернышевский, прибегнувший к терминологии критика Чичерина? «Для вас, читатель, — продолжал он, — для вас, человек обыкновенный, не одаренный изумительною пронизательностью, причины строгости ясны сами по себе, без всяких объяснений. Г. Чичерин пользуется громкою известностью, а *люди, пользующиеся известностью, должны быть разбираемы строго*; когда речь идет о них, общественная польза требует *не комплиментов, а серьезной критики*», и читатель с «обыкновенным здравым смыслом» не осудит за «строгость порицания, если бы оказалось, что порицание основательно» (курсив наш. — А. Д.). Иными словами, Чернышевский дал понять, что пользуется критерием, принятым Герценом, и потому, в случае необходимости, применимым не только к Чичерину, но и к самому издателю «Колокола» или любому другому деятелю общественного движения, и сетовать на строгость разбора и серьезную критику не следует. «Но люди пронизательные, — продолжал Чернышевский, — тотчас сообразят, что с этими простыми причинами не следует ограничиваться их догадливости. Г. Чичерин — знаменитость, стало быть, если его порицают, то порицают по каким-нибудь личным расчетам; *ведь без особенных личных побуждений нельзя порицать знаменитостей*, по мнению пронизательных людей. И они нападут на нас за г. Чичерина с таким же восхитительным негодованием, как за Поэрио и за статью о прошлогодней литературе»²⁹ (V, 645—646. Курсив наш. — А. Д.). В подчеркнутых словах позволительно видеть прямой намек на характер полемики Герцена с Чичериным, которого, напоминая, издатель «Колокола» упрекнул за личные выпады.

Упоминанием о Поэрио и «обличительной» литературе Чернышевский объясняет связь первого «предисловия» со вторым: автор относит свою критику Чичерина к одному ряду выступлений против либерала Поэрио и либеральной литературы, и поскольку его суровое осуждение Чичерина происходит не из «личных побуждений», а из требований «общественной пользы», то либералы — как противники, так и сторонники Чичерина — единодушно обрушатся на «Современник» как орган несогласного с ними направления. Ав-

тор как бы настораживал читателя, приглашая глубже вникнуть в замысел статьи, в которой следует искать то, чего они не найдут во всех других откликах о выступлениях Чичерина.

Вслед за этими рассуждениями вдруг следует признание в том, что строгость к Чичерину также «происходит из личных побуждений». И для «людей проницательных», «от догадливости которых никогда не утаишь самых сокровенных своих мыслей!», автор поясняет мотивы своего «покаяния»: «Г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом», который «выше всяких заблуждений» <...>, кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для России. <...> Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не только быть строгим к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не захотели бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу» (V, 646).

Исследователями, увидевшими в статье Чернышевского защиту Герцена от чичеринских обвинений, заявление о «покаянии» принимается за действительное признание, имевшее целью укрепить в читателе мысль о сближении Чернышевского с Герценом. По нашему убеждению, мы имеем дело с одним из характерных для Чернышевского-публициста приемов полемики. Причем автор сам заранее позаботился о правильном восприятии своего полемического хода. Мы имеем в виду ту часть первого «предисловия» к статье, где анализировался источник негодования «проницательных читателей» против осуждения деятельности Поэрио. В критике Поэрио, наивно поверившего своему королю и павшего жертвой своих иллюзий, «проницательные читатели», писал Чернышевский, увидели «безнравственность, низость и обскурантизм», они «немедленно сообразили, что мы восстаем против честности и защищаем обманщиков». «Мы, — иронизировал автор, — увидели необходимость принести публичное раскаяние в нашем преступлении и в следующей книжке журнала написали: “Мы совершенно заблуждались, говоря, что словам обманщиков не следует верить; мы должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться уголовным наказаниям, и тот, кто по своему излишнему доверию к их словам остановит совершение правосудия над такими людьми, вредит сам себе и целому обществу”. Из этих слов проницательные люди немедленно убедились, что мы действительно раскаиваемся в своей прошлой ошибке и смиряемся перед их удивительной проницательностью» (V, 644). Ясно, что никакой ошибки и никакого раскаяния, о которых здесь говорится, в действительности не было, Чернышевский по-прежнему оставался верен своим первоначальным суждениям.

Точно так же «признание» Чернышевского, будто в основе его строгости к Чичерину лежат личные побуждения, имело целью

подчеркнуть, что как раз не они, а исключительно требования «общественной пользы» побудили обратиться к разбору книги, послужившей лишь предлогом для оценки конфликта Герцена с Чичериным. И чтобы у читателей не оставалось сомнений на этот счет, он сознательно использует отдельные выражения и формулировки из текстов публичных выступлений обоих участников, перефразируя эти выражения: «Мы хотим быть строгими к г. Чичерину», «Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для России».

Как видим, все эти рассуждения адресованы «проницательным людям». Читатель же «обыкновенный», читатель-единомышленник понимает теперь: «личные побуждения» автора есть не что иное, как желание критически разобрать воззрения не только «мудреца и владыки» Чичерина, довольно безвредного «по ограниченности круга людей, имеющих охоту соглашаться с ним» (V, 646), но и его критиков, в том числе и Герцена, и предлагаемый «Современником» анализ чичеринских воззрений будет, о чем читатель предупрежден, отличаться от всех предшествовавших.

Затем Чернышевский переходит к основной части своей статьи — разбору публицистической деятельности Чичерина.

Из совокупности проблем выделена наиболее актуальная: возможны ли в рамках абсолютистского государства демократические преобразования. Иными словами, возможны ли в России демократические реформы (крестьянская, судебная, военная и иные), которые облегчили бы «жизнь простолюдинов»?

В разбираемой Чернышевским книге, а затем и в «Обвинительном акте» Чичерин недвусмысленно высказался за сильную монархическую власть с ее централизацией как необходимое и единственно разумное средство к обеспечению «правильного развития свободы»³⁰.

Полемика в «Колоколе» вокруг «Обвинительного акта» показала, насколько непопулярной, неавторитетной оказалась эта позиция либерального публициста, вызвавшая осуждение даже в среде умеренных либералов. О неспособности доктринеров типа Чичерина «увлечь других» писал Герцен³¹. Не случайно и Чернышевский в рукописи статьи «Г. Чичерин как публицист» вычеркнул слово «авторитет» из фразы «г. Чичерин — авторитет и знаменитость» (V, 948). Не для того, разумеется, автор «Современника» заговорил о консервативных сторонах воззрений Чичерина, чтобы осудить только их, уже осужденных большинством. Разбор взглядов московского историка велся в плоскости, позволяющей вскрыть общий, объединяющий всех русских (и не только русских — вспомним хотя бы Поэрио)

либералов элемент, — то, как раз с чем безусловно согласился Кавелин и что не было отвергнуто Герценом.

Отвечая на поставленный вопрос, Чернышевский разъяснял опасность всякого рода иллюзий. По мнению либералов, все зависит от степени гуманности и просвещенности монарха. Во Франции, например, утверждал Чичерин, это условие определило решение одной из самых важных социальных проблем — уничтожение сословных привилегий. Чернышевский показал ошибочность этих типично либеральных представлений. Кто бы ни сидел на французском троне, все без исключения «устраивают целое государство таким образом, чтобы весь народ жил исключительно для содержания двора и придворной аристократии», а «французский король есть представитель и глава аристократического принципа» (V, 655). Так на частном примере проиллюстрирована с намеком на Россию несовместимость абсолютизма и демократии на Западе. Осуждая взгляды Чичерина и либералов вообще, Чернышевский метил и в «Колокол», не оставлявший в те годы надежды на освободительную миссию Александра II.

Чернышевский отметил также сбивчивость рассуждений Чичерина об основных формах государственного правления. «Основным принципом его понятий оказывается бюрократическое устройство, и ему представляется, будто демократия похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию и централизацию» (V, 652). В действительности же, по Чернышевскому, нет ничего более непримиримого, чем вражда демократов к монархии, порождающей бюрократию и централизацию и защищающей аристократию. Указание Чичерина на демократическую Францию с ее бюрократической системой и централизацией как яркий пример в подтверждение его выводов не состоятелен, по убеждению Чернышевского, так как воображать себе «демократию по неразвившимся французским ее формам, искаженным сильною примесью старых учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма» — значит иметь «самое фальшивое понятие о демократии» (V, 654). В качестве примера действительно демократического устройства Чернышевский называет Соединенные Штаты Америки, Австралию, Швейцарию (V, 653, 656).

Опровержение чичеринской трактовки упомянутых политических категорий преследовало у Чернышевского и другие полемические задания — опровержение представлений Герцена о демократической форме государственного устройства, высказанных в статье «Россия и Польша», опубликование которой в первых (программных) номерах «Колокола» за 1859 г. позволяет рассмат-

ривать ее как одно из существенных выступлений Герцена в ходе полемики с Чичериным. Отвечая польским корреспондентам «Колокола», Герцен, без сомнения, учитывал и чичеринские упреки в адрес «Колокола», будто бы избравшего революционное направление. После событий 1848—1849 гг., разъяснял свою позицию Герцен, слово «республика» «возбуждает столько же надежды, сколько сомнений. Разве мы не видали, что республика с правительственной инициативой, с деспотической централизацией, с огромным войском, гораздо меньше способствует свободному развитию, чем английская монархия без инициативы, без централизации? Разве мы не видали, что французская демократия, т.е. равенство в рабстве, самая близкая форма к петербургскому самовластью? <...> Я смело скажу, переиначивая известную латинскую поговорку: “Я друг республики, я друг демократии, но гораздо больше друг свободы, независимости и развития”». В другом месте той же статьи Герцен писал, что ему *религия* демократии так же не по сердцу, «как религия пана Фиалковского и как религия “воссоединенного” Симашки. Демократическое православие так же не дает воли уму и жмет его, как Киево-Печерское»³².

Нельзя не видеть отличия такого понимания демократии от чичеринского. Если для Герцена, сторонника демократии, важно, чтобы установившийся демократический строй был «сообразен развитию народному» и являл собою «не только *слово*, а и *дело*, как в Соединенных Штатах или Швейцарии»³³, то Чичерин выступил как враг самой идеи демократии, как защитник сильной монархической власти. Чернышевский, несомненно, разделял симпатии Герцена, но возведение издателем «Колокола» индифферентности к формам правления в теоретический принцип и признание возможности свободы и развития вне демократической республики — такая позиция не учитывала конкретной политической ситуации в России и являлась, по Чернышевскому, существенной уступкой либералам, уповавшим исключительно на добрые намерения монарха. Поэтому в критике реакционности чичеринских суждений о демократии и абсолютизме под обстрел попадали и высказывания Герцена, который дезориентировал русского читателя своими нечеткими объяснениями сущности этих политических категорий.

Между тем именно эти понятия требовали разъяснения «по-русски», и «публицисту, пишущему по-русски», пояснял Чернышевский, необходимо иметь «живое сочувствие к современным потребностям общества». Таким публицистом Чичерин не был, его книга «написана не по-русски, издана не в Москве», поскольку наполнена схоластическими рассуждениями, заимствованными из работ «ве-

ликих мыслителей французской мнимо-либеральной, а в сущности реакционной школы» (V, 649, 651, 653, 658).

Налицо один из приемов двупланного, иносказательного письма, когда комплекс суждений, радикальных по содержанию, заменен непредосудительным для цензуры словосочетанием «задачи публициста, пишущего по-русски». В подцензурной статье Чернышевский не имел возможности прямо объяснить, что писать «по-русски» значит писать прежде всего о несовместимости русского самодержавия и подлинно демократических преобразований. Не «сведение кровавых политических вопросов на экономические, как то виделось Герцену»³⁴, а, напротив, достижение существенных экономических сдвигов посредством коренных политических изменений — таков подцензурный смысл высказываний Чернышевского. «Публицистом, пишущим по-русски» не был Чичерин, не был им и никто из критиков автора «Обвинительного акта» и, если следовать логике статьи Чернышевского, не стал таким публицистом в данном случае и Герцен.

Выступление Чернышевского против Герцена до выхода статьи «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), значительно обострившей взаимоотношения между ними, подтверждает заявление Чернышевского в его примечании к одному из Добролюбовских писем 1856 г., где он пояснял, что в отличие от Добролюбова «уже имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена»³⁵.

Статья «Very dangerous!!!», опубликованная в 44-м листе «Колокола» от 1 июня 1859 г., была направлена против «Современника», «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения», но журнал Некрасова, Чернышевского и Добролюбова подвергся особо резкой критике за осуждение литературных типов дворянских «лишних людей», за насмешки в «Свистке» (сатирическом приложении к «Современнику») над обличительной литературой и гласностью. Свою статью издатель «Колокола» намеренно завершал сближением «Современника» с продажной журналистикой. «Истошая свой смех на обличительную литературу, — писал он, — милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею!»³⁶

В научной литературе многие годы бытовало утверждение, согласно которому в «Современнике» не ожидали от Герцена полемики и восприняли ее как недоразумение. К тому же слово «недоразумение» встречается и в дневниковой записи Добролюбова, и в воспоминаниях Чернышевского и М.А. Антоновича. Между тем критический анализ этих биографических источников позволяет прокорректировать их привычное истолкование и уточнить сло-

жившиеся представления об отношении руководителей «Современника» к полемическому удару издателя «Колокола».

«Сегодня в три часа утра, — записал Добролюбов в дневнике под 5 июня 1859 г., — Н<екрасов>, воротясь из клуба, сообщил мне, что И<сканде>р в “Кол<околе>” напечатал статью против “Сов<ременни>ка” за то, что в нем предается поруганию священное имя гласности. В статье есть будто бы намек на то, что “Сов<ременник>” подкуплен триумвирным бюро. Если это правда, то Герцен человек вовсе не серьезный; так легкомысленно судить о людях в печати — ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Н<екрасо>ву только так показалось и что в сущности намек этого нет. Нужно поскорее достать “К<олоко>л” и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать к Г<ерцену> письмо с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает, как туда попавшие... Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности!.. Я лично не очень убит неблагоприятием Г<ерцена>, с которым могу помериться, если на то пойдет, но Н<екрасов> обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Г<ерцена> для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро оскорбляет его, т<ак> ч<то> он чуть не решается уехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Г<ерцен> печатно же от него отказался и взял назад свои слова. Но мне все кажется, что вся эта история — чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение»³⁷.

Является ли здесь слово «недоразумение» квалификацией конфликта с Герценом, как принято считать? Проследим за ходом рассуждений Добролюбова внимательнее. Сначала он фиксирует полученные от Некрасова сведения, в которых самым оскорбительным для обоих был «намек на бюро». Герцен, действительно, принял статьи «Современника» против гласности и «обличительной» литературы «за наитие направительного и назидательного цензурного триумвирата»³⁸, но Добролюбов, преклонявшийся тогда перед авторитетом издателя «Колокола», только в том случае готов был переменить свое мнение о нем, «если это правда», то есть если на-

мек сделан и сообщение Некрасова достоверно. Свои сомнения в точности передачи ему смысла статьи Добролюбов высказывает дважды. В начале записи: «Если это правда, то <...> Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Некрасову только так показалось и что в сущности намека этого нет». В конце: «Действительно, если намек есть, то <...> Но мне кажется, что вся эта история – чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение». Цитированные отрывки почти идентичны даже по своей логико-синтаксической структуре, передающей владевшую автором записи мысль о возможной неточности идущей от Некрасова информации, и Добролюбов, чтобы избежать «недоразумения», хочет поскорее сам прочесть статью Герцена. Таким образом, под «всей этой историей» Добролюбов понимал предполагаемое искажение смысла статьи Искандера; именно к этой «истории» относятся его слова «чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение». Добролюбов во все не считал выступление в «Колоколе», если бы сообщение Некрасова подтвердилось, недоразумением, и об этом свидетельствует резкая аттестация в дневнике политической роли Герцена, поверившего в «мирный прогресс при инициативе сверху под покровом законности». В этой характеристике – отчетливое понимание серьезности вспыхнувшего конфликта, но возникнуть она могла только при условии, если Некрасов не исказил содержания статьи Герцена. Добролюбов все же склонен был думать, что «Некрасову только так показалось», что в истории с передачей смысла герценовских высказываний произошло «какое-нибудь недоразумение».

С последней фразой приведенного фрагмента обычно связывают еще два источника, являющихся свидетельствами Чернышевского: «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым», посланные А.Н. Пыпину в письме от 21 января 1884 г., и примечание к письму А.П. Златоврацкого, адресованному Добролюбову в 1858 г.

В «Воспоминаниях» Чернышевский сообщил, что Некрасов предоставлял ему участвовать «в его отношениях к кому-нибудь из людей очень близких или очень интересовавших его» лишь «по какой-нибудь очень серьезной надобности», и «одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого привелось мне, – писал Чернышевский, – по желанию Некрасова и Добролюбова, проспаться Германию с Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу» (I, 731), т.е. речь о поездке в Лондон.

В другом месте, а именно в комментариях к письму А.П. Златоврацкого, Чернышевский заметил, имея в виду отношение Злато-

врацкого к статьям Добролюбова: «Недоразумения А.П. Златоврацкого были очень наивны. Но еще несравненно замечательнее в этом отношении случай такого же рода, происшедший через год: удивительное недоразумение, в которое впал при чтении “Литературных мелочей прошлого года” Николая Александровича один из знаменитейших и действительно лучших деятелей литературы. В своем месте мы расскажем эту историю, насколько она может быть предметом печатного рассказа теперь, когда еще жив один из участников этого спора»³⁹.

Выражение «странное недоразумение», не вполне обозначенное в частном письме к Пыпину («Воспоминания» написаны по его просьбе), более обстоятельно пояснено в книге о Добролюбова. «Недоразумения», о которых пишет здесь Чернышевский, связаны с непониманием Златоврацким, человеком демократического настроения и не лишенного наблюдательности, подлинного смысла некоторых статей Добролюбова, где автор широко пользовался иронией. «Недоразумение» Герцена, отмечал Чернышевский, «такого же рода». В сравнении с Златоврацким Герцен гораздо более знаменит и относится к «действительно лучшим деятелям литературы», но и он не сумел понять действительного смысла статьи «Литературные мелочи прошлого года», и его «недоразумение» «несравненно замечательнее», «удивительное» и, как выразился Чернышевский в «Воспоминаниях», «странное». Смысловая тождественность обоих выражений – «странное недоразумение» и «удивительное недоразумение» – вне сомнений. Совершенно иную смысловую нагрузку несет слово «недоразумение» в дневнике Добролюбова, где оно означало недоверие ко всей истории с передачей ему Некрасовым содержания статьи Герцена.

Из предложенного анализа первоисточников выясняется, таким образом, что ни Добролюбов, ни Чернышевский не считали выступление «Колокола» против «Современника» в 1859 г. простым недоразумением⁴⁰.

Перейдем к разбору соответствующей части воспоминаний М.А. Антоновича. Видный шестидесятник, принимавший заметное участие в издании «Современника», он был свидетелем многих важных событий, связанных с именами Чернышевского и Добролюбова, и потому его мемуары пользуются особым доверием. Вот что сообщил Антонович в статье «Поездка Н.Г. Чернышевского в Лондон к А.И. Герцену»: «Деятели “Современника” отнеслись к выходке Герцена сначала различно, а потом пришли к одинаковому взгляду на нее. Она их всех привела в крайнее изумление и удивление и взволновала их как неожиданный и непредвиденный сюрприз. Но

Чернышевский скоро же успокоился, и спустя некоторое время, по своему обыкновению, он относился к этому неожиданному реприманду со смешками, остротами, шуточками и говорил, ужели нужна уж чрезвычайная проницательность, чтобы понять свист “Современника”, и ужели ее не оказалось у Герцена? Затем он выражал напускную радость и утешался надеждою, что цензура после этого станет относиться к “Современнику” гораздо снисходительнее, чем прежде, так как он враг Герцена, врага всяких всевозможных цензур, и угодник цензуры, по свидетельству самого же Герцена»⁴¹.

В этом отрывке привлекает все: живость рассказа, масса подробностей, сообщающих описанию подкупающую достоверность. И все же есть основание сомневаться в достоверности сообщенного.

В самом деле. Первое личное знакомство Антоновича с Чернышевским состоялось, по указанию самого мемуариста, лишь в конце 1860 г. В статье «Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове» (1902) он сообщил: «Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга, возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 года»⁴². То же Антонович утверждает и в другой статье — «Памяти Н.Г. Чернышевского» (1909)⁴³. Оканчивая курс в столичной Духовной академии «в половине 1859 года», он, по его же словам, только «перед окончанием курса» «рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще»⁴⁴, а появление его первой рецензии в «Современнике» относится лишь к сентябрю 1859 г. Из этого следует, что в начале июня 1859 г., когда руководители «Современника» обсуждали статью Герцена, Антонович не был вхож в редакцию этого журнала. Трудно сказать, каково происхождение его столь подробного рассказа об отношении редакторов «Современника» к выступлению Герцена в начальный период конфликта. Несомненно одно: его мемуары, особенно страницы, касающиеся взаимоотношений Чернышевского с Герценом, требуют строгой критической проверки.

Приведем еще одно — применительно к теме — свидетельство Антоновича: по возвращении Добролюбова из-за границы «часто навещал его больного, почти ежедневно, и мы, — вспоминал он, — много говорили о многом, заходила речь и о Герцене, о статье его...»⁴⁵ Эти строки взяты из статьи о поездке Чернышевского в Лондон, и подробностей этих бесед он здесь не сообщил. Однако в его более ранней, уже упоминавшейся статье 1902 г. он припомнил фразу, высказанную Добролюбовым, вероятно, в период послезаграничного их сближения. Высоко отзываясь о Чернышевском, Добролюбов в

качестве примера удивительной пронизательности его привел случай с выступлением издателя «Колокола» против «Современника»: «Да, — говорил он, — Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я — близорукий зритель»⁴⁶. Выходит, что статья в «Колоколе» не явилась для Чернышевского «сюрпризом», «неожиданным репримандом». Переданные мемуаристом слова Добролюбова вполне согласуются и с добролюбовской дневниковой записью 1859 г., и с высказываниями самого Чернышевского в 1880-е годы. Сообщение Антоновича в данном случае подтверждает, что Чернышевский, который пронизательно угадывал возможность полемики со стороны «Колокола», не мог с возникновением конфликта характеризовать выступление Герцена как недоразумение. Чернышевский, несомненно, видел политическую подоплеку выведенных Герценом на дорогу открытой полемики разногласий между «Современником» и «Колоколом».

Статья Герцена явилась поводом для поездки Чернышевского к ее автору, и содержание статьи должно было определить главную тему переговоров. При изучении вопроса о целях и задачах поездки в первую очередь должны быть приняты во внимание объяснения самого Чернышевского. Их не много, к сожалению. Показания на суде и упоминания в письмах 1880-х годов — вот все, чем располагает исследователь-биограф.

Показания членам следственной комиссии в 1862—1863 гг. были вызваны обвинением в «противозаконных» сношениях с Герценом. В начальной стадии процесса это было единственное обвинение, предъявленное писателю. Особый интерес в данном контексте представляют показания от 1 июня 1863 г. В дополнение к прежде объявленным фактам, свидетельствующим о недружелюбном отношении к Герцену (так, 30 октября 1862 г. Чернышевский заявил о «личной неприязни <...> по делу Огарёва с г-жею Панаевою» — XIV, 723)⁴⁷, Чернышевский выдвинул еще один: он говорил о публичных нападениях Герцена на Добролюбова, начавшихся «с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 “Колокола” была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, — свидетельствовал подследственный, — но о себе я не говорю) статья Герцена “Very dangerous!!!” Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, и тем более после смерти Добролюбова» (XIV, 735).

Чем вызвана подобная откровенность? Вероятно, в данном случае Чернышевский стремился заранее нейтрализовать возможное обвинение в личных связях с Герценом. Он не упомянул о своей поездке в Лондон, но если бы следственная комиссия выдвинула это обвинение (а она действительно располагала данными на этот

счет), то причины встречи уже названы. Разумеется, показаниями такого рода исследователь должен оперировать с большой осторожностью, так как подследственный в стремлении отвести подозрения мог подчас сознательно преувеличить свою нерасположенность к Герцену. Но все же нет оснований не верить в искренность его заявлений, поскольку они полностью соответствуют содержанию более поздних его же свидетельств.

Спустя много лет Чернышевский дважды коснулся своей поездки к Герцену. Выполняя просьбу А.Н. Пыпина написать воспоминания о литературных знаменитостях, он отвечал ему 9 декабря 1884 г.: «...Ни с одним из скольких-нибудь известных поэтов или беллетристов не было у меня ни одного сколько-нибудь неприятного столкновения; исключение — один человек и один случай в жизни этого человека (ты знаешь, о ком и о чем я говорю?); но его поступок относился не ко мне; и выговор мой ему за этот поступок был выговор от человека, постороннего делу, говорившего лишь по обязанности сказать то, что было сказано мною ему; и — давным-давно я примирился с этим человеком (в душе примирился, разумеется; видется или переписываться с ним я не имел случая). Вот лишь к нему применяется твое желание, чтоб я не “волновался” и не “раздражался”. Бывое давно былшем поросло, и давным-давно я перестал винить этого человека за этот поступок. Не он был виноват; виноват был Добролюбов. Чем был виноват тут Добролюбов, будет рассказано когда-нибудь кем-нибудь; едва ли мною. Сущность дела в том, что Добролюбов доверял этому человеку больше, чем следовало. Но мне это нимало не повредило. Я был человеком посторонним этому обстоятельству и его последствиям. Кто думает иначе, ошибается. Меня это нимало не коснулось» (XIV, 432).

Эти слова было принято комментировать следующим образом: «Если бы “столкновение” Чернышевского с Герценом произошло на почве “общего дела”, он не считал бы себя человеком, посторонним этому делу. Письмо Чернышевского является также доказательством, что у Чернышевского не было принципиальных политических расхождений с Герценом и что поводом к столкновению послужил лишь один случай в жизни этого человека, то есть его опрометчивая статья против “Современника”». Под «общим делом» разумелось «революционное дело»⁴⁸.

Далеко не все в этом комментарии согласуется с содержанием источника. Из письма явствует, во-первых, что Герцен — единственный человек из литераторов, воспоминание о котором могло бы взволновать Чернышевского, и что Герцен — единственный, с кем у Чернышевского было «неприятное столкновение» (заметим,

не просто «столкновение», а «неприятное столкновение»). Но, указывает Чернышевский, поступок Герцена относится не к нему, а к Добролюбову, и «выговор мой ему за этот поступок был выговор от человека, постороннего делу, говорившего лишь по обязанности сказать то, что было сказано мною ему». Как следовало из других заявлений Чернышевского же, в действительности Герцен напал не только на Добролюбова, но и на Чернышевского. Неужели он «за давностью лет» (так обычно говорят о мемуаристах) забыл это важное обстоятельство, и мы имеем дело с очевидным противоречием? И не противоречие ли это, когда автор письма то винит Герцена за его поступок, то вдруг объявляет виновным Добролюбова? Полагаем, Чернышевский ничего не забыл и никакого противоречия в его словах нет. Просто исследователи, не всегда цитируя отрывок из письма полностью, не могли не утратить контекста всего отрывка. Смысл слов о «выговоре от человека, постороннего делу» проясняется лишь в последней части письма, где говорится о «вине» Добролюбова, о том, что в отличие от Добролюбова Чернышевскому было чуждо идеализирование Герцена, это ему «нимало не повредило», этому обстоятельству и его последствиям он был «человек посторонний». Последствием «этого обстоятельства» стала поездка к Герцену, которую, как мы знаем из других высказываний Чернышевского, он совершил не по своему желанию, а по требованию Некрасова и Добролюбова, надеявшихся на урегулирование конфликта. Чернышевский же считал эту поездку бесполезной и бессмысленной, настолько очевидно и значительно расходились его взгляды с воззрениями Герцена. Он уступил просьбам своих соредкторов по журналу, и его выговор Герцену «был выговором от человека, постороннего делу, говорившего лишь по обязанности». Из письма, таким образом, вовсе не следует, будто «у Чернышевского не было принципиальных политических расхождений с Герценом», как принято было считать. Наоборот, Чернышевский ясно дал понять, насколько глубоким был разразившийся конфликт, если сам считал никчемными какие-либо переговоры с Герценом. Наконец под словом «дело» имелся в виду, как это с очевидностью следует из письма, ряд событий, а именно факт публичного выступления Герцена, поездка к нему, — об «общем революционном деле» речь не шла и идти не могла.

Второе упоминание о цели свидания в Лондоне содержится в письме Чернышевского к К.Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г. «...Я мягок, — писал он здесь, — деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. <...> Я ломаю каждого, кому вздумаю память ребра; я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему

выговор за нападение на Добролюбова; и он вертелся передо мной, как школьник); я ломал Некрасова, который был много крепче Герцена» (XIV, 790).

Выражение «я ломал Герцена» обычно принимается за свидетельство успешной борьбы Чернышевского против либеральных иллюзий Герцена⁴⁹. Между тем словами, поставленными в скобках, Чернышевский сам пояснил смысл выражения «ломал Герцена»: тот «вертелся <...> как школьник» после объяснения всей нелепости намека на подкуп правительством, нападений на Добролюбова и «Современник», и в результате провисает утверждение, будто нападки Герцена на Добролюбова «основаны не на расхождении в политических взглядах, а на недоразумении»⁵⁰. Речь идет исключительно о качествах характера Чернышевского, человека твердого и неуступчивого, когда дело касается принципа. Герцен «вертелся <...> как школьник», потому что обвинить деятелей «Современника» в союзе с властями было просто нелепо. И Герцен согласился с этим безоговорочно в том же 1859 г. (об этом ниже). Взгляды издателя «Колокола» получили у Чернышевского следующую обобщенную характеристику, касающуюся рассматриваемого периода: «Авторитет Герцена был всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т.е. тенденциями смутными и шаткими» (I, 734).

Примечания

- ¹ Записки отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В.И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 62 (из письма К.Д. Кавелина к М.Н. Каткову от 20 октября 1858 г.). О взаимоотношениях Чернышевского с Кавелиным см.: Научная биография (1853–1858), раздел «Записка Кавелина».
- ² Санкт-Петербургские ведомости. 1859. 15 ноября. № 249. С. 1103. В дальнейшем: СПб. ведомости.
- ³ См.: *Сажин В.Н.* Н.Г. Чернышевский в Литературном фонде // Русская литература. 1975. № 3. С. 154–158.
- ⁴ Московские ведомости. 1859. 25 января. № 22. С. 58.
- ⁵ Киевский телеграф. 1860. 19 июня. № 44. С. 187. Перепечатано: Московские ведомости. 1860. 6 июля. № 147. С. 1161.
- ⁶ СПб. ведомости. 1860. 23 сентября. № 206. С. 1083. Выделено автором.
- ⁷ Там же. 6 декабря. № 266. С. 1419.
- ⁸ Воспоминания (1982). С. 261.

- ⁹ *Герцен*. Т. XII. С. 167. См.: *Волгин В. П.* Социализм Герцена // Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 43–81. Ср.: *Антонов В. Ф.* А. И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М., 2000.
- ¹⁰ *Герцен*. Т. XIII. С. 228, 231, 243, 245, 246, 249, 253. См.: *Кантор В.* Русская классика, или Бытие России. М., 2014. С. 221–264.
- ¹¹ См.: Научная биография (1853–1858), раздел «Очерки гоголевского периода русской литературы».
- ¹² Цитируем из статьи «Франция при Людовике-Наполеоне», запрещенной цензурой. Статья по указанию автора должна была составить единое целое с «Политикой» в январской книжке «Современника» за 1859 г. (V, 440).
- ¹³ *Герцен*. Т. XIII. С. 240.
- ¹⁴ См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859–1864. М., 1983. С. 42 со ссылкой на кн.: *Порох И. В.* Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963. С. 124–127. Попытки в этой кн. максимально сблизить позиции обоих публицистов нельзя признать удачными.
- ¹⁵ *Герцен*. Т. XIII. С. 405.
- ¹⁶ Колокол. 1858. 1 декабря. Л. 29. С. 238, 239.
- ¹⁷ Там же. С. 236.
- ¹⁸ *Герцен*. Т. XXVI. С. 244.
- ¹⁹ Там же. Т. XI. С. 249.
- ²⁰ Колокол. 1858. 15 декабря. Л. 30–31. С. 241. Выделено Н. П. Огарёвым.
- ²¹ Колокол. 1859. 1 января. Л. 32–33. С. 261.
- ²² *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1890–1910. Кн. 15. С. 259, 261.
- ²³ *Тургенев*. Письма. Т. III. С. 268.
- ²⁴ *Герцен*. Т. XXVI. С. 241, 244.
- ²⁵ Цитируем по кн.: Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Путешествие за границу. М., 1932. С. 57–62.
- ²⁶ Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина: Московский университет. М., 1929. С. 29.
- ²⁷ См. нашу публикацию «Уроки публицистического мастерства Чернышевского: статья “Г. Чичерин как публицист”» // Ценностные ориентиры современной журналистики / Под ред. проф. И. П. Щелбыкина. Пенза: ПГУ, 2013. С. 14–20.
- ²⁸ *Порох И. В.* Герцен и Чернышевский. С. 124–125; *Он же.* Полемика Герцена с Чичериным и отклик на нее «Современника» // Историографический сборник. Саратов, 1965. Вып. 2. С. 71–73.
- ²⁹ Имеется в виду статья Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», напечатанная в январской и апрельской книжках «Современника» за 1859 г.

- ³⁰ *Чичерин Б.* Очерки Англии и Франции. М., 1858. С. XI–XII. Один из современников еще в 1857 г. отмечал, что Чичерин «сильно склоняется на сторону централизации, как бы питая к ней особенную предилекцию» (Отечественные записки. 1857. № 1. Отд. III. С. 58).
- ³¹ *Герцен.* Т. XIII. С. 363.
- ³² Там же. Т. XIV. С. 8–9, 17.
- ³³ Там же. С. 9.
- ³⁴ Там же. С. 33.
- ³⁵ <Чернышевский Н.Г.> Материалы для биографии Н.А. Добролюбова. М., 1890. С. 319.
- ³⁶ *Герцен.* Т. XIV. С. 121. Подробнее: *Усакина Т.И.* История. Философия. Литература. Саратов, 1968. С. 250–290.
- ³⁷ *Добролюбов.* Т. 8. С. 570.
- ³⁸ *Герцен.* Т. XIV. С. 116.
- ³⁹ <Чернышевский Н.Г.> Материалы для биографии Н.А. Добролюбова. М., 1890. С. 439.
- ⁴⁰ Ср. доводы, высказанные в свое время В.А. Путинцевым (Огонек. 1950. № 6. С. 24), М.В. Нечкиной (Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1954. Т. XII. Вып. I. С. 54), А.Е. Кошовенко (Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1960. С. 287), а также Б.П. Козьминим (Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1955. Т. XIV. Вып. 2. С. 176), Ю.Н. Коротковым (Прометей. М., 1971. Вып. 8. С. 170).
- ⁴¹ Шестидесятые годы: *М.А. Антонович.* Воспоминания. Г.З. Елисе-ев. Воспоминания. М.; Л., 1933. С. 78–79.
- ⁴² Там же. С. 154.
- ⁴³ Там же. С. 37–38. См.: Прометей. М, 1971. Вып. 8. С. 173, 186.
- ⁴⁴ Шестидесятые годы. С. 134.
- ⁴⁵ Там же. С. 82.
- ⁴⁶ Там же. С. 157.
- ⁴⁷ Имеется в виду дело об «огаревском наследстве». См.: *Черняк Я.З.* Огарёв, Некрасов, Герцен и Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.; Л., 1933.
- ⁴⁸ *Кошовенко А.Е.* К вопросу о лондонской встрече Н.Г. Чернышевского с А.И. Герценом в 1859 г. и формуле «Кавелин в квадрате» // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1960. С. 280. Здесь формулируется на десятилетия укоренившийся в научной литературе взгляд на конфликт «Колокола» с «Современником».
- ⁴⁹ Там же. С. 278.
- ⁵⁰ Там же.

2. Лондонская встреча

Решение о поездке Чернышевского к Герцену было принято в редакции «Современника» утром 10 июня 1859 г. или, возможно, накануне вечером. Факт устанавливается с достаточной точностью в результате сопоставления ряда источников. Нижняя граница даты определяется указанием имени Чернышевского 11 июня в № 125 «Санкт-Петербургских ведомостей» среди лиц, намеревавшихся отправиться за границу¹. На следующий день появилось объявление в официальном отделе «Северной пчелы»: «В числе отъезжающих за границу в “Ведомостях” показаны: отставной титулярный советник Чернышевский <...>»². Верхняя граница даты выявляется из переписки Чернышевского с отцом, удостоверяющей, что вплоть до 9 июня включительно он намеревался ехать в Саратов, а вовсе не за границу. Первоначально собирался отправиться к отцу «как только начнется пароходство на Волге», в начале мая, и вернуться к концу этого месяца (XIV, 373–374). К письму от 7 апреля О.С. Чернышевская приписала: «Приготовляю своего канашечку в дорогу» и 21 апреля: «Скоро, скоро канашечка будет в Ваших объятиях»³. Затем в связи с болезнью жены и неотложными делами по изданию «Исторической библиотеки» поездку пришлось отложить до июня. «Через четыре недели, — писал он 5 мая, — не будет мне препятствий отправиться к Вам, милый папенька» (XIV, 378). Спустя эти четыре недели в ответ на письмо от 2 июня (оно не сохранилось) Гаврила Иванович писал: «...Если так твердо твое намерение быть в Саратове, да благословит Господь путешествие твое! Жду тебя, милый сынок!»⁴ После этого последовало письмо от 9 июня, в котором, сколько можно судить по ответу отца, он вновь подтвердил свое решение приехать в июне: «Буду ждать тебя, мой милый сынок. Дай Бог, чтобы путь твой был благополучен»⁵.

Приведенные материалы опровергают предположение, будто Д.В. Стасов, находившийся в Лондоне с 9/21 июня, получил от Чернышевского 11/23 июня известие о возможном приезде в Лондон и просьбу свести с Герценом⁶. Версия была основана на дневниковой записи Д.В. Стасова, датированной четвергом 11/23 июня: «На почту, письмо от Н.Ч.». Возможно, «Н.Ч.» — это «Николай Чернышевский», но чтобы получить письмо в Лондоне 11 июня, его следовало отправить из Петербурга (хотя бы и с оказией) за несколько дней до этой даты.

О намерении отправиться за границу Чернышевский объявил отцу 16 июня. Мы знаем об этом по ответу: «Не думается, не гадается

поездка за границу — и, вдобавок, в Париж, — а мы готовились было 22 и 23 числа в июне встречать тебя, милый мой сынок»⁷. Сообщение о Париже на время прикрывало настоящую цель путешествия, которую по понятным причинам приходилось утаивать⁸. Всем другим он также говорил, что едет в Париж к внезапно заболевшему там двоюродному брату А.Н. Пыпину, но «моя болезнь, — объяснял сам Пыпин одному из знакомых спустя некоторое время, — только предлог, которым воспользовался Чернышевский для того, чтобы объяснить свой скорый отъезд и скорое возвращение, не похожие на обыкновенные путешествия»⁹.

Во вторник 16 июня Некрасов просил И.А. Панаева прислать «пораньше сегодня» денег «для Чернышевского, который едет за границу завтра»¹⁰. В день отъезда Чернышевский написал отцу («письмо Ваше, милая моя дочка, от 23-го июня и при нем такое же дорогого моего сына, написавшего перед отъездом за границу 17 июня, получено 30 июня», — сообщал Гаврила Иванович Ольге Сократовне¹¹, а через три дня столичная газета известила о группе лиц, в том числе Чернышевском, отправившихся 17 июня в Любек на пароходе «Нева»¹². 20 июня он приехал в Любек, о чем известил своего отца, послав письмо через Ольгу Сократовну. Затем отправился в Париж (через Гамбург — Бремен — Кельн — Брюссель), куда прибыл 21 июня¹³. В.Д. Спасович писал К.Д. Кавелину 8 июля: «Прибыв в Париж 3 сего июля, я застал Ваше письмо, написанное из Теплица, носил его с собою, показывал его Пыпину и Чернышевскому, с которыми я нечаянно столкнулся, — но потом оно неизвестно каким образом у меня пропало»¹⁴. 3 июля — это воскресенье, 21 июня по старому стилю. «Я видел его здесь только два дня», — извещал Пыпин В.И. Ламанского, а 23 июня / 5 июля писал Б.И. Утину в Лондон: «...В Лондоне в эти дни Вы можете найти Чернышевского — в Hotel de l'Europe, Leicester square. <...> Вам, может быть, не скучно будет повидаться с ним; я же попрошу Вас сделать ему какие-нибудь указания, которые ему могут понадобиться: в путешествии он человек новый. Этим Вы и меня обяжете. <...> Чернышевский будет в Лондоне очень короткое время, и это, может быть, помешает ему раньше быть у Вас. Зайдите к нему, по Вашей обыкновенной доброте»¹⁵. Обращение к Б.И. Утину не было случайным. В письме к К.Д. Кавелину от 10/22 июля 1859 г. Пыпин, передавая поклон от Утина (с ним «в первый раз я познакомился у Вас в прошлом году»), прибавлял: «Здесь мы сошлись с ним ближе; это прекрасный и весьма дельный человек, каких немного между нашей молодежью. — Он занимается здесь очень прилежно»¹⁶. Оба — Пыпин и Утин — были восторженными поклонниками Герцена и навестили его еще до

приезда Чернышевского («Пыпин и Утин кланяются», — сообщал Герцен сыну в письме от 7/19 мая 1859 г.¹⁷). Настойчивая просьба Пыпина к Утину увидеться с Чернышевским и «сделать ему какие-нибудь указания», несомненно, касалась посещения Герцена.

В Лондон Чернышевский прибыл в среду 24 июня / 6 июля и в этот же день, как удостоверяет дневниковая запись Д.В. Стасова, в ту пору также находившегося в Лондоне, состоялась первая встреча Чернышевского с Герценом. Вот эта запись: «Среда <...> вечер в Ф<улеме>, где б<ыли> У<тин> и Ч<ернышевский>». Фулем — адрес Герцена, а упомянутая среда приходилась на 24 июня / 6 июля¹⁸. Именно на эту среду приглашал Герцен Стасова в записке от 23 июня / 5 июля¹⁹. Содержание дневниковой записи Стасова позволяет думать, что он, прибыв вечером в Фулем, застал там Чернышевского с Утиным, и, следовательно, не Стасов, как принято считать, а скорее всего Утин явился посредником в первой встрече Чернышевского с Герценом.

Переговоры, которые предстояли Чернышевскому, требовали встречи без свидетелей. И она состоялась. Однако до сих пор ее дата документально не установлена. Рассмотрим известные на сегодняшний день источники, касающиеся этого важного факта.

В записке к Стасову от 5 июля Герцен, приглашая его в среду к себе, предупреждал, что едет с Огарёвым «в четверг дни на два в St. Leonard искать приморскую квартиру». Кажется, Герцен рассчитывал пробыть вне Лондона пятницу и субботу — 8 и 9 июля по новому стилю, и его письмо к сыну свидетельствует о состоявшейся поездке. «Письмо твое, — писал Герцен 10 июля, — я нашел, возвратившись с Огарёвым из прогулки в Hastings Eastbourne, где мы искали домик для Natali с Лизой»²⁰. Далее в этом же письме следует фраза, на которую обычно не обращали внимания, но которую вполне уместно включить в контекст наших рассуждений: «Превосходная погода и чистый морской воздух сделал то, что мы с ненавистью въехали в Лондон». Слова Герцена передают общее настроение его и Огарёва, которым предстояла встреча с Чернышевским. Подобное настроение могло возникнуть только после состоявшегося и неприятного для Герцена и Огарёва разговора с представителем «Современника». В среду 6 июля при Утине и Стасове откровенной беседы быть не могло. Да и вообще по средам и воскресеньям, как известно, Герцен устраивал общие встречи с посетителями, и среда 6 июля оказалась неудобной для уединенной беседы с Чернышевским, приехавшим неожиданно. Становится возможным предположение, что Чернышевский получил приглашение явиться в Фулем в четверг 7 июля в день отъезда Герцена и Огарёва. Прямых данных об этом нет, но исключать из круга

исследований четверг 25 июня / 7 июля как возможный день второго свидания представляется нелогичным. Не могли же редакторы «Колокола» уехать на два дня, не услышав Чернышевского.

Письмо Герцена к сыну от 10 июля содержит еще ряд сведений, наводящих на предположение о состоявшейся беседе с Чернышевским без свидетелей 7 июля. На случай своей смерти Герцен завещает сыну «непрерывно продолжать русское книгопечатание за границей». Значение, цели и задачи начатого Герценом дела — одна из тем переговоров, как мы убедимся в этом ниже, и обращение к сыну в письме, написанном во время пребывания Чернышевского в Лондоне, вполне может быть воспринято в качестве отзвука на обмен мнениями о позиции «Колокола».

Ввиду крайней скудости сохранившихся источников значение приобретает еще одна подробность. В том же письме к сыну Герцен просит передать К. Фогту, «что его брошюра почти целиком перепечатана в петербургском „Современнике“». Речь идет о работе К. Фогта «Этюды о современном положении в Европе», перевод которой с немецкого Чернышевский поместил в «Приложениях» к «Политике» в июньской книжке «Современника» за 1859 г. Так быстро доставил петербургский журнал в Лондон, конечно, сам Чернышевский, но вовсе не ради этого перевода. Передавая журнал, он обратил их внимание на ответ Добролюбова автору статьи «Very dangerous!!!», вставленный в рецензию на литературный сборник «Весна» взамен вырезанной страницы²¹. Добролюбов писал: «Нас многие обвиняют, что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью, но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтоб мы были довольны и восхищались». Сравнивая далее себя с пассажиром, отправляющимся в Москву, Добролюбов высмеивает приятеля, взявшего ему билет до Колпина только потому, мол, что «нужно прежде всего думать о ближайшей цели», не совершая «скачков»²². Таким образом желание «цельного и основательного образа действий» противопоставлено автором либеральной «философии о постепенном продвижении вперед». Аллюзии на Герцена здесь очевидны.

«Современник» с ответом Добролюбова вручен был Герцену, скорее всего, в первую же встречу 6 июля. А во время беседы на следующий день, если наше предположение верно, Герцен, защищая публикации «Колокола», должен был ответить на замечание

Добролюбова, несомненно, разделяемое Чернышевским. Огарёв в этом споре безоговорочно был на стороне Герцена, и эта поддержка была оценена. Именно этим фактом, связывая его с лондонской встречей, мы предлагаем объяснить появление в рассматриваемом письме Герцена к сыну от 10 июля слов об Огарёве: он «действительно второй ваш отец и истинный друг. Безусловная любовь к нему — лучшая память, какая возможна обо мне». Не видно других причин, помимо приезда Чернышевского и беседы с ним, которые побудили бы Герцена именно в это время внушать сыну мысль о необходимости продолжать русское книгопечатание за границей и в случае смерти Герцена опираться во всем на Огарёва.

Суждения Герцена в письме от 10 июля могли быть навеяны впечатлениями от двух свиданий с Чернышевским — в четверг 7 июля и, может быть, в субботу 9 июля. Разумеется, субботняя встреча становилась возможной только при условии, если Герцен и Огарёв, несколько изменив первоначальные намерения пробыть на море два дня, возвратились в Фулем к 9 июля. На вероятность свидания в субботу указывает записка, посланная Герценом Д.В. Стасову 11 июля на французском языке и со всеми мерами предосторожности: «Господина, который был в субботу в Фулеме, очень просят прийти снова завтра, во вторник, между 3 и 10 часами»²³. «Был» еще не значит «виделся», но все же нельзя совсем отвергать 9 июля как день очередной встречи участников переговоров.

Считается, что Чернышевский пренебрег приглашением Герцена, и встреча 9 июля была последней²⁴. Бесспорных доказательств на этот счет, однако, не находится. Между прочим, Антонович со слов Чернышевского, рассказывавшего ему историю поездки к Герцену некоторое время спустя, вспоминал: «Чернышевский сейчас же встал и немедленно стал прощаться с Герценом, который пытался его остановить, но он сказал, что ему некогда, что он спешит и ему надобно скоро уезжать, и он ушел немедленно»²⁵. Ни 7 июля, ни 9 такой спешки быть не могло.

Назначенный Герценом вторник — это 12 июля. Как полагают исследователи, в этот день встреча не состоялась. Доказательством выдвинуто письмо Д.В. Стасова к брату, написанное в ночь с 11 на 12 июля, чтобы успеть отправить его с Чернышевским в Петербург. Однако сам по себе этот факт не является достаточным свидетельством для вывода об отъезде Чернышевского утром 12 июля, не повидавшись с Герценом²⁶. Просто Стасов знал, как насыщен для Чернышевского день 12 июля, и он постарался передать свое послание как можно раньше. Да и у самого Стасова этот день был предельно расписан, как свидетельствуют его записи в дневнике: до обеда он побывал

в Британском и анатомическом музеях, а вечер провел в театре («Вечер в Генрихе VIII. Что за характер»)²⁷. В назначенный Герценом день Чернышевский еще находился в Лондоне, что подтверждается его собственноручной припиской на конверте с письмом Д.В. Стасова, врученным адресату по приезду: «Дмитрий Васильевич жив, здоров и благополучен. Я виделся с ним во вторник» (XIV, 379). Вне сомнений, это был вторник 30 июня / 12 июля. Наконец, свидетельство Н.А. Тучковой-Огарёвой, на которое обычно ссылаются («кажется, Герцен и Чернышевский виделись не более двух раз»²⁸), обставлено у нее самой довольно серьезной оговоркой и само нуждается в подтверждении, поэтому расцениваться как безусловное не может.

Итак, всех встреч могло быть четыре – 6, 7, 9 и 12 июля по новому стилю, но пока только первая дата засвидетельствована документально.

Среди первоисточников, исходящих от Чернышевского и относящихся к его свиданию с Герценом и Огарёвым, первым по хронологии является недатированное письмо Чернышевского к Добролюбову, посланное из Лондона.

Приведем текст письма полностью.

«Посылаю Вам, Николай Александрович, продолжение политики. Остальные листы привезу с собою, а ворочусь в Петербург на Штеттинском пароходе, который отходит в субботу 4 числа старого стиля, поэтому будет в Петербурге 7 числа. Оставаться здесь долее было бы скучно. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если бы знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него. Собственно здесь я с удовольствием прожил бы месяцы и годы – я нахожу, что здешние нравы лучше всего подходят к здравому смыслу, т.е. нравы туземцев. Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате – вот Вам все» (XIV, 379).

Письмо явилось результатом только что состоявшихся встреч, и эта непосредственность отклика придает ему, сравнительно с другими источниками, особое значение и содержательность.

«Ездил не понапрасну» – следовательно, Герцен дал обещание печатно снять оскорбительное обвинение в пособничестве «Современника» реакционным силам. Это составляло главную задачу поездки. И Добролюбов, как мы помним, писал в дневнике: «...если

намеки есть, то необходимо, чтобы Г<ерцен> печатно же от него отказался и взял назад свои слова». И действительно, спустя месяц после знаменательного свидания, в 49-м листе «Колокола» за 1859 г. помещено краткое пояснение, в котором редактор писал: «...Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что это не было в уме нашем. <...> Мы вовсе не знаем, кто писал статьи, против которых мы сочли себя вправе сказать несколько слов, искренно желая, чтоб наш совет обратил на себя внимание»²⁹. Как видим, смягчая выговор «Современнику», Герцен продолжал настаивать на важности данного петербургскому журналу совета, как говорилось в статье «Very dangerous!!!», «вместо освидетельствований <...> самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью»³⁰. В беседах с Чернышевским Герцен и Огарёв не отступили от намеченной программы. Вот почему встречаться с издателями «Колокола» Чернышевскому, по его словам, было «скучно». Чернышевский знал, что Некрасов, перенесший ряд личных оскорблений от Герцена, резко отозвался бы о барских, аристократических замашках Герцена. Но Некрасов «скажет все-таки что-нибудь лучшее», т.е. даст более или менее положительную характеристику политической роли руководителей «Колокола». «Значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно», — напомним, что это слова Некрасова в передаче Добролюбова. И чтобы у Добролюбова не оставалось иллюзий относительно политических убеждений Герцена и Огарёва, Чернышевский прибегнул к сравнению с Кавелиным: «Кавелин в квадрате — вот Вам все». В научной литературе эта фраза привычно истолковывается как «Герцен — Кавелин в квадрате». Но в письме к Добролюбову Чернышевский пишет не об одном Герцене, а о своих «теперешних собеседниках», каждый из которых напомнил суждения типичного либерала Кавелина. Поэтому Герцен и Огарёв — «Кавелин в квадрате». В чем именно, в ответе на какие вопросы русской жизни столь резко разошлись участники встречи — об этом письмо умалчивает. Чернышевский лишь в самых общих чертах отметил принципиальность расхождений, избрав формулировки, наиболее понятные Добролюбову и наилучшим образом передающие общее впечатление от переговоров.

Необходимо пояснить еще одно место в письме, связанное с именем А.Н. Пыпина: «Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пройдет это письмо...» Уже высказывалось предположение, что отрицательный отзыв Чернышевского о Герцене был бы неприятен Пыпину, горячему поклоннику издателя «Колокола»³¹. Источники подтверждают это предположение. Так, в

письме Пыпина к П.П. Пекарскому из Лондона от 10/22 мая 1858 г. читаем: «...Мое пребывание в Лондоне проходит так весело, поучительно, занимательно, что эти две недели останутся навсегда в моей памяти. Я встретился тут с тем, что составляло предмет самого пыльного моего любопытства; я увидел тут ту деятельность и тех людей, о которых мы так много думаем в России и которые имеют так много цены для нас»³². А в письме к нему же от 4/16 июня он подтверждал: «К Лондону я остаюсь, однако, до сих пор расположен в той же степени, как и прежде, и останусь, вероятно, и всегда»³³. Имея в виду беседы с Герценом, Пыпин писал К.Д. Кавелину 10/22 июля 1858 г., что «жизнь в Лондоне по разным обстоятельствам останется одним из лучших воспоминаний моего путешествия»³⁴. Пыпин не все принимал в оценках Чернышевским русского общественного движения. «Новостей из Петербурга после отъезда Чернышевского, т.е. уже месяца полтора, — писал Пыпин Кавелину 9/21 августа 1859 г., — я не имею ровно никаких. Да и вообще мои сведения о любезном отечестве в последнее время очень отрывочны, а рассказам очевидцев не могу совсем верить, потому что они весьма разноречивы. Я не мог помирить рассказов Чернышевского > рассказами Чичерина»³⁵.

Чернышевский, разумеется, знал об отношении его двоюродного брата к Герцену. Поэтому слова «не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина» свидетельствуют об отрицательном впечатлении, вынесенном Чернышевским из Фулема.

Однако было ли письмо в действительности послано через Пыпина? Такой вопрос, как показывают источники, вполне может быть поставлен. Вот письмо Пыпина к Б.И. Утину от 6/18 июля 1859 г.: «Как Вам показался Чернышевский? Да, кстати, напишите мне, если знаете, до каких результатов он дошел в толках с нашими знакомыми. Это меня в высшей степени интересует. Он писал мне из Штеттина, но писал только о своих личных впечатлениях, которых я более или менее ожидал и угадывал; меня интересует другая сторона. Он устроил истинно необыкновенное путешествие...» Примерно о том же Пыпин писал Утину в ответном письме от 15/27 июля: «Ваши известия о Чернышевском, к моему сожалению, подтверждаются тем, что я узнал еще от Стасова. Сам он писал мне из Штеттина в весьма разочарованном духе. Очень жаль, если дело с знакомыми кончилось неопределенно и осталось между ними недоразумение, потому что, наконец, и те и другие — люди порядочные, и притом знакомые-то не совсем правы. Чернышевский, — замечает Пыпин, — имеет свойство не тотчас сходиться с людьми мало знакомыми. Он уже не в первый раз производит очень ложное

впечатление на людей, с которыми встречается ненадолго. Не стоило хлопотать из такого результата. Может быть, будет что-нибудь дальше...»³⁶ Текст письма позволяет говорить о существовании нежелательного для Чернышевского отзыва Герцена. Но зачем было Чернышевскому писать Пыпину из Штеттина о своих впечатлениях, если Пыпин уже был знаком с письмом Чернышевского к Добролюбову? По-видимому, Чернышевский действительно намеревался воспользоваться посредничеством брата, но отослал письмо и рукопись «Политики» с другой оказией, а ему написал из Штеттина 4/16 июля (письмо неизвестно).

Для исследователей лондонской встречи Чернышевского с Герценом особое значение имеют мемуары, доступными из которых стали воспоминания С.Г. Стахевича, А.В. Захарьина, М.А. Антоновича, Г.Е. Благодетлова, Н.А. Тучковой-Огарёвой, Н.Н. Ге. Большинство мемуаров составлены спустя много лет после совершившихся событий. К тому же ни один из авторов участником встречи не был, и их сообщения не во всех случаях точно передают сведения, полученные от Чернышевского или Герцена в разное время и при разных обстоятельствах. Поэтому следует строго дифференцировать все тексты прежде всего с точки зрения их достоверности.

Заслуживающими особого доверия называют воспоминания С.Г. Стахевича, товарища Чернышевского по каторге в 1864–1870-х гг. И это не случайно. При составлении мемуаров он пользовался материалами своего дневника, что придавало сообщениям конкретность, точность, объективность. Привлекает также добросовестность в исполнении труда: передавая факты, в достоверности которых он сам сомневался, мемуарист всегда заранее предупреждал о своих сомнениях. Стахевич «довольно часто посещал Чернышевского», и тот «был всегда доволен приходом Стахевича, относился к нему очень радушно»³⁷.

Впервые о поездке Чернышевского в Лондон Стахевич узнал, как он пишет, в конце 1861 или 1862 г. от Н.А. Сачавы, своего товарища по медико-хирургической академии³⁸. Поэтому когда Чернышевский заговорил о своей поездке сам, для Стахевича это известие уже не было новостью, но так как о содержании беседы Чернышевского с Герценом Сачава ничего не сообщил, он с особым вниманием отнесся к словам Чернышевского. «Николай Гаврилович упоминал о своей поездке за границу (кажется, в 1859 году) и о разговоре с Герценом приблизительно в таких выражениях: “Я напал на Герцена за чисто обличительный характер “Колокола”. Если бы, говорю ему, наше правительство было бы чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения: эти обличения дают ему возможность дер-

жать своих агентов в узде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое: “Ceterum senseo, Carthaginem delendam esse”^{1*}. Именем Карфагена Николай Гаврилович означал в данном случае, очевидно, самодержавие»³⁹.

Первоначально воспоминания Стахевича публиковались в газете «Закаспийское обозрение» в 1905 г., и приведенный нами фрагмент имел там несколько иную редакцию: «Прекрасно помню, что Николай Гаврилович упоминал о своей поездке за границу (кажется, в 1859 году) и о разговорах с Герценом. Сущность разговора была та, что Николай Гаврилович нападал на Герцена за чисто обличительный характер “Колокола”». Далее в кавычках следовали слова Чернышевского, точно совпадающие с публикацией 1928 г. и перепечаткой в книге «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» (М., 1982). «Смысл тирады Николая Гавриловича, — писал Стахевич в заключение, — я передал верно; за точность выражений не ручаюсь»⁴⁰. В этом отрывке мемуарист высказал большую уверенность в достоверности сообщаемого: «прекрасно помню», «смысл тирады <...> я передал верно»⁴¹.

Затем Стахевич передал рассказ Чернышевского о П.А. Бахметеве⁴², в частности, о посещении Бахметевым Герцена и вручении ему значительной суммы на пропаганду. «Слушая этот рассказ, — вспоминал Стахевич, — я был того мнения, что Николай Гаврилович слышал его лично от Герцена; однако я не помню, чтобы он именно так и выразился, что слышал все от Герцена лично. Может быть, мое мнение было ошибочно, и рассказ о Бахметеве дошел до него уже из третьих рук. Но заключительные слова Николая Гавриловича я помню с полной точностью: “В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева”»⁴³.

Упоминание о Бахметеве как предполагаемой теме лондонских бесед сопровождается у мемуариста такими серьезными оговорками, что признать это фактом можно лишь в случае его подкрепления дополнительными достоверными документами. Подобная попытка существует. Одним из аргументов выдвигается совпадение «вплоть до деталей» описания встречи Бахметева с Герценом в «Былом и думах» и рассказа Стахевича («принес деньги в футляре-узелке, рассыпал их и т.п.»). Другим аргументом выдвинуто упоминание о ро-

^{1*} Кроме того, я думаю, Карфаген необходимо разрушить (*лат.*).

мане «Что делать?» в черновой редакции «Былого и дум»: «В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи. Чернышевский <...> рассказал этот случай в “Что делать?” с изменением <...> разумеется, обстоятельств». «Не остается сомнения, что именно Герцен рассказал обо всем Чернышевскому во время их встречи и, следовательно, неизбежно касался при этом издательской деятельности и революционной пропаганды, деньги на которую оставил Бахметев»⁴⁴.

Анализ источников ставит под сомнение объективность подобного утверждения. Посмотрим сначала, действительно ли совпадал «вплоть до деталей» рассказ Стахевича с описанием в «Былом и думах». «Он, — писал о Чернышевском Стахевич, — прибавлял подробности, называя их забавными, о том, как этот чудак (т.е. Бахметев) вошел к Герцену с каким-то узлом в руках, как он развертывал салфетку, в которой были завязаны денежные пачки, как несколько пачек выскользнули и рассыпались на полу». В «Былом и думах», где описание встреч с Бахметевым занимает более пяти страниц текста, ни одной из сообщенных Стахевичем подробностей и деталей не встречается. Там мы находим рассказ о том, как первоначально Бахметеву, явившемуся в банк вместе с Герценом, выдали всю сумму ассигнациями, как Бахметев пожелал тридцать тысяч взять золотом и после этого Герценом была составлена расписка на деньги, оставляемые на дело пропаганды, как, наконец, расстроили Бахметева десять фунтов, которых по вине кассира (это выяснилось позже) недоставало в полученных тридцати тысячах. «Успокоившись, — рассказывал Герцен, — он поехал ко мне обедать, а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и... и тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом футляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов»⁴⁵. Этот рассказ, как видим, во всех своих деталях-подробностях совершенно расходится с воспоминаниями Чернышевского в передаче Стахевича.

Столь же неубедительным оказывается и второй аргумент. Приведем обе редакции — печатную и рукописную (черновую) — отрывка из указываемой главы «Молодая эмиграция».

В печати: «В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи <...> чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня».

В рукописи: «В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи. [Чернышевский [употребил] рассказал

этот случай в “Что делать?” с изменениями [подобный случай], разумеется, обстоятельств. От двух-трех наших знакомых узнали, наконец, что деньги действительно хранятся у меня»⁴⁶.

Сопоставление отрывков показывает, что первая фраза черного варианта при опубликовании оставлена без изменений, а из нее вытекает, что в России о бахметевском фонде «долгое время никто не знал». Из контекста — не один год, а Чернышевский посетил Герцена через одиннадцать месяцев после Бахметева. Слово «никто» также очень категорично и не делает ни для кого исключения. Далее Герцен указал на возникновение «смутных слухов» и (в рукописи) на известный эпизод из «Что делать?» как подтверждение широкого распространения этих слухов. И только потом от «двух-трех наших знакомых» (в печатном тексте — «приятелей», Чернышевский к таковым причислен быть никак не мог) узнали, что «деньги действительно есть» и хранятся у Герцена. Следовательно, по Герцену, только после 1863 г. (роман Чернышевского печатался в этом году) доподлинно узнали о существовании особого фонда, и Герцен в рукописи «Былого и дум» поведал историю с появлением в конце 1863 г. некоего молодого человека, потребовавшего часть денег из бахметевского вложения. Рукописный вариант сообщения о «Что делать?» в «Былом и думах» не может служить аргументом в утверждении, будто Герцен говорил Чернышевскому о Бахметеве.

Подробности посещения Бахметевым Герцена, приведенные Стахевичем, возможно, рассказаны Чернышевскому неизвестным нам лицом (Пыпиным?). Стахевич сам писал: «Может быть, мое мнение было ошибочно, и рассказ о Бахметеве дошел до него уже из третьих рук». Сомнение мемуариста значительно усиливает и следующая фраза: «Я не помню, чтобы он именно так и выразился, что слышал это все от Герцена лично». Таким образом, «бахметьевский» сюжет не мог быть предметом обсуждения участников июльской лондонской встречи 1859 г.

О сообщенной Стахевичем критике Чернышевским программы «Колокола» упоминает и другой современник, А.В. Захарьин, дальний родственник Чернышевских, в небольшой рукописной вставке на полях черновика «Записки» А.Н. Пыпина от 18 февраля 1881 г. об освобождении Чернышевского: «Свидание в Лондоне по крестьянскому вопросу. Он советовал Герцену заняться серьезно этим предметом и менее раздражать личности помещением разных сплетен и рассказов скабрезного характера. Вообще не быть памфлетистом, а серьезным публицистом, соответствовать требо<ваниям> времени и положению дел родины»⁴⁷.

Автор заметки, как видим, не был осведомлен о подробностях бесед лондонской тройки, если содержание переговоров свел к одному лишь крестьянскому вопросу. Но нет оснований сомневаться в объективности его сообщения. Обсуждая с Герценом направление «Колокола», Чернышевский действительно мог дать ему совет стать «серьезным публицистом». Вспомним непосредственно предшествующую поездке Чернышевского в Лондон его статью «Г. Чичерин как публицист» с рассуждениями о задачах «публициста, пишущего по-русски».

Одним из свидетелей встречи Чернышевского с Герценом была Н.А. Тучкова-Огарёва. Она не присутствовала на самих переговорах, но довольно категорична в передаче их содержания.

Она пишет: «...До его посещения кто-то (не помню именно, кто) приезжал от него из России с запросом к Герцену; вот в чем состоял этот запрос: если издание “Современника” будет запрещено в России, чего ожидали тогда, согласен ли будет Герцен печатать “Современник” в вольной русской типографии в Лондоне? На это предложение Герцен был безусловно согласен. Тогда Чернышевский решил ехать сам в Лондон для личных переговоров с Александром Ивановичем. <...> Кажется, Герцен и Чернышевский виделись не более двух раз. Герцену думалось, что в Чернышевском недостает откровенности, что он не высказывается вполне; эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество. <...> Вести, привезенные Чернышевским, были не утешительны, исполнены печальных ожиданий. На счет издания “Современника” они столковались в несколько слов: Чернышевский обещал, если нужно будет, высылать рукописи и деньги, нужные на бумагу и печать, корректуру должны были держать Герцен и Огарёв, потому что Чернецкий не мог взяться за поправки типографии, по совершенному незнанию русского языка»⁴⁸.

Недоверие к сообщениям мемуаристки широко известно. Еще М.К. Лемке убедительно доказал недостоверность основной части ее воспоминаний⁴⁹. «Не обладала пониманием исторического содержания наблюдаемых ею явлений жизни», «немало в ее оценках поверхностных суждений и просто предвзятости», «другие ошибки вызваны явными промахами памяти» — такими характеристиками предварены издания ее мемуаров⁵⁰. Эти выводы применимы и к рассматриваемому фрагменту, в котором допущены неточности и фактические ошибки.

Появлению Чернышевского, утверждала Тучкова-Огарёва, предшествовало свидание Герцена с кем-то из России, посланным специально для предварительного обсуждения вопроса об издании

«Современника» в Лондоне в случае запрещения журнала, «чего ожидали тогда». В 1859 г. закрытия «Современника» никто не предполагал и не ожидал, поэтому вопрос о перенесении его издания за границу обсуждаться с Герценом не мог. А ведь именно с переговорами на эту тему связывала Тучкова-Огарёва визит Чернышевского в Лондон. В ее памяти, несомненно, произошла перестановка событий, и факты 1862 г., например помещенное в «Колоколе» объявление Герцена о согласии печатать «Современник» у себя, помещены на 1859 г. «Вести, привезенные Чернышевским, — пишет она, — были не утешительны, исполнены печальных ожиданий». По контексту это будто бы ожидание закрытия «Современника», но, может быть, Чернышевский пессимистически обрисовал ход крестьянской реформы? Остается только догадываться относительно слов мемуаристики. Она либо не знала вовсе, либо основательно забыла подробности, связанные с приездом Чернышевского.

Более точна Тучкова-Огарёва в передаче впечатления, произведенного Чернышевским на Герцена. Перед нами хотя и недостаточно конкретная и далеко не исчерпывающая, но в известной мере объективная характеристика, в основном совпадающая с другими свидетельствами.

Выразителен рассказ публициста-демократа Г.Е. Благодетлова, близко знавшего и Герцена, и Чернышевского. Этот рассказ со ссылкой на «московского литератора Павлова» введен в научный обиход В.П. Батуриным в 1901 г.

«Удивительно умный человек, — сказал Герцен о Чернышевском, — и тем более при таком уме поразительно его самомнение. Ведь он уверен, что “Современник” представляет из себя пуп России. Нас грешных они совсем похоронили. Ну, только кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной, — мы еще поживем!» «Какой умница! Какой умница! — восклицал в свою очередь Чернышевский. — И как отстал... Ведь он до сих пор думает, что продолжает остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идет с страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет! Присмотришься — у него все еще в нутре московский барин сидит!»⁵¹

Рассказ свидетельствует прежде всего о чувстве взаимного уважения, которое Герцен и Чернышевский вынесли из свидания. Но в то же время эти краткие взаимные оценки позволяют говорить и о серьезных расхождениях, обнаружившихся при обсуждении направлений «Колокола» и «Современника».

Сообщение Благодетлова настолько органично вписывается в содержание рассматриваемых материалов, что его следует признать

ценнейшим среди всех остальных, включенных нами в состав косвенных свидетельств.

Мемуарные записи М.А. Антоновича мы уже охарактеризовали в целом и говорили о возможности их использования только после строгой критической проверки. К цитируемым ниже фрагментам это относится, может быть, еще в большей степени, чем к каким-либо другим.

Сведения о знаменательной встрече содержатся в его статье «Поездка Н.Г. Чернышевского в Лондон к А.И. Герцену». Однако несмотря на многообещающее название, собственно воспоминаний статья почти не содержит, и автор выступает здесь менее всего как мемуарист.

Еще в статье «Памяти Н.Г. Чернышевского» Антонович вспоминал, что «через несколько месяцев после первой встречи» (следовательно, не ранее первой половины 1861 г.) он «коротко сблизился» с Чернышевским и «стал для него своим человеком; он удостоивал меня своей откровенностью и запросто поверял мне свои задушевные мысли и чувства». Во время бесед за чаепитием он часто «разражался самообличениями»⁵². В статье, посвященной поездке Чернышевского в Лондон, Антонович писал: «Во время одного из таких чаепитий он, рассказавши об одной неловкости, которую на днях сделал, назвал ее глупостью, и затем самым серьезным и повышенным тоном продолжал: “Да, это была глупость, и вообще я в свою жизнь проделал много глупостей. Но эта глупость ничто в сравнении с той колоссальной глупостью, которую я совершил, отправившись на поклон к Герцену. Явившись к нему, я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства, и до того расчувствовался, что у меня в глазах появились слезы, — не верите, ей-богу, уверяю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня и возражать, но я не останавливался и говорил, что я не все еще сказал и скоро кончу. Когда я кончил, Герцен окинул меня олимпийским взглядом и холодным поучительным тоном произнес такое решение: “Да, с вашей узкой партийной точки зрения это понятно и может быть оправдано; но с общей логической точки зрения это заслуживает строгого осуждения и ничем не может быть оправдано”. Его важный вид и его решение просто ошеломили меня, и все мое существо с его настроениями и чувствами перевернулось верх ногами. Чернышевский сейчас же встал и немедленно стал прощаться с Герценом, который пытался остановить его, но он сказал, что ему некогда, что он спешит и ему надобно скоро уезжать, и он ушел немедленно. Чернышевский умолк... У меня не хватило духу спросить его, что же такое он говорил и как возражал Герцен. <...> Че-

рез несколько месяцев Чернышевский, тоже за послебанным чаем, рассказал мне о своем разговоре с Некрасовым об экономическом положении «Современника». Этот разговор он тоже назвал глупостью с его стороны, «как это часто бывает со мной», — прибавил он. «Но, конечно, эта глупость, — громко и выразительно оказал он, — все же не такая колоссальная глупость, как моя поездка к Герцену, о которой, кажется, я уже говорил вам когда-то». Тут уж я осмелился и сказал ему: «Да, вы сказали мне об ней несколько слов, но не сообщили того, что же именно вы говорили ему и он вам, а это было бы интересно знать». «Ах, не говорите, пожалуйста, — резко вскрикнул он, — мне крайне неприятно и обидно вспоминать об этой поездке, и я усиленно стараюсь забыть всю эту историю». Затем умолк и медленно перевел разговор на другие темы»⁵³.

Отметим прежде всего следующее. Весь этот отрывок из воспоминаний помещен в составе последней, заключительной, пятой по счету части статьи. Содержание же первых четырех посвящено подробной характеристике исторической обстановки, предшествовавшей поездке Чернышевского, и пересказу некоторых печатных источников по теме, сопровождаемому цитированием из статьи, по словам Антоновича, «компетентнейшего и беспристрастнейшего историка нашей новейшей литературы» В.Я. Богучарского «Столкновение двух течений общественной мысли» (1904). Среди этих источников — сочинения Герцена, Чернышевского, Добролюбова (в том числе его дневник). Свою компиляцию Антонович завершает выводом: поездка Чернышевского оказалась напрасной, результатов никаких не имела и ничего хорошего для «Современника» не дала. «Трудно сказать, — заключал Антонович, — отчего это произошло, вследствие ли упрямства Герцена или вследствие неудачного исполнения Чернышевским порученной ему дипломатической миссии. Последнее довольно вероятно. Ведь вообразите себе, что Чернышевский, вместо коленопреклонений и заискиваний, совершенно в духе Добролюбова и совершенно серьезно выпалил бы те шуточки и остроты, которые он говорил по поводу статьи, — ужели Герцен не принял бы этого за личное оскорбление. А затем, как увидим дальше, Чернышевский показал, что он не желает разговаривать и препираться с ним, — разве это целесообразное исполнение миссии?»⁵⁴ Вслед за этими рассуждениями Антонович привел личное воспоминание, цитированное нами выше, призванное подкрепить его выводы.

Заметим, что Чернышевский не так уж и доверителен был с Антоновичем, которому он не раскрыл-таки содержания бесед с Герценом. В свою очередь Антонович весьма противоречив в сво-

их личных воспоминаниях. В самом деле, не «совершенно в духе Добролюбова», а именно «коленипреклоненным», как это уверяет автор мемуарного отрывка, предстал Чернышевский перед Герценом, к которому он отправился на «поклон». Чернышевский, свидетельствовал Антонович, «разоткровенничался, раскрыл свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства», так что «в глазах появились слезы». Еще замечание, существенное для выяснения ценности мемуаров Антоновича. Он называет Герцена то «противником» Чернышевского (между прочим, о Кавелине он писал, что петербургский профессор расхвалился с Чернышевским во всех общих воззрениях, но не был «противником», «врагом»), то заявляет, что Герцен и «Современник» не были «двумя противоположными и враждебными лагерями», это были «две части одного лагеря и вовсе не враждебные, а согласные между собою в большинстве принципов и пунктов и разногласные только в некоторых частностях»⁵⁵. Этот вывод прочно вошел в научную литературу как свидетельство осведомленного и авторитетного современника. Между тем в данном конкретном случае Антонович выступает как раз не в качестве мемуариста. Отрывок извлечен из компилятивной части статьи, и источник суждений Антоновича следует искать в печатных изданиях. По нашему убеждению, указанный фрагмент является не чем иным, как реминисценцией из предисловия Герцена к «Письму из провинции», напечатанного в «Колоколе» в 1860 г. Герцен утверждал здесь, отвечая автору «Письма»: «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе нашего действия. Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления»⁵⁶. Прочитав у Герцена эти строчки, Антонович решил, что характеристика отношений с русскими радикалами, данная самим Герценом, отражает действительные отношения Герцена с редакцией «Современника» в 1859 г. К тому же Антонович противоречив в общей оценке всего конфликта, вызванного «Very dangerous!!!». Соглашаясь с Богучарским, квалифицировавшим этот конфликт как «столкновение двух течений общественной мысли», он выписывает из его книги резкий отзыв о статье «Very dangerous!!!» и называет этот отзыв «справедливым», причем свои воспоминания толкует как «изложение мотивов и оснований этого справедливого приговора». И вдруг несколькими страницами ниже Антонович резко восстает против концепции Богучарского, против объяснения исследователем резкости Герцена в статье «Very dangerous!!!» разницей «между его барской натурой и натурой новоявленных разночинцев». Когда же Антонович пытается сам разобраться в действительных причинах конфликта 1859 г., то обнаруживает еще большую беспомощность. Он склонен объяснять

полемическое выступление Герцена то влиянием Тургенева, то ненавистью Герцена к Некрасову, то — и это его окончательное мнение — «неудачным исполнением Чернышевским порученной ему дипломатической миссии». Вместе с тем ответ Герцена в «Колоколе» в августе 1859 г. Антонович называет «изворотливым объяснением», «комическим результатом поездки Чернышевского», который «уверенно ожидал» бесполезности свидания с Герценом. Автор воспоминаний подтверждает, что Чернышевский не был доволен своей поездкой к Герцену, и что о своих объяснениях с ним «насколько мне известно, — пишет Антонович, — никому не говорил, а если и говорил, то, вероятно, одному только Добролюбову, а, может быть, еще и Некрасову»⁵⁷.

Интерес представляют также воспоминания Н.Н. Ге, автора живописного портрета Герцена. В период работы над портретом художник часто беседовал с позировавшим ему Герценом и однажды, в связи с высказываниями Герцена о женевских эмигрантах и взаимоотношениях с молодой русской эмиграцией, зашла речь и о Чернышевском. «Он его не полюбил, — рассказывал Ге, — ему показался он неискренним, “себе на уме”, как он выразился»⁵⁸.

Три года спустя после появления в печати мемуаров Н.Н. Ге был составлен биографический очерк о художнике. Автор очерка В.В. Стасов более подробно, на основании личного архива Ге, рассказал о встрече и знакомстве портретиста с Герценом. По-видимому, новыми материалами относительно высказывания Герцена о Чернышевском (в записи Ге) Стасов не располагал, так как приведенный выше отрывок был процитирован без изменений, разве что слова «себе на уме» даны без кавычек. Стасов писал: «Почему Чернышевский показался Герцену “неискренним”, почему и за что Герцен невзлюбил Чернышевского (надо полагать, что в Чернышевском, кроме искренности и неискренности, могли быть и другие качества) — все это так и остается неизвестным»⁵⁹. Таково свидетельство Н.Н. Ге, очень краткое, но выразительное по содержанию и почти полностью совпадающее с ранее рассмотренными свидетельствами.

С материалами, связанными с лондонским свиданием, исследователи объединяют дарственную надпись Чернышевского на его книге «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855): «Александру Ивановичу Герцену с благоговением подносит автор». Надпись не датирована. Считается, что книга была подарена Герцену во время встречи в Лондоне, иначе автор не написал бы «подносит»⁶⁰. Между тем выражение «подносит» само по себе еще не является достаточным доказательством пре-

поднесения книги из рук в руки. Чернышевский мог передать ее с кем-нибудь и раньше⁶¹, подчеркнув словом «подносит» глубокое личное расположение к Герцену. Такая ситуация оказалась вполне возможной, например, в 1856 г. перед отъездом за границу Н.П. Огарёва. Рассмотрим наше предположение внимательнее. Известно, что Огарёв с женой прибыли в Петербург около 10 ноября 1855 г. хлопотать о получении заграничного паспорта. Все это время вплоть до отъезда он часто виделся с И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, В.П. Боткиным, П.В. Анненковым, А.Н. Островским, К.Д. Кавелиным, т.е. с литераторами и учеными, с которыми в ту пору поддерживал достаточно близкие отношения и Чернышевский. «Тург<енев> и Соллогуб так протрубили об стихах Ог<арева>, что все, даже вовсе не знакомые, хотят его видеть», — сообщала Н.А. Тучкова-Огарёва сестре в декабре 1855 г., а в письме к ней же от 14 декабря извещала: «Ог<арёв> теперь на вечере у Тург<енева>; опять читает “Зимний путь”»⁶². Тургенев действительно немало содействовал распространению поэмы Огарёва до ее опубликования. Так, на вечер 14 декабря он пригласил профессора А.В. Никитенко⁶³ — следовательно, собирался широкий круг слушателей, и среди них вполне мог оказаться Чернышевский, интерес которого к Огарёву во многом объяснялся близостью поэта к Герцену. В рецензии на стихотворения Огарёва, опубликованной в сентябре 1856 г., Чернышевский особо выделил тему дружбы в поэзии Огарёва, намекая на его дружеские связи с Герценом. Именно к Герцену обращены слова о «предшественниках» и «учителях», к которым, убежден Чернышевский, новое поколение деятелей должно сохранять глубочайшую признательность (III, 563–567). Упоминания об «Огарёве и его друзьях» в «Очерках гоголевского периода русской литературы» служили замаскированным указанием на Герцена (III, 215–218, 221–223). Косвенным подтверждением факта личного знакомства Чернышевского с Огарёвым может послужить письмо Чернышевского к А.С. Зеленому от апреля 1857 г. Сообщая «несколько известий из нашего литературного мира», автор письма называет Некрасова, Тургенева, Л. Толстого, Фета, Островского, Боткина, Дружинина, Краевского, т.е. людей, ему лично знакомых, и среди них Огарёв, который «все еще за границей» (XIV, 343). Верный дружбе с Герценом, Огарёв, отправлявшийся в Лондон (он приехал туда в марте 1856 г.), в глазах петербуржцев олицетворял как бы самого Герцена, которому Чернышевский «с благоговением» и поднес экземпляр своей недавно вышедшей из печати книги. Подобное предположение вполне согласуется с обстановкой конца 1855 — начала 1856 г., когда несогласие Чернышевского с «некоторыми поня-

тиями Герцена» еще уступало чувству «благоговения». В 1859 г. Чернышевский не мог испытывать и высказывать подобного чувства.

Несмотря на значительный круг дошедших до нас материалов, выявить тематику переговоров Чернышевского с Герценом и Огарёвым полностью пока не удастся. Твердо установленным можно лишь считать, что во время свидания предметом обсуждения стали проблемы, определившие направления «Колокола» и «Современника» к середине 1859 г. (крестьянский вопрос, гласность, «обличительная» литература, «лишние» люди). Предположения, будто участниками встречи в Лондоне обсуждались вопросы создания тайной революционной организации и совместного руководства движением, а также издания за границей «Современника» и проблемы революционной пропаганды, источниками не подтверждаются.

В результате бесед Чернышевский добился от руководителей «Колокола» обещания публично отступить от обвинения редакции «Современника» в подкупе. Герцен, кроме того, объявил, что в его критике «петербургских собратий» имелось в виду направление журнала в целом, а не только статьи Добролюбова. В остальном же издатель «Колокола» остался на прежних позициях, обусловленных иллюзиями относительно возможности осуществления глубоких демократических преобразований при сохранении в России абсолютной монархии.

Поездка Чернышевского к Герцену привлекла внимание довольно широкого круга литературных и общественных деятелей. Находившийся за границей Кавелин сразу же после опубликования статьи «Very dangerous!!!» дал знать Герцену о желании посетить его, и тот с «нетерпением» ждал визита⁶⁴. В конце июля они встретились. Кавелин полностью одобрил позицию редакторов «Колокола». «Теперь связь опять так же крепка, как была 12 лет тому назад, и это для меня невыразимое утешение», — сообщал Кавелин А.А. Станкевичу 9/21 августа по поводу встречи с Герценом⁶⁵. В тот же день он писал Огарёву: «Знамя, которое вы держите, так велико и свято, значение его так всеобъемлюще для нас, что в нем вы должны черпать силы на дальнейшие подвиги. Что нужды, что многие его не понимают, другие понимают глупо и плоско. Это удел всего нового. Некоторые понимают его вполне, и этого совершенно довольно. <...> Можете быть уверены, что дело ваше выигранное, и должны смело идти вперед, не смущаясь ни порицаниями, ни советами»⁶⁶. В этих словах нашли осуждение как либералы-консерваторы типа Чичерина, так и деятели «Современника».

В.П. Боткин, побывавший у Герцена в середине июля, писал И.С. Тургеневу 11/23 августа 1859 г.: «Слышал ли ты о посещении,

которое сделал в Лондон Чернышевский? Оно характерно»⁶⁷. Тургенев тут же обратился к Герцену с запросом: «...Правда ли, что тебя посетил Чер<ныше>вский, и в чем состояла цель его посещения, и как он тебе понравился?» Ответ Тургенев просил направить Е.Я. Колбасину и А.А. Шеншину (Фету), «которые очень интересуются этим», а «я, — писал Тургенев, — все узнаю в Петербурге»⁶⁸. Неизвестно, выполнил ли Герцен эту просьбу, но очевиден повышенный интерес современников к событию, сразу получившему в литературной среде широкий резонанс.

Примечания

- ¹ См.: *Коротков Ю.Н.* Господин, который был в субботу в Фулеме // Прометей. 1971. Вып. 8. С. 185.
- ² Северная пчела. 1859. 12 июня. № 126 С. 508.
- ³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 418. Л. 69, 74.
- ⁴ Там же. Д. 496. Л. 181 об.
- ⁵ Там же. Л. 182 об. Опубликовано с ошибочной заменой слова «благополучен» на «легким» в кн.: *Новикова Н.Н., Клосс Б.М.* Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. М., 1981. С. 46.
- ⁶ См.: *Богословская Л.П.* Д.В. Стасов и его роль в организации встречи Чернышевского с Герценом // Чернышевский и его эпоха. М., 1980. С. 196; *Новикова Н.Н., Клосс Б.М.* Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. С. 52.
- ⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 184. Ср.: XIV, 817.
- ⁸ О преследовании русским правительством лиц, подозревавшихся в связях с Герценом, см.: *Эйдельман Н.Я.* Тайные корреспонденты «Полярной Звезды». М., 1966.
- ⁹ *Козьмин Б.П.* К истории поездки Чернышевского к Герцену в Лондон // Литературное наследство. М., 1959. Т. 67. С. 128.
- ¹⁰ *Некрасов* (1967). Т. 8. С. 264.
- ¹¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 186. См. также: XIV, 817.
- ¹² *Козьмин Б.П.* Литература и история. М., 1969. С. 42. См. также: *Емельянов Ю.Н.* Список лиц, выезжавших за границу в 1857–1861 гг. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1970. С. 370.
- ¹³ Прометей. Вып. 8. С. 168.
- ¹⁴ ИРЛИ. Фонд К.Д. Кавелина. Д. 20688/СХІ б. 10. Л. 1.
- ¹⁵ ЛН. Т. 67. С. 125–126, 128. Предположение Н.Н. Новиковой о выезде Чернышевского из Петербурга не 17 июня, а несколькими днями раньше и соответственно более раннем прибытии в

Лондон должно быть, следовательно, отклонено (*Новикова Н.Н., Клосс Б.М.* Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 г. С. 46, 59).

¹⁶ ИРЛИ. Фонд К.Д. Кавелина. Д. 20635/СХЛІ. б. 2. Л. 2 об.

¹⁷ *Герцен*. Т. XXVI. С. 267.

¹⁸ ИРЛИ. Ф. 294. Оп. 4. Д. 530. Л. 14; Прометей. Т. 8. С. 168. Однако в книгах о Чернышевском продолжали настаивать на прежней ошибочной дате приезда Чернышевского в Лондон 26 июня / 8 июля. См.: *Ланщиков А.* Н.Г. Чернышевский. М., 1987. С. 209.

¹⁹ *Герцен*. Т. XXVII. С. 281.

²⁰ Там же.

²¹ Установлено в работе: *Рейсер С.А.* Добролюбов и Герцен // Известия АН СССР. Отд. общест. наук. 1936. № 1–2. С. 182. Это обстоятельство и вызвало задержку Чернышевского с отъездом из Петербурга в Лондон (см. примеч. Э.С. Виленской в кн.: *Козьмин Б.П.* Литература и история. М., 1969. С. 496).

²² *Добролюбов*. Т. 4. С. 384–385.

²³ *Герцен*. Т. XXVI. С. 282. О связи этой безымянной записки с Чернышевским см.: Прометей. Т. 8. С. 167.

²⁴ Ю.Н. Коротков утверждает, что 27 июня / 9 июля был вторым и последним днем встречи Чернышевского с Герценом (Прометей. Т. 8. С. 169). См. также: *Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859–1864.* М., 1983. С. 56; *Семенов В.* Александр Герцен. М., 1989. С. 253.

²⁵ Шестидесятые годы: *М.А. Антонович.* Воспоминания... С. 92.

²⁶ Прометей. Т. 8. С. 183.

²⁷ ИРЛИ. Ф. 294. Оп. 4. Д. 530. Л. 15. Кстати сказать, в записях Стасова не отмечено, что он был у Герцена 12 июля вечером (ср.: *Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859–1864.* М., 1983. С. 58).

²⁸ Воспоминания Н.А. Тучковой-Огарёвой // *Русская старина.* 1894. № 10. С. 33.

²⁹ *Герцен*. Т. XIV. С. 138.

³⁰ Там же. С. 121.

³¹ ЛН. Т. 67. С. 124, 296.

³² РОРНБ. Архив П.П. Пекарского. Д. 355. Л. 3. Другой отрывок из этого письма с упоминанием встретившихся Пыпину в Лондоне русских путешественников опубликован в кн.: *Тургенев.* Письма Т. 3. С. 560.

³³ РОРНБ. Архив П.П. Пекарского. Д. 355. Л. 3. об. В этом же письме Пыпин сообщал, что «выехал из Лондона 29-го», т.е. 17/29 мая 1859 г.

³⁴ ИРЛИ. Фонд К.Д. Кавелина. Д. 20635/СХЛІ б. 2. Л. 1.

- ³⁵ Там же. Л. 6.
- ³⁶ ЛН. Т. 67. С. 126, 128. По возвращении из Англии Чернышевский писал и отцу в том же «разочарованном духе», хотя, разумеется, Герцен не упоминался. О настроении Чернышевского судим по ответу его отца от 24 июля на письмо от 14 июля 1859 г.: «Если действительно не завидно пребывание за границею, что же тянет туда наших земляков, толпами за границу едущих» (XIV, 817; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 188).
- ³⁷ *Баллод П.Д.* Воспоминания о Н.Г. Чернышевском // Н.Г. Чернышевский: Сб. статей, документов и воспоминаний. М., 1928. С. 46.
- ³⁸ *Стахевич С.Г.* Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский: Сб. статей, документов и воспоминаний. М., 1928. С. 56–57.
- ³⁹ Воспоминания. Т. 2. (1959). С. 90–91. Ценные комментарии к мемуару С.Г. Стахевича в этом издании принадлежат Т.И. Усакиной; Воспоминания (1982). С. 334–335.
- ⁴⁰ Закаспийское обозрение. 1905. 25 сентября. № 243. С. 2.
- ⁴¹ В работах М.В. Нечкиной начала 1950-х годов были попытки истолковать воспоминания С.Г. Стахевича как «прямое свидетельство», «полностью» подтверждающее, что Чернышевский, Герцен и Огарёв «говорили непосредственно о создании тайной организации, о темах ее политической программы – о республике, например» (*Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. М., 1980. С. 256). Убедительно доказана произвольность, неосновательность такой интерпретации фактов (см.: *Козьмин Б.П.* К вопросу о целях и результатах поездки Н.Г. Чернышевского к А.И. Герцену в Лондон в 1859 г. // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1955. Т. XIV. Вып. 2. С. 173). Об этой полемике см. содержательные комментарии Э.С. Виленской в кн.: *Козьмин Б.* Литература и история: Сб. статей. М., 1969. С. 493–499.
- ⁴² Павел Александрович Бахметев был короткое время учеником Чернышевского в Саратовской гимназии. См.: Научная биография (1828–1853), раздел «Приезд в Саратов».
- ⁴³ Воспоминания (1982). С. 335.
- ⁴⁴ Там же; *Порох И.В.* Герцен и Чернышевский. С. 135–136
- ⁴⁵ Воспоминания (1982). С. 335; *Герцен*. Т. XI. С. 344–349, 348.
- ⁴⁶ *Герцен*. Т. XI. С. 348, 622.
- ⁴⁷ Впервые опубликовано в кн.: *Новикова Н.Н., Клосс Б.М.* Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. С. 41.
- ⁴⁸ Воспоминания *Н.А. Тучковой-Огарёвой* // Русская старина. 1894. № 10. С. 33.

- ⁴⁹ *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1919. Т. X. С. 19.
- ⁵⁰ См. напр.: *Путинцев В.А.* Вступ. статья и примеч. в изд.: *Тучкова-Огарёва Н.А.* Воспоминания. М., 1959. С. 16. Ср.: *Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. С. 274.
- ⁵¹ *Б <атуринский> В.* Герцен и Тургенев // Вестник всемирной истории. 1901. № 3. Февраль. С. 140; *Батурицкий В.П.* А.И. Герцен, его друзья и знакомые. СПб., 1904. Т. 1. С. 103.
- ⁵² Новый журнал для всех. 1909. № 13. С. 90.
- ⁵³ Шестидесятые годы: *М.А. Антонович.* Воспоминания... С. 91–93.
- ⁵⁴ Там же. С. 90.
- ⁵⁵ Там же. С. 88.
- ⁵⁶ *Герцен.* Т. XIV. С. 239.
- ⁵⁷ Шестидесятые годы: *М.А. Антонович.* Воспоминания... С. 78, 83–84, 87, 90.
- ⁵⁸ *Ге Н.* Встречи // Северный вестник. 1894. № 3. С. 240.
- ⁵⁹ *Стасов В.В.* Николай Николаевич Ге. Биографический очерк // Книжки недели. 1897. Февраль. С. 181–182, 187.
- ⁶⁰ См.: Революционная ситуация в России в середине XIX в. / Под ред. акад. М.В. Нечкиной. М., 1978. С. 154–155; *Эйдельман Н.Я.* К истории лондонской встречи Чернышевского с Герценом // Чернышевский и его эпоха. М., 1979. С. 110–118. *Новикова Н.Н., Клосс Б.М.* Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. С. 52–54.
- ⁶¹ «Не исключено, однако, что книга была переслана Герцену, например, с А.Н. Пыпиным или еще раньше через кого-нибудь из общих знакомых» (Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859–1864. М., 1983. С. 55).
- ⁶² Русские пропилеи. М., 1917. Т. 4. С. 142–146.
- ⁶³ Тургенев. Письма. Т. II. С. 331.
- ⁶⁴ Герцен. Т. XXVI. С. 278.
- ⁶⁵ ОПИГИМ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 68. Л. 55.
- ⁶⁶ Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 42, 43.
- ⁶⁷ *Боткин В.П.* и *Тургенев И.С.* Неизданная переписка. М.; Л., 1930. С. 157.
- ⁶⁸ Тургенев. Письма. Т. III. С. 340.

Глава вторая

Во главе освободительного движения

3. В Саратове

Из заграничной поездки Чернышевский вернулся на пароходе «Владимир» 7 июля (XIV, 379)¹. Вскоре он пишет записку И.А. Панаеву с просьбой о деньгах (200 руб. серебром) для поездки в Саратов (XIV, 380)². В «Летописи» дата прибытия указана приблизительно: «до 31 июля»³, между тем в саратовском письме Чернышевского к Добролюбову от 31 июля, послужившем основанием для датировки, читаем: «...Посылаю окончание статьи. Только здесь, вчера и ныне написал я большую часть. На пароходе можно было писать только во время непродолжительных остановок у пристаней. <...> Написанного я не успел перечитать...» (XIV, 380). Речь в письме шла о «Политике», и автор явно спешил с ее окончанием не только из-за опасения пропустить ближайшую почту, которая в ту пору отправлялась из Саратова в Москву лишь дважды в неделю, по вторникам и пятницам, — он торопился поспеть к августовской книжке «Современника». Поэтому над статьей он работал без перерыва сразу же по приезде к отцу — «вчера и ныне», т.е. 30 и 31 июля. Следовательно, в Саратов он прибыл в четверг 30 июля.

Николай Гаврилович приехал не один. Он привез с собой свояченицу, Анну Сократовну, около года жившую в Петербурге у Чернышевских⁴. На ее возвращении к своим пенатам настояла Ольга Сократовна, воспротивившаяся браку своей сестры с Добролюбовым. «Она милая, добрая девушка; но она пустыньская девушка. <...> Моя сестра не пара Николаю Александровичу», — говорила О.С. Чернышевская мужу (XV, 139)⁵.

Сведения о пребывании Чернышевского в Саратове чрезвычайно скудны, и биографу сложно выстраивать весь эпизод, не получивший подробного изложения в существующих работах о писателе. Однако и сохранившиеся данные позволяют восстановить важнейшие события августа 1859 г. в его жизни, приобретающие интерес в герценовском контексте.

Сколько можно судить по источникам, единственной статьёй, над которой он работал в Саратове, была законченная в конце июля «Политика», основное же время отдавалось отдыху и широким общением. «Виделись мы с ним только во время обеда да утром за чаем, а то больше его все дома не было», — вспоминала двоюродная сестра Чернышевского Ек.Н. Пыпина⁶.

Из ближайших знакомых в Саратове он встретил Е.А. Белова, служившего инспектором классов в Мариинском институте благородных девиц (с начала 1859 г.) и учителем географии в гимназии⁷. Белов по предложению Чернышевского участвовал в переводе «Истории восемнадцатого столетия» Ф. Шлоссера для «Исторической библиотеки». Так, в записке И.А. Панаеву от 2 октября 1859 г. Чернышевский просил выслать Белову в Саратов деньги «за 6-й том» (XIV, 382) — эту работу он мог получить в августе. По крайней мере, жена Белова, Матильда Алексеевна, впоследствии вспоминала (в письме к Г.Г. Дыбову от 5 июня 1905 г.): «В 1857 году, когда я вышла замуж, Чернышевский уже жил в Петербурге и Евгений Александрович с ним виделся только, когда он летом приезжал к своим родным в Саратов»⁸.

Другой крупной фигурой среди прогрессивной саратовской интеллигенции той поры был Д.Л. Мордовцев. Утвердилось мнение, будто знакомство Чернышевского с ним состоялось в 1854 г. Биограф Мордовцева приводит в доказательство строки из его «Автобиографии» (1884): «Из молодых литераторов в конце университетского курса я был знаком с Чернышевским»⁹. Но «был знаком» еще не означает первую встречу, а скорее подтверждает факт давнего знакомства. Согласно источникам, Чернышевский знал Мордовцева еще в ту пору, когда тот вместе с А.Н. Пыпиным учился в саратовской гимназии. В письме, отосланном Чернышевским-студентом из Петербурга в Саратов 25 октября 1846 г., он просил брата передать поклон друзьям-гимназистам, в том числе Мордовцеву (XIV, 71). В письмах к Мордовцеву Пыпин постоянно упоминал о Чернышевском. Например, в ноябре 1850 г. поделился впечатлениями о его новых литературных замыслах¹⁰. В августе 1853 г. Чернышевский сообщал отцу об именинах Александра Пыпина, которые отпраздновали в квартире Чернышевских, «вечером, — прибавлял он, — был у Сашеньки Мордовцев» (XIV, 239).

В саратовской гимназии Мордовцев находился в 1844–1850 гг., затем учился в Казанском и Петербургском университетах и в Саратове приехал на жительство в 1854 г. – Чернышевский оставил родной город годом раньше¹¹. Здесь Мордовцев сближается с Н.И. Костомаровым и по его рекомендации становится редактором местной газеты (с 14 августа 1856 по 31 августа 1861 г.)¹².

Встречи Мордовцева с Чернышевским в 1859 г. могли происходить, вероятно, только в первую неделю августа, так как по распоряжению губернатора от 7 августа он увольнялся в отпуск на четыре месяца в Москву и Петербург¹³. При встрече (или встречах) Чернышевский не мог не передать Мордовцеву подробности о Пыпине, с которым немногим более месяца назад виделся в Париже. Возможно, речь заходила и о Герцене, но вряд ли Чернышевский был здесь откровенен: для него не составляло тайны преклонение Мордовцева перед авторитетом издателя «Колокола». «Пятидесятые годы <...>, а точнее конец пятидесятых годов, – вспоминал впоследствии сам Мордовцев, – это были годы всяческих обличений. Герцен громко звонил в свой говорящий “Колокол” в Лондоне. Отец Тарас и багатом и пугачом моржевал всякую щедрую неправду, что весь мир заполонила. <...> А уж говорится: куда иголка – туда и нитка. Я и был тогда такой же ниткой, куда Герцен и отец Тарас, туда и я»¹⁴. Отец Тарас – Т.Г. Шевченко.

Особой близости с Мордовцевым не возникало еще и потому, что тот, следуя взглядам Н.И. Костомарова, был увлечен идеей славянской федерации, к которой Чернышевский относился критически¹⁵.

Бывая у редактора саратовской газеты, Чернышевский, конечно, виделся и с А.Н. Пасхаловой, ставшей женой Мордовцева в 1854 г. и имевшей от этого брака дочь Веру¹⁶. Из знакомых Чернышевского по 1851–1853 гг. в Саратове продолжал жить врач С.Ф. Стефани¹⁷. В августе 1859 г. Чернышевский мог встретить председателя палаты гражданского суда Г.С. Воскресенского, бывшего преподавателя духовной семинарии¹⁸. Бывший семинарист Федор Колеров, одноклассник Чернышевского, занимал должность столоначальника палаты уголовного суда. Другой выпускник семинарии – Василий Промптов – служил канцелярским чиновником в губернском правлении. Учившийся у Чернышевского в гимназии Тимофей Тищенко числился столоначальником палаты государственных имуществ. Василия Эргина, выпускника гимназии 1851 г., служившего помощником столоначальника губернского правления, 14 августа 1859 г. переместили канцелярским чиновником дворянского депутатского собрания. В штате канцелярии губернатора служил другой ученик Чернышевского Виссарион Дурасов¹⁹. Виделся Чернышевский и

с товарищем своих детских лет В.Д. Чесноковым. «Помню, — рассказывала одна из сестер Пыпиных, Евгения или Полина, — что в первый раз узнала “Парадный подъезд” от Николая Гавриловича, который с большим чувством продекламировал его нам с сестрой во время переезда поздним уже вечером в Саратов из Пристанного, где мы были вместе с ним у В.Д. Чеснокова. Н.Г. очень взволновал нас этим стихотворением, и я до сих пор не могу забыть всей яркости полученного впечатления. “Парадный подъезд” только что был написан»²⁰. Речь идет о стихотворении Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

С весны 1859 г. в Саратове поселился Н.А. Мордвинов, назначенный управляющим губернской удельной конторой, — либеральный деятель, в прошлом петрашевец, а с 1860 г. тайный корреспондент «Колокола»²¹. Однако мы не располагаем достаточно вескими доказательствами знакомства с ним Чернышевского. Приводимый исследователями из статьи Чернышевского «Суеверие и правила логики» отрывок о Мордвинове («теперь мы нашли там начальником одного из частных управлений человека <...> безукоризненной честности и большого ума» с примечанием: «Мы говорим о М<ордвинове>, управляющем удельною конторою» — V, 705)²² не имеет, однако, силы свидетельства самого Чернышевского, поскольку, как указывал Чернышевский по требованию цензора, весь отрывок (V, 704—707), включая строки о Мордвинове, приведен Чернышевским «из рукописной статьи под заглавием “О взяточничестве и причинах его”, присланной в редакцию “Современника” каким-то господином, подписавшим под нею буквы А. 3-ов» (V, 987). К тому же Е.А. Белов утверждал, что Н.А. Мордвинов не был знаком с Чернышевским и не любил его как писателя»²³.

За прошедшие годы после отъезда Чернышевского из Саратова в 1853 г. город не изменился — те же обыватели, почти тот же общественный застой. Одну из своих августовских статей 1859 г. в местной газете М.А. Лакомте, учитель гимназии, поступивший на службу через два года после оставления гимназии Чернышевским, начал характерной фразой: «Кто не знает того, как бедна общественная жизнь в провинции или как вообще не развита эта общественность»²⁴. И это несмотря на шестое место, какое, как сообщала местная пресса, заняла Саратовская губерния «по числу учащегося юношества» в ряду 49 губерний империи, т.е. «после трех Остзейских, С.-Петербургской и Самарской»²⁵. Тем не менее в городе было всего три маломощные и дорогостоящие типографии, две книжные лавки, из 4542 дворян губернии на местную газету подписались всего 167 человек²⁶. Автор «Письма из Саратова», опубликованного в

одной из столичных газет в начале 1859 г. за подписью М. (вероятно, Д.Л. Мордовцев), сообщал: из 80 000 жителей города числятся подписчиками в книжной лавке А.Н. Костякова только 13 человек, «в ряду человеческих потребностей, — писал автор заметки, — чтение, по крайней мере у нас, самая последняя, без которой можно обойтись. Правда, есть какие-то потребности в обществе, но их нелегко уловить. Щедрин, например, прочитан был и понят людьми более развитыми, многим он не понравился, иных простодушно возмутил; а “Тысячу душ” <А.Ф. Писемского> прочитали все нарасхват и долго говорили, хотя не все понимали истинное значение характера Калиновича. Громека читается только образованными чиновниками»²⁷. «Всем известно (да полно ли, всем ли?), что у нас в Саратове две книжные лавки, гг. Костяковых и Брауна с комп.», — не без иронии писал в августе 1859 г. в «Смеси» местных «Ведомостей» Мордовцев. И тут же с горечью прибавлял, что очень ценного, давно разошедшегося в столицах труда Н.И. Костомарова «Богдан Хмельницкий» «никто до сих пор не взял ни одного экземпляра»²⁸.

Справедливые нарекания поступали и в адрес книготорговцев. Лавка Брауна не удовлетворяла «желание хотя небольшого кружка образованных людей следить за современностью», — писал М.А. Лакомте в статье «Наши желания относительно книжной торговли в Саратове»²⁹. Обещание открыть «в скором времени» (сообщение опубликовано в марте 1859 г.) подписку на русские журналы и газеты, в том числе «Современник» с «Исторической библиотекой», «Русское слово», «Атеней», «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения», осталось только на словах. «М.М. Браун, — извещал редактор газеты, — получил плохие книги, подписался на 15 газет и журналов, но до сих пор почти ничего не получает» (заметка напечатана в июле). Сетую на плохое посещение театра молодыми чиновниками, П. Зарубаев в одном из сентябрьских номеров газеты писал: «...Или они очень устают от дневной работы, или просто, я думаю, обломовщину совершают». Объясненное Добролюбовым понятие «обломовщина» уже входило в живую практику провинциальной газетной публицистики, наступающей на обывательскую неподвижность и рутину. Газета Мордовцева тормозила саратовцев, призывала к общественной активности. И.А. Новиков, автор «Письма в редакцию», высказался в том смысле, что «теперь уже и в провинции зло и невежество родеют, прячутся, не решаются открыто, как прежде, вступить в борьбу с добром и истиною, которые, в свою очередь, с каждым днем смелее и смелее вступают в законные свои права». Письмо завершалось призывом создать в Саратове провинциальный журнал³⁰. Мордовцев в специальной статье

«По поводу письма в редакцию» поддержал эту идею. Наверняка и Чернышевский, один из редакторов крупнейшего в России журнала был посвящен в это движение. Однако ни о каком журнале в провинции в ту пору нечего было и мечтать, и едва родившаяся мысль не нашла поддержки у властей.

Та же участь постигла и другую важную инициативу, исходившую из кружка передовой саратовской интеллигенции в 1850-е годы, — желание видеть Саратов университетским городом. Замысел создания в Саратове университета впервые был сформулирован в отчете саратовского губернатора А.Д. Игнатьева за 1858 г. В разделе «Виды и предположения» начальник губернии писал об «общем желании дворянства и всех просвещенных сословий ходатайствовать об открытии в Саратове университета, хотя для двух факультетов: юридического и камерального». «По населению, далеко превосходящему население Дерпта, Харькова, Вильно, Казани и даже Киева, и по отдаленности от других университетов, — убеждал губернатор, — Саратов вместе с окружающими его губерниями нуждается в высшем учебном заведении»³¹. Губернаторские отчеты не публиковались и, по обыкновению, оседали в архиве Министерства внутренних дел. Отклика не последовало.

В начале 1859 г. в одном из петербургских журналов появилась анонимная статья «Нечто об университетах», в которой предлагалось «разгрузить» столичные университеты путем создания высших школ в крупных провинциальных городах. «Не указывает ли нам, — писал автор, — огромное число студентов в Москве на необходимость учреждения высшего учебного заведения на Нижней Волге, например, в Саратове, — первом по количеству населения между всеми губернскими городами нашими»³². Некто Г. В-ский, побывавший в Саратове летом 1858 г., писал в столичной газете, обращаясь к волжскому городу: «Недаром передовые умы нашего времени пророчат тебе университет, быть может, это время уже недалеко!»³³ «Передовые умы» здесь не названы, но остается фактом, что самыми крупными именами для Саратова той эпохи были, несомненно, Н.Г. Чернышевский, Н.И. Костомаров, Д.Л. Мордовцев. Не случайно именно с ними саратовские историки связывали идею саратовского университета. «Не пришло ли время ввиду скорого наступления торжества открытия Саратовского университета, — писал И.П. Горизонтов в 1909 г., когда вопрос был наконец решен в правительстве, — вспомнить о всех этих лицах — Чернышевском, Костомарове, Мордовцевой и Мордовцеве — и помянуть память их хотя бы запоздалой благодарностью. Ведь так или иначе, а они — кто крылатым словесным призывом, а кто красноречивым печатным

словом — сначала родили великую идею, а затем способствовали ее воплощению в жизнь»³⁴. «Обращаясь к этому выдающемуся явлению, — читаем в другой статье, — необходимо припомнить, что мысль о нем много десятков лет тому назад зародилась в недрах саратовской интеллигенции, во главе которой стоял покойный Чернышевский. Но в эпоху Чернышевского о высшем учебном заведении в Саратове можно было только мечтать, не помышляя о реализации этих гордых мечтаний»³⁵.

Приезд Чернышевского в Саратов совпал с окончанием работы губернского комитета по крестьянскому делу — вопрос, которому редакция «Современника» уделяла первоочередное внимание. После царских рескриптов конца 1857 — начала 1858 года такие комитеты создавались повсеместно, и документ, испрашивающий «Высочайшее соизволение на открытие в Саратове комитета для составления проекта правил об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян», был подписан губернатором А.Д. Игнатьевым 27 января, а соответствующее разрешение датировано 9 марта 1858 г. Открытие комитета состоялось 2 сентября. Его председателем был назначен губернский предводитель дворянства кн. В.А. Щербатов, делопроизводителем — Н.И. Костомаров³⁶. Свою работу комитет завершил 8 апреля 1859 г., представив «два проекта срочно-обязанного и выкупного положений». Сообщая об этом, местная газета прибавляла, что «многие» из членов саратовского комитета «выразились искренним сочувствием к участи поселянина и полным желанием улучшить его положение»³⁷.

В статье Чернышевского «Материалы для решения крестьянского вопроса», опубликованной в октябрьской книжке «Современника» за 1859 г., находим строки, в которых позволительно видеть отражение и саратовских данных. Отвергая мнение иных критиков, предрекавших губернским комитетам «неспособность, невежество, бестолковость», Чернышевский отмечает, что «в провинциальных захолустьях нашлось множество людей чрезвычайно образованных, привыкших думать, хорошо приготовленных к обсуждению задач, им предложенных». Однако, указывал Чернышевский, несмотря на «очень полезное» влияние губернских комитетов на ход крестьянского вопроса, они все же не могли успешно решить все задачи уже потому, что «они были представителями исключительно только одной стороны, интересов которых касается крестьянский вопрос», между тем «надобно ближе узнать мысли и интересы другой стороны, именно самих поселян» (V, 712, 713).

В связь с пребыванием в Саратове Чернышевского можно поставить и включение им в состав своей статьи «Суеверие и правила

логики», опубликованной в той же книжке журнала, упомянутой нами выше записки некоего А. З-ова «О взяточничестве и причинах его», составленной по саратовским материалам. Автор записки, по словам Чернышевского, «довольно верно» объясняет причины взяточничества, связывая их с общей системой беззакония. В записке упомянуты саратовский губернатор М.Л. Кожевников, «человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело», управляющий саратовской удельною конторою Н.А. Мордвинов, человек «безукоризненной честности и большого ума», но и при них, пишет автор, должности продавались, суда и управы не было, «грабительство было повсеместно» (V, 705).

Август 1859 г. — время продолжающегося народного движения, известного под названием «питейных бунтов», когда крестьяне протестовали против непомерного повышения цен на водку и вообще отказывались покупать и пить вино. Факты объединения крестьян встревожили правительство, и оно прибегло к применению военной силы³⁸. Чернышевский поместил в начале 1859 г. в «Современнике» («Свистке») статью «Вредная добродетель», указывающую на «силу самоотвержения» участвующих в движении трезвости. О разрушительных последствиях действующей откупной системы сообщала саратовская пресса. В одной из заметок читаем: «Пьянство на сельских ярмарках страшное, тем более что оно подстрекается и поддерживается разными хитрыми выдумками темных слуг откупа»³⁹. В июне 1859 г. в г. Вольске и ряде сел Саратовской губернии крестьяне разгромили 54 откупных учреждения. Эти «питейные бунты» удалось подавить только к середине июля с помощью войск. В последующие месяцы при губернаторе действовала специальная следственная комиссия. По Саратовской губернии суду были преданы 18 крестьян и девять нижних чинов в отставке, крестьянам Вольского и Хвалынского уездов предписывалось возместить убытки в сумме до 100 тысяч рублей⁴⁰. Опубликованная в конце 1860 г. статья Чернышевского «Предложения г. Закревского относительно винного акциза» свидетельствует о широкой осведомленности автора о положении дел, касающихся винных откупов.

Из Саратова Чернышевский отправился 23 августа в 6 часов вечера. Дата указана в неопубликованном письме его отца к Ольге Соколатовне от 28 августа 1859 г.⁴¹ С Чернышевским в Петербург была отправлена его двоюродная сестра Полина Пыпина⁴².

Проведенный в родных местах месяц дал Чернышевскому возможность отдохнуть после поездки за границу. Саратовские впечатления не прошли бесследно для его творческой работы. Но главным итогом, думается, были напряженные размышления над результа-

тами поездки к Герцену. Мы не найдем прямых свидетельств на этот счет да и вряд ли они обнаружатся когда-либо, однако последующая его работа в «Современнике» обнаруживает «следы» бесед с издателем «Колокола».

Примечания

- ¹ СПб. ведомости. 1859. 12 июля. № 150.
- ² Свою записку Чернышевский поместил «пятницей», эти дни приходились на 10 и 17 июля. Вероятнее всего, записка послана 17 июля.
- ³ Летопись. С. 174.
- ⁴ Беседы о прошлом (рассказы Е.Н. Пыпиной в записях Н.М. Чернышевской). Саратов, 1983. С. 40.
- ⁵ См. также: <Чернышевский Н.Г.> Материалы для биографии Добролюбова. М., 1890. С. 496.
- ⁶ Беседы о прошлом (рассказы Е.Н. Пыпиной...). С. 40.
- ⁷ ГАСО. Ф. 13. Оп. 8. Д. 764; Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Саратов, 1859. С. 13. О взаимоотношениях Чернышевского с Беловым см.: *Порох И.В.*: «Вместе и в одном направлении» // Пропагандист великого наследия. Саратов, 1984. С. 107–112; Научная биография (1828–1853), раздел «В местном обществе».
- ⁸ ГАСО. Ф. 407. Оп. 1. № 928.
- ⁹ *Момот В.С.* Даниил Лукич Мордовцев. Ростов, 1978. С. 30. Ср.: *Варганова Н.А.* Д.Л. Мордовцев: саратовские страницы биографии и творчества / Под ред. А.А. Демченко. Саратов, 2003. — 115 с.
- ¹⁰ См.: *Глинский Б.Б.* Александр Николаевич Пыпин (Материалы для биографии и характеристики) // Исторический вестник. 1905. № 1. С. 281, 282.
- ¹¹ Широкое распространение получили сведения, будто Чернышевский и Мордовцев жили в Саратове в одно время. Эти неверные данные связаны с утверждениями И.А. Воронова: Чернышевский «был тогда учителем Саратовской гимназии, а второй служил в конторе иностранных поселений» (*Воронов И.* Николай Иванович Костомаров и его деятельность во время ссылки в Саратове в пятидесятых годах прошлого века // Русская старина. 1907. Декабрь. С. 677; см. также: *Момот В.С.* Даниил Лукич Мордовцев. С. 37).
- ¹² ГАСО. Ф. 407. Оп. 1. Д. 2041.
- ¹³ Саратовские губернские ведомости. 1859. 8 августа. № 32. С. 234.

- ¹⁴ Цит. по кн.: *Момот В.С.* Даниил Лукич Мордовцев. С. 41–42.
- ¹⁵ См.: Научная биография (1828–1853), раздел «В местном обществе».
- ¹⁶ См.: там же; В.Д. Мордовцева родилась 22 июля 1855 г. (ГАСО. Ф. 407. Оп. 1. Д. 2041).
- ¹⁷ Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. С. 6.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Саратов. губ. ведомости. 1859. 10 января. № 2. С. 9; 17 января. № 3. С. 11; 24 января. № 4. С. 23; 27 июня. № 26. С. 190; 22 августа. № 34. С. 252.
- ²⁰ Воспоминания (1982). С. 80.
- ²¹ См.: *Порох И.В.* История в человеке. Н.А. Мордвинов – деятель общественного движения в России 40–80-х годов XIX века. Саратов, 1971. С. 55–65.
- ²² Там же. С. 53. См. также: *Чернышевская Н.М.* Н.Г. Чернышевский и Саратов. Саратов, 1978. С. 138.
- ²³ Воспоминания (1982). С. 149.
- ²⁴ Саратов. губ. ведомости. 1859. 29 августа. № 35. С. 220.
- ²⁵ Там же. 17 января. № 3. С. 18.
- ²⁶ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1408. Л. 1. об., 44 об. – 45.
- ²⁷ Русский дневник. 1859. 11 января, № 8. Калинович – герой романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ». С.С. Громека – публицист «Отечественных записок».
- ²⁸ Саратов. губ. ведомости. 1859. 1 августа. № 31. С. 177, 178.
- ²⁹ Там же. 15 августа. № 33. С. 204.
- ³⁰ Там же. 7 марта. № 10. С. 54; 4 июля. № 27. С. 150.
- ³¹ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1408. Л. 69–70.
- ³² Экономический указатель. 1859. 7 февраля. № 110. С. 129.
- ³³ Северная пчела. 1859. 14 июля. № 150. С. 603. Другие связанные с этой темой материалы см.: Сушицкий В. Саратовский университет и Н.Г. Чернышевский. 1909–1934 / Под ред. В.А. Артисевич. Саратов, 1934; *Попкова Н.А.* Десятый русский университет. Саратов, 1990; *Соломонов В.А.* Императорский Николаевский Саратовский университет. История открытия и становления (1909–1917). Саратов, 1999; *Демченко А.А.* Саратовский государственный университет и Н.Г. Чернышевский. Саратов, 2014.
- ³⁴ Саратовский вестник. 1909. 29 ноября. № 263. С. 4.
- ³⁵ Там же. 6 декабря. № 269. С. 3. Имя Чернышевского было присвоено университету внутренним распоряжением в октябре 1922 г. и закреплено правительственным постановлением 4 октября 1923 г.
- ³⁶ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1363. Л. 11, 20–23, 80, 90.

³⁷ Саратов. губ. ведомости. 1859. 2 мая. № 18. С. 103, 104.

³⁸ *Нифонтов А.С.* Статистика крестьянских движений в России 50-х годов 19 века (по материалам III отделения) // Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России. М., 1961. С. 187.

³⁹ Саратов. губ. ведомости. 1859. 6 июня. № 23. С. 128.

⁴⁰ *Потетенькин П.М.* Крестьянские волнения в Саратовской губернии в 1861–1863 гг. Саратов, 1940. С. 21–22.

⁴¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 190; Летопись. С. 175.

⁴² РГАЛИ Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 192. Подробнее о П.Н. Пыпиной см.: Беседы о прошлом (рассказы *Е.Н. Пыпиной...*). С. 59–62.

4. На подступах к разработке теоретических основ демократии

Адресованный издателю «Колокола» совет Чернышевского «выставить определенную политическую программу, скажем, – конституционную, или республиканскую, или социалистическую» (формулировка в передаче С.Г. Стахевича) приобретал в известной мере значение и для самого «Современника». Ко времени встречи Чернышевского с Герценом подцензурный петербургский журнал, располагая меньшими возможностями, чем заграничный «Колокол», все определеннее заявлял о себе как о демократическом издании, объединяющем передовые силы освободительного движения в стране. В укреплении и развитии этого направления, придании ему теоретической прочности и программного обоснования Чернышевский видел свою главную задачу. Именно после бесед с Герценом он усилил ее теоретическое оснащение.

К решению проблемы Чернышевский подошел с чрезвычайной ответственностью как ученый и проницательный политик. Предпринятые им исторические, философские, политико-экономические, социологические исследования имели целью научно обосновать причины и ожидаемые последствия коренных преобразований материальной и политической жизни крестьянского трудового населения России.

Критика либерализма, осложнившаяся спорами с Герценом, определила идейную направленность статей Чернышевского, опубликованных в ближайшее время после поездки в Лондон. Вот как осуществлен, например, анализ внешней политики Франции в международном политическом обзоре, помещенном в июльской книжке «Современника» за 1859 г. и частично написанном еще в

Лондоне. Поведение в войне с Австрией французского императора, напуганного ростом национального освободительного движения в Италии и заключившего спасительное для Австрии перемирие в Виллафранке, подтвердило, указывал автор, политические прогнозы, высказанные «Современником» раньше, а для западноевропейских и русских либералов явилось полной неожиданностью. И далее он обращается к либералам с рядом упреков: «Именно только вашим легковерием, вашим ослеплением торжествовало зло»; «ваши враги становятся гибельны для вас только тою самою силою, которую вы даете им»; «вы честны и хороши, но через ваше непростительное легковерие гибнет все, чего желаете вы сами, через вас вечно страдают народы. Научитесь же хотя сколько-нибудь опытом, будьте осмотрительнее, не веряйтесь и не увлекайте других верить людям, которые не могут ни понимать, ни желать добра, не будьте их помощниками на собственную вашу гибель». Ни одна из прежних статей не сравнится с этой по обилию подобных критических высказываний. Впрочем, свои обращения к либералам Чернышевский вынужден признать «бесплодной дидактикой», так как эти люди все равно ничему не научатся: «Ныне рыба поймана на одну удочку, а завтра все-таки пойдет на другую» (VI, 281, 282).

Еще в международном обзоре, опубликованном в феврале 1859 г., Чернышевский показал беспочвенность высказываемых либералами надежд на освобождение Наполеоном III итальянского народа от австрийского владычества (VI, 62). Рассматривая два месяца спустя вопрос об отношении России к конфликту, готовому вспыхнуть между Францией и Австрией (война началась 29 апреля), Чернышевский высказался против вступления России в войну. Мнение одного из корреспондентов французских газет, будто в России желание войны распространено «во всех сословиях», он решительно отвел: «...Начинать войну без необходимости не желает наше общество» (VI, 160). К тому же славянским народам, страдающим под австрийским владычеством, русский царизм освобождения принести не сможет, и «для произведения улучшений в своем быте» они должны рассчитывать «исключительно на свои силы» (VI, 161–162).

Иную трактовку событий, близкую к либеральной, дал в свое время Герцен в статье «Война и мир» (июнь 1859 г.). Он убежден, что разгром Австрии как «сводного государства» вполне вероятен в сложившихся условиях, и «тогда, какие бы судьбы романского мира ни были, мы всеми парусами входим в новую эпоху». Александр II, отбросив мысль воспользоваться разгромом Австрии, чтобы присоединить к России ряд новых земель, должен найти в себе

силы заявить: Россия «не хочет быть завоевывающей империей с немецким устройством, а славянским государством и мирной главой нового союза» — и освободит Польшу¹. Чернышевский подверг критике подобные иллюзорные упования издателя «Колокола». Виллафранкский мир, неожиданный для многих, опрокинул надежды на разгром Австрии, и «люди, быть может превосходящие нас умом, и знанием, и всеми лестными качествами, — писал Чернышевский в июле 1859 г., прямо намекая на Герцена и намеренно объединяя его с либералами, — оказываются лишены этой, можно сказать, пошлой способности — предвидеть, чем кончится дело, выставляющее себя благим, и постоянно оказываются обманутыми в своей благородной доверчивости, между тем как мы с насмешкою, в которой слышатся стоны, имеем право говорить им: вот вы не изволили соглашаться с нами, а теперь, видите, вышло точно так, как мы предрекали с самого начала» (VI, 323, 324).

Полемизируя с Герценом и либералами, Чернышевский писал в следующем августовском политическом обзоре: «Одной честности мало для того, чтобы быть правым и полезным; нужна также последовательность в идеях. Если вы приняли принцип, не отступайте перед его последствиями; нужна прежде всего рассудительность во взгляде на стремления других, иначе вас обманут и употребят орудием на совершение самых нечестных дел, хотя бы вы были чистейшим человеком» (VI, 338, 339). Из этого обзора цензура исключила заключительные полторы страницы, названные в оглавлении «Урок для либералов». «Либералы (разумеется, в Италии), — писал здесь Чернышевский, — бессильны против реакционеров», потому что в своей программе, наполненной «звонкими фразами» о благе «массы поселян», обыкновенно забывают о потребностях этой массы в коренных изменениях своего материального положения, «и потому масса остается холодна к ним и продолжает по своей апатии давать реакционерам средства к подавлению либералов (в Италии)» (VI, 374—375). Разумеется, настойчивым повторением в скобках об Италии читателям указывалось на проблемы русского освободительного движения. В следующем номере журнала Чернышевский рассуждал об Австрии, опять же имея в виду русские дела: обещания внутренних улучшений австрийским правительством лживы и вызваны лишь стремлениями утвердить авторитет, подорванный военными неудачами; «мы скоро увидим, что почти все обещания свои оно оставит невыполненными, решительно возвратится к реакционной политике, которой следовало до войны. Да и в чем состоят обещанные реформы? Касаются ли они основной причины зла?» (VI, 406). «Кто, кроме либералов, — писал

Чернышевский здесь же, — по природе своей расположенных восхитаться и надеяться, мог находить какую-нибудь существенную важность в этих реформах, которые могли бы иметь действительное значение только тогда, если бы явились лишь второстепенными чертами в общем преобразовании государственных учреждений, во всей системе своей проникнутых духом угнетения?» (VI, 407).

В статье «Свобода журналистики во Франции» (октябрь 1859 г.) снова подчеркнута, что «впадают в ребяческий обман» те, кто сводит дело лишь к дурному окружению императора. Чернышевский приводит здесь выдержку из зарубежной статьи, сущность дипломатической тактики которой «состоит в льстивом противоположении либеральных тенденций императора Франции с реакционными мнениями его советников. Если бы не они, не эти обскуранты, окружающие императора Наполеона, Франция, по словам “*Journal des Debats*”, давно пользовалась бы гораздо большею степенью свободы, чем теперь, потому что только реакционные мнения окружающих людей мешают императору вполне предаться своей любви к либеральным учреждениям» (V, 749). «Утверждали даже, — писал Чернышевский в январском политическом обзоре за 1860 г., — что реакционный министр граф Валевский во Франции принуждает либерального императора действовать вопреки его собственным желаниям. Такие наивности, конечно, не заслуживают возражения: каждому известно, что при внешнем порядке дел французские министры не имеют никакой самостоятельности» (VIII, 10).

Об итальянском либеральном государственном деятеле Кавуре, «об одном из львов настоящей эпохи»², «самом последовательном и прогрессивном представителе современного итальянского движения»³, неизменно упоминаемом «в числе замечательнейших государственных людей, которые когда-либо являлись в истории»⁴, Чернышевский писал как о главе «умеренной партии», шедшей на полезные для нации реформы лишь под давлением национально-освободительного движения. «Представительница рутины», кавуровская партия всегда «ограничивалась тем, что пассивно принимала каждый совершившийся факт, осуществление которого замедляла своею апатичностью, своею недоверчивостью к национальным силам» (VII, 672). «Ярость на нас за Кавура повсюду неописанная», — сообщал Чернышевский Добролюбову в июле 1861 г. (XIV, 436).

Со второй половины 1859 г. Герцен осторожнее и с гораздо более серьезными оговорками, чем прежде, высказывается относительно реформистских намерений Александра II, а в статье «Русские нем-

цы и немецкие русские» проводит мысль о «русском социализме» как идеологической программе «Колокола». Вскоре он заявит о правоте «Современника» в отношении к гласности и обличительной литературе. В обстановке обостряющихся событий в России Герцен допускает критику либералов, порывает с Кавелиным⁵. Однако с либерализмом Герцен связан еще многими сторонами своих взглядов, и принципиальная оценка его позиции Чернышевским обнаруживает существенные различия в понимании проблем реформы и революции.

В контексте теоретических исканий Чернышевского может быть рассмотрен завершенный им в 1859—1860 гг. в составе «Исторической библиотеки» при «Современнике» перевод с немецкого «Истории восемнадцатого столетия» Шлоссера. Над очередными томами Чернышевский усиленно трудится в начале весны 1859 г. «Я в этот месяц, — писал он отцу 3 марта, — занимался главным образом “Историческою библиотекою”, чтобы несколько нагнать просрочки в ее издании. Теперь 4-й том почти весь отпечатан, а 5-й подготовлен к изданию, так что до отъезда в Саратов надеюсь выпустить оба их и приготовить половину 6-го тома» (XIV, 372). Сколько можно судить по конторской книге «Современника», Чернышевскому в переводе помогали Н.М. Михайловский, товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту, В.А. Обручев, автор ряда рецензий в «Современнике», и Дедиша⁶.

В этих последних томах по предложенному Шлоссером условному делению рассматривались третий период истории, характеризующийся борьбой «прогресса и реакции», и последний, четвертый период, в котором «изменения, принесенные революцией предыдущего периода, пользуются для централизации и уничтожения индивидуальности и национальности». Шлоссер ставит задачу показать «тщетные попытки восстановить старый порядок вещей, даже с его внешнею формою, историю переменчивой судьбы защитников народных прав и противников их, историю борьбы эгоизма, упрямства и суеверия против мечтательной филантропии, борьбы истинного одушевления в пользу совершенствования человечества против неверия, тщеславия, дерзости и пошлости, которые скрывают свои бедственные намерения под блестящими предложениями и словами» (т. 1, с. 12—13)⁷. Шлоссер не был безусловным сторонником революций, но он видел их неизбежность в тех исторических ситуациях, когда старое, отжившее, упорствующее в своей системе не уступало позиций. Шлоссер обещал написать дополнение к своему сочинению, чтобы рассказать, каким образом в современной ему истории «хитрые враги каждого благородного и свободного движе-

ния» стремятся восстановить все старое «и тем приготавливают новые революции» (т. 1, с. 14).

Свои воззрения Шлоссер противопоставил «софистам нашего времени», которые «переносят в историю политику какой-нибудь партии и философию какой-нибудь системы» (т. 3, с. 429). Чернышевский, напротив, был убежден, что «политические теории да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ» (VII, 223). Однако демократические симпатии Шлоссера, его объективный взгляд на исторические события давали Чернышевскому возможность вручить русскому читателю материал, не враждебно, не в пользу реакционеров и в этом смысле не тенденциозно истолковывающий революционные периоды истории.

В четвертом томе, вышедшем в марте 1859 г.⁸, актуально для России звучали строки, в которых отмечена безрезультативность реформистских намерений австрийского императора Иосифа II. Монарх «хотел переменить в своих владениях администрацию и правительство, обучение, воспитание и религиозные учреждения, законодательство и судопроизводство, чего, конечно, нельзя было сделать без революции и без совета с народом, а народа Иосиф спрашивать не хотел». Правда, Шлоссера больше интересует моральная сторона дела — «длинная история страданий государя», боровшегося в одиночку (т. 4, с. 301). Чернышевского же привлекала общая характеристика ситуации, когда монарх принимает на себя руководство в подготовке реформ. Исторический материал служит развенчанию либеральных представлений о деятельности императора, в своих реформистских предприятиях противопоставившего себя народу.

По замыслу редактора «Исторической библиотеки», русскому читателю особую пользу могли принести содержащиеся в пятом томе (вышел в мае 1859 г.) материалы о Великой французской революции. Немецкий историк не сомневался, что в целом «эта революция принесла пользу» (т. 4, с. 376) и что «уничтожить тысячелетнее государственное устройство можно только насильем» (т. 5, с. 54). Картины падения монархии ярко живописали проявление исторической закономерности, о которой в подцензурной статье невозможно было рассуждать открыто.

Пятый и последующие тома Шлоссера⁹ адресовались тем единомышленникам «Современника», внимание которых важно было

сосредоточить на конкретных проблемах переломных моментов истории. Шлоссер-моралист недостаточно полон и глубок в своих объяснениях, но приведенные им факты настраивали на серьезные размышления. Немецкий ученый показал, что история Великой французской революции полна драматических моментов, связанных с властолюбивыми намерениями ее руководителей, отложивших в сторону «нравственные принципы» (т. 5, с. 295, 340, 403). Шлоссер повествует о постепенном «уничтожении владычества простолюдинов», совершивших революцию (т. 5, с. 452), о том, что при Наполеоне I «новая конституция сохранила имя и призрак республики, но в сущности ввела монархию» (т. 6, с. 187, 199), «осталась только форма свободы, а не сущность ее» (т. 7, с. 242). «Уничтожая или обессиливая учреждения, которые Новейшее время признало нужными для замещения упавших низвергнутых или ставших никуда не годными средневековых форм, — те учреждения, которые после 1789 г. доставляли народу участие в законодательной власти, — Наполеон хотел учредить новое сословие феодалов и дворян и восстановить старое дворянство, истребленное революцией». Постепенно Наполеон I «оставил только призрак всех тех прав, которые нация с 1789 года купила ценою потоков крови, оставил только призрак приобретенного ею участия в правительстве и администрации» (т. 7, с. 245, 425). Свой труд немецкий историк завершал выводом, который в переводе звучал так: «Все европейские события, начиная с мая 1814 года, принадлежат к истории борьбы демократического принципа с аристократическими привилегиями, дипломатических постановлений с требованиями народов, которым даны были права только на словах, но которые на деле были сильнее прежнего подчинены полицейскому и бюрократическому произволу; поэтому все эти события имеют столь тесную связь с событиями 1848 года, что мы не отваживаемся отделять их от истории 1848 года» (т. 8, с. 411).

Подобный трезвый взгляд на смену революционных периодов реакционными, в недрах которых в свою очередь зреют новые революции, умение объективно оценивать историческую ситуацию воспитывали в читателях глубокий историзм. «Читай и читай пятый том “Исторической библиотеки”, недавно вышедший, — писал Добролюбов одному из своих товарищей 28 июня 1859 г., — там Шлоссер рассказывает о французской революции. Это блаженство — читать его рассказ. Я ничего подобного не читывал. Ни признака азарта, никакого фразерства, так неприятного у Луи Блана и даже Прудона, все спокойно, ровно, уверенно. Прочитаешь его и увидишь, что Николай Гаврилович вышел из его школы...»¹⁰

Внимание читателей к проблемам революции привлечено в ту пору и в статье Чернышевского «Июльская монархия», опубликованной в первой половине 1860 г. и служащей своеобразным комментарием к переводам из Шлоссера. Используя фактический материал «Истории 10 лет» Луи Блана, Чернышевский иначе, чем французский историк, не чуждый экзальтации, объяснил причины поражения французской революции 1832 г. Постоянные упоминания о 1848 г. придавали выводам автора широкий обобщающий смысл, ориентированный и на русскую историческую ситуацию 1860 г. По Чернышевскому, правительство Луи-Филиппа, «не производя никаких важных реформ <...> оставляло в разных слоях общества все прежние причины к недовольству положением дел», «вид этого бессилия июльской монархии сделать что-нибудь в пользу простолудинов постепенно приводил все большее число демократов к мысли, что монархическая форма во Франции несовместна с народными потребностями» (VII, 124). Назревала революция, однако республиканцы не изучили должным образом сложившуюся ситуацию, они явно торопились с восстанием, они «ошиблись, преувеличивая свою надежду на успех». «Они были чрезвычайно малочисленны», и хотя пользовались популярностью между парижскими работниками, те, за исключением очень немногих, не пошли за ними. «Простолудины, — писал Чернышевский, — могли принять участие в их попытке только тогда, если бы предварительно были бы расположены к борьбе или долгою агитациею, или какими-нибудь особенными обстоятельствами. Этого не было». Республиканцы «неблагоразумно согласились с манифестацией, ведущей к столкновениям, и «они дорого поплатились за эту ошибку». Чернышевский осудил подобные «нерасчетливые действия», приведшие к «вредной растрате собственных сил». Республиканцы выбрали «для взрыва неудобное время и преждевременностью борьбы навлекли на себя неудачу, от которой долго не могли оправиться» (VII, 146, 152). «Ох, нетерпение! — Ох, иллюзии! — Ох, экзальтация!» — такими словами характеризует Волгин, герой романа Чернышевского «Пролог», действия республиканцев во Франции и в 1848, и в последующие годы (XIII, 54). Эту оценку разделяет в том же романе и его друг Левицкий: «От Гракхов до Бабефа одна и та же история. <...> Этот жалкий 1848 год» (XIII, 218).

Предложенная Чернышевским оценка конкретной политической эпохи основана на объективном, взвешенном анализе событий. Поднимая простолудинов на восстание, республиканцы должны были точно и полно изучить возможные последствия восстания, связанные прежде всего с заботами о действительном

удовлетворении материальных запросов народных масс (VII, 153). Разрешению общественных вопросов должен предшествовать «путь ученого исследования», и «надобно было бы, — писал Чернышевский, — не бесславить тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех нас, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно так называемой политической истории» (VII, 152–153). Не случайно в третьей части статьи «Июльская монархия» Чернышевский переходит к обозрению деятельности сенсимонистов, приступивших в свое время к разработке «теории об улучшении народного быта». Правда, их попытки имели «характер энтузиазма, мечтательности, так что более походят на поэзию, чем на серьезную науку», но все же именно их мировоззрению было свойственно «живое сочувствие к судьбе простолюдинов и более широкое понятие, чем у других тогдашних либералов и радикалов, о том, какие преобразования материальных отношений нужны для удовлетворения потребностям беднейшего и многочисленнейшего класса» (VII, 156, 178).

Цензор «Современника» пропустил статью «Июльская монархия» в печать. Однако член Главного управления цензуры А.А. Берте в записке от 18 июля 1860 г. потребовал «поставить цензору на вид», поскольку тот не сумел распознать «направление, выражающееся в безотрадном отрицании всех принятых начал в области политической». Берте выделил строки, которые «характеризуют эгоизм Луи Филиппа, старание его всеми средствами (даже убийством Конде) приобрести богатства, усилить свою власть чрез умышленно устроенное восстание и его подавление, пренебрежение народом, для облегчения судьбы которого ничего не сделано правительством». Заключительные слова Чернышевского «...когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сенсимонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь» сопровождаются восклицанием: «Дело ясно, чего желает автор!» Сановным цензором осуждены и рассуждения о сенсимонистах как «теоретиках», которым «при такой беззаботности правительства и самих депутатов о народе надобно было заняться заботою о его судьбе» (VII, 1011)¹¹.

В русле политических и в целом мировоззренческих суждений Чернышевского, вызванных в этот период рекомендациями русскому читателю исторической концепции Шлоссера, находились и философские труды Чернышевского. Главнейший из них — «Антропологический принцип в философии» (апрель–май 1860 г.). Поводом для статьи послужила работа преподавателя Артиллерийской академии П.Л. Лаврова, первоначально появившаяся в «Отечественных запис-

ках» за 1859 г. под заглавием «Очерк теории личности» и с посвящением А. Г. и П. П. (т.е. А. Герцену и П. Прудону), а затем изданная отдельно («Очерки вопросов практической философии». СПб., 1860).

Основным методологическим принципом П.Л. Лавров выдвинул тезис о независимости его сочинения и вообще философии от текущей политики. Этот вывод, указывал автор, покоится на убеждении, что Европа исчерпала все политические опыты и ни одна из форм общественного устройства не вывела ее из тупика, и все существующие исторические формы жизни не удовлетворяют современных мыслителей. «Везде критика и критика; надежды, недавно кипевшие с такой силой, ослабели; будущее страшно для всех»¹², и Лавров ссылается на Милля, характеристика взглядов которого, предложенная автором «Очерков...», не оставляет сомнения в решающем влиянии на него суждений Герцена.

В статье «Джон Стюарт Милль и его книга “On liberty”» Герцен представляет английского ученого как одного из мыслителей, мужественно и открыто предупреждавших Европу об овладевающей ею «мертвящей силе равнодушия», понижения личностей, «пропадающих в массе». Утверждения Милля совпадали с давними высказываниями Герцена о Европе, дошедшей до предела, после которого она «сделается Китаем»¹³.

Возражая П.Л. Лаврову, Чернышевский спорит и с Герценом. Имея в виду Герцена, он пишет: «Западная Европа идет к состоянию китаизма, она уже не в силах выработать новых форм жизни. <...> Так говорят некоторые даже из самых лучших наших людей и указывают на грустный приговор Милля, как на подтверждение очень сильное». Но что же побудило английского мыслителя к столь неутешительным прогнозам? И Чернышевский конкретной иллюстрацией характеризует позицию Милля. Например, его, замечает Чернышевский, очень смутила парламентская реформа по поводу избирательного ценза. Теоретически он за предоставление избирательных прав всем взрослым людям в Англии, в том числе и женщинам. Но как только дело коснулось обсуждения интересов богатого сословия, с которым Милль связан своим происхождением, прогрессивные теоретические выводы его уступили место консервативным практическим рекомендациям. «Точно таково же происхождение боязни Милля за будущность Западной Европы: его сомнение о предстоящей судьбе цивилизованных стран не больше, как возведенное личным чувством в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит» (VII, 233, 234). П.Л. Лавров, «мыслитель прогрессивный», напрасно принял

высказывания Милля за серьезное и основательное заключение. Подобно Герцену, он излишне увлекся теоретическими построениями английского автора и предал забвению истину, согласно которой «философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем» (VII, 224).

В Прудоне П.Л. Лаврова привлекла критика философии Гегеля. Однако автору «Очерков вопросов практической философии», как и Прудону, остались неведомыми результаты развития новейшей философии. На примере Прудона, выходца из народа, Чернышевский показал, как «простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребностям». Представителями этих новых воззрений ни Милль, ни Прудон не могут считаться. Истинных авторов современных научных знаний «надобно и теперь, как прежде, искать в Германии», — пишет Чернышевский, имея в виду философию Фейербаха, имя которого оставалось запретным в русской печати. В результате «г. Лавров принужден был собственными силами доискиваться до тех решений, которые уже найдены нынешнею немецкою философиею» (VII, 239). Смещение же собственных научных изысканий («нам кажется, что сущность его воззрений справедлива») с выводами Милля и Прудона, «соединение собственных достоинств с чужими недостатками придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма, который производит неудовлетворительное впечатление на читателя, знакомого с требованиями философского мышления» (VII, 227).

Чернышевский склоняется к поддержке разрабатываемой Лавровым «теории личности», включающей признание единства в человеке психического и физического, заботу о защите человеческого достоинства. Отмечая, что его собственные рассуждения о тех же проблемах «в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса» (VII, 240), он имеет в виду своеобразный перевод предложенных Лавровым философско-отвлеченных построений в область новейших научных изучений, проводимых в интересах «простолюдин, жаждущих перемен». Чернышевский сознательно подчеркивает демократический характер своих философских взглядов.

Статья «Антропологический принцип в философии» служила разъяснением основных выводов, содержащихся в сочинениях Фейербаха. Вслед за своим учителем Чернышевский выдвигает «антропологический принцип», выражающий идею единства человеческого организма во всех его материальных и нравственных отправлениях. «На человека надобно смотреть как на одно существо,

имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам» (VII, 240–242, 293). Существующие теории высказывают пренебрежение к антропологическому принципу и тем отдаляются от истины. Между тем «теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду», и если отдельное сословие попирает для своей выгоды какое-либо другое сословие или целый народ, всегда оказывается, что вредные последствия испытывают при этом не только терпящие бедствия, но и угнетающее сословие. Например, «землевладельцы вообще думают иметь выгоду от невольничества, крепостного права и других видов обязательного труда; но в результате оказывается, что землевладельческое сословие всех государств, имеющих несвободный труд, находится в разоренном положении» (VII, 237).

Подобное стремление актуализировать практический аспект философского учения сообщает мировоззрению Чернышевского своеобразие, отличающее его от антропологизма Фейербаха. По формуле немецкого мыслителя, «теология есть антропология <...> и физиология»¹⁴. Интерпретированный Чернышевским антропологический принцип не полностью вмещает содержание фейербахинской формулы, укорачивая ее за счет изъятия теологии. Поэтому, можно думать, известное ленинское определение «...Узок термин Фейербаха и Чернышевского “антропологический принцип” в философии. И антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные, слабые описания материализма»¹⁵, выясняющее соотношение антропологизма и материализма, заключает в себе тем не менее неразличение философской позиции обоих мыслителей. И хотя это различие невелико, все же нельзя не учитывать, что философское творчество Чернышевского в целом свидетельствует о более сложном пути развития мировоззрения. В.В. Зеньковский, религиозный мыслитель, автор впервые изданной в Париже «Истории русской философии», справедливо отмечал: у Чернышевского «мы находим все возрастающий культ человека и человечества», концепция человека у него «шире и глубже того религиозного культа человека, который был у Фейербаха»¹⁶. Объективным выступает историк философии и в объяснении позитивизма Чернышевского, в рамках которого порою рассматривают статью «Антропологический принцип в философии»: автор «не хочет ставить никаких границ познанию» и потому «верен духу “научного построения философии”, защищая право науки на гипотезы»¹⁷.

П.Л. Лавров ограничивался общенаучной постановкой проблем личности. В лекциях по философии, которые он продолжал читать широкой аудитории, принимавшей их «громкими рукоплесканиями»

ми»¹⁸, он продолжал отстаивать мысль о независимости философии от интересов тех или иных социальных групп и сословий. По крайней мере, в одном из газетных отзывов особо подчеркивались «беспристрастие», «отсутствие односторонности» в его лекциях. «Несмотря на односторонние взгляды, господствовавшие в нашей литературе, — читаем здесь, — общество умело понять и оценить истину», а «это показывает, что оно уже образовалось до самостоятельного понимания и стоит выше литературных партий»¹⁹. В заметке улавливается глухой намек на полемическую статью Чернышевского. В другом пересказе содержания лекций сообщается о самостоятельном употреблении Лавровым термина «антропология» как науки о человеке²⁰. Действительно, в октябре 1860 г. Лавров поместил в «Русском слове» статью «Что такое антропология», составленную в виде пространной рецензии на книги И.-Г. Фихте «Антропология. Учение о человеческой душе» и Т. Вайца «О единстве человеческого рода и о естественном состоянии человека». Но даже косвенного указания на Фейербаха у Лаврова не найти. Он совершенно обходит это замечание Чернышевского, сосредоточившись на изложении основных идей своей собственной философской теории, настаивая на ее независимости от чьих-либо влияний. «Пусть желающие отыскивают, что встречается у какого мыслителя. Автор предлагает лишь пробу антропологического построения философии как цельной системы. Для него она безлична», — пишет он²¹. Много лет спустя Лавров признается, что в 1858—1859 гг. он не был знаком непосредственно с трудами Фейербаха²².

Свой отклик на выступление Чернышевского Лавров включил в состав статьи «Ответ г. Страхову», опубликованной в «Отечественных записках» (декабрь 1860 г.). Лавров не принял упрека в эклектизме²³. Но сущность замечания Чернышевского оставалась справедливой и, следует признать, оно помогло Лаврову впоследствии более цельно и системно представить свои философские воззрения.

В начале шестидесятых годов Чернышевский и Лавров находились в одном ряду прогрессивных деятелей эпохи. Незадолго до ареста Чернышевского они сблизились. Лаврову уже тогда открылось огромное историческое значение руководителя «Современника». «Его уважало все мыслящее в России, все искренно желавшее блага России», — писал он годы спустя²⁴. В речи «Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли» (1889) Лавров вполне признает справедливость давних замечаний своего критика. Со ссылкой на статью «Антропологический принцип в философии» он обозначит основное содержание убеждений ее автора, который «указывал, что политические теории и философские учения вырастали из жизненных потребностей данной эпохи»²⁵.

Бдительно следившие за «Современником» высшие цензорские чины немедленно обратили внимание на новую публикацию Чернышевского. 15 июня 1860 г. член Главного управления цензуры П.И. Янкевич направил своему коллеге А.А. Берте следующее письмо со ссылкой на их шефа Н.А. Муханова: «Его Превосходительство Николай Алексеевич изволил обратить внимание на статью Чернышевского в “Современнике” под заглавием “Антропологический принцип в философии (очерки вопросов практической философии, соч. П.Л. Лаврова)” и приказал мне отнестись на усмотрение Вашего Превосходительства: не изволите ли Вы в следующее заседание Главного управления цензуры сообщить оному Ваш отзыв о сей статье»²⁶. Берте исполнил поручение и включил свой отзыв в пространную записку от 18 июля, содержащую обзор ряда статей «Современника» за первую половину 1860 г., в которых ему виделось преувеличенное внимание к «женскому вопросу» и положению беднейшего сословия. Отзыв представляет собою пересказ содержания статьи и завершается словами о ее «материальном направлении», которое, впрочем, уже само по себе объявлялось предосудительным как отрицание принятых начал в области философии²⁷.

Представителем официальной науки, выступившей с критикой системы философских взглядов Чернышевского, явился профессор Киевской духовной академии П.Д. Юркевич, автор статьи «Из науки о человеческом духе», перепечатанной «Русским вестником» М.Н. Каткова. Опровержение «философии реализма» шло по известной схеме идеалистического мировоззрения. В статье «Пolemические красоты» (июнь 1861 г.) Чернышевский сравнил выступление Юркевича с элементарными сочинениями, какие обыкновенно пишутся в духовных семинариях как ученические «задачи» на заданную тему (VII, 726). В своем ответе Чернышевский не избежал некоторых неуважительных для оппонента выражений²⁸.

Ту же демократическую направленность, что и философские работы Чернышевского, имели его политико-экономические труды.

«Капитал и труд» — одно из первых в этом ряду сочинений (январь 1860 г.), поводом для которого послужила изданная в Петербурге книга профессора университета И.Я. Горлова «Начала политической экономии». В самом названии выступления Чернышевского заключено, с одной стороны, стремление повести разговор в теоретическом плане и придать своим выводам значение, существенное для понимания политической экономии как науки, а с другой — в противопоставлении охарактеризовать позиции тех, кто владеет капиталом, и тех, кто своим трудом этот капитал создает.

Книга И.Я. Горлова была встречена в русской прессе восторженно. «Мы можем утешиться мыслью, что и у нас, — писал один из рецензентов, — есть люди, разрабатывающие науку самостоятельно и добросовестно». Восхищено сообщалось о «практическом направлении» книги, о намерении автора выразить и рассмотреть потребности своего времени участвовать в «обсуждении современных вопросов»²⁹.

Чернышевский убедительно доказал полную зависимость излагаемых профессором выводов от устаревшей экономической школы Сэ и Бастиа, в книге нет «ни одной сколько-нибудь свежей или самостоятельной мысли» (VII, 5–6). В предисловии к «Началам политической экономии» автор действительно претендует на участие в решении «весьма важных вопросов, тесно соединенных с народным благосостоянием», однако вместо того, чтобы показать, например, отрицательное влияние крепостничества на экономику России (цензура в ту пору уже допускала такого рода критику), И.Я. Горлов темно пишет о бесполезности искусственного прикрепления к земле. Более того, по убеждению ученого экономиста, часто прибегающего к примерам, освобождение негров в Гвиане повлекло за собой падение благосостояния колоний. «С экономической точки зрения и имея в виду одни только настоящие, современные интересы, эманципация была делом разорительным», — резюмирует Чернышевский выводы автора книги и резонно замечает: «И содержание книги, и содержание предисловия им составлены просто по рутине» (VII, 8).

Господствующее политико-экономическое учение, защищающее интересы имущих классов, представляемое И.Я. Горловым, Чернышевский предлагает назвать «теорией капиталистов». В противоположность ей он развивает принципы «теории трудящихся» — «так будем называть мы теорию, соответствующую потребностям нового времени» (VII, 43). Политико-экономическими основаниями «теории трудящихся» выдвигаются следующие важные положения: во-первых, работник должен быть собственником вещей, которые выходят из его рук, — так решается важнейший в экономической науке вопрос о производстве, предусматривающий «полное соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице» (VII, 20); во-вторых, «производство должно иметь форму товарищества трудящихся» (VII, 54) — таково решение другого не менее важного вопроса о распределении продуктов труда. «Экономическая теория трудящихся» была глубоко демократичной, она предполагала создание условий для уничтожения всех форм эксплуатации работников, чьим трудом создается капитал.

Развенчивание политико-экономических воззрений, обслуживающих официальную идеологию, Чернышевский продолжил в рецензии на «Курс политической экономии» Г. Молилари, изданный в русском переводе в 1860 г. Перевод был приурочен к приезду этого знаменитого бельгийского ученого в Россию с чтением лекций, основную направленность которых составляла критика социалистических учений³⁰. Не оставив у публики особого впечатления во время чтений в Пассаже, «он, — писал Чернышевский со слов очевидцев, — обвинял зато каких-то злонамеренных людей, устроивших против него заговор». В рукописи Чернышевского вместо слов «каких-то злонамеренных людей» стояло: «социалистов» (VII, 467, 1063). Книга, как и лекции профессора, пропитана негодованием против социалистов, в политической и общественной сфере проповедующих антилиберальные идеи, а в экономической — регламентацию промышленности, отнимающих у людей всякую свободу и всякую инициативу. Чернышевский показал полную бездоказательность такого рода утверждений, поскольку именно социализм избавляет «массу работников от всякого стеснения в экономическом отношении; чтобы дать каждому возможность заниматься именно тем, чем он сам хочет, и так, как он сам хочет» (VII, 469).

Мнение сведущих русских экономистов о Молилари как о «шарлатане» (VII, 467) подтверждается, говорит Чернышевский, научной беспомощностью убежденного противника социалистических идей в определении предмета политической экономии. «Политическая экономия, — утверждает знаменитый ученый, — есть наука, описывающая организацию общества, — она есть описание общественного механизма, короче — анатомия и физиология общества». «Ах, бедняжка, бедняжка, а хочет поражать социализм! Не сообразил он, бедняжка, — пишет Чернышевский, — что в его определение целиком влезают, кроме политической экономии, все общественные науки от статистики до уголовного права, от истории до дипломатики» (VII, 471).

Адепты экономической школы, объединившей Сэ, Бастиа, Росси, Шевалье, Молилари, Горлова («они усерднее всего проповедовали в пользу банкиров и негоциантов» — VII, 468), не замедлили восстать против отзыва «Современника» о Молилари: «Чернышевский виноват в неуважении к человеческому достоинству», рецензент «разбирает книгу г. Молилари, вовсе не обращая внимания на его основные положения»³¹. Далекое не случайно на всю Россию было объявлено, что «Бастиа, бесспорно, самый даровитый, но и самый неумолимый представитель господствующей школы»³².

В 1860–1861 г. Чернышевский печатает в «Современнике» перевод «Оснований политической экономии» Д.-С. Милля, английского ученого, «без особенного шума» вводящего в науку новые взгляды. «Мы никак не думаем, — пояснял Чернышевский-переводчик, — чтобы его теория была вполне удовлетворительна. Он человек бесспорно очень замечательного ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно разясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до проверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии». В своих примечаниях к переводу Чернышевский показал, что, хотя Милль и подвергает критике некоторые тогдашние капиталистические формы хозяйствования, он в конечном счете все же принадлежит к сторонникам «теории капиталистов», которую «только исправляет и дополняет в частных случаях» (VII, 39–40).

Критика «теории капиталистов» в изложении Милля требовала серьезного и основательного изучения сельской общины. В защиту русской общины было немало сказано Чернышевским и прежде. Вспомним спор с «Экономическим указателем» и «Русской беседой» в 1857 г.³³ Уже тогда Чернышевский держался убеждения, что утрата общинной поземельной собственности на Западе привела к пролетариату как крайней форме обнищания земледельца. «Пример Запада, — писал Чернышевский в ту пору, — не должен быть потерян для нас. Вопрос о земледельческом быте важнейший для России, которая очень надолго останется государством по преимуществу земледельческим, так что судьба огромного большинства нашего племени долго еще — целые века — будет зависеть, как зависит теперь, от сельскохозяйственного производства». Факт капитализации России весьма возможен: «Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции». Но хорошо, если этот процесс отодвинется для России на далекую перспективу. Страна может пойти другим путем благодаря существованию общины, «спасительного учреждения» от бедности и бездомности (IV, 743–744).

Свои представления о роли сельской общины для судеб России Чернышевский не изменил с 1857 г. Более того, рассматривая оставленный у Милля без исследования вопрос о «силах, призываемых принципом собственности к господству над распределением», Чернышевский приводит большой отрывок из своей статьи 1857 г. «О поземельной собственности», написанной в защиту общинного землевладения. В данном случае приведены соображения об экономических последствиях раздела земли на наследственные

участки при частной и общинной собственности. Высказавшись в пользу общины, которая сохранилась в России и при крепостном праве, Чернышевский повторяет свое прежнее заключение: «У нас соответствующие феодализму Западной Европы учреждения не коснулись общинного устройства поземельной собственности, и надобно желать, чтобы оно пережило их. Оно и переживет их, если мы сами, без всякой нужды и в противность всякому здравому расчету, не будем хлопотать об его уничтожении» (IX, 391). В примечаниях к трактату Милля он снова и снова обосновывает необходимость поддержки общины. «Если в известном обществе, — пишет он, — еще сохраняется обычное учреждение, смягчающее своим существованием суровое действие силы наследственности и других сил, действующих заодно с нею, то люди, имеющие в голове своей смысл, а не довольствующиеся попугайским повторением чужих непонятных мыслей, должны заботиться о сохранении этого обычного учреждения и его развитии» (IX, 402). По убеждению Чернышевского, сельская община гарантировала сохранение за крестьянским сходом земли после отмены крепостного права, защиту крестьян и от вмешательства государства, и от посягательств помещика. Во всех его рассуждениях важна именно эта забота об интересах народа, она и определяла глубокий и последовательный демократизм его взглядов.

Миль, посвятивший разъяснению отличия теории производства от теории распределения и обмена специальный раздел своего труда, предоставил возможность конкретнее остановиться на «соображениях человека о лучшем устройстве человеческого быта». На этот раз Чернышевский приводит предложенный им в статье «Капитал и труд» план составления товарищества, создаваемого для более справедливого осуществления принципа пропорциональности между вознаграждением и трудом. Впоследствии это будет показано в романе «Что делать?» (1863) на примере швейных мастерских. Сохранение и развитие сельской общины, возникновение ассоциаций рабочих как коллективных форм товарищества трудящихся Чернышевский связывал с идеей обновления общественного строя. Коренным изменениям должна подвергнуться «вся жизнь человека и его отношения к другим людям по кровным или душевным привязанностям, и его воспитание, и его национальные отношения и т.д.» (IX, 828). За этим «и т.д.», конечно, подразумевались и политические формы государственного устройства, о чем открыто писать было нельзя. Внимание читателей автор сосредотачивает на «кастовом устройстве» общественного быта. «Удивительно ли, что отдельная каста заботится о сохранении своих преимуществ», — пи-

шет он. Наивно ждать от членов этой касты самопожертвования, «политическая экономия достаточно разъяснила ту истину, что реформы могут быть произведены только теми классами, для которых они выгодны. Поэтому и уничтожение замкнутости высших слоев рабочего сословия может быть произведено только настоятельным требованием низших слоев массы, которым невыгодна эта замкнутость, а не идиллическим самопожертвованием замкнутых слоев» (IX, 871). Чернышевский ведет к выводу: когда простой народ, «которому одному и выгодно и нужно устройство, называемое социалистическим», выходит на авансцену истории, это и есть история революционная. В двух передовых государствах Западной Европы – Франции и Англии – в 1848 г. уже состоялось по одному большому сражению «в начинающейся вековой борьбе за социализм», и оба были проиграны. Однако ход исторического прогресса таков, что «проигрыш только возвращает дело к положению, из которого должны возникать новые битвы, а выигрыш, – не только первый, который и сам когда-то еще будет, – но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не даст окончательного торжества, потому что интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию, страшно сильны». Исторический оптимизм Чернышевского вовсе не обещает, как видим, торжества социализма на завтрашний день. «По всей вероятности, это будет история очень длинная», – говорит он. В то же время принимать такой взгляд за «безнадежность, отчаяние» или, с другой стороны, когда «называют тот же взгляд фанатическим или утопическим», неправомерно, – «все-таки хода истории не остановите» (IX, 833).

Россия не пошла по пути, подвергнутому в свое время Чернышевским тщательному изучению. Общине не суждено было выжить под ударами вторгнувшейся в нее государственной централизации, и единственный шанс, который история в известный период, как полагал Чернышевский, предоставляла громадной крестьянской общинной стране, был потерян безвозвратно.

Чернышевский предпринял попытку популяризации своих политико-экономических воззрений. Воспользовавшись существующими правилами, разрешавшими публичные лекционные чтения, он решил весной 1861 г. выступить со своими лекциями в пользу Литературного фонда. С этой целью 3 апреля, как сообщал он в письме к Добролюбову, посетил председателя Литературного фонда Е.П. Ковалевского. Получив согласие, Чернышевский на следующий день составил программу чтений из четырех лекций. Основанием в программе указан политико-экономический трактат Милля. Автор заверял, что содержание лекций «будет только парафразом

Милля, только переложением с абстрактного языка Милля на язык, более близкий к простому разговорному» (IX, 881). Прочсть лекции Чернышевский предполагал в том же апреле, и программа с визой Ковалевского была отправлена к попечителю Петербургского учебного округа И.Д. Делянову с сопроводительным письмом помощника председателя Литературного фонда А.В. Дружинина (это поручение Дружинин выполнял со 2 февраля 1861 г.³⁴). И.Д. Делянов обратился к ректору университета, «препровождая при сем письмо <...> г. Дружинина и программу чтений г. Чернышевского о политической экономии» с просьбою «сделать распоряжение о рассмотрении этой программы». Как видно из официальных документов, 10 апреля ректор направил программу на рецензирование декану юридического факультета профессору И.Я. Горлову³⁵. Во избежание возможных осложнений Чернышевский направил к Горлову своего двоюродного брата А.Н. Пыпина. «Горлов в восторге от экономической ортодоксальности программы и выражает живейшее сочувствие к ее автору», — сообщал не без иронии Чернышевский Добролюбову в письме от 9 мая 1861 г. (XIV, 426). Заключение Горлова датировано 19 апреля, и вот тут-то произошла первая заминка: полагающееся утверждение профессорской рецензии ученым советом университета последовало только 8 мая с осторожной припискою: «...если б г. Чернышевский представил г. попечителю удостоверение, освобождающее его от выполнения других, установленных положением о публичных лекциях»³⁶. Но никаких других препятствий к разрешению чтений не существовало, и 16 мая попечитель отправил все документы министру народного просвещения³⁷. Три недели спустя (7 июня) министр утвердил разрешение, но попечитель не торопился с окончательным оформлением. «Свидетельство» было подписано только 23 июня (IX, 945)³⁸, когда начались студенческие каникулы, и молодежь, на которую больше всего мог рассчитывать лектор, уже не могла составить ему аудитории. К бюрократической волоките, тянувшейся три месяца, в последний момент явно присоединился политический фактор, и полученным разрешением Чернышевский уже не мог воспользоваться.

Однако Николай Гаврилович не отказался от своего намерения. Косвенное указание на эту биографическую подробность содержится в следующем газетном объявлении: «Общество для пособия нуждающимся ученым и литераторам намерено открыть целый ряд публичных курсов. Будут читать несколько профессоров и др. ученых. Между прочим, как нам сообщили, и г. Чернышевский». Прибавлялось, что целью Общества в данном случае является также «помощь молодым людям, желающим учиться и не имеющим на это

средств»³⁹. В условиях начавшихся осенью студенческих волнений намеченные чтения уже не могли состояться. Закрытие университета привело студентов к мысли основать особые публичные учебные курсы. 23 января 1862 г. Чернышевский обратился к новому министру народного просвещения А.В. Головнину с просьбой разрешить чтение лекций по политической экономии (с опорой на труды Милля) «по желанию молодых людей, принявших на себя заведывание публичными курсами». Чернышевский прибавлял, что имеет уже разрешение на чтения по тому же предмету в пользу Литературного фонда (XIV, 444–445)⁴⁰. Последовал отказ⁴¹. Тогда Чернышевский решил воспользоваться находящимся у него «Свидетельством», и 28 февраля того же года в заседании комитета Литературного фонда Н.А. Некрасову, П.Л. Лаврову и С.С. Дудышкину было поручено устройство его лекций. Однако и на этот раз они не состоялись. Председатель Литературного фонда Г.А. Щербатов (его выборы прошли 21 января 1862 г.)⁴² передал Некрасову в частном письме от 2 марта окончательное решение министра: «Чтений г. Чернышевского ни в каком случае разрешить не может». «Поэтому, — прибавлял Щербатов от себя, — необходимо бы пригласить другого вместо Чернышевского желающего подвизаться для пользы Литературного фонда»⁴³. В марте же одна из столичных газет охарактеризовала примечания Чернышевского к Миллю как «шарлатанские», противопоставляя публикуемому на страницах «Современника» труду сочинение И. Горлова⁴⁴. Почти во всей русской прессе началась особо разнузданная кампания против Чернышевского (подробнее об этом ниже), и он, убедившись в бесполезности обращений к властям, уже не предпринимал попыток чтений лекций по политической экономии. Нарастание реакции в стране побуждало Чернышевского поторопиться с завершением своих политико-экономических исследований, которым придавал гораздо больше значения, чем другим своим работам. Печатаемые в «Современнике» материалы по Миллю он собирался объединить в одну книгу и напечатать ее в одной из петербургских типографий (I, 733). Но он не успел сделать этого, и все заботы по изданию книги упали на А.Н. Пыпина. Книга вышла в 1865 г. без упоминания автора, находившегося на каторге в Сибири.

Укрепляя демократическое направление «Современника», Чернышевский совершил глубинные мировоззренческие прорывы в области общественных наук и особенно политической экономии, чтобы путем научно-теоретических исследований показать необходимость преобразований (повторяем эту важную цитату) «для удовлетворения потребностям беднейшего и многочисленного класса» (VII, 178).

Примечания

- ¹ *Герцен*. Т. XIV. С. 101, 107.
- ² СПб. ведомости. 1859. 20 августа. № 179. С. 779.
- ³ Московские ведомости. 1859. 10 июля. № 162. С. 1215.
- ⁴ Наше время. 1860. 17 января. № 1. С. 105.
- ⁵ Подробнее: *Усакина Т.И.* История. Философия. Литература. Саратов, 1968. С. 289–290; *Рудницкая Е.Л.* Н.П. Огарёв в русском революционном движении. М., 1969. С. 180–182.
- ⁶ Михайловскому выдано 12 июня 1859 г. через Добролюбова 100 руб., а 26 августа лично 50 руб. Депиша получил 30 июня 100 руб. Обручеву 2 августа выписано 75 руб. – ИРЛИ. Ф. 628. Д. 3. Л. 9.
- ⁷ Здесь и далее в скобках арабскими цифрами указаны том и страницы переведенного Чернышевским издания: *Шлоссер Ф.* История восемнадцатого столетия: В 8 т. СПб., 1858–1860.
- ⁸ Характеристику первых трех томов см.: Научная биография (1853–1858), раздел «Перевод Шлоссера».
- ⁹ В переводе 6-го тома участвовал Е.А. Белов (XIV, 382), 7-го – Марков (XIV, 389). В бумагах Чернышевского сохранилась запись, фиксирующая окончание работы над переводом «Истории восемнадцатого столетия» Шлоссера: «Итак, 1860, 12 марта в 6 ч. 11 1/2 минут кончен 8 т.». Запись, свидетельствующая о придании этой работе особого значения (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. I. Д. 256. Л. 1). Цензурное разрешение последнего, 8-го тома датировано 29 марта 1860 г.
- ¹⁰ *Добролюбов*. Т. 9. С. 371. См. также: *Плимак Е.Г.* Драма реформ и революций. Школа Шлоссера – Чернышевского, марксизм и современность // Свободная мысль. 1992. № 11.
- ¹¹ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5342. Л. 1, 6.
- ¹² *Лавров П.Л.* Философия и социология. Избр. произв.: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 341–345. См.: *Казаков А.П.* Теория прогресса в русской социологии конца XIX века. Л., 1969.
- ¹³ Колокол. 1859. 15 апреля. Л. 40–41. С. 323.
- ¹⁴ *Фейербах Л.* Избр. философ. произвед.: В 2 т. М., 1955. Т. II. С. 515.
- ¹⁵ *Ленин В.И.* Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М., 1967–1974. Т. 29. С. 64.
- ¹⁶ Чернышевский: РГИА. С. 331–340.
- ¹⁷ Там же. С. 335. См. рассуждения о «специфике позитивизма Чернышевского» в: *Никифоров Я.А.* Модернизация в социологическом дискурсе Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2013. С. 57–58.
- ¹⁸ СПб. ведомости. 1860. 27 ноября. № 259. С. 1375.

- ¹⁹ Северная пчела. 1860. 9 декабря. № 274. С. 1154.
- ²⁰ Там же. 1861. 10 января. № 7. С. 26.
- ²¹ *Лавров П.Л.* Философия и социология. Т. 1. С. 491.
- ²² Там же. Т. 2. С. 585.
- ²³ Там же. Т. 1. С. 497.
- ²⁴ *Лавров П.Л.* Избр. соч. на социально-политические темы: В 8 т. М., 1934. Т. III. С. 169.
- ²⁵ *Лавров П.Л.* Философия и социология. Т. 2. С. 668.
- ²⁶ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5105. Л. 40.
- ²⁷ Там же. Д. 5342. Л. 1, 4 об., 5.
- ²⁸ Один из самых непримиримых оппонентов Чернышевского в философии А. Вольнский все же признавал, имея в виду его полемические выступления: «В тирадах и фразах Чернышевского даже самых неумеренных по своему характеру, никогда не переставала звучать струна благородного мужества» (Василий Розанов. РГИА / Сост., вступ. статья и примеч. В.А. Фатеева. СПб., 1995. Кн. II. С. 241; *Лишаев С.А.* История русской философии. Часть II. Книга 2: Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). Курс лекций: Учеб. пособ. / С.А. Лишаев. Самара, 2006. С. 43–66.
- ²⁹ СПб. ведомости. 1860. 16 января. № 12. С. 53.
- ³⁰ См.: Наше время. 1860. 28 февраля. № 7. С. 110.
- ³¹ СПб. ведомости. 1860. 18 ноября. № 252. С. 1336; 30 ноября. № 261. С. 1387.
- ³² Московские ведомости. 1860. 24 января. № 19. С. 143.
- ³³ См.: Научная биография (1853–1858), разделы «Славянофилы», «Спор с “Экономическим указателем”».
- ³⁴ СПб. ведомости. 1861. 9 февраля. № 32. С. 162.
- ³⁵ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 2. Д. 491. Л. 22, 37–38.
- ³⁶ Там же. Л. 39–40.
- ³⁷ Историко-литературный сборник, посвященный И.И. Срезневскому. Л., 1924. С. 36.
- ³⁸ *Чешихин-Ветринский В.* Н.Г. Чернышевский. Пг., 1923. С. 148.
- ³⁹ Русский инвалид. 1861. 8 ноября. № 247. С. 1015.
- ⁴⁰ См.: Летопись. С. 236 и ср.: IX, 945, где письмо датировано 22 апр.
- ⁴¹ *Чешихин-Ветринский В.* Н.Г. Чернышевский. С. 149.
- ⁴² СПб. ведомости. 1862. 26 января. № 20. С. 90. Здесь же сообщалось о выходе Н.Г. Чернышевского из состава комитета Литературного фонда после двух лет пребывания в нем.
- ⁴³ РОГПБ. Ф. 195. Д. 5765.75; Записки отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В.И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 41.
- ⁴⁴ Северная пчела. 1862. 27 марта. № 83. С. 330.

5. Заботы цензурные

Через творческую судьбу Чернышевского, как и многих других писателей его эпохи, цензура пролегла широкой «красной» полосой. «Красные чернила», на которые столь горестно в свое время сетовал Пушкин¹, продолжали обильно раскрашивать произведения русских литераторов. Подобно сторожевой собаке, цензура сопровождала каждую строку Чернышевского, цензор недремлюще, хотя и незримо, стоял между ним и его читателем.

С историей цензуры связан заметный эпизод из жизни Чернышевского, когда в марте 1861 г. он предпринял поездку в Москву для обсуждения с журналистами предложений о реорганизации цензурного дела в России. Эпизод этот принадлежит к любопытнейшим фактам истории русской литературы, и в научной биографии ему должно быть отведено специальное место.

Сам Чернышевский дважды вспоминал о поездке в Москву по цензурным делам. Первый раз в письме к Добролюбову в конце апреля того же 1861 г. Однако все дело представлено здесь в ироническом виде, и фактических сведений в письме немного. О некоторых подробностях события ему пришлось поведать также в 1863 г. в особой записке сенаторам, рассматривавшим его следственное дело. Начнем с этого объяснения, поскольку оно содержало последовательное изложение важнейших обстоятельств поездки.

«Несколько петербургских литераторов, собравшихся в квартире г. Вернадского, — пояснял здесь Чернышевский, — выслушали и с некоторыми изменениями одобрили основные черты новых правил цензуры, написанные г. Вернадским, и положили подать об этом просьбу г. министру народного просвещения. Надобно было «кому-нибудь отправиться в Москву для предложения участия в этом деле московским литераторам. Г. Вернадский вызвался ехать, — но не раньше, как недели через две или три. А в тот самый день, как было это собрание, “Современник” получил сильную цензурную неприятность, которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшениях, и потому я сказал: “что откладывать в долгий ящик; если присутствующие согласны поручить это дело мне, я поеду завтра или послезавтра”. Они согласились, и я действительно поехал через полутора суток» (XIV, 745). Такова изложенная Чернышевским на суде «петербургская» сторона события. В упомянутом письме к Добролюбову называются точные даты, имеющие в данном случае существенное значение. Первое посещение Черны-

шевским квартиры И.В. Вернадского произошло 14 марта в середине дня, но хозяйина не было дома, и пришедший оставил «свой билетик» (визитную карточку). В четверг, 16 марта, возвратившись из типографии, он увидел на своем столе «билетик Вернадского». Чернышевский «мгновенно» пишет записку, назначая встречу на субботу, т.е. 18 марта. «Являюсь к нему в субботу, в 11 часов. Распростертые объятия и пр. О минувших распрях ни слова². Садимся и беседуем, как близкие друзья». Затем Чернышевский посетил еще некоторых журналистов (он не называет, кого именно), в четверг, 23 марта, все собрались на квартире Вернадского для чтения и обсуждения записки, а в воскресенье, 26 марта, «я, — пишет Чернышевский, — сажусь в вагон 2 класса и несусь в первопрестольный град» (XIV, 425–426).

Такова внешняя хронологическая канва события. Необходимо подробнее выяснить причины, побудившие большую группу литераторов к решительным и единодушным действиям.

Власть предержажие, и особенно приставленные к литературе государственные чины, всегда пристально следили за состоянием журналистики, вполне осознавая ее огромную роль в формировании общественного мнения, которое являлось, пожалуй, единственно сильным и тревожащим власти фактором, так или иначе ограничивающим своеволие властей и в известной степени влияющих на их поведение. В февральской статье за 1858 г. «О новых условиях сельского быта», когда еще теплилась надежда на реформаторскую миссию Александра II, Чернышевский, подписав статью псевдонимом «Современник», как бы подчеркивая острую актуальность обсуждаемого вопроса об отмене крепостного права, привел слова Рошера, известного немецкого ученого, представителя исторической школы в политэкономии: «...При высокой степени развития цивилизации непреодолимая сила общественного мнения приводит к уничтожению всех остатков рабства» (V, 105). До «высокой степени развития цивилизации» России в 1858 г. было ой как далеко, и ключевой для Чернышевского в цитируемом тексте была другая мысль, внушаемая читателям и по-своему воспитывающая их — мысль о «непреодолимой силе общественного мнения», и журналистика была формирующим носителем этой силы, заставляющей власть считаться с ней.

О том, насколько высшие правительственные чиновники уже тогда начинали осознавать особую роль журналистики в общественной сфере, свидетельствует оценка состояния и значения периодической печати министром народного просвещения А.В. Головниным в особой записке, доложенной Совету министров 26 февраля 1862 г. (Александр II представлено 1 марта). По данным министерства, в

России числилось 280 названий повременных изданий, из которых 16, по заверению министра, «более или менее имеют влияние на общество» — это «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Северная пчела», «Petersburger Zeitung», «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Наше время», «Время», «Сын Отечества», «Русское слово», «День» и даже иногда «Иллюстрация» и «Искра». На русском языке издавалось 234 журнала и газеты, у газет было около 10 тыс. подписчиков, «если журнал имеет 6 или 7 т<ысяч> подписчиков, то полагается, что он идет очень хорошо», и, подытоживал министр, «число читателей уже вообще незначительно и не превосходит несколько сот тысяч». Отсюда следовал вывод: «Наши журналы и газеты еще не могут иметь того огромного влияния, которое составляет их силу в других государствах, где они являются властью, которую правительства должны принимать в расчет при своих действиях», хотя и у нас «в так называемом образованном обществе они имеют влияние преимущественно на молодых людей, которые редко обсуждают справедливость или неосновательность воззрений, встречаемых ими в печати». По заверению автора доклада, «число главных писателей в наших влиятельных журналах и газетах доходит до 50», однако «страсть к чтению развивается во всех слоях общества и особенно в народе весьма быстро, и не пройдет 10 лет, когда число читателей увеличится весьма значительно», и «тогда мы увидим настоящую силу и независимость журналов»³.

Приведем свидетельство еще одного крупного административного деятеля, причастного к решению многих государственных, а также и общественных вопросов. Речь идет о князе А.А. Суворове, внуке полководца, члене Государственного совета, генерал-губернаторе Санкт-Петербурга в 1861–1866 гг., пользовавшемся дружеским расположением Александра II и популярностью в передовых литературных кругах, поскольку «проводил политику доброты и умерения строгости закона и произвола администрации»⁴. В апреле 1862 г. из канцелярии А.А. Суворова поступила в адрес Министерства народного просвещения просьба о безвозмездной передаче ряда журналов и газет. Просьбе предшествовало ее обоснование с обращаемой на себя внимание характеристикой влияния журналистики на современную жизнь: «<...> Русская литература сделалась до такой степени уже деятельным и полезным органом общественной жизни, что ни одно из ее заявлений о нуждах и потребностях общества не должно быть оставляемо без внимания в том убеждении, что Правительство при основательной критике литературных мнений и отзывов всегда извлечет из них положительную пользу»⁵.

Бумагу министр А.В. Головнин переадресовал председателю С.-Петербургского цензурного комитета Н.В. Медему, и тот заручился согласием 17 редакторов за их личной подписью от 10 апреля 1862 г.⁶

В приведенной выше записке А.В. Головнина указывалось на неудовлетворительность существующих цензурных правил, излишней строгостью вынуждавших журналистов говорить «условным языком, и читатель, — со знанием дела утверждал министр, — весьма хорошо понимал то, чего не видела одна цензура. Сильное стеснение свободы изощряло способность говорить иносказательно и в то же время озлобляло писателей»⁷.

Заявление высшего чиновника о реакции журналистов на «сильное стеснение свободы» подтверждается примерами из истории журналов. В научной литературе со временем сделалось общим местом говорить о преследовании цензурой журналов «Современник», «Русское слово»⁸. Такое преимущественное внимание к передовым изданиям оправданно, но вместе с тем в итоге оставалось несколько искривленное представление о положении всей русской журналистики, которая пусть в меньшей степени, но не менее тягостно переносила цензурные нападки. Правительственные преобразования цензуры в сторону ее ужесточения начались в 1860 г., расшатывая и без того неустойчивую основу авторской независимости и затрагивая, таким образом, жизненные интересы русских журналистов. Во «Всеподданнейшей докладной записке» от 9 января этого года тогдашнего министра народного просвещения Е.П. Ковалевского говорилось: «Быстрое распространение в последнее время произведений литературы, особенно периодических изданий и замечаемые в них уклонения обратили на себя особое внимание Вашего Императорского Величества, вследствие чего благоугодно было Вам Высочайше повелеть мне представить соображения об усилении наблюдения за книгопечатанием в России»⁹. Хорошо осведомленный Тургенев писал Фету в феврале 1860 г.: «Цензурные здесь дела нехороши: ветер опять задул с севера»¹⁰. И.И. Панаев предупреждал одного из начинающих сотрудников в самом начале шестидесятых годов о предстоящей «страшной борьбе» с цензорами, которые «не только вычеркивают из учебников имена великих людей, республиканцев Рима и Греции, но не позволяют даже писать в поваренных книгах о тех кушаньях, которые следует готовить в вольном духе»¹¹.

От возросшей с 1860 г. придирчивости Главного управления цензуры не было застраховано ни одно периодическое издание, независимо от его идейной направленности. При этом предупреждения и выговоры получали не только литераторы, но и наблюдающие за ними цензоры, оказывавшиеся, таким образом, втянутыми в ту же

паутину надзора. Таково неизбежное следствие нелепо сложившихся отношений участников создания печатного слова в условиях его несвободы. Так, в марте 1860 г. И.В. Вернадский получил предупреждение за напечатание в своем «Экономическом указателе» (№ 166) в рубрике «Открытые вопросы» следующей фразы: «Почему то, что признается преступлением в Париже, имеет силу закона в Петербурге?» Н.А. Муханов заметил цензору журнала А.К. Ярославцеву, что «подобного вопроса, выражающего некоторое порицание законодательства нашего, не следовало цензуре пропускать»¹². В августе за напечатание в «Северной пчеле» (№ 172) статьи, в которой по поводу итальянских событий «рассуждается о том, что старые династии не могут усвоить новых идей и потребностей, и в доказательство сего приводятся факты из истории Англии и Франции», тот же Н.А. Муханов объявил цензору Е.Е. Волкову «строжайший выговор за настоящее его упущение», а редактору последовало предостережение о запрещении издания, если здесь «впредь будут помещаемы подобные предосудительные статьи»¹³. Редактор «Русского инвалида» П.С. Лебедев в октябре обратился с письмом в высшее цензурное ведомство «о безвыходном положении, в которое поставлены в настоящее время ежедневные периодические издания вследствие распоряжений цензуры»¹⁴. Даже Н.Ф. Павлову, ревностному хранителю официоза, в апреле того же 1860 г. пришлось пожаловаться на неоправданное запрещение Московским цензурным комитетом статьи К. Арсеньева «Обличительная литература и ее обязанность» на основании «недопущения к печати суждений, касающихся гласности судопроизводства и обличительной литературы». По духу и направлению своему, как справедливо уверял редактор «Нашего времени», эта статья «ни в каком случае не может быть признана неблагонамеренною». Однако член Главного управления А.Г. Тройницкий, хотя и был уверен в безусловной благонамеренности газеты Н.Ф. Павлова, подтвердил 7 мая 1860 г. правильность замечания комитета. Статью он все же разрешил к печати, но лишь с условием изменения некоторых мест. Теперь судопроизводство названо не «гласным», а «улучшенным», во фразе «газеты и журналы *добросовестно и верно* обсуждали действия лиц» выделенные слова заменены на «подробно»¹⁵. Вскоре Н.Ф. Павлов написал официальную жалобу на пристрастные замечания Московского цензурного комитета и в особенности цензора Я. Прибиля, который, к примеру, «вместо “присутствие разума” поставил “рациональность”. Прилагательное “разумные”, почему-то особенно ему неприятное, — продолжал Н.Ф. Павлов, — он вычеркнул во всех местах статьи». К тому же цензор задерживал корректуры, возвращая их часто ночью, уже накануне выхода номера, и с

помарками, «которые, — жаловался редактор, — человеческий ум не в состоянии предвидеть», «газета моя не представляет ничего анархического, ничего, за что можно бы было наслать на нее такое божеское наказание». Поначалу Главное управление нашло делаемые цензором исправления «маловажными»: в них «нельзя не признать особенного стеснения». Однако предложение председателя Московского цензурного комитета М.П. Щербинина цензурировать статьи «Нашего времени» в Петербурге, а не в Москве Главным управлением было отклонено¹⁶. Один из летних выпусков «Нашего времени» содержал редакционное примечание, явно намекающее на цензурные затруднения: «Этот номер газеты не вышел в свое время по причинам, от редакции не зависящим»¹⁷. Протесты Н.Ф. Павлова, последовавшие в марте 1861 г., и вовсе оставлены без последствий, действия же Московского цензурного комитета признаны «правильными»¹⁸. Я. Прибиль оставался цензором «Нашего времени» и в 1861, и в следующем году. В октябре 1860 г. после неоднократных замечаний «за упущения» цензор А.К. Ярославцев, наблюдавший за «Русским словом», был уволен, редактору же объявлено, что журнал «неминуемо подвергнется запрещению»¹⁹.

Всесторонней и жесткой цензурной репрессии подвергся «Современник». 18 июля 1860 г. Главное управление цензуры вынесло пространное определение на основании записки А.А. Берте о помещенных в журнале статьях Чернышевского «Июльская монархия», «Антропологический принцип в философии», «Политика», М. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» и Ю. Жуковского «Из человеческой правды и нравственности»²⁰. Отзывы цензуры о первых двух статьях Чернышевского знакомы читателю нашей книги по предыдущей части главы. Здесь же укажем на мнение Берте о «Политике» за май 1860 г., где его насторожили описания событий в Сицилии. «Автор, — пишет Берте, — так выражается: сицилийцы были очень безрассудны, порицая неаполитанское правительство. Оно поступало, как ему следовало поступать. Затем рассказаны ужасные события в Сицилии, вынудившие жителей к противодействию. Цензор, по-видимому, удовлетворен, политический отдел “Современника” безвреден, там с ужасом и с сокрушением сердца рассказывается о восстании и только исполнена обязанность историка! Автор ловко вконец опровергает свою теорию, высказанную для многих немудрящих, ведь может случиться, что кто-нибудь из тех, для кого пишется, в самом деле поверит его убеждениям на стр. 122 и 123, где он только хотел неявно сказать, что сицилийцам давно пора восстать, и дать себе возможность высказать все дурные действия неаполитанского правительства. На

стр. 164 автор поправляется и говорит, что успех сицилийцев оправдывает дело, что он отрекается от столь основательно изложенного им мнения в защиту неаполитанской системы. <...> Такой успокоительный маневр нужен, чтобы уничтожить всякое опасение за направление “Современника”. Так высокопоставленный цензор поучал своего подчиненного распознавать скрытый смысл напечатанного в журнале. В резюмирующей части постановления Главного управления цензуры, подписанного Мухановым и Янкевичем, отмечено «общее неодобрительное направление “Современника” за нынешний год» и объявлено «замечание» цензору Ф. Рахманинову «за допущение им в сем журнале статей, противудействующих коренным основам нашего устройства, гражданского и общественно-го». В документе от 26 июля 1860 г., адресованном Петербургскому цензурному комитету, еще раз подчеркивалось «предосудительное направление последних 5 книжек “Современника”», предписывалось «ближайше руководить» цензорами «в исполнении ими своих обязанностей»²¹.

В августе 1860 г. Чернышевский писал Добролюбову о «цензурной невзгоде», «гонении» на «Современник». «Думаем переменить цензора, — сообщал он три месяца спустя, имея в виду Ф.И. Рахманинова, приставленного к журналу с весны 1860 г.²², — Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он глупая скотина. Напрасно Вы с Некрасовым защищали его прежде. <...> Толкуют, что Медема хотят сменить, потому что уж сами видят чрезмерность его глупостей. Посмотрим, сменят ли, а кем бы ни заменили, хуже не будет». С января 1861 г. цензором «Современника» вновь стал В.Н. Бекетов, «потому для нас гораздо легче прежнего, — писал Чернышевский Добролюбову. — Но вообще цензурное положение — прежнее» (XIV, 405, 415, 421). Барон Н.В. Медем стал председателем Петербургского цензурного комитета в январе 1860 г.²³ Он имел чин генерал-лейтенанта (с 1845 г.), служил председателем военного цензурного комитета²⁴. Время его правления вошло в историю русской литературы как одно из самых мрачных. Особенно доставалось от Медема «Современнику».

20 января 1861 г. Н.В. Медем разработал подробную инструкцию для своих подопечных, касающуюся политических отделов журналов. Наставление открывалось следующим безапелляционным заявлением: «Что в нашей журналистике преобладает направление предосудительное, в особенности по предметам политическим, в том не может быть сомнения», и, убежден автор, «нужно было бы возвратиться к самым строгим цензурным постановлениям, какие когда-либо существовали, а именно нужно было бы не только за-

претить всякие рассуждения о либеральных мыслях и всякие объяснения политического устройства европейских государств, но не допускать даже сообщения большей части заграничных происшествий»²⁵. Последствия сказались незамедлительно. Например, в марте 1861 г. редактор «Экономического указателя» И.В. Вернадский в официальной записке высказал недовольство цензурными запрещениями или изменениями, «делающими почти невозможным дальнейшее издание специального журнала без искажения направления и без нарушения обещаний, данных публике редакцией с дозволения правительства». Его просьбу восстановить перечисленные им места статей оставили без внимания²⁶. Редактор «Военного сборника» вспоминал, как в 1861 г. цензор К.С. Оберт в статье «Очерк вооруженных сил Швейцарии» «всюду слово конституция заменил словом положение», а в другой статье «вычеркнул описание политического устройства Дании, без чего не имело смысла и описание вооруженных сил Дании, между тем политическое устройство Дании свободно рассказывалось во всех учебниках географии»²⁷.

Свод многостраничных записок А.А. Берте и Н.В. Медема пополнился еще одним документом, составленным членом Главного управления цензуры О. Пржецлавским 22 октября 1861 г. Смысл его предложений сводился к тому, чтобы в какой-то мере снять с цензоров ответственность за пропуск статей, определявших направление журнала. Иными словами, полного доверия цензорам в этом серьезном вопросе не было. Направление периодического издания «в разных видах и под неуловимыми формами будет беспрестанно прокрадываться в печати помимо всей тщательности самых даже опытных цензоров», — уверял он. По его мнению, суждение о направлении данного издания, рассматриваемого «не в отдельных выпусках, а за целые периоды времени», должно выноситься только членами Главного управления²⁸. Однако ограничение полномочий цензоров не получило практического применения.

11 марта 1861 г. член Главного управления цензуры Берте, ярый преследователь «Современника», указывал в особой записке на появление в русской периодической печати переводов сочинений, «в которых представляются яркие описания революций, необходимых будто бы для оживления организма государства». «...Не упоминая уже о статьях сего рода, напечатанных в “Современнике” за прошлый год²⁹, а также восторженных описаний Итальянского восстания, заключавшихся в политических обозрениях разных журналов, я, — писал Берте, — считаю долгом указать на перевод на русский язык известного сочинения Токвиля “Старый порядок и революция”». Соответствующие комментарии получила статья

Чернышевского «Предисловие к нынешним австрийским делам», опубликованная в февральской книжке «Современника» за 1861 г.³⁰ Берте обращал внимание своего начальства на описание в этой статье участия венских студентов в революционном движении 1848 г. «И тенденция этой статьи, и подробное описание восстания таковы, — заключал сановный цензор, — что в настоящее время лучше бы не пропускать ее в печать». Предосудительными названы также напечатанные в том же номере «Современника» роман Г.Н. Потанина «Старое старится, молодое растет» («во многих местах высказывается враждебное понятие об отношениях дворян к простолудинам и обратно»), статья М.А. Филиппова «Взгляд на русские гражданские законы» (автор призывает к «решительному изменению существующих узаконений о браке и разводе»), повесть Н.Г. Помяловского «Мешанское счастье» («оскорбленный плебей не скрывает своего сословного презрения к аристократам»), рецензия на «Памятную книжку для священника» («подвергалась критике, оскорбительной для обыкновенного религиозного настроения духа»). 18 марта на основании записки Берте Главное управление цензуры вынесло постановление, в котором осуждался принятый «Современником» «дух порицания всего существующего часто в виде насмешки над государственными, сословными, церковными отношениями» и предписывалось «сделать цензору строгий выговор, а редакции сделать предостережение, что если она не переменит направления, то журнал подвергнется запрещению». Получив постановление, Медем уведомил о нем редакцию «Современника» официальной бумагой³¹. 17 марта В.Н. Бекетову объявлен выговор за пропуск статьи Чернышевского «Кредитные дела» («Современник». 1861. № 1). Впредь приказывалось подобные статьи представлять на предварительное рассмотрение в Министерство финансов³².

Эти мартовские события, восстановленные нами документально, и послужили, как объяснял Чернышевский, причиной его прямого участия в хлопотах по составлению записки литераторов о смягчении цензуры.

«По приезде в Москву, — рассказывал Чернышевский на суде, — тотчас же поехал к г. Каткову, важнейшему тогда из московских журналистов; он собрал у себя других; я был на этом собрании, — проект г. Вернадского был принят с некоторыми изменениями, г. Каткову было поручено написать записку и подробные правила; я почел свое поручение исполненным и уехал в Петербург». Жил Чернышевский «в гостинице против дома Шипова, — вероятно, на Лубянке» (XIV, 726, 745). В письме к Добролюбову он сообщал, что к Каткову он прибыл 27 марта в 11 часов утра, следующие два дня

шли совещания («я по два раза в день бываю у Каткова»), 30 марта сел в вагон 2 класса и возвратился в Петербург (XIV, 425).

Дополнительным источником сведений о содержании переговоров в Москве является письмо Д.И. Каменского к А.В. Дружинину от 16 апреля 1861 г. По словам Каменского, который сотрудничал в «Русском вестнике» и был вхож к Каткову, москвичей собралось «около 20 человек», «более всех, кроме Каткова, говорили И. Аксаков, Павлов, Чумиков, Чижов». Газета И.С. Аксакова «День» подвергнется временному запрещению в июне 1862 г., А.А. Чумиков редактировал журнал «Воспитание» — с ним Чернышевский был знаком еще по кружку И.И. Введенского³³, Ф.В. Чижов издавал журнал «Акционер». Ряд советов дал присутствовавшим «здешний цензор Гиляров» — Н.П. Гиляров-Платонов, отличавшийся либерализмом и вскоре уволенный — летом 1862 г. По свидетельству Каменского, требования литераторов сводились к ограничению самоуправления цензоров, нередко доходящих в своих замечаниях до нелепостей и анекдотов, к предоставлению редакторам права печатать некоторые статьи «на свой страх», но с соблюдением цензурного устава; Н.Ф. Павлов предложил «представить Государю просьбу о совершенной отмене цензуры», но «мысль эта, как нелепая по настоящему положению дел, отвергнута»³⁴.

Окончательный текст записки, согласованный только в сентябре 1861 г., не ограничивается этими положениями. В архиве Чернышевского сохранился составленный им черновик официального письма к некоему «князю». По справедливому предположению А.П. Скафтымова, письмо адресовано князю А.А. Суворову, назначенному петербургским генерал-губернатором 18 ноября 1861 г., и на этом основании письмо датируется концом ноября или декабрем этого года (I, 850)³⁵. От имени подписавших записку литераторов Чернышевский просит здесь передать ее «министру народного просвещения для представления на Высочайшее рассмотрение Государя Императора». Кратко передавая содержание записки, Чернышевский настаивает на «отменении цензуры», которая «не имеет достаточных оснований при настоящих стремлениях правительства и при чувствах, которые порождаются в обществе этими стремлениями». «Цензура, принося вред обществу, — писал Чернышевский, — приносит еще более вреда правительству», и каково бы ни было ее назначение, «она не достигает и ни в каком случае не может достичь своего назначения». «Отменение цензуры требуется выгодою самого правительства», и, основываясь на этом, русские литераторы «излагают свои мысли о таких учреждениях, которые могли бы действительно, нежели цензура, оградить те

интересы, охранение которых вверено цензуре, но не достигается ею» (I, 720–721).

В письме к Добролюбову от 27 апреля 1861 г., с иронией рассказывая о «своих подвигах» и призывая его вдохновиться на сочинение шуточной поэмы об этом предмете, Чернышевский упомянул о скептическом отношении Некрасова и Антоновича к самой идее подачи записки. Скорее всего, этот скепсис разделял и Чернышевский. Записке действительно суждено было забвение³⁶. Однако, пишет Чернышевский, Некрасов и Антонович «правы были бы, если б не было тут другого, тайного побуждения, — оно состоит, положим, хотя в том, чтобы дать материал для героической поэмы» (XIV, 426). Сводя дело к шутке, Чернышевский тем не менее дает понять о существовании «другого, тайного побуждения», и предположительно его можно было бы обозначить следующим образом. В условиях острой полемики, когда на «Современник» обрушилась почти вся русская журналистика, вопрос о цензуре становился едва ли не единственным, равно затрагивающим интересы каждого периодического издания. На фоне такой общности цензурные требования к «Современнику» как бы уравнивались, нивелировались. «Современник»-де терпит и протестует, подобно другим современным изданиям. Тем самым Чернышевский делал попытку как можно дольше сохранить направление журнала. Она, конечно, оказалась бы еще успешнее, если бы власти занялись запиской литераторов всерьез. Но на записку внимания не обратили, цензура продолжала свой натиск, и «Современнику», на который указывал почти каждый публицист, вольно или невольно облегчая задачу «разоблачения» направления «литературных свистунов», «свистящих цивилизаторов» и «громкоголосых прогрессистов», как называли в прессе сотрудников журнала³⁷, становилось все труднее и труднее.

К цензурным изысканиям Берте примыкает и его записка от 23 сентября 1861 г., отмечающая «прежнее отрицательное направление» «Современника». На этот раз материалом послужила статья Чернышевского «Национальная бестактность», опубликованная в июльской книжке журнала. В ней «автор упрекает русинов — австрийских подданных, зачем они, говоря о литературном своем родстве с малоруссами, не хотят политического единства (стр. 3 и др.)». И тут «Современник» является оригинальным, защищая начало национальностей». Сам по себе упрек незначительный, но он включен в контекст очевидного для цензора вредного направления журнала, и в дело шли даже мелкие замечания. Заключая обзорные двух последних летних номеров «Современника», Берте настаивал на вынесении редакции «последнего предостережения», а в после-

дующем и на «решительном запрещении этого журнала»³⁸. В «Объяснительной записке» Медема от 14 октября 1861 г. подтверждалось: статьи «Современника» в своей совокупности «явно обнаруживают предосудительность общего направления и делаются вредными»³⁹.

Внушительная часть упомянутой выше записки О. Пржецлавского от 22 октября 1861 г. посвящена «Современнику». Читаем: «Рассматриваемый таким образом “Современник” чаще всех, может быть, замечаем был в дурном направлении, постоянно выражающемся в грубом материализме и демократическими выходками. Он неоднократно подвергался предостережениям, но, как последняя записка <...> г. Берте доказывает, не изменил нисколько своего направления и лишь усиливается проявить его каждый раз в новой форме. Поэтому я вполне разделяю заключение Его Превосходительства Александра Александровича <Берте>, чтобы журналу этому сделано было последнее уже предостережение, а затем, в случае недействительности сей меры, Всеподданнейше было представлено о запрещении его. “Современник”, — продолжал Пржецлавский, — не отличается ни научным, ни литературным достоинством; он мало заботится о распространении полезных знаний. Если и пользуется популярностью в известном круге читателей, то она приобретена частью скандальными, так называемыми обличительными статьями, частью же резкими, лстящими вкусам толпы теориями, неодобрительными выходками и юмором дурного тона. От запрещения его общественная польза не понесет ущерба, тогда как напротив, дальнейшее к нему снисхождение кроме указанного уже вреда имело бы еще ту невыгодную сторону, что могло бы быть в публике принято за поощрение подобных публикаций или породит толки о слабом действии Главного цензурного начальства»⁴⁰.

Поход против «Современника» поддержал также член Главного управления цензуры профессор А.В. Никитенко⁴¹. Его обзор от 11 ноября 1861 г., собственно, посвящался «Русскому слову», но с самого начала для сравнения назван «Современник». Сравнение журналов услужливо подсказывалось прессой. «Русское слово» «хотя и не хочет сознаться, но видимо придерживается того же направления, что и “Современник”», — писал фельетонист «Северной пчелы»⁴². «“Русское слово”, — пишет Никитенко, — идет действительно по стопам “Современника”. Это его идеал, образец, а главный из сотрудников последнего Чернышевский для него есть величайший ум не только в России, но и во всей Европе». Никитенко также настаивал на «необходимости сделать ответственным редакторам их последнее строгое предупреждение» с последующим «прекращением сих журналов»⁴³.

Обобщение характеристик и оценок «Современника» и «Русского слова» выработано в документе от 23 ноября 1861 г. за № 1781, направленном Медуе за подписью нового министра народного просвещения графа Е.В. Путьятина. О «Современнике» здесь сказано, что «статьи его по-прежнему в религиозном отношении лишены всякого христианского значения, в законодательном — противоположны настоящему устройству, в философском — полны грубого материализма, в политическом — одобряют революции, отвергают даже умеренный либерализм, в социальном — представляют презрение к высшим классам общества, странную идеализацию женщины и крайнюю привязанность к низшему классу народа». Цензорам вменялось обращать внимание на «дух и направление рассматриваемых ими статей», а не только на «фразы», и «если исключением сих последних нельзя ослабить вредного или непозволительного значения целой статьи, то цензор должен подвергнуть всю ее запрещению». Редакторов обоих журналов документ обязывал личной подписью подтвердить получение «строжайших выговоров» и предупреждение о возможном прекращении их изданий, «если журналы будут издаваемы ими и впредь в том духе, как ныне»⁴⁴. 5 декабря Некрасов и Панаев расписались в объявлении им этого предписания⁴⁵.

Цензура усиливалась. Записка литераторов, в судьбе которой столь деятельно участвовал Чернышевский, не получила поддержки в высших сферах. Власти в России фатально не умели наладить диалог с обществом и представляющей его интересы журналистикой, опасаясь ее воздействующей силы. Однако нельзя сказать, чтобы воплощенные в записке надежды на перемены не имели никакого резонанса. Пусть косвенно, но она содействовала некоторому движению в цензурном ведомстве. Тем не менее эти изменения не препятствовали общей репрессивной направленности цензуры. Журнальная деятельность Чернышевского вплоть до его ареста протекала в условиях настоящего цензурного террора, соединенного с травлей со стороны почти всей отечественной журналистики.

Примечания

¹ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 10. С. 304–305.

² Имеется в виду полемика Чернышевского с Вернадским в 1857–1858 гг.: Научная биография (1853–1858), раздел «Спор с “Экономическим указателем”».

³ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5977. Л. 1–4.

- ⁴ Воспоминания проф. И.Е. Андреевского. Князь Александр Аркадьевич Суворов // Русская старина. 1882. № 3. С. 836.
- ⁵ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1862 г. Д. 55. Л. 1.
- ⁶ Эти имена приводим в архивном перечне: А. Старчевский («Сын Отества»), П. Усов («Северная пчела»), А. Очкин («Очерки»), Ф. Мейер («St. Petersburger Zeitung»), А. Гиероглифов («Русский мир»), Г. Елисеев («Век»), Н. Степанов («Искра»), В. Тимм («Русский художественный листок»), А. Погосский («Солдатская беседа»), А. Краевский («Отечественные записки»), Н. Чернышевский («Современник»), М. Достоевский («Время»), И. Калиновский («Светоч»), А. Писемский («Библиотека для чтения»), Г. Благодетлов («Русское слово»), В. Белозерский («Основы»), Н. Калачев («Архив историко-юридических сведений о России»). Там же. Л. 2, 6.
- ⁷ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5977. Л. 5.
- ⁸ См.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936; *Герасимова Ю.И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974. Также: История русской журналистики XVIII—XIX веков / Под ред. проф. А.В. Западава. 3-е изд. М., 1973; *Есин Б.И.* История русской журналистики (1703—1917): Учебно-методич. комплект. М., 2000; *Громова Л.* История русской журналистики. XVIII—XIX вв. СПб., 2003.
- ⁹ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5084. Л. 1.
- ¹⁰ *Тургенев.* Письма. Т. IV. С. 37.
- ¹¹ Из воспоминаний Григория Дмитриевича Щербачева // Русский архив. 1891. № 1. С. 61.
- ¹² РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5201. Л. 14.
- ¹³ Там же. Д. 5391. Л. 1.
- ¹⁴ Там же. Д. 5471. Л. 1.
- ¹⁵ Там же. Д. 5272. Л. 1, 2, 5, 13.
- ¹⁶ Там же. Д. 5280. Л. 1—9.
- ¹⁷ Наше время. 1860. 23 августа. № 32.
- ¹⁸ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5561. Л. 14.
- ¹⁹ Там же. Д. 5425. Л. 5 об., 8.
- ²⁰ Обширные извлечения из этого документа, но с ошибкою в датировке (18 июня вместо 18 июля) приведены впервые в кн.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936. С. 426—433. См. также: *Герасимова Ю.И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974. С. 110. Документ цитируем по первоисточнику: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5342. Л. 1—9.

- ²¹ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5331.
- ²² Прежде Ф.И. Рахманинов служил редактором отделения Департамента министерства юстиции. Перемещение его на цензорскую должность состоялось 15 января 1860 г. (РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. № 5073. Л. 5 об.; *Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г., Фут И.П.* Цензоры Санкт-Петербурга (1804–1917) // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. С. 387).
- ²³ Первоначально на эту должность министр народного просвещения прочил И.А. Гончарова, но Александр II 14 января 1860 г. утвердил не его, а Медема (РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5084).
- ²⁴ Новое литературное обозрение. 2004. № 69. С. 368.
- ²⁵ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5571. Л. 1.
- ²⁶ Там же. Д. 5607. Л. 1–4.
- ²⁷ Записки Петра Кононовича Менькова. СПб., 1898. Т. II. С. 300.
- ²⁸ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5835. Л. 8–9.
- ²⁹ Прежде всего имелась в виду статья Чернышевского «Июльская монархия».
- ³⁰ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5654. Л. 1.
- ³¹ *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. С. 486–490.
- ³² Шестидесятые годы. Л., 1940. С. 387–388.
- ³³ См.: Научная биография (2015). Т. 1. С. 195, 197.
- ³⁴ Письма к А.В. Дружинину (1850–1863) / Ред. и коммент. П.С. Попова. М., 1948. С. 140–143.
- ³⁵ Звенья. 1936. Т. 6. С. 609.
- ³⁶ *Лемке М.* Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904. С. 59–82.
- ³⁷ СПб. ведомости. 1861. 28 ноября. № 264. С. 1450; Домашняя беседа. 1861. 18 ноября. Вып. 46. С. 896.
- ³⁸ *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. С. 498, 501.
- ³⁹ Там же. С. 502.
- ⁴⁰ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. № 5835. Л. 8–9.
- ⁴¹ О нем см.: Научная биография. Т. 1(1828–1853), раздел «Литературные опыты»; Научная биография (1853–1858), раздел «Защита диссертации». *Прокопенко З.Т.* А.В. Никитенко и Н.Г. Чернышевский // Русская литература. 1978. № 2. С. 121–131.
- ⁴² Северная пчела. 1862, 28 марта. № 84. С. 335.
- ⁴³ *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. С. 502, 504.
- ⁴⁴ Там же. С. 503–504.
- ⁴⁵ См.: *Некрасов* (1953). Т. XII. С. 47.

6. Манифест об освобождении крестьян

Ужесточение цензуры обнаруживало растущий страх правительства Александра II перед оппозиционными силами. Обстановка в стране накалялась, неуклонно росло число выступлений крепостных, все решительнее ропчущих на медлительность действий правительства с их освобождением, как свидетельствовали поступающие царю данные Департамента полиции исполнительной. В 1859 г. к обычным фактам проявления недовольства присоединились охватившие почти всю Европейскую Россию крестьянские «питейные бунты». «Во многих местах, — докладывал шеф жандармов царю, — для укрощения буйства было употреблено содействие военных команд». В 1860 г. цифра крестьянских волнений с 30 за предыдущее десятилетие достигла 212¹.

Александр II прекрасно понимал, насколько в этих условиях важно было завершить выработку основных положений освобождения крестьян. Однако действия императора и его правительства по-прежнему не отличались решительностью. Призывы либеральных публицистов «стараться совершить преобразование мирным и законным путем, зрело и обдуманно, при общем содействии всех граждан, с сохранением справедливости для обоих сословий»², оставались лишь благими пожеланиями, невыполнимыми на деле. Большинство крестьян, свидетельствовал один из современников, «почему-то было уверено, что вся земля отойдет им, а всех помещиков царь на жалованье возьмет». Созданные в губерниях «Комитеты для составления проекта правил об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян» остряки называли «комитетами по ухудшению быта помещиков»³.

Характерны отклики иных крепостников на статью Чернышевского «Труден ли выкуп земли?», помещенную в январской книжке «Современника» за 1859 г. в составе нового журнального отдела «Устройство быта помещичьих крестьян». Чернышевский исходит из укоренившегося в народе «сознания о неизбежной принадлежности земли, находящейся в пользовании у крестьянина, самому крестьянину» (V, 501) и, следовательно, из абсурдности всяких разговоров о выкупе земли крестьянами при их освобождении. В случае же оставления правительством идеи выкупа, что было наиболее вероятным, статья доказывала необходимость придерживаться небольших сумм выкупа. Некий Я-в в заметке «Концертный сезон в одном из русских журналов» немедленно обвинил Черны-

шевского в намерении разорить помещиков. «Г. Чернышевский, — пишет он, — концерт свой разыграл: извольте аплодировать ему и расходиться по домам с голодными желудками»⁴. «Что было бы со мною и мне подобными, ежели бы расчет г. Чернышевского о выкупе земли мог быть приведен в исполнение? — вопрошал другой критик. — Конец концов! вот последствия таких выводов, вполне противоречащих даже опытам, представляемым иностранными государствами»⁵.

Защищаемые «Современником» интересы крестьян и притязания владельцев крепостных непримиримо расходились, и не удивительно, что почти вся журналистика, предоставляющая свои страницы только помещикам, встала на защиту интересов правящего класса. «Домашняя беседа», например, напечатала в связи с пятилетием восшествия Александра II на престол 19 февраля поучительное слово к крепостным с призывами к ним не увлекаться «никакими ложными мыслями о свободе». «Если даруется вам свобода, — говорилось здесь, — это не значит, что вы уже не обязываетесь никому служить», и освобождаемые крестьяне, по убеждению журнала, все равно по-прежнему могли рассчитывать только на роль слуг⁶.

В стремлении ограничить влияние оппозиционных сил император расчетливо учитывал сопротивление крепостников радикальным настроениям. И когда один из влиятельных участников реформы писал обобщенно, что «история разрешения крестьянского вопроса есть история борьбы двух направлений: прогрессивного и охранительного»⁷, то деятельность монарха он отнес к первому, тогда как в действительности она являла признаки того и другого вместе. В связи с этим любопытен следующий факт: в письме графа Д.Н. Блудова министру народного просвещения Е.П. Ковалевскому от 18 мая 1858 г. сообщалось о резолюции Александра II на одном из документов министра финансов, где говорилось о необходимости отмены ряда ограничений, находящихся «в противоречии с прогрессом гражданственности»: «Что за прогресс!!! Прошу слова этого не употреблять в официальных бумагах»⁸. Один из мемуаристов справедливо заметил, что «вечные колебания — судьба наших правительственных мер — и отсутствие твердой постоянной системы»⁹.

Разрешения обсуждать в прессе условия будущего освобождения крестьян чередовались с санкционированными Александром II всякого рода запретительными мерами. Так, 24 декабря 1859 г. шеф жандармов князь В.А. Долгоруков адресовал Е.П. Ковалевскому предписание «о запрещении издателям журналов и газет направлять своих представителей по деревням для собирания сведений о быте крестьян и об установлении ограничений для ученых обществ в от-

ношении командирования их представителей с тою же целью»¹⁰. На место умершего председателя Редакционных комиссий, созданных для составления положения об освобождении крепостных, сторонника реформ Я.И. Ростовцева царь назначил В.Н. Панина, «главу самой дикой, самой тупой реакции»¹¹. Готовность Н.А. Милютина, слывшего за либерала, принять на себя заведование редакционными комиссиями, была отвергнута императором. Государственному канцлеру князю А.М. Горчакову, замолвившему слово за Милютина, Александр II сказал: «Напрасно заступаетесь; Милютин уже давно имеет репутацию красного и вредного человека»¹².

Сообщая отцу о выдвижении Панина, Чернышевский писал: «Надобно полагать, что труды, исполненные при Ростовцеве, подвергнутся теперь переделке. Говорят, что Панин удаляет из редакционной комиссии важнейших сотрудников Ростовцева. Это в порядке вещей. Посмотрим, что будет». Спустя неделю Чернышевский наряду с прежними опасениями передавал слухи о высказанном будто бы пожелании царя, чтобы Панин ничего не менял в основаниях, принятых Ростовцевым. А еще через неделю сообщил о сделанном самим Паниным объявлении, что «государь приказал ему не делать в прежних работах никаких перемен и докончить составление проекта устава в скорейшем времени» (XIV, 385, 387).

Чернышевский сдержан в письмах к отцу, никак не комментируя передаваемую информацию. Гаврила Иванович на стороне царя-реформатора, и сын не мешает ему надеяться на освободительную миссию самодержца. Между тем самому Чернышевскому совершенно ясна иллюзорность подобных упований, разделяемых подавляющим большинством либерального общества.

Панин явно не торопился с подготовкой освободительного Манифеста. Реакция вновь подняла голову, и уже летом 1860 г. у журналистов стали возникать трудности с прохождением в печать статей по крестьянскому вопросу. Чернышевский сообщал Добролюбову в августе: «О крепостном праве решительно запрещено писать. Как идут цензурные дела, можете судить из одного факта: Рахманинов в четыре дня (около 20 июля) получил пять выговоров за вещи самые невиннейшие и вздорнейшие» (XIV, 401). Дело крестьянского освобождения «пошло скорой рысью назад», — писал Тургенев Герцену в сентябре¹³. Цензор Рахманинов, присматривавший и за «Санкт-Петербургскими ведомостями», получил в декабре 1860 г. «строгий выговор» за пропуск в № 265 газеты фразы о том, что нынешний декабрь «несет с собою надежду на окончание крестьянского вопроса»¹⁴. Содержавшиеся в письме к Добролюбову от начала сентября слова «здесь очень боятся говорить о крепостном праве» (XIV, 406)

точно отражали ситуацию, которая сложилась в обществе и литературе накануне освобождения крестьян.

Новый 1861 год начался с введения новых трудностей в печатании «крестьянских» статей. Если прежде они передавались на общую цензуру после просмотра их чиновником Министерства внутренних дел, то в январе, как указывалось в секретном донесении В.А. Долгорукова в Главное управление цензуры Н.А. Муханову, принято решение о предварительном рассмотрении статей по крестьянскому делу Государственным секретарем тайным советником В.П. Бутковым. Самим Бутковым соответствующее подтверждение направлено министру народного просвещения 12 февраля, а спустя два дня об этом были извещены Петербургский и Московский цензурные комитеты¹⁵. Дополнительно комитеты получили циркуляр от 21 января 1861 г., «чтобы в настоящее время цензорами не допускалось к печати никаких известий о ходе сего <крестьянского> дела и обстоятельств до него относящихся»¹⁶.

Одновременно теми же январскими днями (7 числа) князь В.Ф. Одоевский подал на имя царя «Записку об увольнении крепостных крестьян». «В этом деле, — предупреждал автор, — единственно важное: не медлить; дорог день, дорог час. Народ с дивным смирением ждет разрешения жизненного для себя вопроса, но уже ждет нетерпеливо. Какое бы ни было его разрешение в частностях, оно будет всегда лучше, чем отсрочка, невозможная и опасная»¹⁷. «Записка» выражала мнение значительного большинства сторонников реформы, с которым Александр II должен был считаться. Возможно, эта «Записка» оказалась последним звеном в решении важнейшей проблемы внутренней политики. Так или иначе, но на общем собрании Государственного совета 28 января 1861 г. Александр II сказал, имея в виду крестьянскую реформу: «Откладывать этого дела нельзя; почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ. <...> Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства». Императором были повторены слова, произнесенные им в 1856 г.: «Лучше, чтобы преобразование это совершилось сверху, чем снизу»¹⁸.

Боязнь народного выступления побуждала правительство сохранять в глубокой тайне дату обнародования манифеста. Более того, за два дня до подписания царем ожидаемого документа в некоторых газетах появилось официальное объявление Петербургского военного генерал-губернатора П.Н. Игнатьева о том, что вопреки «разнесшимся слухам» «19 сего февраля никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу обнародовано не будет»¹⁹.

Когда же «будет», не говорилось, и это вносило особую напряженность и смятение.

«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», приготовленное к 19 февраля, опубликовали в последний день Масленицы, в воскресенье, 5 марта 1861 г. Печатание Манифеста происходило в глубокой тайне. Но, случалось, наборщики пробалтывались, и, по свидетельству очевидца, двух дворников высекли в полиции за разговоры о подписанной царем воле, причем «высекли в тот самый день, когда Манифест был объявлен»²⁰.

Трудовая Россия встретила царский документ настороженно. Изобилующий неудобочитаемыми, непонятными народу словами и оборотами, текст «Положения», который сочинялся митрополитом Филаретом и редактировался министром юстиции В.Н. Паниным, возбуждал недоверие и опаску. «Сам манифест явным образом написан был по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем», — иронизировал Тургенев²¹. Один из современников, занимавший видное положение редактора «Военного сборника», свидетельствовал: «...В церквях прочли — не поняли. <...> В великосветских гостиных большая часть личностей не уразумели дела — толковали, спорили, утверждали, что крестьянам в новом положении будет гораздо хуже. <...> Граф Орлов-Денисов решил: “Поверьте, что все останется по-прежнему! Как прежде было!”»²². Манифест действительно давал повод к разноречивым толкованиям, так как крестьяне, называемые теперь «временно-обязанными», должны были в течение двухлетнего переходного периода «пребывать в прежнем повиновании помещикам и беспрекословно исполнять прежние обязанности» в пользу помещиков, а помещикам вменялось «сохранять наблюдение за порядком в их имениях с правом суда и расправы»²³. Почти повсеместно крестьяне полагали, что объявленное «Положение» не выражало подлинного смысла намерений царя, что «авось выйдет еще указ», по которому народу «земли отдадут даром»²⁴. Живший в Воронеже поэт И.С. Никитин свидетельствовал: Манифест не произвел на крестьян «ровно никакого» впечатления, «мужички поняли из него только то, что им еще остается два года ожидания. В два года, — говорят они, — много утечет воды»²⁵. «Где же моя свобода? — передавал мнение одного из крестьян известный врач и педагог Н.И. Пирогов. — Это быть не может, меня обманывают, и то, что мне говорят о царской воле, все не царская, а панская воля»²⁶.

Опасаясь волнений, правительство заранее позаботилось о боевой готовности войск. «Ожидали со страхом столкновения, — вспоминал современник. — Думали, что дворянство не захочет

отступить от своих вековых прав, а крестьяне, услышавши о дарованной им воле, по невежеству примут ее как право не признавать власти. <...> Полки получили приказ никуда не отлучаться и быть наготове»²⁷. По другим воспоминаниям, министр внутренних дел С.С. Ланской в разговоре с одним чиновником ходил по кабинету и, «подходя к окнам, выходящим на Александровскую площадь, взглядывался через нее на Невский и говаривал: “А бунта-то ведь нет!”»²⁸

События ближайших двух месяцев подтвердили основательность обуявшего правящие верхи страха перед народным движением. В некоторых губерниях крестьяне целыми селами и даже уездами поднимались против помещиков и чиновников, требуя объявления «настоящей воли». Всей России стало известно движение крестьян в Казанской и Пензенской губерниях в апреле 1861 г. Бунты в селах Бездна и Кандиевка были жестоко подавлены войсками, публичной казни подвергли вожака безднинских крестьян Антона Петрова. В газетной заметке цензура дозволила сообщить о военной экспедиции графа Апраксина в село Бездну с 231 солдатом. Убито 55 крестьян, ранен 71. Антона Петрова расстреляли всенародно 19 апреля. «При исполнении приговора, — прибавляла газета, — крестьяне говорили, что Петров заслужил свое наказание, будучи виною всех их бед. <...> Соседние села вели себя прекрасно»²⁹. «Апраксинскими убийствами» назвал Герцен карательную военную экспедицию в село Бездна³⁰.

Один из постоянных корреспондентов К.Д. Кавелина помещик В.А. Бабкин писал ему 12 мая 1861 г.: «Не знаю, разочаровались ли хотя немного в Петербурге в достоинства принятой системы освобождения крестьян; не знаю, верят ли еще в мирное введение новых порядков, столь прославленное в газетах. Здесь очарованных и верящих немного. В народе настроение умов прежнее. Безднинская бойня напугала, сломила сопротивление, но не изменила народных желаний и убеждений, не заставила народ понять и удовольствоваться новым положением. Народ по-прежнему недоволен, по-прежнему волнуется, в народе говорят, что все случившееся должно было случиться, что в старых книгах написано, что настоящая воля не может быть добыта без крови, что сперва прольется кровь крестьян, а потом потечет и помещичья, и так как теперь кровь крестьян уже пролита, то и добыть настоящую волю будет легче». В следующем письме от 14 декабря Бабкин писал, что его крестьяне «перешли на оброк, но все еще не отрешились от больших ожиданий. <...> Они соглашаются, что оброк много легче и выгоднее барщины, но все ждут чистой воли и земли даром»³¹. Подобные настроения проявля-

лись едва ли не повсеместно, и министр внутренних дел издал 2 декабря 1861 г. особый циркуляр, в котором указывалось на ложность надежд крестьянских на «новую волю». Со ссылкой на распоряжение Александра II предписывалось властям «напоминать» крестьянам о «лежащих на них обязанностях» и «говорить крестьянам, что никакой другой воли не будет, кроме той, которая дана»³².

Опубликованные в «Колоколе» Герцена материалы о военной расправе с крестьянами встревожили русское правительство. 27 мая 1861 г. чиновникам особых поручений при Главном управлении цензуры было поручено доставить сведения, «не встречалось ли где в читаемых ими повременных изданиях описания казанских происшествий с неодобрительными намеками на действия графа Апраксина». Ответы показывают, что особых поводов для серьезного беспокойства не существовало³³.

Не обошлось в отечественной прессе и без излишнего славословия по поводу Манифеста³⁴, о котором, по словам публициста «Современника» Г.З. Елисеева, «трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты». Присоединяться к этому хору «Современник» Некрасова и Чернышевского не желал. В силу цензурных условий прямо высказать скептическое отношение к «Положению» «Современник» не мог. Редакции пришлось воспользоваться обходным маневром для выражения своего действительного мнения о реформе. Г.З. Елисеев писал во «Внутреннем обозрении» мартовской книжки журнала за 1861 г., намекая на невозможность критических суждений по поводу Манифеста, что он вовсе не намерен писать «о дарованной крестьянам свободе. Вы ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете»³⁵. Этими намеками редакция «Современника» сумела выразить свое отношение к царскому рескрипту. Однако на фоне шумных восхвалений позиция в известной мере может быть в целом обозначена близкой к молчанию или замалчиванию. По крайней мере, именно такой она воспринята современниками, знавшими подобный способ выражения критического отношения к предмету замалчивания. Так, князь В.А. Черкасский писал А.И. Кошелеву в июле 1856 г. по поводу статьи К. Аксакова «О русском воззрении», прочтенной до ее опубликования в «Русской беседе»: принятые русским правительством внутренние законодательные меры после 18 февраля 1855 г. «надобно будет хвалить — но есть и предметы похвалы. <...> А в ином случае молчание — та же критика»³⁶.

Осторожность «Современника» в критике Манифеста диктовалась и соображениями безопасности, уже значительно подточенной цензорами и журналистами-доносчиками. Редакторам

наверняка становились известны факты чрезвычайной жесткости правительства в отношении любых проявлений, казавшихся властям чересчур либеральными. Например, П.С. Яснов и Л.А. Снегирев получили категорический отказ в издании задуманной ими вполне официозной газеты «19 февраля 1861 г.» только на том основании, что она будет «исключительно посвящена крестьянскому делу»³⁷. Забавным, но весьма показательным явился цензурный случай, происшедший с верноподданническим журналом А.В. Старчевского «Сын отечества». В одном из номеров этого издания появилось объявление о продаже в столичных книжных магазинах картины «Русские крестьяне благодарят Государя за освобождение от крепостной зависимости»³⁸. В самом объявлении, разумеется, ничего предосудительного не было. Но на той же странице ниже оказалась помещенная карикатура с надписью: «Собачья депутация изъявляет благодарность своему защитнику в виду своего преследователя». Инцидент рассматривался на особом заседании Главного управления цензуры. Карикатура эта, по объяснению редактора, изображала самого Старчевского, сидящего на диване в барском халате и принимающего благодарность собак, а в качестве их преследователя – стоящего с толстой палкой в руках редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» А.А. Краевского. Поводом для рисунка послужил развернувшийся между обоими редакторами спор о подати на собак. Поскольку Краевский не ответил на последнюю публикацию «Сына отечества», отвергавшего введение подати, Старчевский посчитал уместным напечатание карикатуры. Ни редактор, ни цензор, подписывая корректуры, никакого объявления о картине не видели. Оно, как пояснил Старчевский, было произвольно вставлено типографом «куда попало» на свободное место последней страницы. Однако в результате произошел казус с политическим подтекстом. Главное управление цензуры распорядилось оставшиеся 6 тысяч экземпляров, предназначавшиеся для отсылки в провинцию, отправить по назначению с вырезанной последней страницей. Об этом случае (подобных немало в цензурном ведомстве) не стоило бы упоминать, если бы не «высокое» его продолжение. На злополучную журнальную страничку кто-то полгода спустя обратил внимание министра народного просвещения, и тот написал в ноябре 1861 г. петербургскому военному генерал-губернатору, что помещение на одной и той же странице журнала объявления и карикатуры «признано в высшей степени неуместным и предосудительным». Началось новое расследование, порученное полковнику из ведомства генерал-губернатора, и длилось оно еще около года. Конечно, все прежде выявленные обстоятельства подтвердились,

и в сентябре 1862 г. суд вынес решение «по необнаружению в сим сопоставлении преступного умысла никому из опрошенных по сему делу лиц в вину не вменять», лишь типографа оштрафовать на 10 рублей³⁹.

Чернышевский как ведущий автор «Современника» по крестьянскому вопросу прекратил свои публикации еще в конце 1859 г., когда понял невозможность хоть сколько-нибудь влиять на ход готовящейся реформы, содержание которой он уже тогда безошибочно угадывал. Изображая впоследствии в сибирском романе «Пролог» эту ситуацию, Чернышевский разъяснял, что предлагаемое правительством и либералами освобождение крестьян с землей, но за выкуп, не несет подлинного освобождения, ввергая земледельца в новые тяготы. Герою романа Волгину (образ автобиографичен), общавшемуся с участниками реформы, «противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; противно, обидно за справедливость...» И Волгин формулирует свое отношение к обсуждавшимся программам освобождения. Поддавшемуся либеральным иллюзиям Соколовскому он говорит: «...План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, — вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее: это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли» (XII, 188, 198). Никто в русской литературе и публицистике шестидесятых годов не смог подняться до подобного глубинного постижения существа готовящейся и вскоре осуществленной крестьянской реформы.

Объявленный Манифест подтвердил прогнозы Чернышевского. Показателен эпизод, рассказанный им самим. В день обнародования Манифеста он зашел к Некрасову в спальную. «При моем входе он восторженно, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: “Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!” — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: “А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это”. — “Нет, этого я не ожидал”, — отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения» (I, 747).

Размышления Чернышевского по поводу начавшейся реформы составили содержание его статьи «Письма без адреса», приготовлен-

ной к февральской книжке «Современника» в годовщину подписания монархом Манифеста. Адресат угадывался без труда — Александр II. Но статья не увидела света, сохранилась лишь корректура, перечеркнутая красным цензорским карандашом. Первая ее публикация состоялась в 1874 г. за границей в типографии П.Л. Лаврова при содействии К. Маркса, высоко отзывавшегося об экономических трудах Чернышевского⁴⁰.

Содержание крепостного вопроса Чернышевский в «Письмах без адреса» сразу же поставил в связь с общими принципами, составлявшими сущность государственного устройства России. Многие не желали видеть или не понимали этой зависимости, и «потому, — писал он, — общие принципы прежнего порядка были оставлены в покое и вся реформационная сила общества обратилась против самого осязательного из его внешних применений» (X, 95). Реформа сразу же натолкнулась на противодействия — бывшие помещицы крестьяне уставных грамот не принимают, от предписанного продолжения двухлетнего обязательного труда отказываются, добровольные соглашения между помещиками и их крестьянами в большинстве случаев оказываются невозможными, в государстве усиливается общее безденежье, ценность бумажного рубля падает. Растолковывая читателям идеи демократии, Чернышевский объяснил основные причины неудачи реформы. Александр II отменил крепостное право «силою старого порядка». Нужно было «новое платье», между тем решили отделаться одною «штопкою». «Но, начав штопать, мы постепенно замечали ветхость материи на всех местах, до которых приходилось нам дотрагиваться», и теперь «все общество начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое: штопать оно не хочет».

«Старый порядок», на который опирался в своей реформаторской деятельности царь, действовал старыми бюрократическими способами. Чернышевский показал это на документах Редакционных комиссий. Вначале председатель их объявил, что крестьянский вопрос составляет «дело всей России» и что необходимо «призвать на помощь общее участие». И с этим все согласились. А в решении тоже с согласия членов комиссии определено разослать отпечатанные экземпляры материалов обсуждения только высшему губернскому начальству. Но разве оно «вся Россия»? Разве суд их — «общий суд всей России»? С самого начала бюрократия, поясняет Чернышевский, исключила представителей народа из числа участников обсуждения крестьянского вопроса. И никто из членов комиссий не обратил внимания на противоречивость первоначальных общих заявлений и произведенных конкретных решений. Все одинаково

одобрили слова председателя, который неоднократно к тому же ссылался на высших сановников и даже на «Высочайшую волю». «При бюрократическом порядке, — читаем у Чернышевского, — совершенно бесполезны ум, знание, опытность людей, которым поручено дело. Люди эти действуют, как машины, у которых нет своего мнения, они ведут дело по случайным намекам и догадкам о том, как думают про это дело то, или другое, или третье лицо, совершенно не занимающееся этим делом», «при бюрократическом порядке нет ни у кого независимости».

Как одно из подтверждений засилия бюрократии Чернышевский приводит «так называемую гласность». Председатель комиссий говорил об опубликовании журналов их заседаний «в достаточном количестве». А на деле экземпляры попали лишь в руки отдельных чиновников. «Несмотря на гласность», Чернышевский, по его словам, сам «целые два года не видывал этих изданий», «нужно было заводить знакомство и прибегать к просьбам, чтобы достать эти книги. Так у нас все делается: без знакомства и просьб — ничего; с ними — все». В таком виде «гласность, — поясняет автор, — это бюрократическое выражение, придуманное для замены выражения “свобода слова”, и придуманное по догадке, что выражение “свобода слова” может показаться неприятным или резким кому-нибудь» (X, 96–112).

Результатом «освобождения» крестьян стало следующее узаконение: теперь крестьяне вместо одного рубля должны были платить помещикам на десять копеек больше (X, 114).

Время, определившееся «Положением» 19 февраля, Чернышевский в «Письмах без адреса» назвал «смутным». Характеризуя его, публицист писал: «Иной раз тянутся долгие годы, и не заметно никаких перемен в существующих отношениях. А то приходит такое время, что беспрестанно совершаются новости и вся обстановка жизни быстро переделывается. Возьмите, например, прошлый год. Смуты в Варшаве, смуты внутри России, загадочное появление программы, порицаемой одними, хвалимой другими, но принимаемой к сведению всеми, небывалое движение молодежи в самом Петербурге, странная развязка этого движения, слухи о предполагаемых требованиях дворянства, приготовления его к занятию общественными вопросами, — вот сколько в один год новостей, из которых каждая передвигала общество все дальше и дальше по одному направлению» (X, 102). Имелись в виду протесты среди поляков, прокламация «Великорусс», отразившая конституционные настроения в обществе, — события, которые свидетельствовали о крайней напряженности в стране, и главной причиной этой напряженности

автор называет действия правительства. Оценивая сложившуюся взрывоопасную ситуацию, когда недовольство крестьян объявленными условиями воли перерастало в ряде губерний в бунты, Чернышевский пояснял в обращенных к царю строках: «Ожидаемые развязки» трепещут все общественные слои, и «не вы один, а также и мы желали бы избежать ее», поскольку справедливо негодующий народ в своей слепой ненависти «не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (X, 92).

Невольно напрашивается сопоставление предупреждений Чернышевского с пушкинскими опасениями «бунта беспощадного». По Чернышевскому, выход есть: опираясь на народ, вовлекая его в прогрессивные реформы, оценивать свои действия с точки зрения влияния реформ на улучшение материального положения низших слоев народа.

Фиксируя происшедшие «столкновения между крепостными крестьянами и властью» и предсказывая возможные «новые смуты», Чернышевский в «Письмах без адреса» в целом реалистически оценивает уровень политического сознания крестьян: «Апатичен остается народ», «в народе почти все дремлют» (X, 91).

Протестное движение выступало неорганизованным. О разрозненности возникавших в ту пору революционных кружков свидетельствовал авторитетный участник движения шестидесятников Н.В. Шелгунов, автор прокламаций «К молодому поколению», «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». «Освобождение совершилось в такой тайне и общее внимание было так напряжено, — писал Шелгунов в воспоминаниях, — что каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное движение. Вот источник эпохи прокламаций. Кому принадлежит первая прокламация — неизвестно; но прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне»⁴¹.

Говорить конкретно, детально, убедительно о причастности Чернышевского к революционным конспирациям не приходится. Так, не существует достоверных документальных подтверждений участия его в составлении листовок «Великорусс». По крайней мере, один из деятелей кружка «Великорусс» В.А. Обручев, сотрудник «Современника», в своих воспоминаниях категорически отрицал возможность связей Чернышевского с этим кружком и его изданиями⁴². До сих пор остается непроясненным и вопрос об участии Чернышевского в тайной революционной организации «Земля и воля».

Считать его руководителем «Земли и воли» нет никаких оснований; имеющиеся данные на этот счет сбивчивы, противоречивы (например, воспоминания А.А. Слепцова)⁴³. К тому же основная деятельность «Земли и воли» приходится на время, когда Чернышевский находился под арестом.

Основные материалы, которые так или иначе можно было бы связать с изучением практической революционной деятельности Чернышевского, были приведены и обобщены еще в 1909 г. Ю.М. Стекловым в его монографии «Н.Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность» (с тех пор наука мало продвинулась в этом направлении). Поскольку эти источники весьма разноречиво обрисовывали отношение редактора «Современника» к революционно-подпольному движению, автор книги, несмотря на все его старания, все же в итоге не решался настаивать на положительном ответе на этот вопрос.

На наш взгляд, в большой степени обретают доверительность высказывания самого Чернышевского, неизменно настаивавшего на своем неучастии в каких-либо революционно-подпольных акциях.

Критическое отношение Чернышевского к Манифесту, имевшее на то все основания, все же в целом не исключает значения совершившегося исторической важности события, содействие которому оказала русская журналистика. И Чернышевский всей своей деятельностью способствовал этому началу вступления России на общеевропейский путь развития.

Примечания

¹ Крестьянское движение в России в 1857–1861 гг.: Сб. док. М., 1963. С. 182, 187, 736.

² *Чичерин Б.* О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян // Атеней. 1858. Февраль. Ч. 1. № 8. С. 492.

³ *Крылов Н.А.* Накануне великих реформ (личные воспоминания) // Исторический вестник. 1903. № 9. С. 786, 789.

⁴ СПб. ведомости. 1859. 25 февраля. № 42. С. 173–174.

⁵ Там же. 12 мая. № 101. С. 446.

⁶ Домашняя беседа. 1859. 30 мая. Вып. 22. С. 207–208.

⁷ *Соловьев Я.А.* Крестьянское дело в 1856–1859 гг. // Русская старина. 1880. № 2. С. 319.

⁸ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 65. Л. 248 об.

⁹ *Головин К.* Мои воспоминания. СПб., 1880. Т. 1. С. 103.

- ¹⁰ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5075. Л. 1.
- ¹¹ *Герцен*. Т. XIV. С. 247.
- ¹² Из записок Марии Агеевны Милутиной // Русская старина. 1899. № 1. С. 49.
- ¹³ *Тургенев*. Письма. Т. IV. С. 129.
- ¹⁴ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5513. Л. 3 об. Первоначально в документе стояло «строжайший выговор».
- ¹⁵ Там же. Л. 20–22.
- ¹⁶ Там же. Д. 5329. Л. 21.
- ¹⁷ О-в. Я.О. Четыре статьи князя В.Ф. Одоевского // Русский архив. 1881. № 7/8. С. 489.
- ¹⁸ Слова Государя Императора Александра Николаевича в общем собрании Государственного совета 28 января 1861 г. // Русская старина. 1880. № 2. С. 375, 377.
- ¹⁹ Северная пчела. 1861. 17 февраля. № 19.
- ²⁰ Из воспоминаний Г.Д. Щербачева // Русский архив. 1891. Кн. 1. С. 76.
- ²¹ *Тургенев*. Письма. Т. IV. С. 211. 302.
- ²² Записки Петра Кононовича Менькова. СПб., 1898. Т. II. С. 297, 298.
- ²³ СПб. ведомости. 1861. 6 марта. № 52. С. 277–278.
- ²⁴ *Тургенев*. Письма. Т. IV. С. 238.
- ²⁵ *Никитин И.С.* Сочинения. М., 1955. С. 291.
- ²⁶ *Тимрот А.* Два письма Н.И. Пирогова к Э.Ф. Раден // Русский архив. 1899. Кн. 1. С. 198.
- ²⁷ Из памятных заметок старого гвардейца // Русский архив. 1892. Кн. 1. С. 139.
- ²⁸ *Усов П.С.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1882. № 1. С. 115.
- ²⁹ Северная пчела. 1861. 15 мая. № 107. С. 433. Крестьяне села Кандиевка требовали «настоящей золотой царской грамоты» — 19 человек сосланы в рудники, 28 в Сибирь на поселение (*Худяков С.Н.* Бунт в Кандиевке в 1861 г. // Исторический вестник. 1881. № 12. С. 775, 793).
- ³⁰ *Герцен*. Т. XV. С. 107.
- ³¹ РО РГБ. Ф. 548. К. 4. Д. 41. Л. 1, 4.
- ³² СПб. ведомости. 1861. 8 декабря. № 272. С. 1488.
- ³³ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5548. Л. 45–46.
- ³⁴ Северная пчела. 1861. 23 марта. № 66. С. 261; Наше время. 1861. 15 марта. № 9. С. 147; Русский инвалид. 1861. 12 марта. № 57. С. 229.
- ³⁵ Современник. 1861. № 3. Отд. 2. С. 101. См.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. С. 481.

- ³⁶ Трубецкая О. Материалы для биографии кн. В.А. Черкасского. М., 1901. Кн. 1. Ч. 1. и 2. С. 76.
- ³⁷ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 64. Л. 1–5.
- ³⁸ Сын отечества. 1861. 5 ноября. № 45. С. 1364.
- ³⁹ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5855. Л. 17–34.
- ⁴⁰ См.: Итенберг Б. Из истории «Писем из адреса» // Вопросы литературы. 1978. № 6. С. 241–249; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 16. С. 428, Т. 19. С. 305, Т. 25. С. 24.
- ⁴¹ Воспоминания (1982). С. 181. См. также: Ямпольский И.Г. Уличные листки 1862 года // Чернышевский. Вып. 12 (1997). С. 113–119.
- ⁴² Там же. С. 254–255. Ср.: Новикова Н.Н., Клосс Б.М. Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. М., 1981.
- ⁴³ См.: Виленская Э.С. Революционное подполье в России. М.; Л., 1965; Коротков Ю.Н. У истоков первой «Земли и воли» // Исторические записки. М.; Л., 1966. Т. 79.

7. Снова в Саратове

Участник студенческого движения осени 1861 г. Л.Ф. Пантелеев, работая впоследствии над своими мемуарами, направил 20 марта 1908 г. сыну Чернышевского Михаилу письмо, в котором интересовался некоторыми данными. «Николай Гаврилович, — писал он, — летом 61 года ездил в Саратов на свидание с своим батюшкой. По имеющимся у Вас материалам не можете ли Вы сообщить мне — когда Н.Г. вернулся в Петербург, — еще в августе или в сентябре?» На полях запись М.Н. Чернышевского карандашом: «выехал 17/VIII, вернулся к 26/IX»¹. Время возвращения Чернышевского из Саратова Пантелеев, конечно, связывал со студенческими волнениями, начавшимися в сентябре.

Поездка в Саратов сначала намечалась на лето 1860 г., но она строилась «серьезною болезнью одного моего приятеля, который, — писал Чернышевский отцу 19 апреля 1860 г., имея в виду Добролюбова, — разделяет со мною журнальные хлопоты: он едет лечиться или, лучше сказать, отдохнуть за границу, и мне надобно оставаться в Петербурге» (XIV, 391–392). Так и прошло это лето в Петербурге и на даче, которую жена нашла «по Московской железной дороге, верстах в 100 от Петербурга <...> в полуверсте от Чудовской станции» (XIV, 390). К Г.И. Чернышевскому был отправлен с А.Н. Пыпиным трехлетний Виктор (родился 20 января 1857 г.²), а из Сарато-

ва вернулся к родителям их старший сын Александр, проживший у деда два года (XIV, 397).

Уже в ноябре Чернышевский обещает отцу побывать у него на следующее лето (XIV, 414). В июне 1861 г. он пишет Добролюбову о намерении поехать в Саратов в половине июля или в начале августа (XIV, 434). Существовало еще не дошедшее до нас письмо в Саратов от 4 июля, в ответ на которое Г.И. Чернышевский писал 14 июля: «Это письмо возобновило мне радостную весть, что ты, мой милый сынок, непременно желаешь видеть меня. С нетерпением буду ждать. Нельзя ли и милой дочке Ольге Сократовне принять приглашение мое в Саратов...» Спустя два дня, отвечая на несохранившееся письмо от 6 июля: «Очень рад обещанию твоему, мой дорогой сынок, видеть меня, старика: это будет великое утешение для меня. Жду!» Однако поездка задерживалась, и в письме от 4 августа Гаврила Иванович написал: «Сколько я желаю видеть тебя, столько и боюсь за тебя, когда ты еще до получения сего письма с места не тронулся. <...> Неприятно ехать в холодное время и водою, и по суху. Не отложить ли тебе поездку твою до следующей весны: когда, по обещанию твоему, увижу вас всех — и милую Ольгу Сократовну, и Сашу, и Мишу». В этом же письме Г.И. Чернышевский жаловался на сильные боли в левом боку близ сердца³. Чернышевский получил это письмо, но все же решил ехать: всерьез тревожила болезнь отца. 15 августа он сообщил: «Теперь я почти покончил свои сборы к отъезду и надеюсь отправиться послезавтра, в четверг. По дороге мне надобно остановиться в Твери, в Москве, в Нижнем. <...> Очень вероятно, что я пробуду в дороге дней 9 или 10. Теперь я отправляюсь один. <...> Я должен буду возвратиться числу к 28 сентября, то есть жить у Вас, милый папенька, могу я около четырех недель» (XIV, 437). 17 августа он выехал, в Саратов прибыл в конце августа⁴.

Время в Саратове проходило в основном в работе над «Очерками из политической экономии (По Миллю)». В конце августа Добролюбову послана часть рукописи. «...не знаю, — писал Чернышевский, — успею ли написать для этой книжки еще какую-нибудь статью, — это скажу Вам, когда буду посылать конец очерков» (XIV, 437—438). Отправляя новую рукопись, он сообщал 5 сентября: «Как видите, я очень поздно окончил свою статью». Вероятно, речь шла об «Очерках из Милля», как он сам называл их для краткости. Они заняли в сентябрьской книжке журнала 71 страницу, и слова «очень поздно» плохо вяжутся с высказанными в том же письме объяснениями: «Заниматься полезными для нации трудами, — шутливо пишет он, — здесь у меня решительно нет времени: утопаю в объятиях дружбы, если так можно выразиться». Оговор-

ка характерна: истинных друзей и единомышленников не было. Не случайно он прибавил здесь же еще одну фразу о своем саратовском житье-бытье: «Вы не можете себе вообразить, какая здесь скука, — делать ничего нельзя» (XIV, 441). Между тем он написал для той же сентябрьской книжки еще одну объемную статью — «Политика». И конечно же продолжал «Очерки из Милля» — уже в октябрьскую книжку «Современника». Да и очевидцы вспоминали, что пребывание его в Саратове проходило преимущественно в уединении и в постоянной работе. Из Петербурга шла масса писем, рукописей, статей для просмотра, так что, просиживая за ними, «не приходил обедать и даже не спал по целым ночам». И лишь поздно вечером, когда в доме утихало, «сын спускался с балкона к отцу, и долго-долго продолжались их душевные беседы. Нечего и говорить, что при гостях, которые бывали у отца, сын только изредка появлялся, но сам не только не имел времени заводить новые знакомства, как многие того желали и усиленно добивались, но даже не посещал тех, у кого искренно желал быть, о чем прямо говорил им. Лица, знающие его, извиняли его и нисколько не обижались. Их удивляло только, когда он успевал так много работать: почти каждую почту он отсылал посылки и письма. Только те, посещение которых Николаем Гавриловичем льстило их самолюбию, очень сердились на него, называли его гордым, высокомерным»⁵.

Скорее всего, он виделся с Е.А. Беловым, доктором Минкевичем, лечившим Г.И. Чернышевского, доктором С.Ф. Стефани, то есть с теми, кто и в 1859 г. составлял круг его знакомых. Вскоре после отъезда Чернышевского, в конце ноября, был организован в городе литературный вечер в пользу нуждающихся студентов. «После его окончания и ухода посетителей оставшиеся организаторы вечера устроили ужин, на котором Минкевич провозгласил тост за здоровье заключенных студентов, за что и получил внушение от жандармского майора Глобы»⁶. Впоследствии Минкевича и Стефани, немца-лютеранина, которого принимали за поляка, выслали из Саратова. Честных людей, как свидетельствовал Е.А. Белов, саратовские «истеричные барышни» выдавали за «агентов и друзей Чернышевского»⁷. Конечно, воздействие идей Чернышевского в шестидесятые годы, особенно на молодежь, в том числе и саратовскую, — исторический факт русской общественной жизни⁸. Однако никакого своего кружка в целях тайной революционной деятельности и агитации Чернышевский в Саратове не создавал ни в 1859, ни в 1861 г.

В биографические работы о Чернышевском саратовского периода прочно вошло утверждение об установлении за писателем

летом 1861 г. жандармского надзора. Автором версии явился Ф.В. Духовников, некритически воспроизводивший воспоминания современников. Он писал, опираясь, вероятно, на рассказ Н.Д. Пыпина: «Когда Н.Г. приехал в Саратов, на другой день был у Г.И. по какому-то делу полицеймейстер Позняк, который, познакомившись с Н.Г., высказал ему, что его сын, большой почитатель таланта Н.Г. как писателя, очень бы желал познакомиться с ним. После этого Позняк несколько раз приезжал к Чернышевским. Когда же он узнал о времени отъезда Н.Г. в СПб., то попросил отправить с ним сына на одном пароходе. Каково же изумление Позняка было, когда, раз приехавши, он узнал, что Н.Г. уехал из Саратова. О причине частого посещения полицеймейстера узнал только случайно Н.Д. Пыпин от одного чиновника, служащего в канцелярии губернатора. Перед приездом в Саратов Николая Гавриловича губернатор получает конфиденциальное предписание следить за Н.Г. и не давать ему заграничного паспорта»⁹.

Налицо явное смещение событий. Секретный циркуляр министра внутренних дел П.А. Валуева всем губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта датирован 23 ноября 1861 г.¹⁰, и никакого негласного надзора за ним в августе – сентябре этого года еще не существовало. Визиты саратовского полицеймейстера, следовательно, были вызваны иными причинами, и, вероятнее всего, их правильно связывать с его пристрастием к литературе. Старший полицеймейстер подполковник М.Д. Позняк (последний свой чин он получил в марте 1859 г.¹¹) живо интересовался современной литературой и даже пробовал печататься. Так, в местной газете еще в 1859 г. появилась его статья «Две недели в Золотой Букеевской орде»¹². Примечателен еще один факт литературной биографии Позняка. 14 марта 1862 г. на 56-м заседании Комитета Литературного фонда в присутствии Чернышевского «слушано письмо Е. Белова из Саратова»¹³ с препровождением 25 р. от М.Д. Позняка, изъявившего желание пожертвовать в пользу общества ежегодно такую же сумму. Пожертвование это, – сообщила газета, – принято с благодарностью и жертвователю предложен в кандидаты для поступления в члены общества»¹⁴. В посредничестве Чернышевского как члена Комитета Литературного фонда сомневаться в данном случае не приходится. Именно ему было адресовано заслушанное на Комитете письмо Е.А. Белова от 25 февраля 1862 г. и деньги Позняка¹⁵, который и был избран в члены общества на общем собрании 22 апреля того же года¹⁶.

Покидая Саратов, Чернышевский знал, что видится с отцом в последний раз. Лекарство, выписанное доктором П.И. Боковым

и привезенное Гавриле Ивановичу сыном, вначале помогло. После отъезда Чернышевского он каждый день принимал «лекарство г. Бокова» и, как сообщал он в письме от 28 сентября, чувствует «заметное облегчение», а в письме от 6 октября написал: «Я, слава Богу, здоров»¹⁷. Чернышевский передал эти сведения Бокову, тот не сказал ничего утешительного. 23 октября Гаврила Иванович Чернышевский умер. Современники вспоминали, что «никогда Н.Г. не расставался с отцом таким грустным, как в эту поездку: он очень плакал...»¹⁸

Из Саратова Чернышевский отправился на пароходе до Нижнего в пятницу 15 сентября. Дата устанавливается на основании неопубликованного письма А.Г. Чернышевского к Гавриле Ивановичу от 17 сентября из г. Вольска, находившегося от Саратова вверх по Волге в 137 верстах¹⁹. Письмо содержит ценные биографические подробности и заслуживает цитации.

«Наконец, — читаем здесь, — давно желанное мною исполнилось, я имел счастье видеть то существо, которое, не выдавши, душевно любил и уважал, — я видел Николая Гавриловича. <...> Я видел их и сознаю ту же доброту сердца, как и в Вас, милый папаша.

Пароход пристал к Вольску в пятницу на субботу в половине двенадцатого часа ночи, Н.Г., сошедши с палубы, на биржевой лошади приехали к Ст<епану> Григорьевичу, который послал за мной, и мы не заметили, как прошло время до 2¹/₂ часов пополуночи; тут мы вместе пошли провожать брата, на Базарной площади услышали свисток парохода, заторопились, думая, что это не последний ли, однако оказался первый, а потому мы еще с полчаса посидели с ними и на пароходе, где в ¹/₄ четвертого на рассвете простились, как бы жили вместе много лет, и пожелав им здоровья и благополучного проезда до своего места.

Весьма жалею, что они не были у меня в доме; причиной тому позднее время ночи, почему мне и совестно было беспокоить их...»²⁰

В Петербург Чернышевский прибыл 23 сентября²¹. Его приезд совпал с началом студенческих волнений, явившихся отражением роста оппозиционных настроений накануне и после провозглашения «Положения» 19 февраля.

Примечания

¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 426. Л. 22.

² Виктор был сыном О.С. Чернышевской и И.Ф. Савицкого. Об этом свидетельствует племянница Н.Г. Чернышевского В.А. Пы-

- пина. Все рукописи «Старые воспоминания» (1910), положенной в основу ее книги «Любовь в жизни Чернышевского» (Пг., 1923), есть заклеенные ею, но легко прочитываемые строки, передающие слова О.С. Чернышевской о Савицком: «<...> Витенька его ведь был <...>» (ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 4. Д. 26. Л. 11). Виктор умер в Саратове на руках Г.И. Чернышевского 6 декабря 1860 г. (Летопись. С. 194). «Моим любимейшим сыном был именно он», — писал Н.Г. Чернышевский в утешение своему отцу, не знавшему, что Виктор не был ему внуком (XIV, 417).
- ³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 219, 221, 227.
 - ⁴ Летопись. С. 216.
 - ⁵ Воспоминания (1982). С. 100–101.
 - ⁶ Известия Нижне-Волжского института краеведения. Саратов, 1931. Т. IV. С. 157.
 - ⁷ Воспоминания (1982). С. 149–150.
 - ⁸ См.: Сушицкий В.А. Из истории революционной деятельности А.Х. Христофорова в Саратове // Каторга и ссылка. 1924. № 6/13.
 - ⁹ Воспоминания (1982). С. 102.
 - ¹⁰ Летопись. С. 227.
 - ¹¹ Саратовские губернские ведомости. 1859. 28 марта. № 13. С. 93.
 - ¹² Там же. 19 сентября. № 38. С. 238–239.
 - ¹³ Е.А. Белов стал членом общества 29 октября 1861 г. (СПб. ведомости. 1861. 7 ноября. № 247).
 - ¹⁴ СПб. ведомости. 1862. 17 апреля. № 81. С. 372.
 - ¹⁵ Саратовские друзья Чернышевского. Саратов, 1985. С. 51.
 - ¹⁶ СПб. ведомости. 1862. 1 мая. № 92. С. 421.
 - ¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 232, 234.
 - ¹⁸ Воспоминания (1982). С. 102.
 - ¹⁹ Александр Гаврилович Чернышевский имя и фамилию получил от Г.И. Чернышевского, крестившего его, еврейского мальчика, в одну из миссионерских поездок в г. Вольск Саратовской губернии. Служил в Вольске учителем.
 - ²⁰ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 39.
 - ²¹ Воспоминания (1982). С. 552. Ср.: Летопись. С. 219.

8. Студенческие волнения

Оживление общественной жизни, начавшееся с воцарения Александра II, коснулось и российских университетов. Это нашло выражение, например, в неофициальных пока разрешениях женщинам

посещать учебные занятия. Первое появление женщин в аудитории связывают с осенью 1859 г., когда на лекцию профессора К.Д. Кавелина, читавшего курс гражданского права, ректор Плетнев самолично привел с собою Н.И. Корсини, дочь известного петербургского архитектора. Вторую слушательницей стала А.П. Блюммер, за нею последовали М.А. Богданова, Е.И. Корсини, Н.П. Суслова (впоследствии первая женщина-врач), М.А. Бокова (стала женой знаменитого физиолога И.М. Сеченова) — в ту пору далеко не все профессора находили удобным присутствие на своих лекциях женщин¹. В декабре 1860 г. Чернышевский сообщал в Саратов, что его двоюродные сестры Евгения и Полина «очень часто посещают университет; некоторые курсы они слушают постоянно, не пропуская ни одной лекции. Этот обычай посещать университет, — писал Чернышевский, — дамы и девицы приняли в последние два года: до того времени ни одной нельзя было сидеть в аудиториях. Но теперь каждый день бывает на разных лекциях до 30 дам и девушек, из которых многие слушают лучшие курсы правильно, подобно сестрам. Все к этому уже привыкли...» (XIV, 420). В газетах писали, что слушательницы «постоянно посещают лекции с целью держать экзамен наравне со всеми студентами для получения ученых степеней <...>. Они занимаются усердно, и не только придумали себе форму одежды, но даже пожертвовали одним из главных женских украшений — именно носят коротко обстриженные волосы»². «Препятствий к занятиям медициной для женщин не существует», — сообщала столичная газета³. В январе 1862 г. совет университета единогласно постановил допускать женщин к занятиям на всех факультетах с правами вольнослушателей⁴.

Заметным стало участие студентов в общественной жизни. Студент юридического факультета П.А. Гайдебуров, например, в статье «Нечто о кассе для вспомоществования бедным студентам» рассказал, что источником дохода кассы, организованной по инициативе самих студентов, служат разного рода пожертвования, концерты и особенно публичные лекции, читаемые некоторыми из профессоров⁵. Организацию студенческой кассы в Московском университете приветствовала газета Н.Ф. Павлова⁶. Была разрешена публикация научных студенческих сборников, и имена студентов стали чаще появляться в печати. «Ни одна редакция сколько-нибудь передовых периодических изданий, — писал в мемуарах бывший студент той поры, — ни один литературный кружок не обходились без участия студентов, — и мы постоянно жили, так сказать, в курсе всяких литературных, научных и общественных вопросов»⁷.

Дела студенческие все чаще обсуждались в печати, и цензура уже начала предпринимать (пока глухие и не получающие развития) предупредительные меры. Так, по поводу печатного отзыва о только что вышедшем студенческом сборнике⁸ Главное управление цензуры отправило в Московский цензурный комитет 16 марта 1860 г. распоряжение не допускать к печати «выражений, возбуждающих преувеличенную самонадеянность в юношестве касательно предстоящих ему действий в будущем»⁹. Внимание высшей цензуры остановили следующие строки рецензии: «Мы хорошо понимаем, что это только начало, но глубоко радуемся, что дожили наконец до начала», сборник «имеет другое, гораздо более важное значение: он, так сказать, связывает между собою все умственные силы этих молодых деятелей, — и в такой связи несомненно лежит задаток прекрасного будущего»¹⁰.

Власти уже почувствовали в студентах новую оппозиционную силу, и очень скоро эти опасения подтвердились. 1 марта 1861 г. русские и польские студенты участвовали в торжественной панихиде в католическом соборе по убитым в Варшаве 13 февраля полякам-манифестантам. 17 марта такую же панихиду отслужили студенты Московского университета. На панихиде выступил студент П.Г. Зайчневский, объявивший русское правительство врагом и русских, и поляков. В Петербурге и Москве прошли первые, пока немногочисленные аресты студентов. Но гораздо больший резонанс получило участие студентов Казанского университета 17 апреля в панихиде по убитым крестьянам-бездннцам. Выступивший на панихиде историк А.П. Шапов был арестован и сослан, девять студентов исключены из университета.

По высочайшему повелению министру народного просвещения Е.П. Ковалевскому пришлось подготовить особую записку, для обсуждения которой Александр II назначил специальную комиссию из убежденнейших крепостников — В.А. Долгорукова, В.Н. Панина, С.Г. Строганова; «эти трое, — писал Герцен, — составившие второе III отделение, назначенное исключительно против университетов и просвещения»¹¹. В мае комиссия разработала новые правила, значительно стеснившие университеты. Е.П. Ковалевский подал в отставку, и министром стал адмирал Е.В. Путятин. Попечителем учебного округа назначили генерала Г.И. Филипсона. Началась кампания «выселения Петербургского университета»¹².

В новых правилах для студентов объявлялся обязательный денежный взнос за обучение. Освобождение от взноса получали лишь два студента от каждой губернии, принадлежащей к университетскому округу. «Других исключений, — говорилось в документе, — не допу-

скать ни под каким видом»¹³. В 1859 г. не платили за обучение более половины от общего числа студентов столичного университета, новыми правилами этот показатель сведен до одного процента¹⁴.

В статье «Научились ли?», посвященной студенческим проблемам, Чернышевский выделяет именно это постановление из круга деятельности обновленного министерства. «Тут, — разъяснял публицист “Современника”, — дело шло не о каких-нибудь политических замыслах, а просто о куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались» (X, 172). Чернышевский указывал также на возможные последствия запрещений сходок и всех форм студенческих корпораций.

Новые правила решено было властями изложить в матрикулах — особых книжках, служивших своеобразным удостоверением личности студента. Пока изготавливались матрикулы, студенты, вернувшись с каникул, потребовали объяснений от попечителя, к которому студенческая сходка, состоявшаяся в день открытия университета 17 сентября 1861 г., отправила своих депутатов. Филипсон отказался явиться в аудиторию, порекомендовав депутатам заниматься науками, а не собраниями. Студенты забурлили, сходки стали собираться ежедневно. 22 сентября университетское начальство распорядилось закрыть все пустые аудитории, а спустя два дня объявлено о временном прекращении лекций. 25 сентября к зданию университета явились все факультеты почти в полном составе. Было решено всей массой (более тысячи человек) отправиться на квартиру попечителя. Шествие вылилось во внушительную демонстрацию, отличавшуюся между тем дисциплинированностью и порядком. Сопровождавшей колонну пешей и конной полиции не давали повода вмешиваться. Филипсон пообещал принять депутатов, но только в стенах университета, и толпы студентов повернули назад. При этом попечитель гарантировал студентам неприкосновенность личности.

Во время встречи Филипсона с депутатами (ими были Е.П. Михаэлис, К.А. Ген и П.К. Стефанович) «в залу совета, — докладывал попечитель своему министру, — вошел г. военный генерал-губернатор и объявил, что он вынужден будет употребить войска для их разогнания». Филипсон предложил студентам не доводить дела до «гибельной крайности»¹⁵. Студенты после продолжительных дебатов все же разошлись.

Вечером того же 25 сентября попечитель провел заседание совета университета. Матрикулы, объявил он, должны быть розданы какой угодно ценой, а студенты обязаны под честное слово подчиниться новым правилам. Большинство профессоров, не желавших принимать на себя полицейские обязанности и навязывать студен-

там правила, в ложности которых сами не сомневались, возразили Филиппону, и тот в раздражении покинул заседание. О настроениях профессуры Чернышевский знал все (см.: X, 174). Наверняка знал и о письме проф. В.Д. Спасовича, адресованном членам совета 25 сентября. Передавая высказанное Путьитиным во время встречи с некоторыми членами совета 24 сентября пожелание поспособствовать в успокоении студентов, Спасович писал: «Если мы располагаем известным нравственным влиянием на наше юношество, то мы должны употребить ныне же это влияние, потому что в противном случае начальство может нас заподозрить в умышленном потворстве беспорядкам». Спасович предлагал «просить о дозволении нарядить из среды совета комиссию для предварительного разбора дела о беспорядках в университете для представления своих по этому делу соображений», «подстрекателей и зачинщиков» наказать, но не судом, а дисциплинарными мерами¹⁶. Несмотря на явно охранительный тон документа, его автор все же добивался принятия мер, предохраняющих студентов от полицейской расправы.

Однако власти действовали быстро и решительно: в ночь на 26 сентября по решению экстренного совещания правительствующего сената, проведенного за отсутствием Александра II Великим князем Константином Николаевичем, жандармы арестовали, как позже сообщал Чернышевский в статье «Научились ли?», «значительное число студентов». Подчеркнуто коварство властей: характер действий студентов был «мирен и законен», начальство уверяло, «что никто из них не будет арестован или преследуем» — и все же аресты произведены (X, 173). Согласно архивным документам, 26 сентября арестовано 30 человек и среди них Е. Михаэлис, К. Ген, П. Стефанович, А. Студенский, Н. Утин, Н. Неклюдов, М. Покровский, Ф. Данненберг, Н. Васильев. В следующие три дня в Петропавловскую крепость попали еще восемь человек. Комендант крепости генерал-лейтенант А.Ф. Сорокин получил распоряжение содержать студентов как «секретных арестантов», «не позволять принимать от родственников и знакомых ни денег, ни писем»¹⁷.

Арестованные в ночь на 26 сентября Н. Васильев и А. Студенский имели к Чернышевскому самое близкое отношение. Воспитанник 5-й Петербургской гимназии Николай Сократович Васильев доводился О.С. Чернышевской родным братом и жил у Чернышевских с 11 сентября 1861 г. по 25 апреля следующего года¹⁸. Алексей Осипович Студенский приходился Чернышевскому троюродным братом. Он был десятью годами моложе, и в Петербург явился по решению Г.И. Чернышевского, просившего сына и А.Н. Пыпина «позаботиться об участии сего молодого человека»¹⁹. «Человек от

природы неглупый», имевший «любопытность и трудолюбие», Студенский занялся самообразованием, и уже в сентябре 1860 г. поступил вольнослушателем в Петербургский университет. «Мне кажется теперь, что он станет дельным человеком», — писал Чернышевский отцу (XIV, 403—404, 409). Делясь в письмах в Саратов своими первыми впечатлениями, Студенский сообщал, как тепло был принят Николаем Гавриловичем: «Вхожу в горницу, Николай Гаврилович позвал в кабинет, посадил против себя, предложил папиросу, представил заглянувшей супруге; да начал все расспрашивать тихо, тихо, да ласково: вот, думаю, кого отцом-то назвать, а не саратовских чернокобучных. <...> Подивились, думаю, надо мной и здесь, как в Вашем доме все: что делать! по познаниям невежа, по манерам — волк лесной». Далее он писал, что получил у Чернышевского «лучшие книги» — «ежечасно читаю; и бываю у них: Николай Гаврилович неизменно внимателен и снисходителен. Словом, при помощи Божией выведете меня в люди. Тогда уж я Вас порадуя». Уже посещая лекции в университете, Студенский писал: «По 6 часов в сутки слушаю умные и живые лекции, а дома занимаюсь французским языком и чтением других книг, в которых, конечно, нет недостатка». «У Николая Гавриловича, — добавлял он, — я бываю часто, насколько позволяют их удивительно-беспрерывные занятия и мое собственное положение», «как послушаю Николая Гавриловича, думаю себе: всех бы таких людей в профессора к нам в университет»²⁰. Желая, «чтобы он ежедневно бывал в нашем семействе и присмотрелся к нашему обществу», Чернышевский сообщает об этом отцу и поручает Студенскому работу литературного секретаря. Под диктовку Чернышевского Студенским записаны статьи «Политика» за 1861 г., перевод книги Д.-С. Милля «Основания политической экономии» и примечания к ним Чернышевского, статьи «Граф Кавур», «Непочтительность к авторитетам», «Полемические красоты», «Национальная бестактность». Статья «Научились ли?» о студенческих событиях осени 1861 г., участником которых Студенский был сам, записана также его рукой. Разумеется, эта работа не была простым механическим исполнением поручений. Записывая под диктовку, он проходил школу идей, формировавших его взгляды²¹.

В студенческой истории Студенский не играл выдающейся роли, но все же следственная комиссия включила его имя не в первые два списка студентов, «в действиях коих не обнаружено предумышленного намерения сопротивляться распоряжениям правительства», а в третий (здесь Кучук, Здроевский, Сорокин, Южаков), по которому следовало «строгое внушение» и предупреждение о высылке из столицы в случае повторения «нарушений»²².

В статье «Научились ли?» Чернышевский настойчиво проводит мысль об излишней подозрительности властей, прибегнувших к суровым репрессивным акциям. Он не перечисляет всех событий, но не приходится сомневаться в точном знании им даже мелких фактов. В журнальной статье Чернышевский не мог вынести прямого осуждения действий властей. «...Мы еще не пробуем винить кого бы то ни было, — писал он. — Посмотрим, откроется ли нам впоследствии возможность к этому. Но если откроется, то, разумеется, мы воспользуемся ею» (X, 173).

Действительно, обеспокоенное ростом оппозиционных настроений после объявления Манифеста, правительство Александра II в студенческих выступлениях усмотрело опасность перерастания движения в общенациональные демонстрации. Между тем события свидетельствовали: студенческие волнения произошли в результате введения начальством новых запретных мер и ограничений и только потом уже вызвали применение репрессий, выглядевших «законным» действием.

28 сентября опубликован приказ петербургского обер-полицеймейстера А.В. Паткуля о закрытии университета «впредь до особых распоряжений», «за сим всякие сходбища и скопища студентов совершенно воспрещены, с тем что виновные в нарушении сего распоряжения подлежат будут строгой по закону ответственности»²³.

В день закрытия университета 37 его преподавателей, «члены ученого университетского сословия», обратились к министру народного просвещения с просьбой «оказать великодушное участие к молодым людям, подвергшимся аресту», которые «могли действовать по минутному увлечению и юношеской необдуманности». Первой под письмом стояла подпись А.Н. Пыпина²⁴. В тот же день Е.В. Путятин представил Александру II подробный доклад с изложением студенческих манифестаций. Прочитав доклад, а также присланные на имя Путьятина ходатайства за Михайлова от литераторов и редакции «Энциклопедического словаря», Александр II начертал резолюцию, объясняющую неизменность принятого репрессивного курса: «Беспорядки в Петербургском университете крайне грустны. Дай Бог, чтобы они не повторились. Окончательные действия и распоряжения Ваши одобряю, но не могу не заметить, что со стороны университетского начальства, которому должно было быть известно, что готовилось, оказана непростительная слабость и оплошность, что и прошу поставить на вид г. Филипсону. Надеюсь, что это не повторится впредь.

Поступок литераторов, которых как *особое сословие* я не признаю, по случаю арестования Михайлова, считаю ни с чем не сообразным

и заслуживающим взыскания, о чем кн. Долгоруков уже сообщил Вам мое приказание. Теперь более чем когда-либо необходимо, чтобы подобные выходки не проходили безнаказанно»²⁵.

В тот же день 28 сентября, щедрый на силовые приемы, запрещены помещение в печати статей об университетской истории и обсуждения принимаемых правительством мер, за исключением официальных известий²⁶.

Через два дня Путятин направил в резиденцию царя новые объяснения о беспорядках 27 сентября, когда студенты на очередной сходке решили составить просьбу об освобождении арестованных и разошлись «не прежде, как по призвании нескольких рот лейб-гвардии Финляндского полка и по прибытии С.-Петербургского военного генерал-губернатора». Александр II написал на докладе: «Желаю знать, какие меры вами приняты против профессоров, коих действия, по дошедшим до меня сведениям, были весьма предосудительны?»²⁷

1 октября через газету объявлено, что слух о предстоящей раздаче матрикул 2 октября «не имеет оснований»²⁸, и когда утром 2 октября перед зданием университета собралась толпа студентов, 19 человек из них подверглись аресту²⁹. Открытие занятий назначили на среду 11 октября, но с оговоркой, что «на лекции будут допускаемы только те, которые при входе предъявят матрикулы или свидетельство»³⁰. На лекции явилось 260 человек, а на следующий день студенты, не заходя в учебное здание и соединившись на улице с теми, кто не получил матрикулов, устроили большую сходку. Произошло столкновение с жандармами и войсками, более 200 человек (по газетным данным) попали под арест. После 12 октября всего в списке арестованных студентов и вольнослушателей числилось 352 человека. На 17 октября: в Петропавловской крепости – 87, в Кронштадтской – 240 человек³¹.

В связи со студенческими волнениями в поле зрения Третьего отделения попадает и Чернышевский. По агентурным данным, один из студентов во время манифестации 25 сентября побывал на квартире Чернышевского, и тот затем ходил к месту собрания студентов и беседовал с ними³². В «Записке из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском», составленной Третьим отделением и направленной в следственную комиссию вскоре после его ареста, сообщалось о его появлении на сходке студентов 26 сентября. Здесь же читаем: «Внимание правительства обращено на Чернышевского после беспорядков, происходивших в С.-Петербургском университете осенью 1861 года, когда получено было сведение, что появившаяся между студентами прокламация, возбуждавшая молодежь

к сопротивлению властям, была составлена Чернышевским. С тех пор за ним учреждено было постоянное наблюдение»³³. Имелась в виду прокламация «Правительство бросило нам перчатку», к которой Чернышевский в действительности не имел никакого отношения. Первое агентурное донесение, подтверждавшее установление за писателем «самого бдительного надзора», датировано 15 ноября 1861 г.³⁴, а 23 ноября последовал секретный циркуляр губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. По городу еще в конце сентября распространились слухи об аресте Чернышевского, и он в письме к отцу от 3 октября 1861 г. успокаивал родных, предупреждал о «подобных вздорных толках» (XIV, 441).

Октябрьская расправа со студентами побудила молодых передовых профессоров подать в отставку во главе с К.Д. Кавелиным (А.Н. Пыпин, М.М. Стасюлевич, В.Д. Спасович, Б.И. Утин). Университет продолжал бурлить — продолжались и аресты. На докладе Путьятина от 29 ноября 1861 г., назвавшего двух «зачинщиков», Александр II начертал: «Студентов Сергеева и Осмоловского арестовать и передать в III отд<еление>». А после доклада о «новых беспорядках», происшедших 30 ноября, Александр II объявил 1 декабря: «Вероятно, придется закрыть университет, о чем решу в воскресенье в особом совещании»³⁵. Арестовать, закрыть — в лексике царя эти слова приобретают все большую повторяемость. Университет и был закрыт, на этот раз с 20 декабря 1861 до осени 1863 г.

Придавив руками Путьятина студенческие волнения, Александр II в конце декабря 1861 г. назначил на его место А.В. Головнина, который пользовался репутацией либерала, но время точно обозначило пределы его либерализма, регулируемые Александром II.

Долго держать в заключении огромную массу студентов, треть всего университетского состава, не имело смысла, и в начале декабря они были выпущены под поручительство родных или близких — «странная развязка этого движения» (X, 102), воочию показавшая бессмысленность репрессий и полную невинность большинства студентов перед правительством, явно переусердствовавшим.

Чернышевский поручился за А.О. Студенского и студента Степана Советова, прописав обоих в своей квартире — первого с 4 по 19 мая, второго с 11 мая по 26 июня 1862 г.³⁶ Их имена упоминаются и в письмах О.С. Чернышевской этого времени³⁷. Расположением Чернышевского пользовался также студент Спасский. Агенты Третьего отделения фиксировали его появление на квартире писателя в январе 1862 г.³⁸ Это был член студенческого комитета, сын курского священника Петр Лукич Спасский, перешедший на 2-й курс юридического факультета³⁹. На юридическом, но на 4-м курсе учил-

ся еще один Спасский, Николай Павлович, уроженец Рязанской губернии. Находясь в заключении, он, как докладывал начальству служивший в Петропавловской крепости доктор Окель 31 октября 1861 г., «заболел сильным лихорадочным жаром»⁴⁰. А 3 декабря того же года в расходной книге О.С. Чернышевской записано: «Цветы на могилу Спасского»⁴¹. Вероятно, это и был Н.П. Спасский.

Чернышевский постоянно интересовался делами студенческого комитета, выбранного для оказания арестованным помощи и содействия. С получением известия об освобождении студентов Чернышевский направил казначею Литературного фонда П.Л. Лаврову письмо с предложением отправить в Кронштадт «до 500 или 600 р. из фондов на переезд освобожденных в Петербург, а в Петербурге позаботиться о размещении их, до устройства их дел, по квартирам порядочных людей». Посредниками для передачи денег он назвал своего литературного секретаря М.А. Воронова⁴² и члена студенческого комитета С.И. Ламанского (XIV, 444). Помощь была оказана. Из воспоминаний Л.Ф. Пантелеева видно, как умело Чернышевский направлял действия студенческих вожаков, оберегая их от необдуманных поступков. «“Вы, господа революционеры, прямо скажу, ужасные вы революционеры, — говорил, например, Чернышевский членам студенческого комитета, отговаривая их от подачи просьбы открыть при Литфонде отделение для нуждающихся студентов. — А знаете ли, Сергей Иванович, — неожиданно обратившись к студенту Ламанскому, продолжал Чернышевский, — кто первый революционер в России? Да ведь это ваш братец Евгений Иванович; посмотрите, каждый день печатает какую-нибудь прокламацию. <...> Если вы откажетесь от адреса, то могу вам наверное сказать, что будет разрешено Второе отделение”. Перед авторитетом Чернышевского скоро умолкли даже самые горячие протестанты. И действительно, через короткое время отделение было разрешено»⁴³. Об огромном авторитете руководителей «Современника» в студенческой среде свидетельствовал Н.В. Шелгунов: «Чернышевский, Добролюбов были пророками университетской молодежи, приходившей в неистовый восторг от того, что они находили в строках, а еще больше от того, что читали потом между строками»⁴⁴.

«Путятинские» правила, вызвавшие студенческие волнения, дали повод к развернувшейся в журналистике острой дискуссии о назначении российских университетов. Потребность в существенных переменах всего дела высшего образования ощущалась и в научных, и в общественных кругах. В этих обсуждениях Чернышевский принял участие как автор статьи «Опыты открытий и изобретений», появившейся в «Свистке» при январской книжке «Современника»

за 1862 г. И хотя цензура сильно сократила статью, а корректуры, восстанавливающие первоначальный текст, сохранились не полностью, отношение Чернышевского к «прениям по университетскому вопросу» выясняется с достаточной отчетливостью. Из всей массы напечатанного («в течение четырех последних месяцев 4444 статьи», — иронически пишет Чернышевский, подчеркивая бессодержательность большинства публикаций⁴⁵) выделялись выступления Н.И. Костомарова, М.М. Стасюлевича, Б.Н. Чичерина и анонимного автора московского журнала «Современная летопись».

Костомаров опубликовал семь статей⁴⁶. Он предложил упразднить корпорации, сковывающие свободу студентов и профессоров, превратить университет в открытое учебное заведение, близкое по структуре к Академии наук. Его поддержали Н. Барсов, А. Бекетов, А. Наумов. Против выступил Стасюлевич. «Вопрос должен, по-видимому, идти не о преобразовании университетов, — писал он, — а о сохранении того состояния и процветания, которого они достигли»⁴⁷. Чичерин высказался за усиление дисциплинарных мер, которые, как он пытался доказать во вступительной лекции по государственному праву 28 октября 1861 г., предупредят любую манифестацию — «мы не должны призывать ее в свидетели своих страстных увлечений». В статье «Что нужно для русских университетов?» Чичерин прямо заявил: студенту нужно «удаление от общественных развлечений», поскольку он легко «поддается развращающему влиянию общества». Голос Костомарова, полагает Чичерин, тем более неуместен «в том шатком положении, в котором мы находимся, при господствующей подвижности общественного мнения». Возражая против такой «подвижности», Чичерин резко осудил, например, «допущение женщин в университеты»⁴⁸.

Все эти разноречия попыталась соединить «Современная летопись», предложившая установить налог на просвещение. «Установим налог надлежащей высоты, — с издевкою замечает Чернышевский, — тогда в университете не будет студентов, следовательно, не будет университета, то есть не будет и университетской корпорации; желание г. Костомарова удовлетворится. Но не будет университета только на факте, а на бумаге он может существовать и сохранять корпоративное устройство; следовательно, удовлетворен и г. Стасюлевич. Что же до г. Чичерина, он, очевидно, будет удовлетворен вполне: когда не будет никакой жизни в университете, то, разумеется, будет устранена всякая возможность соприкосновения науки в университете с жизнью».

Профессорским разглагольствованиям Чернышевский противопоставил мнение студента, записку которого будто бы случай-

но удалось получить. Чернышевский датирует отрывок августом 1861 г., то есть временем, когда уже были известны «путятинские» правила, но до студенческих демонстраций дело еще не дошло. Студент более всего озабочен своим материальным положением, он сам и многие из его товарищей «бьются, как рыба об лед», они «по целым неделям не пьют чай, не имеют табаку», они «мученики своего стремления образоваться». Далее студент останавливается на теме неблагонадежности. Он говорит о склонности молодых людей к увлечениям, которые власть объявляет опасными для общества. Между тем «у нас, — пишет студент, — нет опытности», «никто не берет на себя обязанности быть нашим другом и советчиком». Профессора не желают или не умеют «войти в нашу жизнь, сочувствовать нашим интересам, заслужить наше доверие в жизненных наших делах». И «хотя бы по крайней мере не мешали бы нам учиться. Сами мы никогда не поднимем шума. Но нас язвят, обижают, обманывают, — наша честность возмущается коварством»⁴⁹.

Эти рассуждения по-своему предупреждали последующие события. Статья Чернышевского «Научились ли?», написанная три месяца спустя, несомненно, учитывала высказанные в записях студента сомнения, недоумения, пожелания. Тем и отличается позиция подлинного демократа, что он неизменно учитывает положение зависимой стороны, ее интересы объявляет и, по возможности, защищает.

В январе 1862 г. перед новым министром народного просвещения встала задача разработки университетского устава. Была назначена временная комиссия для управления делами университета под председательством ректора П.А. Плетнева, приказано открыть восточный факультет⁵⁰, однако большинство аудиторий продолжали пустовать. Тогда студенческий комитет предложил профессорам и магистрантам университета выступать вне университета перед студентами и публикой с открытыми лекциями по своим учебным курсам. Власти не возражали против самой идеи: ведь публичные лекции давно стали разрешенной формой выступления, положения о них были выработаны еще в 1841 г. Так, в 1860 г. с публичными лекциями выступали И.В. Вернадский, Н.И. Костомаров, В.Д. Спасович, М.М. Стасюлевич, Е.П. Ламанский, В.П. Безобразов, И.И. Срезневский, полковники Романовский, Лебедев⁵¹. 13 января 1862 г. объявлено открытие курса публичных лекций Н.И. Костомарова. «Весьма бы желательно, — писала газета, — чтоб примеру г. Костомарова последовали в скором времени и другие почтенные профессора, которые чрез то оказали бы большую услугу бывшим студентам закрытого С.-Петербургского университета»⁵².

В том же месяце министр разрешил чтения К.Д. Кавелину по гражданскому праву, В.Д. Спасовичу по теории уголовного права, Б.И. Утину о сравнительном законодательстве, И.Е. Андреевскому о законах государственного благоустройства и благочиния и по философии истории права, М.М. Стасюлевичу по истории Средних веков, П.В. Павлову по древней истории, Д.И. Менделееву из теоретической химии и А.С. Фяминцыну из физиологии растений. К концу января этот список дополнили И.Я. Горлов, А.Н. Бекетов, А.В. Советов, Н.Н. Соколов, Б.М. Благовещенский, И.И. Ивановский, И. Калиновский⁵³. Напомним, что Чернышевскому, пожелавшему прочесть курс «по предмету политической экономии», министр разрешения не дал.

Билеты на лекции продавались по 1 и 2 р., «недостаточные из бывших слушателей университета» получали их бесплатно в студенческом комитете. Устраивались чтения в зале городской Думы и в зале училища Св. Петра. Начались они во вторник 30 января. Больше всего слушателей в этот день, по сообщению газеты, было у Н.И. Костомарова, среди них «видели много дам, военных и других лиц»⁵⁴.

Дела «вольного университета» шли установившимся и уже привычным порядком — до 8 марта, когда разыгралась так называемая «Думская история», к которой оказался причастен и Чернышевский.

Последовательность событий связана с литературным вечером, организованным Литературным фондом в зале Руадзе на Мойке 2 марта 1862 г. и с выступлением на нем профессора П.В. Павлова. «В конце своего чтения, — вспоминали слушатели его речи “Тысячелетие России”, — профессор сказал несколько теплых слов, выражавших надежду на обновление наших порядков и учреждений»⁵⁵. Эти слова власти сочли неуместным вмешательством в правительственную деятельность и отреагировали жестко: 5 марта Павлова арестовали. В его бумагах «ничего предосудительного не найдено», — сообщал А.В. Головин генерал-губернатору А.А. Суворову⁵⁶, и все же профессора сослали в Ветлугу. Бессмысленная расправа всколыхнула все общество. В знак протеста часть профессоров отказались продолжать публичные чтения. Студенческий комитет также высказался за их прекращение. Другая часть профессоров не согласилась с таким решением, и Н.И. Костомаров стал первым, кто решил непременно продолжать свои лекции. 8 марта он явился в свои часы и в зале Думы прочитал лекцию, но когда в конце ее студентами было сделано объявление вообще о прекращении чтений впредь всех лекций, он резко возразил им, и был освистан. Уходя с кафедры, Костомаров заявил, что, служа науке, просвещению и

русской гражданской мысли, он не желает служить пошлomu либерализму Репетиловых, из которых со временем, быть может, выйдут Расплюевы⁵⁷.

«Думская история» получила мгновенную огласку. Ее официальное истолкование находим в неопубликованном дневнике А.А. Суворова: «Четверг 8 марта. В Думе учинен скандал, шум во время лекции Костомарова. Студенты-депутаты не хотели, чтоб он читал. Профессора отказались читать лекции по случаю истории с Павловым»⁵⁸. Такое изложение событий не опровергает позднейшего утверждения Чернышевского, что инициатива прекращения лекций с самого начала оставалась за студентами (I, 760). Естественным шагом А.А. Суворова было выяснить, кто из профессоров мог руководить студентами, оказывать на них влияние. Его поручение, как это документально выясняется, выполнял Н.И. Костомаров, который, желая продолжать чтения, обратился за содействием к Суворову. Сохранились два донесения Костомарова Суворову. Первое датировано 10 марта, второе — 13 марта 1862 г. В первом читаем: «По препоручению Вашей Светлости я пытался узнать: кто из нас имеет более влияния на студентов, но оказывается, что никто не похвалится этим, потому что они с юношеской поспешностью возводят нас на свои пьедесталы и потом свергают, коль скоро заметят, что, несмотря на такое величие, мы все-таки желаем быть свободномыслящими существами, а не автоматами. Необходимо возобновить лекции: надобно показать любителям демонстраций и скандалов, что они вовсе не призваны управлять судьбами русской мысли и русского просвещения; иначе они вообразят, что все в их руках». Второе письмо: «После вчерашнего свидания нашего я имел случай убедиться, что наши общественные руководители сознают уже, что падают во мнении общества, и величайшим для них наказанием будет невнимание к ним правительства. Поэтому, ради Бога, Ваша Светлость, употребите все, чтоб их не трогали: иначе они возбудят к себе сочувствие множества легкомысленных, готовых бежать за всяким звуком, лишь бы он либерально отзывался в ушах у них»⁵⁹.

Конечно, «общественными руководителями» Костомаров не мог назвать кого-либо из студентов или профессоров, подразумевались прежде всего передовые публицисты «Современника» с Чернышевским во главе, их он имеет в виду, когда речь заходит о влиянии на студентов. Не исключает Костомаров и вероятности ареста этих «общественных руководителей», и его просьба не арестовывать их продиктована вовсе не соображениями их личной безопасности.

На литературу, влияющую на молодежь в ту или другую сторону, указывали и представители высшей власти. Например, еще в октя-

бре 1861 г., несмотря на запреты публиковать рассуждения о студенческих событиях, цензор пропустил в печать статью «Москва, 28 октября» редактора газеты «День» И.С. Аксакова на том основании, что, по объяснению цензора Путятину, автор дает студентам «благонамеренные и здравые советы». «Ввиду мнения, довольно распространенного и к несчастью не совсем не основательного о влиянии литературы вообще и журналистики в особенности на превратное нравственное развитие юношества, я, — писал цензор, — полагал весьма возможным заявление одним из органов нашей журналистики взгляда на поведение студентов, совпадающего с видами правительства». Путятин, посоветовавшись предварительно с шефом жандармов, одобрил действия цензора — «прошу Вас и впредь позволять печатание подобных статей»⁶⁰.

Указание Костомарова в письмах к генерал-губернатору на «общественных руководителей», уже заслуживших ареста, не характеризует его с положительной стороны. Ведь обращался он не к коллегам по «вольному университету», а к лицу, уполномоченному осуществлять репрессии. Извинение для Костомарова одно: он все же адресовался не к шефу жандармов, а к Суворову, не склонному прибегать к немедленным арестам как к спасительной панацее.

О намерении возобновить свои лекции, прерванные 8 марта, Костомаров объявил в газете 13 марта, а неделю спустя сообщалось о начале лекций 22 марта по четвергам и субботам в зале Руадзе⁶¹. Продолжение чтений могло вызвать серьезные осложнения, и в дело вмешался Чернышевский.

В своих воспоминаниях, написанных по поводу спустя годы опубликованной «Автобиографии» Костомарова, излагавшего события не совсем точно, Чернышевский объяснил главный мотив своих действий: предупредить демонстрацию студентов, которая неминуемо повлекла бы к новым репрессиям против них. В беседе с Костомаровым, о письмах которого к Суворову он знать не мог, Чернышевский призвал его не становиться «агентом-provokатором», устраивающим «такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер». «Студенты не хотели демонстраций. Мне, — разъяснял Чернышевский, — было известно это. На лекции Костомарова произошла бы, помимо воли студентов, демонстрация. <...> Я решил, что если Костомаров не откажется от своего намерения продолжать чтение лекций, то надобно попросить Головнина запретить ему чтение». Так и случилось. Костомаров, несмотря на дружеские увещания Чернышевского, стоял на своем. Чернышевский поехал к министру, но тот, как выяснилось, уже дал распоряжение о запрещении лекций профессора (I, 761–763).

Костомаров подчинился. В письме к Чернышевскому (оно не датировано) он признался, что ему глубоко запали в душу его слова, звучавшие «любовью и правдой», но он по-прежнему осуждал студентов, останавливающих «важное дело». «Неужели, наконец, мы должны преклоняться перед всякою пошлостью потому только, что она одевается в либеральную одежду? Воля Ваша, Николай Гаврилович: мне кажется, — писал Костомаров, — уж если кому, то именно Вам следовало бы таких героев бить по носу, а Вы их по головке гладите». «Наши дороги разные», — справедливо заключал Костомаров, сожалея о разрыве отношений⁶².

Приведенные материалы опровергают часто цитируемые слова П.Л. Лаврова, будто выступления студентов против Костомарова «происходили с согласия Чернышевского, под его влиянием», будто он «сознавал для себя возможность остановить это движение, но находил это ненужным»⁶³. Да и сам Чернышевский называл нелепыми слухи, объявлявшие его «возбудителем беспорядка, происшедшего в зале Думы весной 1862 г.» (XIV, 732).

Распоряжение Головнина о прекращении публичных лекций появилось в печати 21 марта. При этом имелись в виду также лекции Утина, Спасовича, Менделеева, Калиновского, Благовещенского, Ивановского, Чайковского, Лохвицкого и Гадолина⁶⁴. Таким образом, беседа Чернышевского с Костомаровым происходила, вероятнее всего, 20 марта, в день опубликования Костомаровым объявления о предполагаемом возобновлении лекций в зале Руадзе. В тот же день Чернышевский, видимо, побывал у Головнина, и этим же числом должно быть помечено письмо Костомарова к Чернышевскому. Тогда же, думается, Чернышевский написал записку, сообщая в ней сведения, полученные, нужно думать, от Головнина: «Вчера было высочайшее повеление оставить без рассмотрения дело о манифестации в Думе. Беспokoить по этому делу никого не будут. Костомаров согласился не читать лекций. Павлов, весьма вероятно, будет отдан или на поруки князю Г.А. Щербатову, или получит разрешение жить в Нижнем у родственников»⁶⁵. Эта карандашная записка была обнаружена жандармами в бумагах Чернышевского после его ареста. Ее адресат неизвестен. С уверенностью можно предположить, что она писалась для членов студенческого комитета, поскольку «беспokoить» могли только студентов.

Студенческий комитет в свою очередь предпринял меры для предотвращения новых возможных столкновений с Костомаровым и стоящими за ним силами, предубежденными против студентов. Члены комитета добились аудиенции у А.А. Суворова. Тот записал в дневнике: «Вторник 20 марта. У меня студенты Ник. Утин, Спас-

ский, грузин – имя не помню, Печаткин, Пантелеев»⁶⁶. Накануне, 19 марта, у него на приеме был «студент Боголюбов»⁶⁷. Итак, студенты сами получили нужную информацию у Суворова, и Чернышевский, узнав об этом, не стал отправлять им своей записки. Так или иначе, но Чернышевского во всей этой истории больше всего заботила судьба студентов, – и в беседе с Костомаровым, и в переписке с профессором И.Е. Андреевским, которого он просил быть посредником между публикой и читавшими лекции профессорами для разъяснения истинной причины прекращения публичных чтений (см.: XIV, 449–450).

А необходимость в защите студентов была. Н.Ф. Павлов, например, без обиняков публично утверждал: «...Выходит, что комитет навязал свои воззрения многочисленной толпе, по-видимому, нисколько не сочувствовавшей ему»⁶⁸. Показательно высказывание Головнина в секретном письме к Суворову от 23 апреля 1862 г.: «Считаю нужным предварить Вашу Светлость, что мне говорили, что родственники некоторых студентов предлагали им деньги для поездки за границу и молодые люди отказались, говоря, что должны провести лето здесь по своим делам. Я убежден, – уверял статс-секретарь, – что летом или осенью будут уличные беспорядки и что студенты суть орудие неизвестных мне лиц. Мне кажется, что было бы необходимо ввести здесь теперь же с некоторыми переменами правила о полицейских судах, данные литовским губерниям»⁶⁹. В апреле «Наше время» публикует осуждающую студентов статью «Протесты и демонстрации» (они-де «вышли из моды»), и ее перепечатал журнал «Сын отечества»⁷⁰.

Выпады газеты Павлова против студентов нашли продолжение в статье «Учиться или не учиться?», подписанной криптонимом «-Ъ-». Автором был А.В. Эвальд, учитель городского училища, изредка печатавшийся в различных периодических изданиях. Организатором статьи стал А.А. Краевский, гонитель «красного либерализма»⁷¹. «Поколение, которое должно ныне, – писал Эвальд, – кончить свое образование и, следовательно, в скором времени вступить на поприще житейской деятельности, это поколение отказалось от ученья, оно может обойтись и без науки: это поколение косвенным образом содействовало закрытию Петербургского университета и прямо содействовало прекращению публичных лекций». Вторая важная для автора и редактора газеты мысль, бьющая прежде всего по «Современнику» и Чернышевскому: молодые люди «увлекаются обманчивой и ласковой наружностью лжелибералов и, настраиваемые их идеями, оставляют аудитории для того, чтобы заниматься вопросами общественной жизни». Автор советует студентам «брать

только то, что профессоры могли дать: чистую науку, отрешенную от всяких временных вопросов»⁷².

В редакции «Современника», по свидетельству М.А. Антоновича, статью Эвальда поначалу восприняли как замаскированное выступление министерства народного просвещения, содержащее официальную оценку событий⁷³. В таком случае дело принимало серьезный оборот. С рассуждений на эту тему Чернышевский и начал свою ответную статью «Научились ли?». Публикация в «Санкт-Петербургских ведомостях» «обрадовала людей, — пишет Чернышевский, — имеющих привычку всякую вину во всяких неприятных делах приписывать исключительно молодому поколению да литераторам. Эти люди обрадовались потому, что вздумали увидеть в статье выражение взгляда министерства народного просвещения. Но мы полагаем, что они ошибаются, и что статья эта выражает собою только их собственное мнение, и что министерство народного образования не имеет никакой солидарности с подобными обскурантами». Той же причиной объясняется предложение автору статьи явиться со свидетелями на личное свидание, чтобы протоколировать ход дискуссии (X, 1071–1072). А когда при встрече (о ней ниже) выяснилось, что министерство не имеет к статье отношения и она действительно плод деятельности одних обскурантов, Чернышевский даже не довел до конца протокола и отказался его опубликовать⁷⁴.

Статья «Научились ли?» явилась не единственной отповедью Эвальду. Почти одновременно с ней в тех же «Санкт-Петербургских ведомостях» напечатана статья П.Л. Лаврова «Учиться, но как?»⁷⁵ А в следующем номере газеты дан ответ Эвальда. Таким образом, читателями «Современника» статья Чернышевского, вышедшая в свет 16 мая, воспринималась в контексте уже начавшейся дискуссии.

Лавров осудил попытку представить молодежь виновной в совершившихся событиях, факты Эвальдом «частью искажены, частью поставлены в совершенно ложную перспективу». Студенты на лекции Костомарова, по свидетельству Лаврова, присутствовавшего на ней, вели себя, как и в других случаях, спокойно и выдержанно, и лектор прочитал лекцию до конца, и если раздались свистки по поводу сделанного каким-то частным лицом объявления о прекращении лекций вообще, то Костомарову не следовало бы оскорблять молодых слушателей сравнением с Репетиловыми и Расплюевыми, и вот тут-то действительно раздались свистки и выкрики в адрес профессора. Далее Лавров подтверждал, что высказывания Эвальда о коноводах юношества и лжелибералах метили в Чернышевского и его журнал. Он писал: «Вы указываете на жадность, с которою моло-

дежь читает и хвалит статьи, где унижаются представители строгой отвлеченной науки, чистого искусства. Не бойтесь. Пусть взойдут на свободную кафедру эти же самые Юркевичи, Буслаевы, которых осмеивают литературные учителя молодежи, и она соберется тысячами слушать строгое, чисто ученое преподавание». Известно, что именно Чернышевский резко критически оценивал труды Юркевича, который, как и Буслаев, подвергался критике на страницах «Свистка». Лавров уличает Эвальда в политическом доносительстве. «Стоит ли, — замечает он, — говорить о намеках на тайных предводителей, на осторожных либералов?.. О, старая песня!..»

В ответе Лаврову Эвальд признал ошибочность своих выводов о нежелании молодежи учиться. Но он с особым упорством настаивал на существовании «тех застрельщиков, которые мутят молодых людей», внушают им «ложное понимание либерализма»⁷⁶.

Чернышевский также не мог обойти темы о «лжелибералах», слишком важной в настоящую минуту все усиливавшегося правительственного прессы. Рассуждения о «лжелибералах» и «коноводах» он посчитал клеветническими. «Ни лжелибералами, ни просто либералами молодые люди никогда и не увлекались», либералов они всегда считали «людьми пустыми», «просто пустозвонами». «Мы, — твердо отстаивал Чернышевский свое мнение, — положительно говорим, что никаких таких “коноводов” студенты не имели», или пусть автор статьи представит свои доказательства (X, 176–177).

Отрицая существование «коноводов», Чернышевский использует даже логические промахи автора разбираемой им статьи — настолько вопрос в данной политической ситуации становился напряженным, острым. Студентам и обществу, уверяет Эвальд, нужны наставники, которые повели бы по «правильной» дороге. Для выражения этой мысли Эвальд прибегает к слову «коноводы», о которых он все время толковал в отрицательном смысле. «Ну на что же это похоже, — резонно замечает Чернышевский, — что он желает всему обществу стать в послушание “коноводов”, когда сам же так сильно напустился на студентов по одному неосновательному подозрению, что они имели “коноводов”?» И, перехватывая инициативу, Чернышевский напрямую раскрывает содержавшиеся у автора газетной статьи политические намеки. Он пишет: «Да то ли еще провозглашает автор статьи: мало того, говорит, что обществу нужны “коноводы”, — “народу нужны полководцы”, — с нами крестная сила, что это такое значит? какие это полководцы нужны народу? Разве народ надобно поднимать против кого-нибудь, вооружать? вести в какие-нибудь битвы?» Слова Эвальда «нам теперь нужны дело и люди

дела» иронически обыграны как призыв к тому, «что в Италии называется “партия действия”» (X, 178). Получается, что политически неблагонадежными становятся призывы автора столичной газеты, а не статьи «Современника».

Важный момент! Чернышевский, поначалу предполагавший в газетной статье выражение правительственной точки зрения, свои замечания адресует непосредственно властям, обеспокоенным мыслью о существовании «коноводов», способных поднять народ на восстание. Важно было нейтрализовать подобные выводы, чреватые необоснованными репрессиями (так чуть позднее и случилось), и Чернышевский обиняком предостерегает правительство от необдуманных действий. Так открыто писать о народном восстании мог только тот, кто знал, что никакого восстания не будет и организовывать в России по примеру Италии «партию действия» нет оснований. Приглашение автора статьи «Учиться или не учиться?» на третейский суд имело целью придать этим разъяснениям еще большее распространение.

Тридцать лет спустя Эвальд опубликовал свои воспоминания о встрече с Чернышевским, состоявшейся 30 мая 1862 г. на квартире Эвальда. Свидетелей ему порекомендовал А.А. Краевский — профессора лицея А.В. Лохвицкого и журналиста В.Д. Скарятин. С Чернышевским пришли сотрудники «Современника» Г.З. Елисеев и М.А. Антонович. Чернышевский предъявил Эвальду 14 писем профессоров университета, в которых они отказывались от чтения лекций до 8 марта, и тот подписал протокол о невиновности студентов в прекращении публичных чтений. Однако Эвальд утверждал впоследствии, что поставил свою подпись под давлением и что он сомневался в подлинности свидетельств профессоров. Антонович в опубликованных в 1908 г. своих поправках к воспоминаниям Эвальда убедительно это опроверг. Свидетельство Антоновича, располагавшего подлинной рукописью протокола, в данном случае заслуживает полного доверия. Подпись Эвальда в рукописи заверена его свидетелями, о чем тот умолчал в воспоминаниях, красочно рассказывая о несогласии Лохвицкого и Скарятин с текстом протокола и подписью Эвальда под ним. Не менее красочно описана беседа Чернышевского с ним в отдельной комнате с глазу на глаз, пока свидетели в другой комнате спорили о подлинности писем профессоров. Чернышевский будто бы изложил своему собеседнику политическую программу: разрушение всего старого ради новых учреждений, каких бы жертв это ни потребовало. Антонович свидетельствовал: «Ни Чернышевский, ни Эвальд ни на секунду не выходили из комнаты для сепаратных разговоров», и весь рассказ Эвальда сочинен с

целью самовозвеличения⁷⁷. Считать воспоминания Эвальда надежным источником не приходится.

«Мешать или не мешать учиться?» — так называлась статья Н.И. Костомарова, включившегося в спор Эвальда с Лавровым. Автор статьи встал на сторону первого. От студентов «вправе требовать одного, — писал он, — не приходиться в университет с целями, не касающимися непосредственно науки»⁷⁸. Статьи Чернышевского Костомаров не упомянул, но косвенно он отвечал и ему, ни в чем с ним не соглашаясь.

Наполнившие газеты и журналы нападения на статью Чернышевского «Научились ли?» по времени совпали с майскими пожарами, усугубившими в общественном мнении вину студентов, и отличались особой непримиримостью, а то и разнузданностью. Некий Ф. Елкин призывал Эвальда обязательно огласить в печати имена «коноводов» и «лжелибералов», этих «кромвельчиков-бонапартиков»⁷⁹. В другой статье многозначительно обыгрывалось слово «краснеть», взятое в кавычки. Например, говорилось, что один из сотрудников газеты, несмотря на его критику в «Современнике», «никогда не будет “краснеть” за написанные им в нашей газете статьи»⁸⁰. Смысл рассуждений Н.Ф. Павлова сводился к тому, что в университетских событиях не следует искать политических замыслов, но за границей Герцен, а в России Чернышевский постарались придать движению политический характер. Развивая мысль о руководстве Чернышевским студенческими выступлениями, Павлов писал: автор статьи «Научились ли?» «становится успокоителем и обещает, что насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Мы вполне полагаемся на его слова. Кому как не камергеру знать, что делается при дворе!»⁸¹ «Домашняя беседа» шла еще дальше. «...Вы сами, — обращалась она к Чернышевскому в связи со студентами, — непрочь от того, что они снова затеют что-нибудь такое, что вызовет вмешательство правительства. <...> Поберегите себя, г. Чернышевский; общественное мнение теперь не так настроено, чтоб подобные вашим объяснения могли проходить даром, и потому ваш дерзкий вызов автору статьи “Учиться или не учиться?” более чем неблагоприятен»⁸².

А.Н. Пасхалова-Мордовцева, когда-то симпатизировавшая Чернышевскому⁸³, сообщала из Саратова И.С. Аксакову 29 июня 1862 г. об «огромном» успехе статьи «Научились ли?» и ее автора «в обществе здешних прогрессистов». «Мне, — прибавляла она, — удалось крошечку поколебать веру единого от малых сих — в их учителе; очень буду рада, если у него хоть одним учеником будет

меньше»⁸⁴. Костомаров, Пасхалова – время значительно развело их с Чернышевским.

Строгое и сочувственное отношение Чернышевского к студентам, проявившееся в напряженные месяцы студенческих волнений осени 1861 – весны 1862 г., укрепило авторитет руководителя «Современника» в их среде, но и вызвало усиление нападков его идеологических противников, подталкивающих власти к расправе с ним.

Примечания

¹ *Кауфман А.Е.* Пионерки высшего женского образования и Петербургский университет // Исторический вестник. 1910. № 1. С. 211.

² Московские ведомости. 1861. 19 февраля. № 41. С. 333.

³ Северная пчела. 1861. 28 ноября. № 266. С. 1110.

⁴ СПб. ведомости. 1862. 24 января. № 18. С. 82.

⁵ Там же. 1860. 17 июня. № 132. С. 680.

⁶ Наше время. 1861. 21 июля. № 25. С. 425.

⁷ *Сорокин В.Н.* Воспоминания старого студента // Русская старина. 1888. Декабрь. С. 632.

⁸ См.: СПб. ведомости. 1860. 27 февраля. № 44. С. 207–208.

⁹ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5213. Л. 1. В черновом варианте: «развиваемые ныне нередко в литературе идеи в преувеличенных надеждах, возлагаемых в будущем на студентов и вообще на новое поколение» (там же. Л. 2).

¹⁰ Там же. Л. 2.

¹¹ *Герцен.* Т. XV. С. 99.

¹² Там же. С. 150.

¹³ Московские ведомости. 1861. 8 июня. № 125. С. 1001–1002.

¹⁴ См.: *Гессен С.* Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932. С. 55.

¹⁵ Там же. С. 69.

¹⁶ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 266–267.

¹⁷ РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 1. об–2.

¹⁸ См.: *Чернышевская В.С.* Из истории родственных отношений Н.Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 7 (1971). С. 150. По данным 1868 г., Николай Сократович Васильев явился в управление петербургского обер-полицмейстера с просьбой выслать его на родину, так как «не имеет ни определенных занятий, ни средств к существованию». Он и был выслан «этапным порядком», как нищий (ГАСО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1151. Л. 43–44).

- ¹⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 204.
- ²⁰ Там же. Оп. 2. № 36 а. Л. 1–4.
- ²¹ См.: *Еремин Г.В., Студенский В.П.* Студенские – семья деда Н.Г. Чернышевского // *Чернышевский*. Вып. 12 (1997). С. 119–122.
- ²² РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 310.
- ²³ СПб. ведомости. 1861. 28 сентября. № 213. С. 1185.
- ²⁴ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 270.
- ²⁵ Там же. Л. 271. Выражение «особое сословие», подчеркнутое императором, присутствовало, вероятно, в тексте адреса.
- ²⁶ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5819.
- ²⁷ Там же. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 281.
- ²⁸ СПб. ведомости. 1861. 1 октября. № 216. С. 1203.
- ²⁹ РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 2.
- ³⁰ СПб. ведомости. 1861. 10 октября. № 225. С. 1236.
- ³¹ РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 171, 394–402. См. также список из 89 человек: РГВИ А. Ф. 43. Оп. 4. Д. 15. Л. 2, 9.
- ³² Красный архив. 1926. Т. 14. С. 90.
- ³³ Дело. С. 150, 151.
- ³⁴ Там же. С. 72. Документы опровергают утверждение, будто надзор за Чернышевским явился следствием его речи на похоронах Добролюбова, произнесенной 20 ноября 1861 г. (Ср.: *Порох И.В.* Речь Н.Г. Чернышевского на похоронах Добролюбова и ее общественный резонанс // *Н.Г. Чернышевский. История. Философия. Литература: сб. статей.* Саратов, 1982. С. 39).
- ³⁵ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 293, 296.
- ³⁶ ГАРФ. Ф. 95. Д. 28. Л. 13. См.: Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 124.
- ³⁷ См. в сб.: *Н.Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика.* Л., 1979. С. 318. «Усади, ради Бога, Степку за работу. Пускай он пишет под диктовку», – обращалась, например, О.С. Чернышевская к мужу в мае 1862 г. (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 23).
- ³⁸ Дело. С. 92, 93.
- ³⁹ РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 186.
- ⁴⁰ Там же. Л. 186, 235.
- ⁴¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 619. Л. 71.
- ⁴² О Михаиле Воронове см.: *Научная биография (1828–1853)*, разделы «Приезд в Саратов», «В Петербург» и в кн.: *Саратовские друзья Чернышевского.* Саратов, 1985. С. 86–102. Мемуары братьев Вороновых см.: *Воспоминания (1959).* Т. 1. С. 146–151.
- ⁴³ *Воспоминания (1982).* С. 188–189.
- ⁴⁴ Там же. С. 186.

- ⁴⁵ Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок / изд. подг. А.А. Жук и А.А. Демченко. Отв. ред. Е.И. Покусаев, И.Г. Ямпольский. М., 1981. С. 258.
- ⁴⁶ СПб. ведомости. 1861. № 237, 258, 261, 262, 270, 275, 281.
- ⁴⁷ Там же. 31 октября. № 241. С. 1325.
- ⁴⁸ Московские ведомости. 1861. 31 октября. № 238. С. 1917; 10 ноября. № 247. С. 1991; 26 ноября. № 260. С. 2102.
- ⁴⁹ Свисток. С. 532.
- ⁵⁰ СПб. ведомости. 1862. 30 января. № 23. С. 104. Восточный факультет открылся 11 февраля.
- ⁵¹ Там же. 17 января. № 13. С. 60; 21 февраля. № 39. С. 179.
- ⁵² Там же. 13 января. № 9. С. 40.
- ⁵³ Там же. № 12, 13, 15, 22.
- ⁵⁴ Там же. 4 февраля. № 27. С. 121–122.
- ⁵⁵ Воспоминания (1982). С. 246.
- ⁵⁶ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 152. Л. 9.
- ⁵⁷ Сам Костомаров в своих записках свои слова вспоминал в следующей редакции: «Скажу вам, м<илостивые> г<осударя>, что эти либералы, которые так меня награждают, не более как Репетиловы, из которых лет через десять выйдут Расплюевы» (Автобиография Н.И. Костомарова / Под ред. В. Котельникова. М.: Задруга, 1922. С. 301). Репетилов – персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», хваставшийся своей принадлежностью к некоему тайному кружку. Расплюев – герой драмы А.В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского», отличавшийся цинизмом, беспринципностью.
- ⁵⁸ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 790. Л. 111 об.
- ⁵⁹ Там же. Д. 16. Л. 1–2.
- ⁶⁰ РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5847. Л. 1–3.
- ⁶¹ СПб. ведомости. 1862. 20 марта. № 61. С. 273.
- ⁶² Дело. С. 450–451.
- ⁶³ Черновик письма П.Л. Лаврова к Г.В. Плеханову от 25 ноября 1889 г. (Литературное наследство. Т. 7–8. С. 115). Ср.: Дело. С. 600. См. также: *Краснов Г.В.* Н.Г. Чернышевский и «Думская история» // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1974. С. 106–123.
- ⁶⁴ СПб. ведомости. 1862. 21 марта. № 62. С. 275.
- ⁶⁵ Дело. С. 447. Г.А. Щербатов – петербургский губернский предводитель дворянства, председатель Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Сведения о П.В. Павлове не подтвердились: в Ветлуге он пробыл до 1864 г.
- ⁶⁶ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 790. Л. 117. Грузин – В. Гогоберидзе.

- ⁶⁷ Возможно, один из осведомителей.
- ⁶⁸ Наше время. 1862. 22 марта. № 63. С. 249.
- ⁶⁹ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 152. Л. 10.
- ⁷⁰ Сын отечества. 1862. 28 апреля. № 102. С. 791.
- ⁷¹ Воспоминания (1959). Т. I. С. 381.
- ⁷² СПб. ведомости. 1862. 1 мая № 92. С. 419.
- ⁷³ Воспоминания (1959). Т. I. С. 364.
- ⁷⁴ Там же. С. 372.
- ⁷⁵ СПб. ведомости. 1862. 16 мая. № 104. С. 471.
- ⁷⁶ Там же. 17 мая. № 105. С. 475.
- ⁷⁷ Воспоминания (1959). Т. I. С. 368–372, 376–377, 379.
- ⁷⁸ СПб. Ведомости. 1862. 27 мая № 113. С. 507. Об отрицательном отношении внимательно следившего за студенческими событиями Александра II к статье Чернышевского и, напротив, о монаршем одобрении публикаций А.В. Эвальда и Н.И. Костомарова см.: *Герасимова Ю.И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации 1850-х – начала 1860-х годов. М., 1974. С. 155–156.
- ⁷⁹ Северная пчела. 1862. 27 мая. № 141. С. 564.
- ⁸⁰ Там же. 29 мая. № 142. С. 565; 30 мая. № 143. С. 570.
- ⁸¹ Наше время. 1862. 22 мая. № 107. С. 425.
- ⁸² Домашняя беседа. 1862. 16 июня. Вып. 24. С. 589–590.
- ⁸³ См.: Научная биография (1828–1853), раздел «В местном обществе».
- ⁸⁴ Дело. С. 601.

9. Смерть Добролюбова

Осень 1861 г. стала для Чернышевского еще и временем утрат – 23 октября умер отец.

Следующим сильным ударом стала смерть Добролюбова – 17 ноября. «Вот уже редкий день проходит у меня без слез, – писал Чернышевский Т.К. Гринвальд, близкой знакомой умершего. <...> Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он. <...> Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (XIV, 449). Это письмо датировано 10 февраля 1862 г. В некрологе, написанном несколько раньше, в ноябре, Чернышевский сформулировал свою мысль более развернуто, однако эти строки не попали в журнал (у нас они отделены квадратными скобками): «Ему было только 25 лет. Но уже 4 года он стоял во главе русской литературы [, – нет,

не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли].

Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби [, но невозградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих]» (VII, 852).

Похороны Добролюбова состоялись 20 ноября на Волковом кладбище. В рабочей тетради О.С. Чернышевской есть записи о «цветах для Добролюбова» 20 и 28 (на девятый день) ноября¹.

Публикации того времени, воспоминания современников и другие материалы позволяют с достаточной полнотой и точностью восстановить картину похорон Добролюбова и все связанные с конечной великого критика последующие события, участником которых стал Чернышевский².

На кладбище Чернышевский говорил после Некрасова, сравнившего умершего с Белинским («то же электрическое влияние на читающее общество, та же пронизательность и сила в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же чахотка»³), — зачитал отрывки из дневника Добролюбова и несколько его стихотворений, которые, как передавали газеты, «ясно говорили, что на ускорение смерти Н.А. имели сильное влияние некоторые нравственные причины»⁴. Автор одного из журналов свои впечатления выразил почти теми же словами: «...Люди, знавшие Добролюбова, громко заявили над холодным трупом его, что его смерть прямо зависела от причин нравственных, характеристично обрисованных дневником его, прочитанным у гроба г. Чернышевским, — вот что скоротало дни Н.А. Добролюбова»⁵. Слова о «нравственных причинах» произносились, по всей вероятности, самим Чернышевским. Присутствовавший на Волковом кладбище И.И. Панаев в статье «По поводу похорон Н.А. Добролюбова», не называя Чернышевского, но, несомненно, имея в виду именно его речь и как бы комментируя ее, писал: «Отрывки из дневника Добролюбова яснее и красноречивее всяких слов объясняют, что люди с таким энергическим стремлением к добру и правде, каким был движим Добролюбов, должны чувствовать вдвое сильнее те страшные пытки и страдания, которые суждено испытывать вообще всем мыслящим людям. Ни Белинский, ни Добролюбов вследствие этого не могли жить долго. <...> Да и вообще, как известно, всем даровитым русским людям не живется что-то...»⁶ Смысл слов Чернышевского хорошо уловил и передал

редактор газеты «Русский мир» А.С. Гиероглифов. «Это был, — уверял он, — ряд фактов, из которых сложилась в уме слушателей верная и раздражающая сердце картина той нравственной пытки, тех нравственных оскорблений и мучений, которые свели в могилу сильного и смелого защитника добра и правды. <...> “Добролюбов умер оттого, что был слишком честен”, — заключил г. Чернышевский, и это психологически верно»⁷. Не только «психологически», но и, конечно, политически. В дневниковой (не для печати!) записи А.В. Никитенко об этом сказано без обиняков: Чернышевский «сказал на Волховом кладбище удивительную речь. Темой было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни, а затем и до смерти. Он неоднократно возглашал к собравшейся толпе: “А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем”»⁸. Политический смысл сказанного Чернышевским зафиксировал и агент Третьего отделения, подробный отчет о событии заключивший словами: «Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его. Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: “Какие сильные слова; чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют”»⁹. Наконец, приведем еще свидетельство. «Чернышевский читал и говорил просто, без всякой аффектации, — вспоминал Н.Ф. Анненский, — но глубоко западали в душу слушателей эти скорбные и вместе с тем мужественные слова»¹⁰.

По уверению одних, Чернышевский прочитал два стихотворения Добролюбова. Одно («Памяти отца») заканчивалось строками:

И делал я благое дело
Среди царяющего зла.

Второе:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен...

Другие очевидцы называли также стихотворение «Еще работы в жизни много», где есть строки:

Я ваш, друзья, — хочу быть вашим,
На труд и битву я готов, —

Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов —

и стихотворение «Пуškai умру — печали мало». Когда Чернышевский «дошел до того места, где Добролюбов говорит: “Чтоб бескорыстной толпою за ним не шли мои друзья”, то при этих словах с грустной иронией заметил: “Кажется, опасения покойного были напрасны, немного нас тут собралось”»¹¹.

И еще знаменательное воспоминание. Рядом с могилами Белинского и только что захороненного Добролюбова указали еще на одно свободное место, «“но нет еще для него человека в России”, — сказал Н.Г. Чернышевский, бросая последнюю горсть земли на скромную, но славную могилу»¹². Присутствующие понимали важность исторического момента и мыслили крупными категориями.

Сразу после смерти своего друга Чернышевский развернул огромную работу по увековечиванию его памяти. Защитой от нападения на покойного критика иных борзописцев, возмущившихся превознесением сотрудника «Современника» в ранг главы русской литературы, проникнута статья Чернышевского «В изъявление признательности», ближайшим поводом для которой послужило выступление сотрудника «Библиотеки для чтения» Е.Ф. Зарина¹³. В январской книжке «Современника» за 1862 г. появляется первый отрывок из собираемых Чернышевским «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова» объемом в 60 журнальных страниц. Чернышевский-биограф прослеживает здесь основные этапы формирования убеждений Добролюбова. Он внимательно следит за появлением у набожного юноши еще до отъезда в Петербург в 1853 г. «иного взгляда на законы вселенной». Читателю «Материалов...» даются четкие объяснения «страстной силы», с какою Добролюбов уже в ранние годы восставал против явлений жизни, впоследствии заклеянных им именем «самодурства». «Из сердца, обливавшегося кровью, лились его слова. Когда он писал, перед его мыслью неотступно стояли конкретные факты действительной жизни, стояли фигуры людей, с которыми он сроднился в жизни, скорбь которых он прочувствовал. Его статьи — как будто эпилоги к биографическим и автобиографическим рассказам» (X, 11). Исследователи Добролюбова и по сей день еще не вполне осознали значение этих слов, служащих своеобразным ключом к биографии и творчеству автора «Темного царства».

Отрывки из студенческого дневника и другие материалы, представленные Чернышевским, характеризовали Добролюбова как человека «с чрезвычайно сильным характером», «отчаянного социа-

листа», способного «в случае нужды <...> явиться смелым и свежим бойцом», и в то же время человека большого сердца и нежных чувств («чувство постоянно служило ему первым возбудителем и мыслей и дел»), говорилось о свойственной писателю «деятельности живой, личной, а не книжной, неопределенно-безличной и отвлеченной» (X, 11, 53, 58).

Работая над продолжением «Материалов...», Чернышевский продолжил переписку с родственниками Добролюбова и лицами, которые могли сообщить свои воспоминания. Одновременно Чернышевский начинает издание «Собрания сочинений» великого критика, восстанавливая по возможности тексты статей от цензурного искажения. Первый том выдан читателям уже в марте 1862 г., и в предисловии Чернышевский заверил, что последующие три тома, как и первый, составившиеся из опубликованных в «Современнике» статей, уже подготовлены к печати и выйдут в ближайшие месяцы. Пятый том должен был включать сочинения, напечатанные в свое время в других журналах, а также переписку и другие материалы для биографии. В апреле вышел второй том, в начале июня – третий, в августе – четвертый, но уже под наблюдением Антоновича, ввиду ареста издателя. Пятый так и не появился в ту пору. «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова» как отдельное издание подготовлено Чернышевским к печати только после возвращения из Сибири, в 1880-х годах. «Он был – второй Белинский, – писал один из журналистов в 1862 г. о Добролюбова. – Таким образом, его биография и его сочинения равно дороги для всех, и нам остается поблагодарить “Современник” за принятый им на себя труд»¹⁴.

Распространение идей Добролюбова, привлечение внимания к его светлой личности осуществлялись членами редакции «Современника» и Чернышевским многосторонне, в том числе в их публичных выступлениях перед большими аудиториями. Так, Некрасов на вечере 2 января 1862 г. в зале 1-й гимназии прочитал несколько последних стихотворений Добролюбова¹⁵. Они «при особенной глубине, – читаем в одном из литературных обзоров, – отличаются каким-то особенно болезненным чувством. В них так и обрисовывается страдалец-человек и писатель, в душе которого шла страшная, низведшая его даже в гроб борьба. Одно из стихотворений, а именно: “Еще у нас работы много” было повторено»¹⁶.

Чернышевский выступил с воспоминаниями о Добролюбова 2 марта 1862 г. в зале Руадзе. В программе этого литературного и музыкального вечера (о нем мы говорили выше в связи со студенческими волнениями), значилось чтение Ф.М. Достоевским отрывков из «Мертвого дома», выступления Некрасова и В.С. Курочки-

на со своими стихотворениями, лекция профессора П.В. Павлова «Тысячелетие России». Музыкальная часть включала дуэт Г. Венявского и А. Рубинштейна для скрипки и фортепиано, исполнение госпожой Ла-Груа неаполитанских песен и романса Варламова «Мне жаль тебя», сольное выступление А. Рубинштейна. В программе — «Камаринская» М. Глинки, аранжированная Дютшем для четырех роялей (исполнители М.М. Достоевская, Л.П. Шелгунова, К.И. Корсини, Е.К. Тиблен, А.А. Виламов, И.Г. Борщов, Е.П. Печаткин, князь А.А. Мещерский). Выступление Чернышевского «Знакомство с Добролюбовым» значилось в последнем, третьем отделении вечера, который начинался в половине восьмого (Чернышевский, Курочкин, «Камаринская»)¹⁷.

По свидетельству хорошо осведомленной А.Я. Панаевой, накануне вечера в литературной среде разнеслись слухи, что Некрасов и Чернышевский будут ошиканы. Некрасов даже получил анонимное письмо с выражением возмущения по поводу желания Чернышевского говорить о человеке, литературную деятельность которого, «хотя, к счастью, и кратковременную, всякий образованный и порядочный человек считает позорною». Скандала, однако, не произошло. «Напротив, — вспоминала Панаева, — при появлении Некрасова и Чернышевского на эстраде и уходе с нее раздавались шумные аплодисменты. Но все-таки нашлись люди, уверявшие тех, кто не был на этом вечере, будто Некрасову шикали, а Чернышевскому публика даже не дала окончить чтение, так как он держал себя крайне неприлично. В этом духе были напечатаны отчеты о вечере в “Северной пчеле” и “Библиотеке для чтения”». Порочащие Чернышевского разговоры и пересуды мемуаристка назвала «нелепыми толками»¹⁸.

Все же сообщение Панаевой не отражало всех важных подробностей события. Выступление Чернышевского сопровождалось не только одобрительными аплодисментами, слышались и голоса недовольных. Двоюродная сестра Чернышевского Полина Пыпина, безусловно к нему расположенная, писала домой в Саратов: «Николю публика встретила с восторгом. Никаких свистков не было; но что чтение многим не понравилось, это правда». Затем она, как умела, объяснила причины недовольства: «Он говорил о Добролюбове, которого некоторые господа обвиняли в холодности и сухости сердца»¹⁹. Против этих господ он сказал несколько очень резких слов, от которых, я думаю, их покорило немало; и, чтоб доказать противное, стал читать некоторые места из его записок. <...> Но, надо сказать, что он читал так же, как говорит: беспрестанно вставлял разные замечания, анекдоты, так что не успел прочесть всего,

что хотел. <...> Читал он не больше 40 минут, потому что один из приглашенных играть артистов не хотел более ждать». И хотя Пыпина пишет, что «нам так хорошо было смотреть на него, такой он добрый, хороший человек»²⁰, все же досада некоторая на манеру чтения Чернышевского, не всеми понятую и принятую, в ее письме прозвучала достаточно явственно.

Подтверждение сказанному П.Н. Пыпиной находим в ряде мемуаров. Так, В.А. Добролюбов, брат критика, воспроизвел в своих воспоминаниях со слов очевидцев резкие фразы, предназначавшиеся для «кучки врагов», которая «не упустила случая выразить чем-нибудь свое неудовольствие на слова лектора»: «Что я вам говорю о Николае Александровиче Добролюбове! Разве вы понимаете, цените его? Вот пройдет пятьдесят лет – тогда будут читать, воспринимать его идеи и понимать его!». Эти слова, пояснял мемуарист, адресовались только врагам Добролюбова, но услышали их многие, и «вызов, брошенный Н.Г. Чернышевским русскому обществу, сочли за оскорбление»²¹. По словам Л.Ф. Пантелеева, чтение «было неудачно»: выступал Чернышевский в такой аудитории впервые, «был, видимо, ажитирован», взволнован, «хотя и старался показать противное», а «экспромтом говорить он, видно, был не мастер»²². По мнению Н.Ф. Анненского, Чернышевский «смутился и растерялся» от встретивших его оваций, и «беседа вышла спутанная, длинная и тягостная»²³. Он «держал себя странно, не то развязно, не то смущенно», – передавал воспоминания своей матери Н.А. Энгельгардт²⁴. В речи Чернышевского, вспоминал П. Боборыкин, «было нечто напоминающее те обращения к читателям, которыми испещрен был два-три года спустя его роман “Что делать?”»²⁵.

Эти объяснения нельзя считать исчерпывающими, они касаются лишь внешней стороны произведенного Чернышевским впечатления, не совсем выгодного для него, но в целом приведенные высказывания мемуаристов не выходят за пределы объективности.

Н.Я. Николадзе, бывший в ту пору студентом, исключенным за участие в манифестациях, также полагал, что дебют Чернышевского «не удался», выступавший не желал «привлечь внимание слушателей, а тем более увлечь их», «он не читал, а рассказывал, скромно, тихо, точно разговаривал с приятелем, о своем знакомстве с Добролюбовым, об его отношениях к родным, об его добросовестности в работе и т.п. <...> Он даже ни разу не повысил голоса, не сделал жеста. Все было просто. Иногда он трогал свою цепочку от часов». Резких слов Чернышевского, брошенных в зал, Николадзе не приводит. Но особенно удивила студентов «бесцензурность» речи. «Тот предстояло, думалось всем, выслушать обличений цензуры», –

пишет Николадзе об ожиданиях молодежи, уже слышавшей смелые слова Чернышевского в день похорон Добролюбова. И вдруг — «никаких жалоб на гнет власти Чернышевский не высказывал. Ничего бесцензурного, никаких заключений он и не старался пускать в ход, и так же просто встал и ушел, как говорил. Зал так и ахнул от разочарования. Не верилось, что это был в самом деле Чернышевский, — тот самый, кто так бесцеремонно крушит в печати первоклассных писателей». Речь Чернышевского, вспоминал Николадзе, явно контрастировала с выступлением П.В. Павлова, выразившего «надежду на обновление наших порядков и учреждений», так что «громкий зал гремел и дрожал от вызовов». В тот момент студенты не поняли намерения Чернышевского в своих высказываниях держаться подальше от политики, в марте 1862 г. это было небезопасно. События подтвердили необходимость подобной сдержанности. П.В. Павлов, например, был немедленно арестован и сослан, хотя его слова, произнесенные на вечере 2 марта, не содержали ничего антиправительственного. Только после ареста Павлова «мы, — пишет Николадзе, — простили Чернышевскому его осторожность и поняли, что благодаря сдержанности своей он избег той же участи»²⁶. Однако на самом вечере молодежь была не удовлетворена речью. Не случайно П.В. Анненков в письме к И.С. Тургеневу от 15 марта 1862 г. сообщал, что Чернышевский «был освистан и ошкан чуть ли не собственной партией»²⁷. Конечно, «освистан и ошкан» сказано слишком сильно и сказано человеком, настроенным к выступавшему недружественно, но сам факт известного недовольства речью даже со стороны людей, к нему явно расположенных, несомненно, имел место.

По мнению студента В. Сорокина, Чернышевский говорил о Добролюбове «в тоне и характере, как нельзя более соответствовавшем тогдашнему возбужденному настроению публики»²⁸. В действительности, как убедительно свидетельствуют большинство современников, это было не так. В памяти мемуариста либо совместились горячие аплодисменты, которыми публика встретила Чернышевского, с овациями, устроенными Павлову, либо он передал некое общее впечатление, оставшееся у него после прочтения тогдашней обрушившейся на Чернышевского прессы²⁹.

Первым откликом из стана идейных противников Чернышевского стала статья в «Санкт-Петербургских ведомостях». Она появилась спустя девять дней, и такое запоздание с публикацией можно объяснить некоторым шоком, вызванным арестом Павлова, и последовавшей «Думской историей». Именно на эти события, не подлежащие обсуждению ввиду их политической окраски, намекал

анонимный автор, когда вечер 2 марта назвал «одним из интересных фактов общественной жизни за прошлую неделю». Рассказ о речи Чернышевского, не имевшей ярко выраженного политического звучания, намеренно сближается с событиями, вызвавшими репрессии. «Хотя предмет его беседы составлял эту из жизни Добролюбова, эту довольно мирного свойства, — пишет он, — тем не менее о г. Чернышевском постоянно вспоминали, говоря о литературном вечере». Далее вниманию читателей предлагается заметка, присланная в газету с подписью «Один из публики» и составленная в осуждающем Чернышевского тоне. Говорится о задевшей многих внешней стороне его беседы, «той отеческой снисходительности, с которой он, как к детям, обращался к многочисленным слушателям», о простоте, «принятой некоторыми за искусственность и т.п.», о «самовозвеличивании». В то же время эта заметка может рассматриваться как источник достоверных фактов о содержании выступления Чернышевского. Например, автор, пересказывая Чернышевского, «привел тот случай, что при первом посещении его Добролюбовым они заговорились до третьего часа ночи». В воспоминаниях Чернышевского, написанных много лет спустя, действительно находим описание этой встречи: просидели «вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух, и толковали мы с ним о его понятиях» (I, 756). С живыми подробностями весь этот эпизод составил большую сцену в романе Чернышевского «Пролог» (XIII, 45). «Опровергая мнение, что у Добролюбова было холодное сердце, — писал автор заметки, — г. Чернышевский приводит одну из его сердечных историй, описанную покойным в интимном письме своему приятелю». Заметка завершалась выводом очевидца: «Аплодисменты, которые на литературном вечере закончили чтение г. Чернышевского, были гораздо тише тех, которыми его встретили, и посреди знаков удовольствия слышались ясно и признаки неудовольствия»³⁰.

Спустя два дня громовым «Петербуржским обозрением» против Чернышевского разразилась «Северная пчела». В оглавлении обзора значилось: «Свисток освистан! Петербургский профет и его крепостные рабы». Чернышевский «был встречен такими рукоплесканиями, каких редкие из литераторов и ученых доселе удаивались. <...> Но чтение его, — сообщала газета, — не прерывалось ни малейшим знаком одобрения. Когда же г. Чернышевский кончил, раздались свистки, шиканье и клики негодования». Так, по мнению автора, был освистан сотрудник «Современника» и «Свистка». И затем, развивая тему «петербургского профета», газета красочно описывала, как «рьяные адепты г. Чернышевского до синяков отбивали

себе руки и надрывали легкие, чтобы заглушить этот свист и это шиканье, но увь! они лишь доказали верную службу своему барину». Слова о «свистках, шиканьи и кликах негодования» явно преувеличены, как преувеличены и отдельные детали поведения выступавшего: Чернышевский «вел себя в высшей степени неприлично. Он то ложился на кафедру и боком, и животом, то полусадился на нее, то делал разные телодвижения, нетерпимые в мало-мальском порядочном обществе, то вертел часовой цепочкой — “у меня, дескать, часы есть!” Одним словом, при двух или трех тысячах образованных людей Чернышевский вел себя как Ноздрев на губернаторском бале». Выступление руководителя «Современника» характеризуется газетой в контексте всей его журнальной деятельности, отнесенной к «печальным, болезненным явлениям нашего общества». Вся статья дышит откровенной инсинуацией, газета явно подставляла его правительству как действительно опасного человека, сбивающего с толку молодежь. «Мы, — возвещал автор, — считаем бесчестным делом долее оставаться равнодушными, безгласными свидетелями деяний г. Чернышевского и бессознательного следования за ним его крепостных поклонников и сателлитов-журналов»³¹. С этого момента «Северная пчела» из номера в номер стала преследовать Чернышевского своим политическим жалом.

В один голос с нею выступила «Домашняя беседа», буквально повторившая слова о «кликах негодования, свистках и шиканьи». Пытаясь представить публициста «Современника» возмутителем общественного спокойствия и главарем «необузданной толпы» молодежи и тем самым придавая своим оценкам характер неприкрытого политического доноса, газета писала: «Самыми отчаянными клакерами были по большей части длинноволосые и бородатые юноши с вызывающими на...³² взглядами, с манерами людей, которые хоть сейчас готовы пойти на кулаки». «Литературный скандал дошел тут до своего апогея, — и всему этому был причиною г. Чернышевский», — утверждал автор (некий В...ь)³³, намеренно утрировавший свой вывод и услужливо подсказывающий правительству, что удар следовало нанести не по П.В. Павлову. «Забавным безобразием», «безобразным поступком» окрестила выступление Чернышевского газета Н.Ф. Павлова³⁴. «Отечественные записки» поместили пасквиль «Второго марта», сочиненный, вероятно, А. Эвальдом³⁵. В. Скарятин, снискавший себе славу Булгарина и Аскоченского, выступил с пародией «Образцы самоновейшего красноречия». Между прочим автор сообщил еще некоторые подробности из сказанного Чернышевским 2 марта. Добролюбов, говорил Чернышевский, имел «пламенное сердце под ледяною оболочкою», характер был у

него «гранит», он «никогда в жизнь свою не возвышал голоса». Чернышевский привел лишь два случая его несдержанности — однажды в обществе, где ему надоели болтовней, в другой раз, когда Чернышевский посоветовал не писать стихов об одном из заспоривших ученых³⁶. В «Материалах для биографии Н.А. Добролюбова» Чернышевский также писал о «твердости характера» Добролюбова, его «ранней привычке к обдуманному действованию», «замечательной силе сдерживать внешние проявления своих чувств», «я, — вспоминал Чернышевский, — только три раза был причиною или свидетелем того, что он изменялся в лице, вспыхивал и возвышал голос» (X, 55).

Дружественные «Современнику» журналы как могли противостояли нападкам на Чернышевского. В.С. Курочкин сочинил для «Искры» остроумную сатирическую пьесу «Цепочка и грязная шея (Сцены из современной комедии)», в которой беспощадно высмеял «Северную пчелу», уподобив сотрудников этой газеты грибоедовским персонажам Хрюминой и Хлэстовой, в чьих глазах Чернышевский конечно же «вольтерьянец»³⁷. Грязным газетным нападкам дали отпор и авторы «Русского слова»³⁸.

Мартовское выступление Чернышевского о Добролюбова в зале Руадзе получило широкую общественную известность, хотя внешне оно не было вполне удачным и не заключало в себе политического содержания, которого ждали многочисленные молодые приверженцы «Современника». Но такова популярность Чернышевского-публициста, несомненного лидера русского освободительного движения, что любое его слово воспринималось в контексте всей его деятельности, направленной на распространение демократических идей. Реакционная и консервативно-либеральная журналистика постаралась, чтобы безобидной в политическом отношении речи придать предосудительный с точки зрения властей смысл и тем самым вызвать на «Современник» и его идеолога репрессивную силу государства.

Примечания

¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 619. Л. 70.

² См.: Бушканец Е.Г. Н.Г. Чернышевский в борьбе за наследие Добролюбова // Чернышевский. Вып. 2. С. 80–95; Краснов Г.В. Выступление Н.Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н.А. Добролюбова 2 марта 1862 г. как общественное событие // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965. С. 143–163;

- Порох И.В.* Речь Н.Г. Чернышевского на похоронах Н.А. Добролюбова и ее общественный резонанс // Н.Г. Чернышевский. История. Философия. Литература. Саратов, 1982. С. 35–42; *Вдовин А.* Формирование посмертной репутации Н.А. Добролюбова в 1861–62 гг. // Русская филология: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2008. № 19. С. 61–64.
- ³ Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников / Вступ. статья В.В. Жданова. Подг. текста, вступ. заметки и коммент. С.А. Рейсера. Л., 1961. С. 385–386.
- ⁴ Московские ведомости. 1861. 25 ноября. № 259. С. 2091 (перепечатка из «Северной пчелы»).
- ⁵ Светоч. 1861. Кн. 12. С. 58.
- ⁶ Современник. 1861. № 11. Отд. II. С. 77–78.
- ⁷ Н.А. Добролюбов в воспоминаниях... С. 386.
- ⁸ *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 2. С. 243.
- ⁹ Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 92.
- ¹⁰ *Анненский Н.* Странички из воспоминаний // Русское богатство. 1908. № 12. С. 197.
- ¹¹ Н.А. Добролюбов в воспоминаниях... С. 370.
- ¹² Там же. С. 386.
- ¹³ См. комментарии Ю.Н. Борисова в кн.: *Чернышевский Н.Г.* Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 326–333.
- ¹⁴ Сын отечества. 1862. 18 февраля. № 7. С. 145.
- ¹⁵ Некрасов опубликовал их в «Современнике» (1862. № 1. Отд. 1. С. 323–348).
- ¹⁶ Сын отечества. 1862. 4 января. № 4. С. 25.
- ¹⁷ СПб. ведомости. 1862. 24 февраля. № 41. С. 183. Есть основание полагать, что литературную часть вечера первоначально продумывал сам Чернышевский. По крайней мере, в его архиве находим черновой набросок (автограф):

«Программа»

Отделение первое

Ф.М. Достоевский, отрывок из «Бедных людей».

А.Н. Майков, стихотворения «Поля» и «Нива».

Я.П. Полонский, отрывок из поэмы «Свежее предание».

Отделение второе

А.С. Милюков, рассказ из «Записной книжки».

П.М. Ковалевский

В.С. Курочкин, «Птицы», стих., из Беранже

(РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 253. Л. 40).

Как видим, этот вариант программы отличался от окончательного. А.Н. Майков и Я.П. Полонский, А.С. Милуков и П.М. Ковалевский, с которыми Чернышевский согласовывал участие в вечере в пользу Литфонда, не выступили.

¹⁸ *Панаева (Головачева) А.Я.* Воспоминания. М., 1986. С. 318.

¹⁹ П.Н. Пыпина лично знала Добролюбова. На это указывает, например, следующее неопубликованное письмо ее брата С.Н. Пыпина матери в Саратов 23 сентября 1859 г. с упоминанием о родственнике И.Г. Терсинском, О.С. Чернышевской и французской певице Ла-Груа: «В тот же день Полина ездила в Александрийский театр с Иваном Григорьевичем. В настоящую минуту, когда пишу это письмо, а пишу его вечером, она тоже в театре с Ольгою Сократовною и в сопровождении Добролюбова» (РГАЛИ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 174. Л. 2).

²⁰ Звенья. М.;Л., 1935. Т. 5. С. 372–373.

²¹ Н.А. Добролюбов в воспоминаниях... С. 327.

²² *Пантелеев Л.Ф.* Воспоминания. М., 1958. С. 227.

²³ Русское богатство. 1908. № 12. С. 197.

²⁴ Исторический вестник. 1910. № 2. С. 545.

²⁵ *Боборыкин П.Д.* За полвека. М.; Л., 1929. С. 207.

²⁶ Воспоминания (1982). С. 246.

²⁷ *Тургенев.* Письма. Т. IV. С. 366, 633.

²⁸ Русская старина. 1906. Ноябрь. С. 465.

²⁹ Неточность иных сообщений Сорокина видна, например, в передаче слов Н.И. Костомарова на чтении 8 марта: «Взбешенный профессор воскликнул: “Это свистят Хлестаковы и будущие Расплюевы!”» (там же. С. 466). Между тем Костомаров говорил о Репетиловых и Расплюевых.

³⁰ СПб. ведомости. 1862. 11 марта. № 54. С. 241–242.

³¹ Северная пчела. 1862. 13 марта. № 70. С. 277.

³² Так в тексте.

³³ Домашняя беседа. 1862. 31 марта. Вып. 13. С. 303.

³⁴ Наше время. 1862. 15 марта. № 57. С. 228.

³⁵ Отечественные записки. 1862. № 3. Отд. III.

³⁶ СПб. ведомости. 1862. 16 марта. № 58. С. 257.

³⁷ Искра. 1862. 23 марта. № 11. С. 152. См.: Поэты «Искры»: В 2 т. / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. И.Г. Ямпольского. Л., 1987. Т. 1. С. 131.

³⁸ Русское слово. 1862. № 2, 3.

10. Последние статьи. Усиление цензурных притеснений

Это были уже рассмотренные нами статьи первых четырех месяцев 1862 г.: выступления о Н.А. Добролюбове, запрещенные цензурой «Письма без адреса», написанные к годовщине отмены крепостного права, и «Научились ли?» как отклик на обсуждение студенческих проблем.

Одна из последних публикаций Чернышевского на свободе оказалась связанной с именем Л.Н. Толстого, и она заслуживает специального внимания. В истории их взаимоотношений эпизоду 1862 г., когда издатель педагогического журнала «Ясная Поляна» обратился к редактору «Современника» с просьбой публично высказаться о содержании только что вышедшей в свет его первой книжки, а тот просьбу исполнил, принадлежит особое место, до сих пор не вполне проясненное и вызывающее в научной литературе неоднозначное толкование. Страдают неполнотою комментарии к статье Чернышевского, зачастую рассматриваемой вне журнальной полемики вокруг яснополянских изданий. Остаются недостаточно учтенными некоторые факты и явления русской общественной жизни начала шестидесятых годов, которые обусловили содержание и тон выступления петербургского журнала.

Противоречивы ответы на вопрос, почему выбор Толстого пал именно на «Современник» и Чернышевского. Письмо, отправленное Толстым из Москвы на имя Чернышевского, датировано 6 февраля 1862 г. «Милостивый государь Николай Гаврилович! — писал Толстой. — Вчера вышел 1-й номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: “Да... детство очень мило, но журнал?..”

А журнал и все дело составляют для меня все. Ответьте мне в Тулу. Л. Толстой»¹ (60, 416²).

Прежде всего важно установить, к кому, кроме Чернышевского, обращался или мог обратиться Толстой в ту пору.

Широкая литературная известность, приобретенная автором «Детства» и других талантливых художественных произведений, позволяла ему рассчитывать на внимание многих журналистов. Не случайно в публичных откликах на появившееся в печати объявление об издании яснополянского педагогического журнала и книжек для чтения уверенность в успехе Толстого связывалась с его писа-

тельской деятельностью. «Мы, — отмечал один из обозревателей, — с искренним удовольствием увидели имя одного из лучших русских писателей во главе предприятия, имеющего целью распространение грамотности в народе»³.

Из влиятельных журналистов и ученых, с мнением которых Толстой в ту пору считался, в первую очередь нужно назвать М.Н. Каткова и Б.Н. Чичерина. Свою статью «О народном образовании», предназначавшуюся для первого номера журнала «Ясная Поляна» в качестве программной, Толстой отправил Каткову еще до ее публикации. Однако тот отказал в поддержке. «С основаниями статьи, конечно, я не согласен», — писал он в ответ 7 января 1862 г.⁴ Толстой, видно по всему, особо и не надеялся на Каткова. Еще в апреле 1861 г. он записал в дневнике: «Катков настолько ограничен, что как раз годится для публики» (48, 36). Чичерин в целом разделял педагогические новации Толстого, который делился с ним своими размышлениями⁵. По просьбе Толстого Чичерин подыскивал для него учителей-помощников. Но все же полным его единомышленником Чичерин не стал, не согласившись с высказываниями против университетов как одной из форм государственного и, следовательно, по Толстому, никуда не годного образования и воспитания. В конце ноября 1861 г. Толстой писал Чичерину по поводу расхождений по «университетскому вопросу»: «Причины же несогласия моего с тобой я не могу высказать в письме, но ты их найдешь в 1-м № “Ясной Поляны”» (60, 410). Чичерин же отвечал: «Описание твоей школы прелестно, но с твоими мыслями решительно не могу согласиться»⁶. Свои расхождения с именитыми москвичами Толстой подытоживал в письме к В.П. Боткину: «Катков, Лонгинов, Чичерин <...> тупы так же, как и год и два тому назад» (60, 415). Письмо датировано 26 января 1862 г., а десять дней спустя последовало обращение к Чернышевскому.

Внимание к редактору петербургского журнала возникло несмотря на то что «Современник» уже высказался по поводу объявленной программы «Ясной Поляны», и это высказывание прозвучало в нелестном и даже обидном для Толстого тоне. Имеются в виду строки из панаевских «Заметок Нового Поэта» августовской книжки журнала за 1861 г., в которых с иронией сообщалось о «либеральной мысли», обратившейся к делу образования «мужичков» под началом «таких просвещенных помещиков, как Л.Н. Толстой». И конечно, неприятными для Толстого могли стать заключительные фразы, намекающие на графское происхождение издателя «Ясной Поляны»: «В настоящее время нет никому спасения от мысли, нет такого высокородного и крепкого черепа, в который бы не про-

никнул хоть один и бледный луч ее. <...> Теперь все баричи обратились в мыслителей. Удивительный прогресс совершен!»⁷

Существует предположение, что сомнения и недоверие Панаева возникли под влиянием Чернышевского⁸. В данном случае это влияние явно преувеличено. Отношения Панаева к Толстому вполне соответствовали сложившимся в редакции «Современника» мнениям о деятельности и взглядах одного из бывших постоянных сотрудников, не согласных с направлением журнала⁹. Панаев, неоднократно в течение 1861 г. выступавший против многих либеральных программ и заявлений либеральных деятелей, не принял всерьез и педагогические начинания Толстого. Но к этой чересчур поспешной оценке Чернышевский не мог иметь отношения. Его последующая критика журнала Толстого шла по иному, чем у Панаева, направлению.

У нас нет прямых свидетельств, подтверждающих факт знакомства Толстого с выступлением Панаева. Но в письме к Чернышевскому он просит высказаться «искренно и серьезно в “Современнике”», и в этих словах позволительно видеть косвенное указание на панаевскую публикацию, которая Толстым, если он читал ее, могла быть аттестована по крайней мере как несерьезная.

Между тем мнение «Современника» оставалось для Толстого авторитетным. В ту пору журнал Некрасова и Чернышевского пользовался особой популярностью. Достаточно привести, к примеру, слова М.Е. Салтыкова из его тверского письма к А.В. Дружинину 1860 г.: «Скажу Вам здесь кстати о расположении умов в провинциях относительно журналов. Всего более в ходу “Современник”; Добролюбов и Чернышевский производят фурор, и о “честной деятельности” “Современника” говорят даже на актах в гимназиях»¹⁰. Высказывание же Панаева, довольно резко выделяющееся на фоне в целом благожелательных откликов на объявление Толстого о «Ясной Поляне», не должно было остаться в памяти читателей «Современника» как окончательный приговор, поскольку оно, по мнению Толстого, если предположение о его знакомстве с отзывом Панаева основательно, обнаруживало несерьезность сближения педагогических усилий Толстого с широковещательными либеральными предприятиями разного рода: «А журнал и все дело составляют для меня все», — писал Толстой Чернышевскому.

Таким образом, среди крупных журналистов, знакомых Толстому и пользовавшихся влиянием на публику, не оказалось никого, кому издатель «Ясной Поляны» доверил бы оценить свое детище.

Чернышевский никогда не входил в число близких Толстому лиц. Отношения между обоими писателями складывались трудно,

напряженно, изобилуя взаимными резкостями¹¹. Несмотря на положительный отзыв Чернышевского в «Современнике» о «Военных рассказах», «Детстве» и «Отрочестве» (декабрь 1856 г.), Толстой не отменил своей прежней оценки этого журнала, отягощавшего себя «политическим перцем» (60, 252). О его «негодовании на редакцию “Современника”» сообщил А.А. Фет В.П. Боткину в ноябре 1857 г.¹² Расхождения Толстого с «Современником» старательно выделялись А.А. Григорьевым, автором большой статьи о писателе. «Толстой, разрабатывая свои психологические задачи, постепенно дошел до таких нравственных результатов, которые не только не имеют ничего общего с требованиями и воззрениями теоретиков, — писал А.А. Григорьев, называя “теоретиками” Чернышевского и Добролюбова, — но даже прямо им противоречат, что остается совершенно необъяснимым помещению его “Люцерна” и “Альберта” в “Современнике”: так резко эти произведения расходятся в духе и направлении с журналом теоретиков»¹³. Статья печаталась в пору, когда Толстой обдумывал письмо к Чернышевскому, и он знал эту статью, поскольку именно в этом номере журнала публиковались «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, которые Толстой читал (см.: 60, 419). Было заметно, что, налегая на расхождения Толстого с «Современником», А.А. Григорьев даже не упомянул о статье Чернышевского 1856 г. Между тем именно эта статья осталась памятна Толстому.

Тот пятилетней давности отзыв Чернышевского выделялся не только глубиной и тонкостью анализа психологического мастерства автора. Критик указывал также на такие «черты дарования», которые впоследствии отразились и в педагогических его начинаниях: «знание человеческого сердца», «чистоту нравственного чувства», сохранившуюся в Толстом «во всей юношеской непосредственности». «Только при этой непосредственной свежести сердца, — писал Чернышевский, — можно было рассказать “Детство” и “Отрочество” с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям» (III, 427, 428), где Толстой-художник обнаружил редкую способность «перенести нас в жизнь ребенка» (III, 429) — вывод, существенный для Толстого-педагога.

Недоверие Толстого к идеологическому направлению «Современника» не исключало его положительного отношения к некоторым публицистическим выступлениям Чернышевского. Например, в письме к Некрасову от 21 января 1858 г. статья «Кавеньяк» названа «хорошей» (60, 252). Вряд ли Толстой прошел мимо другой статьи — «Г. Чичерин как публицист» (1859), направленной против

человека и деятеля, с которым Толстой, несмотря на дружбу, нередко и остро спорил. Судя по педагогическим статьям Толстого, ему не могла импонировать осуждаемая и Чернышевским приверженность Чичерина к бюрократическому устройству и централизации как основным принципам государственного правления. По крайней мере, ни в одном из предшествовавших писем к Чичерину Толстой не высказывался столь резко, как в письме от 30 января 1860 г., где деятельность Чичерина названа «мелкой и ложной» (60, 327). И наоборот, «Современник», критикующий государственный бюрократический централизм, сможет, как думал Толстой, вполне оценить педагогические новации, основанные на противоположных государственным школам началах. Близки Толстому четко и последовательно отстаиваемые «Современником» демократические взгляды на народное образование и организацию народных школ. Так, во «Внутреннем обозрении» майского номера за 1861 г. провозглашалась необходимость постоянного, заинтересованного внимания к мужику, его заботам¹⁴.

Наконец Толстой обращался за отзывом к человеку, о двухлетней педагогической работе которого в Саратове и Петербурге он вполне мог знать.

Статья Чернышевского о «Ясной Поляне» напечатана в марте 1862 г. Она состоит из трех неравных частей. В первой и третьей — одобрительный отзыв об установленных Толстым в его школе порядках и о книжках для простонародного чтения. Во второй, большей по объему, — критический разбор педагогических воззрений Толстого. Таким образом, не с критики Чернышевский начинает и не критикой заканчивает статью. Тем самым сохранено, насколько это было возможно при теоретических разногласиях, уважение к редактору яснополянских изданий. Слово «уважение» принадлежит Чернышевскому (X, 505).

Из толстовской статьи «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Чернышевский сочувственно цитирует описание занятий, устроенных по принципу предоставления ученикам полной свободы. Уроков на дом не задают, выговоров не делают, дети «идут в школу с легким сердцем, без всяких тревог». Обращено внимание и на момент начала урока. Вспоминая собственные впечатления в бытность работы учителем, Чернышевский пишет: «В наших форменных училищах дети обыкновенно сторожат приход учителя и, завидев вдалеке своего наставника, торопливо рассаживаются по местам, принимают натянутый, чинный вид, — словом сказать, приучаются скрывать, лицемерить и подобострастничать. В яснополянской школе этого нет». Чернышевский выступает сторонни-

ком Толстого и в тех случаях, когда ученикам предоставлялась возможность покинуть школу до конца занятий — «так и следует быть во всех школах, где это может быть, — во всех первоначальных народных школах». Автор статьи не один раз с пониманием отзовется о «прекрасной методе» Толстого, о «живом понимании пользы предоставлять детям полную свободу», о неуклонной твердости основателя яснополянской школы в выполнении этого принципа (X, 503, 505, 510). И Толстой, и Чернышевский осуждали сложившиеся в государственных учебных заведениях порядки, призванные, как писал один из историков русской педагогики, «приготовить человека, проникнутого самой строгой субординацией <...> безответного перед начальством, без рассуждений исполняющего все его распоряжения»¹⁵.

Переходя к разбору теоретических статей толстовского журнала, Чернышевский помнит высказанную в предисловии к первому номеру просьбу издателя выражать мысли спокойным и безобидным тоном, говорить о сущности дела, не переводить разговор в желчное обсуждение, в насмешку, в личные нападки, в журнальную полемику. Однако критик сразу же предупреждает, что если бы не горячая преданность Толстого «добрым порядкам», существующим в его деревенской школе, он едва ли удержался бы «от колкостей» при чтении журнала. И тут же следует сравнение некоторых суждений Толстого с печально знаменитыми высказываниями В.И. Даля и И.С. Беллюстина. Как известно, оба протестовали против распространения грамотности среди крестьян, так как она, по мнению этих авторов, развращает их, превращает в тунеядцев. Уподобление непопулярным именам тем более бросалось в глаза, что в одной из публикаций, появившейся за месяц до статьи Чернышевского о «Ясной Поляне», утверждалось: «Нет больше людей, которые бы подобно гг. Далю или Беллюстину боялись грамотности для народа»¹⁶.

Насколько обоснованным было столь на первый взгляд неожиданное сближение имени Толстого с именами авторов всеми осужденных выступлений?

Критик фиксирует противоречивость утверждений, содержащихся в программной статье «Ясной Поляны»: с одной стороны, «народ хочет образования», с другой — «народ большею частью озлоблен против мысли о школе», «народ не хочет учиться грамоте»¹⁷. Случаи противодействия в народе заботам о его образовании или другим прогрессивным начинаниям, проводимым для его же пользы, возведены Толстым, поясняет Чернышевский, в общее положение, тогда как они не составляют «явления», «черты исторической

жизни». Напротив, русский мужик, как и любой человек, «какого бы там он звания ни был», всегда «расположен улучшать свое положение по всяким делам», и «он скорее склонен к образованию, чем упорен против него». Говорить о нежелании народа образовываться, справедливо полагает Чернышевский, означает уступку «противникам грамотности», а в конечном счете и противникам улучшения его быта вообще (X, 506, 508).

Существенным просчетом Толстого-теоретика критик посчитал несоотнесенность размышлений о народной грамотности и несостоятельности русской педагогической науки и практики с контекстом конкретной политической обстановки начала шестидесятых годов, когда реакционный нажим на демократическое движение в стране значительно усилился. Сказать об этом прямо Чернышевский в подцензурной статье не мог. Но самим подбором критических замечаний и упреков публицист «Современника» обнажил недостаточность демократической позиции яснополянского реформатора, не учитывающего политических нюансов своих заявлений. Именно отсюда вытекает сравнение Толстого с «противниками грамотности». Есть в его журнале «вещи, напоминающие о знаменитых статьях г. Даля и г. Беллюстина», — пишет Чернышевский (X, 505). И нет оснований для высказывавшихся в специальной научной литературе предположений, не опровергнутых и поныне, что жесткость этой части рецензии Чернышевского «трудно сейчас оправдать», что он «или усмотрел в статье Толстого выражение скептицизма в отношении педагогики, или он учел некоторые личные отношения Толстого к редакции “Современника”», но что во всяком случае «резкость отзыва о теоретической части статей Толстого имеет случайное происхождение»¹⁸.

Тот же смысл получает замечание о высказываниях Толстого против воскресных школ или, как выразился Чернышевский, «очень неосторожные колкости против людей, занимающихся преподаванием в воскресных школах» (X, 513). Действительно, критически обозревая деятельность существующих учебных заведений, Толстой решительно не приемлет не только учреждения государственные, но и получившие широкое распространение так называемые воскресные школы, устраиваемые демократической интеллигенцией по воскресным дням для простонародья. Он сам посетил некоторые из них в Петербурге, и, судя по его последующим печатным высказываниям, возражения вызвали и состав учителей (среди них было немало студентов), и система преподавания в целом.

Статьи в «Ясной Поляне» появились в пору, когда воскресные школы были объявлены правительством опасными в политиче-

ском отношении. Еще в 1860 г. шеф жандармов докладывал царю о воскресных школах, только начавших набирать силу: необходимо сразу же «предупредить всякую возможность уклонения к вредным началам», «правительство не может допустить, чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотворительности какого-либо отдельного сословия»¹⁹. Развитие движения шло под пристальным жандармским надзором, и в кризисный для самодержавия момент, возникший после провозглашения манифеста об освобождении крестьян от крепостного права и чреватый серьезными волнениями, воскресные школы, подобно другим общественным демократическим инициативам, подверглись гонениям. В июне 1862 г. были запрещены две самые крупные школы в Петербурге «на основании показаний о преподавании в них учения, направленного к потрясению народных верований, к распространению политических понятий о праве собственности и к возмущению против правительства»²⁰. Вскоре последовало закрытие вообще всех воскресных школ в России.

Выступления против воскресных школ воспринимались передовой журналистикой как пособничество политической реакции. Сотрудник «Современника» И. Пиотровский, намекая на правительственное давление, писал в конце 1861 г. о «неудовлетворительном направлении воскресных школ», принуждающем учителей-студентов уходить из них, и эта «живительная сила, что могла идти с пользою <...> погибает в борьбе с препятствиями. <...> Пусть не слово осуждения, а слово сострадания услышат от нас подобные люди»²¹. В статье «Народное образование во Франции» А.Н. Пыпин писал о характере «стеснительных мер» за рубежом, но параллель с действиями русского правительства напрашивалась сама собою: «Система очевидно направлена к тому, чтобы точно так же искоренить в народном образовании возможность живого политического развития, как искореняется она в литературе»²².

«Современник» заметно противостоял реакционной и либеральной журналистике, не жалевшей «слов осуждения» против воскресных школ и учителей. Причины «неуспеха» воскресных школ один из авторов «Библиотеки для чтения» видел не столько во «влиянии со стороны», когда «слишком ограничили деятельность преподавателей их», сколько в «самих деятелях»: «Слишком мало у нас людей, действительно желающих делать дело; большинство принимается за все только по моде, из желания пофрантить своим прогрессом, своим участием в деле общественной пользы»²³. «Воскресные наши школы падают, — падают не от того, что некого учить, а потому, что некому учить», — писал автор «Времени»²⁴,

не вдаваясь в рассмотрение подлинных причин нехватки учителей в них и тем самым заглушевывая политическую остроту проблемы. В статье, посвященной разбору первого номера «Ясной Поляны», И. Глебов, поддерживая издателя, восклицал: «Как же ошибались те, которые хотели было ввести в воскресные школы чтение “Рассказов из народного быта” Марка Вовчка», т.е. демократической, антикрепостнической прозы²⁵.

Высказывания Толстого объективно оказывались в том же контексте осуждения воскресных школ. Говоря о «неосторожных колкостях» редактора «Ясной Поляны» по отношению к учителям воскресных школ, Чернышевский имел в виду следующее место из второй книжки журнала: «Люди, для забавы занимающиеся школами грамотности, гораздо лучше сделают, переменяв это занятие на более интересное, ибо дело народного образования, заключающееся не в одной грамотности, представляется делом не только трудным но и необходимо требующим непосредственного упорного труда и изучение народа». А на предыдущей странице Толстой согласился с мнением, будто «для народа вредно иметь возможность читать книги и журналы, которые спекуляция и политические партии кладут ему под руку»²⁶. Толстой сознательно отделял педагогическую работу от какого бы то ни было вмешательства. Чернышевский же настойчиво подчеркивал общественно значимые аспекты существования воскресных школ. «Каковы бы там ни были люди, — убеждал Чернышевский Толстого, — умны ли они по-вашему или глупы, но они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы поднимете на них руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди». «Колкостью» против учителей-воскресников названо и утверждение, будто «пономари учат лучше их» (X, 513, 514).

Особое звучание приобретала тема религиозного образования. По мысли редактора яснополянских изданий, религия обеспечивает нравственное воздействие на сознание учащихся. Объективно Толстой имел основания для таких заявлений. Но по соображениям цензурного характера Чернышевский, скептически оценивавший эту сторону убеждений Толстого, его высказывания не комментирует, ограничившись выпиской из его статьи, содержащей слова о «насилии», которого критик принять не мог: «Образование, имеющее свою основу религию, то есть божественное откровение, в истинности и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, и насилие в этом случае законно» (X, 511).

Чернышевский показал уязвимость иных теоретизирований «Ясной Поляны». Например, педагогические системы Руссо и Пе-

сталоцци объявлялись Толстым «ни на чем не основанными», а их авторы названы «глупцами». Решительно отвергнуты уверения, будто «чем дальше двигалось человечество, тем невозможнее становилась... критериум педагогики», «то есть знание того, чему и как должно учить». Один из тезисов вызвал особо резкое замечание. «Основанием нашей деятельности, — писал Толстой, — служит убеждение, что мы не только не знаем, но и не можем знать того, в чем должно состоять образование народа, что не только не существует никакой науки образования и воспитания — педагогики, но что первое основание ее еще не положено, что определение педагогики и ее цели в философском смысле невозможно, бесполезно и вредно». «Если не знаете, — пояснял Чернышевский, — то нельзя еще вам быть основателями школ, наставниками в них, издателями педагогических журналов, вам надобно еще учиться самим, — отправляйтесь в университет, там узнаете» (X, 512). Слова, без сомнения, обидные. Но и у Чернышевского были основания произнести их. На излишнюю категоричность Толстого в неприятии педагогической науки обратили внимание и другие рецензенты²⁷. В журналах Толстой стал упоминаться не иначе как «известный наш отрицатель теоретической педагогики»²⁸.

Завершая разбор теоретической позиции «Ясной Поляны», Чернышевский пояснял, что редакцией «Ясной Поляны» наговорено «и хорошее, и дурное». И сосредоточившись на жесткой критике, автор отзыва говорил «неприятную ей правду собственно из желания, чтобы она увидела опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которых не замечала прежде».

«Недостаток убеждений, недостаток сознания о том, что нужно народу, что полезно и что вредно для него», сказались и в изложении содержания некоторых сюжетов в книжках для простонародного чтения, издающихся при «Ясной Поляне». И все же эти книжки — «лучшая часть Ясной Поляны», «язык рассказов очень хорош» (X, 515 — 517).

Принимаясь за педагогическую деятельность, Толстой ожидал, что на него, как он выразился в письме к В.П. Боткину от 26 января 1862 г., «подыметесь гвалт страшный» (60, 414). Однако уже в апреле сетовал в письме к М.Н. Каткову: «Журнал мой совсем не идет и до сих пор о нем не было ни одного слова в литературе. Такими [замалчиваниями] не бывает встречена ни одна поваренная книга» (60, 422). Затем газеты и журналы с откликами стали приходить, и Толстой в неопубликованной заметке, впоследствии условно названной исследователями «Ответ критикам», выделил «Современник» с пояснением: «Упомянуть о критике “Современника” я

считаю недостойным себя, что для меня тем более счастливо, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни одной мысли, а только неприличные отзывы» (8, 426). Печатно же он отозвался в статье «Воспитание и образование», опубликованной в седьмой (сентябрьской) книжке «Ясной Поляны». Статья «Современника» здесь отнесена к «личному и недоброжелательному пустословию». «Я, — писал Толстой, — прошу от критики не голословных отрицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию, я прошу только или презрительного молчания, или добросовестного опровержения всех моих основных положений и выводов»²⁹. Почти в тон Толстому выразился и один из журналистов, имевший в виду также статью Чернышевского: «Ясная Поляна» «не вызвала в наших журналах ни одной серьезной и дельной статьи»³⁰.

Итак, Толстой склонен был свести критический пафос статьи Чернышевского к «личной антипатии». Разногласия шестилетней давности вновь всколыхнули память Толстого, передали его теперешним суждениям свою былую остроту, осложнявшую их прежние личные отношения. Аргументация Чернышевского даже не рассматривается, она отвергается вся, без разбору. Однако по существу своих идейных расхождений с «Современником» Толстой все же высказался. По-прежнему настаивая на полной независимости образования от воспитания («суть два различных понятия»), Толстой вновь обрушивается на гимназии и университеты, навязывающие, по его мнению, своим питомцам тенденциозно организованные знания. «Для меня, — читаем в его новой статье, — одинаково возмутительны гимназия со своей латынью и профессор университета со своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни студент не имеют свободы выбора»³¹. По уверению Толстого, составляемая студенческим кружком программа мало разнообразна в последнее время, «большую часть она состоит в следующем: чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревских³² и т.п.; кроме того чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т.п. Главное же занятие — чтение запрещенных книг и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарёв. Переписывается все не по достоинству, но по степени запрещения»³³. Для того Толстой и отделял образование от воспитания, чтобы увести собственно педагогические проблемы от идеологических, политических воздействий.

Мартовской статьёй 1862 г. полемика «Современника» с «Ясной Полянкой» не ограничилась. Чернышевский отвечать не мог, он находился под арестом, спор продолжили сотрудники «Современника» А. Слепцов и А. Пыпин.

В «Педагогических беседах» Слепцов обосновывает неразрывность образования и воспитания, опровергает утверждение, будто «опека семьи, религии, правительства естественна, потому простительна, а опека общества неестественна, потому возмутительна», доказывает неизбежность общественного воздействия на учащегося — «это та же сила, которую “Ясная Поляна” защищала в одних направлениях — и, не узнав, карала в других»³⁴.

Основу статьи Пыпина «Наши толки о народном воспитании» составила система высказываний в мартовской статье Чернышевского. Он так и пишет: «“Современник” только убеждается в том, что им было сказано прежде». Пыпин возразил Толстому, увидевшему в статье Чернышевского личное недоброжелательство. «Мы, — убеждал он, — можем положительно уверить его, что для этого “Современник” не имеет решительно никаких оснований». Разумеется, не оставлен выпад против «статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревских», трудов Льюиса, Бокля, Молешотта. «Молодежь, — говорит Пыпин, — сама доискивается того, что всего более соответствует ее понятиям и что кажется умнее и полезнее разных обскурантских иеремиад. <...> Ваши иеремиады, — обращается он к Толстому, — должны принять более обширный характер: оплакивайте испорченность века и соедините свой голос с голосом “Домашней беседы”»³⁵. Увы, Толстой в данном случае сам дал повод для подобного сближения с реакционным журналом.

Особый разговор Пыпин повел на тему «гражданской осторожности». Он заметил, что книжка «Ясной Поляны» со статьёй «Воспитание и образование» вышла в свет в сентябре (цензурное разрешение 20 сентября), и «графу Толстому были без сомнения известны разные события, происшедшие до этого времени в русской литературе. Он не обратил на это никакого внимания: в своих филиппиках он продолжал нападать на некоторых своих противников, не имевших возможности отвечать ему»³⁶. Пыпин, конечно, имел в виду Чернышевского, арестованного в июле.

На первый взгляд, указание Пыпина основательно. В действительности же его упрек не достигает цели. Под статьёй Толстого дата — 2 июля 1862 г., все остальное время — это, вероятно, время прохождения журнального номера через цензуру. Таким образом, «филиппики» против Чернышевского трудно квалифицировать как забвение «гражданской осторожности». Другое дело, что эти упоминания

нения велись с позиций, близких выступлениям «Домашней беседы», и в обстановке торжества реакционеров по поводу ареста Чернышевского они приобретали едва ли не зловещий смысл. Можно предположить также, что Толстой проставил дату под статьей после ареста Чернышевского: ведь свои статьи в «Ясной Поляне» он обычно не датировал. В таком случае он как бы намеренно позаботился о вещах, названных Пыпиным «гражданской осторожностью».

Об аресте Чернышевского Толстой знал. Так думать позволяют строки из его письма к графине А.А. Толстой от 22–23 июля 1862 г.: «Хороши ваши друзья! Ведь все Потаповы, Долгорукие и Аракчеевы и равелины — это все ваши друзья» (60, 428). Заключение в Алексеевский рavelин Чернышевского и других деятелей Толстой явно не одобрял. Он мог расходиться с Чернышевским идейно, но сторонником политических репрессий не был никогда. Толстой сам на себе испытал бесцеремонность и наглость руководителей жандармов Долгорукова и Потапова, когда в Ясной Поляне в его отсутствие 6–7 июля был произведен обыск, а министр внутренних дел внушал министру народного просвещения в октябре того же года, что журнал «Ясная Поляна», резко высказывавшийся против политики государства в области образования, «нередко распространяет такие идеи, которые, независимо от их неправильности, по самому направлению своему оказываются вредными»³⁷. Перед лицом официоза «вредными» оказывались и Чернышевский, и его идейный оппонент Толстой.

Мнение министра в известной мере было подготовлено услужливой журналистикой. Так, один из критиков толстовской статьи «Воспитание и образование» писал в специальном педагогическом журнале: «...Педагог-реформатор гр. Л. Толстой глумится над тем, что наши студенты веруют в Чернышевского и комп., а между тем сам с заимствованною от г. Чернышевского легкомысленностью отзывается о науке и ее представителях. Разве здесь не очевидна следующая пропорция: г. Чернышевский отзывается о Токвиле как граф Толстой о Дистервеге». «Ясная Поляна» аттестуется псевдопедагогическим журналом, Толстой — «радикальным автором», — «вот куда парадоксомания увлекла уже не ясную, а сильно помраченную Поляну»³⁸. Другой сотрудник того же журнала в статье «Наши педагогические дела в минувшем году» попытался связать «ультра-радикала» Толстого с «нашими лихачами — передовыми людьми», увлекавшими молодежь «утопиями», «какими-то незаконченными идеями», «туманными стремлениями»³⁹.

Такое нарочитое смещение двух различных идейных тенденций, обусловивших позиции Чернышевского и Толстого, позволило про-

тивникам «Современника» и «Ясной Поляны» оправдать реакционную трактовку общественной жизни начала шестидесятых годов и тем самым обосновать продолжение карательных действий правительства против «лихачей».

Эпизод 1862 г. оставил след во взаимных оценках Толстого и Чернышевского. Отложившийся в памяти Толстого неприятный осадок, несомненно, повлиял на его последующую полемику с автором «Что делать?». Чернышевский же, как это видно из его позднейших высказываний, продолжал скептически относиться к писателю и его убеждениям.

Вместе с тем факт выступления Чернышевского по поводу яснополянских изданий вошел заметной страницей и в его биографию, и в историю русской литературы, и в историю отечественной педагогики. Идейные расхождения между Чернышевским и Толстым по общественно-литературным проблемам не помешали их близости в понимании собственно педагогических вопросов, связанных, в частности, с устройством народных школ для крестьянских детей. Обоим присущ демократизм, глубокое уважение к человеческой личности, любовь к детям, понимание важности активных действий в поддержку народного образования в России.

Рецензия Чернышевского на «Ясную Поляну» прошла через цензуру довольно спокойно. Зато другие публикации того же номера «Современника» вызвали сильнейшие цензурные атаки. Статью «Письма без адреса» цензор Ф.П. Еленев перечеркнул целиком. Придирчиво рассматривались статьи, посвященные задуманным правительством цензурным преобразованиям. Заменяв Главное управление цензуры комиссией по делам книгопечатания, император возложил верховное цензурное наблюдение на Министерство внутренних дел, а за Министерством народного просвещения оставил исполнение общей цензуры. Председателю комиссии Д.А. Оболенскому предоставили право «приглашать к участию в занятиях гг. литераторов и редакторов периодических изданий», и вопросы, «по коим признано будет полезным знать подробно разные мнения гг. писателей», разрешено предлагать на обсуждение в журналах, дабы «приготовить общественное мнение к правильному разумению силы и значения новой системы законодательства о книгопечатании»⁴⁰. Опубликованные в мартовской книжке «Современника» материалы связаны именно с этими разрешениями и обращениями. Однако стражи печати нашли в них «цензурные упущения», и 30 апреля 1862 г. министр внутренних дел направил секретное предписание за № 52 министру народного просвещения с подробным разбором связанных по содержанию статей Н.Л. Тиблена

«По делу о преобразовании цензуры (Письмо в редакцию)», Чернышевского «Французские законы по делам книгопечатания» и П.П. Пекарского «Журналистика во Франции во время консульства и империи». В первой статье внимание цензурных церберов задержалось на рассуждении «об освобождении от всякой ответственности авторов по довольно странному предположению, — пишет Валув, — что они во время сочинения логической последовательностью мысли могут быть увлечены за пределы, указанные распоряжением правительства». Цензором уловлено не самое главное из аргументации Тиблена, но суть дела изложена верно: автор вел к мысли о предоставлении печати полной свободы. О статье Чернышевского читаем: «...После чрезвычайно натянутой попытки доказать, что книгопечатание, как и всякое другое ремесло, может вообще обойтись без специальных законов и управляться одними общими, автор находит, что для государств, где эта специальность признавалась бы нужною, французское законодательство представляет самый полный пример». Затем, указывая цензор, в статье цитируются тексты важнейших постановлений во Франции о печати с 1814 г. и составляется «ряд комментариев, довольно искусно подобранных к основной мысли автора, заключающейся в том, что каждому из различных правлений Франции (кроме Республики, когда не было цензуры) общественное мнение было противно, что к каждому из них большинство народа питало враждебное чувство и что поэтому каждое имело необходимость стеснять все более и более выражение общественной мысли. Прийдя к этому общему выводу, — писал цензор, — автор оправдывается, что не будет разбирать теперь вопрос, до какой степени нужны были бы у нас специальные законы по делам печати, и оканчивает так: мы опасаемся, что добросовестное исследование привело бы к ответу: да, они нужны». Разбор статьи Чернышевского завершается достаточно пронизательным замечанием: «По соображении этого с предыдущим заключение вытекает само собою, и ответ на вопрос, почему автор так думает, очень прост, именно, что цензура нужна у нас для того, чтобы не давать высказываться общественному мнению, неблагоприятному будто бы для правительства».

В статье Пекарского «подробно и в резких чертах, — продолжал Валув, — описаны меры, которые принимал Наполеон I к подавлению всякого выражения общественной мысли, высказана безуспешность этих мер и пагубные их последствия для него же самого».

Все три статьи, заключал министр, «взаимно объясняются и дополняются», «сопоставление их в одном номере не есть дело случайности». Изложенные в них факты французской истории «весьма

близко подходят к современным обстоятельствам России», и они возбуждают в читателе «чувства неудовольствия и дух порицания прямо противу наших правительственных действий», «если не выражения, то мысль и направление означенных статей противны ныне действующим цензурным постановлениям».

Министр народного просвещения приказал напечатать текст валуевского документа и сообщить его «гг. цензорам к руководству и прочесть оное гг. редакторам журналов и газет». Эта своеобразная «публикация» состоялась 9 мая 1862 г.⁴¹ Факт примечательный! Власти сознательно фиксировали особое положение «Современника» среди других периодических изданий и таким образом санкционировали дальнейшие нападения прессы на журнал Некрасова и Чернышевского. Мы наблюдаем один из моментов сращения власти и большинства периодических изданий, призванных выражать общественное мнение. В этих условиях Чернышевский лишился возможности какой-либо поддержки собратьев по перу. Год назад он еще мог организовать хотя бы подобие коалиции журналистов перед лицом общего противника — цензуры. Теперь даже такое совместное выступление оказывалось нереальным. В борьбе с передовой журналистикой власти набирались опыта, и акция 9 мая 1862 г. — яркое тому подтверждение.

Исподволь подготавливаемая расправа с «Современником» получала благодаря продуманным усилиям властей поддержку большинства представителей печати, участвующих в формировании определенной части общественного мнения. Обосновывая необходимость замены цензуры предупредительной на цензуру карательную, А.В. Головнин докладывал в Совете министров 26 февраля 1862 г. (Александру II представлено 1 марта): «...Теперь самое время, когда правительству следует избрать целую систему мер в отношении к литературе с целью не только сделать ее безвредною в настоящем, но дабы дать ей по возможности направление, соответствующее видам правительства и извлечь из нее пользу как из сильного орудия народного просвещения для распространения здравых понятий, а не вредных учений и дабы в то же время мерами, слишком строгими, не обратить ее в учреждение правительственное, а ее деятелей в правительственных агентов, но оставить выражением мыслей и желаний, существующих в обществе, лишив только лиц злонамеренных возможности употреблять печатное слово как орудие для нанесения вреда и государственному устройству, и частным лицам»⁴². К «лицам злонамеренным», конечно, отнесены прежде всего сотрудники «Современника» и в первую очередь Чернышевский, имя которого вплоть до ареста не сходит со стра-

ниц многочисленных цензурно-ревизионных обзоров. К «частным лицам» отнесены члены императорской фамилии и деятели, выражающие официоз (этот момент особо оговорен в новом цензурном постановлении)⁴³.

К числу запрещенных цензурой статей Чернышевского принадлежит еще одна — «Русское разномыслие». Текст ее пока неизвестен. Упоминание о статье находится в официальном письме председателя Петербургского цензурного комитета к министру народного просвещения: «Имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что статья “Русское разномыслие” написана для “Современника” одним из его сотрудников магистром русской словесности Н.Г. Чернышевским»⁴⁴. Письмо следует датировать, судя по соседним документам, мартом 1862 г. Следовательно, статья предназначалась для мартовской или апрельской книжек «Современника». Сомневаться в принадлежности статьи Чернышевскому трудно, так как редакция любого издания всегда по требованию цензурного ведомства сообщала подлинные имена своих авторов.

Последняя публикация Чернышевского до приостановки «Современника» — статья «Научились ли?», опубликованная в апрельской книжке журнала за 1862 г. Этот номер вышел в свет 16 мая, в день первого пожара, перешедшего в известные майские петербургские пожарища, которым сопутствовали политические репрессии и арест Чернышевского.

Примечания

- ¹ Письмо впервые опубликовано еще при жизни Толстого. См.: *Суходрев Вс.* Выставка в честь Л.Н. Толстого // Новое время. 1909. 15 (28) марта. № 11856. С. 5. Ответ Чернышевского неизвестен.
- ² В скобках здесь и далее указываются арабскими цифрами том и страницы издания: *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928—1958 (Юбилейное изд.).
- ³ Век. 1861. № 32. С. 970.
- ⁴ ЛН. Т. 37—38. С. 196.
- ⁵ Письма Толстого и к Толстому. М., 1928. С. 285.
- ⁶ Там же. С. 296.
- ⁷ Современник. 1861. № 8. Отд. II. С. 343—345.
- ⁸ См.: *Ашевский С.* «Ясная Поляна» Л.Н. Толстого в критике 60-х годов // Русская школа. 1913. № 10. С. 2.
- ⁹ См.: Научная биография (1853—1858), раздел «“Обязательное приглашение” 1857 года».

- ¹⁰ *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1965–1977. Т. 18. Кн. 1. С. 227.
- ¹¹ См.: Яснополянский сборник. Тула, 1988. С. 19–31.
- ¹² *Краснов Г.В.* К расколу редакции «Современника» в 50-е годы XIX в. // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 122.
- ¹³ *Время.* 1862. № 1. Отд. II. С. 6.
- ¹⁴ *Современник.* 1861. № 5. Отд. II. С. 123.
- ¹⁵ *Стоюнин В.* Наша семья и ее исторические судьбы // Вестник Европы. 1884. № 2. С. 485.
- ¹⁶ Библиотека для чтения. 1862. № 2. Отд. III. С. 5.
- ¹⁷ *Ясная Поляна.* 1862. № 1. С. 8; № 2. С. 9.
- ¹⁸ *Струминский В.Я.* Л.Н. Толстой в истории русской педагогики // Советская педагогика. 1940. № 11–12. С. 115. См. также: *Астафьева Е.Н.* Рецензия Н.Г. Чернышевского на журнал «Ясная Поляна» Л.Н. Толстого // Педагогическое наследие человечества: В 2 т. / Под ред. Г.Б. Корнетова. М., 2013. Т. 2. С. 17–22.
- ¹⁹ Цит. по кн.: *Константинов Н.А., Струминский В.Я.* Очерки по истории начального образования в России. М., 1949. С. 104.
- ²⁰ *Современная летопись.* 1862. Июнь. № 23. С. 17.
- ²¹ *Современник.* 1861. № 9. Отд. II. С. 8–9.
- ²² *Современник.* 1862. № 2. Отд. I. С. 599.
- ²³ Библиотека для чтения. 1862. № 2. Отд. III. С. 3.
- ²⁴ *Время.* 1862. № 3. С. 201.
- ²⁵ *Воспитание: Журнал для родителей и наставников.* СПб., 1862. № 4. Отд. II. С. 157.
- ²⁶ *Ясная Поляна.* 1862. № 2. С. 11, 12.
- ²⁷ См.: *Северная почта.* 1862. № 188. С. 753; *Русский вестник.* 1862. № 5. С. 151; *СПб. ведомости.* 1862. 5 июля. № 144. С. 631.
- ²⁸ *Искра.* 1862. 24 августа. № 32. С. 418.
- ²⁹ *Ясная Поляна.* 1862. № 7. С. 5.
- ³⁰ *Светоч.* 1862. № 7. С. 581.
- ³¹ Там же. С. 7, 12.
- ³² Позволим себе небольшое текстологическое уточнение. В Юбилейном издании сочинений Л.Н. Толстого (8, 558) и во всех последующих воспроизведениях текста (напр.: *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1981–1984. Т. XVI. С. 51) последняя часть фразы печатается иначе: «...статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых». В результате поправки выходит, что Толстой говорит о множестве авторов, подобных перечисленным писателям. Между тем в первопечатной редакции фраза имеет в виду статьи, принадлежавшие Чернышевскому («Чернышевских»),

Антоновичу («Антоновичей»), Писареву («Писаревских»). На наш взгляд, эту часть фразы следует впредь воспроизводить по тексту «Ясной Поляны».

³³ Ясная Поляна. 1862. № 7. С. 29.

³⁴ Современник. 1863. № 1–2. Отд. I. С. 300–301.

³⁵ Там же. С. 21, 44.

³⁶ Там же. С. 46.

³⁷ *Спиридонов В.С.* Л.Н. Толстой на суде цензуры и критики шестидесятых годов // Учен. зап. Ленинград. пед. ин-та. 1940. Т. IV. Вып. 2. С. 103–118.

³⁸ Воспитание. 1862. № 12. С. 169, 174.

³⁹ Там же. 1863. № 1. Отд. I. С. 4, 5.

⁴⁰ СПб. ведомости. 1862. 13 марта. № 55. С. 243.

⁴¹ РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 96. Л. 1–13.

⁴² Там же. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 5977. Л. 4 об.

⁴³ См.: СПб. ведомости. 1862. 13 марта. № 55. С. 243.

⁴⁴ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 87а. Л. 9; *Гаркави А.М.* Н.Г. Чернышевский и царская цензура // Учен. зап. Калинингр. пед. ин-та 1956. Вып. 2. С. 23–24. Н.М. Чернышевская со ссылкой на В.Э. Богграда отрицает это авторство, приписывая его Н.В. Шелгунову: Чернышевский. Вып. 2 (1961). С. 216.

11. Майские пожары. Разгул репрессий

Пожары на Руси давно стали явлением привычным. В 1859 г., например, в столице произошли «два огромных пожара. <...> Один очистил Пески – от Летней Конной до Зимней, другой начался в Апраксином переулке и пробирался к Апраксиному двору и Толкучему рынку». Далее сообщалось, что «уже несколько лет сряду все толкуют о поджогах, о целом обществе поджигателей, полиция следит, высматривает, ловит». Однако, уточняет автор, «едва ли все пожары или большая часть их происходят от поджогов, нужно оставить что-нибудь и на долю нашей русской неосторожности. <...> Гораздо справедливее будет упрекнуть домохозяев, застраховавших свои имущества и смотрящих сквозь пальцы на дворников и жильцов». С горечью отмечалось: слишком мало для большого города пожарных, следовало бы удвоить число бочек с водой, разделить части города на соответствующие отделения¹. «Толкуют о поджигателях, – писал другой журналист, – но не видно, чтоб их ловили и предавали заслуженной каре; правда, хватали там каких-то шарман-

щиков, комедиантов и уличных мальчишек с спичками и другими горючими снарядами; писали даже о составах <...> но, как видно, и это оказалось не заслуживающим особенного внимания, а между тем пожары продолжают и зарево их обнимает всю Россию»².

В следующем году вспыхнул страшный пожар в беднейшей части Петербурга — на Охте, уничтожены целые улицы, «девяносто домов сгорело»³. Узнав из газет о саратовских пожарах, Чернышевский писал отцу 16 августа 1860 г.: «У нас в начале августа также были многочисленные пожары, тем более странные, что погода в это время стояла уже дождливая» (XIV, 403). Причины усматривали в «дурной постройке печей, в неосмотрительности при курении, в русском “кое-как, как-нибудь, авось”»⁴. Пожары «ныне сделались до того обыкновенны, что уже перестали быть любимым зрелищем неразумной толпы»⁵.

Лето 1861 г. прошло не менее тревожно. Редкий номер газеты выходил без извещения об очередных пожарах, но никто из авторов не давал ходу слухам о злостных поджигателях, справедливо связывая основную причину бедствий с недосмотрами и разного рода неустроенностями. Пожалуй, одна лишь газета Н.Ф. Павлова категорично уверяла, что пожары, пронесшиеся по Москве и губернии, имели «обычный у нас характер: они происходили от поджогов»⁶. Пока подобное заключение, очевидное по своей нелепости, но имеющее тенденцию намекнуть на возможную связь пожаров с осложнившейся в стране после отмены крепостного права политической обстановкой, не находило поддержки. Однако менее чем через год глухие намеки «Нашего времени» приобретут характер открытых политических обвинений. Пожары мая — июня 1862 г., особо и специально истолкованные, ознаменуют победное наступление реакционных сил на демократическое движение.

В Петербурге первый пожар начался 16 мая в Каретной части на Лиговке. Через день горел дом на Почтамтской улице, еще через три дня пожар превратил в пепел 25 домов со службами и затем перекинулся на длинную линию домов левой стороны Лиговки⁷. Никаких указаний на поджигателей первые газетные сообщения не содержали. Один из журналистов сообщал, что ежегодно пожары в столице большею частью случаются в одних и тех же местах и возникают вследствие «врожденной русской беспечности», «кажется пора бы, чтобы жители обращались поосторожнее с огнем»⁸. Рассказывалось, как в тушении пяти или шести одновременных пожаров 23 мая участвовали вместе с людьми простого звания и представители имущего класса: «...офицеры всевозможных родов войск, кадеты различных корпусов, студенты, гимназисты, лица в модных

пальто и сюртуках — все это работало, как могло и как умело». Такого рода соучастие явилось для автора заметки лучшим показателем «сближения с народом», о котором «много говорят»⁹.

28 мая пожары достигли особой силы. В этот день сгорели Апраксин и Щукин дворы, состоявшие из нескольких сотен ветхих деревянных лавок, вся площадь между Садовой, Апраксиным переулком, Фонтанкой, Чернышевым переулком. Пламя быстро перенеслось на другую сторону Фонтанки, охватило Громовский лесной двор, а за ним всю массу домов между Чернышевым и Щербаковым переулками. «Петербург представлял картину города, спасающегося от нашествия неприятеля»¹⁰. Пожарище посетил Александр II со свитой.

Смятение было почти всеобщим. Как выразился один из современников, многих охватило «тяжелое облако страха перед неизвестностью»¹¹. Обстановка еще более накалилась, когда во время пожаров появилась прокламация «Молодая Россия» с ее кровавыми призывами к уничтожению правящей части дворянского сословия. Тогда-то, сколько можно судить по сохранившимся источникам, и получили распространение слухи, что пожары не случайны, что есть поджигатели и что эти поджигатели — студенты и сочинители прокламаций, литераторы. Трудно установить с исчерпывающей исторической достоверностью источник возникновения слухов, но повсеместно и единодушно указывали на народ. По свидетельству одного из очевидцев, «масса народа, окружавшая пожар, кричала, что поджигают студенты, и если бы не полиция, то один из них, явившийся на пожар, был бы непременно брошен в огонь»¹². Другой современник вспоминал: «Взволнованный народ сначала утверждал, что поджигают поляки, а затем была пущена молва о том, что это дело студентов. Такое гнусное подозрение быстро распространилось среди городской черни, как известно, весьма восприимчивой ко всяким нелепым слухам вообще, а в особенности в столь тревожное время. Недавно происходившие студенческие беспорядки, очевидцем которых народ был на улицах Петербурга, конечно, немало способствовали дикой уверенности, что именно студенты и есть поджигатели»¹³. В этом свидетельстве останавливает внимание заявление, что народ вовсе не сам пришел к мысли о виновности студентов, а подхватил кем-то «пущенную молву». Изучение периодической печати 1862 г. подтверждает это очень важное обстоятельство. Так, «Современное слово» Н.Писаревского, явно выделявшееся из массы просмотренной периодики, прямо указывало: «Народу бросили мысль — и кто же — газеты, что поджигали лица, подбрасывавшие листки», «едва ли до того времени, как

стали газеты находить солидарность между пожарами и прокламациями, народ и знал о последних. О них действительно говорили, но большею частью весьма ограниченный круг людей». Причину столь разрушительных пожаров автор видит «не столько в поджогах, сколько в образе самой постройки» сгоревших домов¹⁴.

По газетам можно проследить, как именно читателям внушалась, хотя поначалу и с оговорками, мысль о студентах-поджигателях. Так, уже 30 мая, в самый разгар страстей, возбужденных пожарами и прокламацией «Молодая Россия», одна из популярных газет предупредительно заявляла, что не вправе судить о слухах в народе. «Но как бы то ни было, — продолжала газета, все же эти слухи не отрицающая, — если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они нисколько не представляются нам опасными для России...»¹⁵ Там где одна газета ограничивалась полупризнаниями, другая уже не сдерживала себя в выводах и рекомендациях. «Не припутает ли» народ к поджигателям, в существовании которых уверен, «многих других под каким-нибудь общим названием? — обращалась газета к читателям, ловко подсказывая и ответ, — не покажется ли ему виноватым и перо, которое пишет, и книга, которая читается, и человек, который учится?»¹⁶ Для этой газеты «подметные письма, тайные сочинения, точно так же, как и поджоги» — явления взаимосвязанные, подчиненные «непостижимым законам эпидемий», под которыми подразумевались, конечно, революционные события¹⁷.

Подобные публикации, несомненно, были на руку властям. Какую-то попытку объективности пытался было сохранить министр народного просвещения А.В. Головнин, но поддержки в правительстве он не получил. В письме к А.А. Суворову от 30 мая 1862 г. министр писал: «Вашей Светлости известно, что в народе, встревоженном нынешними пожарами, ходят слухи, будто причиной этого несчастья здешние студенты. Слухи эти до того усилились, что положение сих молодых людей становится опасным и многие из них просят защиты правительства. Известно, что в год первой холеры разъяренная чернь бросилась на докторов и видела отравителя в каждом, у кого находила склянку с лекарствами. Посему для предупреждения несчастных случаев и успокоения народа я признавал бы необходимым сделать в газетах публикацию, в которой сказать, что правительство принимает все необходимые меры, что арестовано большое число лиц и что в числе заподозренных нет студентов, что обвинение, которое распускается против них в поджоге, несправедливо, о чем считаю долгом сообщить на Ваше благоусмотрение». В конце письма другою рукою приписана фра-

за, вероятно, под диктовку: «Мне казалось бы, что всего приличнее сделать подобную публикацию в “Северной пчеле”»¹⁸. Ответ Суворова неизвестен. Но письмо такого же содержания Головнин направил министру внутренних дел Валуеву, и тот не нашел возможным «издать публикацию», поскольку, по слухам, которые, возможно, «преднамеренно распускаются в народе», поджигают не только студенты, но и крестьяне, «будто бы недовольные положениями 19 февраля», и помещики, «на том же основании»; к тому же, замечал Валуев, в публикации «нельзя было бы сказать, что арестовано большое число лиц и что ни между арестованными, ни между заподозренными нет студентов»¹⁹.

Статья в «Северной пчеле» не появилась. Зато 1 июня было опубликовано «Объявление Петербургского военного генерал-губернатора по Высочайшему повелению», согласно которому учреждалась специальная комиссия по расследованию поджогов. Пятый пункт этого документа гласил: «Всех, кои могли бы быть взяты с поджигательными снарядами и веществами или по подозрению в поджигательстве, равно подстрекателей к беспорядкам судить военным судом в 24 часа»²⁰. В момент появления прокламации «Молодая Россия» и некоторых других подпольных листов весьма характерно подобное юридическое неразличение понятия «подстрекатели к беспорядкам», под которыми теперь равно подразумевались и уголовные элементы, и политические деятели. Получалось, что, уравнивая «подстрекателей к беспорядкам» с поджигателями, высшие власти официально подкрепили слухи об умышленных поджогах. Именно так «Объявление» и было истолковано некоторыми газетами, получившими теперь возможность использовать официальный документ в походе против передового движения. В очередной статье «Нашего времени» о пожарах читаем: «Народный говор приписывает страшное событие преднамеренности, умыслу. Последние распоряжения правительства дают чувствовать, что есть действительные основания для подозрения, а совпадение пожаров с одним из самых отвратительных произведений подземной литературы, о котором мы недавно говорили, служит для массы общества, как свидетельствуют и органы петербургской журналистики, указанием на среду, где скрывается источник неописанных страданий петербургского населения»²¹. Раздававшиеся благоразумные призывы к «пресечению различных слухов, возбуждающих неудовольствие народа»²², оставались единичными и беспомощными. Автор «Писем Петербургского старожила», в тот год регулярно печатавшихся в московской газете, сообщал, что «на этот раз народ в домах и на улицах открыто и единогласно толкует о какой-то правильно организо-

ванной, многочисленной шайке поджигателей, имеющей связь с последнею гнусною прокламациею неизвестного автора». «Я сам видел, — уверял он, — как на одном из пожаров задержали трех человек, из которых двое были в штатских сюртуках, а один в мужицкой рубашке»²³. «Во всех сословиях обвиняют в поджогах политических деятелей — уверенность в том общая»²⁴ — эта фраза могла бы стать эпиграфом для всей охранительной прессы.

Архивы сохранили важные документы, свидетельствующие о попытке правительства Александра II юридически доказать виновность студентов в пожарах и тем самым придать толкам и слухам силу законного обвинения. Удерживал же министр внутренних дел, отвечая на письмо Головнина от 30 мая 1862 г., публикацию о невинности студентов.

Еще в 1932 г. профессор С.А. Рейсер опубликовал материалы одного из «Дел» Министерства внутренних дел «О принятии мер по случаю пожара в Санкт-Петербурге». По «Делу» проходило 37 арестованных, и почти всех пришлось отпустить. В поджигательстве оказались обвиненными лишь три человека — лавочник Киселев, кронштадтский мещанин Петров и учитель Лужского уездного училища Викторов. Лавочник поджег товар ради получения страховой суммы. Петров, занимавшийся попрошайничеством, попал в руки городского после того, как на дороге, по которой он, будучи прогнанным, бежал, обнаружили рассыпанный порох, но так и не доказали, что порох принадлежал ему. Викторов совершил 2 июня 1862 г. три поджога — в дровяном складе, у себя дома и в квартире смотрителя, куда был отведен. Все свидетели единодушно признали его невменяемым. Однако при обыске у него нашли несколько номеров «Колокола», «Великорусса» и прокламации «Исполин просыпается», полученные им от Альбертини и студента Баллода. Эти «улики» и послужили основанием для попытки превращения обвинения в политическое дело. Следователь полковник Квитницкий, как объяснял подследственный в жалобе на него, «стараясь всеми силами привести его к сознанию в умышленном совершении преступления, убеждал, что он сделал поджог из политических видов и по подговору студента Баллода», а когда Викторов «от изнурения» готов был согласиться, Квитницкий «принял на себя труд» продиктовать ему преступные мысли, под влиянием которых он будто бы совершил преступление. Медики подтвердили, что во время поджогов Викторов находился во невменяемом состоянии. Комиссия военного суда постановила освободить его и отдать под надзор матери, но генерал-аудитор настоял на лишении всех прав и высылке в Сибирь, что и было утверждено Александром II²⁵. Как видим, дело

Викторова не удалось связать с обвинением студентов в поджогах или хотя бы в подстрекательстве к ним.

Нами найдено еще одно архивное «Дело» такого же рода. Из него следует, что аресты подозреваемых в поджогах начались 30 мая 1862 г., и всего к началу следствия список задержанных состоял из 34 человек. Среди них крестьяне, ремесленники, мелкие служащие, мещане, солдаты-отставники, три мальчика. Студентов было двое — Николай Владимиров, учившийся в Медико-хирургической академии и арестованный 6 июня, в поджигательстве изобличен не был, освобожден 30 августа, и Бонифатий Кокшарев, бывший студент столичного университета, в августе был отправлен в Третье отделение, но ни материалы его «Дела», ни проведенное дознание свидетелей так и не дали повода для организации политического процесса.

Однако один из мальчиков, одиннадцатилетний солдатский сын Пимен Ненастьяев, попавшийся полиции 28 июня, показал, что 4 и 5 июня он поджигал во дворе и на чердаке дома Миротворцева в Литейной части 5-го квартала. Как значится в записях комиссии, «поджоги сделаны им по наущению студента Медико-хирургической академии Николаева», который пообещал дать 10 рублей, и «по наущению того же студента он поджег Шукин двор». Следствие споро пошло вперед, и вдруг выяснилось, что вместе с мальчиком Акимкой Пимен по требованию того же студента Николаева подожгли сарай, отчего загорелись Шукин и Апраксин дворы. Однако сколько-нибудь доказательно реализовать эту версию следователям так и не удалось. Сначала неудачей обернулись розыски Акимки, его так и не нашли. А когда Пимена повели по казематам Петропавловской крепости для опознания студента Николаева, мальчик указал на совсем другого, студента Помпея Мульгановского, который якобы называл себя Николаевым. Последовали новые показания Пимена. С Мульгановским он встретился будто бы впервые в час пополудни на Шпалерной улице. За 20 рублей совершил поджог Шукина двора, а Апраксина двора, оказывается, не поджигал, и Акимка в этом не участвовал. В два часа Пимен устроил пожар, некоторое время вместе с Мульгановским смотрели на огонь с набережной Фонтанки, получил 15 рублей и в три был дома, объяснив матери, что деньги нашел на улице. Но и эти показания продержались недолго. Все утверждения Пимена легко разрушились при элементарной проверке, и наоборот, сообщения Мульгановского получили полное подтверждение. Так, мать Пимена заявила, что 28 мая мальчик никуда из дома не отлучался и в два часа пополудни играл на дворе. Петр Медведев, мальчик девяти лет, подтвердил это. Место поджога Пимен каждый раз указывал различно. Впоследствии

сознался: Акимку выдумал, Мультановский пообещал только 5 рублей, матери о деньгах вообще ничего не сказал. При обследовании места, с которого Пимен с Мультановским смотрели на подожженное строение, выяснилось, что с указанного места невозможно увидеть даже дым от поджога.

Мультановский отрицал свое знакомство с Пименом. Опрошенные свидетели, на которых он сослался, подтвердили достоверность всех его показаний: первую половину дня 28 мая он играл во дворе дома с внуками своей квартирной хозяйки, около двух часов пополудни обедал у себя же, а в шесть вечера с двумя товарищами отправился на пожар и вернулся оттуда около полуночи.

Тогда следователи для повторного опознания предъявили Пимену Ненастьяеву семерых студентов без Мультановского, и тот указал на некоего Залесского. Затем ему показали тринадцать человек с Мультановским, и Пимен опять указал на Залесского. Когда же мальчику сказали об ошибке, он легко согласился и «признал» Мультановского. Дальнейшее использование столь ненадежных показаний, сбивающихся на оговоры, комиссия, понятно, сочла невозможным. Мультановский был освобожден от ответственности по делу о поджогах²⁶. Так рухнула очередная попытка властей объявить студентов замешанными в пожарах.

Следы безрезультатного расследования еще одного «Дела» сохранило личное обращение военного министра к Петербургскому военному генерал-губернатору от 28 июня 1862 г.: «Государь Император изволил поручить обсудить частным образом в Аудиторском департаменте Военного министерства дело о поджоге Таракановского моста. Присланная мне по этому делу краткая записка недостаточна для вывода положительного заключения», и министр просил прислать ему «частным же образом» само дело²⁷. Выяснить обстоятельства поджога Таракановского моста не удалось.

По-видимому, власти не очень-то сожалели по поводу неудачи с организацией политического процесса над поджигателями. То, что не удалось следственной комиссии, сделала журналистика, пытавшаяся влиять на формирование общественного мнения в нужном для правительства направлении. Реакционная и либеральная пресса буквально обрушилась на тех, кто, по ее мнению, явился подлинным вдохновителем «Молодой России» и пожаров. «В понятии народа — справедливо или нет, все равно — бунтовщик и зажигатель составили одно и то же лицо: кто подкидывал прокламации, тот и жег Петербург», — писала газета Н.Ф. Павлова, не озабочиваясь никакими доказательствами²⁸. «Пожары показали нам, — уверял один из авторов “Северной пчелы”, — что народ очень неприязненно

смотрит на охотников до беспорядков», газета выступила за «честную партию здравого прогресса», которая никогда не поднимет руку на царя, даровавшего свободу крестьянам²⁹. На вопрос «Кто поджигатели?» «Домашняя беседа» отвечала: это «обольщенные утопией коммунизма» составители и распространители «разных возмутительных прокламаций». В один ряд с ними ставятся «трактирные герои», «воры и бродяги», «выгнанные со службы взяточники», «полубразованные Репетиловы и Расплюевы», «поповичи с высшими современными взглядами». Расправившись с «подпольной средой» и ее «темными агентами», «мы, — пишет автор далее, — сорвем только вершинки зла, а корень глубоко останется в земле. Вот до него-то нужно докопаться, его-то надо отрыть и показать народу». Автор едва удерживается от прямого полицейского доноса на конкретные лица, но читателям ясно: указующий перст направлен на «поповичей с высшими современными взглядами», то есть на известных сотрудников «Современника» и Чернышевского; «только под их влиянием и могут сформироваться поджигатели с социалистическими понятиями девяностых годов революционной Франции»³⁰.

Намеки на связь деятелей «Современника» с прокламациями и пожарами в известной мере определяли отношения к Чернышевскому литературных и общественных деятелей. В «Записке о деле Н.Г. Чернышевского» А.Н. Пыпин впоследствии свидетельствовал, что апраксинский пожар «дикая молва громко приписывала нигилистам, а Чернышевского провозглашала их главой»³¹. Тогда как Чернышевский, по авторитетному заявлению того же Пыпина, резко отрицательно (иначе и быть не могло!) относился к прокламации «Молодая Россия». В статье, опубликованной в 1904 г., Пыпин, разумеется, не называя Чернышевского, писал по поводу работ М.К. Лемке: «...Автору, опять нескладно, понадобилось ставить вопрос о том, как относился к “Молодой России” один из тогдашних писателей: по словам Лемке, этот писатель отнесся к ней “если не отрицательно, то очень холодно”. Из каких источников автор извлек это показание, не знаем; но по давнему воспоминанию нам помнится, что писатель просто смеялся над этой прокламацией, как над глупостью»³².

Ярким показателем распространившихся в прессе и в обществе указаний на связь Чернышевского с прокламациями и поджогами явился визит к Чернышевскому Ф.М. Достоевского в мае 1862 г. Об этом свидании впоследствии рассказали оба писателя: Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. (в IV главе «Нечто личное») и Чернышевский в письме к А.Н. Пыпину от 26 мая 1888 г. по просьбе адресата. Эти воспоминания не совпадают ни по сообщенным под-

робностям, ни по тону. Ближайшей причиной визита Достоевский называет прокламацию «К молодому поколению» (скорее всего, это была прокламация «Молодая Россия»). Чернышевский же его приход связывает с пожарами — о прокламациях ни слова. Достоевский вспоминает, что в ответ на горячую просьбу «остановить» сочинителей и «прекратить эту мерзость» Чернышевский чрезвычайно веско и внушительно отверг предположение о какой-либо солидарности с авторами воззваний. «Но во всяком случае, — вспоминал свои слова Достоевский, — их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся Вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Я уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить Ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И однако всем и всему вредят»³³.

Чернышевский слова Достоевского и свой ответ передает иначе. «Вы, — говорил Достоевский, — близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». «Я слышал, — писал Чернышевский в воспоминаниях, — что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: “Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание”. — Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город» (I, 777).

Один из биографов Чернышевского отмечает, что воспоминания Достоевского проникнуты расположением к собеседнику, и напротив, воспоминания Чернышевского полны «недоброжелательства и даже раздражения». По мнению исследователя, это раздражение — следствие «чувства ревности», которое Чернышевский питал к судьбе писателя, успевшего сделаться великим романистом, тогда как он, Чернышевский, хотя и не по своей вине, пропустил свое время и «еще не сказал своего главного слова»³⁴.

Подобное объяснение, разумеется, нельзя принять всерьез. Тон воспоминаний Чернышевского, не лишенный иронии, объяснен им самим. Было нелепостью сочетать понятие о нем как редакторе «Современника» с представлениями о поджоге (или о прокламациях; возможно, речь шла и о них). Достоевский же оказался в плену распространяемых противниками «Современника» мнений. Возможно, их второе свидание, когда Чернышевский сам пришел к Достоевскому «через неделю или полторы», то есть вскоре после первой встречи, в связи с возникшими планами издать сборник произведений современных беллетристов (I, 778–779), состоялось вследствие стремления Чернышевского ненавязчиво подчеркнуть свою озабоченность исключительно журнально-литературными делами.

Чернышевский как мог сопротивлялся создаваемому властями и послушной правительству печатью представлению о нем как руководителе поджигателей и авторе тайных воззваний, но его попытки оказывались и в тогдашней обстановке не могли не оказаться безуспешными. Правительство Александра II открыто взяло курс на репрессии, на подавление всякого оппозиционного настроения, и пожары послужили для этого удобным предлогом. Саморазоблачающе звучали строки из опубликованного М.К. Лемке отчета царю министра внутренних дел за 1861–1863 гг.: «Опустошительные пожары, происходившие в Петербурге в последних числах мая 1862 года, послужили поводом к принятию новых мер для ограждения общественной безопасности и вместе с тем произвели сильное нравственное впечатление не только на жителей столицы, но и на всю Россию. Ясно было, что пожары происходили от поджогов. Не менее ясной казалась связь между поджигателями, старавшимися распространить смятение и неудовольствие в народе путем материальных опустошений, и теми другими преступниками, которые усиливались возжечь нравственный пожар правительственного и социального переворота»³⁵. Не столь уж важно, что поджигателей среди студентов не нашли. Важнее было получить «повод к принятию новых мер».

Шабаш ведьм начался.

В конце мая объявлены правила об особом надзоре за типографиями и литографиями. В начале следующего месяца закрыты две воскресные школы в Петербурге. Следом «признано необходимым» закрыть Шахматный клуб, «в котором происходят и из коего распространяются неосновательные суждения». Запрещены народные читальни «вследствие замеченного вредного направления». В июне же власти ограничили выдачу разрешений на чтение пу-

бличных лекций. Повелено закрыть существовавшее при Литературном фонде особое отделение, оказывающее помощь нуждающимся студентам³⁶.

Ко времени пожаров было приурочено объявление приговора В.А. Обручеву, арестованному за распространение прокламации «Великорусс». Оно состоялось 31 мая в 8 утра на Мытнинской площади при большом стечении народа. Обручева признали виновным в «распространении такого сочинения, которое, хотя без прямого и явного возбуждения к восстанию против верховной власти, усиливается оспаривать и подвергать сомнению неприкосновенность прав ее и дерзостно порицать установленный государственными законами образ правления». Он лишился всех прав и состояния и ссылался в каторжные работы на три года с последующим поселением в Сибири навсегда³⁷. Газетная хроника сохранила некоторые подробности этого события. «Массы народа, стоявшего с раннего утра около эшафота на Мытной площади, — сообщала газета, — выражали зверское желание, чтобы Обручеву отрубили голову, или наказали его кнутом, или по крайней мере повесили на позорном столбе вниз головою за то, что он смел идти против царя». Называли его и поджигателем. Но «из всех выходов народа во время исполнения приговора над Обручевым оскорбительнее всего, — писал автор статьи, — тот дикий взрыв хохота, который пробежал в толпе, когда на осужденного надели арестантскую свитку и шапку, ссунувшуюся ему ниже глаз. Насмешка над жалким положением осужденного — такая низкая черта, что мы не можем не поставить ее в укор народу»³⁸. В другой газете один из очевидцев рассказывал: «Я сам слышал, как купец в толпе говорил, подбоченясь, в то время, как Обручева вели назад в арестантской одежде: “отдали б его сюды, мы б его по частям розняли”. Да, если б не присутствие полиции, жандармов, то могла бы произойти ужасная сцена. В народе говорили про Обручева: “он-де прежде еще взят, не за поджоги”»³⁹. «Когда Обручева лишали прав на площади и ковали в кандалы, — свидетельствовал современник, — народ кричал палачу: “Хорошенько его, хорошенько! прихвати мяса! Дали бы нам, мы бы выпустили из него кишки”»⁴⁰.

Пример с Обручевым — показательное в истории явление, когда правители, разжигая темные инстинкты обманутого народа, добились осуждения революционеров именно теми, за кого они шли на плаху и каторгу. В статье Чернышевского «Июльская монархия» есть строки (в «Современник» они не попали), показывающие, насколько глубоко сам Чернышевский понимал и реалистически оценивал подобную трагическую ситуацию. «Что ж удивительно-

го, — писал он, — если масса выдает своих защитников в руки их врагов, которых считает своими покровителями и в милости которых нуждается каждый из маленьких людей, составляющих массу. Каждый должен впредь знать, каковы будут для него натуральнейшие и вероятнейшие результаты дела, за которое он берется, и не должен удивляться или жаловаться, когда подвергается им; он сам шел на них, по доброй воле, по собственному влечению» (VII, 155). В «Письмах без адреса» Чернышевский с болью писал, что народ «нас не знает даже и по имени» (X, 90). О том же он говорил в некрологе Добролюбова, обращаясь к народу: «Людам такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. <...> О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих» (VII, 852). Чернышевский всегда помнил о горькой, трудной судьбе русского писателя, защитника народа, но и осознающего факт его безгласности и забитости. Имея в виду темноту и рабскую приниженность народных масс, веками скованных крепостными цепями, Чернышевский писал в романе «Пролог»: «...Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы...», «русский народ не способен поддерживать вступающихся за него» (XIII, 197). Эти справедливые упреки и были выражением подлинной преданности народу и «жгучей скорби», выражением понимания трагичности переживаемой эпохи «великих реформ».

Примечания

- ¹ СПб. ведомости. 1859. 14 июня. № 128. С. 561, 562.
- ² Домашняя беседа. 1859. 10 октября. Вып. 41. С. 392—393, 396.
- ³ СПб. ведомости. 1860. 24 июля. № 161. С. 829.
- ⁴ Там же. 20 сентября. № 203. С. 1063.
- ⁵ Северная пчела. 1860. 15 августа. № 180. С. 743.
- ⁶ Наше время. 1861. 10 июля. № 23—24. С. 368.
- ⁷ СПб. ведомости. 1862. 24 мая. № 110. С. 497.
- ⁸ Сын отечества. 1862. 25 мая. № 125. С. 973.
- ⁹ СПб. ведомости. 1862. 30 мая. № 114. С. 5П.
- ¹⁰ Там же. 31 мая. № 115. С. 517.
- ¹¹ Головин К. Мои воспоминания. СПб.; М., 1908. С. 106.
- ¹² Русский архив. 1891. Кн. 1. С. 69.
- ¹³ Русская старина. 1906. № 11. С. 470.
- ¹⁴ Современное слово. 1862. 22 июня. № 19. С. 75.

- ¹⁵ Северная пчела. 1862. 30 мая. № 143. С. 569.
- ¹⁶ Наше время. 1862. 3 июня. № 117. С. 465.
- ¹⁷ Там же. 30 мая. № 113. С. 449.
- ¹⁸ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 18. Л. 1.
- ¹⁹ *Рейсер С.А.* Петербургские пожары 1862 года // Каторга и ссылка. 1932. № 10 (95). С. 102.
- ²⁰ СПб. ведомости. 1862. 1 июня. № 116. С. 520.
- ²¹ Наше время. 1862. 3 июня. № 117. С. 465.
- ²² *Серно-Соловьевич Н.А.* еще по поводу пожаров // Северная пчела. 1862. 1 июня. № 145. С. 579 (перепечатка из «Биржевых ведомостей»). См. также: *Татаринов И.* По поводу пожаров // Северная пчела. 1862. 2 июня. № 146. С. 582.
- ²³ Наше время. 1862. 5 июня. № 118. С. 472.
- ²⁴ Там же. 9 июня. № 122. С. 488.
- ²⁵ Каторга и ссылка. 1932. № 10 (95). С. 89–92.
- ²⁶ РГИА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 976. Л. 1, 149–159.
- ²⁷ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 179. Л. 1.
- ²⁸ Наше время. 1862. 9 июня. № 122. С. 488.
- ²⁹ Северная пчела. 1862. 13 июня. № 157. С. 625; 24 июня. № 168. С. 669.
- ³⁰ Домашняя беседа. 1862. 9 июня. Вып. 23. С. 554, 555; 23 июня. Вып. 25. С. 609. О травле «Современника» см. также: *Николаев П.А.* Русская журналистика 30–60-х годов XIX в. в оценке А.И. Герцена // Вестник Московск. ун-та. Историко-филологическая серия. 1959. № 1. С. 87–104.
- ³¹ Красный архив. 1927. Т. 3(22). С. 219.
- ³² Вестник Европы. 1904. № 7. С. 388.
- ³³ *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя за 1873 и 1876 годы. М.; Л., 1929. С. 23–25.
- ³⁴ *Ланщиков А. Н.Г.* Чернышевский. М., 1987. С. 320–324. Ср.: *Рейфман П.С.* Достоевский и Чернышевский, весна 1862 г. // Учен. зап. Тартус. ун-та: Труды по русск. и слав. филологии. 1988. Т. 822. С. 34–47.
- ³⁵ *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1919. Т. XV. С. 224–225.
- ³⁶ СПб. Ведомости. 1862. 27 мая. № 113; 5 июня. № 119; 6 июня, № 120; 23 июня. № 135.
- ³⁷ Там же. 1 июня. № 116. С. 520.
- ³⁸ Северная пчела. 1862. 13 июня. № 157. С. 625.
- ³⁹ Наше время. 1862. 9 июня. № 122. С. 488.
- ⁴⁰ ИРЛИ. Фонд К.Д. Кавелина. Д. 20796/СХЛП б. 6. Л. 133 (из письма И.П. Арапетова к К.Д. Кавелину).

Глава третья Арест

12. Приостановка «Современника». Вызов в Третье отделение

В один день 15 июня 1862 г. из недр правительственных канцелярий были отправлены два документа, имеющие к Чернышевскому непосредственное отношение. На первом стояла подпись министра народного просвещения А.В. Головнина, второй исходил от управляющего Третьим отделением генерала А.Л. Потапова.

Министр извещал Петербургский цензурный комитет о приостановке на восемь месяцев журнала «Современник». В эти дни Некрасова в Петербурге не было, и все заботы о журнале и его подписчиках принял на себя Чернышевский. Он дважды побывал у Головнина и о результатах последнего разговора, состоявшегося 18 июня, сообщил Некрасову на другой же день. На вопрос, продлится ли остановка «Современника» на весь срок или она может быть отменена раньше, министр твердо ответил, что отменена не будет, и даже посоветовал «считать издание конченным». В письме к Некрасову содержится краткое пояснение, на каком основании и вследствие каких причин журнал оказался под угрозой закрытия. «Еще при Вас, Николай Алексеевич, — писал Чернышевский, — изданы были “Временные цензурные правила”, в которых, между прочим, говорилось, что министр народн<ого> просвещения, по соглашению с министром внутр<енних> дел, могут “останавливать издание журнала на срок, не превышающий восьми месяцев”. Теперь к “Соврем<еннику>” и к “Русскому слову” применено это правило. Применено оно к этим журналам без всякого нового особенного повода с их стороны, вследствие общих соображений, что их направление нехорошо. Мера эта составляет часть того общего

ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Современнике» совершенно напрасно» (XIV, 453–454).

В письме речь шла о шестом пункте «Временных правил по цензуре», которые были утверждены Александром II 12 мая 1862 г. и в том же месяце сообщены редакциям и цензурным ведомствам¹.

Принято считать, что роковую роль в судьбе «Современника» сыграла записка А. Краевского и В. Скарятина, поданная 12 июня 1862 г. на имя министра народного просвещения. Содержание этого иудиного документа и его дальнейшая история как будто бы действительно позволяют выдвинуть такое предположение. Прикрываясь показным сочувствием к «Современнику» и «Русскому слову», которые «по прискорбным слухам» стояли на грани запрещения, авторы письма прямо указывали на идеологическое родство «крамольных журналов» с антиправительственным воззванием «Молодая Россия» и выражали готовность бороться «с развитием революционных идей». Записка докладывалась А.В. Головниным Александру II 14 июня, а на следующий день последовало запрещение журналов «Современник» и «Русское слово» на восемь месяцев². Верноподданническая записка Краевского и Скарятина была вполне оценена в высших правительственных сферах. Имя Краевского включили в список издателей, которым в виде исключения предоставляли право получать без цензуры выходящие за границу на русском и иностранных языках книги, брошюры, периодику³. Таковы привилегии либерального журналиста-издателя, всегда готового на сделку с реакцией. Впрочем, Краевский никогда не скрывал своей враждебности к «Современнику». Об этом он говорил, например, Чернышевскому еще в 1853 г., когда начинающему литератору приходилось делать выбор между «Отечественными записками» Краевского и «Современником» Некрасова. «Он враг нам, т.е. мне», – говорил Чернышевскому о Краевском и Некрасов (I, 718, 720).

Провокационной записке А. Краевского и В. Скарятина суждено было стать последним звеном в походе властей против «Современника», но все же не она послужила основанием для принятия решения о приостановке журнала. Еще 7 июня 1862 г. министр внутренних дел П.А. Валуев сообщил в Третье отделение А.Л. Потапову о вынесенном «сегодня» постановлении приостановить издание «Современника» и «Русского слова» на восемь месяцев⁴. Министр имел в виду особое заседание, проведенное Александром II. В дневнике

А.А. Суворова отмечено в записи под четвергом 7 июня, что в двенадцать с половиной дня собрались (перечислены нами в последовательности, указанной Суворовым, — «возле царя») великие князья Константин Николаевич, Михаил Николаевич, а также, кроме А.А. Суворова, А.В. Адлерберг, В.А. Долгоруков, И.В. Анненков, А.М. Горчаков, М.П. Корф, К.В. Чевкин, Н.Н. Головин, Ф.П. Корнилов, В.П. Бутков, Яраганов, В.Н. Панин, Ф.И. Прянишников, Д.А. Милютин, М.Х. Рейтерн, П.А. Валуев, А.А. Зеленой — «решили университет еще не открывать на 1 год, кроме химического и математического факультетов, и на 8 мес<яцев> запретить “Современник” и “Рус<ское> слово” и закрыть на время все школы воскресные, а читальни навсегда»⁵. Несколько дней спустя, 11 июня, И.С. Беллюстин извещал М.П. Погодина о состоявшемся решении. «Вот когда хватились за разум, — прибавлял ретивый священник-публицист, — как всю молодежь успели отравить злейшей отравой! Несколько лет тому назад можно было наверное предсказать о совершающихся событиях»⁶. Нужно думать, А. Краевский и В. Скарятин, прознав о новости, не упустили возможности потратить властям.

Из письма П.А. Валуева к А.В. Головнину от 2 июля 1862 г. становится известна формулировка распоряжения: эти журналы «подверглись временному запрещению вследствие замеченного в них систематического вредного направления и постоянных усилий к распространению вредных противурелигиозных и противуправительственных теорий»⁷.

15 июня, в драматический для «Современника» день, Чернышевский получил пакет из Третьего отделения. В документе говорилось: «Управляющий Третьим отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии, свиты Его Величества генерал-майор Потапов, свидетельствуя совершенное почтение Его Высокоблагородию Николаю Гавриловичу, имеет честь покорнейше просить пожаловать к нему, генерал-майору Потапову, в Третье отделение собственной его Императорского Величества канцелярии, завтра, 16-го числа, в два часа пополудни»⁸.

Встреча состоялась. Ближайшим поводом для нее послужила начатая Чернышевским переписка с военным министром Д.А. Милютиним. Дело в том, что 10 июня в Павловске после концерта О.С. Чернышевская и ее сестра подверглись грубому публичному оскорблению, нанесенному ротмистром лейб-гвардии Уланского полка Любецким. Сопровождавшие молодых женщин студенты вступились за них и «угрожали мщением». Ротмистр принес свои извинения, но О.С. Чернышевская не приняла их и потребовала от

мужа решительных действий, чтобы добиться наказания зарвавшегося офицера. Чернышевский обратился с письмом к полковнику Марковскому, под началом которого служил Любецкий, и потребовал передачи оскорбителя на суд его товарищей по полку. Полковник отказал. Пришлось писать к военному министру, и тот пообещал не оставить дела «без должного удовлетворения». Но Милютин считал необходимым известить о случившемся Третье отделение, поскольку инцидент касался стычки офицера со студентами. Тогда руководители политического сыска повели дело сами. Вот почему Чернышевский был приглашен не к Милютину, а к Потапову. 16 июня шеф жандармов извещал военного министра о ликвидации конфликта и о данном Чернышевским обещании, что со стороны студентов «никаких последствий не будет»⁹. История с ротмистром Любецким не стоила бы даже мимолетного упоминания, если бы не следующие обстоятельства. Конечно же не случайно именно на 16 июня Потапов назначил встречу в Третьем отделении. Начальника штаба тайной полиции интересовал вовсе не случай с оскорблением жены писателя, хотя бы и очень известного, и даже не студенты, столкновение которых с офицером было абсолютно безобидным с политической точки зрения. Ему хотелось познакомиться с самим писателем, который вот-вот – Потапов знал это – будет арестован. Тем более любопытно было взглянуть на Чернышевского в момент, когда тот только что получил известие о приостановке руководимого им журнала. Чернышевский, несомненно, догадывался, что за внешне любезными строками приглашения к Потапову стоит нечто большее и значительное. Много лет спустя Чернышевский расскажет, как при дальнейшем разговоре с генералом напрямую спросил, «не имеет ли правительство каких-нибудь подозрений против него, Чернышевского, и потому может ли он уехать в Саратов, так как в Петербурге ему ввиду закрытия “Современника” делать нечего, на что Потапов ответил, что правительство против Николая Гавриловича ничего не имеет и ни в чем не подозревает»¹⁰. Вот то, ради чего встретились жандармский генерал и его потенциальная жертва. Первому нужно было усыпить бдительность временно находящегося на свободе литератора. Чернышевский же воспользовался случаем разведать, насколько далеко пойдет правительство в своем репрессивном угаре. Вероятно, Чернышевский ничего не заподозрил. По крайней мере в письме к Некрасову от 19 июня он пообещал следующую свою корреспонденцию послать ему через месяц, а письмо закончил многозначительной фразой: «...Но теперь пока ровно ничего о себе я не думаю» (XIV, 455).

По воспоминаниям современников, Потапов был «небольшого роста, невзрачный и вообще не представительный»¹¹. «В первый раз в жизни мне пришлось встретить такого маленького генерала», — писал один из служивших с ним в Вильне офицеров¹². Его племянник вспоминал о нем как о человеке «маленьком, тщедушном, очень остроумном, но поверхностном». «Верное средство поддерживать порядок, — любил говорить Потапов, — это быть всегда на стороне сильнейшего. Вот если когда-нибудь у тебя мазурики станут отнимать часы, а ты вздумаешь сопротивляться, тебя следует отвезти в кутузку как зачинщика беспорядка»¹³.

С Чернышевским Потапов был предельно вежлив и предупредителен — как бы не вспугнуть «главного коновода». Генерал старательно реализовывал методу, предложенную самим монархом. Когда 27 апреля 1862 г. Третье отделение представило царю на утверждение доклад «О чрезвычайных мерах» с приложением «Списка лиц, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск», Александра II заинтересовало следующее место: «Взвесив все вышеизложенное и основываясь на опыте, может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться общественным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предположения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный проступок подвергнет их сильному наказанию». Против этого места император написал: «По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а и, напротив того, даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить». Не удовлетворившись замечанием на полях и собственноручно подчеркнутыми словами, Александр II повторил свою мысль — на этот раз в виде резолюции над заглавием документа: «Необходимо условиться по этому с мин<истром> вн<утренних> д<ел> и к<нязем> Суворовым. Но я решительно против предварительного призыва подозреваемых лиц к к<нязю> Суворову и не понимаю, как подобная мысль могла быть предложена, ибо это есть лучший способ все скрыть и не добиться ничего»¹⁴.

Первым в «Списке лиц, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск», числился «литератор Чернышевский» — «подозревается в составлении воззвания “Великорусс”, в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству». Далее его имя встречается в «Списке» еще несколько раз против десяти (из пятидесяти) фамилий — лиц, находящихся в «подозрительных», «преступных»

или «предосудительных сношениях» с ним, и это одно уже являлось криминалом. Следовательно, это Чернышевский окрещен Александром II «главным коноводом».

Помня о распоряжениях монарха, Третье отделение решило обыски пока не учинять, но «Список» свою зловещую роль сыграл вполне. Имя Чернышевского доложено царю в нужном для жандармов свете, и с этой поры участь писателя была предreshена.

«Список» явился результатом полугодовой подготовительной работы, начавшейся со времени установления за Чернышевским 15 ноября 1861 г. «самого бдительного надзора». Жандармов интересовало все: и посетители, и выезды из дому, и получаемая корреспонденция, и выбрасываемые рукописи, бумаги. Были подкуплены швейцар и кухарка, служившие у Чернышевских. Не все в донесениях агентов заслуживает безусловного доверия, и пользоваться этим источником нужно с осторожностью. Но все же среди других биографических материалов агентурные данные занимают заметное место, особенно те из них, которые приобретают значение документа.

Так, несомненный интерес представляют добытые сыщиками выписки из домово́й книги о проживавших у Чернышевских лицах в 1861 и 1862 гг. Вот эти имена: 1) Никита Иванович Баранов – швейцар при доме с 8 марта 1858 г.; 2) его жена Матрена Филипповна Баранова – кухарка с 19 октября 1861 г.; 3) Николай Сократович Васильев – брат жены Чернышевского, ученик 7 класса 5-й Петербургской гимназии, жил в доме с 11 сентября 1861 по 25 апреля 1862 г.; 4) Андрей Елисеев – лакей и повар, прописан с 9 октября 1861 по 8 февраля 1862 г.; 5) Александр Васильевич Захарьин – служащий нижегородской конторы общества «Кавказ и Меркурий», останавливался у Чернышевских с 2 по 23 декабря 1861 г.; 6) Александра Евграфовна Карпова – горничная, с 1 декабря 1861 по 29 января 1862 г.; 7) Федор Потапович Михеев – кучер, с 21 августа 1861 по 14 июля 1862 г.; 8) Мария-Катерина Михельсон – бонна, с 21 августа 1861 г.; 9) Татьяна Гаврилова – чернорабочая, с 20 января по 24 марта 1862 г.; 10) Лариса Исаева – чернорабочая, с 27 марта по 17 мая, с 25 июня 1862 г.; 11) Ефимья Филатова – няня, с 25 июня 1862 г.; 12) Поулина Амолиевна Энгерер – няня, с 5 апреля по 2 мая 1861 г.; 13) Алексей Студенский – родственник Н.Г. Чернышевского, с 4 по 19 мая 1862 г.; 14) Степан Советов – студент университета, с 11 мая по 26 июня 1862 г.; 15) Никита Тимофеев – кучер, с 25 июня 1862 г.; 16) Вениамин Иванович Рычков – двоюродный брат О.С. Чернышевской, штабс-капитан 21-й артиллерийской бригады, с 4 мая 1862 г., в день ареста Н.Г. Чернышевского выбыл на место

службы в Павловск; 17) Сергей Николаевич Пыпин – двоюродный брат Чернышевского, с 14 июля 1862 г.¹⁵

Швейцар Никита Баранов был подкуплен Третьим отделением на другой же день после установления за Чернышевским надзора. Он давал агентам возможность вскрывать адресованные Чернышевскому письма, «употребил хитрость» для установления личности А.В. Захарьина. Он же в угоду жандармам пытался устроить у Чернышевских кухаркою женщину, специально подосланную Третьим отделением, и когда его старания не увенчались успехом, привлек к слежке свою жену, Матрену Баранову. Ей агентом «для поощрения было выдано несколько рублей на кофе». Результаты столь усиленного наблюдения не замедлили сказаться. 13 декабря 1861 г. Баранова принесла агенту бумаги, «данные ей вчера Чернышевским для сожжения», она выдала Студенского, неосторожно давшего читать кучеру нелегальную брошюру Н.П. Огарёва «Что нужно народу?». По май 1862 г. агентурные донесения особенно насыщены, и увольнение кухарки было воспринято агентом с сожалением¹⁶.

Слежка была установлена и за О.С. Чернышевской, которая летом часто выезжала на дачу. Вот, например, донесение жандармского капитана, датированное 29 июня 1862 г.: «Проживающая в Павловске г. Чернышевская, насколько известно, предполагает отправиться только на сих днях в имение». Внизу карандашом приписка: «Уехала вчера 28 июня»¹⁷. Упоминание об «имении» ошибочно, речь тогда могла идти только об отъезде в Саратов, куда О.С. Чернышевская и выехала вместе с детьми 3 июля. Чернышевский извещал об этом Пыпиных заранее, прибавляя, что жена «поселится в маленьком флигеле, где прежде жила и, быть может, теперь живет Устинья Васильевна»¹⁸. Как ни неприятно мне тревожить ее, – писал Чернышевский, – но я прошу вас передать ей мою просьбу, чтобы она перешла на другую квартиру» (XIV, 455). Сразу же в Саратов после отъезда О.С. Чернышевской последовало секретное распоряжение майору корпуса жандармов Глобе: «Из С.-Петербурга отправились в Саратов жена литератора губернского секретаря Чернышевского с семейством, брат ее – бывший студент С.-Петербургского университета Студенский, артиллерийский офицер Рачков и семейство профессора здешнего университета Пыпина. Предлагаю Вашему Высокоблагородию за лицами этими учредить самый бдительный секретный надзор и о действиях их, а также с кем они будут иметь сношения мне доносить со всею подробностью. В случае же выбытия кого-либо из них сообщать по принадлежности местному жандармскому штаба офицеру»¹⁹. Содержащиеся в документе фактические ошибки, легко распознаваемые, ничуть не влияют на его главное назначение.

Кроме агентурных донесений, в жандармском досье значительный удельный вес приобретали анонимные письма, поступившие в Третье отделение 5 и 14 июня 1862 г. «Коновод юношей», «хитрый социалист», «вредный агитатор», близкий к «шайке бешеных демагогов», выпустивших прокламацию «Молодая Россия», Чернышевский, по мнению автора доноса, должен быть сослан — «куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать, — обращался аноним к Потапову. <...> Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия». Во втором своем письме неизвестный доносчик еще настойчивее повторил свое требование: «...Чернышевского с братьею и с “Современником” уничтожьте, — не по чувству личной вражды — я его не знаю, а по чувству самосохранения твержу вам: избавьте нас от Чернышевского и его учения — это враг общества и враг опасный — опаснее Герцена». Подобную анонимку получил и сам Чернышевский. «...Если действительно произойдет кровавое волнение, — говорилось здесь, — то мы найдем вас, Искандера или кого-нибудь из вашего семейства, и, вероятно, вы не успеете еще запастись телохранителями»²⁰.

В характеристике обстановки, предшествовавшей аресту Чернышевского, необходимо остановиться еще на одном обстоятельстве. О нем сам Чернышевский довольно подробно рассказал С.Г. Стахевичу. В передаче мемуариста этот рассказ выглядит следующим образом: «За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личный друг императора Александра II. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. — “Да как же я уеду? хлопот сколько!.. заграничный паспорт.. Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта”. — “Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было”. — “Да почему же граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?” — “Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют; сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно”. — Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: “Не поеду за границу, будь что будет”»²¹.

Переданный Стахевичем рассказ Чернышевского получает документальное подтверждение. В агентурном донесении от 5 мая 1862 г. сообщалось: «23 апреля у Чернышевского был какой-то фельдъегерь г. военного генерал-губернатора; он узнал прежде от швейцара,

дома ли г. Чернышевский, и тогда уже пошел к нему, когда получил утвердительный ответ. После нескольких минут фельдъегерь вышел в сопровождении Чернышевского, который очень благодарил его за что-то»²². Приведем еще источник, до сих пор не публиковавшийся. Именно 23 апреля 1862 г. в дневнике А.А. Суворова появилась краткая запись: «У меня Потапов о Чернышевском»²³. Возможно, А.Л. Потапов согласовывал с А.А. Суворовым «Список лиц, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск». С датой «27 апреля» этот документ был окончательно составлен и доложен Александру II. На одном из отдельных приложенных к «Списку» листочков с карандашными пометками Суворова записано: «Чернышевский (нужен еще)»²⁴. Иными словами, Суворов не советовал торопиться с арестом руководителя «Современника». Однако он знал о настойчивости В.А. Долгорукова и А.Л. Потапова, готовивших этот арест, и в тот же день 23 апреля послал к Чернышевскому своего чиновника.

Предложение Суворова связано, по всей вероятности, с его собственными представлениями о способах борьбы с оппозиционерами. Характерно, к примеру, его примечание к докладу шефа жандармов царю от 27 апреля 1862 г. Фразу «усиливающаяся раздражительность умов и увеличивающаяся от безнаказанности дерзость злоумышленников угрожают опасностью общественному спокойствию и престолу» Суворов сопроводил замечанием, свидетельствовавшим о некоторых расхождениях с излишне прямолинейными и грубыми действиями Третьего отделения: «...И теперь меня не понимают, когда я говорю, что отделяю и отделию людей справедливо недовольных от злоумышленников; отделивши их совершенно, я и без советов, без содействия, своею законною силою задавлю революцию»²⁵. Не считая Чернышевского «злоумышленником», Суворов все же не мог не понимать громадного оппозиционирующего влияния его публицистики, и удалением редактора «Современника» за границу он сразу решал важнейшие проблемы: и спасал Чернышевского от неминуемой расправы, наживая на этом политический багаж либерального сановника, и наносил сильный удар по чуждой трону идеологии. Только на такие «гуманные средства» и был способен близкий друг Александра II. Впрочем, нужно думать, бдительно следившее за квартирой писателя Третье отделение сумело бы найти средства помешать Суворову в осуществлении его плана.

Заслуживает упоминания и сделанное Чернышевскому в начале 1862 г. предложение выехать за границу с казенным поручением²⁶. Предложение последовало от министра народного просвещения

А.В. Головнина, и оно может быть поставлено в один ряд с действиями Суворова.

Существенной акцией Третьего отделения против Чернышевского до его ареста было распоряжение от 27 июня 1862 г. «О невыдаче без особого разрешения заграничного паспорта»²⁷, усиливавшее прежнее секретное предписание министра внутренних дел от 23 ноября 1861 г. Распоряжение Третьего отделения свидетельствовало о полной готовности к последнему решительному шагу. И если бы не вскоре (через 10 дней) представившийся предлог, Долгоруков и Потапов нашли бы другой повод, но Чернышевский был бы арестован.

Примечания

- ¹ Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 481; Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб., 1904. С. 168–169.
- ² Евгенийев-Максимов В. «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. Л., 1936. С. 511, 515–517.
- ³ Усов П. Цензурная реформа в 1862 году // Вестник Европы. 1882. № 5. С. 173–174.
- ⁴ Процесс Н.Г. Чернышевского / Ред. и примеч. Н.А. Алексеева. Саратов, 1939. С. 36. См. также: Львова М.В. Как подготовлялось закрытие «Современника» // Исторические записки. М., 1954. Т. 46. С. 319.
- ⁵ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 790. Л. 148, 148 об.
- ⁶ Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1905. Кн. 19. С. 387.
- ⁷ Летопись. С. 259.
- ⁸ Дело. С. 140.
- ⁹ Красный архив. 1923. Кн. III. С. 289–290; Записки отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В.И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 46–50.
- ¹⁰ Воспоминания (1982). С. 392.
- ¹¹ Д.Л. наброски из прошлого // Военно-исторический сборник. 1912. № 1. С. 66–67.
- ¹² Никотин И.А. Из записок. СПб., 1905. С. 198.
- ¹³ Головин К. Мои воспоминания. СПб.; М., 1908. Т. 1. С. 62, 98–99.
- ¹⁴ Дело. С. 131–133.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 95. Д. 28. Л. 11–17. Частично в статье: Чернышевская Н.М. Новые материалы для «Летописи жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского» // Чернышевский. Вып. 2 (1961). С. 225–226.

¹⁶ Дело. С. 72–103.

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 534. Л. 206.

¹⁸ У.В. Кошкина. О ней см.: Научная биография (1828–1853), раздел «На пути в столицу. Первый год в Петербурге».

¹⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Т. 1. Л. 13; См. также: Летопись. С. 264.

²⁰ Дело. С. 146–148, 447.

²¹ Воспоминания. С. 341.

²² Дело. С. 102–103.

²³ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 789. Л. 130 об.

²⁴ Дело. С. 137.

²⁵ Там же. С. 126–127.

²⁶ Там же. С. 271; *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1919. Т. XV. С. 225.

²⁷ Дело. С. 140.

13. В Алексеевском равелине

6 июля 1862 г. жандармы задержали на границе П.А. Ветошников, возвращавшегося в Россию из Лондона. Третьему отделению стало известно от лондонского агента¹, что Ветошников везет с собою корреспонденцию Герцена. Какова же была радость Потапова, когда в письме Герцена к Н.А. Серно-Соловьевичу он прочитал имя Чернышевского. «Мы готовы, — писал Герцен, — издавать “Современник”» здесь с Черныш^{евским} или в Женеве — печатаем предложение об этом. Как вы думаете?»² Руководители Третьего отделения немедленно отдали распоряжение: «Литератора Чернышевского повелено арестовать вследствие найденных по арестованию чиновника Ветошникова на его имя писем от Герцена»³. Факты грубо извращены: среди писем издателя «Колокола» не было ни одного, адресованного Чернышевскому. Тайная полиция явно спешила с арестом.

Оказавшись невольным виновником арестов, Герцен тяжело переживал случившееся. В «Былом и думах» он рассказал, как было дело. В день пятилетия «Колокола» В.И. Кельсиев, один из горячих почитателей Герцена и Огарёва, устроил в лондонском ресторане небольшое торжество. «Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресе-

ные у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастью, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарёв пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского приветия Н. Серно-Соловьевичу; к ним я приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в “Колоколе” печатать на свой счет “Современник” в Лондоне. Гости стали расходиться часов около 12; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным», но, рассказывал Герцен, нельзя было не заметить, как Ветошников при всех взял предложенную ему фотографию Герцена. «Прощаясь с ним с последним, — читаем в “Былом и думах”, — я спокойно отправился спать — так иногда сильно бывает ослепление — и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне»⁴.

Арест Чернышевского Потапов поручил полковнику корпуса жандармов Ф.С. Ракееву. Это был «приземистый и с неприятным выражением лица» человек, «дока по политическим обыскам и арестам»⁵. В 1837 г. Ракеев сопровождал гроб с телом А.С. Пушкина из Петербурга в Михайловское, в 1861 г. производил обыск у М.Л. Михайлова. Впоследствии Ракеев стал генералом. К Чернышевскому жандарм явился 7 июля в сопровождении квартального надзирателя Мадьянова. Вот как описал появление Ракеева М.А. Антонович, находившийся в тот час у Чернышевского вместе с П.И. Боковым, который был у Чернышевских домашним врачом. «Войдя в зал, он сказал, что ему нужно видеть г-на Чернышевского. Николай Гаврилович выступил ему навстречу, говоря: “Я — Чернышевский, к вашим услугам”. — “Мне нужно поговорить с вами наедине”, — сказал офицер. — “А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет”, — проговорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: “Где же, где же кабинет?” Свою квартиру Николай Гаврилович сдавал внаем, так как решил оставить ее и переехать на другую, и потому я в первую минуту подумал, что офицер пришел осмотреть квартиру с целью найма ее. Растерявшийся офицер, обратившись в переднюю, повелительно и громко закричал: “Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского и проводите меня туда”. На этот зов явился из передней пристав Мадьянов, которого Боков и я знали в лицо. Появление пристава сразу осветило для нас все, и мы поняли, кто такой этот офицер и какая цель его визита». Когда Антонович и Бо-

ков заглянули в кабинет Чернышевского, тот попрощался с ними «шутливым тоном». Они вышли из дома, но спустя некоторое время снова зашли к Чернышевскому. Кареты уже не было. «В квартире мы застали двоюродного брата жены Чернышевского офицера Вениамина Ивановича Рычкова, который на время приехал в Петербург и жил на этой квартире. Рычков сообщил нам между прочим, что Николаю Гавриловичу удалось сказать ему несколько слов, так, чтобы их не слышал Ракеев. Николай Гаврилович поручил ему кланяться мне и сказать, чтобы я не беспокоился и передал бы Н. Утину, чтобы и он не беспокоился. Какой специальный смысл и какая цель заключались в этих словах, я не могу себе объяснить»⁶.

Приход Ракеева зафиксирован в агентурном донесении от 7 июля: «Сегодня во 2 часу пришел к нему полковник Ракеев с надзирателем Мадьяновым, и только что они вошли, от Чернышевского вышли д-р Боков и Антонович»⁷. В 5 часов пополудни Чернышевский был доставлен в штаб корпуса жандармов, принят дежурным поручиком Никифоровым и «немедленно сдан майору Зарубину для отправления в Петропавловскую крепость»⁸.

В 3 часа ночи на 8 июля Потапов докладывал шефу жандармов: «В городе, благодаря Бога, все благополучно. С князем Суворовым, конечно, не без прений, согласились, и арестования сделаны удачно; Ветошников и Серно-Соловьевич очень сконфужены; Чернышевский ожидал, взят здесь на своей квартире; когда приехали его арестовывать, у него были Антонович и доктор Боков, которые ушли в другие двери. Все прямо отправлены в Алексеевский рavelин; надеюсь, что в понедельник им уже будут даны вопросы»⁹.

Из документа следует, что Ветошникова арестовали не сразу по приезде в Россию, сначала его лишь на некоторое время задержали, отобрав у него письма. Спокойствие Чернышевского, какое он, по свидетельству Антоновича, сохранял при аресте, жандармами было воспринято как «ожидание» ареста, внутренняя подготовленность к нему. Возможно, это так и было. Нуждается в комментарии фраза о Суворове: то ли Потапов согласился с какими-то дополнительными доводами и советами генерал-губернатора и «арестования» вследствие этого «сделаны удачно», то ли, напротив, Суворов вынужден был «конечно, не без прений» согласиться с Потаповым, инициатором арестов. Некоторые разъяснения содержит дневниковая запись Суворова от 7 июля 1862 г. В 9 утра он был в Петергофе, встречая отправлявшегося в Остзейские губернии Александра II. «Тут я узнал, — писал Суворов, — что, не спрося моего совета, Долг<орук> решил арестовать Серно-Соловьевича, Чернышевского и пр. по открытиям в Лондоне». Затем Суворов отправился на станцию Варшавской же-

лезной дороги, провожая Александра II и его свиту в Ригу¹⁰ – «тут я грубо бранил Долгорукова, а потом Потапова. Но 1-е, нашел, что можно арестовать, 2-е, навсегда отказался от дела с Путилиным и Костомаровым. <...> Долго после отъезда Его Вел<ичества> в Ригу говорил я с Потаповым и весьма горячо <...> и тогда я и сам согласился, что следовало арестовать. <...> Долгорукову длинное письмо 8 страниц, порядочно распек»¹¹. Отказ от дела с Путилиным и Костомаровым – выражение недоверия к ним в связи с их обещаниями раскрыть некий революционный заговор. Важно, что уже тогда Суворов критически оценивал саму личность В.Д. Костомарова, которому впоследствии уже под крылом Третьего отделения суждено будет играть важную роль в процессе Чернышевского.

Письмо в восемь страниц неизвестно, но сохранилась записка Долгорукова к Потапову от 10 июля, в которой это письмо упомянуто и частично пересказано. «Кн. Суворов писал мне по этому предмету лично, – извещал Долгоруков, имея в виду аресты 7 июля. – Он согласен, после ваших объяснений, в необходимости принятых нами мер»¹². Итак, Суворов первоначально отрицал необходимость ареста Чернышевского, пока нет достаточно серьезных улик против него, но Потапов настаивал на своем, и Суворов с его доводами вынужден был согласиться. Их совместное решение одобрено Александром II, после чего в распоряжение об аресте Чернышевского Потапов мог поставить слова «повелено арестовать».

В тот же день 7 июля комендант Петропавловской крепости А.Ф. Сорокин отправил на имя Александра II рапорт о заключении Чернышевского в доме Алексеевского рavelина «в покое» № 11. Ветошников и Н. Серно-Соловьевич помещены в 9 и 16 камеры¹³. Спустя два дня Потапов, не удовлетворившись ночным донесением от 7 июля, шлет Долгорукову в Ригу специальную депешу: «Все благополучно. Из Москвы Дренякин сообщает, что действует успешно»¹⁴. Похоже, высшие чины Третьего отделения все же опасались каких-либо общественных выступлений в защиту Чернышевского. Но, как показали ближайшие два дня, опасались напрасно, и Потапов мог телеграфировать об этом своему шефу, который конечно же такого рода известия немедленно докладывал царю.

В пятницу 13 июля в дневнике Суворова появилась запись: «Я был долго у коменданта Сорокина»¹⁵. Вне всяких сомнений, этот визит был связан с заключением в крепость Чернышевского и Серно-Соловьевича. Возможно, он выяснял условия заключения и пытался внушить Сорокину мысль о непосредственной его подчиненности ему, военному генерал-губернатору. Как покажут дальнейшие события, Сорокин в начавшейся тяжбе Суворова с Долгоруковым

будет держать сторону Третьего отделения, претендовавшего на роль единственного руководителя всех действий коменданта крепости. Сорокин, добившийся генеральского чина в походах против взбунтовавшейся Польши в 1831 г. и восставших венгров в 1849 г., принял командование Петропавловской крепостью в 1861 г.¹⁶, и старался как можно тщательнее следовать инструкции, предписывающей подчиненность Третьему отделению.

В одиночных камерах Алексеевского рavelина, тюрьмы, куда русские самодержцы заключали наиболее опасных своих политических врагов, Чернышевский пробыл почти два года – с 7 июля 1862 по 20 мая 1864 г. Секретный дом рavelина построен при Павле I «для содержащихся под стражею по делам, до тайной экспедиции относящимся»¹⁷. Тюрьма с двадцатью одной камерой («покоюми») была одноэтажной, имела форму треугольника с замкнутым двориком-садиком, снесена в 1895 г.¹⁸ Со дня ареста до 28 февраля 1863 г. Чернышевский находился в камере № 11. В тюремном списке от 29 марта того же года за ним закреплена камера № 10, а после 29 сентября до последнего дня – камера № 12¹⁹.

Обстановку в камере составляли деревянная кровать с двумя тюфяками и двумя перовыми подушками, двумя простынями и байковым одеялом, деревянный столик с выдвигаемым ящиком и стулом. В двери, выходявшей во внутренний коридор, было небольшое, в одно звено окошко, прикрытое со стороны коридора зеленою шерстяною занавеской. Через это окошко часовой мог наблюдать за камерой. В коридоре всегда находились два часовых с обнаженными саблями.

Заключенным обычно выдавали холщевое тонкое белье, носки, туфли и байковый халат, мягкую фуражку. Собственная одежда по прибытии в рavelин отбиралась на хранение в цейхгаузе и выдавалась только на время допросов и выхода арестованного на свидание с родственниками в доме коменданта. Часов не полагалось, стенные часы находились в коридоре, и их бой был слышен во всех камерах. Белье менялось каждую субботу, дважды в месяц устраивались бани в одном из казематов рavelина.

На пищу и чай каждому арестанту отпускалось по 50 коп. в день. Обед состоял из шей или супа с мясом или рыбой, в воскресные и праздничные дни выдавалось третье блюдо, какое-нибудь сладкое, а в царские дни еще и по стакану виноградного вина. Чай был утром и вечером с булкой. Посуда делалась из олова, ножей и вилок не полагалось. Хлеб и мясо предварительно разрезались, кости тщательно изымались на кухне поваром. Пища подавалась на деревянных подносах солдатами рavelинной команды под наблюдением карауль-

ного начальника или унтер-офицера. Солдаты входили в камеру без оружия, они же убирали помещение и подавали арестантам умыться.

В камерах имелись оловянные чернильницы и заранее отточенные гусиные перья. Стальных перьев не полагалось. Была в равелине и небольшая библиотека из исторических и религиозных книг на русском, французском и немецком языках²⁰.

Арест Чернышевского был воспринят русским монархом как важнейшее событие ближайшего времени. «Из Петербурга ничего особенного не получал, — сообщал Александр II своему брату в Варшаву из Риги 13 июля, — но в самый день моего отъезда по сведениям, сообщенным из Лондона, должно было сделать несколько новых арестаций, между прочим Серно-Соловьевича и Чернышевского. Найденные бумаги доказывают явно сношения их с Герценом и целый план революционной пропаганды по всей России. В этих же бумагах есть указания и на других главных деятелей, как в столицах, так и в провинции, — так что есть надежда, что мы, наконец, напали на настоящий источник всего зла. Да поможет нам Бог остановить дальнейшее его развитие». «Как я рад, — отвечал варшавский наместник, — известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно было пора с ними разделаться»²¹.

В унисон голосам из царствующего дома звучали строки сохранившегося в жандармских архивах письма, отражающего мнение самой реакционной части общества. «Спасибо Вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского — спасибо от многих, — писал анонимный корреспондент Потапову. — Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигач, Яренск — что-нибудь в этом роде — это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием»²².

Намеком на арест Чернышевского можно посчитать, к примеру, летние публикации в московской прессе, выражавшей доверие правительству Александра II, расправлявшемуся с некоторыми журналами и их сотрудниками. Так, автор одной из статей, информируя читателей о процессе во Франции над лицами, задумавшими «коренные преобразования в обществе и политическом устройстве Франции», проводит прямые сопоставления с «Молодой Россией» и верноподданнически заключает: «Не назовут ли их врагами общества и правительства? Но не по милости ли подобных врагов общество скрепляется в более плотную массу, а правительства становятся сильнее и даже их произвольные действия принимаются скорее с сочувствием, чем с ропотом». В другой московской газете по поводу последних распоряжений Министерства народного просвещения говорилось, что они доказывают «желание правительства не стеснять благонамеренных писателей, но, к сожалению, долж-

но сказать, что действия некоторых лиц вынуждали прискорбные меры строгости»²³.

Дружественные «Современнику» и Чернышевскому издания не могли открыто выступить в их поддержку. Д.Д. Минаев, поэт-искровец, например, воспользовался следующим остроумным способом для публичного осуждения репрессий. В своем журнале он поместил рисунок, сопроводив его характерной подписью: «Напрасно вы назвали сына своего Пилладом, а не Арестом, теперь Аресты в моде»²⁴. Аналогичным было выступление фельетониста «Современного слова», умело иронизирующего над победами реакционеров. «Слава богу, что “нигилисты” теперь молчат, — писал он. — И не мудрено, десница Промысла в недавних событиях действовала так внятно и осязательно, что они волею или неволею должны были сойти со сцены и уступить свое место людям степенным или, как их называют теперь, “постепеновцам”. Наибольшая доля общественной благодарности должна понятно принадлежать г. Громеке, который в течение целого года неутомимо занимался травлею “нигилистов”. Теперь он отдыхает...»²⁵

Сочувствием к Чернышевскому исполнено письмо Д.В. Григоровича к А.П. Милюкову от 29 сентября 1862 г.: «Здесь прошел слух, что Чернышевский взят; правда ли это? Даже не разделяя его убеждений, но любя его как человека, — мне страшно было бы жаль его»²⁶. Ценные сведения об отношении разных слоев общества к аресту Чернышевского содержит письмо В.И. Лунина к Евг.Н. Пыпиной в Саратов от 1 сентября 1862 г.: «Пусть Алек<сей> Ос<ипович> <Студенский> не ждет к себе Ник. Гавр., потому что неизвестно, когда его освободят, да и после этого едва ли ушлют его в Саратов. А какие разнородные мнения высказывают по поводу его самого и его ареста! Одни говорят, что это герой, страдалец за всех, умнейший и благороднейший человек. Другие называют его вредным человеком, развращающим молодое поколение, что ареста он вполне достоин, да и не только ареста, но и еще худшего чего-нибудь, и что его только можно пожалеть — не больше (это я слышал от одной хорошо знакомой Гаврилы Ивановича); наконец третьи считают его... бранно сказать... антихристом! Такого мнения отчасти виновником был я, хотя и без всякого с моей стороны желания и участия и без всякой мысли о таком результате»²⁷.

Раздававшиеся возмущенные голоса-протесты²⁸ не могли пробиться сквозь завесу всеобщего страха или преклонения перед всемогуществом правительственной власти, способной уничтожить любого, даже если, как в случае с Чернышевским, за ним не было вины, юридически наказуемой. Сам Чернышевский рассказывал

впоследствии о переданном ему З.И. Сераковским разговоре с директором канцелярии военного министерства К.П. Кауфманом. «Кауфман говорил, что Чернышевский имеет вредное влияние на общество и потому должен быть сослан. — “Но ведь его статьи печатаются с дозволения цензуры, и он ничего противозаконного не делает: как же его сослать ни с того ни с сего?” — “Мало ли что! политическая борьба все равно, что война; на войне все средства позволительны; человек вреден — убрать”»²⁹.

С оппозиционерами правительство расправлялось тем проще, что в своих репрессивных мерах находило поддержку у либералов. Показательно в этом отношении поведение К.Д. Кавелина, воспользовавшегося служебной командировкой за границу, чтобы переждать вдали «скверное время». Баронессе Э.Ф. Раден он сообщал в письме от 8 июля 1862 г.: «...В Петербурге, я сам чувствую, я теперь невозможен. С так называемыми передовыми партиями, т.е. мнениями всех цветов и оттенков, я разошелся на очень большую дистанцию и не скрываю этого». Месяцем позже он откровенно заявил, что солидарен с теми, кто «с убеждением примыкает к знамени порядка и законности, видя в нем единственный исход из теперешнего печального положения»³⁰.

Арест Чернышевского воспринят Кавелиным как законное действие правительства, «защищающегося своими средствами». «Это война: кто кого одолеет, — писал он Герцену 6 августа 1862 г. — Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, и оно защищается своими средствами. Не то были аресты и ссылки при подлеце Николае. Люди гибли за мысль, за убеждения, за веру, за слова. Я бы хотел, чтобы ты был правительством и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого brouillon^{2*}, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видел. И было бы за что погибать! Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения»³¹. Ответ Герцена неизвестен, но о его неприятии такого рода рассуждений можно судить по резкой оценке брошюры Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян» (Берлин. 1862) — этого «тошлого, нелепого, стертого и вредного памфлета», написанного «для негласного руководства либералующему правительству»³².

Видел ли сам Чернышевский неизбежность ареста? Один из современников вспоминал о вечере, устроенном Н.А. Серно-Соловьевичем в конце 1861 г. по поводу благополучного окончания студенческого дела. «На этом вечере велись оживленные разговоры, и

^{2*} Сварливый (франц.).

кто-то из студентов, кажется, Михаэлис, высказал несколько мыслей, довольно радикального характера. По этому поводу Чернышевский с некоторой горечью заметил: “Эх, господа, господа, — вы точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли... Ни тюрьма, ни ссылка не научают вас!” На эти слова кто-то из присутствующих сказал, что, может быть, и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловской крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкой ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается...»³³ Вероятно, Чернышевский все же не думал, что правительство пойдет на арест влиятельного литератора, не имея на то веских юридических оснований. И не свою ли судьбу он имел в виду, когда в статье «Июльская монархия» цитировал из заявления знаменитого французского журналиста-республиканца Армана Карреля: «...Журналисты не могут быть подвергаемы арестованию без суда, и каждый писатель, сознающий свое гражданское достоинство, противопоставит закон беззаконию, силу силе. Это — обязанность, и пусть будет, что будет!» (VII, 122). По крайней мере, спокойствие Чернышевского во время ареста и его поведение в последующее время свидетельствуют именно о такой же решимости упорно бороться за свое освобождение.

Примечания

- ¹ Полагают, что им был Г.Г. Перетц. См.: *Розенблюм Н.Г.* Г.Г. Перетц — агент III отделения // ЛН. Т. 67. С. 685—697; *Рейсер С.А.* Неизданный отрывок воспоминаний А.А. Слепцова // Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 243—250.
- ² *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 2. С. 707.
- ³ Русская литература. 1970 № 1. С. 240.
- ⁴ *Герцен*. Т. XI. С. 327—328.
- ⁵ Воспоминания (1982). С. 274.
- ⁶ Там же. С. 274—277.
- ⁷ Дело. С. 108.
- ⁸ Там же. С. 607. (примечание №100); Русская литература. 1970. № 1. С. 240.
- ⁹ Дело. С. 143.
- ¹⁰ По газетным сообщениям, Александр II с супругой выехал из Петергофа 7 июля в 10 ¹/₂ утра по Петербургско-Варшавской железной дороге (Московские ведомости. 1862. 12 июля. № 152. С. 1211).

- ¹¹ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 789. Л. 160. об. — 161. Текст читается с трудом, и с этим связаны наши купюры.
- ¹² Дело. С. 143.
- ¹³ Там же. С. 142.
- ¹⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 3. Л. 56. Судя по отметке на подлиннике, Александру II доложено 10 июля.
- ¹⁵ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 789. Л. 163.
- ¹⁶ Там же. Ф. 270. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Об А.Ф. Сорокине см. также: Военный сборник. 1869. № 4. С. 190—192.
- ¹⁷ *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1. С. 168.
- ¹⁸ См.: Узники Петропавловской крепости / Составитель С.М. Серпокрыл. Л., 1969. С. 5—10.
- ¹⁹ РГИА. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 105. Л. 10, 14, 28, 43, 55, 71, 86, 99, 115, 132, 165, 187.
- ²⁰ *Борисов И.* Алексеевский равелин в 1862—65 гг. // Воспоминания (1982). С. 281—283. По архивным данным, Иван Александрович Борисов, «из солдатских детей», состоял с 16 июля 1862 г. писарем при смотрителе Алексеевского равелина. В ту пору ему было 18 лет. Переведен на новое место службы вне крепости в октябре 1865 г. (РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 237. Л. 7; Д. 243. Л. 15; Оп. 2. Д. 1024. Л. 10).
- ²¹ *Лебедев А.А., Сиверс А.А.* Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем за время пребывания его в должности наместника Царства Польского в 1862—1863 гг. // Дела и дни. 1920. № 1. С. 144. 148.
- ²² Дело. С. 148.
- ²³ Наше время. 1862. 11 июля. № 148. С. 589; Московские ведомости. 1862. 22 августа. № 184. С. 1474.
- ²⁴ Искра. 1862. 17 августа. № 31. С. 408.
- ²⁵ Современное слово. 1862. 7 октября. № 103. С. 413.
- ²⁶ Цит. по: *Мещеряков В.* «Школа гостеприимства» Д.В. Григоровича как эпизод из литературных отношений 50-х годов // Русская литература. 1964. № 1. С. 144.
- ²⁷ РГАЛИ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 500. Л. 3; Дело. С. 538—539.
- ²⁸ См.: *Рейнгардт Н.В.* Н.Г. Чернышевский // Русская старина. 1905. Февраль. С. 456; *Пантелеев Л.Ф.* Воспоминания. Л., 1958. С. 342.
- ²⁹ Воспоминания (1982). С. 340—341. См. также: *Кропоткин П.* Записки революционера. СПб., 1906. Т. 1. С. 177.
- ³⁰ Русская мысль. 1899. № 5. С. 42, 43; № 8. С. 6.
- ³¹ Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. Женева. 1892. С. 82.
- ³² *Герцен.* Т. XXVII. Кн. 1. С. 226, 227.
- ³³ Воспоминания (1982). С. 382.

Глава четвертая Расправа

14. В поисках улик

Следствие по делу Чернышевского было поручено вести комиссии под председательством князя А.Ф. Голицына. Первые вопросы подследственному были предложены не в ближайший понедельник после ареста, как полагал торопившийся Потапов, а лишь спустя четыре месяца — 30 октября. Долгоруков и Голицын, превосходившие Потапова умом и опытом, понимали, что обвинение в сношениях с Герценом влекло за собой сравнительно незначительное наказание. Чтобы ужесточить расправу с опасным писателем, нужно было связать его дело с прокламационной деятельностью революционеров. Прямых улик не было, косвенных свидетельств также явно недоставало для вынесения приговора. Требовалось время для тщательной разработки плана и материалов следствия, и комиссия не торопилась вызывать Чернышевского на первый допрос. Однако и к концу октября дело не продвинулось ни на шаг, и, несмотря на четыре месяца упорной работы, продолжало оставаться в силе заключение, которое содержалось в составленной еще до ареста записке Третьего отделения: «Юридических фактов к обвинению Чернышевского в составлении возмутительных воззваний и в возбуждении враждебных чувств к правительству в III отделении не имеется»¹. Ничего, кроме вопроса о Герцене, комиссия не смогла предъявить ни на первом (30 октября), ни на втором (1 ноября) допросах. Третий допрос состоялся только в марте 1863 г.

Но и с обвинением в «противозаконных сношениях с изгнанником Герценом» ничего не получалось. Приписка в письме к Серно-Соловьевичу, как ни искажали ее содержание Потапов и Го-

лицын, не содержала достаточного материала для следствия. Главное — она не была адресована самому Чернышевскому. К тому же Герцен вовсе не делал какой-либо тайны из своего предложения издавать «Современник» за границей: оно было напечатано в «Колоколе» 15 июля 1862 г., всего неделю спустя после арестов, когда весть о них до Лондона еще не дошла.

С Герценом был связан еще один факт, введенный в следствие. Среди отобранных при аресте бумаг Чернышевского нашли письмо Огарёва и Герцена с выскобленными в нем некоторыми словами. Чернышевский объяснил, что получил письмо в таком виде по почте. Адресатом письма исследователи называют Н.В. Шелгунова и датируют его 22 июля 1861 г. Комиссию особенно заинтересовали следующие слова Огарёва: «Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Черн<ышевский> поручил тому господину, который в <...> не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекли юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. <...> Такой скептицизм равен туеядству и составляет преступление»². Чернышевский подтвердил, что действительно просил М.Л. Михайлова, ездившего за границу летом 1861 г., передать Герцену, «чтобы он не завлекал молодежь в политические дела», так как «это повело бы ее только к несчастью» (XIV, 726). В письме имелись также указания авторов на спор Чернышевского с ними по вопросу сохранения общины в России. Ссылаясь на известные «всему литературному миру» факты полемики с Герценом, Чернышевский легко отвел все предъявленные ему обвинения.

В целях усиления обвинения Потапов направил в следственную комиссию 1 августа 1862 г. «Записку из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском», составленную по агентурным донесениям. Этим документом Потапов пытался убедить членов комиссии в виновности писателя, который скомпрометировал себя связями с бунтующим студенчеством, «лжепрогрессистами» и лицами, «сделавшимися государственными преступниками», т.е. М. Михайловым и В. Обручевым³. Некоторые данные «Записки» нуждались в уточнении, и Потапов деятельно продолжил поиски улик.

Сначала он распорядился собрать дополнительные сведения об отношениях Чернышевского с И.М. Стругалевым, работником типографии, где печатался «Современник». Зная из агентурных донесений о дружбе Стругалева с паспортистом В. Феофановым, помощник которого, «как говорят, в настоящее время арестован за написание или распространение какого-то пасквиля», Потапов приказал: «В дополнение к сим сведениям нельзя ли будет спросить

паспортиста Феофанова и его помощника, что им известно об отношении Чернышевского к Стругалеву»⁴. Поскольку эти имена в процессе Чернышевского не фигурировали, можно утверждать, что поиски улик в этом направлении результата не дали.

Одновременно Потапов начал разрабатывать еще одну жандармскую версию, связанную с указаниями на О.С. Чернышевскую, которая поручала своему кучеру спрятать в сарае «какие-то небольшие книжонки, завернутые в бумаге», а спустя несколько дней отвезла «означенный пакет на Васильевский остров в 8-ю линию, в подворье, к монахам». Той же весной 1862 г. живший у Чернышевского А. Студенский давал кучеру брошюру «Что нужно народу?», «которую он, — доносил агент, — читал в кухне при кухарке и двух посторонних людях»⁵. Выяснилось, что в обоих случаях кучер был один — «Никита Тимофеев, Тверской губернии и уезда, Первепенской волости временнообязанный крестьянин, поступил 1862 года 25 июня на квартире Чернышевского, Московской части, Кабинетной улицы, д. Есауловой»⁶. Эти данные и вошли в «Записку». Однако здесь утверждается, будто жена Чернышевского просила спрятать брошюру «Что нужно народу?», тогда как агент предположительно и с большим сомнением указывал на брошюру «Что нужно помещикам?»⁷. Письмом в комиссию от 9 августа Потапов разъяснил: кучер, которому жена Чернышевского поручала спрятать в сарае какие-то книжки, — «временнообязанный дворовый человек барона Рокоссовского Витебской губернии Городецкого уезда, села Дубокраза Федор Потапов Михеев, находящийся ныне в услужении у г. Тевящева в Царском Селе»⁸.

Но и эти дополнительные разыскания оказались бесполезными. Цена подобных агентурных донесений была невысокой даже для инквизитора Голицына.

Пока Потапов «дополнял» свою «Записку», Голицын не терял надежды хоть что-нибудь выудить из арестованных у Чернышевского бумаг. Однако письма ничего не дали — это были обычные деловые корреспонденции, какие мог получать редактор журнала, запретных тем или имен они не касались. Другая масса рукописей оказалась редакционным материалом «Современника», и все пришлось выдать Н.А. Некрасову, который в конце 1862 г. добился разрешения на возобновление своего журнала⁹. Ничего не дали следствию и две небольшие тетради, оказавшиеся просто дневником Чернышевского, написанным вовсе не шифром, как надеялись, а с использованием индивидуальной системы сокращенных слов и выражений. Найденные четыре картонные полоски, напоминавшие ключ к шифру, «заклучают в себе, — пояснил Чернышевский, и в этом

вполне убедились, — какую-то азбучную шалость, составленную неизвестно мне кем из моих родственников» (XIV, 726).

Видя беспомощность комиссии и будучи уверенным в отсутствии сколько-нибудь серьезных улик для обвинения, Чернышевский переходит к активным действиям против нее. В его распоряжении находилось лишь одно оружие, каким обладал писатель в заточении, — письменное слово, письма. К сожалению, не вся его корреспонденция сохранилась. В жандармском архиве оседало лишь то, что, по мнению членов следственной комиссии и руководителей Третьего отделения, могло нарушить тайну следствия.

Первым в следственном деле значится задержанное письмо к жене от 5 октября, хотя по содержанию других посланий видно, что он писал Ольге Сократовне и раньше. Внимание комиссии привлек фрагмент: «...Наша с тобой жизнь, — писал подследственный, — принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» — мужественные, многократно цитируемые всеми биографами Чернышевского слова. Далее перед Ольгой Сократовной разворачивался колоссальный план составления многотомной «Истории материальной и умственной жизни человечества», «Энциклопедии знания и жизни», задуманных с тем, чтобы объяснить людям, «в чем истина и как следует им думать и жить». «Со времени Аристотеля, — писал Чернышевский, — не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (XIV, 456).

Чернышевский объяснял комиссии, что эта часть письма является «иронизированием над собой», так как объявленные планы «не в состоянии исполнить никто на свете» (XIV, 759). Действительно, выполнение задуманных трудов не под силу одному человеку. Однако фразой о самоиронии дело не объяснялось. Обращением к высоким историческим сравнениям заключенный давал понять правительству, что оно имеет дело не с обычным, рядовым арестантом, а с известным журналистом, ученым, судьба которого не может быть решена простым росчерком пера, хотя бы и державного.

Но, увы, в российских жандармских застенках возможно все. Откровенно цинично и трагично по последствиям звучал вывод членов следственной комиссии, увидевших в Чернышевском человека, который «с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка»¹⁰. Талант, тем более страстный и глубокий талант публициста, — первый признак неблагонадежности. Что Чер-

нышевскому оставалось делать еще? Он как мог боролся — иначе он не умел. Пусть жандармы видят, что он бодр духом — «будь и ты спокойна и бодра», — пишет он жене. Пусть предержавшие власть видят: он, чье имя останется в истории, «когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами», в том числе имена его судей, считает свое следственное дело «вздорным», уверен, что против него у них ничего нет и не будет, — «большая половина нашего времени разлуки уже прошла». Пусть комиссия, откладываящая его допрос на неопределенное время, читает его письмо к жене как показание человека, не знающего за собой вины: «ведь сидел же я по пяти и шести суток безвыходно в своей комнате, ведь всегда был я дикарем» (XIV, 457).

Наконец его вызвали на допрос, и он сразу понял, насколько неподготовлены голицынцы вести его дело. «Против меня нет обвинения», — резюмировал Чернышевский в очень сдержанном и полном достоинства письме к Александру II от 20 ноября — и это была правда. «Я смело утверждаю, — писал он в тот же день А.А. Суворову, — что не существует и не может существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству» (XIV, 460, 462).

Комендант крепости оба письма отправил в следственную комиссию, хотя, разумеется, письмо к Суворову должен был отдать по принадлежности. Суворов, узнав об этом, возмутился¹¹, однако сделать ничего не мог: царь сам распорядился не показывать письма Суворову¹².

Прождав безрезультатно две недели, Чернышевский предпринимает новую попытку что-либо выведать у комиссии. Получив извещение о болезни жены (по-видимому, в телеграмме, переданной Сорокиным 1 декабря¹³), Чернышевский просит коменданта отправить жене ответную депешу. Третье отделение препятствий не ставило, и вскоре от О.С. Чернышевской пришла новая телеграмма: «Здорова только ноги слабы целую уведоми депешей когда будешь свободен»¹⁴. 7 декабря Чернышевский составил два варианта ответного текста: 1) «Когда буду свободен, точно не знаю; но скоро. Береги здоровье. Когда поедешь, телеграфируй» и 2) «Приезжай, как поправишься. Мы тотчас увидимся. Я скоро буду свободен. Отвечай депешей» (XVI, 364, 713). Как видим, указания на продолжительность заключения здесь нет, но в обоих вариантах сказано, что будет свободен «скоро». В сопроводительной записке к Сорокину Чернышевский пояснил: он «желал бы, чтобы был отправлен тот, который отмечен № 1, — но только в том случае, если его содержание справедливо». «Я не буду спрашивать, — писал он здесь же, отправлен ли он, следовательно, как мне кажется, тайна того, долго ли еще протянется мое дело, не будет открыта мне отправлением

этой телеграммы. Если же все-таки найдут невозможным послать ее, то я прошу послать проект, отмеченный № 2-м». В постскрипту-ме Чернышевский прибавлял — и в этом добавлении вся суть уловки: «Если справедливость потребует заменить в проекте телеграммы № 1-й слово месяц словами полтора месяца, или другим сроком, то я прошу сделать это. Но только в том случае, если этот срок не больше двух месяцев. Если же справедливость потребовала бы поставить два месяца или срок более долгий, то лучше будет не посылать проекта № 1, а послать № 2» (XIV, 466). Конечно, какой текст отправлен, Чернышевский знать не мог, но по ответу жены он сразу понял бы, насколько долго протянется его заключение. Помимо телеграммы Чернышевский в тот же день, 7 декабря, составил еще письмо к жене — более резкое сравнительно с предыдущим. «Если это письмо, — писал он в предназначенном для Третьего отделения и комиссии вступлении, — не будет найдено удобным к отправлению, то я буду знать, что оно было найдено неудобным к отправлению, и только всего». Письмо не было отправлено. Собственно, адресовалось оно именно Потапову с Голицыным. Здесь важно отметить указание на европейскую публику, «для которой, — писал Чернышевский, — моя история, конечно, уже разгласилась». Это еще одна попытка нажима на следователей, которые должны призадуматься над возможным разглашением за рубежом политического процесса, и попытка Чернышевского не была столь уж наивной, как это может показаться на первый взгляд. Царское правительство порою вынуждено было считаться с мнением заграничной журналистики. Сама Крестьянская реформа 1861 г., как известно, осуществлялась не без оглядки на Запад. Показательно, к примеру, следующее замечание Суворова на докладе «О полицейских мерах», поданном царю Третьим отделением 27 апреля 1862 г.: «Полицейские суды преждевременны, не будем компрометировать себя перед Европой, будем мыть еще наше грязное белье в семье»¹⁵. Чернышевский наверняка понимал слабость и этого своего расчета, но других средств постоять за себя у него не было.

На этот раз беспокойный арестант оказался, с точки зрения властей, особенно несдержан. Он резко обличал агентов политической полиции за неумение вести наблюдение, обвинял тех, кто арестовал его, и тем самым «компрометировал правительство». Он писал 7 декабря 1862 г.: «Арестовали — и подумали: “в чем же мы будем обвинять его?” — у нас это часто бывает: сперва сделают, а потом подумают, как разделаться с тем, что сделали, — обвинений против меня не оказалось, когда вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинения против меня. — Что тут было делать? Человек арестован,

а обвинений против него нет, ведь это, что называется, казус. Вот над этим казусом думали четыре месяца. <...> Пришли наконец к заключению: “скверный казус, обвинений нет как нет, да и только”. Теперь вот месяц думают над этим выводом <...> я читаю, перевожу, курю, сплю, — а там думают, сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком» (XIV, 467–468).

Комендант крепости, согласно инструкции, переправил письмо в следственную комиссию. Голицын распорядился задержать корреспонденцию, а копию направил в Третье отделение. 12 декабря Потапов сделал пометку карандашом на полях: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене, удержанного комиссией. Но он ошибается: извиняться никому не придется». На письме еще одна пометка, принадлежащая шефу жандармов В.А. Долгорукову; «Д<оложено> Е<го> В<еличеству> 14 декабря»¹⁶. Знаменательная «декабристская» дата. Ее Чернышевский проставил на чистом листе бумаги рядом со словами «Что делать?», в которых, помимо всех прочих смыслов задуманного романа, выразилась и напряженность переживаемого момента.

Видя безрезультатность своих обращений, он решает перейти к более решительным требованиям. Их он, не прерывая работы над романом, обозначил в письме к коменданту 22 января 1863 г.: «1. Чтобы ему н е м е д л е н н о было разрешено видеться с его женою, постоянно. 2. Чтобы комиссия пригласила его для сообщения ему тех сведений о положении его дела, которые могут быть сообщены без всякого нарушения какой-либо следственной тайны, — именно, в какое, приблизительно, время дело Чернышевского может быть окончено производством. Чем оно окончится, этого он не спрашивает; это ему известно; но к о г д а оно кончится, — это он желает знать» (XIV, 468–469). В свиданиях ему было сразу же категорически отказано, второй пункт требований и вовсе оставили без ответа. Тогда писатель прибегнул к последнему средству политического протеста — объявил голодовку. Он знал, что ему предстояло делать. Такого царская тюрьма еще не знала. 7 февраля Потапов докладывал следственной комиссии о рапорте доктора Океля от 3 февраля, извещавшего, «что Чернышевский воздерживается с некоторого времени от всякой пищи, вследствие чего заметно ослаб; что цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного»¹⁷. Однако по-настоящему встревожился управляющий Третьим отделением только после письма Чернышевского, объяснившего серьезность своих намерений: в случае невыполнения его требований он продолжит голодовку. «Дело нисколько не шуточное, — писал Черны-

шевский. — С этой минуты, если еще эта попытка не удастся, я уже не буду тревожить никого ни одним словом» (XIV, 470). 11 февраля разрешение на свидание было дано, спустя неделю оно состоялось. Это была первая победа — моральная победа узника над его палачами, вынужденными пойти на уступки.

Примечания

¹ Дело. С. 110.

² Герцен. Т. XXVII. Кн. 1. С. 164; Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859–1864. М., 1983. С. 322–323.

³ Дело. С. 150–153.

⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230, Ч. 26. Т. 1. Л. 17.

⁵ Дело. С. 100, 101, 103.

⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230, Ч. 26. Т. 1. Л. 18, 19.

⁷ Дело. С. 152.

⁸ ГАРФ. Ф. 95. Д. 28. Л. 9–10 об.

⁹ См.: Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг. М.; Пг., 1923. С. 233–235; Летопись. С. 296–297; См. также в сб.: О Некрасове. Статьи и материалы. Ярославль, 1971. Вып. III. С. 309–314.

¹⁰ Дело. С. 387.

¹¹ Там же. С. 285.

¹² Чернышевский М.Н. Пропавшие письма Н.Г. Чернышевского (к характеристике деятельности III отделения) // Былое. 1922. № 18. С. 46–57.

¹³ Летопись. С. 273.

¹⁴ Дело. С. 618.

¹⁵ Там же. С. 130–131.

¹⁶ Там же. С. 618.

¹⁷ Там же. С. 283.

15. Литературная работа. Роман «Что делать?»

В суровых условиях заточения Чернышевский проявил удивительную работоспособность и творческую продуктивность. Разрешение на литературную работу дано в октябре 1862 г., и за полтора года заключения им было написано, по приблизительному подсчету, около 250 печатных листов (более 5 тысяч журнальных страниц)¹. При

жизни писателя печать увидели перевод XV, XVI томов «Всемирной истории» Ф. Шлоссера (отосланы 18 и 28 декабря 1862 г.) и роман «Что делать?» (1863). Остальное осело в жандармских папках или в личном архиве Чернышевского после передачи родственникам части рукописей.

Роман создавался в условиях разворачивающегося следственного процесса Чернышевского и заключал в себе этот невидимый читателю срез личной драмы автора.

Работал он чрезвычайно быстро. Предшествующие первой главе страницы («Дурак», «Первое следствие дурацкого дела», «Предисловие») написаны за три дня. До конца года закончена большая первая глава «Жизни Веры Павловны в родительском семействе» и близилась к завершению вторая — «Первая любовь и законный брак». Новый 1863 г. начался с особых осложнений в отношениях властей к подследственному. Наступившая после двух первых допросов пауза затягивалась, Третье отделение и следственная комиссия упорно отказывали в свиданиях с женой, задерживали ее письма — эти действия раздражали своей грубостью, полным пренебрежением к просьбам заключенного. К концу января третья глава «Замужество и вторая любовь» уже была доведена до «Третьего сна Веры Павловны», но в дни, предшествующие началу голодовки, никак не работалось. Вечером 24 января передал очередную записку коменданту с требованием ответить на запрос, посланный 22 января (выше мы приводили текст этой записки). 25 января написано всего несколько строк о встрече Веры Павловны с Бозио, которая советует прочесть дневник «В.Л.». В течение этого дня никаких известий от коменданта не поступило. 26 января роман продвинулся всего на пять строчек. На следующий день принесли письмо от жены, в котором она сообщала о встретившихся затруднениях в получении документа на проживание в Петербурге. В новой записке от 27 января просит коменданта крепости «сделать то, что от него зависит, чтобы избавить больную женщину от полицейских — для чести полиции Чернышевский предполагает только — недоразумений» (XIV, 469). Он терпеливо сносил невзгоды, связанные лично с ним, но для спокойствия жены готов был на любые жертвы. 27 января снова не писалось, а на следующий день он остановился на сцене, где Вера Павловна читает свой дневник, и в этот день начал голодовку. Он принял решение идти в этом, как выразился чуть позднее, «до конца». 28 января написал почти полную страницу о прочитанном Верой Павловной в дневнике: о встрече мужа с Рахметовым («ригористом») и его товарищами, об открытии швейной мастерской — важные для идейного содержания романа темы.

В дневнике Вера Павловна признается себе, что не любит мужа. Описанию наступившего в ее судьбе поворота писатель посвятил последующие страницы, написанные во время голодовки, продолжавшейся до 7 февраля. Работа шла без перерывов. За десять дней голодовки написано тридцать страниц большого формата².

Прекращая голодовку 7 февраля, Николай Гаврилович переходит в романе к подглавке «Особенный человек», посвященной Рахметову. Совпадение романной разработки характера Рахметова с напряженнейшими днями пребывания автора в крепости наполняется особым смыслом. Твердость характера Рахметова, глубокая убежденность в правоте своего дела, демонстрируемое героем единство убеждения и поступка легко проецируется на проявленное самим Чернышевским в дни голодовки мужество, подвергнутое решительному испытанию. «Вижу, могу», — говорил Рахметов Кирсанову, объясняя свое лежание на гвоздях (XI, 207). Примерно те же слова в ситуации тяжелого испытания говорил и автор романа коменданту крепости 7 февраля³: «...Я держу свой организм в таком состоянии, что результаты, которых я достиг в предыдущие 10 дней, нисколько не пропадают; и если Ваше Превосходительство еще недостаточно убеждены, я возобновлю свое начатое, без всякой потери времени, с прежним намерением идти, если нужно, до конца» (XIV, 469–470).

В течение февраля роман был почти полностью завершен. Над окончанием произведения Чернышевский работал 21–30 марта. Весь текст, опубликованный в «Современнике», сопровождается конечной датой 4 апреля. Таким образом, роман объемом в 432 журнальные страницы создан за 112 дней, если иметь в виду весь период полностью, с 14 декабря по 4 апреля.

Роман опубликован в «Современнике» (№ 3, 4, 5) за 1863 г. с полной подписью Чернышевского.

Факт появления в печати и произведения, и имени политического заключенного до сих пор не находит всестороннего объяснения. Изучение источников позволяет многое понять в этой действительно сложной и основательно запутанной истории.

Первое упоминание о романе содержится в письме Чернышевского к коменданту крепости от 20 декабря 1862 г. — просил «разрешения купить и переводить XVII том Всеобщей истории Шлоссера, также дозволения продолжать начатый им беллетристический рассказ»⁴. К этому времени близилась к окончанию первая глава. «Всемирная история» Ф. Шлоссера начала выходить под редакцией Чернышевского еще в 1861 г., и власти не решались прервать уже печатающееся издание. Над переводом трудился и арестованный Н.А. Серно-Соловьевич. В архиве хранится, напри-

мер, следующее его обращение к коменданту крепости от 7 октября 1862 г.: «Сделанный мною перевод должен быть напечатан. Рукопись я просил бы передать моему брату Владимиру Александровичу Серно-Соловьевичу, по возможности не задерживая ее слишком долго, так как это том VII, а в настоящее время уже печатается том VI»⁵. Чернышевский перевел и передал на волю XV и XVI тома, о работе над которыми сообщал С.Н. Пыпину 1 ноября 1862 г. (XIV, 459)⁶. Разрешили к печати перевод, разрешили продолжать и «начатый беллетристический рассказ». На документе, подтверждающем дозволение, Чернышевский сделал пометку: «Я напишу об этом г. А. Пыпину. 22 дек. 1862 г.»⁷.

Письмо Чернышевского (оно не сохранилось) пришло к А.Н. Пыпину вечером 1 января 1863 г. Евг.Н. Пыпина в своем послании родителям в Саратов пересказала его содержание таким образом: «Письмо опять очень спокойное; он тут и шутит, и толкует о своих делах, и рассказывает, что он делает. Кроме переводов, которых у него много, он еще пишет повесть и говорит, что она выходит совсем не дурная. Просит нас не пугаться, когда мы увидим его, — потому что он теперь похож на какого-нибудь льва, с рыжей-шей бородой и усами, которые оказываются к тому же довольно густыми. Главная его забота — это Ольга Сократовна. Все пишет, чтобы отсылали ей все деньги, которые у него есть. И повесть вздумал писать затем, чтобы иметь лишние ресурсы. Вот наделает шуму своим появлением эта повесть. Все, конечно, с большим интересом прочтут ее»⁸. Упоминание о материальной стороне дела в письме, внимательно читаемом в следственной комиссии, имело, конечно, и дополнительный отвлекающий смысл. Между прочим, в одном из писем к И.А. Панаеву А.Н. Пыпин сообщал, что Некрасов обещал за «Что делать?» выдать О.С. Чернышевской 4 тыс. руб. сер.⁹

Первые две главы романа Чернышевский передал 15 января вместе со своим письмом на имя О.С. Чернышевской. Следственная комиссия поручила чтение рукописи чиновнику особых поручений при Третьем отделении А.В. Каменскому, который не впервые исполнял поручения такого рода. Например, именно он по заданию А.Ф. Голицына разбирал рукописи и корреспонденцию Чернышевского после его ареста¹⁰, а также читал рукописи «Современника», взятые у Чернышевского на квартире (XVI, 713)¹¹. Через десять дней, 26 января, роман, по заключению А.В. Каменского, не содержащий ничего относящегося к следственному делу, переправлен петербургскому обер-полицмейстеру с разрешением печатать «при соблюдении установленных для цензуры правил»¹². В письме от 4 февраля Евг.Н. Пыпина сообщала: «Мне не удалось прочесть все

присланное, потому что она (рукопись. — *А. Д.*) скоро пошла к Некрасову, и мы на днях получим ее в корректуре. Пройдет ли она? Кажется, запрещать в ней нечего», и спустя пятнадцать дней: «Присланное прежде уже есть в корректуре и цензурой пропущено»¹³.

В этот промежуток времени случилось событие, грозившее сильно задержать появление романа в печати. Получив рукопись, Некрасов по дороге в типографию 3 февраля обронил ее. На другой же день он дал объявление в газете, пообещав нашедшему рукопись 50 руб. сер., и вскоре рукопись нашлась. Вся эта волнующая история подробно рассказана в воспоминаниях А.Я. Панаевой¹⁴. 9 февраля вышел в свет первый после восьмимесячного запрета (сдвоенный) номер «Современника» за 1863 г. с объявлением на обложке: «Для «Современника», между прочим, имеются: “Что делать?” роман Н. Чернышевского (начнется печатаньем со следующей книжки)».

Всего вероятнее предположить, что Некрасов дал объявление до прохождения первых двух глав через цензуру. Сопровождающие рукопись разрешительные надписи Третьего отделения вселяли уверенность в ее благополучное будущее. Содержание печатающихся глав, действительно, не заключало ничего настораживающего цензуру: намек на едва ли не банальную историю несчастной любви со всеми ее атрибутами вплоть до самоубийства, жизнь девушки в доме родителей, мечтавших выдать ее замуж повыгоднее, разрыв с этой жизнью. Эти рассказы не задержали внимания жандармского чиновника Каменского. Не увидел в них предосудительного и цензор «Современника» В.Н. Бекетов. «Кажется, запрещать в ней нечего» — мнение Евг.Н. Пыпиной, таким же было впечатление всех, кто читал эти первые две главы. И когда после их опубликования в мартовской книжке «Современника» цензор О.А. Пржецлавский, приложивший руку к прежним гонениям на статьи Чернышевского, принялся за контрольный придирчивый разбор, то и он не нашел ничего, кроме попытки автора «составлять противовесье характеристике нигилизма, воплощенной Тургеневым в лице Базарова» (между прочим, замечание, не лишнее наблюдательности); у Чернышевского, — резонно полагал цензор, не нашедший другого общественного содержания в главах романа, «нигилизм сознает потребность очиститься от возводимой на него характеристики чистого цинизма», а это не могло вызвать опасений власть предержащих. По заключению цензора, «вообще содержание романа не предосудительно»¹⁵.

Тем временем продвигалась к печати очередная третья глава. Следственная комиссия получила ее 12 февраля, и чтение поручается уже другому члену комиссии — генерал-майору военного министерства П.Н. Слепцову. Тот ее долго не задерживает, затем она

попадает, как и положено, к цензору «Современника». 28 апреля журнал выходит в свет. 15 мая Пржецлавский пишет второй отзыв, на этот раз резкий и непримиримый: «Извращение идеи супружества», «профанация божественного начала», противопоставление «коренным началам религии, нравственности и общественного порядка», — сочинение признано «вредным и опасным»¹⁶.

27 апреля и 18 мая Бекетов подписал в печать журнал с последними главами «Что делать?», о майском отзыве Пржецлавского он, разумеется, знать не мог. Главы на сей раз Чернышевский посылал в комиссию частями, в четыре приема, 25, 27, 30 марта и 6 апреля¹⁷, так они, судя по письмам Евг.Н. Пыпиной, частями и поступали в типографию. В таком дробном виде части рукописи, наиболее острые по содержанию, воспринимались в следственной комиссии более затрудненно, и некоторый расчет на это обстоятельство Чернышевский мог вполне предусмотреть.

Последнюю часть рукописи Чернышевский передал коменданту крепости вместе с «Заметкой для А.Н. Пыпина и Н.А. Некрасова», в которой поделился творческими планами относительно продолжения «Что делать?» «...И Рахметов, и дама в трауре, — объяснял он, — на первый раз являются очень титаническими существами; а потом будут выступать и брать верх простые человеческие черты, и в результате оба окажутся даже людьми мирного свойства и будут откровенно улыбаться над своими экзальтациями» (XIV, с. 480). В научной литературе высказывалось предположение, совершенно справедливое, что Чернышевский и не собирался продолжать роман, и намеченное в «Заметке» «снижение» образов, некоторое их «развенчание» имело единственной целью убедить членов следственной комиссии и цензуру в ценности для автора главного в романе — любовной интриги, получающей развитие в отношениях Рахметова и дамы в трауре¹⁸.

Как мы видели, цензурная история «Что делать?» связана с именами члена голицынской комиссии П.Н. Слепцова, А.В. Каменского, а также цензора «Современника» В.Н. Бекетова. Определить степень вмешательства каждого из них в текст романа, ввиду отсутствия самого источника (беловая рукопись и корректуры до сих пор не найдены), невозможно. По крайней мере, помощник смотрителя Алексеевского равелина И. Борисов, читавший рукопись романа в подлиннике, утверждал, «что цензура III отделения в очень немногом исправила его»¹⁹. А.Н. Пыпин свидетельствовал: роман пропущен «без всяких исключений»²⁰.

Взрывную силу романа власти почувствовали сразу по окончании его опубликования и появлении критических откликов. Уже

14 июня 1863 г. В.Н. Бекетов, объявленный виновником пропуска романа в свет, подал в отставку — «по болезненному моему состоянию», как писал он в прошении об увольнении²¹. В письме к Н.А. Некрасову от 21 июня 1863 г. Бекетов объяснил: подать прошение об отставке ему было «велено»²². Впоследствии Бекетов ссылался на разрешительные надписи Третьего отделения, мы же «со своей стороны, — говорил он, — проверяли, нет ли чего против верховной власти — и вообще, в какой мере благонадежны умозаключения и убеждения автора»²³. Считать, что Бекетов был ни при чем и стал жертвой случая, нельзя. Но трудно не признать справедливость выводов исследователей, писавших о пиетете формального мировосприятия, когда чиновник из общей цензуры проникался соответствующим трепетом перед членами следственной комиссии и Третьим отделением и пропускал роман, особенно в него не вникая²⁴.

Существует свидетельство, согласно которому рукопись «Что делать?» была сопровождена личной разрешительной надписью Потапова, и принадлежит оно В.А. Цеэ, председателю Петербургского цензурного комитета с марта 1862 по май 1863 г. В письме к А.В. Головнину от 9 мая 1882 г. он советовал для убедительности «посмотреть в Архиве цензурного комитета подлинный экземпляр романа “Что делать?”», на котором я, — сообщал Цеэ, — собственными глазами прочел: Печатать дозволяется, Свиты Е<го> И<мператорского> В<еличества> генерал-майор Потапов. <...> Вот факт, за верность коего я ручаюсь честью»²⁵. Со ссылкой на того же Цеэ близко знавший его Ф. Мейер, редактор петербургской газеты на немецком языке («St.-Peterburger Zeitung»), писал в воспоминаниях, что роман Чернышевского «был пропущен в печать не кем иным, как начальником Третьего отделения генералом Потаповым, подпись которого и до сих пор сохраняется на оригинале “Что делать?”»²⁶.

В.А. Цеэ говорит о рукописи романа с надписью Потапова, но ведь роман, как мы знаем, выходил из камеры Чернышевского только частями, Потапов в своих руках целиком его никогда не держал. Если росчерк управляющего Третьим отделением и существовал в действительности, то он мог быть сделан, вероятно, лишь на какой-либо одной из частей. К тому же в архиве цензурного комитета рукопись романа не могла задержаться, поскольку была допущена к печати, и, следовательно, сразу поступила в редакцию журнала.

Тем не менее факт участия влиятельных чиновников в пропуске романа налицо. И не только напечатали его, но еще и разрешили оставить под ним полную подпись автора, политического узника. Какими-то тактическими соображениями хозяева положения ру-

ководствовались определенно. Какими же? Высказывалось предположение о «невероятной провокации», устроенной Потаповым и заключающейся в намеренном содействии властей продвижению «Что делать?» в печать «для дискредитации неопытного романиста в глазах общественности, а, может быть, и для более веских политических обвинений»²⁷. Подобная интерпретация события вряд ли может быть принята даже с оговорками. Трудно допустить, чтобы сановники, разгадав идеологическую силу романа, отважились бы пропустить его в печать в целях «дискредитации неопытного романиста в глазах общественности». Власти отлично понимали, какая именно «общественность» могла бы подняться против романа, а какая сделать его своим знаменем. К тому же выводов внутренней цензуры об идейной направленности произведения вполне было бы достаточно для дополнительного обвинения автора в антиправительственной деятельности.

Вспомним, как Долгоруков и Потапов опасались изъявлений общественного недовольства или даже протеста в первые два дня после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича. Снять напряженность в обществе, продемонстрировать объективность и гуманность правительства в отношении к политическим заключенным (обоим предоставили право писать и печататься), закрепить в общественном мнении мысль об отсутствии предвзятости в разбирательстве их следственных дел — такова, думается, ближайшая тактика властей в данном конкретном случае. И в известной мере власти добились своего. После появления в печати романа за подписью Чернышевского слухи о скором его освобождении явно усилились. «Вчера, — сообщала, например, Евг.Н. Пыпина 2 апреля 1863 г., — встретили одну знакомую, которая стала спрашивать, у нас ли Николая. Ей сказали, что он выпущен. Это, кажется, — прибавляла Евг.Н. Пыпина с грустью, — было 1-е апреля, но этот слух бывал и прежде»²⁸.

В конечном счете власти явно просчитались с опубликованием романа, всколыхнувшего всю читающую Россию. Сочинение Чернышевского стало «явлением настолько заметным, настолько ярким, — писал исследователь еще на заре изучения произведения, — что его историческая роль на общем фоне эпохи сама собою выделяется с особенно резкой значительностью. <...> Волновавшие всех освободительные идеи в романе вышли за пределы мечты и теории и наполнили сознание живым стремлением к практическому немедленному приложению. Роман сделался учительной книгой. Он заражал пламенной надеждой на счастье, верой в живую достижимость влекущих идеалов и призывом работать вот теперь, сейчас для их немедленного осуществления»²⁹.

Чернышевский создал социально-философский, публицистический роман со своей оригинальной композицией, повествовательной манерой, образной системой. Персонажи «Что делать?» Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, Рахметов, Никитин, Мосолов имели своих прототипов, в них нашли отражение многие качества людей, которых Чернышевский лично знал: его соратники по «Современнику» Н.А. Добролюбов, Н.В. Шелгунов, М.Л. Михайлов, участник освободительного движения Н.Л. Тиблен, одна из первых женщин-врачей М.А. Бокова-Сеченова, известный врач-физиолог И.М. Сеченов. Прототипом Рахметова, по голосу современников, послужил гимназический ученик Чернышевского П.А. Бахметев, уехавший на Маркизовы острова с целью организовать там земледельческую коммуны³⁰. «Рахметов это Бахметев Пав. Алек. Помните вы его? Здесь, впрочем, мы об этом не говорим. Николай Гаврилович много знал о нем такого, чего мы и не подозревали», — писала Евг.Н. Пыпина в Саратов 23 апреля 1863 г.³¹ Впоследствии высказывалось мнение, что «лучшие черты Рахметова» Чернышевский заимствовал у Ф.Ф. Резенера³². Характеристика людей типа Рахметова завершалась в романе опозитизированным обобщением: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех, без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (XI, 210).

Еще в рецензии на стихотворения Н.П. Огарёва (1856) Чернышевский, рассуждая по поводу необходимости появления нового героя в литературе, преемника Печорина, Бельгова и Рудина, писал: «Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостной любовью смотрит на нее, мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может властвовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями» (III, 567–568).

В ту пору суждения Чернышевского могли в известной степени возникнуть под влиянием знакомства и бесед с Добролюбовым. Но могли иметь место и автобиографические реминисценции — отзвук давних, со времени юности размышлений, отразившихся в собственной незаконченной повести Чернышевского «Теория и практика»³³. Главной чертой личности «преемника» выставлено умение «свою жизнь согласить с своими убеждениями» — то как раз, что со-

ставляло смысл нравственной программы самого Чернышевского и стало характеристикой «новых людей» в «Что делать?».

Опубликование произведения узника Петропавловской крепости вызвало в литературе и обществе живое обсуждение.

При существенном разбросе мнений³⁴ все авторы единодушны в одном — в признании слабой художественности произведения. Сам Чернышевский не настаивал на художественности своего сочинения в общепринятом содержании понятия. «Мой рассказ, — пояснял автор в “Предисловии”, — очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом», и «все достоинства повести даны ей только ее истинностью», поэтому в ней «все-таки больше художественности, чем в них» (XI, 11). Приведем комментарий Д.И. Писарева, не отрицающего отсутствия в «Что делать?» художественности и не меняющего смысла эстетической категории «художественность»: «Сила Чернышевского заключается не в самородном художественном таланте, а в широком умственном развитии», «оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное», роман «создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли»³⁵. Примерно о том же говорили Г.В. Плеханов и Н.А. Бердяев³⁶, философы разных взглядов. Выявлению художественных недостатков романа посвятил значительную часть своей статьи поэт А.А. Фет³⁷. Идеальный пафос выступления Фета, писавшего при участии литератора В.П. Боткина, составило неприятие социальных идей автора «Что делать?» и связанных с ними утопических страниц романа. В этой критике содержалось немало верных наблюдений относительно слабости художественной стороны романа, но в целом она была далека от объективного разбора. В конечном счете с «оригинальностью» романа приходилось так или иначе считаться всем, кто по какому-либо поводу обращался к оценке этого произведения, «достоинства и недостатки» которого, словами Писарева, «принадлежат ему одному».

Наибольшее внимание критиками было уделено воплощенной в образной системе романа этической теории его автора, опирающейся, по формуле самого Чернышевского, на «антропологический принцип в нравственных науках» и получившей название «разумного эгоизма». Называя эту систему «этикой утилитаризма» и «плоским учением», религиозный философ В.В. Зеньковский в то же время видит то, мимо чего прошел, например, Плеханов, упрекнувший Чернышевского в излишней рассудочности этического учения

и близости его к просветительству XVIII века³⁸. Проводя постоянно мысль о готовности естественных наук предоставить материалы для «точного решения нравственных вопросов» и эгоизме как основе всех корыстных и бескорыстных движений в человеке, Чернышевский в то же время включает в этот проблемный круг мысль о том, что эгоистический корень всех движений «не отнимает цену у героизма и благородства», и тем самым, пишет Зеньковский, «не устраняет автономии оценивающей силы духа». Дело, конечно, в осознанном понимании характера выписанных в «Что делать?» «новых людей», несущих собою, по точным словам Н.С. Лескова, «образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений»³⁹, образы, как писал В.В. Зеньковский, «положительного человека», «человека вполне», «цельного и внутренне гармонического»⁴⁰.

«Новые люди» в романе «Что делать?» честны, полны жажды деятельного добра, не мыслят личного счастья без счастья других. Грубому эгоизму «новые люди» противопоставили эгоизм «разумный», эгоизм просвещенного человека, желающего себе выгоды, но не за счет ближнего. Нравственная чистота «новых людей», призыв к человеку становиться добрее и в то же время непримиримее ко злу и пошлости, согласовать свои убеждения с поступками — таковы исходные начала нового литературного типа, о котором размышлял писатель-демократ.

Развернутая в суждениях и поступках персонажей «Что делать?» теория «разумного эгоизма» истолкована через призму христианских (общечеловеческих) ценностей религиозным философом А.М. Бухаревым. «С таким эгоистическим расчетом можно и не отказываться от добродетели и нравственности»⁴¹, — отмечает он. Христианскую мораль критик извлекал из описаний мастерских и утопических страниц романа, хотя и не разделял идеологические установки романа⁴².

Эта оценка была энергично поддержана Н.А. Бердяевым, уделившим Чернышевскому содержательные страницы в историософском исследовании русской идеи. «Роман Чернышевского, — по убеждению Бердяева, — все же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было, главным образом, моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был оклеветан представителями правого лагеря, начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего было к лицу. В действительности, мораль “Что делать?” очень высокая»⁴³.

Другой критик, Н.Н. Страхов, был иного мнения, «новых людей» он иронично назвал «счастливые люди», и вся его статья пронизана

сарказмом⁴⁴. Но в рукописи первой редакции этой статьи, по воспоминанию Ф.М. Достоевского, который собирался опубликовать статью в своем журнале, «именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора»⁴⁵. Достоевский запомнил, статья Стрехова не появилась в только что закрывшемся журнале Достоевского и была опубликована в 1865 г. в «Библиотеке для чтения» в другой редакции.

Как видим, Бухарев и Бердяев, по своему мировоззрению стоявшие, подобно Фету и Боткину, далеко от взглядов Чернышевского, все же находили возможным объективно оценить его значение как автора некогда нашумевшего романа, глубоко нравственного в своей основе и на этой линии получающего некоторые точки соприкосновения с общечеловеческими моральными ценностями. Оба убеждены, что, словами Бердяева об авторе «Что делать?», «глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами»⁴⁶.

В задачи научной биографии не входит детальный анализ романа⁴⁷. Но творческая история произведения, рассмотренная нами достаточно подробно, обязывает упомянуть, что роман Чернышевского — первое сочинение из задуманного автором обширного плана беллетристических работ, связанных с идеей создания «Энциклопедии знания и жизни», и поэтому «Что делать?» следует воспринимать в контексте этого замысла. В письме к жене от 5 октября 1862 г. Чернышевский писал, что эту «Энциклопедию» следовало бы переработать «в самом легком популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов» (XIV, 456).

И эта обширная программа, хотя и не под названием «Энциклопедия знания и жизни», выполнялась писателем, приступившим в стенах Петропавловской крепости к созданию ряда беллетристических произведений, однако по сравнению с «Что делать?» оставшихся незаконченными⁴⁸.

Сложным художественным образованием отличался роман «Повести в повести». Главное действующее лицо его — Алферий Алексеевич Сырнев, пропагандист внедрения естественных наук в область

общественных отношений. После его смерти преемником Сырнева становится Борис Николаевич Алферьев в романе «Алферьев». Теоретические положения Алферьев постоянно проверяет сферой частной жизни, доказывая их реалистичность, жизненность, огромную моральную притягательность. С проблематикой «Повестей в повести» тесно связаны автобиографические рассказы Чернышевского о старине, позднее опубликованные исследователями под названием «Автобиография». Это сочинение чаще всего рассматривается как чисто биографический источник. Между тем этот материал имеет и самостоятельное художественное значение и должен быть включен в общий контекст идейно-философской и общественно-нравственной системы, охватывающей все созданное Чернышевским в Алексеевском равелине в области художественной прозы. Называя свой труд «книгой» (I, 683), автор, вероятно, предполагал опубликовать его отдельно. Но затем он переработал роман «Повести в повести», увязывая с ним и «Автобиографию», посвященную детским годам героя и предназначенную «дать читателю понятие о том, как и что влягала жизнь в голову и в сердце мне в молодости, — а это понятие, — писал автор, — я хочу дать затем, чтобы можно было по мне приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями выросло то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века» (I, 567). Воспоминания о старине должны были предварять изображения Сырневых, Алферьевых, Лопуховых, Кирсановых. В автобиографических записках ставилась цель развернуть в конкретных картинах формулу, которую предлагает герой: «У меня есть своя теория, которая одним из своих оснований имеет и мое личное знакомство с обыденною жизнью массы, — а значительная доля этого знакомства приобретена мною еще в детстве» (I, 643)⁴⁹. Демократизм как основа мировоззрения и поведения всех героев беллетристических произведений Чернышевского противопоставлен рутине, косности, рабскому повиновению, деспотизму — всему старому миру, подавляющему естественные человеческие желания добра, счастья и равноправия. К «Автобиографии» непосредственно примыкает рассказ «Наша улица», включавший два сюжета под названиями «Корнилов дом» и «Жгут».

Обращение Чернышевского к литературному творчеству, несомненно, имело вынужденный характер, в качестве беллетриста он выступал перед читателями впервые. Однако опыт художественного письма у него уже был немалый. Путь литературного ученичества, неизбежный у каждого автора, он прошел еще в студенче-

ские годы, и считать его новичком в художественно-литературных занятиях неправомерно⁵⁰. Из-под пера узника Алексеевского рavelина выходили сочинения зрелые, хорошо продуманные, а его роман «Что делать?» прочно вошел в историю русского и мирового романа.

Работу в области художественной прозы Чернышевский постоянно сочетал с переводами. Так, занимаясь романом «Что делать?», он продолжал переводить с немецкого «Всемирную историю» Ф. Шлоссера, 21 декабря 1862 г. начал перевод с английского «Истории Англии» Маколея, а в феврале и марте 1863 г. переводил с немецкого «Историю XIX века» Гервинуса. Сочинение романа «Повести в повести» осенью 1863 г. шло параллельно с работой над «Рассказом о Крымской войне, по Кинглеку». Зимой 1863/64 он деятельно занимался переводом статьи Крика «Племена и народы» и «Истории Соединенных Штатов» Неймана. До мая 1864 г. трудился над переводами сочинений и переписки Руссо, мемуаров Сен-Симона, биографией Беранже⁵¹. Возможно, «Алферьев», «Мелкие рассказы», «Рассказ о Крымской войне, по Кинглеку», «Исповеданное Жан-Жаком Руссо» должны были войти в состав второй части романа «Повести в повести»⁵². Однако все написанное и переведенное накрепко замуравывалось в архивном склепе Третьего отделения. До Петербургского цензурного комитета добралась лишь одна рукопись — «Рассказ о Крымской войне, по Кинглеку», и эта история заслуживает подробного изложения.

Передавая рукопись петербургскому обер-полицмейстеру 8 октября 1863 г., Потапов просил «предварить Пыпина, что книга Кинглека, по которой составлена настоящая статья, цензурным комитетом к переводу на русский язык не дозволена»⁵³. Однако А.Н. Пыпин 7 декабря того же года все же обратился в Петербургский цензурный комитет с просьбой разрешить печатание рассказа, «которое важно в денежном отношении для семейства г. Чернышевского». Но, как принято считать в научной литературе, «разрешения не последовало, так как цензурное ведомство было уже информировано о мнении руководителей Третьего отделения»⁵⁴. В действительности дело обстояло иначе. Рукопись Чернышевского немедленно была направлена для чтения цензору. Им оказался Л.Л. Штюмер, цензуравший в 1858 г. «Военный сборник» и доставивший в ту пору Чернышевскому немало неприятнейших хлопот⁵⁵. 12 декабря 1863 г. Штюмер, теперь уже генерал-майор, отправил на имя М.Н. Турунова свой отзыв, дышащий неутихшей злобой против находившегося в крепости писателя. Приводим этот отзыв с сохранением всех особенностей оригинала.

«Мнение о рукописи г. Чернышевского под заглавием “Рассказ о Крымской войне (по поводу книги Кинглека)”».

По самому заглавию видно, что эта рукопись есть не перевод, не компиляция и не рецензия чужого труда, а более или менее самостоятельное русское сочинение, для которого книга Кинглека служила только канвой. Г. Чернышевский заимствует из нее некоторые факты даже с их оценкой, но все остальное объясняет по своему разумению и весьма искусно удерживает везде унисон между своими и им заимствованными частями рассказа. От этого чужая канва становится почти незаметною, а рассказ приобретает особенно яркий русско-английский колорит.

После того немногого, что у нас доньше напечатано о восточной войне или точнее об одних военных действиях на Дунае и в Крыму, сочинение, в котором раскрываются настоящие будто бы причины возникновения Крымской войны, — сочинение даровитого автора, написанное с свойственною ему пылкостью изложения, было бы, конечно, весьма любопытно для нашей публики, но вместе с тем оно могло бы возбудить вновь у нас и особенно в Европе те толки и возгласы, которые в свое время причинили нам довольно много вреда. Очевидно, что пропуск подобной рукописи требует особой осмотрительности. При настоящих политических обстоятельствах появление русской книги такого содержания с дозволения цензуры не осталось бы за границей незамеченным.

В первой половине рукописи (до 91-го листа) автор заимствует почти все из Кинглека и, только прибавляя кое-где свои замечания, излагает биографию Луи Наполеона и все страшные и мерзкие подробности *coup d'état*^{3*} 2-го декабря. Во второй (листы 91—151) изложены по Кинглеку известные всем из газет того времени беседы Николая I с лордом Сеймуром и весьма обширный разбор их, сделанный г. Чернышевским.

Первая половина есть в высшей степени едкий, оскорбительный и злостный памфлет против нынешнего императора французов. Оскорбить более, не говорю уже монарха, но простого мещанина или рядового солдата решительно невозможно. К сожалению, автор упустил из виду, что подобный памфлет в лице одного из венценосцев, оскорбляющий всех других и потрясающий самое основание монархической власти, имел бы какое-то уродливое значение в русской печати, обнаруживавшей весьма недавно (по делу конгресса) сочувственное письмо нашего государя к Наполеону III. В первой половине рукописи встречаются также довольно мягкие отзывы о *красных и социалистах*. Таким образом, вся первая половина руко-

^{3*} Государственный переворот (франц.).

писи не может быть пропущена в печать на основании пунктов X и II временных Высочайше утвержденных по цензуре правил.

Во второй половине рукописи автор изобразил личный характер императора Николая I и, признав его “во всяком случае правителем солидным”, объясняет подробно значение бесед с Сеймуром. — “В этих беседах, — говорит автор, — нет ничего дурного или нерассудительного, но, читатель! — покойный государь действительно сделал напрасно то, что сделал, и если я (т.е. автор) не ошибаюсь, то почти все русские дипломаты (?) находили, что он (т.е. государь) поступает неосновательно”. Чтобы убедить Европу в безопасности предоставления константинопольского престола младшей линии русской династии, автор между прочим указывает на вражду и взаимные убийства русских удельных князей, несмотря на соединявшие их связи родства. Наконец, оправдав беседы с Сеймуром, автор сваливает все бедствия Крымской войны на кого же? — на болтовню большинства русской публики об известном куполе Св. Софии (стр. 146 “ура! наш царь даст нам купол”) — большинство, которое будто бы “не уважало себя, не понимало, что хоть оно Маниловы, Собакевичи и Чичиковы, но преимущественно Маниловы, люди ничтожные, что хоть они и сами считают себя людьми ничтожными и презренными” — но ведь в глазах Европы они представляют русский народ и т.д. речь идет все о “глупой болтовне”, о “шушуканиях большинства достолюбезной массы русского просвещенного общества”. Этою-то глупую болтовню, по заключению автора, воспользовался Луи Наполеон и возбудил Крымскую войну. — Итак, во второй половине рукописи заключается своеобразное оправдание покойного Государя и гневное нападение на большинство просвещенной русской публики, более важное, по моему мнению, чем насмешка над одним из сословий. Таким образом, и вторая половина рукописи не может быть пропущена в печать на основании пунктов I и VII действующих цензурных правил.

Содержание рукописи обнаруживает, что она только по заглавию кажется сочинением *военным*, — никакого описания военных действий в ней нет, о русской армии, о русском военном ведомстве и русской военной администрации не сказано ни слова. Может быть, автор и полагает говорить об этом впоследствии, но теперь он изложил только свои *политические суждения* о причинах Крымской войны и предшествовавшие борьбе *исторические события*. Эти предметы указывают сами собой, что рукопись г. Чернышевского подлежит рассмотрению общей цензуры.

Хотя в дополнительной специальной цензуре этой рукописи собственно в военном отношении едва ли будет предстоять надоб-

ность, но если б она встретилась, то для сего достаточно будет исключить из рукописи суждения автора о войске: что будто бы оно составляет машину, готовую действовать для какой бы то ни было цели; что в отличной армии для пользы будут по команде сражаться один с другим как гладиаторы; что если для резни народа настоящие начальники не надежны, то довольно их переменить; что раздраженные против народа войска тем успешнее против него действуют, что для баталионного командира закон не аксиома; что увеличивать содержание войска значит увеличивать подкупы; что только из страха постановлено было (5-го декабря) все сражения с внутренними врагами, инсургентами считать в такую же честь и давать такие же награды, как за битвы с иноземными неприятелями и т.п. Наконец, так как французская армия пользуется репутациею одной из лучших в Европе, то ввиду нынешних прискорбных событий в Польше полезно было бы исключить из рукописи слишком эффектное описание страшных бесчинств, совершенных французскими войсками против жителей Парижа с 2-го на 4-е декабря».

На полях рукописи резолюция М.Н. Турунова: «Хранить при деле, а рукопись запретить». На первой странице сверху другим подчерком: «Рассказы о Крымской войне не могут быть дозволены к напечатанию. 21 января 1864»⁵⁶.

Судя по надписям, рукопись в гражданскую (общую) цензуру и не поступала, она была запрещена на основании разбора, представленного Штюмером.

Предвзятость отзыва очевидна. Она особенно бросается в глаза, когда военный цензор, приговорив обе части рукописи к безусловному запрещению, вдруг спохватывается и сообщает, что собственно военной цензуре тут работы мало, достаточно исключить лишь отдельные суждения автора и что рукопись подлежит рассмотрению в общей цензуре.

Если бы не история с «Что делать?» и если бы военным цензором оказался не Штюмер, давний недоброжелатель Чернышевского, эта рукопись и увидела бы страницы «Современника». Но этих «если» все больше и больше вставало на пути обитателя «покоев» Алексеевского равелина.

Досада высших чинов государства, вызванная опубликованием «Что делать?», возможно, отразилась на той торопливости, с какой следователи взялись за разработку обвинительных материалов. Инициатива в неравной борьбе подследственного с карательными органами полностью перешла в их руки. «Извиняться никому не придется» — эта решительная надпись сделана Потаповым на письме Чернышевского к жене еще в середине декабря 1862 г., ког-

да жандармский генерал-майор уже продумывал план привлечения литератора В.Д. Костомарова к чудовищной фабрикации главного обвинения против автора «Что делать?» в сочинении антиправительственной прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Примечания

- ¹ Процесс Н.Г. Чернышевского / Ред. и примеч. Н.А. Алексеева. Саратов, 1939. С. 358.
- ² См.: *Чернышевский Н.Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях / Изд. подготовили Т.И. Орнатская и С.А. Рейсер. Л., 1975. С. 544–573. В настоящее время это наиболее авторитетное в научном отношении издание произведения. О современных проблемах текстологии романа см. в сб.: *Чернышевский*. Вып. 17 (2010). С. 122–127.
- ³ Дата 7 февраля 1863 г. установлена нами по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 112. Д. 37. Л. 256.
- ⁴ *Курганов В.Н.* Новые документы о пребывании Чернышевского в Петропавловской крепости // *Чернышевский*. Вып. 3 (1962). С. 292.
- ⁵ РГИА. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 104. Л. 116.
- ⁶ В объяснении на запрос следственной комиссии от 7 декабря Чернышевский 18 декабря 1862 г. просил передать «рукопись перевода XV тома Шлоссера в типографию Огризко, где печатается перевод этого сочинения» (ГАРФ. Ф. 112. Д. 37. Л. 238).
- ⁷ *Чернышевский*. Вып. 3 (1962). С. 293.
- ⁸ *Чернышевская-Быстрова Н.* Чернышевский в Алексеевском равелине (Переписка Е.Н. Пыпиной 1862–1864 г.) // Н.Г. Чернышевский: Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 304.
- ⁹ ИРЛИ. Д. 5051/XXVI б. 143.
- ¹⁰ Дело. С. 154.
- ¹¹ См. в сб.: *О Некрасове: Статьи и материалы*. Ярославль, 1971. Вып. III. С. 310–311.
- ¹² *Лемке М.* Политические процессы. С. 235. Однако Лемке указывал на Д.И. Каменского. Исправлено в кн.: *Чернышевский Н.Г.* Неопубликованные произведения / Под общ. ред. Н.А. Алексеева. Саратов, 1939. С. 3; *Смолицкий В.Г.* Из равелина. М., 1977. С. 61.
- ¹³ Н.Г. Чернышевский. Саратов, 1928. С. 304.

- ¹⁴ Воспоминания (1982). С. 264–268.
- ¹⁵ В сб.: Горячим словом убеждения («Современник» Некрасова — Чернышевского) / вступ. статья М.Г. Вандалковской. М., 1989. С. 480.
- ¹⁶ Там же. С. 482–489.
- ¹⁷ *Барцевич В.П., Курганов В.Н.* Чернышевский в Петропавловской крепости (новые документы) // Чернышевский. Вып. 4. С. 214.
- ¹⁸ *Смолицкий В.Г.* Из рavelина. С. 64.
- ¹⁹ Воспоминания. С. 283.
- ²⁰ Красный архив. 1927. Т. 22. С. 226, 228.
- ²¹ *Рейсер С.А.* Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // *Чернышевский Н.Г.* Что делать? Л., 1975. С. 785. Ко времени увольнения В.Н. Бекетову было 54 года, имел 10 детей. Выпускник Казанского университета, цензором петербургского комитета назначен 1 августа 1853 г. (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 61. Л. 96–101).
- ²² ЛН. Т. 51–52. С. 110.
- ²³ *Бушканец Е.* Царская цензура и «Что делать?» Чернышевского // Огонек. 1951. № 39. С. 24. См. также: *Пржецлавский О.А.* Воспоминания // Русская старина. 1875. № 9. С. 154.
- ²⁴ *Лемке М.* Политические процессы в России 1860-х гг. М.; Пг., 1923. С. 316–317; Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 207.
- ²⁵ *Теплинский М.В.* Н.Г. Чернышевский и цензура // *Чернышевский.* Вып. 5 (1968). С. 183. «Очевидно, — замечает С.А. Рейсер, — память двадцать лет спустя изменила Цез: в функции Потапова, помимо всего, вовсе не входило делать разрешительные надписи» (*Чернышевский Н.Г.* Что делать? Л., 1975. С. 786).
- ²⁶ Вестник иностранной литературы. 1895. Февраль. С. 15. Этот источник был сообщен нам в августе 1970 г. канд. филол. наук доц. Ташкентского гос. ун-та С. Панченко.
- ²⁷ *Пинаев М.* Загадка издательского феномена романа Чернышевского «Что делать?» // Волга. 1986. № 4. С. 188, 190.
- ²⁸ Н.Г. Чернышевский. Саратов, 1928. С. 306.
- ²⁹ *Скафтымов А.П.* Роман «Что делать?»: Его идеологический состав и общественное воздействие // Н.Г. Чернышевский. Сборник. Саратов, 1926. С. 134.
- ³⁰ *Рейсер С.* Особенный человек П.А. Бахметев // Русская литература. 1963. № 1. С. 173–177; *Эйдельман Н.Я.* Павел Александрович Бахметев: Одна из загадок русского революционного движения // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965. С. 387–399.
- ³¹ Н.Г. Чернышевский. Саратов, 1928. С. 307.

- ³² *Бооль В.Г. фон.* Воспоминания педагога // Русская старина. 1904. № 11. С. 321.
- ³³ См.: Научная биография (2015). Т. 1. С. 167–171.
- ³⁴ Свод отзывов см.: *Скафтымов А.П.* Комментарий к журнальной редакции «Что делать?» (XI, 706–710); *Тамарченко Г.Е.* Романы Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1954. С. 134–144.
- ³⁵ *Писарев Д.И.* Соч.: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 4. С. 9.
- ³⁶ См.: *Плеханов Г.В.* Избр. философ. произв.: В 5 т. М., 1958. Т. IV. С. 160; Чернышевский: Pro et contra. С. 616–617.
- ³⁷ *Фет А.А.* Сочинения и письма: В 20 т. СПб., 2006. Т. 3. С. 195–259.
- ³⁸ *Плеханов Г.В.* Избр. философ. произв. Т. IV. С. 257, 300.
- ³⁹ *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 10. С. 21, 22.
- ⁴⁰ *Зеньковский В.В.* История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 137.
- ⁴¹ *Архимандрит Феодор (Бухарев А.М.).* О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской. Сборник разных статей. М., 1991. С. 146, 147 (Серия «Русские духовные писатели»).
- ⁴² Подробнее: *Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев): Pro et contra /* Изд. подг. Б.Ф. Егоров, Н.В. Серебренников, А.П. Дмитриев. СПб., 1997.
- ⁴³ *Бердяев Н.А.* Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М.; СПб., 2005. С. 624, 625.
- ⁴⁴ *Страхов Н.Н.* Счастливые люди // *Страхов Н.Н.* Из истории литературного нигилизма. 1861–1865. СПб., 1890. С. 309–342. См. также: *Антонова Г.Н.* Н.Н. Страхов о романе «Что делать?» // *Чернышевский.* Вып. 8 (1978). С. 148–160.
- ⁴⁵ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972–1991. Т. XXI. С. 29, 30.
- ⁴⁶ *Бердяев Н.А.* Русская идея. С. 625.
- ⁴⁷ Научную литературу о романе см.: *Лебедев А.А.* Герои Чернышевского. М., 1962; *Руденко Ю.К.* Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л., 1973; *Лотман Л.М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века (Истоки и эстетическое своеобразие). Л., 1974; *Покусаев Е.И.* Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Изд. 5. М., 1975; *Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г.* Чернышевский или Нечаев?: О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50–60-х годов XIX века. М., 1976; *Наумова Н.* Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Л., 1978; *Гуральник У.А.* Наследие Н.Г. Чернышевского-писателя и советское литературоведение: Итоги, задачи, пер-

спективы изучения. М., 1980; *Пинаев М.Т.* Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: Комментарий. М., 1988; «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. Историко-функциональное исследование» / Под ред. К.Н. Ломунова. М., 1990; *Паперно Ирина.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996; *Вайсман М.И.* Мелодраматическая модальность в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: Дис. ... канд. филол. наук. 10.01.01. Пермь, 2011.

- ⁴⁸ См.: *Скафтымов А.П.* Художественные произведения Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости // *Скафтымов А.П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 250–302.
- ⁴⁹ Подробнее об «Автобиографии» см.: Научная биография (1828–1853), глава «В семье»; *Казанчиев Д.Е.* Жанровое своеобразие «Автобиографии» Н.Г. Чернышевского // Вопросы биографии Н.Г. Чернышевского и восприятия его личности в России и за рубежом. Волгоград, 1979. С. 51–57; *Вахрушев В.С.* «Что делать?» и автобиография Н.Г. Чернышевского: «игровые» ходы авторской мысли // Чернышевский. Вып. 13 (1999). С. 14–30.
- ⁵⁰ См.: Научная биография (2015). Т. 1. С. 159–174.
- ⁵¹ Процесс Чернышевского. Саратов, 1939. С. 358; Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 293; Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 210–213, 215, 216.
- ⁵² *Руденко Ю.К.* Чернышевский-романист и литературные традиции. Л., 1989. С. 4.
- ⁵³ Шестидесятые годы. Л., 1940. С. 389.
- ⁵⁴ *Теплинский М.В.* Н.Г. Чернышевский и царская цензура // *Чернышевский.* Вып. 5 (1968). С. 180. В подлиннике дата прочитывается неясно; возможно, Пыпин свое прошение написал 1 декабря — РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 10. Л. 53.
- ⁵⁵ Подробнее: Научная биография (1853–1858) раздел «Уход из журнала».
- ⁵⁶ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 102. Л. 7. Сообщенные материалы могут служить дополнением к современным исследованиям освещения Крымской войны в середине XIX в. См.: *Шепарнева А.И.* Крымская война в оценке русского общественного мнения, 1853–1856 гг.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Орел, 1995. dslib.net/otechestva/krymskaja-vojna-v-ocenke...

16. Главное обвинение

В. Костомаров до ареста Чернышевского

Всеволод Дмитриевич Костомаров происходил из небогатой дворянской семьи, имевшей небольшое имение в Ярославской губернии¹. Родился в 1837 г., имел двух братьев, Николая и Алексея, и двух сестер. В мае 1856 г. после окончания Московского артиллерийского училища поступил на военную службу унтер-офицером в Кирасирский кадровый полк, а через два года (16 августа 1858 г.) был произведен в корнеты «за выслужением узаконенных лет». В марте следующего года получил отпуск на четыре месяца «для излечения болезни к минеральным водам в Южную Францию, Италию и Германию». Пробыв за границей с разрешения начальства пять месяцев, он поселился сначала в Петербурге, а 13 февраля 1860 г. выехал в Москву, где жили все Костомаровы. Военную службу оставил по болезни, но документы на увольнение оформил лишь в июне 1860 г. Как значится в его послужном списке, «холост, в штрафах по суду и без суда, а также под следствием не был, в походах не находился, особых поручений по Высочайшим повелениям и от своего начальства не получал»².

В Москве В. Костомаров занялся литературной деятельностью, в основном стихотворными переводами с иностранного (он владел английским, французским, немецким, итальянским языками). Ему принадлежит перевод последнего сочинения Беранже «Моя биография»³. В подписанной криптонимом «...омар...» статье «Несколько слов о реализме в немецкой литературе» он в московской газете сочувственно высказался о Мейсснере, «одном из замечательнейших политических поэтов нашего времени». В статье о Гейне поддержал автора обзора иностранной литературы, опубликованного в № 4 «Современника» за 1861 г. В той же газете опубликовал свою статью «Сухопутные и морские силы Пруссии (исторический очерк)»⁴. Вместе с поэтом-переводчиком Ф.Н. Бергом издал в 1860 г. «Сборник стихотворений иностранных поэтов». Сборник обратил на себя внимание. Авторами заинтересовался известный поэт А.Н. Плещеев (в переводах из Беранже Костомарову вполне удалось, писал он, «передать несколько пьес, имеющих общественное значение»⁵), в петербургских журналах «Светоч» и «Современник» появились благожелательные рецензии⁶. В «Современнике» отзыв написан М.Л. Михайловым⁷, возглавлявшим в журнале отдел иностранной литературы.

Плещеев входил в число ближайших сотрудников «Современника», был коротко знаком с Михайловым и Чернышевским, хорошо знал А.П. Милокова, пишущего для «Светоча». Плещеев и рекомендовал им В. Костомарова, который решил в начале 1861 г. совершить поездку в Петербург. Чернышевский и Михайлов «прекрасно приняли его, обласкали, и в “Современнике” стали появляться его работы», — вспоминал Плещеев, представивший В. Костомарова как человека «отлично знающего языки» и «очень способного к компилятивной работе»⁸.

Вместе с В. Костомаровым в Петербург уезжал студент Московского университета Иосиф Сороко. За Сороко, подозреваемым в литографировании запрещенных сочинений Герцена и Огарёва, установили слежку, и В. Костомаров, еще не ведая того, впервые попал в поле зрения жандармов. Московским обер-полицмейстером в ту пору был генерал-майор А.Л. Потапов. По архивным данным, он получил эту должность 12 ноября 1860 г. и вступил в нее через месяц, 21 декабря⁹. Открытие в Москве подпольных студенческих станков давало шансы отличиться, и Потапов с усердием взялся за дело. Имя В. Костомарова он встретил впервые в донесении жандармского полковника Воейкова от 20 февраля 1861 г.: «...На прошлой неделе трое студентов отправились в С.-Петербург по какому-то особенно важному делу — Сорокин и Костомаров, третьего же фамилии не узнал». «Между прочим, — прибавлял полковник, — студенты в особенности отзывались о Костомарове как о человеке благонадежном и благородном». 27 февраля Воейков уточнял: в Петербург 15 февраля уезжали студенты Сороко и Петровский и с ними «какой-то отставной гусарский или уланский офицер Костомаров, получивший известность по своим переводам итальянских поэтов, с участием в оном г. Берга», цель поездки Сороко и Петровского — приобретение печатной машины¹⁰. Сначала Потапов не придал значения упоминанию о В. Костомарове, и в его донесении шефу жандармов информация о нем отсутствует¹¹. В агентурных записках Дмитриева, отправленного Потаповым в Петербург к студентам «под видом досланного от их товарищей», имя В. Костомарова также не возникает. Сороко и Петровский, вспугнутые неловкими действиями петербургской полиции, вернулись в Москву ни с чем 28 марта, а В. Костомаров, как полагают исследователи, до 10 марта¹². Но вот 22 марта Потапов, ссылаясь на сведения, полученные от возвратившегося из столицы секретного агента Дмитриева¹³, извещал свое петербургское начальство, что Сороко и Петровский «стараятся выручить из-под ареста попавшегося с незначительным числом экземпляров запрещенных сочинений г. Костомарова,

который упорно показывает, что книги он купил в Москве у неизвестного человека как интересное сочинение, вовсе не зная, что оно запрещено, и тем не выдает своих товарищей, за что в его положении принимают деятельное участие очень богатые гг. студенты С.-Петербургского университета»¹⁴. Как полагал В.Н. Шульгин, речь идет о В. Костомарове. «В деле, — писал он, — есть и сообщение Тимашева Воейкову от 22 марта о том, что Костомаров “предлагал одному из здешних книгопродавцев известную книгу” (то же дело, л. 51 об.)», и на этом основании делался вывод, что В. Костомаров вторично приезжал в Москву примерно 20–22 марта 1861 г.¹⁵ Документ, на который ссылался исследователь, представляет собою отношение управляющего Третьим отделением А.Е. Тимашева за № 460 от 24 марта 1861 г., однако здесь говорится не о В. Костомарове, а о его брате Николае. Вот этот текст: «Ныне получено сведение, что около месяца тому назад предлагал одному из здешних книгопродавцев известную Вам книгу “14 декабря 1825 года”, перепечатанную в Москве, приехавший оттуда Николай Дмитриевич Костомаров, который, как сообщено, состоит на службе в Московском губернском правлении»¹⁶. Как видим, говорить о втором приезде В. Костомарова в Петербург около 20–22 марта на основании цитированных документов не приходится.

Появление имени Николая Костомарова в жандармских донесениях — факт весьма важный. Впоследствии Н. Костомаров выступит в качестве прямого пособника и агента Третьего отделения, и всякие первые упоминания о нем существенны для выяснения роли братьев Костомаровых в политическом процессе Чернышевского.

Потапов, как свидетельствуют документы, уже заинтересованнее, чем прежде, отнесся к замелькавшей фамилии Костомарова. Вскоре он выяснил, что Тимашев пользовался неполными сведениями. После специальных обращений Потапова петербургский обер-полицмейстер Паткуль известил 29 марта: «Насчет же заарестования студента Костомарова с запрещенными книгами я уже вчера уведомил тебя, что слух этот несправедлив, и сегодня получено от Делянова сведение, что в С.-Петербургском университете студент Костомаров вовсе не состоит»¹⁷. В деле имеется справка о Костомаровых, которой, видимо, и воспользовался Тимашев: «В Поварском переулке близ Колокольной в доме Якименко Дмитрий Сергеевич Костомаров. Его сыновья Николай Дмитриевич, Всеволод Дмитриевич Костомаровы. Находятся на жительстве в Москве». Внизу пометка для Н. Костомарова: «Находится на службе в губернском правлении в 2 отделении». Тимашев решил, что имелось в виду Московское губернское правление. Между тем

Н.Д. Костомаров был канцелярским служителем в Петербургском губернском правлении по 2-му отделению с 1 июня 1860 г., а с декабря следующего года он уже числился унтер-офицером Кавказского линейного четвертого батальона¹⁸. На допросе 24 октября 1861 г. Алексей Костомаров, третий из братьев, живший с матерью в Москве, показал, что в момент ареста Всеволода (в августе) Николай находился дома, в Москве, не явившись на службу в Петербург, где ему был дан отпуск на семь дней¹⁹. Таким образом, в феврале 1861 г., когда В. Костомаров был в Петербурге, его брат Николай жил в столице. Однако по каким-то причинам В. Костомаров и Сороко его квартирой не воспользовались. Они остановились, как показал позднее Сороко, «у какого-то кухмейстера на Невском проспекте», и к ним никто, «кроме родного брата Костомарова», не приходил²⁰.

Отбыв из Москвы 15 февраля, В. Костомаров вскоре по приезде в Петербург вручил рекомендательные письма Плещеева Чернышевскому и М.Л. Михайлову. Тогда же произошло и его знакомство с Н.В. Шелгуновым, полковником, профессором Лесного института, деятельным сотрудником «Современника». В своих воспоминаниях Шелгунов так описывает внешность московского визитера: «Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или сподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским. Сухой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне напомнил прежних заговорщиков времен Цезаря». Впечатление заговорщика Костомаров производил еще и потому, что не преминул сообщить Михайлову о привезенных из Москвы нелегальных изданиях. Тот даже купил две книги (из показаний Сороко 7 декабря 1861 г.²¹) и таким образом оказался посвященным в тайну печатного станка. Кроме того, как свидетельствовал Шелгунов, В. Костомаров показал революционное стихотворение, набранное «домашними средствами и с пропечатанной внизу фамилией “В. Костомаров”. Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией»²².

По словам Чернышевского, к нему В. Костомарова привел Михайлов в одну из сред вечером²³. По средам у Чернышевских обычно собирались знакомые, и если полагать, что В. Костомаров находился в Петербурге до 10 марта, то его первая встреча с Чернышевским могла произойти в один из дней 22 февраля, 1 или 8 марта.

С приездом В. Костомарова и Сороко связаны судьбы двух прокламаций — «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Автором первой был Н.В. Шелгунов, автором второй, как утверждал В. Костомаров впоследствии, — Чернышевский. Воззвание к солдатам В. Костомаров получил от Михайлова и увез с собой, обещая размножить текст на тайном станке. Вторую прокламацию Михайлов передал Сороко, который пробыл в Петербурге после отъезда В. Костомарова еще некоторое время, поскольку, вероятно, она еще не была полностью написана, хотя, впрочем, возможно и другое: Михайлов из осторожности поостерегся вручить оба текста в одни руки. 28 марта Сороко приехал в Москву и вскоре отдал прокламацию В. Костомарову. Тот вместе с Я. Сулиным, студентом университета, уже имевшим опыт в печатании нелегальных текстов, начали хлопоты по приобретению станка и шрифта.

На допросе 20 октября 1861 г. Сулин рассказал следующее. В октябре 1860 г. П.С. Петровский-Ильенко, работавший уже около трех лет корректором в журнале М. Каткова, предложил Сулину отпечатать рецензию Н. Огарёва на книгу барона Корфа «Император Николай I». Через два месяца был приобретен большой деревянный станок, в феврале работа была закончена, а станок уничтожен. Продажа печатных экземпляров не принесла ожидаемых результатов, и материальное положение Сулина продолжало ухудшаться. «Я питался одними огурцами с хлебом или редькой. Таково было мое положение в марте и в следующие месяцы. Г. Костомаров посещал меня очень часто. Однажды, это было весной, Г. Костомаров пригласил меня пройтись с ним и потом зайти в гостиницу поужинать и выпить бутылку вина. Я согласился». Выяснив причины плохого настроения Сулина, В. Костомаров предложил ему «напечатать одну безделицу» за определенное вознаграждение. «Вы можете мне, — говорил он, — это займет у вас времени не больше 5 или 6 дней. Не забудьте, мы должны свято хранить это. Рабочих у меня не будет». «Г. Костомаров, — продолжал Сулин, — уговаривал меня согласиться на его предложение, уверяя, что я ничем не рискую в этом случае и так как это будет у него в доме, то очень естественно, что он будет отвечать, если бы и случилось что-нибудь». На другой или третий день после этого разговора В. Костомаров приехал, и они отправились в Лазаревскую типографию, где он заказал шрифт на имя барона Ферзена в Псков, а потом у гравера Бекетова на имя того же купца купил небольшой чугунный станок. «Вскоре же станок этот был взят нами, и мы перевезли его в дом Костомарова. Через несколько дней Костомаров принес и шрифт. Переписав своєю рукою

несколько строк из какой-то неизвестной мне брошюры, он дал мне набрать их, а когда я набрал строк пять или шесть, то г. Костомаров сказал, что теперь и он выучился набирать и может обойтись без меня до следующего дня. На мою просьбу прочитать эту брошюру г. Костомаров отвечал: “После прочтете”. Помня содержание набранных мною строк, я теперь могу сказать, что набор был сделан из брошюры, представленной мне в комиссии, и которая, как я теперь узнал, под заглавием “К барским крестьянам”. Я не имел эту брошюру в руках, ее не давал мне г. Костомаров, и я, как уже сказал выше, набирал из строк, написанных г. Костомаровым. Содержание этих строк убедило меня в необходимости покончить дело. С этою целью я попросил жившего со мною художника Ильинского написать на имя Костомарова записку в следующих словах: “Милостивый государь, будьте осторожны – за Вами следят”, а внизу было написано: “по обязанности Ваш доброжелатель”. <...> Когда на другой день я пришел к г. Костомарову, то он указал мне уже готовый набор, и мы начали хлопотать около станка. В это время кто-то вызвал г. Костомарова, и он возвратился с запиской». Далее Сулин рассказал, как В. Костомаров сейчас же принялся за уничтожение станка, но хотел сохранить набранные строки, однако Сулин схватил их и рассыпал. Части машины были перевезены к студенту Кистеру, другие части, также перевезенные от В. Костомарова, проданы «приблизительно в конце июня» студенту Аргиропуле вместе со шрифтом²⁴.

Названные Сулиным лица, немедленно опрошенные следственной комиссией, подтвердили его показания²⁵. Кистер во время допроса 23 октября назвал точную дату продажи станка – 28 июня 1861 г.²⁶

Особый интерес представляют показания (2 ноября 1861 г.) фактора типографии Лазаревского института Я.С. Шюмона, у которого был приобретен шрифт: «23, 24 и 31 марта 1861 года приходил в типографию предъявленный мне Костомаров и купил шрифт, как по книге значится, 1 п<уд> 33¹/₄ ф<унта> мелкий корпуса № 1, 5¹/₂ ф<унта> бабашек, 5³/₈ ф<унта> двойных шпонов и 1 катушку с ручкою, именно тот самый шрифт, который был мне предъявлен в комиссии. Деньги за шрифт я получил от Костомарова, который покупал на имя барона фон Ферзена»²⁷.

Сопоставление названных Шюмоном дат с показаниями Сулина позволяет довольно точно определить время печатания прокламации «Барским крестьянам...» Итак, все приготовления к печати были закончены не раньше 31 марта 1861 г. К этому времени В. Костомаров уже получил текст воззвания от Сороко, вернувшегося 28 марта. Вероятно, в первых числах апреля был готов и набор.

События, следствием которых стало уничтожение набора и станка, произошли, по Сулину, очень быстро и по всей вероятности связаны с тою же первой половиной апреля.

В конце апреля, как известно, Михайлов и Шелгунов отправились за границу. Вернулись они летом: Михайлов в середине июля 1861 г., Шелгунов в августе. Михайлов привез с собою шестьсот экземпляров прокламации «К молодому поколению», написанной Шелгуновым и отпечатанной в лондонской типографии Герцена.

20 августа В. Костомаров совершает вторую в течение 1861 г. поездку в Петербург. Сразу по возвращении, в ночь на 26 августа он был арестован — по доносу, отправленному его братом Н. Костомаровым на имя шефа жандармов еще 9 августа вместе с рукописями обоих воззваний, которые Николай выкрал у брата. В этом доносе сообщалось о «страшном заговоре», составленном «между большой партией людей значительных»²⁸. Донос пришелся кстати. Арестовав 22 июля студентов университета Петра Зайчневского и Перикла Аргиропуло, жандармы нетерпеливо искали их сообщников, а тексты присланных Н. Костомаровым прокламаций, призывавших солдат и крестьян к борьбе с правительством, настораживали, указывая на неких «доброжелателей». 16 августа в Москву после получения доноса Н. Костомарова прибыл жандармский подполковник Житков. Через два дня Н. Костомаров, получив от Житкова десять рублей «на сбор сведений и разъезды», состряпал второй донос, на этот раз с указанием лиц, состоявших, по его мнению, в заговоре. В списке упомянуты Плещеев, Михайлов, Петровский, студенты Сулин, Кнастер, Крыжов, Зайчневский, Новиков. Своего брата Н. Костомаров назвал «главой партии», «у него, — писал он в доносе, — в квартире печаталось 14 декабря 1827 года и письмо к крестьянам; напечатано было пять экз., но они были мною перехвачены и представлены целиком при письме к московскому обер-полицеймейстеру, но ничего не знаю об результате, в марте месяце автор поэмы: “Православие, Самодержавие и народность” пушенной в ход». Из-за явной безграмотности Н. Костомарова смысл некоторых сообщенных подробностей значительно затемнен. Например, не совсем ясно, пять экземпляров прокламации или книги о декабристах были «представлены целиком» Потапову. Неясно также, что же именно передано им в марте: эти пять экземпляров или В. Костомаров в марте «пустил в ход» свою поэму. Кстати, эта поэма и была, по-видимому, тем революционным стихотворением, которое В. Костомаров в феврале показывал Михайлову и Шелгунову. Далее Н. Костомаров писал: «Типография находилась у Костомарова в марте, но по полученным из Петербурга двум безымянным пись-

мам, она была перевезена Сорокой, но куда, не знаю положительно»²⁹. Как видим, Н. Костомаров знал немного, и его донос не может считаться по своей достоверности особо ценным свидетельством. Он путает факты, события, имена, основывая, вероятно, свои заключения на подслушанных разговорах и случайных сведениях. Однако рукописи двух прокламаций ему удалось-таки заполучить и передать властям. Что касается пяти отпечатанных экземпляров, то никаких следов их в архиве до сих пор не обнаружено.

Шелгунов писал в воспоминаниях, что в свой второй приезд В. Костомаров «был более мрачен и молчалив, чем зимою, и никогда еще так ужасно не смотрел вниз»³⁰. «Далеко не такое приятное впечатление, как прежде» произвел В. Костомаров и на Михайлова. «Я в этот раз убедился, — вспоминал Михайлов, — что он любит лгать, и, когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно. Я думаю, что все это вздор, и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?». В последнее свидание с Михайловым В. Костомаров, жалуюсь на безденежье, вдруг заявил, что, «если так будет продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валенрода и говорил шутя; но слова его, — вспоминал Михайлов, — чрезвычайно неприятно подействовали на меня»³¹. Об открывшейся у В. Костомарова наклонности лгать «и таким искренним, по-видимому, и правдивым тоном, что ни в ком не вселял к себе недоверия», свидетельствовал и Плещеев³².

Невольно возникает предположение, что, уезжая 20 августа в Петербург, В. Костомаров уже знал о доносе брата, уже искал способа с наименьшими для себя неприятностями избавиться от грозящих разоблачений и уже готов был к прямому предательству. Любопытна подробность: 18 августа Житков направил начальству второй донос Н. Костомарова, содержащий серьезные улики против В. Костомарова, а 20 августа тот беспрепятственно едет в Петербург, и за ним даже не было установлено слежки. Уж не вступил ли и он в сговор с Житковым и не инспирирована ли Житковым эта поездка?

Между тем Михайлов, хотя его и насторожило поведение В. Костомарова, с беспечной откровенностью поделился с ним новостью — привезенной из Лондона прокламацией «К молодому поколению». Через два дня после ареста В. Костомарова подполковник Житков писал в отчете: В. Костомаров — «чрезвычайный трус; он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Зайчневского, что он серьезно думает сам отправиться в Петербург и во всем сознаться, ибо не видел более надежды на успех предпри-

ятия, и личным и добровольным сознанием заслужить прощение». По словам В. Костомарова, извещал Житков, инициатива печатания запрещенных произведений принадлежала не ему, а Сороко и Сулину³³. Наговаривая на своих недавних друзей, В. Костомаров знал, что этими «разоблачениями» от Третьего отделения не откупится. Главным его козырем был М.Л. Михайлов. 1 сентября у Михайлова произвели обыск, но воззвания случайно не нашли. «Как потом оказалось, — писал позже Михайлов, — Костомаров успел уже объяснить П.А. Шувалову все, что знал о прокламации и что даже только подозревал. Собственно, знал-то он немного. У меня искали именно ее»³⁴.

4 сентября В. Костомаров пишет на имя нового управляющего Третьим отделением графа Шувалова записку, в которой характеризовал себя как человека, стороннего делу печатания запрещенных сочинений и даже принявшего меры к прекращению деятельности печатного станка, когда она приняла «опасный характер». Жалуясь на крайнюю бедность, он просит предоставить ему возможность содействовать «всеми зависящими» от него средствами «ускорению развязки этого дела»³⁵. Одновременно управляющий Третьим жандармским отделением П.А. Шувалов получил по почте конверт с экземпляром прокламации «К молодому поколению» — Михайлов и его друзья успели распространить ее по Петербургу. Обещания В. Костомарова пришлись впору, и Шувалов вызвал его к себе. Результатом этой встречи явилось показание В. Костомарова, данное в форме откровенного дружеского послания к одному из московских знакомых Якову Алексеевичу Ростовцеву (этим приемом он будет пользоваться и позднее). Свой донос В. Костомаров датировал задним числом, 25 августа, последним днем пребывания в Петербурге. «Брат не только донес на меня, — писал он здесь, — но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих<айлова> и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П<лещееву>, узнайте у него адрес М<ихайлова> и поезжайте в Петерб<ург>: скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными и во всяком случае уничтожит все до одного экземпляры М<олодому> П<околению>. Он поймет, в чем дело»³⁶. 14 сентября Михайлов был арестован. 14 и 15 сентября датированы первые официальные допросы В. Костомарова.

На вопрос о прокламациях к солдатам и крестьянам В. Костомаров ответил, что только благодаря ему эти воззвания не были полностью напечатаны. Он представил дело так, будто уговорил Сулина перевести станок в дом Костомаровых, а затем, написав себе преду-

предительную записку, в суматохе завладел рукописями, на одной из которых он узнал руку Михайлова. Вскоре рукописи были украдены братом. «Я, — утверждал В. Костомаров, — похитил прокламации не с одною только целью спасти Михайлова, но и с намерением предотвратить те беспорядки, которые они могли произвести, если бы были напечатаны; рукописи прокламаций я думал уничтожить, но предварительно хотел прочесть их; когда же нашел для этого свободное время, — они были уже украдены». Далее он сообщил, что Н. Костомаров, завладев рукописями, принялся шантажировать брата, грозя донести на него и требуя шестьсот рублей — деньги, будто бы обещанные ему прибывшим в Москву подполковником Житковым. Тогда В. Костомаров немедленно поехал в Петербург за гонорарами, «но, не заставши в городе некоторых редакторов, я на другой день отправился в Москву почти без денег и на другую ночь по приезде в Москву был арестован по доносу брата». Об угрозах брата, уверял В. Костомаров, он сообщил «в Петербурге Михайлову, Добролюбову, а в Москве г. Ростовцеву»³⁷.

Ростовцев назван затем, чтобы было понятно, почему именно ему отослано письмо с предупреждением Михайлову. Костомаров знал: его показания будут фигурировать на допросах Михайлова и могут стать известны за пределами тюрьмы. Поэтому он сознательно смешивает ложь с правдой, создавая иллюзию правдоподобия. Таким образом он думал оправдаться перед Михайловым и теми петербургскими и московскими редакторами, от которых зависели в будущем литературные заказы. Но предательство есть предательство. Долго вести двойную игру становилось трудно, и Михайлов вскоре же понял, кому он «обязан» арестом.

Однако внимание следователей В. Костомаров направляет не на одного Михайлова. На первом же допросе он называет Добролюбова, и это обстоятельство весьма показательно. Вряд ли Добролюбов упомянут только затем, чтобы подтвердить факт сделанного В. Костомаровым предупреждения, ведь признание уже арестованного Михайлова было бы вполне достаточным свидетельством. Указание В. Костомарова на Добролюбова рассчитано куда как дальше. Он готов был вмешать в следствие любую фигуру, более крупную, чем Михайлов, лишь бы спасти себя и откупиться от Третьего отделения.

Почему В. Костомаров сразу же не назвал Чернышевского? Правда, Чернышевского не было в Петербурге в последний его приезд — 17 августа выехал в Саратов. Но ведь именно Чернышевский впоследствии назван В. Костомаровым как автор прокламации «Барским крестьянам...» Объяснение напрашивается одно:

В. Костомаров в сентябре 1861 г. еще не знал, насколько интересен Чернышевский для Третьего отделения, а оно, действительно, в ту пору Чернышевским не занималось. Позже В. Костомаров послушно застрочил доносы и на Чернышевского (Добролюбов в ноябре 1861 г. умер).

Подставив следствию Сулина и Сороко, В. Костомаров вскоре вынужден был отказаться от своих первоначальных наветов. После допроса студентов и свидетелей стали известны все обстоятельства, связанные с печатанием запрещенных книг и воззвания «Барским крестьянам...». Не случайно противоречивость сообщений В. Костомарова побудила председателя следственной комиссии Собещанского аттестовать его как человека, показания которого «не всегда соответствовали действительности совершившихся фактов» (заключение комиссии от 9 января 1862 г.)³⁸.

24 сентября 1861 г. Шувалов с удовлетворением телеграфировал своему шефу в Ливадию: «Литератор Михайлов поставлен в безвыходное положение посредством уличений его другими лицами»³⁹. 31 октября того же года следствие по делу Михайлова уже было закончено, 7 декабря ему зачитали текст приговора, а спустя неделю после «гражданской казни», устроенной на Мытнинской площади Петербурга, его сослали в Сибирь на каторжные работы и последующее пожизненное поселение.

В. Костомарову, ожидавшему объявления приговора, последовало за услуги первое облегчение. Именно от высших жандармских чинов зависело, будет ли подследственный в ожидании приговора находиться в крепости или получит разрешение провести это время дома, дав подписку о немедленной явке по вызову. Третье отделение настаивало на втором варианте, известив своего представителя в Москве полковника Воейкова, что «препятствий к освобождению нет»⁴⁰. Документ этот подписан Потаповым, уже переехавшим в столицу на место Шувалова. С июня 1861 г. Потапов отошел от расследования тайного печатания в Москве. Отличившись в открытии этого дела, он получил новое задание. «Государь Император, — говорилось в приказе от 6 июня, — повелеть соизволил командировать ныне же меня в г. Варшаву по особо возложенному на меня поручению»⁴¹. Теперь он получал крупную должность начальника штаба и управляющего Третьим отделением. И в первые же его распоряжения вошло имя В. Костомарова, которого он, впрочем, основательно успел забыть. Об этом свидетельствует любопытнейшая переписка высших чинов. Председатель следственной комиссии Собещанский, у которого В. Костомаров, судя по всему, никакой симпатии не вызывал, предложил ужесточить режим для

освобожденного подследственного, подвергнув его домашнему аресту⁴². 4 декабря шеф жандармов В.А. Долгоруков по согласованию с министром внутренних дел утвердил это постановление, и 22 декабря петербургский обер-полицмейстер отдал распоряжение унтер-офицеру Гавриле Ульманову отправить В. Костомарова в Москву. На этом последнем документе имеется пометка, сделанная рукою Потапова: «Сообщи мне, любезный друг, кто сей Костомаров? и за что и почему отправлен?»⁴³. Получив от обер-полицмейстера разъяснение роли В. Костомарова в уличении Михайлова, Потапов немедленно (23 декабря) послал Собещанскому запрос: «По какому поводу Костомаров возвращен в Москву арестованным?» Собещанский в ответе от 25 декабря сослался на действия местных властей и счел «не лишним присовокупить», что В. Костомаров «вследствие улик сознался в печатании воззвания к барским крестьянам, но что печатание это не доведено до конца, по причинам от него не зависевшим»⁴⁴. Так в конце декабря 1861 г. возникли пока еще не слившиеся воедино звенья цепи, впоследствии погубившие Чернышевского: В. Костомаров — прокламация «Барским крестьянам...» — А.Л. Потапов.

В ожидании конца следствия В. Костомаров решил вернуться к активной литературной деятельности. Прежде всего он предпринимает меры к опровержению распространяющихся в журнальных кругах слухов о его предательстве в деле М.Л. Михайлова. От него, например, отвернулся А.Н. Плещеев. Еще совсем недавно, в письме к А.П. Милюкову от 6 ноября 1861 г., Плещеев сочувственно отзывался о материальных затруднениях семьи В. Костомарова и просил незамедлительно выслать деньги за опубликованные в «Светоче» ранее переводы⁴⁵. Однако после приговора Михайлову Плещеев решительно переменяет свое мнение о В. Костомарове. В «Письме к редактору», опубликованном в московской газете и датированном 30 января 1862 г., он заявил об отказе участвовать в предпринятом прежде совместно с В. Костомаровым переводе «Всеобщей истории литературы» Шерра. «По разным обстоятельствам, — писал здесь Плещеев, — которых я никак не мог предвидеть, я должен был в последнее время совершенно оставить этот труд»⁴⁶.

Перемена в Плещееве, как можно предположить, произошла не без влияния Чернышевского. В редакции «Современника» истинная роль В. Костомарова в деле Михайлова стала известна довольно скоро. Прежнее доброжелательное отношение к начинающему писателю стало невозможно. Не связывая прямо изменение отношения к В. Костомарову с делом Михайлова, Чернышевский писал в своих показаниях 1863 г., вспоминая недавние события:

«Г. Костомаров увидел, что ошибся в расчетах на мою помощь, и это очень раздражало его против меня». Резкую перемену в отношениях к В. Костомарову Чернышевский датирует второй половиной 1861 г., «начиная с сентября», когда «носились слухи, что г. Костомаров в продолжение своего процесса переменил свои показания и постепенно дошел в них до таких странностей, что Следственная комиссия, производившая его дело, перестала принимать его показания к сведению»⁴⁷.

Нами найдено в архиве неопубликованное письмо В. Костомарова к А.П. Милюкову от 19 января 1862 г. — яркое свидетельство иудиной попытки обелить себя в глазах влиятельных литературных деятелей. «Давно уж мне хотелось писать к Вам; да сначала, пойманый и затворенный, не имел возможности, а потом, а потом, униженный и оскорбленный (!), не имел духу. Комки смрадной грязи, накопленные невероятной сплетней, полетели в меня еще тогда, когда я сидел под семью замками во всероссийской сибирке, полицейски-щедро осыпанный целым градом слепых грубых оскорблений. Вы один не поспешили схватить первый подвернувшийся под руку камень и бросить им в человека, нелепо обвиненного в отступничестве от того дела, которому он пожертвовал и собой и всем, что ему дорого. Спасибо Вам! — хоть и грустно благодарить человека за то, что он человекен. Но Вы никогда не покраснеете за то, что не осудили меня, — если еще не осудили. Вот все, что я могу написать. Вам. Если мы увидимся когда-нибудь, Вы убедитесь, что я не то, чем называли меня мои скорые судьи. Эти факты разубедили бы всякого, кто осуждал ближнего, не забыл бы честного старого правила *audiatur et altera pars**. Мне ничего никто не сказал, молча бросили камнем и молча отошли прочь. Я знаю, что меня бьют камнями из обоих лагерей; я вижу, что мои отвергли меня — и не знаю за что». В. Костомаров сообщал также, что получил «честный отказ господина Плещеева, за который я знаю, кого благодарить»⁴⁸.

Лживость заверений В. Костомарова, его двуличие, выразившиеся в письме, тем очевиднее, что, как убеждают подлинные следственные материалы, он на первых же допросах и даже раньше их пошел на прямой сговор с властями. В последней приведенной нами фразе его письма, вероятнее всего, заключен намек на Чернышевского.

Цена «искренности» В. Костомарова, желавшего быть убедительным в письме к Милюкову, вполне раскрывается при сопоставлении письма с официальной запиской чиновника по особым поручениям И.Д. Путилина, который знал все семейство Костома-

* Выслушать и другую сторону.

ровых с осени 1861 г. и оказывал им неоднократно денежную помощь. Во время встречи Путилина с В. Костомаровым в Москве «в январе или феврале» 1862 г. «при разговоре Костомаров выражал неудовольствие свое на правительственных лиц, которые за указания его не скрыли имени его и тем уронили в обществе литераторов и поставили в затруднительное положение к лицам, в тесной связи с коими он находился в деле революционной пропаганды, а между прочим говорил, что он имеет весьма важные сведения». Тогда же, по свидетельству Путилина, В. Костомаров виделся в Москве с приезжавшим туда Потаповым, и «Его Превосходительству, как известно мне, он, Костомаров, указал на Чернышевского, Добролюбова и др.»⁴⁹. Это первое упоминание о Чернышевском в показаниях (хотя и не официальных, не на допросе) В. Костомарова. Существует документ, подтверждающий и конкретизирующий сообщение Путилина. В «Записке 23 мая 1862 года», составленной, вероятно, А.Ф. Голицыным в пору организации следственной комиссии, говорится о результатах встречи Потапова с В. Костомаровым в феврале 1862 г.: «В Москве отставной корнет Всеволод Костомаров только по личному особому увещанию <...> генерал-майора Потапова после того, как уже дал формальное показание в следственной комиссии, сознался (и то на словах, а не на бумаге), что он раздавал воззвания: “К молодому поколению”, “Великорус”, и потом уже прибавил, что воззвание к “Барским крестьянам” писано Чернышевским и печатано в Лондоне им, Костомаровым, К войску и офицерам — подполковником Шелгуновым, “К духовенству” — Благодетелем»⁵⁰. Между тем: 1) Воззвание «К молодому поколению» В. Костомаров «раздавать» не мог, так как, по его собственному признанию и свидетельству Михайлова, ни одного экземпляра этой прокламации в руках В. Костомарова не было⁵¹; 2) распространение «Великорусса» вообще не инкриминировалось В. Костомарову ни по его делу, ни по процессу Михайлова; 3) о Г.Е. Благодетеле как авторе прокламации «К духовенству» нигде более В. Костомаровым не упоминалось. В других жандармских документах Благодетелю приписывалось участие в издании воззваний «Великорусс» и «Земская дума»⁵²; 4) не точны сведения о Шелгунове, будто бы написавшем прокламации к войску и офицерам⁵³. Шелгунов был автором воззвания «Русским солдатам...» Тождественна ли ему прокламация, о которой говорится в записке, неясно. Был ли Шелгунов автором прокламации (к офицерам), неизвестно. Правда, он написал прокламацию «К солдатам», но В. Костомаров знать об этом не мог, так как она составлена осенью 1861 г., после ареста Михайлова и В. Костомарова, и тайна авторства была сообщена лишь в 1898 г.

Л.П. Шелгуновой М.К. Лемке⁵⁴; 5) наконец сообщение, будто «К барским крестьянам» писано Чернышевским и печатано в Лондоне им, Костомаровым, совершенно нелепо: из материалов процессов Зайчневского — Аргиропуло и Михайлова было известно, что прокламация «Барским крестьянам...» никогда полностью напечатана не была и распространения не получила. В Лондоне же печаталось воззвание «К молодому поколению», и то не В. Костомаровым, а Михайловым.

В. Костомаров фигурирует в «Записке 23 мая 1862 года» как пример молодых людей, которые, усвоив себе «дерзкие идеи», после ареста отказывались «от дачи положительных объяснений»⁵⁵. Действительно, «положительного» в его показаниях было немного. Он постоянно противоречил себе и показаниям свидетелей, и его новым «открытиям» особого значения не придали. Ближайшее ознакомление с первыми отчетами голицынской комиссии убеждает, что материал «Записки 23 мая 1862 года» ни чиновниками комиссии, ни ее председателем ни разу не был использован. Так, в докладе Голицына царю от 10 сентября 1862 г., заключающем «обозрение действий комиссии», арестованный Чернышевский называется вместе с Серно-Соловьевичем, Ветошниковым и другими «агентом Герцена», который с товарищами своими «предположили образовывать тайные кружки, дабы посредством их действовать преимущественно на раскольников»⁵⁶. О таком важном факте как возможное авторство Чернышевского в отношении прокламации «Барским крестьянам...», который мог быть засвидетельствован самим управляющим Третьим отделением, ни разу до 18 февраля 1863 г. ни в одном официальном документе комиссии не упомянуто. Однако, как увидим ниже, в памяти Голицына материал «Записки» все же задержался.

Не придал должного значения предложенным В. Костомаровым «разоблачениям» и Потапов, не потрудившийся даже обязать доносителя оформить свои показания письменно. И тогда В. Костомаров, решившийся на новую крупную игру, решил сменить «хозяина». Свои услуги он предложил Путилину, служившему в канцелярии петербургского генерал-губернатора. Путилин доложил Суворову, и тот дал санкцию на «работу» с В. Костомаровым. С его слов Путилин составил особую записку о существующем в России тайном обществе. Однако Путилин, нагоняя себе цену, чересчур сгустил краски (об этом В. Костомаров говорил, например, на допросе 18 января 1863 г.), и Суворов, убедившись в запутанности, противоречивости, надуманности большинства содержащихся в записке указаний, решил отказаться от дальнейшего расследования, передав все дело

Третьему отделению. Об этом он 7 июля, в день ареста Чернышевского, написал Долгорукову. Тот в письме к Потапову сообщал: «Кн. Суворов <...> желает быть освобожденным, без гнева, от путилинских действий. Я думаю, что это будет хорошо, и потому прошу вас сообразить к моему возвращению, как удобнее вести путилинское дело. Надобно будет связать его с нашим и, следовательно, вероятно придется держаться нашей собственной системы.

«Не полезно ли будет, — писал Долгоруков далее, — согласно с прежним мнением князя А.Ф. Голицына, вытребовать Костомарова в СПб и воспользоваться его указаниями тем способом, который признается наиболее успешным? Окончательно мы решим вопрос при свидании»⁵⁷.

Отныне все действия В. Костомарова контролировались, готовились и направлялись Потаповым лично.

Показания В. Костомарова на процессе Чернышевского

Со времени опубликования в 1906 г. материалов следственного дела Чернышевского показания В. Костомарова иначе как лжесвидетельскими не назывались⁵⁸. Однако их некоторая близость к сообщениям Н.В. Шелгунова и А.А. Слепцова подчас оказывает на исследователей известное влияние, и они, опираясь на исходящие от В. Костомарова данные, признают их достойными внимания в отношении признания Чернышевского автором прокламации «Барским крестьянам...»⁵⁹.

Имя Чернышевского в связи с этой прокламацией появилось в показаниях В. Костомарова не сразу. На самом первом допросе 14 сентября 1861 г. он высказался очень неопределенно, заявив, что в одном из предъявленных ему воззваний («Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...») он узнал руку Михайлова. Поскольку Н. Костомаров и жандармский подполковник Житков указывали на Михайлова как автора «Барским крестьянам...», можно думать, и В. Костомаров имел в виду эту прокламацию. Однако на очной ставке с Сулиным 28 октября 1861 г.⁶⁰ он определенно объявил Михайлова автором «Русским солдатам...», а «Барским крестьянам...» принял-де от Сулина, которому передал ее Сороко, в свою очередь получивший текст от Михайлова. После ареста Михайлова, учитывая его ответы, В. Костомаров показал: во взятом им в квартире Сулина и Сороко «манускрипте прокламации (кажется, к солдатам) в поправках и дополнениях узнал руку Михайлова»⁶¹. Неопределенность и противоречивость сообщений В. Костомарова отмечена, как мы видели, следственной комиссией Собещанского,

пришедшей к следующему заключению, изложенному в пространном рапорте Валуева 21 декабря 1861 г. за № 189: «Следствием обнаружено, что рукою Михайлова писано воззвание не к барским крестьянам, а к русским солдатам». И далее: «Так как возмутительные воззвания “к барским крестьянам” и “к русским солдатам” вышли непосредственно от отставного губернского секретаря Михайлова и он не указал на сочинителя оных, между тем уличен и осужден уже за составление и распространение подобного же возмутительного воззвания “к молодому поколению”, то кажется, безошибочно можно дойти до заключения, что автор означенных воззваний тот же Михайлов, или по крайней мере он принимал самое близкое и живое участие в составлении их. Других же лиц при самом строгом расследовании этого дела не оказалось»⁶². При слушании дела в сенате 20 февраля 1862 г. о прокламации «Барским крестьянам...» говорилось как тексте «неизвестно кем составленном»⁶³.

Вторично на Михайлова как автора «Барским крестьянам...» В. Костомаров указал уже во время процесса Чернышевского на допросе 18 января 1863 г.: «Михайлов сочинил прокламацию “К молодому поколению” и “Барским крестьянам”»⁶⁴. А уже через месяц, 18 февраля 1863 г., управляющий Третьим отделением объявил следственной комиссии, что В. Костомаров «по убеждению его, изъявил готовность обнаружить известные ему преступные замыслы и действия» Чернышевского — автора «Барским крестьянам...» и Шелгунова — автора «Русским солдатам...»⁶⁵.

Такие разноречия в показаниях с несомненностью обнаруживают одно: В. Костомаров не знал действительного автора воззвания к крестьянам и указал на Чернышевского только под нажимом Потапова, который вместе с Долгоруковым и Голицыным уже разработал план приведения в действие костомаровских «откровений» годичной давности. Ни в путилинских записках, ни на допросе 18 января 1863 г. сам В. Костомаров о Чернышевском как авторе воззвания к крестьянам не говорил. Теперь же эта тема стала главной в его показаниях. Намерение связать Чернышевского с участием в составлении антиправительственной прокламации созрело у Потапова уже в конце прошлого года, когда 12 декабря 1862 г. на письме Чернышевского решительно начертал: «...Извиняться никому не придется».

Свои признания В. Костомаров привычно стал оформлять в виде частных писем, которые, как удостоверяют опубликованные еще М.К. Лемке материалы, изготовлялись под непосредственным контролем Потапова в то время, когда В. Костомарова привезли в Петербург и поместили в Алексеевский рavelин⁶⁶ перед отправкой его по приговору на Кавказ рядовым и после возвращения его с доро-

ги снова в Петербург. Среди сфабрикованных им писем одно будто бы было составлено самим Чернышевским и адресовано некоему «Алексею Николаевичу» с намеками на революционные организации в Поволжье. Подразумевался А.Н. Плещеев, который впоследствии при допросе не подтвердил подлинности письма («почерк руки, коим писано сие письмо, схож с почерком Чернышевского, особенно первая страница, но после как-то сбивается, особенно в конце»⁶⁷). Наибольший вес приобрела записка, будто бы отобранная при обыске у В. Костомарова, утверждавшего, что она написана Чернышевским и оставлена у В. Костомарова в Москве во время печатания прокламации «Барским крестьянам...». Текст гласил: «В. Д. Вместо “срочнообяз.” (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде “временнообяз.”, — как это называется в положении. Ваш Ч.»⁶⁸. Подделка почерка Чернышевского установлена квалифицированной экспертизой в 1926 г.⁶⁹

Большое значение следственная комиссия придала еще одному документу — на этот раз письму самого В. Костомарова на имя некоего Николая Ивановича Соколова. Именно здесь содержались основные «откровения» фальсификатора. Все эти «компрометирующие» Чернышевского материалы были «изъяты» у В. Костомарова 5 марта 1863 г. в Туле жандармским капитаном Чулковым, сопровождавшим его в ссылку на Кавказ. Возвращенный с дороги, В. Костомаров уже 13 и 14 марта давал письменные показания по поводу всех этих бумаг, и они послужили материалом для третьего (со времени ареста) допроса Чернышевского 16 марта.

В «Письме к Соколову» сообщались обстоятельства первой встречи с Чернышевским. Их познакомил Михайлов, который привез В. Костомарова к редактору «Современника» на квартиру «именно с той целью, чтобы переговорить о возможности печатания воззвания». Тогда-то и состоялось чтение прокламации в «первоначальном виде». Содержание листка произвело сперва огромное впечатление, однако на другой день, когда вместе с Михайловым и Шелгуновым В. Костомаров еще раз перечитал текст, «впечатление было уже совершенно иное»: «Мне просто было тошно слушать этот каннибальский призыв к резне». И В. Костомаров отказался публиковать воззвание в таком виде. Решили, что Михайлов добьется от Чернышевского изменений и поправок с целью смягчения агитации. «В следующее свидание наше Мих<айлов> сказал, что Ч<ернышевский> с трудом согласился на эти изменения, говоря, что, напротив, следовало бы усилить тон». В. Костомаров уехал, «не дождавшись измененной брошюры». Оставшийся в Петербурге, Сороко познакомился от лица В. Костомарова с Михайловым,

назвавшись владельцем тайного печатного станка. Тот повез его к Чернышевскому, и будто бы «уже сам Чернышевский лично передал Сороко и рукопись воззвания, и деньги (200 р.) для ее напечатания». В. Костомаров «стороной», «уже через двадцатые руки», узнал, что прокламация находится у Сороко и Сулина. Получив от Сулина разъяснения, В. Костомаров устыдил обоих в транжировании чужих денег. Вскоре Сулин и Сороко купили станок и шрифт, помещение он дал им у себя в доме — «и работа началась». Во время «самого печатания» Чернышевский посетил В. Костомарова в Москве, «сделал кое-какие поправки в тексте воззвания». Однако В. Костомаров бросил печатание. Вскоре Михайлов уехал за границу. «Этим роль моя политического агитатора и кончилась», в ночь на 26 августа его арестовали⁷⁰.

Во время последующих допросов, очных ставок В. Костомаров неоднократно дополнял эти показания. Сообщаемые им новые факты, существенные для выяснения всего дела, приходили в такие, даже на первый взгляд очевидные противоречия с прежде объявленными, что неизбежно должны были обратить на себя внимание членов комиссии или сенаторов, если бы они действительно стремились к установлению истины. На некоторые из этих противоречий указывал и Чернышевский. И все же именно показания В. Костомарова и предъявленные им «улики» послужили юридическим обоснованием «вины» Чернышевского.

На допросе 13 марта 1863 г. В. Костомаров заявил: «Что воззвание к барским крестьянам сочинено Чернышевским, говорил мне и сам автор, говорил и Михайлов»⁷¹. Но, во-первых, это показание не согласуется с прежним, от 18 января того же года, когда автором «Барским крестьянам...» определенно назывался Михайлов. Во-вторых, оно напрочь опровергается сведениями, сообщенными Михайловым в его личных записках. «Мне становилось ясно, — писал Михайлов, — что Костомаров высказал все, что знал, и даже, что подозревал и над всем этим господствовало опасение, как бы в дело не впутали других»⁷². О чем же, по Михайлову, В. Костомаров мог знать? Поскольку Михайлова о Чернышевском в связи с прокламациями в следственной комиссии не спрашивали, из приведенных слов следует, что В. Костомаров не называл Чернышевского во время допросов и что вообще имени автора «Барским крестьянам...» Михайлов ему не открыл. Опасение же Михайлова, «как бы в дело не впутали других», было связано с беспокойством за судьбу Шелгуновых, которых В. Костомаров мог выдать (Л.П. Шелгунова была его гражданской женой). И Михайлов посчитал за лучшее принять всю вину за шелгуновские прокламации «К молодому поколению»

и «Русским солдатам...» на себя. От прокламации «Барским крестьянам...» решительно отказался, не боясь за автора, опять же по той причине, что В. Костомарову имя автора этой прокламации оставалось неизвестным. По свидетельству Шелгунова, В. Костомаров знал только об авторстве Шелгунова в отношении воззвания «Русским солдатам...»⁷³. Других источников информации о «Барским крестьянам...» помимо Михайлова и Шелгунова у В. Костомарова не было⁷⁴.

Далее. В «Письме к Соколову» В. Костомаров утверждал: при первом чтении текст прокламации вызвал у него «благоговение» перед автором. 31 июля 1863 г. в сенате уверял в обратном: «Тогда же при первом чтении поклон этот мне не понравился». Из «Письма к Соколову» выходило, что переговоры об изменении редакции текста «Барским крестьянам...» велись через Михайлова. 31 июля предложен другой вариант: оказывается, В. Костомаров сам предложил Чернышевскому сделать в тексте изменения, на которые, как он и ожидал, автор не согласился⁷⁵.

В «Письме к Соколову»: Михайлов, познакомившись с Сороко, привез его к Чернышевскому, и тот лично передал Сороко прокламацию и деньги. На вопрос, от кого он узнал эти подробности, В. Костомаров ответил 13 марта 1863 г., что «от самого Сороко», потом «в дополнение» — «от Сулина», но счел за нужное «проверить слова Сулина»⁷⁶. Прежде показания В. Костомарова были иными. «Не желая, — говорил он на допросе 15 сентября 1861 г., — впутывать себя в эту историю, не спрашивал Сороко, от кого он получил прокламацию»⁷⁷. Сенаторам 31 июля 1863 г.: рукопись прокламации и деньги на печатание вручены Сороко Михайловым, в «Записках» Михайлова говорится о том же⁷⁸.

На очной ставке с Чернышевским 19 марта 1863 г. В. Костомаров уверял: «Я писал к Чернышевскому о том, что он поступил весьма неосторожно, поручив печатание своей брошюры Сороко». 31 июля в сенате он изменил показание: узнав, что Сулин и Сороко печатают воззвание, поехал предупредить Чернышевского⁷⁹.

Не менее противоречивы и сбивчивы сообщения, касающиеся текста прокламации и времени печатания ее первых страниц.

13 марта 1863 г.: 1) воззвание было рукописное, и «почерк рукописи ему незнаком», 2) «воззвание это переписано Михайловым», 3) «чьей рукою сделаны поправки — не знаю».

В «Письме к Соколову»: «Во время самого печатания манифеста к крест<ьянам> Ч<ернышев>ский посетил меня в Москве, сделал кое-какие поправки в тексте воззвания и, оставшись доволен работою, благословил меня на новые и новые подвиги».

31 июля 1863 г.: «Незадолго» перед уничтожением станка Чернышевский посетил В. Костомарова и «видел набор своего манифеста». О сделанных в тексте поправках — ни слова⁸⁰.

Из всех этих путаных показаний наибольшую силу получило последнее — «видел набор своего манифеста». Вся роль П. Яковлева, привлеченного В. Костомаровым в качестве свидетеля, сводилась, по существу, к обоснованию этого обвинения. 8 апреля 1863 г. Яковлев объявил, что видел Чернышевского у В. Костомарова в Москве трижды: в феврале или марте, вскоре после этого и в июле. Последнюю дату приезда «уточнил» В. Костомаров на допросе в сенате: «Летом, когда уже печатание было давно прекращено, Чернышевский опять был в Москве (по делам цензуры — просить у литераторов подписей под адрес Государю) и сильно уговаривал меня продолжать печатание манифеста. Но тогда уж я отказался наотрез, ссылаясь на то, что за мной следит полиция»⁸¹.

Уверения В. Костомарова и П. Яковлева — чистая выдумка. В апреле 1863 г. арестованные студенты И. Гольц-Миллер, П. Петровский-Ильенко, А. Новиков, Я. Сулин и Л. Ященко написали письмо Н.А. Некрасову с изложением случайной беседы с П. Яковлевым, с которым оказались вместе в смирительном доме. П. Яковлев рассказал им, как В. Костомаров, обещая вознаграждение, требовал подтвердить то, чего на самом деле не было, — будто бы П. Яковлев в июле 1861 г. слышал разговор Чернышевского с В. Костомаровым о прокламации к барским крестьянам. Некрасов представил письмо в Третье отделение. А.Н. Пыпин, сопровождавший Некрасова, вспоминал: Потапов «прочел письмо и — сколько помню — сказал нам только то, что с этим письмом делать нечего, так как дело Чернышевского перешло уже из III отделения в сенат, и что там оно не нужно»⁸². Письмо все же было приобщено к делу, но последствия никакого не имело. П. Яковлева с ведома Александра II тогда же надежно упрятали под надзор полиции в Архангельскую губернию⁸³.

Неоднократно уличая лжесвидетелей, Чернышевский настойчиво требовал от следователей сличения показаний В. Костомарова с теми, какие В. Костомаров же давал в 1861 г. Разумеется, в этом требовании ему отказали.

В действительности первая поездка Чернышевского в Москву в 1861 г. была связана с хлопотами по цензурным делам и состоялась в период с 26 по 30 марта. Вторично он побывал в Москве проездом после 17 августа. Ни в апреле, ни в последующие два месяца, когда Чернышевский жил на даче, бывая в Петербурге раз-два в неделю, он в Москву не выезжал (XIV, 390—399). Утверждение В. Косто-

марова, будто поездка Чернышевского в Москву по цензурным делам состоялась летом, по-видимому, основывалась на справке Потапова. Например, Третье отделение располагало следующими данными, почерпнутыми из перлюстрированного письма некоего Л. Сув. (А. С. Суворина?) из Москвы к М.Ф. Де-Пуле в Воронеж от 7 июля 1861 г.: «Цензура нелепа по-прежнему. Журналисты совещались: сюда приезжал Чернышевский, и заседание было у Каткова, чтобы закрыть все журналы разом, но петербуржцы смалодушничают»⁸⁴. Не зная точно о времени приезда Чернышевского в Москву, Потапов, по всей вероятности, предоставил эту секретную справку в распоряжение В. Костомарова, и тот ввел сведения в свои новые показания. Да и сам Чернышевский не сразу вспомнил точную дату второго приезда в Москву, называя июнь или июль⁸⁵. Наконец он точно сообщил, что встречался с В. Костомаровым в августе по делам его публикаций в «Современнике», однако ни о какой прокламации речи не было. Отвечая на вопросы сенаторов 1 июня 1863 г., Чернышевский писал, опровергая измышления В. Костомарова: «“Но набор был цел”, — отвечал он мне. <...> Это требует справки с делом г. Костомарова. Если я был его соучастником, то я знал, что делается у него. Был ли цел набор, был ли цел станок у него 17 или 18 августа, когда я проезжал через Москву? — Если нет, то он, когда бы я был у него соучастником, мог бы рассказывать мне об уничтожении станка и набора, если это не было сообщено мне прежде. Но уже никак в этом случае не оставалось места моей мнимой просьбе о печатании. Если же станок и набор были целы, является другое соображение. Когда я выехал из Петербурга, весь Петербург уже знал, что в Москве арестованы некоторые лица, обвиняемые в тайном печатании. И, без сомнения, я стал бы просить г. Костомарова не о печатании, а об уничтожении всяких следов печатания. А вернее всего, что не показал бы носа к г. Костомарову»⁸⁶. Справка с делом В. Костомарова 1861 г. подтвердила бы, что и в первую свою поездку, покидая Москву 30 марта, Чернышевский также не мог видеть набора прокламации. Как мы теперь знаем, эту работу В. Костомаров вместе с Сулиным начали только после 31 марта, и к середине апреля у В. Костомарова уже не было ни набора (его рассыпал Сулин), ни станка (его продал В. Костомаров).

Документы с несомненностью изобличают В. Костомарова как лжесвидетеля в утверждении, будто Чернышевский являлся автором воззвания «Барским крестьянам...». Ни одно из его «признаний» в этом случае не выдерживает критики и не может рассматриваться в качестве заслуживающего доверия источника. Уязвимость «доводов» В. Костомарова была ясна и его жандармскому заказчику,

они явно нуждались в усилении, прежде чем быть представленными сенату, и Потапов задумал доставить следственной комиссии еще одно в исполнении В. Костомарова «веское» доказательство «вины» Чернышевского в составлении подпольного листка — обстоятельный разбор его литературной деятельности. Новое «свидетельство», по замыслу его создателей, должно было оказать психологическое воздействие на сенаторов, приобретая в то же время силу и значение политического фактора.

Анализируемый документ имеет свою историю. Первым исполнителем поручения руководителей Третьего отделения стал М.И. Касторский, бывший профессор Петербургского университета по кафедре истории и литературы славянских наречий. Чернышевский-студент в 1840-х годах слушал его лекции. Из университета он ушел в июле 1861 г., с 5 мая следующего года назначен цензором Петербургского цензурного комитета, где и прослужил три года до ухода на пенсию⁸⁷. Написанный Касторским обзор «Литературные тенденции г. Чернышевского» посвящен, однако, рассмотрению лишь тех произведений, в которых усматривалась проповедь «материального фатализма», «социализма и коммунизма». И только в конце, да и то мимоходом, Касторский связал воззрения Чернышевского с прокламациями начала 1860-х годов. Цитируем по сохранившейся в архиве Третьего отделения рукописи:

«Мы изложили главные тенденции нашего агитатора; влияние их на нашу молодежь было огромно, необъятно: они все лежали в основании и выразились в отвратительных прокламациях, они все ясны во всех волнениях. Но, по мнению писавшего эти строки, это зло, деланное Чернышевским и его школою, не есть еще самое худое; самое ужасное — есть распространение этого отрицательно-го, демонски грешного направления, отвергающего веру, совесть, право и благо. К принятию этого материального воззрения мы приготовлены были, к сожалению, отсутствием философских кафедр в университете и перевесом факультетов естественных, математических и медицинских; а большинство учителей веры не доросло до уровня настоящего светского образования. Изучение древних языков и литературы, серьезная философия и богословие — вот науки, долженствующие низвести дух в материализм русский»⁸⁸.

Такое заключение не совсем отвечало основному замыслу Долгоорукова и Потапова, и оно было ими отклонено. В окончательной редакции статьи Касторского, представленной под названием «Записка о литературной деятельности г. Чернышевского», мы находим выводы, отчетливо демонстрирующие стремление инициаторов «Записки» сблизить общие рассуждения мировоззренческого пла-

на с прокламационной литературой. «Подобная литературная деятельность Чернышевского, — писал теперь Касторский, — принесла горькие плоды. Проповедуемое им вредное учение было усвоено неопытной молодежью, которая, проникнувшись новыми идеями, пожелала осуществить их на деле путем опасной пропаганды и прибегла для того к тайной печати. <...> Прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий»⁸⁹.

Но одно дело — заявить о влиянии Чернышевского на авторов прокламаций, другое — на конкретных примерах показать следы и степень этого влияния и тем самым обосновать возможность участия самого Чернышевского в составлении прокламаций, укрепляя представленные следствию «улики».

Именно такая задача была поставлена перед В. Костомаровым. Написанный им «Разбор литературной деятельности Чернышевского» имел еще одну, побочную, но не менее важную цель в психологической атаке на сенаторов: служить свидетельским разоблачением, принадлежащим непосредственно одному из представителей молодого поколения, который стал жертвой пропаганды и практических действий Чернышевского. Не случайно свой «Разбор» В. Костомаров именуется «мемуарами».

Первые упоминания о «Разборе» содержатся в переписке Потапова с В. Костомаровым в начале 1863 г. В письме от 2 января В. Костомаров, намереваясь во время предстоящей встречи с управляющим Третьим отделением поговорить «о той записке», которую «обещал составить» для Потапова, жалуется, что в последнее время «решительно не мог еще до сих пор привести в порядок своих воспоминаний» и потому не знает, «поспеет ли» его записка «к понедельнику». «Записку, которую я обещал составить для Вас, — писал В. Костомаров 24 февраля, — пока не посылаю, в надежде добыть в Москве, между прочим, свою памятную книжку (не дневник), которая, может быть, объяснит мне что-нибудь из множества предположений и догадок, возбужденных чтением Вашей записки»⁹⁰. Упомянутая записка — это, конечно, «Записка» Касторского, соавтором которого, по существу, становился В. Костомаров.

«Разбор» был закончен и подан Потапову, вероятно, в мае 1863 г. На это указывает, во-первых, имеющаяся в тексте ссылка на апрельскую книжку «Современника» за 1863 г.⁹¹, во-вторых — сообщение Потапова своему шефу: «30 мая. Записка о Чернышевском, составленная из записок Костомарова и Касторского, первая переписывается и будет окончена к воскресению, вторая представляется»⁹². «Записка» Касторского читалась Александром II. Об этом свиде-

тельствует письмо А.Ф. Голицына министру юстиции Д.Н. Замятину 12 июня 1863 г. за № 783: «По Высочайшему повелению генерал-адъютант князь Долгоруков препроводил от 7 сего июня № 2338 записку о литературной деятельности Чернышевского для приобщения к делу, о нем производящемуся»⁹³. 2 июля «Записка» переправлена Замятнинным обер-прокурору сената Я.Я. Чемадурову⁹⁴. «Разбор» В. Костомарова направлен Долгоруковым министру юстиции 4 июля того же года со следующей сопроводительной: «Не угодно ли Вам будет, если найдете свободное время, просмотреть прилагаемую другую записку о литературной деятельности Чернышевского. Она очень занимательна и может быть была бы прочтена не без пользы некоторыми гг. сенаторами»⁹⁵. Слово «другую» вставлено в подлиннике Долгоруковым — ясно, что речь идет о тексте, составленном В. Костомаровым⁹⁶. Выражение «некоторыми гг. сенаторами» указывает на еще сомневающихся в виновности подследственного.

Скажем сразу, «Разбор» В. Костомарова, литератора, на себе испытавшего давление цензуры, подчас не лишен точных наблюдений над «эзоповым языком» публицистики Чернышевского. Отдельные его наблюдения и замечания, несомненно, могут служить свидетельством представителя довольно широкой читательской аудитории, научившейся читать Чернышевского «между строк». Однако санкционированный жандармскими генералами анализ имел политическую и юридическую цель: обвинить редактора «Современника» в духовном развращении молодого поколения, которое, сочиняя прокламации, прямо следовало за своим учителем. В этой «заданности» автора, стремившегося во что бы то ни стало отыскать непосредственную связь прокламационной литературы с Чернышевским, проявляется неприкрытое фискальство «мемуариста».

Как случилось, что при «бдительном надзоре цензуры» пропаганда вредных учений «могла зайти так далеко», — ответ на этот вопрос и составил одну из основных задач костомаровских «мемуаров».

Называются три способа распространения новых идей: с помощью «ученого исследования», когда призывы к бунтам прикрыты «маской науки»; путем «надувательства цензуры»; наконец посредством «тайного книгопечатания и подметных воззваний, манифестов и плакард». «Большая часть произведений этой подметной литературы, — вторя М. Касторскому, писал В. Костомаров, — есть не что иное, как развитие, дополнение и пояснение идей, замаскированных или недоговоренных в привилегированных статьях нигилистских литературных органов»⁹⁷.

Случаев обращения в «Разборе» к самой прокламации «Барским крестьянам...» всего два, и оба связаны с рассмотрением статьи Чернышевского «Июльская монархия».

Первое свое наблюдение В. Костомаров проводит в связи с высказываниями автора о бунтах как действиях опрометчивых, не дающих в результате нужного эффекта. Чернышевский выступает в статье за создание теории, способной средствами политико-экономических исследований наметить решение многих социальных проблем. И он отрицательно относится ко всяким попыткам переворотов и восстаний, последствия которых на экономическую жизнь «простолюдинов» не изучены должным образом.

Предвзятым цитированием В. Костомаров искажает эту позицию автора. «Есть меры, — пишет Чернышевский о бунтах, — к которым *никогда* не должен прибегать расчетливый человек, как бы губительны ни были они для людей ему ненавистных. Мы говорим это не с точки зрения нравственности или гуманности, а *даже* просто с точки зрения выгоды эгоистического расчета» (VII, 152). Цитируя, В. Костомаров выбрасывает выделенные нами слова. После этого легче «убедить», что Чернышевский не одобряет уличного бунта только потому, что «он просто не выгоден». И далее о Чернышевском: «Он смотрит на вещи только с точки зрения выгоды для своей партии, с точки зрения эгоистического расчета». Под «эгоистическим расчетом», как видим, понимаются интересы революционной партии. Тогда как Чернышевскому важно подчеркнуть: восстания заранее обречены, они не гуманны, потому что сопровождаются напрасными жертвами, и «расчетливый человек» обязан это видеть.

«Конечно, — продолжает Чернышевский, — хорошо говорить это людям, спокойно смотрящим издали на историческую борьбу, и почти нет человеку возможности удержаться от опрометчивых действий, когда он охвачен вихрем исторической жизни, влекущей к столкновениям, *столь же неизбежным, как и напрасным*» (VI, 152). Отбросив последнюю часть фразы, выделенную нами, В. Костомаров вновь приглушает мысль о «напрасности» нерасчетливых выступлений. Верный своему намерению непременно связать Чернышевского с бунтами и прокламациями, он пишет об авторе статьи: «Стало быть, принадлежа к категории людей увлекающихся, он не может иногда удержаться от опрометчивых действий. А опрометчивыми действиями он называет бунт». Чернышевский же вообще против бунта как действия «нерасчетливого», «опрометчивого», когда не изучены результаты его. *«Но если уж нельзя удержаться от вредной растраты собственных сил и общественных средств в бесплод-*

ных катастрофах, то надобно по крайней мере помнить, что есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования; и надобно было бы не бесславить тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех нас, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно так называемой политической истории» (VII, 152–153). И здесь В. Костомаров выбрасывает важную по смыслу часть фразы. Призыв к «ученым исследованиям» он подает как «подготовку общей революции посредством внушения народу тех идей, на основании которых должно совершиться желаемое пересоздание общества», причем будто бы Чернышевский и сам готов увлечься «пристрастием к внешним событиям политической истории». И далее следует выдержка из прокламации «Барским крестьянам...»: «Так вот оно какое дело. Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет, и покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить». Автор «Разбора» заключает: «Очевидно, что это говорит один и тот же человек: только в воззвании к б<арским> к<рестьянам> он одет в мужицкий кафтан и никого не боится, а в статье об июльской монархии одет во фрак и боится закона, за которым стоит судебная власть с своими наказаниями»⁹⁸.

Последующие рассуждения Чернышевского о причинах неудач революций во Франции В. Костомаров, разумеется, не приводит, настолько они, развивая основные мысли автора «Июльской монархии», не вписываются в созданную «Разбором» схему.

Одержимый необходимостью выискивать параллели с прокламацией «Барским крестьянам...», В. Костомаров представляет еще одно «совпадение» текстов. Все ученые исследования Чернышевского «ведут к тому, — утверждает он, — чтобы в лице июльского правительства поругать самый принцип королевской власти, унижить его авторитет, показать, что только одни демагоги были бы в состоянии вывести Францию из того “нелепого положения всех прав и благ общественной жизни”, в которое привела ее монархия». Демагоги — это республиканцы-революционеры. «Автор “поклона к барским крестьянам”, на чем свет стоит охаяв “царскую волю”, тоже пускается “в ученые исследования” и рассказывает мужикам, “какая заправская бывает воля” и какие порядки заведены у англичан, у французов, у народа, что швейцарцами зовется, и у другого народа, которого американцами называют... “Вот она какая взаправду воля бывает на свете”, — восклицает автор, кончая свои “ученые исследования” о конституциях разных народов». «Очевидно, приемы одни и те же», — умозаключает В. Костомаров⁹⁹.

Заключение настолько, как говорится, «притянуто за уши» к Чернышевскому, что тут не требуется особых усилий для его опровержения. Конечно, симпатии Чернышевского на стороне «демагогов», а не монархистов. Но вовсе не к тому ведет автор статьи, чтобы и в России «завести такие порядки», какие завели «демагоги» во Франции. Наоборот, Чернышевский критикует, и очень резко, республиканцев, слепо и бездумно увлекшихся «драматическими событиями» и конституционализмом. В последние годы своего правления, писал Чернышевский о Луи Филиппе, он «делал во Франции все, что хотел, пользуясь под конституционными формами неограниченной властью» (VII, 74). Уже одно это показывает, что не мог автор «Июльской монархии», если б ему пришлось составлять прокламацию, приводить французскую конституцию как пример для подражания. Чернышевский был куда более глубоким политиком, чем представил его В. Костомаров.

Выше мы приводили другие примеры из статей Чернышевского 1860–1861 гг., свидетельствующих, насколько критично он относился к французской или английской конституции, существовавшей только на бумаге.

Других случаев сходства с прокламацией «Барским крестьянам...» В. Костомаров не обнаружил, хотя, думается, тщательнейшим образом «перерыл» все тексты и, конечно, использовал бы любую зацепку для своих аналогий.

Не находя более опоры в прокламации «Барским крестьянам...», он далее безудержно цитирует из воззваний «К молодому поколению» и «Молодая Россия». Создается даже впечатление, что Чернышевский был если не автором, то по крайней мере соавтором этих «произведений тайной прессы». Указание В. Костомарова на воззвание к раскольникам, будто бы также составленное Чернышевским, является в одном ряду «улик», изобретенных с целью создать мнение о редакторе «Современника» как бунтаре и руководителе всей прокламационной литературы.

Критический анализ всего комплекса свидетельств В. Костомарова о воззвании «Барским крестьянам...» как произведении пера Чернышевского обнаруживает полную их несостоятельность.

Чрезвычайно существенно, что достоверность костомаровских свидетельств была официально поставлена под сомнение еще в том же 1863 г. — биографическая подробность, содержащаяся в одном из архивных документов. Решилась на это военно-судная комиссия, рассматривавшая дело Н.В. Шелгунова, который на основании доносов В. Костомарова попал 15 апреля 1863 г. в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 13 июня этого года комиссия

военного суда, учрежденная при Петербургском Ордонанс-гаузе, направила управляющему Третьим отделением А.Л. Потапову отношение за подписью генерал-майора А.Е. Тимашева. Здесь сформулированы прелюбопытные вопросы, которые возникли у комиссии после тщательного изучения представленных А.Л. Потаповым и А.Ф. Голицыным материалов: 1) «в чем именно проявилось это противоправительственное направление» в действиях Шелгунова, 2) «были ли распространены воззвания “к барским крестьянам” и “к солдатам”», 3) «что за 5 студентов, которые писали, “что В. Костомаров хочет подготовить против Чернышевского”» и 4) «не известно ли III отделению, кто такой Николай Иванович Соколов, которому Костомаров писал из Тулы письмо, где разъясняется участие Шелгунова в составлении возмутительных воззваний и где он проживает»¹⁰⁰. Вопросы затрагивали самые уязвимые моменты следствия, особенно последний, потому что Соколов был лицом вымышленным, его и не разыскивали, удовлетворившись объяснением В. Костомарова: «Где он теперь находится, мне неизвестно»¹⁰¹. Потапов 18 июня переслал вопросы Голицыну, ничего к документу не прибавляя, и попросил его ответить военно-судной комиссии. Голицын не скрывал своего возмущения вопросами, но ответить пришлось. В объяснениях Голицына видна полная беспомощность, он не смог быть убедительным ни по одному из четырех пунктов: 1) Шелгунов с женою, отправляясь в Сибирь к государственному преступнику Михайлову, устроили лотерею с целью собрать деньги на поездку, и это обстоятельство «очевидно направлено к противодействию правительству», 2) в письме В. Костомарова к Соколову и в ответах В. Костомарова объяснено все, что относится к прокламациям. «Из тех же бумаг видим, что воззвания эти не были распространены», 3) по поводу студентов военно-судная комиссия «должна установленным порядком войти с представлением к Управляющему министерством юстиции, так как дело об упомянутых студентах производилось в Правительствующем сенате», 4) о Соколове «объяснено в ответах Костомарова, приложенных в копиях к делу о Шелгунове. Кроме того, комиссия может получить о Соколове сведения от Костомарова, прикомандированного к здешнему батальону внутренней стражи».

Опасаясь новых вопросов, Голицын направляет Потапову официальное письмо, свидетельствующее о крайнем раздражении. В следственной комиссии, им, Голицыным возглавляемой, «дела рассматриваются во всей подробности, — пишет он, — и по окончании производством получают соответствующее направление на точном основании Высочайших повелений, испрашиваемых по ка-

ждому делу. <...> Вследствие сего разъяснения вопросов по оконченному уже комиссиею производством, подобно тому, как это сделано комиссиею военного суда над полковником Шелгуновым, — до председательствуемой мною комиссии относиться не может, и я долгом считаю покорнейше просить Ваше Превосходительство, не изволите ли Вы, Милостивый государь, на будущее время устранить от комиссии вопросы по делам, ею рассмотренным и получившим направление»¹⁰².

После этого никто уже Голицына не беспокоил. Потапову также не пришлось давать кому бы то ни было объяснения по поводу показаний В. Костомарова.

Однако военная комиссия, имея возможность быть независимой от Третьего отделения, не сочла показания В. Костомарова убедительными. На допрос его так и не вызвали. Заканчивая дело, военный суд определил 23 июля 1863 г.: «По несознанию подсудимого и неимению доказательств», Шелгунов лишь «оставлен в сильном подозрении» в «составлении воззвания к солдатам и участии с Чернышевским в составлении другого воззвания к барским крестьянам». Но после того как Шелгунов «изъявил желание ко всем этим предметам обвинения принять очистительную присягу, то из опасения клятвопреступления суд, не допустив его к присяге, освободил от подозрения». В декабре 1864 г. Шелгунов был лишен права выхода на пенсию и осужден на высылку «в отдаленную губернию под полицейский надзор»¹⁰³.

Свидетельства современников

К выяснению вопроса о причастности или непричастности Чернышевского к авторству в отношении прокламации «Барским крестьянам...» должна быть привлечена выявленная к настоящему времени мемуарная группа источников.

Особым доверием среди исследователей пользуются воспоминания Н.В. Шелгунова — важнейшее во всей мемуарной и известной документальной литературе свидетельство, служащее опорой во всех последующих утверждениях, что прокламация «Барским крестьянам...» написана Чернышевским.

Мемуары о шестидесятих годах начаты Шелгуновым, по его признанию, в Выборге в 1875—1876 гг. Сначала был написан очерк о «первом знакомстве с Пекарским, Михайловым и Чернышевским», затем работа остановилась¹⁰⁴. В 1883 г. он возобновил записи, ставшие известными в научной литературе под условным названием «Первоначальные наброски». В последующие два года весь матери-

ал был им переработан и составлен новый текст воспоминаний «Из прошлого и настоящего»¹⁰⁵.

Наиболее пространные сообщения о прокламациях начала шестидесятых годов и о Чернышевском содержатся в «Первоначальных набросках». Вот эти фрагменты: «Зимой 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров (племянник историка¹⁰⁶) с рекомендательным письмом к Михайлову от Плещеева (поэта). <...> В ту же зиму, т.е. в 1861 году, я написал прокламацию “К солдатам”, а Чернышевский прокламацию “К народу” и вручил их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву. В ту же зиму я написал прокламацию “К молодому поколению”, но мы решили печатать ее в Лондоне в “русской печатне”. Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня. Содержание прокламации “К народу”, “К солдатам” я забыл, но “К молодому поколению” — помню.

Возвратившись в Петербург, Михайлов застал в нем Костомарова. Костомаров привез одну форму прокламации “К народу”, а прокламацию “К солдатам” еще не начинал набирать»¹⁰⁷.

Цитированные отрывки впервые появились в печати в 1918 г. в журнале В.И. Семевского «Голос минувшего». Однако не все исследователи, хотя их было немного, безоговорочно в них поверили¹⁰⁸. Действительно, в мемуарах Шелгунова немало противоречий, неточностей, недоговоренностей. «Шелгунов в своих воспоминаниях не отличается безукоризненной точностью: “К народу” — это, вероятно, и есть «К барским крестьянам», — писал, например Л.Ф. Пантелеев, располагавший неизданным отрывком воспоминаний в рукописи¹⁰⁹. По Шелгунову, обе прокламации вручил В. Костомарову именно он. «Это неверно, — писал С.А. Рейсер. — На самом деле, путь от Чернышевского до Костомарова был длиннее. Чернышевский передал написанный им текст скорее всего Михайлову», и только потом он попадает к Сороко, Сулину и В. Костомарову»¹¹⁰. Впрочем, из слов мемуариста можно сделать также вывод, будто прокламации были вручены В. Костомарову Чернышевским. Одновременно Шелгунов утверждал, что солдатскую прокламацию он отдал Михайлову, а тот — В. Костомарову. Противоречивость в объяснениях относительно собственного звания «Русским солдатам...» неизбежно ставит под сомнение и ценность сообщения о «Барским крестьянам...».

Еще об одном противоречии в «Первоначальных набросках». Настаивая на авторстве Чернышевского, мемуарист в то же время пишет: «Не судом, не за вину отправили Чернышевского в каторгу, а потом в Якутский край, в Вилюйск на поселение, а потому только, что боялись его слов, его влияния как публициста и вождя, боялись в нем опасного писателя». И далее, продолжая эту мысль: «Добролюбов избег каторги только потому, что умер. <...> Проживи он еще год и он попал бы в крепость за ту же вину, как и Чернышевский», т.е. исключительно за свою литературную деятельность¹¹¹. Конечно, словами «не судом, не за вину» Шелгунов хотел сказать об отсутствии юридических улик. Но ведь в том-то и дело, что, если верить Шелгунову, «вина» у Чернышевского перед правительством все же была, коль скоро он — автор прокламации, и его арест и осуждение пусть не юридически, но объективно отразили степень этой «вины». Утверждать, что Чернышевский был осужден безвинно, не за прокламацию, мог только человек, который твердо уверен в непричастности Чернышевского к этому воззванию.

В воспоминаниях «Из прошлого и настоящего»¹¹² Шелгунов менее категоричен в утверждениях относительно авторства Чернышевского. Здесь читаем: «Главную причину, порождавшую смуту в умах и приводившую к беспорядкам, Костомаров усматривал в поведении отдельных лиц. И между ними он считал особенно виновными Чернышевского, которому приписывал прокламацию к народу (наполовину набранную Костомаровым и у него арестованную), Михайлова, написавшего прокламацию “К молодому поколению”, и меня (следовало обвинение тоже в прокламации)»¹¹³. Как видим, об авторстве Чернышевского в этом отрывке сообщено только предположительно, этим «несколько ослабляется» прежнее показание¹¹⁴.

Первым из исследователей, кто заинтересовался причинами несходства свидетельств Шелгунова, был историк В.И. Семевский. В письме к Л.Ф. Пантелееву от 3 декабря 1910 г. он писал: «Многоуважаемый Лонгин Федорович! Крайне важно было бы найти подлинную рукопись Шелгунова в виду огромного значения приведенного Вами места»¹¹⁵. Тут важен и контекст с предыдущим и последующим, и то, в какое место напечатанных “Воспоминаний” Шелгунова оно должно будет вставлено. Это тем более необходимо, что на стр. 412 юбилейного сборника Литературного фонда Шелгунов говорит: “Такою, вероятно, и была прокламация «К народу», найденная у Костомарова наполовину напечатанной”, т.е. как будто он этой прокламации не видал. Пожалуйста, поищите подлинную рукопись»¹¹⁶. Нашел или нет Пантелеев подлинную рукопись,

остаётся неизвестным. Опубликование отрывка («Первоначальные наброски») в 1918 г. в журнале В.И. Семевского производилось по копии, полный текст которой также неизвестен.

Нельзя сказать, чтобы Пантелеев, укоровший Шелгунова в неточности и обладавший, как он сам уверял, автографом Шелгунова, был безукоризненно точен в цитировании текста. Мы располагаем следующим материалом для сравнения: 1) хранящейся в архиве Пантелеева его собственноручной выпиской с пометкой: «Оригинал я передал В.И. Семевскому», 2) публикацией в книге Пантелеева 1908 г. и 3) текстом первой полной публикации всего отрывка 1918 г.

Вот как Пантелеев выписал интересовавший его фрагмент:

«В ту же зиму (1861 г.) я написал прокламацию к “солдатам”, а Чернышевский прокламацию к “народу” и вручил (т.е. Шелгунов) их для напечатания Костомарову (В.). Разговоров вообще у нас было мало, а о прокламациях и тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву»¹¹⁷.

В 1908 г. тот же текст Пантелеев напечатал так:

«Шелгунов буквально говорит: “В эту зиму (61 г.) я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» <...> Я переписал прокламацию измененным почерком и так как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову (Всеволоду). Впрочем, Костомаров знал, что писал я <...>»¹¹⁸.

Текст 1918 г., к которому восходят все позднейшие перепечатки, приведен нами выше.

Сравнение показывает, что буквального совпадения между этими тремя отрывками, которого следовало бы ожидать, нет. Различия несущественны и ограничиваются изменениями и перестановкой некоторых слов и союзов. Вместе с тем текстовые расхождения прежде всего показательны в одном отношении: они обнаруживают постороннее вмешательство (в данном случае Пантелеева) в подлинный текст. Впрочем, вполне вероятно предположение, что подлинником (автографом) Пантелеев все-таки не располагал, и В.И. Семевский его не получал. Так или иначе, но отсутствие автографа при неточном цитировании фрагмента Пантелеевым порождает известное недоверие к тексту, представленному им в редакцию журнала «Голос минувшего». Слишком разительны неточности внутри отрывка из «Первоначальных набросков» и противоречия между этим отрывком и цитированными местами из «Прошлого и

настоящего», чтобы можно было безусловно и безоговорочно принять сообщение Шелгунова, будто прокламация «Барским крестьянам...» написана Чернышевским. Вызваны ли эти противоречия вмешательством Пантелеева в текст «Первоначальных набросков» или они исходят от самого Шелгунова, в любом случае указания Шелгунова очень точными назвать нельзя.

Из переписки Шелгунова с В.А. Гольцевым, редактором журнала «Русская мысль», выясняется, что автор «Из прошлого и настоящего» сам сознавал скудость и неясность своих свидетельств о Чернышевском. Так, в письме от 16 февраля 1886 г. читаем: «И так мне жаль, что не пришлось говорить подробно о последствиях письма Костомарова, т.е. о тех двух делах, о которых я упоминаю. Конечно, я стал бы распространяться о деле, представляющем больший интерес, чем мое»¹¹⁹.

Сохранились также свидетельства современников Шелгунова, служащие дополнительным комментарием к его мемуарам, например Н.С. Русанова: «Шелгунов мне прямо говорил, что он сам и М.Л. Михайлов гораздо более верили в возможность благоприятного исхода событий для демократической партии, чем Чернышевский, хотя и без колебаний шедший к цели, раз поставленной им после самого холодного и проницательного анализа современных ему условий». В другом случае та же информация присутствует в более развернутом виде и завершается тем же выводом: Чернышевский «безоговорочно остановил свой выбор на активном вмешательстве в ход событий»¹²⁰. В чем именно проявилось это «активное вмешательство», точно не сообщено. Толковать слова Русанова в том смысле, что в них содержится намек на прокламацию «Барским крестьянам...» как пример такого вмешательства мы не можем, не суживая тем самым представления о роли Чернышевского в освободительном движении. Да и сам Русанов, располагая свидетельствами Шелгунова, об авторе воззвания «Барским крестьянам...» ничего определенного сообщить не мог. После опубликования М.К. Лемке в 1906 г. материалов следственного дела Чернышевского Русанов заявил, что это воззвание «если не целиком, то в значительной степени вышло из-под пера Чернышевского»¹²¹. Следовательно, ни в письмах, ни в личных беседах с близкими ему людьми Шелгунов ни разу не обмолвился об авторстве Чернышевского. Утверждения в «Первоначальных набросках» звучат одиноко и не только не подкреплены позднейшими свидетельствами самого Шелгунова, но, напротив, благодаря этим последним, возбуждают немалую долю сомнения и даже недоверия. Мемуары Шелгунова в рассмотренной их части требуют осторожного, критического отношения к ним.

Другим осведомленным современником событий был М.Л. Михайлов. Кому как не Михайлову знать имя действительного автора «Барским крестьянам...»!

К сожалению, в его «Записках» нет прямых указаний на этот счет. И все же, полагаем мы, в этом документе, достоверность которого не подлежит сомнению, содержатся относительно Чернышевского намеки, которые можно толковать как исключаящие участие Чернышевского в составлении воззвания.

В Иркутске, сообщает Михайлов, он узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам не выдавать Чернышевскому заграничного паспорта. «Это известие поставило меня в тупик; я решительно не знал, как объяснить его, и отчасти усомнился в его верности; но молодой человек, от которого я слышал об этом, прислал мне на следующее утро и номер, и дату предписания с подтверждением, что дело идет именно о литераторе Николае Чернышевском»¹²².

Почему это известие так взволновало Михайлова, нигде у него не пояснено. Скорее всего, он «решительно не знал», как понять валуевский рескрипт потому, что не видел причин для репрессий против редактора «Современника». Если бы Михайлову было известно авторство или участие Чернышевского в составлении прокламации, он еще во время следствия искал бы способы отвести от него это подозрение и нашел бы возможность сделать это так же наверняка, как сделал с шелгуновскими прокламациями, т.е. принял их на себя. Задача облегчалась тем более, что на первых допросах ему инкриминировали как раз воззвание к крестьянам, а не к солдатам. Михайлов же сразу и очень успешно отвел от себя обвинение в составлении крестьянской прокламации, не опасаясь за судьбу действительного ее автора. Реакцию Михайлова на запрещение в выдаче Чернышевскому заграничного паспорта можно объяснить недоумением по поводу начинающихся действий правительства по отношению к человеку, не причастному к подпольным акциям.

Рассмотрим мемуары А.А. Слепцова. Фрагменты его воспоминаний, обнаруживавшиеся и публиковавшиеся в разные годы, впервые собраны воедино и научно выверены С.А. Рейсером в 1962 г. Этот текст мы и будем иметь в виду.

Вот что сообщил Слепцов: «Роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса, который он, действительно, знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам, Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапovu, а потом, не помню по каким обстоятельствам, передали

тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и его выполнении мне сказал в начале 1861 года сам Чернышевский, знал о нем и Н.Н. Обручев, потом из боязни быть расшифрованным уклонившийся от участия в общем деле»¹²³.

Противоречий у Слепцова немало. Чернышевский «должен был написать» и в то же время он же подтверждал выполнение этого плана, причем слова о выполнении отнесены и к прокламации о раскольниках. Между тем о последней нет никаких свидетельств, кроме путаных следственных показаний В. Костомарова. Заявление Слепцова противоречит также всему, что мы знаем об осторожности Чернышевского¹²⁴. Отмечалась еще одна «неувязка». Сообщаемое мемуаристом распределение ролей решительно противоречит прямому указанию Шелгунова, автора прокламации «К молодому поколению»: «Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня»¹²⁵.

Самое же существенное противоречие Слепцова заключено в описании знакомства с Чернышевским. Прежде всего о дате.

В приведенном отрывке Слепцов утверждал, что план работы над прокламациями Чернышевский сообщил ему «в начале 1861 года». В другом мемуарном отрывке Слепцов связывал знакомство с Чернышевским с появлением в Петербурге первых прокламаций: «Вот уже здесь явились воззвания»¹²⁶. Несомненно, речь могла идти только о листках «Великорусса» и прокламации «К молодому поколению» — первых широко распространенных в столице подпольных документах. Поскольку Слепцов говорит о воззваниях во множественном числе, а 1-й номер «Великорусса» вышел после 30 июня, 2-й номер — 7 сентября, прокламация «К молодому поколению» распространена до 14 сентября, то вернее всего датировать знакомство Слепцова с Чернышевским первой половиной сентября 1861 г. Разногласие налицо¹²⁷.

Слепцов до такой степени неточен, что называет еще одну, совершенно фантастическую дату, сообщая о «Письме из провинции», напечатанном в «Колоколе» 18 февраля (1 марта) 1860 г.: «Написано Н.Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену»¹²⁸.

Предлагается считать, что в словах Слепцова вовсе не содержится указания, будто Чернышевский сам читал ему «Письмо из провинции», оно было прочитано ему, но кем, не говорится. К тому же слово «до отправления» нужно отнести не к «Письму», а к самому Слепцову¹²⁹. Но вряд ли это могло быть так. Цитированные нами слова написаны Слепцовым на копии текста «Письма из провинции», и потому никакой неопределенности в них не возникает.

К тому же слова «до отправления» могут быть отнесены только к неодушевленному предмету, в данном случае к письму. Наконец никто Слепцова к Герцену в 1859 г. отправить не мог; его командировали за границу для ознакомления с состоянием народного просвещения в Германии и Франции¹³⁰, и слова «до отправления» в данном контексте относятся только к письму.

Другое дело — сообщение о «Письме из провинции» как произведении Чернышевского. Большинство исследователей это авторство отрицают¹³¹. Оно в сообщении Слепцова тем более шатко, что почти полностью разрушается противоречивыми указаниями Слепцова на дату первой встречи с Чернышевским (конец 1859, начало 1861 и первая половина сентября того же 1861 г.).

Следует иметь в виду еще два замечания, касающихся мемуаров Слепцова. По всей вероятности, весь фрагмент о Чернышевском как авторе воззваний к крестьянам и раскольникам подсказан Слепцову М.К. Лемке. Именно в 1906 г., когда Слепцов работал над воспоминаниями, М.К. Лемке публикует материалы процесса Чернышевского, и все, что известно о взаимоотношениях исследователя и мемуариста, дает повод сомневаться в самостоятельности работы Слепцова над воспоминаниями. Любопытно, например, такое замечание М.К. Лемке: Слепцов «многое бы спутал и упустил из виду, если бы очень охотно не руководствовался моими чисто фактическими общими указаниями по эпохе, хронологической последовательности событий и т.п.»¹³². Второе замечание. В 1906 г. Л.Ф. Пантелеев опубликовал заметку «Нелишнее разъяснение», в которой сообщил, что все сведения об участии Шелгунова и Михайлова в составлении и распространении прокламации «К молодому поколению» он заимствовал из записки «самого Шелгунова об обстоятельствах, касающихся начала 60-х годов»¹³³. Возможно, полемическое неприятие мемуаров Пантелеева — об этом в научной литературе широко известно — натолкнуло Слепцова на мысль о создании собственной версии, в которой главную роль должен был сыграть не Пантелеев, а он, Слепцов. Не случайно же М.К. Лемке не мог не заметить, что Слепцов «видимо, любит похвастаться»¹³⁴. Словом, Слепцову было откуда почерпнуть сведения о Чернышевском, Шелгунове и Михайлове.

Противоречивость сообщений, их хронологическая разлаженность, излишняя категоричность, возникшая, по-видимому, из полемических побуждений, — все это лишает мемуары Слепцова значения надежного свидетельства.

Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеет замечание А.Н. Пыпина, содержащееся в его «Записке о деле

Н.Г. Чернышевского». Во время ареста Чернышевского в Петербурге Пыпина не было. «На днях я приехал в Берлин, — писал он брату С.Н. Пыпину 1 ноября, — и завтра, т.е. в воскресенье отправлюсь в Петербург. Там я буду в среду вечером часов в одиннадцать»¹³⁵. На правах близкого родственника Пыпин имел постоянный доступ к находившемуся в крепости Чернышевскому; «...я из уст самого заключенного постоянно узнавал о ходе его дела, всю наготу его», — сообщал он в «Записке», которую он направил властям в 1881 г. и которая, по его заявлению, повторяла содержание подобного же документа, адресованного им же в начале 1864 г. А.А. Суворову.

«Показания Костомарова, — писал Пыпин, опираясь на полученные у Чернышевского сведения, — клонились к тому, как я после слышал, что якобы Чернышевский побуждал его напечатать в тайной типографии в Москве какое-то воззвание к дворовым людям (безграмотность которых Чернышевскому была прекрасно известна). Но эти первые изветы В. Костомарова остались безуспешны, подтвердить их он ничем не мог»¹³⁶.

Отвергая в «Записке» показания В. Костомарова, А.Н. Пыпин, таким образом, и в случае с возванием к крестьянам был совершенно убежден в непричастности Чернышевского к этому листку. Моральная убежденность Пыпина, возникшая в результате общения с Чернышевским в период следствия, обретает силу свидетельства, которое не может быть обойдено исследователями.

Особую категорию среди рассматриваемых источников составляют мемуары отбывавших каторгу вместе с Чернышевским С.Г. Стахевича, В.Н. Шаганова, П.Ф. Николаева, Н.С. Тютчева. Эти воспоминания появились в печати почти в одно время, после 1905—1906 гг., и почти все авторы испытали на себе влияние опубликованных М.К. Лемке документов процесса Чернышевского. Особенно это характерно для мемуаров С.Г. Стахевича, однако и он в своих выводах осторожен. «Перечитывая воззвание к барским крестьянам, я не заметил в нем таких внутренних признаков, — писал Стахевич, — которые показывали бы, что Николай Гаврилович не мог быть автором этого возвания. Мне кажется, мог быть. Был ли? Не знаю». Прямых объяснений на эту тему Чернышевский избегал, но из краткого изложения им своего следственного дела Стахевич передает «основную тенденцию рассказа, которая была такова: над подсудимым совершено вопиющее беззаконие, он осужден на основании заведомо подложного документа»¹³⁷. Такое заключение, несомненно, касалось и главного пункта обвинения — возвания к крестьянам. В.Н. Шаганов и П.Ф. Николаев почти совершенно обошли историю с возванием. У Николаева, например, чита-

ем: «О деле Чернышевского я говорить не буду; не буду говорить о его участии в революционной и оппозиционной деятельности того времени. Для этого у меня слишком мало данных»¹³⁸. И все же оба, несомненно, располагали какими-то сведениями, которые получили огласку в статье их товарища по ссылке Н.С. Тютчева, известного землевольца и народовольца 1870-х годов¹³⁹. Его статья о Чернышевском впервые опубликована в 1914 г.¹⁴⁰ и без изменений перепечатана в его книге воспоминаний, подготовленной и прокомментированной Е.Е. Колосовым¹⁴¹. Однако этот печатный текст, как это видно из примечаний, расходился с рукописным, рукопись же оставалась Е.Е. Колосову неизвестной. Расхождения частично устранены Н.А. Алексеевым, который впервые ввел в научный обиход статью Н.С. Тютчева применительно к теме об авторе прокламации «Барским крестьянам...». Но Н.А. Алексеев неверно воспроизвел имя автора, назвав его Н. Тюриным, и не указал точного местонахождения рукописи¹⁴². Между тем подлинник находится в архиве Н.Г. Чернышевского — машинописный текст с авторской правкой и подписью. Опубликованный Н.А. Алексеевым отрывок в некоторых местах отличен, хотя и незначительно, от рукописного, поэтому цитируем по авторизованному тексту: «...Все каракозовцы в один голос утверждали, что Н<иколай> Гавр<илович> сослан был на каторгу только благодаря подложному письму; он не являлся, следовательно, по их мнению, автором прокламации “к барским крестьянам”. И это они утверждали после нескольких лет совместной жизни в Александровском заводе и лучших отношений с Н<иколаем> Гавр<иловичем>, т.е. очевидно, передавали слышанное от самого Н<иколая> Гавр<иловича>, который продолжал даже в дружеских отношениях с товарищами-каторжанамися стоять на версии, которой он придерживался на следствии и суде». И далее Тютчев прибавлял, уже высказывая собственное мнение по этому поводу: «Теперь, после опубликования подлинных документов по делу Чернышевского (в “Былом”), едва ли можно уже сомневаться, что Н<иколай> Г<аврилович> был автором прокламации “к барским крестьянам”»¹⁴³.

Приведенное Н.С. Тютчевым мнение каракозовцев, единодушно отрицавших принадлежность прокламации Чернышевскому, по-своему корректирует позицию, занятую Шагановым и Николаевым, дополняет их воспоминания. Оба мемуариста, не решившиеся на гласное обсуждение вопроса об авторе воззвания, были более откровенны с Тютчевым в частных беседах. И если Николаев печатно отказался от какого бы то ни было категорического суждения, ссылаясь на недостаточность данных, то в этой позиции нет ниче-

го, что вызвало бы сомнения в объективности заявления Тютчева. А ведь Тютчев передал свидетельства не только Шаганова и Николаева. «Все каракозовцы» — это еще П.Д. Ермолов, М.Н. Загибалов, Д.А. Юрасов¹⁴⁴, Н.П. Странден. Между прочим, Стахевич писал, что если Чернышевский «кому-нибудь из нас излагал подробности о своей конспираторской и вообще нелегальной деятельности, то, нужно ожидать, прежде всего и больше всего, именно вот им — Страндену и Юрасову»¹⁴⁵.

Мы вправе сделать вывод об особой важности переданных Н.С. Тютчевым со слов каракозовцев сведений и необходимости включения их в разряд источников, без которых исследование вопроса об авторе прокламации «Барским крестьянам...» было бы неполным.

Этот вывод распространяется и на воспоминания Н.В. Рейнгардта. Появление их в печати относится к 1905 г. Однако из архивных источников выясняется, что первоначально они предназначались для сентябрьской книжки «Русской старины» за 1904 г. Так, распоряжением начальника Главного управления по делам печати от 2 сентября 1904 г. выпуск в свет этой книжки журнала разрешался «в виду исключения из нее статьи “Н.Г. Чернышевский” Н.В. Рейнгардта»¹⁴⁶. Согласно второму документу, тот же начальник 9 сентября 1904 г. препроводил экземпляр сентябрьской книжки журнала «в первоначальном ее виде, т.е. с исключенной из нее статьей Н.В. Рейнгардта “Н.Г. Чернышевский (по воспоминаниям и рассказам разных лиц)”» на имя великого князя Владимира Александровича¹⁴⁷. Разрешение выпустить журнал с этой статьей последовало в феврале 1905 г.

В Саратове хранится принадлежавший М.Н. Чернышевскому экземпляр статьи Рейнгардта в первой запрещенной редакции¹⁴⁸. Сравнение текстов, произведенное еще М.Н. Чернышевским, о чем свидетельствуют его пометки на полях, явно в пользу публикации 1905 г. Помимо стилистической правки, автор, воспользовавшись разрешением на печатание статьи, внес в текст новый материал, в том числе высказывания Чернышевского о своем процессе и В. Костомарове.

Активный участник студенческого оппозиционного движения начала 1860-х годов, Н.В. Рейнгардт испытал значительное идейное влияние «Современника». Чернышевского же он впервые увидел на похоронах Добролюбова. Об аресте руководителя «Современника» он узнал от своей кузины, хорошей подруги жены старшего адъютанта штаба корпуса жандармов А.К. Зарубина. В январе 1866 г. Рейнгардт лично беседовал с Зарубиным, и тот, будучи хорошо ин-

формированным о тогдашних политических процессах, передал некоторые подробности дела Чернышевского. Из архивных документов известно, что майору Зарубину было поручено отправить Чернышевского в Петропавловскую крепость в день его ареста, он же неоднократно по распоряжению Потапова сопровождал следственного на допросы.

Зарубин свидетельствовал, что если бы не В. Костомаров, Чернышевского пришлось бы отпустить. Особую роль сыграл разбор В. Костомаровым сочинений редактора «Современника». «В течение трех месяцев, как передавал А.К. З<аруби>н, статьи Чернышевского с комментариями Костомарова тщательно переписывались и представлялись государю, который, наконец, положил резолюцию: «Судить по всей строгости законов», вследствие чего его судили»¹⁴⁹. Свидетельство чрезвычайной важности, с некоторой поправкой: Александру II представили «Записку» М.И. Касторского, а не «Разбор» В. Костомарова. Подобная перестановка Зарубиным столь близких документов вполне допустима. И, конечно, Чернышевского все равно не отпустили бы. Не В. Костомаров, так нашли бы другого лжесвидетеля. В июне 1886 г. в Астрахани состоялось личное знакомство Рейнгардта с Чернышевским. В разговоре был упомянут процесс, и вот что мемуарист сообщил по этому поводу:

«Говоря с Чернышевским о его процессе, я между прочим сообщил ему приведенный выше рассказ подполковника А.К. З<аруби>на, на это Николай Гаврилович сказал, что сведения, сообщенные мне За<руби>ным, вполне верны, причем объяснил, что Костомаров по этому делу представил подложные записки, но Сенат, на основании показаний секретарей, признал их действительными. «Я никогда не доверял Костомарову», — говорил Чернышевский, — и относился к нему крайне подозрительно, советовал и всем нашим быть с ним осторожнее, но как Михайлов, так и Добролюбов находили мои подозрения совершенно неосновательными, однако последствия показали, что я был прав. Он питал ко мне сильное нерасположение, которое усилилось после того, как я отказал ему в деньгах... Но кроме того, я вполне уверен, что Костомаров в это время был душевнобольной»¹⁵⁰.

Это свое мнение о В. Костомарове Чернышевский изложил не только Рейнгардту. «Ранее меня, — рассказывал Рейнгардт, — с Николаем Гавриловичем Чернышевским виделся известный артист М.И. Писарев, который посетил его в Астрахани в 1884 г. При разговоре по этому предмету со мною М.И. подтвердил верность всех изложенных выше фактов. <....> По поводу Всеволода Костомарова Николай Гаврилович сообщил Писареву, что во время очных ста-

вок с ним в сенате ему пришлось слышать, как этот лжесвидетель высказывал такие ужасные и такие невероятные обвинения, что он пришел к заключению, что Костомаров человек ненормальный, психически больной, в чем он уверен и до сих пор, причем просил М.И. передать об этом всем, с кем будет говорить о нем»¹⁵¹.

Прокламация «Барским крестьянам...» в мемуарах Рейнгардта не названа, но, разумеется, имелась в виду именно она, и Чернышевский, как это выходит из его слов в передаче Рейнгардта, решительно отверг свою причастность к составлению этого воззвания.

Мы располагаем еще тремя свидетельствами, принадлежащими лицам, близким к высшим официальным кругам. Одно принадлежит сенатору М.М. Любошинскому (в передаче А.В. Никитенко), другое – чиновнику особых поручений при А.А. Суворове Шабельскому (пересказано В.Н. Никитиным), третье – члену Государственного совета А.С. Норову (передано Н.И. Костомаровым).

21 мая 1864 г., на следующий день после высылки Чернышевского, профессор А.В. Никитенко записал в дневнике: «Я спрашивал у Л<юбошинского>, чтобы он как сенатор оказал мне: доказано ли юридически, что Чернышевский действительно виновен так, как его осудили? Он отвечал мне, что юридических доказательств не найдено, хотя, конечно, моральное убеждение против него совершенно. Как же однако осудили его? В Государственном совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств. Тогда князь Долгорукий показал им какие-то бумаги из Третьего отделения – и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги? Это тайна. Зачем же делать из них тайну, если в них заключаются точные доказательства вины Чернышевского? Жаль! Потому что люди, даже вовсе не сочувствовавшие Чернышевскому, невольно склоняются к мысли, что с ним поступлено слишком строго, чтобы не сказать – жестоко. А теперь особенно такие впечатления не полезны для правительства. В приговоре, читанном публично во вторник, говорят, упомянут даже ряд статей в “Современнике”; но тогда виновата цензура. Зачем она пропускала статьи, столь явно клонившиеся к ниспровержению существующего порядка? Словом, кажется тут поступлено неосмотрительно». Спустя три дня Никитенко вернулся к этой теме: «Многие сильно негодуют на правительство за Чернышевского. Как было осудить его, когда не было никаких юридических доказательств? Так говорят почти все, даже не красные. У правительства прибавилось достаточное число врагов»¹⁵².

До сих пор остается загадкой, какие именно документы были представлены В.А. Долгоруковым судьям Чернышевского. С боль-

шой степенью вероятности можно полагать теперь, что этими таинственными бумагами были записки о литературной деятельности Чернышевского М. Касторского и В. Костомарова, на тексте одной из которых, по свидетельству Зарубина, царь собственноручно распорядился «судить по всей строгости законов». Вне сомнений, резолюция царя была приказом, и этот приказ был беспрекословно выполнен.

Содержание воспоминаний В.Н. Никитина, беседовавшего с Шабельским, чиновником особых поручений при петербургском генерал-губернаторе, аналогично. Однажды Шабельский «задал мне, — писал Никитин, — вопрос: перестали ли говорить о Чернышевском? Я ответил ему, что все говорят, хотя никто, кажется, не знает, в чем он виноват, а мне бы очень хотелось знать, потому — не известно ли ему?». «Он своими сочинениями совращал с истинного пути легковверных людей и подстрекал их к неповиновению властям, — разъяснил мне Ш^абельский, — а в запрещенных заграничных изданиях, начиная с “Колокола”, ругал русское правительство. За все это его осудили сенат и государственный совет». Далее Шабельский рассказал, как ему поручили сопровождать Чернышевского на Волховскую станцию, где был приготовлен особый вагон, как он в пути подолгу беседовал с осужденным и вынес «неприятное впечатление по вредным его суждениям о религии, правительстве, обществе и народе»¹⁵³.

Характерно, что в признании осведомленного чиновника речь идет не о каких-либо действительных уликах, погубивших публициста «Современника», а лишь о «вредной» его литературной деятельности.

Такого же рода сведения приведены историком Н.И. Костомаровым: «Чернышевский был обвинен, хотя ни в чем не сознался, и эксперты, приглашенные для сличения прокламации с почерком Чернышевского, не признали окончательно, чтоб она была писана им. Тем не менее, Чернышевского осудили как государственно-преступника главным образом потому, что считали его крайне зловредным по его направлению. Об этом говорили мне знающие это дело лица: кн. Суворов, бывший тогда генерал-губернатором петербургским, и Авраам Сергеевич Норв, член государственно-совета и председатель археологической комиссии, человек очень религиозный и потому ненавидивший Чернышевского, но тем не менее сознававшийся, что по совести нельзя было обвинить его в факте прокламации»¹⁵⁴.

Исходящие от высших чинов придворной камарильи сведения воссоздают самый фон, обстановку, в которой протекал процесс

Чернышевского, помогают увидеть действительные пружины закладной судебной инсценировки, оценить отношение властей к главному пункту обвинения — к составлению Чернышевским прокламации «Барским крестьянам...». «По совести нельзя было обвинить его в факте прокламации» — вот откровенное признание, которое наряду с другими свидетельствами также может служить материалом в решении вопроса о непричастности Чернышевского к подпольному документу.

Критический анализ известных в настоящее время мемуарных источников не дает основания приписывать Чернышевскому прокламацию «Барским крестьянам...».

Содержание прокламации «Барским крестьянам»

Остается рассмотреть саму прокламацию, сопоставление содержания которой с работами Чернышевского первым осуществил В. Костомаров в 1863 г. по прямому заданию руководителей Третьего отделения. Тенденциозность в подборе цитат, в оценке взглядов Чернышевского и в общем подходе к задаче предопределили, как это видно при внимательном изучении, неудачу действий В. Костомарова. Очевидна несостоятельность «костомаровского» метода.

Попытку сравнительного анализа находим в дореволюционные годы еще в двух работах — Н. Анненского (1911) и М. Клочкова (1913). Материалом оба избрали статью «Письма без адреса», написанную Чернышевским и задержанную цензурой в 1862 г.

Сходство усматривается Н. Анненским в трех моментах. Воззвание начинается с разбора «Положения» 19 февраля, «разбор этот, очевидно, делан лицом, хорошо знакомым с вопросом, и общий вывод тот же, что и в «Письмах без адреса», конечно, написанных другим языком и в другой форме». Кроме того, изложение некоторых основных черт свободного политического строя находится в тесной связи с экономической стороной крестьянского вопроса. Подчеркивание этой связи «далеко не всем еще ясной в ту раннюю эпоху нашего общественного движения», также характерно для Чернышевского. Близок к настроению Чернышевского и призыв к объединению, к подготовке восстания, но в то же время и предостережение от преждевременных выступлений. Н. Анненский сам видит, насколько общи, неконкретны, неспецифичны отмеченные им факты. «Конечно, — заключает он, — все это только косвенные и довольно отдаленные указания»¹⁵⁵.

Действительно, подобные взгляды на реформу 1861 г. были присущи не одному Чернышевскому. Критика реформы, требование

«земли и воли», призыв к восстанию — все это настолько «естественный» результат «освобождения крестьян», что в ту эпоху редкое воззвание обходилось без подобных лозунгов.

М. Клочков, опираясь на суждения Н. Анненского, проводит общее между текстами в требованиях равенства перед законом, установления «над всеми одного начальства», т.е. реформы администрации и наконец учреждения справедливого суда. Одинаково характеризуется и крестьянская реформа, произведенная в интересах помещиков. Для получения «настоящей воли» необходимо восстание, о котором в «Письмах без адреса» говорится как об «ужасающей развязке»¹⁵⁶.

Указанные М. Клочковым признаки не могут, конечно, считаться достаточно вескими для установления авторства Чернышевского.

Однако одно из замечаний Н. Анненского М. Клочков вовсе не рассматривает, вероятно, не считая его заслуживающим внимания. Речь идет о фрагменте из текста прокламации, где говорится о насильственных переселениях крестьян и которое «как будто переписано из “Материалов для решения крестьянского вопроса”»¹⁵⁷. Впрочем, Н. Анненский не настаивает на важности совпадения, и говорит-то он о нем в примечании, как бы вскользь, и даже не цитирует соответствующего места из прокламации. Тем не менее здесь необходим тщательный комментарий, поскольку отмеченная Н. Анненским параллель явилась не последним аргументом в работе академика М.В. Нечкиной, в советские годы одного из самых стойчивых исследователей прокламации «Барским крестьянам...».

М.В. Нечкина не сомневается в авторстве Чернышевского, и после свидетельств Шелгунова и Слепцова существеннейшим доказательством считает некоторые текстуальные совпадения в воззвании и статье Чернышевского 1859 г. «Материалы для решения крестьянского вопроса».

Вот место из прокламации, которое цитируется М.В. Нечкиной и которое имел в виду Н. Анненский: «А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести, — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С речки на колодцы пересадит, на гнилую воду, да на вшивую, с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото, — вот тебе и огороды, вот тебе и конопляники, вот тебе и выгон добрый, все поминай как звали»¹⁵⁸.

В «Материалах...»: «Переселяющимся крестьянам были бы отведены поселения в местах неудобных, на участках самых дурных; вместо удобренной земли, занимаемой усадьбами, крестьяне получили бы песок, солончак, болота» (V, 714). «Подобраны, как видим, те же самые слова», — заключала М.В. Нечкина¹⁵⁹.

Однако для атрибутирования прокламации Чернышевскому данного наблюдения явно недостаточно. В нем не заключено ничего такого, что было бы характерно для одного Чернышевского. Проблема насильственного переселения крестьян на худшие земли, как показывает исследование темы, была одной из наиболее острых в предреформенные и послереформенные годы. «Галицийские помещики лет сорок тому назад, — писал в 1858 г. Е.П. Карнович, один из видных специалистов по крестьянскому вопросу, — присвоили себе право переноса или уничтожения целых деревень и присоединяли крестьянские хорошо возделанные земли к своим усадьбам (фольварочным землям), если это присоединение земель находили для себя выгодным, несмотря на то, что подобные распоряжения разоряли вконец несколько десятков крестьянских семей»¹⁶⁰. Даже консервативно настроенные авторы признавали: «Следует избегать подобных переселений, которые во всяком случае будут разорительны для крестьян, несмотря ни на какое вознаграждение»¹⁶¹, «Наши мужички не охотнички до переселений»¹⁶². «Переселение крестьян на новые земли везде и всегда тягостно»¹⁶³. Н.А. Серно-Соловьевич писал в 1860 г.: «Русский крестьянин более всего дорожит своим корнем. <...> Переселение целых общин можно предположить разве как редкое исключение. <...> Дозволять же помещику переселение усадеб ради его личных выгод — значит заставить крестьян нести всю жизнь последствия уничтожаемого теперь произвола. <...> Крестьяне считают, что, кроме пожара, нет большего бедствия в их быту, как переселение»¹⁶⁴. А вот свидетельство, относящееся к концу 1861 г.: «Смушал и смушает их (т.е. крестьян) передел земли с помещиками и переселение на новые места. Любит наш крестьянин как-то безотчетно свое старое гнездо. И будь у него лачуга курная, полуразвалившаяся, и давайте ему за нее избу новую, светлую, с красными окнами, да только поставленную на другом месте, — добровольно он на эту мену не согласится»¹⁶⁵. Один из бывших деятелей Симбирского губернского комитета по крестьянскому делу писал о помещиках: «Некоторые же дальновидные богатые люди переселяли целые селения на песчаные и глинистые площади, чтобы усадьбы этих селений, их гумна, конопляники, навозники и огороды присоединять к помещичьим пашням», для крестьян же «это переселение было тяжелее пожара»¹⁶⁶. «Накануне реформы, — читаем в одной из работ историков, — ряд помещиков стремился заранее отнять у крестьян как можно больше земли, оттеснив их на худшие земли. Жандармский офицер из Нижегородской губернии докладывал в Петербург 6 мая 1859 г.: “Переселение более других причин

восстанавливает крестьян против помещиков, и при подобных случаях легко обнаруживается неповиновение»¹⁶⁷. «Крестьянство оказывало решительное сопротивление помещицкой политике переселения “на песочки”, — утверждал другой исследователь¹⁶⁸. В прошении на имя царя крестьяне Воронежской губернии писали в мае 1863 г., что отведенная им земля «состоит из песка, гор, бугров и оврагов с самыми стеснительными покосными лугами». Крестьяне Пензенской губернии сообщали: земли «удобной было не больше $\frac{3}{4}$ десятины, а остальная — сплошное болото». «После реформы крестьянам отводились худшие земли в виде косогазов, оврагов, суглинков, песков и т.п.»¹⁶⁹.

Приведенные материалы показывают, насколько широко в 1858—1863 гг. было распространено мнение о вредных последствиях насильственных переселений крестьян на худшие земли — песок, болото, суглинок, солончаки, овраги, стесняющие огороды, конопляники, покосные луга. Упоминание этого факта в статье Чернышевского 1859 г. вовсе не носило характера исключительности. И Чернышевский, и автор воззвания к крестьянам, говоря о «дурной» земле, имели в виду то, что обычно понималось под «дурной», худшей землей.

То же самое можно сказать еще об одном отмеченном М.В. Нечкиной смысловом и текстуальном совпадении. В «Материалах...»: «Принужденное переселение было бы разорением для крестьян, было бы нарушением гражданского права, возмутило бы самые заветные привязанности человека: привязанность к родовому жилищу и к месту, где схоронены отцы» (V, 714). Фрагмент о переселении заканчивался в прокламации подобной же фразой: «А гробы-то родительские — от них-то каково отлучаться»¹⁷⁰.

В этой связи любопытна полемика постоянного обозревателя «Отечественных записок» по крестьянскому вопросу П.Г. Славинского с редакцией журнала «Сельское благоустройство». В качестве веского аргумента в требованиях прекратить насильственные переселения крестьян А.И. Кошелев и Ю.Ф. Самарин использовали обычно высказываемое крестьянами обстоятельство, что они «схоронили в земле (находящейся в их пользовании) своих отцов и дедов» и что «весь их быт и все их обычаи определились местностью, ими занимаемой». Прочитывая эти строки, П.Г. Славинский писал: «Люди всех сословий, кроме крестьянского, живут и умирают большею частью не там, где жили и схоронены их отцы и деды, и весь быт их и обычаи не походят на прадедовские, однако ж никто на это не жалуется»¹⁷¹. Нам здесь важна не позиция автора, а частотность словоупотребления.

Одинаковость выражений («земля, где схоронены отцы») в статье Чернышевского 1859 г. и цитированных статьях 1858 г., ему не принадлежащих, свидетельствует лишь о распространенности в публицистике 1850-х годов понятий, связанных с причинами отказа крестьян от переселений. Фраза о «родительских гробах» в прокламации, следовательно, никак не может служить признаком принадлежности ее именно Чернышевскому.

Одним из косвенных доказательств авторства Чернышевского является в статье М.В. Нечкиной присутствие и в прокламации, и в статье «Письма без адреса» термина «срочнообязанный»¹⁷². Еще С.Г. Стахевич обратил внимание на эту «ошибку в терминологии», настолько, по его мнению, характерную, что дает повод усомниться в подложности известной карандашной записки, в которой Чернышевский будто бы просил В. Костомарова набрать в прокламации слово «временнообязанный», как в «Положении» 19 февраля, вместо «срочнообязанный»¹⁷³. На первый взгляд, употребление в статье 1862 г. дореформенного термина действительно кажется симптоматичным. Но, во-первых, если Чернышевский обратил внимание на устаревший термин в 1861 г. в записке к В. Костомарову, то этой ошибки он не должен был бы сделать в статье 1862 г. Во-вторых, статья «Письма без адреса» не являлась в этом смысле исключением. Приведем еще пример из пореформенной публицистики, когда вместо введенного «Положением» 19 февраля термина «временнообязанный» употреблялся прежний термин «срочнообязанный». «Получив Манифест и “Положение” частным путем, несколькими днями ранее получения официального, — писал П.П. Сумароков в “Отечественных записках” 1861 г., — я призвал к себе в дом уже не крепостных моих, а срочно-обязанных, водворенных на моей земле крестьян, для объявления им радостной вести»¹⁷⁴. Одного этого примера достаточно, чтобы признать выдвинутые гипотезы неубедительными.

Исследователи идейной и стилистической структуры прокламации, изучившие все возможные варианты сопоставлений ее содержания с произведениями Чернышевского, не нашли веских безусловных доводов для обоснования авторства Чернышевского. Скорее всего, «признаков Чернышевского» эта прокламация не содержит. Она явилась типичным продуктом эпохи отмены крепостного права, обнаруживая черты, общие для большинства прокламаций начала 1860-х годов¹⁷⁵. Не случайно историки и литературоведы обнаружили сходство прокламации «Барским крестьянам...» с ей подобными произведениями революционной печати. Так, сообщалось о смысловой и текстуальной близости ее листкам «Великорусса»¹⁷⁶. Многими чертами она сходится и с брошюрой

Н.П. Огарёва «Что нужно народу?», «можно даже предположить, что текст второй есть измененный и смягченный вариант первой»¹⁷⁷. Не вызывает сомнений ее общность с прокламацией Шелгунова «Русским солдатам...»¹⁷⁸. Ряд признаков объединяют прокламацию «Барским крестьянам...» с «Молодой Россией» П. Зайчневского¹⁷⁹. Установлено смысловое, фразеологическое и стилистическое сходство с статьей П.В. Михайлова «Об уставных грамотах», опубликованной в первой книжке журнала «Народная беседа» за 1862 г.¹⁸⁰ Анализ подтверждает многочисленные совпадения с прокламацией пермского кружка «Пора» В. Тихомирова и А. Иконникова и прокламацией «Воля», написанными во второй половине декабря 1861 г.¹⁸¹ Отмечена идейно-стилистическая близость «Барским крестьянам...» воззвания И.Н. Умнова «Долго давили вас, братцы», изданного в ноябре 1862 г.¹⁸²

И конечно, не распространенностью воззвания к крестьянам, которое никогда не было напечатано полностью и не имело даже небольшого тиража, а общностью проблем, поставленных после реформы 19 февраля передовой частью общества, следует объяснять столь многочисленные идейные и стилевые совпадения с прокламациями начала 1860-х годов.

Исследователями еще в советское время осуществлено глубокое текстологическое изучение прокламации «Барским крестьянам...». Долгое время существовавшее в научной литературе убеждение, будто прокламация переписана рукой М.Л. Михайлова, было отвергнуто. Одновременно выдвинуто предположение о принадлежности Чернышевскому ряда поправок, сделанных в тексте прокламации¹⁸³. Согласно последующим текстологическим уточнениям, хранящийся в жандармском архиве подлинный текст прокламации является диктованным текстом. По данным экспертизы 1970 г., писал под диктовку В.А. Обручев, а по заключению экспертизы 1973 г., — А.В. Захарьин под диктовку Н.Г. Чернышевского¹⁸⁴. Разногласия в экспертных оценках и утверждение о диктовке принимаются с оговорками даже исследователями, не сомневающимися в авторстве Чернышевского. Даже М.В. Нечкина отмечала: «Дошедший до нас текст прокламации “Барским крестьянам” написан не рукою М.И. Михайлова, а рукою А.В. Захарьина, вероятно (как думают), под диктовку Н.Г. Чернышевского»¹⁸⁵. Таким образом, проведенное к настоящему времени текстологическое изучение прокламации также не продвинуло вперед вопрос о ее авторе.

Биографическое исследование дошедших до нашего времени материалов позволяет высказать сомнение в том, что автором прокламации «Барским крестьянам...» был Чернышевский.

Если не Чернышевский, то кто же был автором прокламации? Источники пока не дают окончательного и положительного ответа на этот вопрос. Попытки связать авторство воззвания с именем В. Костомарова также нельзя, на наш взгляд, признать удачными и убедительными по способу аргументации¹⁸⁶. Только последующие исследования и привлечение новых материалов позволят внести ясность в вопрос, от решения которого зависит и окончательный вывод об отношении Чернышевского к прокламации «Барским крестьянам...».

Свое бессилие что-либо изменить в навязанном ему обвинении в составлении прокламации сам Чернышевский впервые осознал на очной ставке с В. Костомаровым 12 апреля 1863 г. Именно в этот день он, обратившись к членам следственной комиссии, с убеждением произнес: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю». Заявлению подследственного придали особое значение. Оно было оформлено специальным актом, который подписали председатель и все члены комиссии — девять человек, хотя на очной ставке присутствовали только четверо¹⁸⁷. В середине мая дело было передано в сенат.

Примечания

- ¹ См.: *Клочков М.* Процесс Н.Г. Чернышевского // Исторический вестник. 1913. Кн. 9. С. 895.
- ² ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 1861. Д. 212. Л. 452–453 об. См. также: *Пернер М.И.* Прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» // Русская литература. 1975. № 1. С. 139.
- ³ СПб. ведомости. 1861. 13 апреля. № 84. С. 470.
- ⁴ Московские ведомости. 1861. 31 мая. № 119. С. 959; 20 июля. № 159. С. 1280–1281; 6 июля. № 147. С. 1200–1202.
- ⁵ П<лещеев>. Литературные заметки // Московские ведомости. 1860. 23 ноября. № 254. С. 2017.
- ⁶ Светоч. 1860. № 11. Отд. III. С. 25–30; Современник. 1860. № 12, Отд. II. С. 286–289.
- ⁷ *Захаркин А.Ф.* Новые материалы о поэте-революционере М.Л. Михайлове // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1953. Вып. V. С. 421.
- ⁸ Воспоминания (1982). С. 271; Литературный архив. М., 1961. Т. 6. С. 245, 283.
- ⁹ ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 20. Д. 28. Л. 400, 428.

- ¹⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. 1859. Д. 258. Л. 25, 27. Ср.: *Шульгин В.Н.* Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 31.
- ¹¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. 1859. Д. 258. Там же. Л. 22.
- ¹² *Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л.* Воспоминания: В 2 т. М., 1967. Т. 1. С. 480.
- ¹³ Подлинник донесения Дмитриева датирован также 22 марта — ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 1206. Л. 1—2.
- ¹⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Д. 258. Л. 52 и об.
- ¹⁵ *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 33.
- ¹⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Д. 258. Л. 50 и об.
- ¹⁷ Там же. Л. 54.
- ¹⁸ ЦГИА СПб. Ф. 254 Оп. 1. 1860. Д. 139. Л. 1—5.
- ¹⁹ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 215.
- ²⁰ Дело. С. 234.
- ²¹ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 574.
- ²² Воспоминания. С. 181—182.
- ²³ Дело. С. 321.
- ²⁴ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 180—185 об. Ср.: *Лемке М.* Политические процессы в России 1860-х гг. М.; Пг., 1923. С. 30—31.
- ²⁵ *Лемке М.* Политические процессы... С. 33, 34, 35.
- ²⁶ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 198.
- ²⁷ Там же. Л. 318 об.; Русская литература. 1975. № 1. С. 139, 153.
- ²⁸ *Лемке М.* Политические процессы... С. 8.
- ²⁹ Там же. С. 10.
- ³⁰ *Шелгунов Н.В.* и др. Воспоминания. 1967. С. 246.
- ³¹ *Михайлов М.И.* Записки (1861—1862). Пг., 1922. С. 27. Конрад Валенрод, герой поэмы А. Мицкевича, вступил во вражеский орден меченосцев с целью отомстить им за разорение своей родины.
- ³² Воспоминания (1982). С. 271.
- ³³ *Лемке М.* Политические процессы... С. 12.
- ³⁴ *Михайлов М.И.* Записки. С. 26.
- ³⁵ *Лемке М.* Политические процессы... С. 14.
- ³⁶ Там же. С. 83
- ³⁷ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 62, 66, 67, 69 об.
- ³⁸ *Лемке М.* Политические процессы... С. 43. Заключение следственной комиссии датировано 9 января 1862 г.
- ³⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. 1861. Д. 274. Л. 60.
- ⁴⁰ Там же. 1 экспед. 1861. Д. 212. Л. 343.
- ⁴¹ ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 20. Д. 29. Л. 170.
- ⁴² РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 17. Л. 91 об.
- ⁴³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. 1861. Д. 212. Л. 375.
- ⁴⁴ Там же. Л. 376, 402 об.

- ⁴⁵ Литературный архив. М., 1961. Т. 6. С. 289–290.
- ⁴⁶ Московские ведомости. 1862. 2 февраля. № 26. Объявление о намечавшемся совместном переводе было напечатано в той же газете в начале августа 1861 г.
- ⁴⁷ Дело. С. 318–319.
- ⁴⁸ ИРЛИ. Д. 10288/XIV. С. 105. Л. 3–4.
- ⁴⁹ Дело. С. 169.
- ⁵⁰ Там же. С. 34. Однако содержащееся здесь утверждение, будто записка направлена обер-полицмейстером И.В. Анненковым А.Ф. Голицыну, не соответствует действительности. Документ составлен А.Ф. Голицыным, и «Запиской 23 мая 1862 года» этот документ условно назван тогдашним делопроизводителем — ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 1. Ч. 1. Л. 41–43 об.
- ⁵¹ Лемке М. Политические процессы... С. 88, 90.
- ⁵² Дело. С. 115.
- ⁵³ В сборнике «Дело Чернышевского» слова «к войску и офицерам» приведены в кавычках, как будто речь шла об одной прокламации. В подлиннике кавычки отсутствуют, что позволяет говорить о двух разных воззваниях.
- ⁵⁴ Лемке М. Политические процессы... С. 149–150.
- ⁵⁵ ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 1. Ч. 1. Л. 41 об.
- ⁵⁶ Там же. Л. 90.
- ⁵⁷ Дело. С. 143.
- ⁵⁸ Исключение составила статья М.В. Ключкова «Процесс Н.Г. Чернышевского» (Исторический вестник. 1913. № 9, 10). Убедительная критика аргументов Ключкова содержится в исследовании М.К. Лемке «Как создали “процесс” Чернышевского» (Былое. 1919. № 14. С. 110–151).
- ⁵⁹ Примечания в кн: Шелгунов Н.В. и др. Воспоминания. 1967. С. 481.
- ⁶⁰ Дату очной ставки В. Костомарова с Я. Сулиным указываем по первоисточнику: РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 260.
- ⁶¹ Лемке М. Политические процессы... С. 9, 10, 29, 32, 97.
- ⁶² РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 17. Л. 134 об., 167, 167 об.
- ⁶³ РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2149. Запись в журнале заседания от 20 февраля 1862 г.
- ⁶⁴ Дело. С. 161.
- ⁶⁵ Там же. С. 173–174.
- ⁶⁶ Из рапорта смотрителя Алексеевского рavelина майора Удома коменданту крепости Сорокину от 22 января 1863 г.: «Принят 22 января и заключен в доме Алексеевского рavelина в покое под № 16» — РГИА. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 106. Л. 4.

- ⁶⁷ Дело. С. 403.
- ⁶⁸ Там же. С. 343.
- ⁶⁹ *Стеклов Ю.М.* Решенный вопрос (Экспертиза по делу Н.Г. Чернышевского) // Красный архив. 1926. Т. 6 (25); *Любарский В.* Чернышевский опровергает // Советская юстиция. 1988. № 3. С. 16–18.
- ⁷⁰ Дело. С. 189–196.
- ⁷¹ Там же. С. 207.
- ⁷² *Михайлов М.И.* Записки. С. 40.
- ⁷³ *Шелгунов Н.В.* Воспоминания. М.; Пг; 1923. С. 33.
- ⁷⁴ *Рейсер С.А.* Прокламация Н.Г. Чернышевского «Барским крестьянам...» (Историография. Текстология) // Книга. Исследования и материалы. М., 1967. Вып. 14. С. 219.
- ⁷⁵ Дело. С. 191–192.
- ⁷⁶ Там же. С. 192, 208–209.
- ⁷⁷ *Лемке М.* Политические процессы... С. 29; РГИА. Ф. 1582. Оп. 14. Д. 2148. Л. 69.
- ⁷⁸ Дело. С. 364; *Михайлов М.И.* Записки. С. 42.
- ⁷⁹ Дело. С. 229, 364.
- ⁸⁰ Там же. С. 195, 207, 365.
- ⁸¹ Там же. С. 232, 365.
- ⁸² Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 223.
- ⁸³ Дело. С. 247–249.
- ⁸⁴ ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 1974. Л. 1.
- ⁸⁵ Дело. С. 239–241.
- ⁸⁶ Там же. С. 333–334.
- ⁸⁷ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 62. Л. 7–16; *Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г., Фут И.П.* Цензоры Санкт-Петербурга (1804–1917) // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. С. 379.
- ⁸⁸ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 214. Д. 170. Л. 37–37 об.
- ⁸⁹ Дело. С. 354.
- ⁹⁰ Там же. С. 176–177, 182.
- ⁹¹ Там же. С. 485. Здесь, как и М.К. Лемке (*Лемке М.* Политические процессы... С. 392), составителем «Дела» ошибочно указан «Современник» 1862 г. В найденной нами архивной писарской копии, озаглавленной «Разбор литературной деятельности Чернышевского, составленный Всеволодом Костомаровым» (без сомнения, именно к этому тексту восходит публикация М.К. Лемке), говорится об апрельской книжке «Современника» за 1863 г. — РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 6397. Л. 21 об. См. также примечания в кн: Дело. С. 637 (сноска 87).
- ⁹² *Стеклов Ю.М.* Н.Г. Чернышевский. М., 1928. Т. 2. С. 243–214.

- ⁹³ РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 6397 б. Л. 9.
- ⁹⁴ Дело. С. 345.
- ⁹⁵ *Лемке М.* Политические процессы... С. 389.
- ⁹⁶ РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 6397. Л. 15.
- ⁹⁷ Дело. С. 480.
- ⁹⁸ Там же. С. 487–501.
- ⁹⁹ Там же. С. 501–502.
- ¹⁰⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 28. Л. 105–106.
- ¹⁰¹ Дело. С. 200.
- ¹⁰² ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 28. Л. 107–108, 110–111.
- ¹⁰³ Там же. Л. 167–169. См. также: В. Н. П. Процесс Н.В. Шелгунова // *Голос минувшего*. 1915. № 6. С. 235.
- ¹⁰⁴ *Шелгунов Н.В.* Воспоминания. 1923. С. 23.
- ¹⁰⁵ Подробнее см.: *Шелгунов Н.В.* и др. Воспоминания. 1967 (вступительная статья).
- ¹⁰⁶ Это указание ошибочно. В.Д. Костомаров в родстве с Н.И. Костомаровым не состоял.
- ¹⁰⁷ *Шелгунов Н.В.* Воспоминания. 1923. С. 32, 33, 35.
- ¹⁰⁸ *Чешихин-Ветринский В.Е.* Н.Г. Чернышевский. Пг., 1923. С. 156; *Панкратова А.М.* Чернышевский и крестьянская реформа 1861 года // Н.Г. Чернышевский: Сб. статей. Саратов, 1939. С. 88; *Алексеев Н.А.* Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? // *Чернышевский*. Вып. 5 (1968). С. 192.
- ¹⁰⁹ *Пантелеев Л.Ф.* Из воспоминаний прошлого. СПб., 1908. Кн. 2. С. 181.
- ¹¹⁰ *Рейсер С.А.* Прокламация Чернышевского... С. 219, 220.
- ¹¹¹ *Шелгунов Н.В.* Воспоминания. 1923. С. 28, 30.
- ¹¹² Впервые напечатаны в журнале «Русская мысль» в 1885–1887 гг., затем – с цензурными изъятиями – во втором томе «Сочинений Н.В. Шелгунова» (СПб., 1895). Цензурные купюры опубликованы В.И. Семевским в кн.: Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859–1909. СПб., 1909. С. 379–423.
- ¹¹³ *Шелгунов Н.В.* и др. Воспоминания. 1967. С. 165.
- ¹¹⁴ *Рейсер С.А.* Прокламация Чернышевского... С. 219.
- ¹¹⁵ Имелась в виду выдержка из воспоминаний Шелгунова, напечатанная Пантелеевым в 1908 г. в составе своих мемуаров.
- ¹¹⁶ ИРЛИ. Ф. 224. Д. 304. Л. 17. Частично (первая фраза) напечатано в кн.: Шелгунов Н.В. и др. Воспоминания. 1967. С. 458.
- ¹¹⁷ ИРЛИ. Ф. 224. Д. 484. Л. 1.
- ¹¹⁸ *Пантелеев Л.Ф.* Из воспоминаний прошлого. СПб., 1908. Кн. 2. С. 181.

- ¹¹⁹ Памяти В.А. Гольцева. М., 1910. С. 170. Во вступительной статье к изданию воспоминаний Н.В. Шелгунова в составе сборника мемуаров о Чернышевском приводится со ссылкой на архивный источник иная редакция текста этого письма: «Уж я сам старался быть цензурным. От этого вышла местами неясность в статье. И так мне жаль, что не пришлось говорить подробно о последствиях письма Костомарова. Конечно, я стал бы распространяться о деле, представляющем больший интерес, чем мое» — Воспоминания (1959). Т. 1. С. 190. Об опубликовании письма в 1910 г. здесь не упоминается.
- ¹²⁰ Кудрин Н.Е. Н.Г. Чернышевский и России 60-х годов // Русское богатство. 1905. № 3. С. 179, 185–186.
- ¹²¹ Русанов Н.С. (Кудрин Н.Е.). Социалисты Запада и России. СПб., 1908. С. 273, 327.
- ¹²² Михайлов М.И. Записки. С. 42.
- ¹²³ Рейсер С.А. Воспоминания А.А. Слепцова // Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 271.
- ¹²⁴ Рейсер С.А. Прокламация Чернышевского... С. 220. См. также: Черняк Я.З. Был ли Н.Н. Обручев адресатом письма, взятого при аресте Чернышевского? // ЛН. Т. 62. С. 421–422.
- ¹²⁵ Алексеев Н.А. Был ли Чернышевский автором прокламации... С. 193.
- ¹²⁶ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 266.
- ¹²⁷ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 132. Исследователи называют разные даты: май (Слепцова М.Н. Штурманы грядущей бури // Звенья. М.; Л., 1933. Т. II. С. 403; Нечкина М.В. Возникновение первой «Земли и воли» // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1960. С. 294–295; Линков Я.И. Революционная борьба Герцена и Огарёва и «Земля и воля» 1860-х годов. М., 1964. С. 163; Виленская Э.С. Революционное подполье в России. М., 1965. С. 114), конец июня (Коротков Ю.Н. У истоков первой «Земли и воли» // Исторические записки. М., 1966. Т. 79. С. 196), июль (Чернышевский. Вып. 3. С. 221; Герцен А.И. Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1919. Т. X. С. 425).
- ¹²⁸ См.: Козьмин Б.П. Был ли Н.Г. Чернышевский автором письма «Русского человека» к Герцену? // ЛН. Т. 25–26. С. 578 и сл.
- ¹²⁹ Коротков Ю.Н. У истоков первой «Земли и воли». С. 187.
- ¹³⁰ Слепцов был за границей с 3 мая 1857 г. в течение четырех месяцев, с 3 июня по 8 октября 1859 г. и со 2 июля по конец ноября 1860 г. (Алексеев В.А. К вопросу об авторе письма «Русского человека» к Герцену // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1955. Вып. 25. Серия филолог. наук. С. 75–77, 81).

- ¹³¹ Существует весьма спорное предположение о принадлежности письма Н.П. Огарёву (*Искрин М.* Тайны псевдонима: Автор знаменитого «Письма из провинции» – Николай Огарёв // Комсомольская правда. 1983. 20 октября. № 241. С. 4).
- ¹³² *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1920. Т. XVI. С. 71; См: также: Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 253, 255, 256.
- ¹³³ Былое. 1906. № 2. С. 286.
- ¹³⁴ Дневниковая запись от 15 февраля 1906 г. // ЛН. Т. 67. С. 672.
- ¹³⁵ РГАЛИ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 641. Л. 3.
- ¹³⁶ Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 222.
- ¹³⁷ Воспоминания (1982). С. 341, 344.
- ¹³⁸ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге (в Александровском заводе). М., 1906. С. 20.
- ¹³⁹ Биографическую справку о Н.С. Тютчеве см. в кн: Деятели революционного движения. Биобиблиографический словарь. М., 1932. Т. 2. Вып. IV. Стлб. 1772–1777.
- ¹⁴⁰ Русские ведомости. 1914. 16 ноября. № 238.
- ¹⁴¹ *Тютчев Н.С.* Статьи и воспоминания. М., 1925. Кн. III. Ч. II. С. 73–79.
- ¹⁴² *Алексеев Н.А.* Был ли Чернышевский автором прокламации. С. 196, 197.
- ¹⁴³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 621. Л. 13. Ср.: *Тютчев Н.С.* Статьи и воспоминания. С. 78–79.
- ¹⁴⁴ *Тютчев Н.С.* Статьи и воспоминания. С. 76–77.
- ¹⁴⁵ Воспоминания (1982). С. 350.
- ¹⁴⁶ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 65. Ч. 2. Л. 264.
- ¹⁴⁷ Там же. Ф. 528. Оп. 1. Д. 659. Л. 12.
- ¹⁴⁸ Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского (Саратов): Библиотека М.Н. Чернышевского. Инв. № 3652.
- ¹⁴⁹ Русская старина. 1905. Февраль. С. 463, 464.
- ¹⁵⁰ Там же. С. 473.
- ¹⁵¹ Там же. С. 475.
- ¹⁵² *Никитенко А.В.* Дневник. М. 1955. Т. 2. С. 441–442.
- ¹⁵³ *Никитин В.Н.* Воспоминания // Русская старина. 1906. Октябрь. С. 88–89.
- ¹⁵⁴ Автобиография *Н.И. Костомарова* / Ред. В. Котельникова. М. 1922. С. 334.
- ¹⁵⁵ *Анненский Н.* Н.Г. Чернышевский и крестьянская реформа // Великая реформа: Юбилейное издание. М., 1911. Т. IV. С. 272–274.

- ¹⁵⁶ *Клочков М.В.* Процесс Н.Г. Чернышевского // Исторический вестник. 1913. № 10. С. 172, 175.
- ¹⁵⁷ *Анненский Н.* Н.Г. Чернышевский и крестьянская реформа. С. 232, 272.
- ¹⁵⁸ Дело. С. 368.
- ¹⁵⁹ *Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. М., 1980. С. 63.
- ¹⁶⁰ *Карнович Е.П.* Об устройстве быта крестьян в Галиции // Отечественные записки. 1858. № 3. Отд. I. С. 257–258. Е.П. Карнович вскоре стал сотрудником «Современника».
- ¹⁶¹ *Смирнов Ф.* Необходимость переходного состояния // Отечественные записки. 1858. № 5. Отд. VI. С. 8.
- ¹⁶² *Бутовский А.И.* Общинное владение и собственность // Русский вестник. 1858. № 7. Кн. 1. С. 34.
- ¹⁶³ Экономический указатель. 1858. 23 ноября. № 95. С. 1087.
- ¹⁶⁴ *Серно-Соловьевич Н.А.* Проект действительного освобождения крестьян // Голоса из России. 1860. Кн. VIII. С. 30, 31, 59, 62; *Серно-Соловьевич Н.А.* Публицистика. Письма. М., 1963. С. 14, 26, 27.
- ¹⁶⁵ *Сумароков П.П.* Деревенские письма: Письмо XI // Отечественные записки. 1861. № 10. Отд. I. С. 496.
- ¹⁶⁶ *Крылов Н.А.* Накануне великих реформ (личные воспоминания) // Исторический вестник. 1903. № 9. С. 789, 790.
- ¹⁶⁷ *Кукушкина М.В.* Движение крестьян в великорусских губерниях в 1856–1860 гг. // Исторические записки. М., 1961. Т. 68. С. 118, 129.
- ¹⁶⁸ *Дергачев А.* Крестьянское движение в Пензенской губернии накануне реформы 1861 года. Пенза, 1958. С. 77–82. См. также: *Игнатович И.И.* Крестьянское движение в России в первой четверти XIX века. М., 1963. С. 140–143, 157, 208, 295, 310, 327, 334.
- ¹⁶⁹ *Седова Е.Н.* Борьба помещичьих крестьян центрально-черноземных губерний за землю в 1861–1862 годах // Вопросы истории. 1956. № 4. С. 116–118.
- ¹⁷⁰ Дело. С. 368; *Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. С. 63.
- ¹⁷¹ *Славинский П.Г.* Обзор журнальных статей, относящихся к улучшению крестьянского быта // Отечественные записки. 1858. № 8. Отд. VI. С. 95–96.
- ¹⁷² *Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. С. 76.
- ¹⁷³ Воспоминания (1982). С. 343–344.
- ¹⁷⁴ Отечественные записки. 1861. № 5. Отд. I. С. 203.
- ¹⁷⁵ См. также возражения Н.А. Алексеева М.В. Нечкиной в сб. Чернышевский. Вып. 5 (1968). С. 197–198.

- ¹⁷⁶ *Хоментовская А.И.* Н.Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х годов // Исторический архив. 1919. Кн. 1. С. 355–364; *Новикова Н.Н.* Революционеры 1861 года. М., 1968. С. 107–109.
- ¹⁷⁷ ЛН. Т. 62. С. 426.
- ¹⁷⁸ *Писарев В.И.* Прокламации конца 50-х – начала 60-х годов XIX века в России // Учен. зап. Куйбышевского пед. ин-та. 1943. Вып. 7. С. 235.
- ¹⁷⁹ *Алексеев В.* Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского и его деятельность // Голос минувшего. 1922. № 1 (июнь). С. 113–114; *Куликов Ю.В.* Вопросы революционной программы и тактики в прокламации «Молодая Россия» // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1962. С. 244, 246 и сл. Высказывалось даже предположение (впрочем, очень слабо аргументированное), будто автором прокламации «Барским крестьянам...» был П.Г. Зайчневский, написавший «Молодую Россию» (см.: *Азанов В.И.* К вопросу об авторе прокламации «Барским крестьянам» // Чернышевский. Вып. 6 (1971). С. 173–198).
- ¹⁸⁰ *Баренбаум И.* К вопросу о распространении прокламации «Барским крестьянам» в годы первой революционной ситуации // Русская литература. 1966. № 2. С. 201–202.
- ¹⁸¹ *Горовой Ф.С.* Важные документы революционно-демократического движения на Урале // Учен. зап. Пермского гос. ун-та. 1957. Т. X. Вып. 3. С. 135–143; *Линков Я.И.* Идея крестьянской революции в документах «Земли и воли» 60-х годов // Революционная ситуация в России 1859–1861 гг. М., 1962. С. 270–271.
- ¹⁸² *Базанов В.Г.* Новые люди или нигилисты? (К истории русского демократического народоведения) // Русская литература. 1859. № 2. С. 161–162; *Лейкина-Свирская В.Р.* «Казанский заговор» 1863 года // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1960. С. 444.
- ¹⁸³ *Рейсер С.А.* Прокламация Чернышевского... С. 214, 223–225.
- ¹⁸⁴ *Пернер М.И.* Прокламация «Барским крестьянам...». С. 147–148, 154.
- ¹⁸⁵ *Нечкина М.В.* Встреча двух поколений. С. 58.
- ¹⁸⁶ *Алексеев Н.А.* Был ли Чернышевский автором прокламации. С. 198–199; *Демченко А.А.* Необходимые уточнения // Чернышевский. Вып. 6 (1971). С. 217–220.
- ¹⁸⁷ Дело. С. 238.

17. Завершение судилища. В Сибирь

В письме к родным в Саратов 6 мая 1863 г. А.Н. Пыпин объяснял, передавая, вероятно, и мнение Чернышевского, с которым постоянно виделся в крепости: «Переход дела в сенат есть вещь, которой только можно было желать, потому что в сенате оно пойдет правильным порядком, без всяких замешательств и проволочек, кроме тех только, какие потребуются для делопроизводства. В самом деле решительно нет ничего серьезного. В сенате при поступлении дела будут прежде всего рассуждать о том, можно ли будет выпустить Н. на поруки на время производства. Если бы это было решено утвердительно, все тяжелое в этом деле для Николи прекратилось бы тотчас же, потому что, кроме скуки уединения, это дело не могло его больше ничем беспокоить¹. 29 мая Чернышевский впервые предстал перед судьями-сенаторами и тогда же обратился к ним с «словесным прошением» отдать его на поруки. Ни отказа, ни согласия не последовало, в журнале записали: просьбу «иметь в виду при докладе вопроса о том, может ли он быть освобожден на поруки или должен содержаться в крепости»². Вероятно, сенаторы не особенно возражали бы против отдачи на поруки. В «Современнике» печатался роман «Что делать?» за полной подписью автора, о чем сенаторы не могли не знать. В обществе все чаще поговаривали о недоказанности вины Чернышевского. Отзвуком подобных настроений явилось и письмо А.Н. Пыпина к Чернышевскому от 27 июня, которое, конечно, не было передано по назначению. «Дело твое, как говорят достоверные сведения, — писал Пыпин, — долго продлиться никак не должно: на нынешней неделе сенат должен был рассуждать об освобождении или нет на поруки»³. Пыпин не знал, что сенат еще 23 июня вынес решение «оставить Чернышевского в том положении, в котором он ныне находится, т.е. в крепости под арестом»⁴. Получив письмо Пыпина, А.Л. Потапов, вероятно, решил, что сенаторы и впрямь могут переменить прежнее решение, и немедленно о своих опасениях известил В.А. Долгорукова. Тот написал Д.Н. Замятнину и получил заверение, что письмо Пыпина основано лишь на слухах, но «впрочем, — прибавлял министр юстиции, — я призывал обер-прокурора Чемадунова и дал ему надлежащее относительно обстоятельства об отдаче Чернышевского на поруки наставление»⁵.

Надежды Чернышевского на некоторое облегчение его нынешнего положения и объективное разбирательство дела не оправда-

лись. Хотя, по его свидетельству, сенаторы держали себя с ним не слишком строго. «Когда меня к каторге присуждали, — вспоминал он, — старички сенаторы в перерыве приходили ко мне и, сидя со мной на лавочке, разговаривали»⁶.

Произведенное по требованию Чернышевского сличение его почерка с почерком, которым были написаны карандашная записка к «В. Д.» и «Письмо к Алексею Николаевичу», привело секретарей сената к выводу о «найденном сходстве в 12 буквах из 25, составляющих записку», и о полном совпадении почерков в «Письме». Просьбу Чернышевского самому произвести исследование рукописей сочли «незаконной»⁷. Новое обращение к Александру II также не имело успеха. Как и в следственной комиссии, сенаторы упорно отвергали объяснения Чернышевского и, напротив, с полным доверием принимали измышления В. Костомарова. 31 октября 1863 г. Чернышевскому зачитали «Вопросы» по его делу и окончательные ответы на них сенаторов. Он «не изобличался» в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и совместном с ним участии в преступных замыслах против правительства, это обвинение признавалось не доказанным. Однако по всем следующим пунктам он объявлялся виновным: в составлении воззвания к крестьянам (на основании найденной у В. Костомарова карандашной записки и показаний В. Костомарова и мещанина Яковлева), участии в заговоре и приготовлении к возмущению (на основании обнаруженного у В. Костомарова «Письма к Алексею Николаевичу»). «Принята на вид» также его литературная деятельность, имевшая «большое влияние на молодых людей (общество)», сочинение произведений, в которых он «старался развивать материалистические в крайних пределах и социалистические идеи». Сенат пришел к выводу о полной виновности Чернышевского и необходимости «признать его подлежащим строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т.е. по 3 ст. в мере, близкой к высшей по упорному его заперательству, несмотря на несомненность доказательств, против него имеющих, т.е. лишить его всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, поселив затем в Сибири навсегда»⁸.

Свое «Определение» с изложением всех обстоятельств дела сенат согласно действующему порядку направил в министерство юстиции. Здесь 10 декабря 1863 г. был составлен «Доклад», и в его заключительной части посвященной «основанию для осуждения Чернышевского», содержится несколько иная редакция сформулированных сенатом пунктов. Этот извлеченный нами из архива любопытнейший документ в известной мере разрушает сложившуюся картину безусловного послушания всеми чиновниками вы-

строенной следственной комиссией и Третьим отделением версии обвинения. «Письмо к Алексею Николаевичу» истолковано здесь таким образом, что участия Чернышевского в заговоре не было, а вина его заключается в недонесении властям о действиях злоумышленников. Полученные от В. Костомарова сведения, именуемые в следственной комиссии Голицына и в сенате «показаниями», названы в «Докладе» «оговором», который «отчасти» подтверждается материалами следственного дела Михайлова, а также находит опору в сходстве почерка руки Чернышевского с запиской, найденной у В. Костомарова, и с «Письмом к Алексею Николаевичу». О показании Яковлева в «Докладе» прямо говорится, что оно «не имеет никакой силы (1-й п. 334 ст. 2 кн. XV т.)», что оно «не может служить уликою против Чернышевского и потому, что по делу представляется сомнение в достоверности ононого», и далее приведено письмо пяти студентов к Некрасову. «Это объяснение студентов, — читаем в “Докладе”, — заслуживает вероятия, так как обстоятельства, изложенные в оном, подтверждаются: а) донесением сопровождавшего Костомарова жандармского капитана Чулкова, что Яковлев был у Костомарова во время остановки их в Москве и имел с ним разговор о Чернышевском и б) найденным у Яковлева при задержании его на станции Московской железной дороги за пьянство и буйство письмом Костомарова и его матери от 1-го марта (время проезда его через Москву), в котором он между прочим пишет: “Петр Васильевич (Яковлев) оказал мне весьма важную услугу и сообразно этому будет конечно принят тобою. — Я подарил ему свое пальто, пожалуйста, отдай”». В «Докладе» особо указывалось: воззвание к крестьянам «не было распространено и даже не было вполне отпечатано». Чиновники 2-го отделения Департамента министерства юстиции, составившие «Доклад», склонялись, вопреки сенаторам, к вынесению совершенно другого, более мягкого наказания для Чернышевского: «Лишить некоторых особенных по 54 ст. Улож. прав и преимуществ и заключить в крепость на 2 года и 8 месяцев, а по освобождении выслать на жительство в одну из отдаленных губерний»⁹.

Для понимания происходящего чрезвычайно важно, что одни и те же следственные материалы интерпретировались тогдашними юристами различно. На фоне составленного в министерстве юстиции «Доклада» решение сената выглядит неоправданно суровым, обнаруживающим послушное выполнение строжайших указаний свыше. Чиновники-юристы, составлявшие «Доклад» для министра юстиции, действовали более независимо, и этой, хотя и весьма относительной, свободы оказалось достаточно, чтобы объективнее оценить материалы следствия.

Читая «Доклад», министр юстиции Д.Н. Замятнин, вероятно, понимал справедливость предлагаемых его помощниками трактовок обстоятельств дела Чернышевского, но и оставить все без изменения он также не мог. Это видно по его «Редакционным поправкам» к сенатскому «Определению», которые он направил обер-прокурору сената 27 января 1864 г. Слово «заговор» министр предложил заменить везде выражением «злоумышление», фразу об участии Чернышевского «в составленном противу правительства заговоре» ограничить словами «приготовление к возмущению», а в другом случае вместо «за участие в составленном заговоре» — «за злоумышление к ниспровержению существующего порядка». Самым заковыристым местом оказался, конечно, пункт о Яковлеве. Снимая эту «улику», составители «Доклада» существенно подрывали всю систему обвинений, столь тщательно продуманную и разработанную А.Л. Потаповым и В. Костомаровым во всех ее взаимосвязанных звеньях. Принять во всем объеме столь очевидный вывод своих подопечных министр юстиции, разумеется, не мог, и ему пришлось как-то выбираться из создавшейся щекотливой ситуации, когда важно было не уронить своего авторитета перед его подчиненными. И тогда рождается «редакционная поправка», которая с помощью юридической казуистики позволяла бы сохранить обвинение против Чернышевского в сенатской формулировке. Показание студентов имело-де «само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным», кроме того «извет на Яковлева не представлен начальству смиренного дома, которое, по горячим следам, имело бы всю возможность раскрыть истину, а сообщен владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловерные идеи». Сам же Чернышевский «противу улик сих никакого опровержения не представил. Из сих улик возникает полное нравственное убеждение, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению через тайное отпечатание ононого»¹⁰. Так Д.Н. Замятнин вышел из чреватого осложнениями положения, в которое его поставили юридически грамотные и добросовестные составители «Доклада».

В «Приговоре», подписанном сенаторами 6 февраля 1864 г., оставлены в силе как формулировки, предложенные следственной комиссией и сенатом с поправками министра юстиции, так и прежняя мера наказания, изменять которую министр не мог. 7 апреля Государственный совет утвердил «Приговор», и текст поступил Александру II на окончательное рассмотрение.

Император не торопился, однако, с утверждением документа. Есть основание полагать, что его все же не вполне устраивало решение сената, хотя оно и предусматривало «строжайшее из наказаний, в 284 ст. поименованных». Александр II искал способ более жесткой расправы с писателем. Такой вариант существовал — например, заточение в Шлиссельбургскую крепость. 23 апреля министр юстиции представил царю специальный доклад, разъясняющий сделанный запрос: ссылаемым в каторжные работы разрешается переписка с родными, а их женам дозволяется следовать в Сибирь; узникам же Шлиссельбургской крепости не дозволяются ни переписка, ни свидания, их пребывание в тюрьме остается неизвестным даже их родственникам. «Заключение в секретном замке преступника, законно осужденного, лишая его сношения с родными, предоставляемых законом ссыльно-каторжным, — писал Д.Н. Замятнин, — возбудит справедливое нареkanie на пренебрежение законом самим правительством»¹¹. Александр II не решился пренебречь советом своего министра и утвердил «Мнение Государственного Совета». На первой странице сверху он начертал резолюцию, в которой по традиции обязан был проявить милость к осужденному: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину»¹².

Услуги В. Костомарова были щедро оплачены из кассы Третьего отделения с дозволения Александра II. Первую денежную расписку в получении пятисот рублей серебром В. Костомаров представил 28 июня 1863 г.¹³ Во второй раз он получил тысячу — вскоре после сфабрикованного им «Письма к Алексею Николаевичу». «Погубивший дирижера радикального оркестра, — писал министр финансов М.Х. Рейтерн министру внутренних дел П.А. Валуеву 5 августа 1863 г., — завтра от 9 до 11 веч. может получить у Ф<едора> Т<имофеевича> Ф<ан-дер-Флита> 1000 р., если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, не должна об этом знать. Будьте любезны принять на себя труд послать надежное извещение по известному Вам адресу»¹⁴. В декабре того же года В. Костомаров получил «от г-на майора Зарубина двадцать пять рублей серебром»¹⁵. Слова министра финансов «погубивший дирижера радикального оркестра» не оставляли сомнения в полной осведомленности в высших сферах власти о подлинной роли фальсификатора В. Костомарова в деле Чернышевского.

В архивных делах встречаются также расписки Н.Н. Костомаровой в получении 100 рублей и Алексея Костомарова, получившего сорок шесть рублей. А. Костомаров просил еще денег, но ему отказали. Тогда он, получив чин прапорщика и живя в Москве, стал

выдавать себя за агента Третьего отделения, беря деньги с некоторых доверившихся ему купцов, причем в расписках выдавал себя за некоего Кулберга¹⁶.

В ноябре 1864 г. мать В. Костомарова жаловалась управляющему Третьим отделением, что «участие ее сына в процессах против Михайлова, Чернышевского, Шелгунова и других поставило его в такие неприятные отношения к обществу петербургских литераторов, что даже самое имя его изгнано из их круга: они не только не принимают его стихотворений и переводов, но даже стараются разгадать и разгадывают его псевдонимы и везде, чем только можно, вредят ему. Ему, — сообщила Н. Н. Костомарова, — удалось напечатать несколько стихотворений в “Библиотеке для чтения” под именем “В. Д-цкой”. Но, наконец, управляющий редакцией, узнавши, что это — псевдоним Костомарова, возвратил мне назад рукопись драмы Шекспира “Король Генрих IV”, напечатавши уже два акта, и сказал прямо, что он ничего не может печатать из произведений противника Чернышевского под страхом потерять всех своих сотрудников, и ко всему этому не заплатил сыну моему до сих пор еще денег за предшествовавшие работы». 28 ноября Александр II разрешил выдать просительнице триста рублей серебром из секретных сумм, а по справке оказалось, что В. Костомаров, кроме указанных денег, получил еще сто рублей¹⁷. В июне того же года Третье отделение уже приняло на себя уплату 1366 руб. 35 коп. за издание его литературных трудов¹⁸.

От В. Костомарова, действительно, отвернулись почти все литераторы, и лишь «Современная летопись» и «Наше время» печатали его переводы из иностранных газет¹⁹, продолжал сохранять отношения с ним А.П. Милюков, устраивавший ему переводы в «Светоче».

В июле 1864 г. В. Костомаров подал прошение о назначении его в один из полков, действующих против польских мятежников, дабы «скорее загладить кровью вину свою». В том же июле последовало новое его прошение, в котором он, ссылаясь на болезнь левой ноги, а также на необходимость содержать мать и сестру, выразил желание служить в одном из кавалерийских полков Виленского округа, и его определили в 1-й уланский С.-Петербургский полк. Однако вскоре он попадает в Мариинскую лечебницу и получает удостоверение о неспособности к военной службе ввиду неизлечимой болезни ноги. В октябре 1865 г. Александр II утвердил ходатайство шефа жандармов об увольнении В. Костомарова от службы, а 8 декабря того же года он умер²⁰. Приведем текст архивной агентурной записки, составленной и поданной Долгорукову 14 декабря 1865 г.: «Костомаров умер на прошлой неделе во вторник, а погребение его было в

четверг. На кладбище, кроме матери и сестры, его никто не провожал. За гроб и халат, стоившие 12 руб., заплатила мать. По частной справке, наведенной в Мариинской больнице, где умер Костомаров, не обнаружено, чтобы медики и чиновники, там служащие, делали складку на его погребение»²¹. Страшная подробность! В. Костомарову не выпало прощения даже перед лицом смерти.

4 мая 1864 г. к 12 часам дня Чернышевского в закрытой карете и в сопровождении двух чинов доставили в сенат для слушания окончательного приговора. Спустя два с половиной часа его вернули в крепость²². Небезынтересно донесение одного из агентов, которое управляющий Третьим отделением читал на другой день: «В крепости никого посторонних не было, кроме нашего агента, как равно при прибытии его в сенат. Но впоследствии явились к зданию сената жена Чернышевского в сопровождении каких-то неизвестных лиц, бывший студент Ефимов и какой-то чиновник военного министерства, пожелавшие видеть Чернышевского, что им впрочем не удалось. <...> При возвращении Чернышевского в крепость, куда поехал за ним независимо от нашего агента также полковник Дурново — там никого знакомых Чернышевского не было. Один из сопровождавших жену Чернышевского был учитель Моригеровский, живущий на Конно-Гвардейском бульваре в доме Мельникова, куда по отъезде Чернышевского они вместе и отправились; поэтому есть повод думать, что дама была не Чернышевского, а Моригеровского жена»²³. Действительно, О.С. Чернышевской в те дни в Петербурге не было. Пермского учителя А.Н. Моригеровского жандармы знали как «одного из главных руководителей пермского кружка», распространявшего «возмутительные идеи и воззвания»²⁴. Жена Моригеровского в конце апреля 1864 г. направила в крепость Чернышевскому от имени его единомышленников письмо как «честнейшему и благороднейшему» человеку, убеждения которого — «их убеждения, их правила, их судьба»²⁵.

Жандармы старались предупредить малейшие проявления сочувствия к осужденному. Агенты Третьего отделения получили задание тщательно записывать все возникающие в общественных кругах разговоры о процессе Чернышевского. В донесении от 28 ноября 1863 г., например, сообщалось: «Решение сената относительно Чернышевского уже известно в городе, и о нем много поговаривают; в некоторых местах появились даже портреты Чернышевского, которых долгое время не выставляли. Носится слух о составлении в его пользу подписки, о чем именно говорил издатель “Библиотеки для чтения” П.Д. Боборыкин. О Чернышевском большинство сожалеет, как об умном, талантливом писателе; друзья его, конечно,

вне себя, хотя и ожидали этого исхода; меньшинство же говорит: поделом ему!»²⁶. В другой агентурной записке от 15 января 1864 г. содержались сведения о чиновнике Лермонтове, который, «встретясь недавно с одним лицом, преданным правительству, и заговорив о Чернышевском, высказывал мнение, что сей последний осужден неосновательно, так как приписываемое ему письмо явно подделано Всеволодом Костомаровым»²⁷. Руководителя «Современника» «обвинили единственно на основании ложных доносов Костомарова», — передавал агент широко распространившееся по городу мнение²⁸. В студенческой среде, по свидетельству Г.Н. Потанина, — «ходила легенда, что жандармы пытались связать его дело с большим пожаром, предшествовавшим его аресту, но никаких, однако, оснований связать этот пожар с Чернышевским не было. Будто в качестве обвинения предъявляли ему записку, написанную будто бы им; в записке он предлагал кому-то денежную сумму для основания тайной типографии, о записке говорили, что она фальшивая, определенно называли лицо, которое, будучи подкуплено жандармами, написало ее, подделываясь под почерк Чернышевского»²⁹.

Незначительность сообщаемых в агентурных донесениях фактов выражения внимания к Чернышевскому успокаивало жандармские чины, убеждавшиеся в том, что особой активности общество не проявляло. Как и в день ареста Чернышевского, Потапов мог бы повторить: «...В городе, благодаря бога, все благополучно».

Некоторые попытки облегчить положение Чернышевского предпринял А.А. Суворов. Конечно, эти попытки можно расценить как очередной полулиберальный жест по отношению к поверженному «государственному преступнику», но для Чернышевского и они могли хотя бы до некоторой степени смягчить жестко регламентированный круг обязательных ритуальных действий. Так, на другой же день после объявления Чернышевскому в сенате приговора послана от имени Суворова телеграмма плац-майору крепости Кандаурову с запросом, «переведен ли он из Алексеевского рavelина, и если нет, то почему?». Тот ответил, что «об объявлении приговора арестанту Чернышевскому в Комендантском управлении крепости не имеется никакого сведения». Из канцелярии Суворова поступило настойчивое требование сообщить точнее о времени перевода арестанта «из рavelина в обыкновенный каземат крепости». Таким образом, Чернышевский получил бы возможность провести оставшиеся две недели до высылки в Сибирь в более щадящем режиме заключения. Однако Сорокин, неукоснительно соблюдая правила, возможность такого перевода связывал только с последним днем перед публичным объявлением приговора³⁰. Комендант

крепости не посмел возразить Суворову лишь в требовании разрешить последние свидания Чернышевского с родственниками и близкими людьми. 9 мая у Чернышевского были И.Г. Терсинский и П.И. Боков, 13 мая – Г.З. Елисеев и М.А. Антонович, 19 мая – жена, сын Александр, А.Н., С.Н., Евг. Н., П.Н. Пыпины, В.И. Пыпина, Е.П. Ковалевский³¹.

4 мая А.А. Суворов, ссылаясь на законы, предложил Долгорукову «Чернышевского отправить не этапным порядком, но на почтовых с двумя жандармами», «без оков и наручней, так как и губернское правление при отправлении этапным порядком лиц привилегированных сословий, осужденных в каторжную работу, не налагает оков и наручней», а также без исполнения над ним обряда выставления к позорному столбу, «ибо Чернышевский, по приговору Правительствующего сената, не присужден к политической смерти». Последний пункт вызвал возражения Долгорукова: «по точному смыслу» статьи закона «обряд (переламывание шпаги и выставление на эшафот к позорному столбу) <...> должен быть исполняем над всеми без исключения лицами, осужденными в каторжные работы»³².

В «Полицейских ведомостях» (17 мая) и в «Биржевых ведомостях» (18 мая) появилось объявление: «19 мая в 8 часов утра назначено публичное объявление на Мытнинской площади в Рождественской части бывшему отставному титулярному советнику Николаю Чернышевскому (35 лет) Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета, которым определено: Чернышевского, виновного в сочинении возмутительного воззвания, передаче оно для тайного печатания с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления, лишить всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на семь лет и затем поселить в Сибири навсегда». 19 мая это объявление перепечатали газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Голос»³³, вышедшие в продажу после 8 утра, когда «гражданская казнь» уже началась.

От полагающегося религиозного обряда Чернышевский «решительно» отказался, но «благословение же мое священническое Чернышевский сам просил ему преподать, в чем ему и не отказал я», – сообщал протоиерей Петропавловского собора В.П. Полисадов коменданту крепости³⁴.

Сначала (9 мая) Суворов уведомил коменданта крепости о переводе Чернышевского из рavelина в тюремный замок накануне публичного объявления приговора, затем (18 мая) он известил генерала об отмене этого прежнего решения: 19 мая в 7 часов утра арестант будет «принят» чиновником ведомства Суворова Чебыкиным «для

отправления на место совершения приговора, откуда возвратит его в крепость»³⁵.

Источники, содержащие описание «гражданской казни», по степени их достоверности делятся на три группы: документы, исходящие от официальных лиц, сообщения ближайших родственников, писавших тогда же в Саратов, и свидетельства очевидцев.

Из официальных бумаг отметим краткий рапорт генерал-майора П.В. Чебыкина Суворову³⁶, донесение жандармского полковника Дурново шефу жандармов³⁷ и донесение (без подписи) агента Третьего отделения³⁸.

Чебыкин полагал, что «публики было незначительно». Особо отмечены букет цветов, который бросила на площадь «молодая девица» Михаэлис «или молодой человек, бывший с нею и называющий себя ее родственником» (оба отправлены к обер-полицмейстеру) и три букета цветов, «брошенные неизвестными лицами» при отправлении кареты.

Отчет Дурново и донесение неизвестного агента были более пространными. Чернышевского привезли, отмечают оба, не в 8 часов, как объявлено в газетах, а в три четверти девятого, и в нарушение правил не в арестантской одежде и без священника, «что в отношении подобной личности, как Чернышевский, — замечает агент, — особенно осуждается. Многие уверяют и, к сожалению, это едва ли не справедливо, что такая небрежность была не случайною. <...> Особенно, если принять в соображение, что главным распорядителем при приведении в исполнение наказания был чиновник со стороны генерал-губернатора — генерал-майор Чебыкин. Вновь утверждают, — пишет далее агент, нагнетая подозрения, — что для Чернышевского по подписке собрано несколько тысяч и что в числе главных подписчиков есть имя князя Суворова». Агент знал о недоверии руководителей Третьего отделения к Суворову и не сдерживал себя в сообщении самых невероятных сведений и слухов.

Почти совпадают данные о количестве присутствовавших. Дурново называет две — две с половиной тысячи человек, агент — двести тысячи, «из них простого народа считают не более $\frac{1}{3}$, остальные все чиновного сословия». В числе прочих Дурново замечает литераторов, сотрудников журналов, многих студентов Медико-хирургической академии, трех воспитанников Училища правоведения, до двадцати человек воспитанников Корпуса путей сообщения, нескольких офицеров, некоторые были «в черном одеянии и имели таковые же башлыки». Агент обратил внимание на семерых учеников Строительного училища и на путейского штабс-капитана при них («небольшого росту, рыжий»). Названы и некоторые фами-

лии: Якушкин, Герасимов, Моригеровский, литераторы Курочкин и Степанов («оставались спокойными зрителями»). Оба свидетельствуют, что приказчик книжного магазина Кожанчикова Свириденко «приглашал публику снять шляпы» (агент: «приглашал народ снять шапки»), «но не было заметно, — сообщал Дурново, — чтобы кто-либо его послушал»³⁹.

В представленном спустя шесть дней дополнении к своему отчету Дурново написал: «Из некоторых личностей, бывших в черном одеянии и имевших таковые же башлыки, особенно обращало на себя внимание одно лицо... архитектор Ерекольский, приехавший около 2¹/₂ месяцев из Киева, имеет жительство на углу Садовой и Щербакова переулка в д. Ильина, и за ним учрежден полицейский надзор»⁴⁰.

О цветах агент пишет несколько подробнее: «Самое совершение казни совершилось без особенных приключений, и только во время чтения приговора известная нам девица Михаэлис бросила преступнику через толпу очень хорошенький небольшой букет цветов, который однако ж не долетел по назначению, упал к ногам одного полицейского офицера и им поднят, а девица Михаэлис, тут же замеченная, взята и отправлена к обер-полицмейстеру. Там, говорят, она прямо объявила, что она сделала это по любви к Чернышевскому». Описано и поведение Чернышевского: «При чтении приговора преступник стоял надменно, обращая взгляды на публику» (Дурново), «Во время чтения приговора Чернышевский стоял более нежели равнодушно, беспрестанно поглядывал по сторонам, как бы ища кого-то, и часто плевал, — что и дало повод также известному нам литератору Пыпину выразиться громко, что Чернышевский плюет на все» (агент). «При обратном следовании кареты с преступником, — пишет агент с чужих слов, — под нее были брошены из толпы четыре букета; насколько последнее верно, сказать нельзя, но должно заметить, что в распоряжениях по настоящему случаю порядок был нестрогий» (явный кивок в сторону Суворова). Суворов же, ознакомившись с донесениями своих чиновников, записал в дневнике 19 мая: «Утром исполнили приговор над Чернышевским на Мытнинской площади. Публика хорошо — но несколько дам и какие-то фигуры в черных башлыках показали сочувствие, и Мария Михаэлис бросила букет и была арестована. В Царском Селе был принят у Царицы тотчас, Царь и Великая Княгиня ее оставили, я остался, долго одни говорили»⁴¹. Главное для Суворова — спокойствие публики и внимание к нему монаршей четы.

Из писем родственников Чернышевского приведем лишь некоторые места. Евг.Н. Пыпина писала 22 мая 1864 г.: «Много ходит те-

перь рассказов о том, что происходило на площади во время чтения приговора. Несколько дам бросили ему цветы, и двух взяли. Полиции было очень много, и обер-полицмейстер должен был беспрестанно бросаться то в ту, то в другую сторону унимать шум. Кричали и прощались с Николаем. Он и тут оставался замечательно спокоен. Говорил нам в последний день: как сначала я имел право говорить, так и теперь его имею, что против меня у них не было никаких оснований вести так дело. — В самом деле это так, что видно не из его только слов, а из тысячи вещей»⁴².

Отклики современников о «гражданской казни» чрезвычайно разнообразны и пестры. На первое место и по времени появления, и по значительности содержания, несомненно, выдвигаются высказывания Герцена. Обращаясь к властям, он писал по поводу совершившегося «беспримерного злодейства»: «Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье и, если возможно, — мечь». Обращаясь к современникам, Герцен призывал запечатлеть это событие на полотне. «Подымается и растет новая Россия, крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и унижении, тесно связанная жизнью с народом, образованием — с наукой. <...> Эту новую Россию Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор»⁴³.

Н.А. Серно-Соловьевич, арестованный с Чернышевским в один день, не мог присутствовать на Мытнинской площади 19 мая, находясь в Петропавловской крепости, но и сюда доходили верные сведения о происшедшем. В письме к брату, которое пытался передать нелегально, он писал с явным намеком на Александра II: «Ясно, что дело пошло на то, чтоб истребить всех сколько-нибудь известных людей противного лагеря, и в этом направлении Третье отделение, сенат, Государственный совет — действуют как один человек». Затем следует фраза, под стать герценовской: «Ссылающие Ч<ернышевского> вымирают, бросающие цветы — нарождаются»⁴⁴.

Среди мемуаристов, оставивших свои впечатления о «гражданской казни», активные участники студенческих волнений Ф.В. Волховский, М.П. Сажин, А.Н. Тверитинов, журналист А.С. Суворин, беллетрист В.Н. Никитин, военный врач В.Я. Кокосов. Известны также рассказы нижегородского врача, «передового человека 60-х годов» А. Венского (в записи В.Г. Короленко) и офицера генерального штаба Н.К. Гейнса (Вильяма Фрея) (в передаче Н.В. Рейнгардта)⁴⁵. Воспоминания очевидцев позволяют воссоздать в подробностях весь эпизод «казни». Посреди площади стоял эшафот — четырехугольный помост с черным столбом на нем, в кото-

рый были вделаны две железные цепи с кольцами на концах. На Чернышевском было пальто и круглая шапка (или фуражка). С ним на эшафот взошли чиновник в сопровождении двух палачей в штатском. Один из палачей надел на шею Чернышевского деревянную черную доску с белой надписью «государственный преступник». Чиновник зачитал приговор, и на это ушло около получаса. Затем Чернышевского подвели к столбу и просунули руки в кольца железных цепей. Так, сложивши руки на груди, он простоял у столба около четверти часа. После этого его вывели на середину помоста, сорвали с головы шапку, поставили на колени, и палач разломил над его головой шпагу, бросив обломки в сторону — знак лишения всех прав состояния. Чернышевский встал, надел шапку. Палачи свели его с эшафота. «Все совершалось торопливо и как бы опасно», — писал очевидец. Передавая рассказ одного из свидетелей события, В.Г. Короленко заключал: «...Схема, так пассивно наброшенная Венским: бледная фигура мыслителя на эшафоте и кольцо его интеллигентных “соумышленников” между цепью жандармов и враждебно настроенным народом — способная навести на многие размышления, даже в наше время». «Это было, несомненно, — прибавлял Короленко, — вопиющее неправоудие. От этого, однако, значение приведенной картины не изменяется, как не изменяется и значение Чернышевского в освободительном движении русского общества»⁴⁶.

После совершения обряда Чернышевского доставили в его крепостную камеру. На запрос коменданта о времени отправления осужденного в Сибирь обер-полицмейстер отвечал в телеграмме, посланной во втором часу ночи (не спали чины!): «Его Светлость приказал отправить Чернышевского завтра 20 мая». Затем уточнено — 20 мая в 4 часа пополудни. «Принято, — извещал службист Сорокин Суворова, — отправлять в зимнее время, когда смеркнется, и потом по пробитии вечерней зори или рано утром». 20 мая коменданта уведомили, что за Чернышевским явятся не в 4, а в 9 часов вечера. В сопровождение назначили старшего вахмистра жандармского дивизиона Иона Ильина и рядового Тимофея Горохова, тут же замененного на рядового Александра Сироткина⁴⁷.

20 мая у Чернышевского с утра и до отъезда были Пыпины. Утром этого дня О.С. Чернышевская уехала в Саратов⁴⁸. Все свои рукописи Чернышевский сложил в три конверта и бумажный мешок, аккуратно описал их и книги, которые оставлял для передачи А.Н. Пыпину. Часть книг оставил у себя. Сорокин отослал их Потапову, и тот разрешил взять книги с собой, «кроме “Жорж Занда”». У Чернышевского остались сочинения Лермонтова, Кольцова,

Некрасова, Новый Завет, Библия (на французском языке), русско-французский словарь, две французские книги⁴⁹. Чернышевский поручил А.Н. Пыпину передать коменданту крепости пятнадцать рублей для раздачи нижним чинам, услугами которых он пользовался во время заключения. 10 июня Пыпин исполнил поручение, но Сорокин вернул деньги: солдаты исполняли-де свою обязанность⁵⁰.

Пыпины собирались приобрести в дорогу Чернышевскому удобный экипаж, и кто-то из чинов даже разрешил это, но в последний момент последовал отказ. Чернышевский, предусмотрев это, просил заранее купить резиновую подушку, которая в долгой и тряской дороге заменила бы рессоры. «Это и сделали, — оказалось, что он лучше знает господ, и по его вышло», — писала в Саратов Евг. Н. Пыпина и прибавляла: «Сам он только одну заботу имеет — О<льга> С<ократовна>, но так как теперь до некоторой степени устроена ее судьба в денежном отношении, то ему ничего не надо больше». «До последней минуты (я видел его именно до последней минуты, до 10 часов вечера 20-го мая), — сообщал С.Н. Пыпин своим родителям и сестрам, — Николая был совершенно спокоен, что, конечно, должно успокоить до известной степени и нас. Это не малодушный человек, за которого можно бояться: нравственной силы у него достаточно»⁵².

Кроме ехавших с Чернышевским охранников, за поездкой наблюдал жандармский поручик Малышкин, выполнявший особое распоряжение Потапова. Ему предписывалось «ехать вслед за ним до г. Ярославля с таким расчетом, чтобы быть от него в двух часах времени и в случае надобности оказать сопровождающим его жандармам содействие»⁵³.

Для Чернышевского начался скорбный путь в Сибирь. Там ему суждено было прожить до августа 1883 г.

Примечания

¹ Дело. С. 545.

² Там же. С. 308.

³ Процесс Н.Г. Чернышевского / Ред. и примеч. Н.А. Алексеева. Саратов, 1939. С. 252.

⁴ Дело. С. 339. Однако здесь текст напечатан с пропуском слова «в крепости». Исправляем по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 112. Д. 38. Л. 65 об.

⁵ Процесс Чернышевского. Саратов, 1939. С. 253.

⁶ Воспоминания (1982). С. 430.

- ⁷ Дело. С. 338, 362, 377.
- ⁸ Там же. С. 417–419.
- ⁹ РГИА. Ф. 1405. Оп. 61. Д. 6397 б. Л. 139–150.
- ¹⁰ Дело. С. 430–431.
- ¹¹ Дело. С. 434, 629; ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Т. 1. Л. 199–201.
- ¹² Дело. С. 432.
- ¹³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 176. Л. 71.
- ¹⁴ Дело. С. 263.
- ¹⁵ Былое. 1919. № 14. С. 149.
- ¹⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 175. Л. 20–26.
- ¹⁷ Былое. 1919. № 14. С. 150.
- ¹⁸ Дело. С. 263.
- ¹⁹ Из неопубликованного письма В.Д. Костомарова к А.П. Милюкову (ИРЛИ. Д. 10288/XIV. Л. 105). Здесь содержится, между прочим, злобный выпад против Плещеева.
- ²⁰ Былое. 1919. № 14. С. 150–151.
- ²¹ ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 200. Л. 8.
- ²² Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 223; Дело. С. 436.
- ²³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Т. 1. Л. 207.
- ²⁴ Дело. С. 124.
- ²⁵ *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. М., 1946. Т. II. С. 238; Летопись. С. 328.
- ²⁶ ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 242. Л. 1; Летопись. С. 316.
- ²⁷ ЛН. Т. 71. С. 446.
- ²⁸ Дело. С. 58.
- ²⁹ *Потанин Г.Н.* Воспоминания о Чернышевском (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. № 616. Л. 7).
- ³⁰ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 295.
- ³¹ Там же. С. 296–297; Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 226–227.
- ³² Дело. С. 436–437, 630; ИРЛИ. Д. 14007/LXXXVII б. 7. Л. 136–138.
- ³³ О публикации в «Голосе» сообщено нам М.Д. Эльзоном.
- ³⁴ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 297; Дело. С. 438–439.
- ³⁵ РГИА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 108. Л. 276, 291; Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 296; Вып. 4 (1965). С. 230
- ³⁶ Летопись. С. 331–332; ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. № 230. Ч. 26. Т. 1. Л. 244–245 об.
- ³⁷ Дело. С. 439–440.
- ³⁸ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Ч. 26. Т. 1. Л. 232–234 об.; Воспоминания (1959). Т. 1. С. 24, 25.
- ³⁹ Эта фраза отсутствует в Летописи.
- ⁴⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Т. 1. Л. 246.

- ⁴¹ РГВИА. Ф. 43. Оп. 4. Д. 792. Л. 155.
- ⁴² Н.Г. Чернышевский. Саратов, 1928. С. 316.
- ⁴³ *Герцен. Т. XVII. С. 294; Т. XVIII. С. 221.* Гневный протест против учиненной над Чернышевским расправы с описанием его следственного дела выражен революционным эмигрантом А.Н. Тверитиновым, свидетелем «гражданской казни» Чернышевского (Воспоминания (1959). Т. 2. С. 28–31), в его предисловии к заграничному изданию перевода на французский язык книги Милля с примечаниями Чернышевского (1874) — *Петров Ф.А.* Неизвестная рукопись А.Н. Тверитинова // Чернышевский. Вып. 9 (1983). С. 89–108.
- ⁴⁴ ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 252. Л. 5 об., 6 об.
- ⁴⁵ См.: Воспоминания (1959). Т. II. С. 19–51; *Марголис Ю., Прошин Г.* Новое о гражданской казни Н.Г. Чернышевского: Из неизвестной автобиографии А.А. Иностранцева // Русская литература. 1964. № 2. С. 101–105.
- ⁴⁶ Воспоминания (1959). Т. II. С. 47.
- ⁴⁷ Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 232–234.
- ⁴⁸ Н.Г. Чернышевский. Саратов, 1928. С. 316, 317.
- ⁴⁹ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 298–300. В одной из статей ошибочно утверждается, что эти книги посланы Чернышевскому в Сибирь (см.: *Полищук Ф.* Чернышевский и книга // Сибирь. 1989. № 2. С. 121).
- ⁵⁰ Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 297–298.
- ⁵¹ Дело. С. 549.
- ⁵² ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Т. II. Л. 224; *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. С. 256.

Заключение

Арест, ссылка в Сибирь — типичная судьба русского писателя, поднявшегося против антинародного самодержавного режима. Но

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам своей судьбы виной!» —

этим энергичным возражением начинается стихотворение Некрасова «Пророк», написанное в 1875 г. и первоначально имевшее подзаголовок «Воспоминание о Черн<ышевском>». Размышляя о судьбе своего великого друга, томящегося в сибирском заточении, поэт высказывает важную мысль, касающуюся особенностей нравственного поведения революционера: Чернышевский, ввергнутый в тяжелейшие условия политической и духовной изоляции, все же не пал жертвой собственной неосмотрительности, как думают иные вследствие незнания, наивности или поверхностности взгляда. По свидетельству Некрасова, Чернышевский не видел возможности служить добру иначе: чем «возвышенной и шире» любовь к народу, тем яснее неизбежность самопожертвования во имя его освобождения.

Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!» —
Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:

Его судьба давно ему ясна...
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе¹.

В стихотворении-воспоминании Некрасов, настаивая на сильной евангелической параллели, отметил суть личности Чернышевского: единство убеждений и поступков. Человек, чья судьба ему самому «давно ясна», сознательно идет на жертвы, если убежден в личном мужестве, в том, что никогда не поступится своими убеждениями. Он знал о предстоящих суровых испытаниях — нравственных и физических. Но он не просил о пощаде, не склонил головы перед торжествующей победою властью, не отрекся от своей веры и ушел на каторгу «с святою нераскаянностью»².

Примечания

¹ *Некрасов Н.А.* Последние песни / Изд. подг. Г.В. Краснов. М., 1974. С. 6.

² *Герцен.* Т. XVIII. С. 286.

Примечания

Условные сокращения

Для архивных источников

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.

ГАСО – Государственный архив Саратовской области.

ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

ОПИГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея.

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства.

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.

РГИА – Российский государственный исторический архив.

РОРГБ – Рукописный отдел Российской государственной библиотеки.

РОРНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки.

ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.

ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы.

Ф. – фонд. Оп. – опись. Д. – дело. К. – картон. Ч. – часть. Т. – том. СА – секретный архив. 1 экс. – 1 экспедиция. Л. – листы.

Для печатных материалов

Страницы из сочинений и писем Н.Г. Чернышевского указываются в тексте (в скобках) с римской нумерацией томов по изданию: Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. М., 1939–1953.

Белинский – Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В XIII т. М.; Л., 1953–1959.

Воспоминания (1959) – Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Общ. ред. Ю.Г. Оксмана. Саратов, 1958–1959.

Воспоминания (1982) – Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников / Сост. Е.И. Покусаев и А.А. Демченко. М., 1982.

Герцен – Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966.

Дело – Дело Чернышевского: Сб. документов / Подгот. текста, вводи. статья и коммент. И.В. Пороха. Общая ред. Н.М. Чернышевской. Саратов, 1968.

Добролюбов – Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1961–1964.

ЛН – Литературное наследство: Сб. Т. 1–98. М., 1931–1991.

Летопись – Чернышевская Н.М. Летопись жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. М., 1953.

Научная биография (1828–1858) – Демченко А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015. (Серия «Humanitas»).

Некрасов (1967) – Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962–1967.

Некрасов (1953) – Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1948–1953.

Некрасов (1997) – Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981–1997.

Тургенев – Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т., М.; Л., 1960–1968.

Указатель Совр. – Боград В. Журнал «Современник». 1847–1866. Указатель содержания. М.; Л., 1959.

Чернышевский. Вып. – Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: Сб. Вып. 1–19, Саратов, 1958–2014.

Чернышевский: Pro et contra – Н.Г. Чернышевский: РГИА. Личность и творчество Н.Г. Чернышевского в оценке русских писателей, критиков: Антология / Сост., вступ. статья и примеч. А.А. Демченко. СПб: Изд-во Русской Христианской гуманитарной Академии (РХГА), 2008. – 568 с.

Часть II

Н.Г. Чернышевский

Научная биография
(1864–1889)

...Что касается лично до меня, я сам не умею разобрать, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя на целые девять лет в огорчения и лишения. За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их.

Н.Г. Чернышевский. Из письма к жене. 1871

Он всегда отлично владел собою, и если страдал, — а мог ли он не страдать очень жестоко, — то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью.

В.Г. Короленко. Воспоминания о Чернышевском. 1890

...Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека.

Влад. Соловьев. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. 1898

Введение

В книге рассматривается последнее двадцатипятилетие жизни Николая Гавриловича Чернышевского, прошедшей в Сибири (1864—1883), Астрахани (1883—1889) и Саратове (июнь—октябрь 1889).

Все эти годы строго контролировались властями — сначала в условиях семилетнего забайкальского каторжного режима в Усолье, Кадае и Александровском заводе, затем в течение двенадцати лет тюремной изоляции в вилуйском остроге Якутии и шести

лет астраханско-саратовской ссылки. Писатель так и умер, не дождавшись разрешения на свободное местопребывание. Тщательно разработанная система надзора определяла ход и характер его жизни в исследуемый период, и по возможности полное изучение соответствующих документов обусловило одну из задач предлагаемого второго тома научной биографии.

Надеждам писателя на облегчение своего положения в сибирский период не суждено было осуществиться. К нему не применялись императорские указы от 1866, 1868 и 1871 г., распространявшиеся в качестве особых милостей на политических узников, своим поведением заслуживавших известного снисхождения. Более того, когда в августе 1871 г. по окончании срока каторжных работ, определенном резолюцией Александра II на приговоре сената и Государственного совета, Чернышевского следовало по закону перевести в разряд ссыльнопоселенцев с разрешением жить с семьей в одном из городов Восточной или Западной Сибири, царское правительство, опасаясь идейного влияния писателя на общество, поместило его в нарушение всех юридических установлений того времени в вилуйскую тюрьму под жандармскую охрану. Здесь в якутской глуши протекли самые тяжелые в его жизни годы. И только в 1883 г., уже после смерти Александра II, состоялось перемещение узника в Европейскую Россию. «Ошибку отца хочет поправить сын, но это поздно уже теперь», – сказал Чернышевский, узнав о решении Александра III.

На этом фоне бесправия еще ярче высвечивается личность Чернышевского, не сломленного властями, продолжавшего ежедневно и ежечасно, насколько позволяли обстоятельства, борьбу за освобождение, за возможность возвращения в литературу.

Переселение из Сибири на Волгу не отменило его положения политического пленника, но он не оставлял мысли влиятельно участвовать в современном литературно-общественном движении, выражая готовность сотрудничать, как он говорил, «со всяким честным человеком, издающим честный журнал или честные книги». Чернышевский с упорством трудится над осуществлением новых творческих замыслов. Он пишет ряд научных статей по истории и философии, публикуя их в качестве приложений к переводимой им под псевдонимом «Андреев» пятнадцатитомной «Всеобщей истории» Г. Вебера; готов переиздать свои статьи из «Современника» 1853–1862 гг. и свою магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», для чего пересматривает и поправляет ее прежний текст и пишет к нему новое предисловие; задумывает создание русского многотомного энциклопедического словаря или фундаментальной энциклопедии знаний; переводит

ученые труды французских и английских авторов; предпринимает попытки сотрудничества в журнале «Русская мысль» и газете «Русские ведомости»; обдумывает планы новых художественных сочинений; работает над воспоминаниями о шестидесятих годах, Н.А. Добролюбова, Н.А. Некрасове, И.С. Тургеневе, Ф.М. Достоевском; готовит к печати двухтомник материалов для обширной биографии Н.А. Добролюбова и намечает создание полного его жизнеописания; начинает хлопоты по изданию собраний сочинений Марко Вовчка и мемуаров А.Я. Панаевой со своими историко-литературными комментариями. Однако в условиях продолжавшегося цензурного запрета выполнение столь обширных планов в полном объеме оказывалось невозможным. Он вынужден был, по его словам, «по праву нищего» ограничиться преимущественно переводными работами, издаваемыми анонимно или под псевдонимами.

Ни в его письмах к родным, ни в официальных обращениях к властям, ни в беседах с кем бы то ни было мы не найдем жалобы на разрушенную судьбу. И что поразительно, он ни разу не позволил себе ни одного резкого замечания в адрес власть предержащих, осудивших его безвинно на тяжкие страдания. Гордо и одиноко, с великой скромностью и одновременно с достоинством, с сознанием значительности совершенного им для своей Родины переносил он все невзгоды. Во всяком непредубежденном мнении его личность неизменно вызывала глубокое сочувствие. Показательна, например, характеристика, принадлежащая религиозному мыслителю В.С. Соловьеву, не разделявшему политических взглядов Чернышевского, но сумевшему объективно взглянуть на жизнь писателя. «...Все сообщения печатные, письменные и устные, которые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, — писал он, — согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего мелкого и злобного; чрезвычайная простота и достоинство»¹.

Примечания

¹ *Соловьев Влад.* Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Письма Владимира Сергеевича Соловьева: В 3 т. СПб., 1908–1909. Т. 1. С. 282; Н.Г. Чернышевский: Pro et contra. Личность и творчество Н.Г. Чернышевского в оценке русских писателей, критиков: Антология / Сост., вступ статья и примеч. А.А. Демченко. СПб.: Изд-во Русской Христианской гуманитарной Академии (РХГА), 2008. С. 125.

Глава первая В Забайкалье

1. Путь на каторгу. Усолье. Кадая

Дорога в Сибирь оказалась поделенной на две части — семнадцать дней до Тобольска и двадцать после него.

Первая половина пути прошла сравнительно благополучно. «Был здоров и видимо весел, ни с кем особенно не разговаривал, кроме того что неоднократно предупреждал о скорейшем приготовлении в губернских или других больших городах лошадей для отправления немедленно далее», — доносили по возвращении в Петербург сопровождавшие его жандармы вахмистр Иона Ильин и рядовой Александр Сироткин. «Во все время пути до Тобольска, — прибавляли они, — Чернышевский ни с кем не встречался, а равно и объяснений на станциях или в дороге также не имел». По сообщению жандармов, в Тобольск прибыли 5 июня в 6 часов вечера. На документе пометка шефа жандармов о докладе царю 25 июня¹. И впоследствии Александра II уведомляли о всех передвижениях Чернышевского и важнейших в глазах властей обстоятельствах его жизни в Сибири.

Везли через Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень. В Тобольске ожидалась первая большая остановка — центральный пересылочный пункт, откуда направлявшиеся в Сибирь арестанты распределялись по местам каторжных работ.

На семнадцатый день пути Чернышевский получил наконец возможность послать в Петербург первую весточку о себе. «Сейчас мы прибыли в Тобольск, подобра-поздорову, и я пишу на первом попавшемся листе бумаги, передай это известие Олинке; я целую ее», — писал он двоюродному брату А.Н. Пыпину в коротеньком письме

от 5 июня 1864 г. Здесь же содержалась просьба: «Мои провожатые были очень внимательны и услужливы ко мне. Когда будешь у Суворова², скажи ему это: я очень доволен ими. Когда они будут у тебя, дай им рублей двадцать пять» (XIV, 490). Слова о внимательности и услужливости жандармов принято принимать за иронию, призванную засвидетельствовать, что «его сторожат с большим вниманием»³. В действительности никакой иронии слова Чернышевского не заключали, иначе он не просил бы брата отблагодарить жандармов, с которыми Чернышевский и послал свое первое письмо, минуя официальные каналы.

По прибытии в Петербург жандармы все же сообщили своему начальству о записке Чернышевского. Она, разумеется, тут же попала к управляющему Третьим отделением А.Л. Потапову, и тот распорядился, чтобы Ильин и Сироткин «отнюдь не смели ходить к Пыпину за обещанною им Чернышевским наградой или сообщения о нем сведения» (XIV, 841)⁴. Послание Чернышевского не было передано адресату, но жандармы, вероятно, побывали-таки у А.Н. Пыпина и воспользовались вознаграждением. По крайней мере, Евг.Н. Пыпина сообщала о Чернышевском в Саратов в письме от 16 июня 1864 г.: «О нем мы покойны. На днях получили от него известие из Тобольска, очень коротенькое, но говорившее, что он здоров и покоен. Был уговор говорить только правду, и, конечно, это она и есть. Мы этому известию очень были рады, потому что с самого отъезда он точно в воду канул на целые три недели»⁵. Около десяти дней спустя Евг.Н. Пыпина сообщила саратовским родным о втором письме из Тобольска. Оно не сохранилось, и пересказ его содержания двоюродной сестрой Чернышевского приобретает значение первоисточника. «Верст за 300 отсюда, — писала Евгения Николаевна, — он купил себе экипаж <...> и спокойно доехал до Тобольска. Далее отправится таким же образом, но где будет его пребывание, еще не знаем»⁶. Сообщение об экипаже довольно любопытно. Возможно, какое-то время Чернышевский и ехал в экипаже с дозволения своих «провожатых». Однако в одном из официальных документов говорилось, что тобольские власти признали «необходимым отправить Чернышевского из Тобольска тем же порядком, как был доставлен сюда, т.е. на почтовых лошадях за счет казны и в сопровождении двух жандармов»⁷. Следовательно, заверения Чернышевского не отражали всей правды. Он и в Петропавловской крепости неизменно держался той же тактики и старался даже в труднейшие минуты жизни успокоить родных относительно своего здоровья и настроения. «Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера...» (XIV, 456), — писал он жене 5 октября 1862 г. из тюрьмы,

подбадривая ее и зная, что его слова прочтут жандармские чины. Ни в Тобольске, ни позднее в течение многих лет ссылки Чернышевский не терял своего достоинства, переживая очень трудные дни.

Тобольские власти заранее были предупреждены о приезде государственного преступника. В секретном предписании генерал-губернатора Западной Сибири, отправленном 29 мая 1864 г. за № 114 на имя исправляющего должность Тобольского губернатора, строго объявлялось: «Имея в виду последовавшую о Чернышевском конфирмацию, вследствие которой он должен быть вскоре в Тобольске, предворяю Ваше Высокородие о необходимости строгого надзора за ним во время пребывания в Тобольском тюремном замке, прося сделать распоряжение, чтобы не было дозволено ему с кем-либо свиданий и он был отправлен далее по возможности в скорейшем времени, ежели не будет к некоторой остановке его каких-либо особенных уважительных причин. При этом не оставьте отдать приказание, чтобы все правила подобной предосторожности были соблюдены в отношении к сему ссыльному и далее в пути»⁸. Смотритель Тобольского тюремного замка в соответствии с приказом извещал начальство 15 июня, что Чернышевский, прибывший 5 июня, был помещен «в секретной камере» и вплоть до отъезда 13 июня «во время его нахождения в тюремном замке из посторонних лиц никто не посещал»⁹.

И все-таки приезд писателя не остался в тайне. Известны воспоминания землевольца С.Г. Стахевича, общавшегося с ним в течение этой недели. Он свидетельствовал, что смотритель не препятствовал их встречам и беседам. Впрочем, Стахевича трудно назвать «посторонним» — такой же арестант, как и все в пересыльной тюрьме. «Из наших тогдашних собеседований, — писал мемуарист, — у меня осталось в памяти очень немногое. Во-первых, ему было сказано, что он пробудет в Тобольске недолго, всего несколько дней; “распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать — не хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой; я что-нибудь выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут”. Из перечисленных мною книг он выбрал физиологию Функе (на немецком языке). Через несколько дней, возвращая книгу, сказал мне: “С большим удовольствием нашел в этой книге почетное упоминание о научных работах наших русских людей: Сеченова, Якубовича, Овсянникова”». На переданную Стахевичем просьбу поляков порекомендовать книги, излагающие идеи социалистов, Чернышевский назвал две — «Общественное назначение» В. Консидерана, последователя Фурье, и «Организацию труда» Л. Блана, пропагандировавшего создание производственных товариществ¹⁰.

Стахевичу припомнился также один из автографов Чернышевского в записной книжке кого-то из поляков: «Н. Чернышевский, литератор, год, месяц и число»¹¹.

В литературе известен еще один мемуарный рассказ, относящийся к описываемому времени. Тогдашний тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович, отличавшийся либерализмом, будто бы пригласил проезжавшего в ссылку автора «Что делать?» на устроенный в его честь вечер, а из его кандалов по просьбе местных дам распорядился сделать женские броши, браслеты, кольца и серьги¹². Эти воспоминания не внушают доверия. По документам, губернатора в те дни в Тобольске не было, и все касающиеся Чернышевского бумаги подписывал исправляющий эту должность Михаил Николаевич Курбаневский. Кроме того, из тюрьмы Чернышевский не отлучался, и описываемое событие, скорее всего, связано с проездом через Тобольск в 1862 г. М.Л. Михайлова¹³.

О последующем направлении в Иркутск Чернышевского известии четыре дня спустя после приезда. Путь предстоял дальний, и ссыльный, как докладывал М.Н. Курбаневскому в секретном письме исправляющий должность управляющего Тобольским приказом о ссыльных Рудло 9 июня за № 2165, «объявил желание быть отправленным к месту назначения на собственный его счет на обывательских лошадях в сопровождении нижних чинов внутренней стражи особо от арестантской партии». Такое разрешение могло быть дано на основании особого постановления губернского совета от 6 мая 1864 г. Между тем, по словам Рудло, это положение распространялось лишь на «политических преступников», «но как Чернышевский был судим за государственное преступление, то Приказ о ссыльных, не решаясь отправить его просимым им способом, имеет честь испрашивать разрешение Вашего Высочородия: можно ли применить к Чернышевскому вышесказанное положение Губернского совета». Как видим, Курбаневскому ничего не стоило удовлетворить просьбу ссылаемого. Однако надежнее было не согласиться, и он сообщил Рудло 10 июня: «Признавая неудобным отправить из Тобольска в г. Иркутск государственного преступника Чернышевского на обывательских лошадях, я вместе с сим предписал исправляющему должность Тобольского полицеймейстера отправить Чернышевского в Иркутск на счет казны на почтовых лошадях в сопровождении двух жандармов». Председатель Тобольского казначейства Скропышев было запротестовал против выдачи прогонных денег на том основании, что в Положении говорится о порядке пересылки политических, а не государственных преступников, но тут же получил разъяснение Курбаневского: «Чернышевский

преступник не политический, а государственный и следовательно еще более важный, и имея при том сведения, что при отправлении его из места жительства в г. Тобольск приняты были чрезвычайные меры предосторожности, я не мог сделать распоряжения об отправлении его далее по назначению обыкновенным этапным порядком»¹⁴. Скропышев, понятно, покорился, деньги были выданы, и 13 июня 1864 г. Чернышевского вывезли из Тобольска на почтовых в сопровождении двух жандармов на счет казны. «Кормовых» ссылаемому полагалось по 15 коп. в день, а каждому из жандармов по 1 коп. на версту¹⁵. Генерал-губернатору Восточной Сибири предусмотрительный М.Н. Курбаневский послал специальное донесение от 15 июня за № 1063 с подробным обоснованием принятого решения отправить Чернышевского на казенных почтовых. Документ стоит того, чтобы привести его почти целиком. «...Основанием к такому способу сопровождения Чернышевского в дальнейший путь, — читаем здесь, — были следующие обстоятельства: 1) особенная важность преступления, за которое он ссылается; 2) известное значение Чернышевского в литературе, которое доставило ему много поклонников, преимущественно из людей молодых, способных к увлечениям всякого рода, что делало отправление его в дальнейший путь не с достаточной скоростью и с продолжительными остановками или в сопровождении недовольно благонадежного конвоя крайне неудобным; 3) чрезвычайно большой состав арестантских партий, отправляемых в последнее время из Тобольска (до 400 человек и более) по случаю значительного скопления пересыльных арестантов в здешнем остроге, причем обыкновенный конвой едва ли может считаться достаточным и для общего наблюдения за всей партией, и особого, наиболее строгого наблюдения за каким-либо отдельным лицом, следующим в партии, нельзя было и ожидать; притом же вообще препровождать Чернышевского общим этапным порядком при таком недостатке надзора с продолжительными остановками на этапах и ночлегах не могло представляться ни удобным, ни безопасным; 4) еще менее казалось мне удобным отправить Чернышевского с партией политических преступников или вообще лиц из привилегированных сословий, на которых во время продолжительного пути он мог бы иметь влияние и для которых при большом в последнее время составе партий обыкновенный конвой также нельзя не признавать недостаточным; 5) вероятная продолжительность времени, на какое надо было остановить Чернышевского в Тобольске, если бы выжидать устранения объявленных выше неудобств от чрезвычайно большого состава партий — и затем отправлять его общим этапным порядком и 6) предложение Ваше-

го Высокопревосходительства от 29 мая за № 114 о скорейшем по возможности отправлении Чернышевского в дальнейший путь и о необходимости принятия при том мер предосторожности»¹⁶.

Вторую часть пути на каторгу Чернышевский перенес с большим напряжением нравственных и физических сил. На десятый день прибыли в Томск, но надежда хотя бы на кратковременный отдых не оправдалась. Генерал-губернатор Западной Сибири А. Дюгамель получил следующее официальное уведомление: «Вследствие предложения от 22-го мая за № 113-м имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что политический преступник Чернышевский проследовал через г. Томск в сопровождении двух жандармов 22-го июня, пробыл в Томской почтовой станции 1 1/2 часа и в течение этого времени ни с кем из посторонних не имел свидания. Наблюдение за Чернышевским поручено было полицией временно исправляющему должность частного пристава Наумову, который и проводил его с почтовой станции за город Томск»¹⁷. В документе — «политический», а не «государственный», такого рода путаница в бумагах будет встречаться и далее.

Сохранившиеся мемуары дают возможность восстановить отдельные эпизоды этого изнурительного пути. Военный врач и бытописатель Забайкалья В.Я. Кокосов опубликовал в 1907 г. услышанный им летом 1871 г. рассказ смотрителя станции, расположенной в Красноярском крае. «“Везли его в каторгу, — вспоминал смотритель, — на перекладных, в ножных оковах, два жандарма. По инструкции останавливаться было нельзя, но, услышав из разговора жандармов о близживущих родственниках одного из них, Чернышевский попросил их дать ему отдых. “Устал я очень, — говорил он им, — а вы себе идите, если хотите, в вашу деревню. Посадите меня на станции в комнату: верьте мне — никуда не уйду, из комнаты не выйду”. Жандармы уехали, поручив смотрителю наблюдать за арестантом. “Чернышевский, — рассказывал смотритель, — показался мне что маленький ребенок: смирный, тихий, обходительный, воды не замутит... Сидел он тут, как младенец, больше лежал на диване... Лицо худое, загорелое, в очках, все больше промежду себя думает... Я к нему и так, и сяк, потому любопытно... — “Чайку не желаете ли?” — “Благодарю, — говорит, — если найдется молоко, — выпью... Устал я с дороги, очень устал, отдыхать надо”... Спросил я его ненароком: “Из каких вы будете?” — “Как из каких?” — спрашивает. — “Рукоеслом каким занимались у себя, в России?” Он посмотрел на меня, улыбнулся, подумал да и говорит: “По писарской части маялся... По писарской, по писарской!..” А сам улыбается... Чудной человек был, право! Что ребенок малый, а в каторгу ехал...” Вернув-

шиеся утром жандармы прописали подорожную и все отправились далее, а на обратном пути говорили: “Такого человека одного, без нас, караульных, в каторгу без опаски посылать можно: посади одного в повозку, скажи: “поезжай в каторгу!” Беспременно доедет, никуда в сторону не заглянет...”¹⁸.

О его письмах с дороги известно лишь по сообщениям Евг.Н. Пыпиной в Саратов. Так, 3 августа 1864 г. она писала: «От Николи имеем сведения. Все хорошо, как только может быть. Последнее письмо получено недавно, но еще не с места, потому не знаю, как назвать его местопребывание»¹⁹.

Это место должны были определить иркутские власти. 2 июля повозка с Чернышевским въехала в столицу Восточной Сибири.

Неделя пребывания в Иркутске прошла без особых событий. Все шло обычным бюрократическим порядком. Поскольку приток ссыльных после подавления польского восстания 1863 г. значительно увеличился, генерал-губернатор Восточной Сибири специальным решением от 9 марта 1864 г. за № 74 распорядился прибывавших «политических преступников (поляков и русских)» отправлять «до особого о них распоряжения» в солеваренный завод, расположенный в селе Усолье в 70 верстах от Иркутска²⁰. Чернышевский не стал исключением, и 10 июля иркутский губернатор П.П. Сукачев, ссылаясь в своем донесении генерал-губернатору на уведомление губернского правления, назвал Иркутский солеваренный завод как первый адрес каторжных работ для Чернышевского. Официальный доклад, полученный в Петербурге 11 августа 1864 г. от начальника Иркутского жандармского управления, гласил: «Государственный преступник Чернышевский прибыл в Иркутск 2 сего июля на почтовых при сопровождении двух жандармов Тобольской жандармской команды без оков и 9 числа этого месяца отправлен в каторжную работу в Иркутский солеваренный завод закованным при одном жандарме Иркутской жандармской команды»²¹. Пошел отсчет семилетнего срока каторги. «В работе с 10 июля 1864 года» – фиксировали документы²².

Между тем уже 13 июля 1864 г. на имя управляющего Иркутской губернией поступил приказ председательствующего в Совете Главного Управления Восточной Сибири генерала К.Н. Шелашникова отправить ссыльнокаторжного Чернышевского «в Нерчинские заводы в установленном порядке»²³. Причины столь скорого появления «особого распоряжения» биографы Чернышевского называют разные. Одни утверждали: генерал Шелашников, вероятно, получил из Петербурга нагоняй за допущенное послабление, и он принялся энергично исправлять свою ошибку, подобрав для Чернышевского

более суровое место каторжных работ²⁴. Другие состоявшееся решение связывали с личным намерением генерала вмешаться в судьбу знаменитого писателя²⁵. В действительности же никакой грозной бумаги из Петербурга быть не могло, поскольку прошло слишком мало времени, чтобы в Иркутске успели получить ее, да и в архивах ничего подобного не обнаруживается. Не существовало и злой воли Шелашникова. Все совершилось гораздо проще, будничнее, в точном соответствии с тогдашними предписаниями. Дело в том, что еще 12 мая 1864 г. император подписал приказ об обязательном отправлении ссыльнокаторжных в Нерчинские рудники и заводы. Высочайшее повеление было сообщено генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову в особом предписании от 14 мая за № 176²⁶, и ко времени привоза Чернышевского оно уже поступило в канцелярию генерал-губернатора. Вот почему Шелашников, получив известие о Чернышевском, немедленно распорядился о его переводе в Нерчинские заводы.

Решение властей дополнительно подкреплялось соображениями коменданта Иркутского солеваренного завода штабс-капитана Бориславского, высказанными в его рапорте на имя иркутского губернатора. «В числе политических преступников в Иркутском солеваренном заводе, — писал он 15 июля 1864 г., — находятся два — не из царства Польского, а именно: Яков Ушаков и Николай Чернышевский, которые сосланы “за распространение идей, клонящихся к ниспровержению законного порядка, существующего в России”, этих-то политических преступников я полагал бы не содержать вместе с прочими, а отослать в Нерчинские рудники, так как образ их мыслей может иметь вредные последствия на остальных политических преступников». Особым пунктом далее следовало предложение отправить на поселение в другое место и П. Зайчневского²⁷.

Рапорт коменданта возник, вероятно, на основании донесений подчиненных охранников, и главное в этом документе — констатация факта общения Чернышевского с политическими ссыльными. Я. Ушаков, бывший подпоручик стрелкового батальона, оказался в Сибири «за распространение вредных идей между фабричными работниками посредством чтения и передачи им сочинений возмутительного содержания с преступной целью возбуждения их против правительства». На солеваренном заводе он находился уже более года²⁸. П. Зайчневский — бывший московский студент, замеченный полицией в тайном печатании запрещенных сочинений, автор знаменитой прокламации «Молодая Россия» (впрочем, об этом авторстве следствие так и не прознало). Он был осужден в каторжные работы на 2 года 8 месяцев, но Александр II сократил срок до года.

В Иркутск, как свидетельствуют архивные документы, П. Зайчневский прибыл 12 мая 1863 г. и спустя две недели (25 мая) отправлен в Иркутский солеваренный завод. Освобождение от работ последовало 5 октября 1864 г. с назначением для поселения в Карапчакскую волость Киренского округа «за то, — объяснял в 1868 г. на запрос исправляющий должность Иркутского губернатора Н. Эрн, — что он дозволил себе привести из Тельминского полуэтапа в Иркутский солеваренный завод для свидания с политическими преступниками политического же преступника Сатурнина Якубовского»²⁹. Следовательно, в июле 1864 г. предложение коменданта солеваренного завода немедленно перевести Зайчневского в другое место не было поддержано.

Со слов очевидца С.Г. Стахевич поведал в своих мемуарах, что после приезда Чернышевского Зайчневский, до того ведший беспорядочный образ жизни, сильно переменился, «дома сидит, читает, пишет; совсем другой вид стал, — должно быть, Чернышевский пробрал его здорово за беспорядок-то»³⁰. Вероятно, не только о благотворном нравственном воздействии следует вести здесь речь. Не исключено, что в беседах с автором прокламации «Молодая Россия» Чернышевский, в свое время отрицательно относившийся к содержанию этой прокламации³¹, высказал свое мнение ее автору, посоветовав заняться самообразованием.

Со слов Зайчневского, переданных ссыльным И.Г. Жуковым, Чернышевского содержали в кандалах в одиночном заключении. Кроме того, Зайчневский уверял, что Чернышевский привезен временно и в скором времени будет отправлен в Петровский завод³². Вероятнее всего, сведения о временном пребывании Чернышевского в Усолье распространились после того, как в иркутских властных инстанциях уже состоялось решение о его переводе в Нерчинский горный округ. В своем постановлении от 13 июля генерал Шелашников не указал, в какой именно рудник или завод будет отправлен Чернышевский, поэтому предположение о Петровском заводе возникло без всякой опоры на документы.

В Усолье Чернышевского поселили в отдельной комнате казармы на Варничном острове, где содержались ссыльнокаторжные. Село Усолье располагалось на левом берегу Ангары. Сохранился чертежный рисунок расположения камер в казарме. Рисунок набросан кем-то из поляков³³. Находившийся в солеваренном заводе поляк А. Сохачевский на одной из своих картин «Прощание с Европой» поместил живописный портрет Чернышевского³⁴.

Из Усолья Чернышевский послал родным несколько писем. Не сохранилось ни одного, и об их содержании можно судить лишь

по пыпинским сообщениям в Саратов. «От Николи мы имеем известие, — писал А.Н. Пыпин 20 августа 1864 г., — он здоров и живет довольно, кажется, благополучно». 31 августа Евг.Н. Пыпина: «Николя пишет, здоров, доволен, действительно доволен, и говорит, что, увидя там других, очень несчастных, находит, что ему даже совместно было бы жаловаться: так его положение безбедно, безобидно, покойно. Делать он может все, что угодно, и имеет средства жить, а есть господа, которые действительно страдают да и средств нет». «Он здоров, и дела, Бог даст, со временем отчасти подправятся», — писал А.Н. Пыпин, имея в виду, вероятно, высказанное Чернышевским предположение о возможности печататься, хотя бы и анонимно. «Место пребывания Николи, — пересказывала усольские корреспонденции Евг.Н. Пыпина, — было очень недалеко от Иркутска, верст за 70, в местности очень хорошей, и вдобавок возле огромного села, что, конечно, очень хорошо для разных домашних удобств. Всем он был очень доволен. Природу даже расхваливал. Не знаю, будет ли это его постоянное жительство или нет. Случалось, с другими, что их переводили с места на место. Вообще он был доволен»³⁵. Скорее всего, Чернышевский в одном из последних писем высказал сомнение по поводу солеваренного завода как постоянного места своей каторги.

Распорядившись 13 июля 1864 г. об отправлении Чернышевского в Нерчинск, председательствующий в совете Главного управления Восточной Сибири генерал-майор К.Н. Шелашников³⁶ в тот же день уведомил об этом нерчинское начальство, которому поручалось «по прибытии Чернышевского на место употреблять его на работы в рудниках согласно с состоявшимся о нем Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета и с подчинением всем правилам, изданным для подобных лиц»³⁷.

21 июля Чернышевского увезли из Усолья в сопровождении казака Евдокима Попова. Губернское правление, получив приказ отправить арестанта «без малейшей остановки в Иркутске», продержало его здесь ровно столько времени, сколько понадобилось для соблюдения всех формальностей, и 23 июля в Нерчинское горное правление направлено соответствующее секретное уведомление. Сопровождающим был назначен рядовой жандармского корпуса Константин Шестаков³⁸. Иркутский жандармский штабс-капитан извещал об этом свое петербургское начальство, прибавляя, что Чернышевский отправлен «без оков»³⁹.

На дорогу по Амурскому тракту (через Читу и Сретенск) ушли еще десять трудных дней. Шестаков вез с собой официальные письма и путевые документы. Это прежде всего адресованное исправля-

юшему должность Горного начальника Нерчинских заводов предписание генерала Шелашникова «немедленно уведомить» о том, куда именно на работы в рудниках будет назначен Чернышевский. Вторая официальная бумага принадлежала Иркутскому губернскому правлению, подтверждавшему все денежные расходы на прогоны двух лошадей и содержание жандарма. На руках у Шестакова была также шнуровая тетрадь, выданная «на записку прихода и расхода собственно принадлежащих преступнику Чернышевскому денег». Имелись в виду «расходы, могущие встретиться Чернышевскому в пути». В тетради расписки в получении по пяти рублей 25, 27 и 29 июля. Среди документов — «Партионный список», в который обычно заносились все имена отправляемых арестантов. На этот раз список содержал лишь одну фамилию с указанием примет ссылаемого и принадлежащих ему вещей. Подлежал передаче нерчинскому начальству и «Статейный список», служивший своеобразным паспортом каждого ссыльнокаторжного. Здесь три заполненные графы: «Имена и прозвания», «Лета», «Прежнее состояние, вина и наказание». Читаем: «Николай Чернышевский. Веры православной. Семейства не имеет⁴⁰. Росту 2 ар<шина> 5¹/₂ в<ершков>⁴¹. Волосы: на голове, бровях — русые, усах, бороде — не бреет. Глаза серые. Нос, рот — умеренные. Зубы — многих нет. Подбородок круглый. Лицо продолговатое. Лоб малый. Особые приметы: под нижней губой едва заметный маленький шрам⁴². Лета — 35. Бывший отставной титулярный советник, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению, за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения, Чернышевский по Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета лишен всех прав состояния, сослан из С.-Петербурга в каторжную работу в рудниках на семь лет. По прибытии в Иркутск по постановлению Губернского правления, состоявшегося на 9 июля сего года, назначен в Иркутский солеваренный завод, куда отправлен этого же июля, а возвращен в Иркутск двадцать второго июля 1864 г.»⁴³.

В Нерчинск Чернышевский прибыл совершенно больным. «...Доставлен 3 <числа> сего августа, — докладывал помощник управляющего должность Горного начальника Нерчинских заводов штабс-капитан Герасимов, — и того же числа по освидетельствовании его в состоянии здоровья в общем присутствии Нерчинского горного правления через медика, был отправлен в Кадаинский рудник для помещения впредь до выздоровления в Кадаинское лазаретное отделение, а по выздоровлении для употребления в рудничные работы»⁴⁴.

Осмотр проводил управляющий Нерчинским горным госпиталем старший лекарь И. Оллисевич. В составленном им «Медицинском свидетельстве» содержится подробное описание состояния здоровья Чернышевского, который при расспросе «рассказал, что он частовременно ощущает усиленное биение сердца, доходящее иногда до самой невыносимой степени, сопровождающееся тоскою, беспокойством и чувством стеснения в груди. Находясь в Петербурге, страдал цингою, а впоследствии ревматизмом нижних конечностей — теперь же ощущает сильную боль в верхних и нижних конечностях, обнаруживающуюся преимущественно при движении». Произведенный лекарем наружный осмотр обнаружил следующее: «Цвет лица и кожи грязно-желтоватый, губы синеватого цвета, десны припухшие, мягкие, при нажатии кровоточащие. На нижних конечностях на коже заметны пятна красно-бурого цвета, не исчезающие при давлении. При аускультации сердца я заметил, — писал Оллисевич, — что удары сердца изменены: то реже, то чаще, иногда с перемежками». Чернышевский «действительно в настоящее время страдает цингою (scorbutus), и он «подвержен нервной болезни сердца (palpitatio cordis)»⁴⁵.

Приезд Чернышевского в Нерчинское горное правление оставил след и в мемуарной литературе. Однако доверять во всем этим рассказам трудно. Одно из воспоминаний записано В.Я. Кокосовым от бывшего нерчинского чиновника Ф.Д. Пахарукова: «...Горный начальник, по принятии от жандармов Чернышевского, — читаем в воспоминаниях, — пригласил его тут же в присутствии сесть на стул и обещал избавить от оков. Чернышевский от расковки отказался, проговорив: “Благодарю вас... Но знаете ли? Лучше будет, если оставите кандалы на мне: особой мне пользы избавление от них не принесет, а вреда вам и мне может принести достаточно... Об одном бы просил: снабдить меня отдельной камерой. Этим вы сделаете мне большое, большое одолжение...” Видели мы его тогда близко, — продолжал Пахаруков, — сухошавый, загорелый, с длинными волосами, в очках, с бородкой. Когда он оглядывал нас через очки, нам стало не по себе, и мы вышли...”⁴⁶ Однако по документам Чернышевского принял не Горный начальник, а помощник исправляющего эту должность. Кроме того, его доставили «на подводах и без кандал»⁴⁷. В свидетельстве Ф.Д. Пахарукова получают значение лишь общие описания и характеристики.

В Кадаинский рудник Чернышевского сопровождал казачий урядник Зеркальцев и не на подводе на этот раз, а «на казенных лошадях — по болезненному состоянию». Приехали 4 августа, «и того же числа, — доносил в секретном рапорте заведующий рудником

Мельников, — зачислен по спискам с помещением впредь до выздоровления в лазаретное отделение под военный караул»⁴⁸. В лазарете Чернышевский находился до конца 1864 г. и в январе следующего года. Обязательный отрезок времени, полгода, по которому ссыльнокаторжный отбывал так называемый «срок испытаний», истекал 3 февраля. При отсутствии административных замечаний испытуемый переводился в «разряд исправляющихся» сроком на один год, после чего ему разрешалось жить на частных квартирах заводских служащих⁴⁹. Пока ничто не нарушало обычного течения жизни Чернышевского в Кадае, и он терпеливо переносил свой первый год каторги, будучи переведенным с 3 февраля 1865 г. в группу «исправляющихся». С этого времени его поселили в остроге — небольшом деревянном доме с сенями и тремя комнатами с решетками на окнах. Впоследствии Чернышевский по просьбе родных нарисовал план помещения: «сени», затем комната, в которой жил «старик-архитектор», вторая комната — «Семен Рафаилов Стецевич и его друзья», наконец — «моя комната»⁵⁰. Здесь он прожил до сентября 1866 г., хотя уже в феврале получил право переселения на «вольную» квартиру. Ни в официальных бумагах, ни в письмах Чернышевского нет ответа на вопрос, почему этого переселения не произошло в феврале. Напротив, в письмах этой поры не найти жалоб на неудобство помещения и слабость здоровья, которое «по-прежнему хорошо», как неизменно сообщал он. И лишь однажды, вскоре после отъезда из Кадаи, у него вырвалось признание — «мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего домика» (XIV, 491).

Существуют и официальные документы, свидетельствующие о непригодности для жилья нерчинских помещений для ссыльнокаторжных. Так, в отчете председателя попечительного о тюрьмах отделения Забайкальской области за 1866 г. сообщалось о тюрьмах в Нерчинске: «Здешний тюремный замок, устроенный 50 лет тому назад (1816) о трех зданиях за ветхостью очень неудобен для помещения арестантов, который помещает в себе ныне от 85 человек, а по приходе партии до 200 человек; к тому же каморы темные, мало примененные к расположению арестантов по родам преступлений», другой же корпус, устроенный вне замка, «слишком холоден, так что находятся в нем на содержании только при несильном морозе»⁵¹. Примечательный факт: отчет написан после того, как в Нерчинске побывал сам генерал-губернатор М.С. Корсаков, обозревавший Забайкальскую область. Нерчинск он посетил 22 сентября, Нерчинский завод — 30 сентября и 1 октября 1865 г.⁵² Заходил и к Чернышевскому, говорил с ним, услышал от него жалобу на пло-

хое состояние жилища — иначе Корсаков не написал бы в своем до-несении: «Помещение политического преступника Чернышевского не вполне соответствует расстроенному состоянию его здоровья»⁵³. 3 февраля 1865 г. нерчинский комендант генерал Шилов писал в Третье отделение: «В помещениях Александровского завода и када-инского рудника во многих камерах страшный холод от небрежного устройства»⁵⁴. Но дополнительных ассигнований на ремонт тюрем-ных помещений власти все же не отпускали. Любопытен в связи с этим рапорт начальника Нерчинских заводов подполковника Эйхвальда военному губернатору Забайкальской области от 24 ав-густа 1866 г.: «Улучшение быта ссыльнокаторжных при существую-щем порядке зависит от изыскания средств заготовлять припасы по более дешевой в сравнении с нынешней цене, а на остающуюся по этому предмету в сбережении средств против сметного ассигнования сумму заводить хозяйство для тюрем, как-то: огороды, рабочий скот для заработок и т.п., чтобы этим путем иметь возможность улучшить быт арестантов пищею, одеждою и помещениями»⁵⁵.

Первое обширное описание мест нерчинской каторги со-держалось в статье Ф.Н. Львова, опубликованной в «Современнике» в 1862 г. Помешая эту работу в своем журнале незадолго до своего ареста, Чернышевский и предположить не мог, что именно эти края станут его ссыльнокаторжным обиталищем на трудные семь лет. Все нерчинские заводы и рудники, сообщил автор, расположены на двухсотпятидесятиверстной территории между реками Шилкою и Аргунью, «в русской Даурии». В верховьях небольшой речки Га-зимура находился Газимурский завод, а «ниже Александровский, окруженный на расстоянии 50 верст несколькими рудниками, из коих самыми замечательными были Акатуй, Алгачи и Кличка. <...> Нерчинский же завод находился в 12 верстах от Аргуни, составляю-щей границу с китайскими владениями. <...> Все рудники занима-лись только извлечением серебристых и преимущественно серебри-сто-свинцовых руд, а заводы — выплавкою свинца и серебра»⁵⁶.

По описаниям очевидца, небольшое село Кадая располагалось в ложбине реки Борзи среди высоких сопок. При въезде бросалась в глаза широкая прямая улица. Справа возвышалась большая ска-листая сопка с постройками на склоне. На краю села несколько де-ревянных зданий, где жила администрация и охрана. Чуть подальше тянулись «длинные казарменного типа здания — вольной команды каторжан». Неподалеку от деревянных построек возвышалось двух-этажное здание, обнесенное высокой каменной стеной. Посреди двора — двухэтажная тюрьма «с узенькими окнами, защищенны-ми толстыми железными решетками. Входим в здание тюрьмы. На

первом плане по обе стороны коридора несколько узких одиночек; дальше идут общие камеры. Трудно представить, что здесь в одиночках можно было сидеть человеку. Сидел здесь Чернышевский и другие»⁵⁷. Сведения имеют ценность, но в этом тюремном здании Чернышевский не сидел. Сразу после лазарета его поселили в остроге, находившемся недалеко от шахты, где производились разработки серебряной руды. Сохранился рисунок этого домика, выполненный неизвестным польским ссыльным⁵⁸.

Примечания

¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 253–254 об. Сохранилась «Тетрадь на записку прихода и расхода собственных денег, принадлежащих преступнику Николаю Чернышевскому, отправленному из С.-Петербургской крепости в Тобольский приказ о ссыльных 20-го мая 1864 года». В ней восемь перенумерованных листов. На первом листе расписка секретаря Денежкина от 20 мая 1864 г. о выдаче жандармскому вахмистру Ионе Ильину трехсот руб., «принадлежащих преступнику Николаю Чернышевскому». На остальных расписки Чернышевского в получении за время следования до Тобольска: 21 мая – 5 руб., 24 мая – 1 руб., 26 мая – 1 руб., 27 мая – 10 руб., 1 июня – 4 руб. 50 коп. и еще 3 руб. 50 коп., 2 июня – 2 руб., 3 и 4 июня – 25 руб. Оставшиеся 248 руб. были сданы в Тобольский приказ о ссыльных для последующей выдачи их частями Чернышевскому.

Приведем также текст тобольской расписки: «Вещи, находившиеся в сак-вояже, были получены мною во время дороги и часть их израсходована мною; остальные же находятся у меня вместе с сак-вояжем; точно так же находятся у меня и вещи, бывшие положенными в сак-вояз, и чемодан, все, как показано в описи. 6 июня 1864. Н. Чернышевский. Тобольск» (РГИА. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 109. Л. 31, 32).

² Об отношении А.А. Суворова к Чернышевскому см.: Научная биография (1859–1864).

³ Чернышевский в Сибири (1969). С. 65.

⁴ См.: *Лебедев В.К., Розенберг Э.И.* Н.Г. Чернышевский и «нижние чины» Петропавловской крепости // Русская литература. 1982. № 3. С. 172–175.

⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. VIII.

⁶ Там же. С. VIII.

- ⁷ РГАЛИ (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 6 (Рукописные копии из ГАТО, заверенные в 1935 г. сотрудниками Тобольского архива. Ф. 152. Д. 3).
- ⁸ Макаренко Я. Новые документы о Чернышевском // Правда. М., 1941. 13 февраля. № 43. С. 4. Перепечатано: Чернышевский в Сибири (1969). С. 65–66. В: обоих изданиях текст документа воспроизведен неточно. Цит. по архивному источнику: РГАЛИ (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 7.
- ⁹ РГАЛИ (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 8.
- ¹⁰ Воспоминания (1982). С. 291.
- ¹¹ Стахевич С.Г. Материалы для биографии Чернышевского // Закаспийское обозрение. 1905. № 237; Н.Г. Чернышевский. 1828–1928. Сб. статей, докум. и воспом. М., 1928. С. 59.
- ¹² Казаринов С.А. Побег Бакунина из Сибири // Исторический вестник. 1907. № 12. С. 869.
- ¹³ См.: Чернышевская-Быстрова Н.М. Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: Библиографический указатель // Литературные беседы. Саратов. 1930. Вып. II. С. 208.
- ¹⁴ РГАЛИ (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 2, 3, 6.
- ¹⁵ Там же. Л. 11.
- ¹⁶ Вегман В. Н.Г. Чернышевский на этапном пути: Неопубликованные архивные документы // Сибирские огни. 1934. № 3. Май–июнь. С. 195–196. Цит. по архивному источнику: РГАЛИ (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 9–10.
- ¹⁷ Сибирские огни. 1934. № 3. С. 197. Текст документа с небольшими искажениями перепечатан в работах: Багаутдинов А.З. Н.Г. Чернышевский по дороге на каторгу // Вопросы истории. 1963. № 5. С. 214; Чернышевский в Сибири (1969). С. 69.
- ¹⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 188–189.
- ¹⁹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. X.
- ²⁰ Багаутдинов А.З. Н.Г. Чернышевский на каторге (Усолъе – Кадая. 1864–1866 гг.) // Записки Иркутского областн. краеведч. музея. Сб. статей и мат-ов. Иркутск. 1965. С. 24.
- ²¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. № 230. Ч. 26. Л. 264.
- ²² Чернышевский в Забайкалье. С. 52.
- ²³ Багаутдинов А.З. Н.Г. Чернышевский на каторге... С. 25. См. также: Чернышевский в Сибири (1969). С. 74.
- ²⁴ Чернышевский в Забайкалье. С. 11.
- ²⁵ Чернышевский в Сибири (1969). С. 73.
- ²⁶ Виленский-Сибиряков Вл. Нерчинская каторга времен Чернышевского // Каторга и ссылка. 1933. Кн. 9 (106). С. 88–89.

- ²⁷ Там же. Однако текст документа и его местонахождение воспроизведены здесь не совсем точно. Цитируем по первоисточнику: ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 42. Д. 58. Л. 4.
- ²⁸ Чернышевский в Сибири (1969). С. 72.
- ²⁹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1772. Д. 132. Л. 3 об., 7.
- ³⁰ Воспоминания (1982). С. 531.
- ³¹ См.: Научная биография (1859—1864). Раздел «Майские пожары. Разгул репрессий»).
- ³² Жуков И.Г. Воспоминания шестидесятника // Литературный Саратов. 1947. Кн. 8. С. 249.
- ³³ Радзиловский Ф.Н. Места каторги Чернышевского в рисунках польских политических ссыльных 1860-х годов // ЛН. 1959. Т. 67. С. 156 (остров Варничный с опиской поименован Барничным).
- ³⁴ Там же. С. 154.
- ³⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. X, XV, XVI. Эти сообщения ошибочно связаны здесь с пребыванием Чернышевского в Кадае.
- ³⁶ Высочайшим приказом от 19 апреля 1864 г. генерал-губернатором Восточной Сибири с 14 мая того же года назначен М.С. Корсаков (ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1479. № 621. Л. 1—2). Генерал-майор К.Н. Шелашников занимал должность председательствующего в Совете Главного Управления Восточной Сибири. 13 июля 1864 г. Шелашников в отсутствие Корсакова исполнял его должность (ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. Общ. Д. 6804. Л. 2).
- ³⁷ Чернышевский в Забайкалье. С. 87.
- ³⁸ Там же. С. 79.
- ³⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 263. См. также: Стеклов Ю. Вокруг ссылки Н.Г. Чернышевского // Каторга и ссылка. 1927. № 4 (33). С. 186—187.
- ⁴⁰ То есть отправляется на каторгу без семьи.
- ⁴¹ 2 аршина и $5\frac{1}{2}$ вершков составляли 166,2 см.
- ⁴² Получен в детстве от раздраженного индюка.
- ⁴³ Чернышевский в Забайкалье. С. 13, 83:
- ⁴⁴ Там же. С. 88.
- ⁴⁵ Там же. С. 86—87.
- ⁴⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 189.
- ⁴⁷ Чернышевский в Забайкалье. С. 85.
- ⁴⁸ Там же. С. 55, 85, 88—89; Багаутдинов А.З. Н.Г. Чернышевский на каторге... С. 27.
- ⁴⁹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1774. № 150.
- ⁵⁰ Впервые воспроизведен в кн.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 189. Однако здесь этот чертеж ошибочно отнесен

М.Н. Чернышевским к планам помещений Александровского завода. Существующее указание на переезд Чернышевского в это здание осенью 1864 г. (см.: Чернышевский в Сибири (1969). С. 82) ошибочно.

⁵¹ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. общ. Д. 765. Л. 38–38 об.

⁵² ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. К. 1447. Д. 123. Л. 15, 23.

⁵³ Чернышевский в Сибири (1969). С. 82.

⁵⁴ ЛН. Т. 67. С. 149.

⁵⁵ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. общ. Д. 935. Л. 6, 7.

⁵⁶ Львов Ф.Н. Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного // Современник. 1862. № 1. С. 214.

⁵⁷ Сибиряк. Где отбывал ссылку Чернышевский // Восточный Забайкалец. 1928. № 80.

⁵⁸ См.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 4, 189.

2. Встречи и знакомства

Имена сокаторжников Чернышевского по Кадаинскому руднику давно опубликованы¹. Установить, с кем из них у него были близкие отношения, трудно, за некоторым исключением, но и выявленные встречи и знакомства дают представление о его ближайшем окружении в 1864–1866 гг.

На первое место должно быть поставлено имя Михаила Ларионовича (Илларионовича) Михайлова.

Сосланный в 1861 г. на шесть лет, Михайлов первое время находился в Казаковском прииске Нерчинского округа, где он жил у своего брата, горного инженера П.И. Михайлова. Весной 1862 г. после доноса в Третье отделение о послаблениях Михайлову его перевели сначала в Зерентуевский, а затем в Кадаинский рудник². Здесь-то и произошла встреча Чернышевского со своим давним товарищем по Петербургскому университету и сотрудничеству в «Современнике»³. Судьба распорядилась так, что они встретились в первый же день пребывания Чернышевского на кадаинской земле: 4 августа 1864 г. его поместили в лазарет, где в это время находился и Михайлов. Это обстоятельство засвидетельствовано документально. В «Ведомости о политических и государственных преступниках, находящихся при рудниках Нерчинского Горного округа за август месяц 1864 года» помечено, что оба числятся «в лазаретном отделении для лечения». То же повторено и в «Ведомости» за сентябрь⁴. В «Списке о требовании жалования служащим рабочим и больным людям при Кадаинском

лазаретном отделении», подписанном старшим лекарским учеником Ракитиным, имена Чернышевского и Михайлова названы также в октябре, ноябре и декабре 1864 г. (в месяц на каждого больного расходовалось 41 руб. $\frac{3}{4}$ коп.)⁵. Вместе с ними все эти месяцы до 15 ноября в лазарете находился Эдуард Бонгард, участник Польского восстания 1863 г.⁶ В февральской 1865 г. «Ведомости находящихся на излечении» Чернышевский не значится⁷. Точной датой выписки Михайлова из лазарета мы не располагаем, но, согласно архивным данным, 18 февраля 1865 г. он был освобожден из тюремного заключения с дозволением жить на частной квартире⁸. Таким образом, с полной уверенностью можно утверждать, что первые шесть месяцев жизни Чернышевского в Кадае прошли в непосредственном контакте с Михайловым⁹.

Один из первых биографов Чернышевского Е.А. Ляцкий дал следующую характеристику их отношений в сибирский период: «Чернышевский встретился с ним холодно и, сколько нам известно из воспоминаний очевидцев, не сделал попытки сблизиться с ним, как в старину. Причина этого охлаждения неизвестна», «возможно, что Чернышевский боялся проявлением своей близости к Михайлову нанести ему какой-либо вред»¹⁰. Биограф не указал, какие именно «воспоминания очевидцев» имелись в виду. Но это наверняка были сообщения Л.Ф. Пантелеева, утверждавшего со слов кого-то из поляков, что «отношения Чернышевского и Михайлова на каторге поражали не то холодностью, не то какой-то натянутостью». Причину Л.Ф. Пантелеев усматривает «в усвоенном Чернышевским правиле и на каторге показывать вид, что с Михайловым у него никогда не было никаких близких, а тем более интимных отношений, как это он утверждал на следствии и в сенате, отвергая показания Костомарова, обличавшие Николая Гавриловича, что через Михайлова начались переговоры о печатании прокламаций»¹¹. Сдержанность Чернышевского в разговорах о Михайлове отмечал и С.Г. Стахевич. «О своих петербургских отношениях к Михайлову Николай Гаврилович ничего не рассказывал», — свидетельствовал мемуарист. Что же касается их совместной жизни в Кадае, то Чернышевский поведал Стахевичу лишь о некоторых работах Михайлова, в том числе о задуманных им картинах из жизни доисторического человека¹².

Не принимать во внимание столь единодушных утверждений очевидцев нельзя. Однако необходимо иметь в виду, что подобная отчужденность явно демонстрировалась обоими на людях, так как оба прекрасно понимали, насколько они усложнили бы свое положение политических преступников, если бы кадаинское начальство сообщило об их дружеской близости в Петербург. Нет никаких ос-

нований выдвигать иные обстоятельства в пояснение рассматриваемого факта. Основу их взаимоотношений в Кадае несомненно составляло глубокое уважение друг к другу, давнее знакомство и родство душ, близость общественных позиций, наконец одинаковость условий сибирской каторги.

Наиболее свободным и открытым их общение могло быть во время, проведенное в лазарете. Тогда-то, вероятно, Михайлов и делился с Чернышевским своими литературными планами. В Сибири Михайлов продолжал сочинять стихи, составил мемуарные записки о своем аресте и дороге в Сибирь, написал «Сибирские очерки», в которых изобразил судьбы попавших на каторгу простых людей из народа, начал большой роман «Вместе», раскрывающий идею преемственности поколений тех, кто не мирился с самодержавием, читал Чернышевскому главы из беллетристических очерков «За пределами истории» о начальном периоде развития человечества¹³.

Архитектор Нерчинских заводов И.В. Барашев вспоминал, что он видел у Чернышевского и Михайлова, находившихся в лазарете, рукопись забайкальского поэта Ф.И. Бальдауфа, которую Барашев прежде читал у ссыльного доктора Антона Бопре¹⁴. Федор Иванович Бальдауф (1800–1839) был автором романтических поэм «Авван и Тайро» («Тунгусская повесть»), «Шаманка», многих стихотворений, эпиграмм, двух повестей «Горный дух» и «Кавита и Тунгульби», сатирической комедии «Хитрый жених»¹⁵.

«Литературное творчество Михайлова, по словам Чернышевского, – свидетельствовал товарищ Чернышевского по Александровскому заводу И.Г. Жуков, – с поразительной силою проявлялось по утрам, когда они садились к чаю. Вооружившись полотенцем и перетирая стаканы, Михайлов начинал импровизацию на какую-либо тему; многие стихотворения, попавшие впоследствии в печать, были продуктом этого времени»¹⁶. Правдивость сообщений Жукова не умаляет и допущенная им ошибка. «Чернышевский, – утверждал он, – жил с Михайловым в Кадае в одной камере». Впрочем, это даже не ошибка, а неточность, не очень значительная и вполне допустимая, поскольку Чернышевский действительно жил вместе с Михайловым довольно продолжительное время в кадаинском лазарете.

Предметом их бесед была, разумеется, не одна литература. Они конечно же говорили также о недавних своих судебных процессах и о гнусной роли В. Костомарова в них. По мнению Чернышевского, Михайлов в свое время доверял В. Костомарову больше, чем следовало бы, и не внял предупреждениям. «Однако, – говорил Чернышевский позднее, – последствия показали, что я был прав»¹⁷.

В этих словах позволительно видеть и глухой намек на совместное с Михайловым обсуждение действий и показаний В. Костомарова.

1 июля 1865 г. Михайлов снова попадает в лазарет, 3 августа он умер¹⁸. «По словам поляков, находившихся в Кадае, — вспоминал И.Г. Жуков, — последние минуты Михайлова произвели настолько удручающее впечатление на Чернышевского, что он, невзирая на часовых <...> бросился в больницу, чтобы обнять друга в предсмертной агонии. Но ему не удалось его застать живым: он нашел лишь бездыханное тело, которое и обнял». Тот же Жуков свидетельствовал, что «не без волнения» Чернышевский рассказывал о жизни Михайлова, «с которым связывало его чувство глубокой симпатии»¹⁹.

По воспоминаниям Людовика Заленки (при аресте он выдал себя за австрийского подданного Адольфа Янковского и под этим именем с конца 1864 г. проходил кадаинскую каторгу), Михайлов был похоронен на скале рядом с могилами двух поляков, повстанцев 1831 г., и могилой гарибальдийца Кароли. Скала эта северной своей стороной «упирается в две сросшиеся между собой, как близнецы, высоко вздымающиеся горы, которые соединяются гранитной скалой, достигающей половины их высоты. Так гармонично это божественное строение, — писал Заленка, — и так возвышенно прекрасна эта суровая и нагая природа, что человек невольно склоняет голову и смиряется перед величием Божиим»²⁰.

Одновременно с Чернышевским и Михайловым в лазарете до 15 ноября 1864 г. находился Эдуард Иванович Бонгард. В «Статейном списке» он указывался «швейцарским подданным», ему было 32 года. В Сибирь попал на 12 лет за революционную деятельность в пользу поляков. В Кадае с Чернышевским он пробыл до 29 апреля 1866 г., затем отправлен в Читу²¹. В мемуарной литературе существует рассказ, согласно которому Бонгард, задумав с Михайловым побег, взял у него деньги и не вернул их, добившись перевода в другое место, тем самым он лишил Михайлова всякой надежды на освобождение и ускорил его смерть²². Между тем Бонгарда отправили из Кадаи уже после смерти Михайлова, и одно это лишает весь рассказ о его непорядочности всяких оснований²³. За неимением конкретных сведений, говорить об отношении Чернышевского к Бонгарду трудно. Известно лишь, что он обучал швейцарца русскому языку²⁴. Имя Бонгарда еще раз возникнет в некоторых документах вилюйского периода жизни Чернышевского.

Особую тему биографии Чернышевского в кадаинское двухлетие составляют его взаимоотношения с поляками и другими участниками движения 1863 г. Более подробные данные на этот счет содержатся в материалах, относящихся ко времени его пребывания в

Александровском заводе, но и в Усолье, где состоялось первое знакомство с деятелями Польского восстания, и в Кадае связи с ними в немалой степени определяли условия его жизни.

К сентябрю 1866 г. в Кадаинском руднике числилось до 118 поляков и их единомышленников²⁵. По большей части это были, свидетельствовал В.Г. Короленко, «люди простого звания», которые «каждый день уходили на работы в разрез». Об одном из них Короленко писал: «Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского. Его добродушие, постоянная серьезность и умение при случае говорить просто с простыми людьми приобрели ему общую симпатию, и они привыкли обращаться к нему за разрешением своих споров и недоразумений, которые так часты в этих тесных норах, где люди от тоски готовы нередко съесть друг друга, как мыши, попавшие в стеклянную банку, откуда нет выхода. И Чернышевский всегда с необычайным терпением входил во все мелочи подобных разбирательств. До него, говорил мне этот поляк, дело доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высекли одного из своих товарищей. При нем не повторялось ничего подобного»²⁶.

Имя одного из поляков Чернышевский назвал сам, набрасывая план комнат своего Кадаинского острога – «Семен Рафаилович Стецевич и его друзья». Стецевич происходил из дворян, служил лекарем, в Кадаинский рудник прибыл 1 ноября 1864 г. В одном списке с ним значилось 17 человек, из них в тюремном помещении на 20 января 1865 г. находились Эдмунд Верига, Феликс Гроховальский, Люциан Гофман, Юлиан Манко, Франц Михайловский, Карл Обромпольский, Генрих Пожерский, Иосиф Рожковский, Витольд Свеховский, Иван Стражемечный, Эдуард Толочко, Людвиг Шпырко, Леон-Леопольд Фаттер²⁷. Кто из них жил в одной камере со Стецевичем по соседству с Чернышевским, точно установить не удастся. Поляк Станислав Рыхлинский, дворянин Волынской губернии, поступивший в каторжные работы в июле 1865 г.²⁸, вспоминал о Чернышевском: «Мы никогда не видели его унывающим или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. “Вероятно, они там знают, за что сослали, а я не знаю”, – и затем отделялся каким-нибудь анекдотом или шуткой»²⁹.

Среди товарищей Чернышевского в Кадае – Эмилий Андреоли, француз, гарибальдиец, выступивший на стороне польских патриотов. В своих воспоминаниях «Записки военнопленного – Из Польши в Сибирь» он называл Чернышевского «другом» и, в частности, передал его рассказ о встретившемся однажды ему в пути на каторгу скряге и плуте, который обманом сумел выманить у него часть денег³⁰.

В Кадае Чернышевский знал еще одного гарибальдийца – Луи Кароли. Опубликована денежная расписка Чернышевского, в которой тот упомянут: «Л. Кароли остался должен мне пятьдесят пять рублей: тридцать, которые были взяты у жены, и двадцать пять, которые уплатил я за него Михайлову. 16 окт. 1865 г.». Прибавлено также, что от этих денег он, Чернышевский, отказывается в пользу своих товарищей-поляков³¹. Расписка дана в связи со смертью Кароли, в Кадае и похороненного.

Следует упомянуть еще об одной денежной истории, связанной с находившимся в Петровском заводе Иваном Яковлевичем Орловым. В октябре 1865 г. на имя Чернышевского пришло от него письмо с просьбой переслать 600 руб. и книги «первоначального детского чтения по естественным наукам». Прежде чем передать письмо Орлова адресату, забайкальское начальство велело запросить, с чем связана подобная просьба, тем более что закон запрещал арестантам выдавать такие деньги. В декабре пришло разъяснение (текст в архиве отсутствует), и нерчинский комендант получил предписание читинского генерала Н.П. Дитмара: «...Если преступник Чернышевский имеет и желает выслать Орлову такую сумму денег и книги, я со своей стороны не имею препятствий с тем, чтобы деньги 600 руб. не были выдаваемы Орлову сразу, а по частям на законном основании». В январе 1866 г. письмо Орлова передали Чернышевскому, который оставил на нем свой ответ. «Возвращая при сем к Вашему Превосходительству письмо политического преступника Орлова с надписью на оном государственного преступника Чернышевского, – рапортовал исполняющий должность нерчинского коменданта полковник Воронцов военному губернатору Забайкальской области генералу Дитмару, – имею честь уведомить, что Чернышевский на высылку денег и книг Орлову желания не изъявил». 4 февраля Иван Орлов расписался в прочтении ответа Чернышевского (подлинный текст его неизвестен)³².

И.Я. Орлов (1838–1902) был вольнослушателем Казанского университета. В 1863 г. его арестовали по делу о «казанском заговоре», приговорили к смертной казни, замененной 15 годами каторги³³. История с его письмом до сих пор остается не разъясненной. Возможно, его обращение к Чернышевскому связано с какими-то давними публикациями в «Современнике». Так или иначе, но выдвинутое биографами предположение о революционных связях Чернышевского с И.Я. Орловым в 1861–1862 гг. и об отказе Чернышевского из опасения открыть эти связи³⁴ не подкреплено источниками и не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь серьезной версии.

Тесные отношения установились у Чернышевского с Андреем Красовским, бывшим полковником. Эти отношения, длившиеся в Кадае около девяти месяцев, получили продолжение после перевода обоих в Александровский завод и будут нами детальнее рассмотрены в соответствующем месте нашей книги.

Вскоре после смерти М.И. Михайлова в Кадаю приехал по служебным делам какой-то военный, имевший отношение к корпусу инженеров. О своей встрече с Чернышевским он рассказал во французской газете «Le Caulois» от 30 сентября 1881 г., подписавшись псевдонимом «Nitchewo» («Ничево»). Имя автора неизвестно до сих пор. Свою статью он послал Чернышевскому в Вилюйск, и это обстоятельство подкрепляет достоверность переданных им сведений. В Якутске статью задержал тамошний губернатор, и в руки Чернышевского она не попала. «Войдя в камеру Чернышевского, — писал автор, — я застал его за игрой в шахматы с одним из трех его товарищей по заключению, из которых ни один не был русским. <...> Шахматная доска была грубо вырезана ножом на столе, а шахматы были сделаны из хлебного мякиша. Но видно было, что эти шахматы занимают и увлекают не хуже сделанных из слоновой кости и черного дерева». «Слабого здоровья, хилый и хрупкий, — прибавлял анонимный автор о Чернышевском, — он не отбывал каторжных работ и не носил цепей». Воспользовавшись моментом, когда сопровождавшие приехавшего офицер и архитектор вышли из камеры ненадолго, он решился «выполнить взятое на себя поручение и вручил Чернышевскому пачку ассигнаций и сверток золотых монет. Часть присланного, — пояснял автор воспоминаний, — исходила от его петербургских друзей, другая — представляла собою его заработок от писания романов». «Теперь, когда Некрасов уже умер, — продолжал мемуарист, — я могу сказать, что многие повести, напечатанные в его журнале “Дело”, были написаны Чернышевским, который пересылал их в Петербург через доверенных лиц, вроде меня». Сразу скажем, что сообщение о напечатанных повестях совершенно ненадежно. К журналу «Дело» Некрасов отношения не имел, но и в «Современнике» за истекший год со времени прибытия Чернышевского в Сибирь не появилось ни одного произведения, которое можно было бы считать принадлежащим перу Чернышевского. «Золото, — объяснял автор, — было послано на случай, если бы ему удалось бежать в Китай»³⁵. Если факт передачи денег и золота имел место (во всяком случае, его трудно оппорить), то, без сомнения, Чернышевский передал все ценности жене, вскоре приехавшей в Кадаю.

Примечания

- ¹ См.: Чернышевский в Забайкалье. С. 92, 94–99, 105–114.
- ² *Фатеев П.С.* Михаил Михайлов – революционер, писатель, публицист. М., 1969. С. 329–337.
- ³ Об этом периоде их знакомства подробнее см.: Научная биография (1828–1858), разделы «На пути в столицу. Первый год в Петербурге», «Последний учебный год. После университета», «Приезд в Саратов», «Начало пути в журналистике» См. также: Н.Г. Чернышевский и М.Л. Михайлов в Забайкалье: Избр. страницы / Авт.-сост. П.И. Шепчугов. Владивосток, 2013. 80 с.
- ⁴ Чернышевский в Забайкалье. С. 90–91.
- ⁵ ГАЧО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 3355. Л. 376, 377, 453, 490, 543, 614.
- ⁶ Там же. Л. 543.
- ⁷ Чернышевский в Забайкалье. С. 57.
- ⁸ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 20.
- ⁹ Приведем некоторые данные «Статейного списка» М.Л. Михайлова: «Рост 2 аршина 5 $\frac{1}{2}$ вершков. Волосы на голове, бровях, усах, бороде черные. Глаза мутные. Нос прямой. Рот малый. Зубы ровные. Лицо смуглое, морщинегато-худошавое, лоб морщиноват» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 42. Д. 58. Л. 135).
- ¹⁰ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XIV.
- ¹¹ Воспоминания. (1982). С. 232. О показаниях В. Костомарова на процессе Чернышевского см.: Научная биография (1859–1864), раздел «Главное обвинение».
- ¹² Воспоминания. (1982). С. 351.
- ¹³ См.: *Гайдук В.* М.Л. Михайлов в Сибири // Литературная Сибирь. Критико-библиографический словарь писателей Восточной Сибири: В 2 т. / Научн. ред. В.П. Трушкин. Иркутск. 1986. Т. 1. С. 103–105.
- ¹⁴ *Петряев Е.Д.* Люди и судьбы. Чита. 1956. С. 47, 48; *Сухорукова Г.Е.* Н.Г. Чернышевский в Забайкалье // Литература и фольклор Забайкалья (Краеведческий сб. в помощь учителю). Иркутск. 1975. Вып. 1. С. 26.
- ¹⁵ *Кудрявцев Ф.* Ф.Н. Бальдауф // Литературная Сибирь. Т. 1. С. 78–81.
- ¹⁶ *Жуков И.Г.* Воспоминания. С. 252.
- ¹⁷ Воспоминания. (1982). С. 395.
- ¹⁸ Чернышевский в Забайкалье. С. 58.
- ¹⁹ *Жуков И.Г.* Воспоминания. С. 252.
- ²⁰ *Заленка Л.* Михайлов и могилы в Кадае / Публикация Ю.Д. Левина // Из истории русско-славянских литературных связей

XIX в. М.; Л., 1963. С. 145, 149. В связи с болезнью Михайлова Заленка вспоминает ссыльных врачей-поляков Пашковского и Стецевича.

²¹ Чернышевский в Забайкалье. С. 27, 60.

²² Воспоминания. (1959). Т. 2. С. 120.

²³ Там же. С. 148.

²⁴ Чернышевский в Сибири (1969). С. 86.

²⁵ Чернышевский в Забайкалье. С. 105–108.

²⁶ Воспоминания. (1959). Т. 2. С. 301–302.

²⁷ Чернышевский в Забайкалье. С. 56, 92.

²⁸ Там же. С. 98.

²⁹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 302.

³⁰ *Кубалов В.Г.* Из сибирских встреч Н.Г. Чернышевского // Исторический архив. 1961. № 3. С. 283–284.

³¹ Чернышевский в Сибири (1969). С. 88.

³² Чернышевский в Забайкалье. С. 102–103.

³³ *Козьмин Б.П.* Казанский заговор 1863 г. М., 1929.

³⁴ Чернышевский в Забайкалье. С. 31–32.

³⁵ *Алексеев Н.А.* Свидание с Н.Г. Чернышевским в Кадае в 1865 г. (с французского) // Каторга и ссылка. 1930. Кн. 1. С. 162–164. Здесь сообщается, что редактором газеты, опубликовавшей воспоминания «Ничево», был И. Цион, бывший профессор Петербургской Медико-хирургической академии, оставивший науку и поселившийся во Франции в качестве агента русского правительства. Можно предположить провокационный характер публикации, содержащей рассуждения об устройстве побега Чернышевского. Представление статьи правительству последствий не имело, и якутский губернатор не придавал ей значения.

3. Приезд жены с сыном

Характеристика кадаинского периода жизни Чернышевского значительно затруднена почти полным отсутствием такого важного биографического источника, каким являются его письма. От этих двух лет до нас дошли всего два письма – от 19 апреля 1865 г. и 1 июля 1866 г., вместо полагающихся восьми, если помнить, что по установленному правилу ссыльнокаторжные могли посылать родственникам одно письмо в три месяца (четыре письма в год). Архивные и другие материалы сохранили следы существования пропавших писем Чернышевского. Так, 24 августа 1864 г. заведующий

Кадаинским рудником А.Е. Кноблех представил исправляющему должность Горного начальника Эйхвальду «письмо от государственного преступника Николая Чернышевского, следующее в Петербург»¹. 19 декабря 1864 г. Евг.Н. Пыпина сообщала в Саратов: «От него мы имели еще недавно письмо. Описывает свое положение довольно хорошим. Одно только — даль». Спустя десять дней А.Н. Пыпин подтверждал: «От Николи мы получаем сведения»². А вот объяснение Чернышевского в письме к жене от 19 апреля 1865 г.: «Я не писал тебе довольно долго только потому, что не было случая писать; и следующего письма не жди от меня раньше трех месяцев» (XIV, 491). Выходит, он писал в январе или феврале 1865 г. и наверняка через три месяца после 19 апреля, т.е. примерно во второй половине июля. В рапорте жандармского майора Купенкова из Иркутска в Третье отделение от 29 апреля 1866 г. среди перечисленных адресатов значилось под № 149: «Ивану Терсинскому с передачею Ольге Чернышевской»³.

Е.А. Ляцкий утверждал, что письма «были сожжены, по словам Ольги Сократовны, в одну тревожную ночь, когда родные Чернышевского ждали обыска»⁴. К «родным Чернышевского» относилась и сама Ольга Сократовна, но сообщение Е.А. Ляцкого почему-то принято относить на счет одних Пыпиных. Это они-де уничтожили письма из Сибири после каракозовского выстрела, ожидая обыска в дни правительственного террора⁵. Мы не разделяем подобного утверждения. Помимо этих писем Пыпины располагали многими автографами Чернышевского, которые ими не были уничтожены ни в 1866 г., ни позже. Трудно также предположить, что иные из этих писем, как полагал Е.А. Ляцкий, не доходили до родных⁶. Из сообщений Пыпиных в Саратов, приводимых тем же Е.А. Ляцким, с очевидностью следует факт получения ими корреспонденции из Кадаи. Да и сам Чернышевский не давал властям повода к задержанию писем. Обычно, по архивным данным, письма политических ссыльных запрещались к пересылке, если в них содержались недозволенные сообщения, касающиеся, например, волнений на рудниках и заводах, зачеркивались строки с неуместными выражениями по поводу время от времени объявлявшихся монарших милостей, уничтожались фотографические карточки⁷.

Основная тема письма от 19 апреля — полученное от жены известие о намерении приехать в Кадаю. «Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна; ты знаешь, — писал Чернышевский, — я всегда принимаю за наилучшее решение — то, на котором ты остановишься; но умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути» (XIV, 490). Как видим, Николай Гаврилович в принципе

не возражает против приезда жены, он лишь предупреждает о трудностях поездки, и нет оснований думать, будто «его пугала мысль, что посещение Ольги Сократовны разрушит то идиллическое представление о его жизни в Кадае, которое он старался внушить ей и близким»⁸. И потом — речь все же шла о временном свидании с женой, а не о ее переезде в Сибирь на жительство.

Первый документ, относящийся к приезду О.С. Чернышевской в Кадау, датирован 16 декабря 1865 г. Этим числом помечено ее прошение к Петербургскому военному генерал-губернатору князю А.А. Суворову о выдаче ей разрешения на проезд в Восточную Сибирь и обратно для свидания с мужем⁹. Как свидетельствуют источники, она не сразу решилась на этот шаг. Вот как передает разговор с ней иркутский купец Н.Н. Пестерев, явившийся к ней летом или осенью 1865 г.: «Она думала, что я привез ей известие от мужа, но я сам спрашивал о нем и предложил ей свои услуги. <...> Не думает ли она поехать к мужу, что я в таком случае могу быть ей полезен. “Я бы поехала, да далеко, дорого, я и больная вся; без доктора куда, да и Николай Гаврилович особенно не желал, чтобы я приехала к нему, что мне там беспокойно будет”. — “А как там он без вас соскучится да вздумает уйти? И это болтают”. — “Э, это-то вздор! Николай Гаврилович не такого характера, чтобы решился уйти. Он не за себя побоится, а ни за что не решится подвергнуть ответственности кого бы то ни было. Но я бы поехала, если бы было с кем”. — “Я вам сыщу попутчика, даже доктора. До Иркутска он вас проводит, а там уже не так далеко. Хотите пришло?” — “Пожалуй”. И я рекомендовал доктора Павлинова, моего земляка»¹⁰.

Приход Пестерева к О.С. Чернышевской был связан с задуманным им планом освобождения Чернышевского. Подобное намерение возникло у него после бесед с русскими эмигрантами и Герценом в мае 1864 г. «Пусть приедет Чернышевский, я с руками передам ему станок. А что, ведь от вас уйти можно? Бакунин ушел же?» — говорил Герцен Пестереву¹¹. Все эти беседы Пестерев передал в виде официальных показаний после его ареста в 1866 г. и обвинения в попытке освобождения Чернышевского. Опубликовавший впервые показания Пестерева В.Н. Шульгин полагал, что О.С. Чернышевская была направлена Пестеревым в Сибирь с целью освободить Чернышевского¹². Это утверждение основывается на предвзято истолкованных материалах. Намерение освободить Чернышевского у Пестерева, вероятно, было, но разговор с О.С. Чернышевской показал ему, насколько нереальным было бы привлечение жены сосланного писателя к выполнению плана. Скорее всего, Пестерев надеялся получить от Ольги Сократовны и сопровождавшего ее

доктора Павлинова необходимую информацию, чтобы позднее воспользоваться сведениями о местоположении кадаинского узника и условиях его охраны.

А.А. Суворов дал разрешение на поездку. Ольга Сократовна решила взять с собой Михаила, младшего сына, «так как старший мой брат, — объяснял впоследствии М.Н. Чернышевский, — учился уже в то время в гимназии»¹³. В начале мая 1866 г. выехали из Петербурга. «Насколько осталось у меня в памяти, — вспоминал Михаил, — ехать было очень удобно: тарантас чудный, дороги прекрасные, лошади великолепные», «до Иркутска мы ехали вначале благополучно, без всяких неприятностей и задержек»¹⁴.

В Иркутск прибыли 18 июня¹⁵, и здесь последовала остановка, продлившаяся почти два месяца. В «Летописи жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского» указано, что 27 июня О.С. Чернышевская подала прошение «иркутскому губернатору К. Шелашникову о разрешении свидания с мужем»¹⁶. Здесь две неточности. Во-первых, К.Н. Шелашников в ту пору не был иркутским губернатором, а занимал должность Председательствующего в Совете Главного управления Восточной Сибири. Во-вторых, трудно объяснить, почему свое прошение Ольга Сократовна подала спустя десять дней после приезда. Она наверняка сделала это раньше, потому что 24 июня исправляющий должность иркутского губернатора, к которому обратилась О.С. Чернышевская, получил от К.Н. Шелашникова директиву за № 648, которая и была ей объявлена на следующий день. «...Временное свидание ее с мужем, на основании Высочайших повелений, — писал генерал, — не может быть дозволено, если же она пожелает следовать к мужу своему в нерчинские заводы, то должна оставаться навсегда в Сибири (до смерти мужа)». Далее сообщалось, что в случае ее согласия остаться с мужем на нее немедленно распространяются все ограничения для жен государственных преступников: жить с мужем сможет только при условии, если дозволит помещение, не имеет права иметь прислуги, а «с помещением вне острога может иметь свидание с мужем в остроге не более как чрез два дня один раз и то с видом надлежащих властей»⁴⁷. Генерал опирался на постановления, существовавшие еще со времен декабристов.

Ольге Сократовне, встретившей столь сильные препятствия к свиданию, ничего не оставалось, как обратиться к высшим столичным инстанциям. 26 июня она пишет «Докладную записку» на имя шефа Третьего отделения графа П.А. Шувалова, ссылаясь на разрешение, полученное прежде от князя А.А. Суворова. «В этой уверенности, хотя я и не пользуюсь хорошим здоровьем, — писа-

ла она, — но все-таки предприняла поездку с малолетним сыном моим в столь отдаленный край», «слабое мое здоровье решительно не позволяет иметь постоянное жительство в суровом сибирском климате, но проехав почти 5 т<ысяч> верст и будучи у самого места заключения мужа моего, грустно было бы ехать обратно, не увидевшись с ним». В заключение следовал абзац, наверняка подсказанный Ольге Сократовне кем-то из опытных чиновников: «Я согласна, чтобы во время пребывания моего в заводе учрежден был за мной должный надзор и чтобы свидание мое с мужем было в присутствии нерчинского коменданта и разговоры мои с мужем во время свидания происходили на русском языке»¹⁸. Уже на следующий день, 27 июня 1866 г., К.Н. Шелашников в официальном письме за № 657, адресованном тому же П.А. Шувалову, изложил мотивы, по которым О.С. Чернышевской было отказано в свидании, а также подробно и точно передал содержание ее докладной записки от 26 июня¹⁹. На донесении сибирского генерала шеф Третьего отделения наложил резолюцию: «Подобные разрешения даваемы не были»²⁰. Однако прежде чем распорядиться о составлении ответа К.Н. Шелашникову, П.А. Шувалов решил все же, не усложняя отношений с влиятельным А.А. Суворовым, переговорить с последним. 30 июля содержание иркутского донесения докладывалось царю. Просьбу жены Чернышевского решили уважить, и 31 июля шеф жандармов отдал распоряжение в телеграмме с разрешением на свидание. Телеграмму на имя К.Н. Шелашникова подписал 2 августа управляющий Третьим отделением Н.В. Мезенцов: «Свидание разрешить на ваших условиях. Жандармскому офицеру сопровождать Чернышевскую, не допустив никаких сообщений письменно или словесно»²¹. Судя по отметке на телеграмме, в Иркутске она получена 9 августа, и на следующий день Шелашников разослал по инстанциям ряд распоряжений. Исправляющему должность иркутского губернатора предписывалось «свидание разрешить в течение не более 5 дней», а прогонные деньги для сопровождавшего О.С. Чернышевскую офицера отнести на ее счет. Начальнику жандармов И.Г. Яковенко приказывалось предупредить этого офицера, чтобы он перед самым выездом О.С. Чернышевской из Иркутска произвел «пересмотр ее вещей и бумаг, которые она возьмет с собой» и тем самым предупредил передачу государственному преступнику «чего-либо недозволенного»²².

12 августа 1866 г. О.С. Чернышевская с сыном в сопровождении жандармского штабс-капитана Хмелевского выехала из Иркутска, 23 августа они приехали в Кадаинский рудник. На пятый день, 27 августа, в 7 часов утра, как следует из рапорта нерчинского комен-

данта полковника Воронцова, они были отправлены в Иркутск²³. О крайнем раздражении Ольги Сократовны всеми предшествовавшими событиями свидетельствует донесение штабс-капитана Хмелевского, которое он представил начальству по возвращении в Иркутск 11 сентября. Текст донесения сохранился в подробном пересказе его жандармским полковником В.А. Дувингом, отправившим свой доклад в Петербург 13 сентября за № 139. Приведем эту часть документа с сохранением всех особенностей его стиля: «...Когда они стали выезжать из ворот квартиры ее из Иркутска, увидев стоящих на крыльце квартиры ее меня и полицеймейстера, сказала: “Вот черти, так и стоят и отправляют меня, как преступницу, под конвоем”, что она на это будет жаловаться в Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, что с нею так поступают. Во время пути Чернышевская говорила ему, что, проживая в Иркутске, она ходила в сад гулять, что генерал-лейтенант Шелашников приказал следить за нею 2 казакам и частному приставу, и когда Хмелевский сказал ей на это, что за нею не следили, она ответила ему с дерзостью: “Знаю вас, шныров”, что она больна и что с нею нет прислуги, на что он сказал ей, что отчего же она не взяла с собою девушку, которая могла бы служить ей, на что она с дерзостью возразила, что ваше наставление для меня презрительно, и, обращаясь опять к нему с вопросом, почему ей не позволили ехать с доктором Павлиновым, с которым приехала из Москвы и которому она заплатила, называя его при этом своим другом и нянькою, ей потому не позволили ехать с Павлиновым, что губернатор здесь живет чужим умом, и что когда она приедет в Петербург, будет жаловаться, то просьба ее будет уважена и Шелашников слетит с места, на что Хмелевский заметил ей строгость ее к начальству, на что она ему сказала, что и вы берегитесь, а то и вас раскрашу хуже черной краски, запретив ему при этом курить в повозке и на станциях, причем еще присовокупил, что на одной из станций он перед обедом выпил рюмку водки, она тотчас же закричала: “Вот черт возьми, чего еще доставало — терпеть не могу пьянство”, причем она запретила ему пить водку, на что он возразил: “Вы кушаете херес, я ничего вам не говорю и даже в уважении к вам оставил курить в присутствии вашем”, она плюнула и сказала, что убирайтесь к черту, фискал»²⁴. На документе надпись Мезенцова: «Где Чернышевская теперь?» И ниже приписка кого-то из чиновников Третьего отделения: «Выехала 14 числа сентября из Иркутска в Москву с доктором Павлиновым»²⁵.

Источников, относящихся непосредственно к встрече Чернышевских в Кадае, сохранилось немного. На первое место

нужно поставить ретроспективные высказывания самого Чернышевского, встречающиеся в его письмах. Конечно, Ольга Сократовна сразу же пожаловалась на пренебрежительное отношение иркутских властей. «Думаю, что ты уже нашла силу и снова стать выше огорчений, которые присоединялись к твоей болезни», — писал он ей 31 марта 1867 г., призывая быть «твердою и, по возможности, веселою» (XIV, 492). К этим «огорчениям» присоединялись и более мелкие, возникавшие во время долгой поездки и имевшие для Ольги Сократовны особое значение, как имело значение все относящееся лично к ней и к быту. Об одном из таких случаев Чернышевский мягко и тактично напомнил в письме от 2 октября 1866 г. Рассказывая, что на одном из перегонов на пути в Александровский завод его вез тот же ящик, который в августе вез и ее, Чернышевский прибавлял: «Я заплатил ему прогоны, которые оставались не заплачены тобою: я помнил, что ты говорила, что ты перестала сердиться на него за порчу твоего тарантаса» (XIV, 491). В 1870 г. в связи с новыми обещаниями приехать к нему Чернышевский писал из Александровского завода, чтобы на этот раз она запаслась такими бумагами от властей, которые сохраняли бы к ней «должную почтительность». В другом письме, посланном шесть лет спустя уже из Вилюйска, он настоятельно советовал не предпринимать поездки «с такими недостаточными гарантиями, как в 1866 году» (XIV, 501, 523).

При встрече с мужем Ольга Сократовна наверняка отвечала на его расспросы о Пыпиных, и она, не умея наладить с родственниками добрые отношения, в чем-то пожаловалась на них. Отголоском этой темы их бесед можно считать строки из письма Чернышевского к А.Н. Пыпину из Вилюйска 8 марта 1875 г.: «“Ольга Сократовна жаловалась тебе на нас”, — пишешь ты. Конечно. Тот раз, к которому прицепился я, был пятьдесят первый или сто первый в ее письмах ко мне за эти три года, которые я живу здесь. И за предыдущие годы было такое же изобилие жалоб» (XIV, 590). Разумеется, «изобилие жалоб» имело место и при встрече в Кадае.

В том же вилюйском письме содержалось указание на очень важный для него и его жены факт, ставший предметом их совместного обсуждения. «Несколько лет тому назад при свиданьи за Байкалом, — сообщал Чернышевский, — я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них. Лично я не знал их. Не мог я убедить ее» (XIV, 589).

В процессе биографического исследования мы еще не раз вернемся к этой теме, чрезвычайно существенной для выяснения семейных отношений Чернышевского.

Еще одним источником, связанным с приездом О.С. Чернышевской в Кадаю, являются воспоминания М.Н. Чернышевского. По понятным причинам, у него сохранились чисто внешние впечатления и от свидания, и от всего путешествия, воспринятого детскими глазами. «Отец, конечно, — удостоверял Михаил Чернышевский, — был обрадован встречей с горячо любимой матушкой, но к чувству радости не могло не примешиваться и горькое чувство досады на то, что для свидания на несколько дней понадобилось несколько месяцев дороги и много сопряженных с этим расходов и неприятностей». Запомнились «две маленькие комнаты» в доме, где жил Чернышевский, «на полу груды книг». «В памяти остались “Отечественные записки” по их желтой обложке» — указание важное, однако плохо вяжущееся с письмом Чернышевского из Александровского завода от 31 марта 1867 г., в котором он просит жену выслать ему журналы и книги. «Прежде, — замечает Чернышевский, имея в виду пребывание в Кадае, — я не просил об этом потому, что, живя вдали от комендантского управления, не знал хорошенько, разрешено ли мне выписывать журналы. А теперь узнал, что все это будет передаваться совершенно хорошо» (XIV, 493). Некоторые из увиденных Михаилом книг составляли собственность Чернышевского, те, которые разрешены были ему в поездку в Сибирь, но «груды» они составлять не могли²⁶. Следовательно, какие-то книги и журналы принадлежали не ему.

Незнание Чернышевским правил получения с воли периодических изданий или явилось следствием какого-то недоумения, или свидетельствовало о сокрытии местным нерчинским или кадаинским начальством специальных разрешений на этот счет. Мы располагаем следующим архивным документом, являющимся ответом генерала К.Н. Шелашникова от 22 апреля 1865 г. за № 224 на запрос военного губернатора Забайкальской области Н.П. Дитмара. «К выписке чрез начальство для политических арестантов журналов и газет, не воспрещенных правительством, я с своей стороны, — писал иркутский генерал, — препятствий не встречаю по неимению на это воспрещения в существующих об упомянутых преступниках правилах»²⁷. В Александровском заводе об этом документе, конечно, знали и потому не запрещали ссыльно-каторжным получать журналы — газеты все же запрещались.

В памяти М.Н. Чернышевского остались также встречи с некоторыми из сокаторжников отца. Один подарил тетрадь рисунков

на зеленой бумаге с изображениями кадаинских домов и видов, в том числе домика-острога Чернышевского и места захоронения М.И. Михайлова²⁸. Другой, поляк, оказался бывшим поваром у графа Кавура, итальянского государственного деятеля середины XIX века; этот поляк «напек нам на обратную дорогу целую корзину превкусных сладких печений». Кто-то «оказался охотником и настрелял для нашего обеда дичи». Иметь огнестрельное оружие каторжанам, понятно, не разрешалось, и описываемый случай, вероятно, был связан с кем-то из местных жителей. В один из дней ходили осматривать шахты серебряных рудников, и два-три кусочка руды Михаил взял с собою. Кроме этих вещественных предметов кадаинской поездки, Михаил увез подаренную Чернышевским небольшую коробочку из-под лекарств с нарисованным павлином на крышке²⁹. «Он хороший мальчик, это очень обрадовало меня», — писал Чернышевский жене в январе 1867 г. (XIV, 492).

«Свидание наше, — свидетельствовал Михаил Николаевич, — продолжалось всего пять дней (уехали 27 августа), так как для отца было невыносимо постоянное присутствие жандармов»³⁰. Срок свидания определялся властями, — этого мальчик не знал, но настроение Чернышевского передано верно.

Трудно предположить, чтобы при свидании в Кадае не зашла речь о петербургских знакомых и особенно тех, кто попал в Сибирь. Чернышевский конечно же поведал о судьбе М.И. Михайлова. В свою очередь Ольга Сократовна могла что-то рассказать о В.А. Обручеве, сосланном в Сибирь за распространение в Петербурге прокламаций тайного кружка «Великорусс». Известно, что В.А. Обручев одно время считался женихом двоюродной сестры Чернышевского Полины Пыпиной³¹. В Сибири Обручев находился с 1861 г. В «Ведомости о поведении политических преступников, находящихся в работах при Петровском заводе за август месяц 1864 г.» о нем сообщено: в Александровский винокуренный завод поступил 18 ноября 1862 г., в Петровский железодельный завод — 27 февраля 1863 г., сослан в каторжные работы на три года, поведения хорошего. Как явствует из предписания генерал-губернатора М.С. Корсакова от 10 августа 1865 г., Обручев по окончании срока каторжных работ подлежал переводу в Иркутск «в ведение здешнего губернского начальства для назначения ему места поселения»³². 25 сентября этого года он был причислен к Уриковской волости Иркутской губернии. Однако с весны 1866 г. уже числился жителем Иркутска, где провел еще шесть лет³³. Впоследствии он вспоминал, как однажды его пригласил к себе жандармский полковник Дувинг и объявил: «Сюда приехала г-жа Чернышевская, которая едет к мужу. Прошу

вас, не выдайтесь с ней, дайте мне слово». Обручев пытался объяснить, что в свое время был «так принят в доме Чернышевских, так много им обязан, что не повидаться с Ольгой Сократовной в данных обстоятельствах, — говорил он, — мне никак нельзя, что это будет неблагоприятно, набросит на меня тень». Полковник стоял на своем, «и я, — писал Обручев в воспоминаниях, — был вынужден обещать, что не пойду, если она сама не даст мне знать о своем приезде»³⁴. И хотя встреча Обручева с женой Чернышевского так и не состоялась, тем не менее она, часто бывая в Иркутском губернском правлении, вполне могла что-то слышать о нем. Чернышевского не могла не интересовать судьба Обручева. Осведомленный Л.Ф. Пантелеев говорил о В.А. Обручеве как «любимце Чернышевского»³⁵, который «очень любил его и часто вспоминал о нем»³⁶.

Спустя двадцать дней после отъезда О.С. Чернышевской наступила перемена и у Николая Гавриловича: 17 сентября 1866 г. его перевели в Александровский завод.

Примечания

- ¹ Чернышевский в Забайкалье. С. 101.
- ² Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XVII.
- ³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 1. Д. 1866. Л. 156.
- ⁴ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. VII.
- ⁵ См.: XIV, 841.
- ⁶ См.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XVIII.
- ⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 1. Д. 1866. Л. 153–218.
- ⁸ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XVII–XVIII.
- ⁹ Шульгин В.Н. Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 141.
- ¹⁰ Там же. С. 139–140.
- ¹¹ Там же. С. 138.
- ¹² Там же. С. 144. Точку зрения В.Н. Шульгина разделяли М.В. Научитель и З.Т. Тагаров: Чернышевский в Сибири (1969). С. 93. Однако в статье З.Т. Тагарова «Свидание Н.Г. и О.С. Чернышевских в Забайкалье» мнение В.Н. Шульгина решительно и справедливо оспорено: О.С. Чернышевская, полагает автор, отправилась «для обычного в этих случаях свидания» (Вопр. лит. 1965. № 7. С. 251–252).
- ¹³ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 175. Сын Чернышевских двенадцатилетний Александр был на четыре с половиной года старше Михаила.

- ¹⁴ Там же. С. 176.
- ¹⁵ Рапорт жандармского полковника Дувинга в Петербург от 3 августа 1866 г. (ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 275); Летопись. С. 354.
- ¹⁶ Летопись. С. 355.
- ¹⁷ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 22. Л. 118; Чернышевский в Сибири (1969). С. 94.
- ¹⁸ Чернышевский в Сибири (1969). С. 95–97.
- ¹⁹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 22. Л. 120.
- ²⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 272; Летопись. С. 357.
- ²¹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 22. Л. 123. *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 145.
- ²² ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 22. Л. 124–132; Чернышевский в Сибири (1969). С. 98–99, 101.
- ²³ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 22. Л. 133.
- ²⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 280–281. С некоторыми неточностями текст документа приведен в кн.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 146. М.Н. Чернышевский вспоминал: «Посадили нам на козлы жандарма, а в тарантас полупьяного жандармского капитана Хмелевского, который на каждой станции так уболаговторялся, что нередко доводил мою матушку прямо до слез» (Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 176).
- ²⁵ С этого момента за О.С. Чернышевской устанавливается секретный надзор – в Москве, где она жила до 3 декабря 1866 г. после кратковременной поездки в Нижний Новгород за сыном, затем в Петербурге и Саратове, в котором находилась с 21 по 28 июля 1869 г. С ноября 1868 по 31 мая 1869 г. у нее даже изымался паспорт. Слежка велась, несмотря на неизменные выводы о том, что «ничего особенного в отношении политическом за нею не замечено» (ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 286, 279–302).
- ²⁶ Об этих книгах см.: Научная биография (1859–1864), раздел «Завершение судилища. В Сибирь».
- ²⁷ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. полит. Д. 169. Л. 1.
- ²⁸ Впервые перепечатаны в кн.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 4, 16, 30, 44, 60, 74.
- ²⁹ Впоследствии эта коробочка стала одним из первых экспонатов основанного М.Н. Чернышевским музея в Саратове, и он называл ее «ячейкой музея»: *Чернышевская Н.М.* Младший сын Н.Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 185.
- ³⁰ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 176–177.
- ³¹ Беседы о прошлом (Рассказы Е.Н. Пыпиной в записях Н.М. Чернышевской). Саратов. 1983. С. 60.

- ³² ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. полит. Д. 111. Л. 208, 268.
- ³³ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1760. Д. 16. Л. 120–121, 126.
- ³⁴ *Обручев В.* Из пережитого // Вестник Европы. 1907. № 6. С. 588.
- ³⁵ *Пантелеев Л.Ф.* Воспоминания. М., 1958. С. 279.
- ³⁶ Воспоминания (1982). С. 227. 20 апреля 1868 г. В.А. Обручев обратился с письмом к генерал-губернатору М.С. Корсакову, «умоляя» позволить жить в Сибири сообразно с его новыми наклонностями. «Всею душой, — писал Обручев, — привязался к прекрасной природе Забайкалья». Он просил поселить его в каком-либо уголке этой части Сибири, «где бы я мог с примиренным чувством забыть, — теперь давно уже минувшее — основать себе смиренную оседлость и постепенно найти новую родину». После мечты вернуться домой в г. Ржев Тверской губернии, о чем безуспешно хлопотала его мать, это, уверял он, другая его мечта. Обручев соглашался на предоставление ему «прав, присвоенных лицам крестьянского сословия». Просьба была отклонена. Только в 1872 г. (документ от 4 марта за № 1201) он получил Высочайшее дозволение переехать в «один из отдаленных городов Оренбургской губернии». 5 апреля 1872 г. местожительством ему был назначен Верхнеуральск (ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1760. Д. 16. Л. 132–133, 136, 139). Из ссылки Обручев возвращен в 1879 г., пять лет спустя он поступил на военную службу и вышел в отставку в 1906 г. в чине генерал-майора. Умер в 1912 г.

4. Александровский завод

Покушение на Александра II, осуществленное бывшим студентом, дворянином саратовского происхождения Д.В. Каракозовым 4 апреля 1865 г., тяжелым эхом прокатилось по всей ссыльнокааторжной Сибири, ударило и по судьбе Чернышевского. Выстрел Каракозова многократно усилил подозрительность монарха, и реакционная волна, поднятая расправой с деятелями русского и польского освободительного движения, получила новый мощный всплеск. В верхних этажах власти произошла спешная перестановка. Министр народного просвещения А.В. Головнин, подозревавшийся в либерализме, заменен обер-прокурором Святейшего синода Д.А. Толстым; постаревший шеф жандармов В.А. Долгоруков уступил место молодому, энергичному, рвущемуся к управлению государством генерал-губернатору Прибалтийского края П.А. Шувалову, по инициативе которого было упразднено Петербургское

генерал-губернаторство во главе с князем А.А. Суворовым; заведывание петербургской полицией, долгие годы возглавляемой И.В. Анненковым, поручено бывшему генерал-полицеймейстеру в Царстве Польском, деятельнейшему усмирителю польского мятежа 1863 г. Ф.Ф. Трепову, поставленному в непосредственное подчинение начальнику Третьего отделения; бывший управляющий Третьим отделением А.Е. Тимашев сменил П.А. Валуева на посту министра внутренних дел; чиновников, ставленников Шувалова, продвигали в министерство юстиции, военное министерство, в губернаторы. Снова, как в недавние николаевские годы, полицейский дух охватил все сферы государственной и общественной жизни¹. Лидером реакционно-охранительной внутренней политики в России становится главный начальник Третьего отделения граф П.А. Шувалов, пользовавшийся неограниченным доверием монарха. Военный министр Д.А. Милютин записал о нем в своем дневнике 21 декабря 1873 г.: «Страшно становится, когда подумаешь, в чьих руках теперь власть и сила над судьбами целой России»². Современники называли Шувалова прямым наследником Малюты Скуратова, вторым Аракчеевым³.

Власть Третьего отделения в государстве еще более усилилась после второго покушения на Александра II в Париже, где в него 25 мая 1867 г. стрелял польский эмигрант Антон Березовский⁴. В своей записке, поданной Александру II сразу после определения в новой должности, Шувалов, анализируя каракозовское покушение, утверждал: «...Под внешностью общего спокойствия и порядка некоторые слои общества подвергаются разрушительным действиям вредных элементов, выпускаемых отчасти из <...> учебных заведений», и эти заведения, «проникнутые самым крайним социализмом, не верящие ничему <...> образуют себе приверженцев, распространяющих в народе вредные теории»⁵. Подготавливая крестовый поход против распространителей «вредных теорий», Шувалов, конечно, опирался на сложившиеся у Александра II убеждения в необходимости самой жесткой внутренней политики. Так, в рескрипте от 13 мая 1866 г. председателю комитета министров П.П. Гагарину Александр II основной обязанностью объявил «охранять русский народ от тех зародышей вредных лжеучений, которые со временем могли бы поколебать общественное благоустройство, если бы развитию их не было поставлено преград». Покушение Каракозова «послужило поводом к более ясному обнаружению тех путей, которыми проводились и распространялись эти пагубные лжеучения»⁶.

Началом реализации заявленного императором репрессивного курса явилось запрещение журналов «Современник» и «Рус-

ское слово», которые «с давнего времени, — говорилось в постановлении, — развивали на своих страницах учение социализма и нигилизма, более прочих способствовали развращению молодого поколения»⁷. «С давнего времени» означало прежде всего время деятельности Чернышевского.

Имя Чернышевского всплыло сразу, как только следственная комиссия, возглавляемая М.Н. Муравьевым-«вешателем», потянула нити связей Д. Каракозова с кружком Н. Ишутина, где Чернышевского особенно чтили как автора «Что делать?», публицистических статей, экономических работ⁸. Как установило следствие, Каракозова здесь нередко сравнивали с Рахметовым. Роман «государственного преступника Чернышевского, — говорилось в обвинительном приговоре по делу ишутинской организации, — имел на многих из подсудимых самое губительное влияние, возбудив в них нелепые противообщественные идеи»⁹. Александр II поручил министру внутренних дел немедленно выяснить, каким образом произведение Чернышевского попало в печать. Требуемая справка была доложена императору 29 июля 1866 г. с объяснением, что «цензор Бекетов, дозволивший к печати роман “Что делать?”, уволен от должности в том же 1863 году»¹⁰. Виновником назван один цензор, и других наказаний не последовало. Однако важнее отметить другое: вновь имя Чернышевского замелькало в официальной переписке высших чиновников государства, это имя вновь возникло перед царем в контексте «вредных лжеучений», с которыми самодержавная власть повела очередной виток непримиримой борьбы.

Еще более насторожили власть предержавных обнаруженные следственной комиссией Муравьева сведения о замышлявшихся ишутинцами способах освобождения Чернышевского из Сибири. В приговоре Верховного уголовного суда от 24 сентября 1866 г. указывалось, что «зараженные социалистическими идеями» заговорщики задумали «освобождение из каторжных работ государственного преступника Чернышевского для руководства предполагавшеюся революцией и для издания журнала». К этому плану оказались причастны Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, Н.П. Странден, П.Д. Ермолов, В.А. Малинин, О.А. Мотков, Н.И. Наумов, С.С. Шашков, Б.П. Шостакович¹¹.

Первые во время следствия упоминания ишутинцами о Чернышевском относятся к апрелю-маю 1866 г.¹², и соответствующие третьестепенские распоряжения немедленно полетели из столицы в Сибирь. Начальник Иркутского жандармского управления полковник Дувинг, как сообщил он управляющему Третьим отделением генералу Мезенцову в рапорте от 27 мая 1866 г. за № 81, получил

из Петербурга 26 мая телеграмму «насчет усугубления надзора за Чернышевским»¹³. В тот же день, 26 мая, Дувинг ответил телеграммой: «В апреле сделанное распоряжение о строгом надзоре ныне вновь будет подтверждено»¹⁴. Это сообщение пояснено Дувингом в упомянутом рапорте за № 81: по получении известия о покушении на Александра II генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков «тотчас» (стало быть, в апреле) командировал в Нерчинский завод своего адъютанта Мерказина с заданием проконтролировать надежность охраны за арестантами. В Кадае «он нашел, — писал Дувинг, — что Чернышевский имел свободный ход через комнаты соседнего преступника и поэтому приказал заделать дверь и чтобы ход к Чернышевскому был бы только через караульную, и подтвердил за всеми, так и за ним, смотреть строже». Теперь же генерал-губернатор «распорядился еще подтвердить коменданту». Предполагается, «как слышно», усилить в Забайкалье караулы «25 казаками наличных людей» и держать в готовности артиллерию — «в случае особенной надобности со стороны политических преступников»¹⁵.

Телеграмму Дувинга Мезенцов получил 30 мая, но, не обнаружив в ней главного — упоминания о Чернышевском, тут же телеграфировал вновь: «Просите об усугублении надзора за Чернышевским»¹⁶. Между тем еще 26 мая Дувинг известил Корсакова о беспокойстве Третьего отделения по поводу надежности охраны Чернышевского. Этот доклад Дувинга не сохранился, но в «Памятной книжке» Корсакова имеется запись: «Обратите особенное внимание на Чернышевского». Этой фразой Корсаков кратко обозначил главную тему двух сделанных им распоряжений. О первом в «Памятной книжке» сообщено: «Написано в частном письме Полк<овнику> Воронц<ову> от 26 мая с Адъютантом Пороховым». О втором сказано: «Сверх того поруч<ено> Майору Купенкову написать Нерч<инскому> Коменданту»¹⁷. Известен ответ Г. Воронцова от 1 июня 1866 г. «Относительно Чернышевского, — писал полковник, — имею честь доложить, что я давно хотел было перевести его в Александровский завод, но так как Чернышевскому предоставлены средства более удобного и спокойного помещения, что в Кадае и есть для него. В Александровском же заводе нет такого помещения, где бы можно было отделить его от продчих, в Кадае он хотя тоже не один, а с преступником Стацевичем, но зато они двое отделены от продчих и за ними имеется особый надзор»¹⁸.

В архиве сохранились также следы второго распоряжения М.С. Корсакова. Глава «Временного надзора за политическими преступниками» майор Купенков сообщал нерчинскому коменданту: «Его Высокопревосходительство Михаил Семенович поручил

мне просить Вас обратить особое внимание на политического преступника Чернышевского, как относительно содержания его, так и надзора за поведением, настроением и влиянием, какое он оказывает на товарищей»¹⁹.

Факты свидетельствуют, что сам Чернышевский поводов к ужесточению надзора за ним не давал. Например, возникшее было особое делопроизводство под названием «О политическом преступнике Чернышевском, подговорившем будто бы ссыльнокаторжных поляков к бунту. 17 февраля 1866 — 3 апреля 1866» быстро завершилось подтверждением его непричастности к волнениям на рудниках²⁰. Дело началось с запроса шефа жандармов в связи с распространившимися среди высших петербургских чинов слухами, «что в том месте, где находится осужденный политический преступник Чернышевский, были как-то недовольны пищею, что Чернышевский успел подготовить их к бунту и что будто бы вследствие того он был сильно наказан, что вскоре после того умер». Иркутские власти затребовали от нерчинского коменданта пояснений, и тот опроверг ложные известия: никаких других волнений, кроме «беспорядков в Акатуевском руднике», не было, но и «эти беспорядки были без участия государственного преступника Николая Чернышевского»²¹.

Каракозовские события, выявившие попытки некоторых из ишутинцев освободить Чернышевского, послужили единственной причиной проявленных к нему строгостей, к которым следует причислить и перевод из Кадаи в Александровский завод. Приведенное выше письмо нерчинского коменданта Воронцова от 1 июня 1866 г. показывает, что перевод был задуман «давно», но Чернышевского оставили в Кадае из-за сложностей с помещением для одиночного заключения. На Александровский завод Воронцов указывал не случайно. С 1864 г. это место являлось административным центром нерчинской кагорги, именно здесь размещалась резиденция «Временного управления для надзора за политическими преступниками», надежней организована охрана. Все это обеспечило бы осуществление «особого надзора». Ссылка Воронцова на отсутствие помещения для Чернышевского не удовлетворила его иркутских начальников. Оставлять все в неизменном виде означало бы едва ли не ослушание распоряжений из Петербурга. В июле 1866 г. коменданту приказали не выпускать Чернышевского из камеры даже для прогулок во дворе и держать дверь его камеры «запертой замком на железную полосу» не только ночью, но и днем²². С позволения петербургских чинов ему в конце августа разрешили свидание с женой, но об уже начавшейся в недрах канцелярии переписке по поводу его перевода в Александровский завод ничего не сообщили.

Вывезли его спешно 17 сентября 1866 г. Официальный документ, подписанный нерчинским комендантом 24 сентября за № 1593, объяснял: «...По случаю неимения помещения для воинской команды в Кадаинском руднике, казарму, где содержался политический преступник Чернышевский, я приказал освободить, а Чернышевского перевести в завод Александровский»²³. Самому Чернышевскому объявили именно эту причину, хотя могли ничего не пояснять. О случившемся он подробно написал жене, успокаивая ее относительно происшедшей перемены. «Комнатки, в которых я живу теперь, — сообщал он 2 октября 1866 г., — чище и уютнее тех, которые занимал я в Кадае. А главные стены и рамы гораздо лучше, не пропускают мороза» (XIV, 491). Разумеется, лишь в сравнении с никуда не годившимся «домиком» в Кадае можно было найти достоинства в новом местожительстве. Поэтому всерьез принимать заявления о качестве тюремного помещения в Александровском заводе не приходится.

Перемещением важного государственного преступника нерчинская администрация снимала с себя могущие возникнуть упреки в недостаточности примененных мер в организации его охраны. А он, подобно В.А. Обручеву, отбывшему срок каторги, но задержанному в Сибири на несколько лет, мог бы сказать: «Для меня лично выстрел Каракозова был тяжким ударом: он разрушил надежду на облегчение участи в ближайшем будущем»²⁴.

В списки ссыльнокаторжных по Александровскому заводу Чернышевского зачислили в день приезда, 23 сентября 1866 г.²⁵ Здесь ему суждено было прожить до 7 декабря 1871 г. — пять полных, да еще с тремя зимними месяцами лет.

По архивной описи 1868 г. в Александровском заводе значились четыре тюрьмы-острога, два караульных дома, гауптвахта. В своих домах жили комендант полковник Кноблех, плац-майор Заборовский, плац-адъютант капитан Щеголев, смотритель Александровских тюрем капитан Волинский. В отдельном здании располагалось комендантское управление, один дом занимали нижние чины²⁶. Чернышевского поместили в тюрьме отдельно от остальных ссыльных, как и требовалось по инструкции. Жене он написал, что занял «две комнатки», однако в нарисованном им самим плане обозначены разделенные сквозным коридором «зал» и две изолированные друг от друга комнаты, из которых только одна указана как «моя комната», вторая (за стеной) — «узкая комната»²⁷. Занятое Чернышевским помещение соединялось дверью с «передней», настолько маленькой, что назвать ее комнатой, как он это сделал в письме к жене, было весьма затруднительно.

Как и в Кадае, каторжных работ Чернышевский не отбывал. Содержание было такое же: ежемесячно полагалось на одного человека 1 пуд и $32\frac{1}{2}$ фунтов муки (29 кг), $7\frac{1}{2}$ фунтов крупы (3 кг.) и ежедневно по 3 коп.²⁸

В биографической литературе о Чернышевском перевод в Александровский завод характеризуется порою как некоторое улучшение его быта. «Здесь он попал, — пишет Е.А. Ляцкий, — в несколько лучшие условия, чем раньше. Помещение его имело <...> свои неудобства, но оно во всяком случае было теплее и вообще более приспособлено для жилья»²⁹. Этот вывод основывался преимущественно на сообщениях самого Чернышевского. Оба его письма за зиму и весну первого александровского 1867 г. сохранились, и в каждом родственники читали о том, что он здоров (XIV, 492, 493). Архивные документы позволяют существенно дополнить эти скудные известия. Имеется в виду рапорт нерчинского коменданта Воронцова в Главное управление Восточной Сибири от 6 февраля 1867 г. за № 127. Слова о «прилежном поведении» Чернышевского сопровождались на этот раз сообщением о «болезненном состоянии, в котором он ныне находится, так что, — писал комендант, — дальнейшее его тюремное заключение будет для его здоровья губительно». Рапорт содержал предложение перевести Чернышевского из тюрьмы на квартиру³⁰. По Уставу о ссыльных он еще в феврале 1866 г. получал право на освобождение из тюрьмы, и иркутские власти не находили оснований препятствовать намерению нерчинского коменданта. В своем ответе от 13 марта за № 378 генерал Шелашников предоставил Воронцову свободу решения, «если, — прибавлял он, — к упомянутому дозволению представляется полная возможность и пребывание Чернышевского вне острога не ослабит должного за ним надзора и наблюдения, что и должно оставаться уже на личной ответственности Вашего Превосходительства»³¹. Вскоре, 3 апреля, Воронцов отправляет новый рапорт за № 438: «Чернышевский просит, чтобы ему дозволено было проживать вне острога в городах Иркутске или Чите, так как расстроенное его здоровье требует лечения; оставаясь здесь, он не может иметь как докторских советов, так и самих лекарств». Однако теперь Шелашников отреагировал иначе. Просьба Чернышевского «ни в каком случае не может подлежать удовлетворению», — писал генерал 27 апреля. Основание — Чернышевский еще не окончил срока каторжных работ, между тем облегчение политическим преступникам «делается только в пределах закона». Шелашников предписал коменданту впредь «не давать хода» подобным просьбам во избежание «бесполезной переписки». Такого рода обращения ссыльнокаторжных, по

мнению генерала, приобретали характер «явного домогательства невозможного»³².

Факт обращения Чернышевского к властям о переводе в Иркутск или Читу еще до окончания официального срока каторжных работ устанавливается впервые. Как видим, он надеялся на поддержку Гаврилы Никифоровича Воронцова, недавно назначенного вместо жестокосердного М.С. Шилова, который, по рассказам современников, придя засвидетельствовать смерть М.И. Михайлова, «тыкал ему пальцами в глаза, лил на грудь и под ногти расплавленный сургуч, опасаясь, что смерть Михайлова притворная и его потом попытаются выкрасть и вывезти за границу»³³. Чернышевский предпринял решительную попытку изменить свою судьбу, и это был редкий за все время его пребывания в Сибири случай, когда крупный чиновник каторги осмелился поддержать просьбу такого рода.

Ответ генерала Шелашникова, полученный в Александровском заводе не ранее второй половины мая, погасил надежды Чернышевского на облегчение своей участи. Оставалось воспользоваться дозволением перейти из острога на «вольную квартиру», и около середины июня 1867 г. это переселение состоялось. Вот как писал об этом он сам жене 27 июня того же года: «Недели две тому назад я переселился жить на квартиру. Проезжая через Александровский завод, ты, быть может, заметила домик, стоящий прямо против комендантского дома; он принадлежит одному из дьячков здешней церкви. Я живу теперь у этого старичка, в этом домике. По одну сторону сеней помещается хозяин со своим семейством; по другую сторону, окнами на улицу, моя комната. Она очень чиста; довольно велика. — Вообще, я доволен своим нынешним образом жизни. <...> Здоровье мое остается прежнее. Не беспокойся о нем» (XIV, 493—404). Удалось установить имя дьячка — Алексей Попов³⁴. Родные и не догадывались о переживаниях, длившихся четыре месяца в связи с обострившейся болезнью и просьбой о переезде в Иркутск или Читу.

Долго они ничего не знали и о новой напасти, результатом которой стало возвращение в острог. Случилось это в июле 1868 г., следовательно, на квартире Чернышевский прожил всего около тринадцати месяцев³⁵. В письме от 12 января 1871 г. он написал обо всем жене, не называя, разумеется, никого по имени: «Я жил на квартире. Был в очень хороших отношениях со всеми здешними официальными лицами (как это оставалось и после, безо всякой перемены; остается и теперь, и несомненно останется, пока я буду жить здесь). Однажды, — помнится, 14-го или 15-го июля, — мои хорошие знакомые, официальные люди, пришли ко мне смущенные,

опечаленные (непритворно, как я думал тогда, продолжаю думать и теперь); они пришли сказать, что совершенно неожиданно для них получено ими распоряжение о том, что я не должен оставаться жить на квартире, должен жить снова в тюрьме. Сама по себе эта непонятная ни для меня, ни для них мера не имела ничего неприятного. Жаль только, что долго после того я не мог писать тебе, мой друг, и ты беспокоилась, не получая от меня писем. Прошло месяцев восемь или девять, мне сказали, что из Петербурга получили предписание, благоприятное для меня; оказалось, что я не подавал никакого повода к той неприятности, которую испытывали (по доброму расположению ко мне) здешние официальные люди, видя меня в каком-то подозрении, которое с самого же начала считали они ошибочными. Тогда я снова начал писать письма к тебе, мой друг. — В чем состояло это подозрение, я и до сих пор не знаю» (XIV, 503).

Биографы различно, порою противоречиво и с разной степенью обстоятельности и достоверности комментировали сообщение Чернышевского. В примечаниях к письму в «*Полном собрании сочинений*» присутствует со ссылкой на последующие письма Чернышевского лишь объяснение перерыву в переписке, длившемуся с апреля 1868 по июль 1869 г.: перерыв «был вызван желанием Николая Гавриловича побудить Ольгу Сократовну порвать отношения с ним, чтобы таким путем она приобрела свободу располагать собою исключительно по своему желанию» (XIV, 842). В «*Летописи*» внимание сосредоточено на объяснении самого факта водворения писателя в острог. Репрессивные действия властей здесь правильно увязаны с неудачной попыткой побега в Китай бывшего полковника А.А. Красовского, товарища Чернышевского по каторге, указаны источники: воспоминания П.Ф. Николаева и материалы о Красовском, опубликованные в «*Литературном наследстве*»³⁶.

Рассмотрим все обстоятельства случившегося детальнее.

По свидетельству П.Ф. Николаева, освобождение на квартиры получили трое из «государственных преступников» — Чернышевский, Красовский и Маслов (Масловым мемуарист ошибочно назвал ссыльного поляка Леона Масло). Вскоре Красовский получил от родных около четырехсот рублей, бежал, но был убит ограбившим его местным жителем. «Убийство было очевидно; но начальство, боясь ответственности, донесло о самоубийстве. После этого “вольная команда” была отменена, и Чернышевского перевели снова в тюрьму»³⁷. О насильственной смерти Красовского писал и С.Г. Стахевич³⁸.

В научной литературе сведения о Красовском появились в 1929 г. Александр Афанасьевич Красовский происходил из военной сре-

ды. Ко времени ареста служил подполковником Александрийского драгунского полка. Получил хорошее образование, владел несколькими иностранными языками. Александр II знал его лично. За храбрость, проявленную в Крымской войне, награжден медалью. Однако вместо блестящей карьеры, ожидавшей его, он предпочел путь революционера. Захваченный освободительным движением эпохи, постоянный читатель «Колокола», Красовский сблизился в Киеве с революционной молодежью, с сочувствием отнесся к взбунтовавшимся летом 1862 г. крестьянам Киевской губернии, написал прокламацию к солдатам, призывая их к неповиновению при усмирении крестьян, и сам разбрасывал ее, переодевшись в простолудина. По доносу офицеров был арестован, решением военно-полевого суда приговорен к смертной казни, которую Александр II из милости заменил на сибирскую каторгу. В ноябре 1862 г. его отправили в Сибирь обычным уголовным этапом на общем каторжном режиме. Через год он прибыл в Забайкалье. Его жена не выдержала испытаний и сошла с ума, трое детей остались сиротами на попечении его сестры. В апреле 1863 г. тяжело больной Красовский написал Александру II прошение о замене каторги солдатской службой. Его поступками, объяснял он монарху, двигали «не корысть, не злоба, не личное честолюбие, а жажда правды и любовь к родине». Александр II оставил прошение без последствий.

Красовский и на каторге не отказался от «крамолы», о чем свидетельствует его стихотворение «Сон каторжного», в котором призывал к борьбе с «тиранами» и «подлецами» и выражал надежду, что когда-нибудь «царем и владыкой сам будет народ». Потеряв во время побега пальто, записную книжку и план китайской границы, Красовский застрелился. Самоубийство подтверждалось его собственноручной предсмертной запиской: «Я вышел, чтоб идти в Китай. Шансы для меня чересчур неблагоприятные. Я потерял ночью в дороге такие вещи, которые непременно откроют мой след. Лучше умереть — чем отдаваться в руки врагов живым. А. К.»³⁹.

Знакомство Чернышевского с Красовским состоялось в Кадаинском руднике, куда тот прибыл 2 января 1866 г.⁴⁰ Незадолго до этого, 30 сентября 1865 г., Красовский обратился к генерал-губернатору с письмом, в котором просил поселить его подальше от поляков. «Осенью 1863 года при посещении Вашим Превосходительством Красноярского тюремного замка, где занемог я от Тобольска по пути к Иркутску, — писал Красовский, — просил я о разрешении находиться в Троицком солеваренном заводе, дабы не попасть вместе с поляками за Байкал, и хотя мне было в этом отказано, я и впоследствии, при отправлении партии из Петровского завода в Нерчинский

округ, явился одним из желающих, как только узнал, что гг. Чернышевский и Михайлов, находясь в Кадаинском руднике, пользуются тем завидным счастьем, что живут совершенно отдельно от поляков». Отношения Красовского с поляками почему-то не заладились, и он просил переместить его куда угодно, лишь бы «находиться совершенно удаленным от польского общества». В мае 1866 г. член Совета Главного управления Восточной Сибири П. Сукачев известил нерчинского коменданта об отрицательном отношении генерал-губернатора к высказанной просьбе. Однако в марте 1867 г. М.С. Корсаков получил письмо сестры Красовского, бедствовавшей с его детьми, и в апреле генерал-губернатор отослал военному министру ходатайство о переводе арестанта на поселение в одну из губерний Западной Сибири. Дело докладывалось Александру II, и 12 мая военный министр известил о Высочайшем повелении перевести Красовского «в разряд каторжных при крепостях», ограничив весь срок восемью годами «со включением пробытия в рудниках»⁴¹. А 28 мая 1868 г., когда Красовскому оставался всего год до окончания каторжных работ, генерал Шелашников получил телеграмму об исчезновении его. Сообщались приметы беглеца: «Старик, ростом мал, плешив, фальшивый паспорт». Вскоре пришло известие о найденном трупе бежавшего и фактах, подтверждавших самоубийство⁴².

По мнению одного из биографов, «побег А.А. Красовского был использован комендантом нерчинских заводов как удобный предлог для строжайшей изоляции Чернышевского»⁴³. В действительности дело обстояло иначе, как это видно из неопубликованного рапорта нерчинского коменданта Кноблоха от 30 июля 1868 г. Здесь сказано: «Что же касается мер, принятых для присмотра за государственными преступниками, живущими вне острога, которых теперь только двое, Чернышевский и Масло, то над первым из них, более значительным и менее, как мне казалось, надежным, с началом прибытия моего был установлен постоянный секретный надзор, так что о всех поступках его я был извещен ежедневно, притом ныне сделано распоряжение о проверке утром и вечером нахождения их на квартире, сверх того как на надзор местной полиции, как опыт доказал, решительно нельзя положиться, взяты от хозяев квартир обоих преступников расписки в неотлагательном донесении смотрителю тюрем о всякой более чем кратковременной отлучке жильцов этих с квартир».

Относительно же обращения их в тюрьму, то так как оба вели себя постоянно безукоризненно, возвратить в тюремное заключение после сделанной льготы, как бы за вину другого, было бы по мнению моему неудобно, причем же осмеливаюсь просить Ваше

Превосходительство о представлении мне права при малейшем поводе к подозрению, не спросясь разрешения, тотчас обратиться в тюрьму, да и впредь никого уже из оной не увольнять, т.к. постоянный бдительный за ними надзор здесь весьма затруднителен, как по разбросанности лачуг и всякого рода трущоб, из коих состоит здешний завод, занимающий довольно значительное пространство, так и по местности его окружающей, лесистой и дикой, равно и по близости границы, что все вместе может человеку и не слишком смелому представить побег делом весьма удобным, тем более что в населении здешнем, развращенном и ко всякому приобретению, только бы не посредством работы, жадном, нетрудно будет найти людей, готовых способствовать всеми мерами побегу человека, имеющего хоть и небольшие денежные средства»⁴⁴.

Итак, комендат А.Е. Кноблох, только что сменивший Воронцова, находил несправедливым, «неудобным» лишить Чернышевского предоставленных льгот и вернуть его в тюрьму «как бы за вину другого». Однако дальнейший ход событий оказался осложненным новыми обстоятельствами, поначалу не имевшими отношения к переписке по поводу Красовского. Речь идет о телеграмме шефа жандармов П.А. Шувалова, полученной в Иркутске: «Цель эмиграции освободить Чернышевского. Прошу принять все возможные меры относительно его». Позднее (12 ноября 1868 г.) Шувалов объяснил: «Получено сведение, что будто бы в Женеву прибыл из Сибири какой-то немец и привез эмигрантам словесные инструкции и письмо от государственного преступника Чернышевского»⁴⁵. Известие совершенно абсурдное, но проверять объективность информации, посланной кем-то из заграничных агентов Третьего отделения, никто не собирался. Для Чернышевского же подобные «сведения» обернулись ухудшением его положения.

Третьеотделенскую телеграмму о «целях эмиграции» генерал Шелашников направил Кноблоху 5 июля 1868 г., еще не получив рапорта нерчинского коменданта от 30 июня. Шелашников, разумеется, помнил, что перевод Чернышевского на квартиру санкционировал он сам, но выполнить распоряжение Шувалова было необходимо; и иркутский генерал, сообщая о телеграмме, предписывал «принять все возможные меры к предупреждению побега Чернышевского или к освобождению его неблагонамеренными лицами насильственным образом». В качестве основной из таких «мер» предлагалось «Чернышевского под каким-либо благовидным предлогом или же просто без всякого предлога, но не обнаруживая повода к заключению его, перевести в одно из тюремных помещений, поместив его отдельно, так, чтобы ему преграждены были все пути

к побегу». Далее предписывалось «в случае исполнения замысла эмиграции принять меры к преследованию и непременно поимке преступника Чернышевского и всех способствующих»⁴⁶.

Распоряжение Шелашникова, как явствует из надписи на документе, получено в канцелярии нерчинского коменданта 13 июля в 9 часов утра, и в тот же день оно было исполнено. Понятно теперь, почему чиновники комендантского управления, переселяя Чернышевского снова в тюрьму, испытывали, по его словам, непритворное смущение: распоряжение Шелашникова пришло на несколько дней раньше, чем должен был прийти ответ на рапорт коменданта от 30 июня, и непосредственно с побегом Красовского оно не увязывалось. Ни этим чинам, ни тем более Чернышевскому причины иркутского приказа были непонятны, поскольку поступившие предупреждения о «целях эмиграции» оставались туманными, расплывчатыми, неконкретными.

И все же эпизод с Красовским оказался включенным в систему репрессий против Чернышевского. Мы располагаем еще одним рапортом Кноблоха за № 38 от 16 июля 1868 г., в котором он, сообщая о «возвращении» Чернышевского в тюрьму 13 июля, прибавлял: «...К чему достаточным предлогом могло служить подозрение в знании им о побеге Красовского». Могло служить, но не служило, и Кноблох дал понять о поспешности акции против человека спокойного, уравновешенного, не заподозренного в чем-либо предосудительном. «Поступки его, — писал комендант, — во все время бытности его здесь вообще отличались крайней осторожностью. Он сам, как по секретному за ним надзору с самого приезда моего сюда мне хорошо известно, ни у кого почти не бывал и посторонних лиц у себя не принимал». Далее следовало перечисление принятых мер, предупреждающих возможность побега: «В тюрьме помещен отдельно и учрежден к его камере особый пост. Все сношения с посторонними лицами, а в особенности с другими преступниками прерваны, деньги его будут отпущены ему не на руки, а все дозволенные потребности его будут по указанию его из них удовлетворены. Писать ему дозволено пока не иначе, как в присутствии смотрителя, кому относительно его дана от меня особая инструкция»⁴⁷. Отвечая 31 июля, Шелашников внушал, что «необходимо оградить всевозможные способы к побегу Чернышевского, не доверяя ни его спокойному виду, ни его видимому отчуждению от других преступников»⁴⁸. О Красовском пока ничего. Но вот в сентябре 1868 г. Шелашников подготовил по запросу генерал-губернатора доклад, в котором должен был ответить на вопрос, заданный в Петербурге: по какому праву Красовский получил разрешение жить на

квартире. Шелашников подробно процитировал тексты законных установлений, позволявших ссыльнокаторжным при определенных условиях жить вне острога. Спрашивали о Красовском, но генерал посчитал нужным включить абзац о Чернышевском. Читаем: «Хотя мною на основании тех же доводов и разрешено было проживать на квартирах Чернышевскому и Масло, получив известие о побеге Красовского, я тотчас же сделал распоряжение о заключении их в тюрьму»⁴⁹. Как видим, во-первых, указание о возвращении Чернышевского в тюрьму дано не комендантом, а иркутским генералом. Во-вторых, этот генерал передергивал факты, поскольку его директива последовала в связи с телеграммой шефа жандармов о целях эмигрантов освободить Чернышевского, а не в связи с известием о побеге Красовского. В-третьих, забавно видеть, как сановный блюститель закона оправдывается перед начальством в том, что ему пришлось соблюсти закон, когда Чернышевский и некоторые из его товарищей по каторге получили возможность выйти из тюрьмы.

Обеспокоенность Петербурга хорошо передает побывавший в столице губернатор Забайкальской области Н.П. Дитмар в письме к М.С. Корсакову от 22 октября 1868 г. «Шувалов передал мне, — сообщал Дитмар, — что государь был недоволен, что Красовский жил на свободе, но что Шувалов прочел твое донесение и все успокоилось. Более всего опасаются, чтобы Чернышевский не бежал»⁵⁰.

Отдавая распоряжение о переводе Чернышевского в острог, Шелашников прекрасно осознавал силу подобного действия. Еще в июле 1865 г. он со знанием дела особо подчеркивал в представленном генерал-губернатору докладе, что «тюремное заключение гораздо тяжелее для преступников, чем употребление их в работы»⁵¹.

Основным последствием перехода в острог стало прекращение Чернышевским переписки с родными. Сам он в цитированном выше письме к жене не дал точных разъяснений на этот счет. Фразу «жаль только, что долго после того я не мог писать тебе» можно толковать и как официальный запрет⁵², и как добровольный отказ, получавший форму протеста ссыльнокаторжного против произвола властей. Мы склоняемся ко второму объяснению, тем более что ни в одном из сохранившихся документов не говорилось о запрещении переписки. И только спустя «месяцев восемь или девять» после получения какого-то «благоприятного» для него «предписания из Петербурга» он, по его словам, «снова начал писать письма» (XIV, 503). Однако никакого на этот раз «предписания» в архивах не обнаружено. Его продолжали содержать в тюрьме вплоть до перевода в Вилюйск. Скорее всего, можно предположить, что нерчинский комендант, опасаясь продолжения протеста заключенного и связан-

ных с этой акцией новых беспокойств, заверил Чернышевского в получении какой-то бумаги, и неприятный для местного начальства инцидент был прекращен. «Преступники вообще с самого начала поставлены так, что обращаться с ними нужно уметь, — доверительно делился своими соображениями с генерал-губернатором в июне 1866 г. нерчинский комендант Г.Н. Воронцов⁵³, проявивший, как мы видели, немало гибкости в отношении к Чернышевскому, когда тот поднял вопрос о переводе в Иркутск или Читы. Той же тактики придерживался, вероятно, и А.Е. Кноблех. Не случайно современники запомнили его как человека, очень дорожившего «своим спокойствием, и этим, вероятно, объясняется тот сравнительно мягкий режим, которым в то время пользовались ссыльные»⁵⁴.

Наступивший в переписке перерыв сильно встревожил Ольгу Сократовну и Пыпиных. Все связанные с этими волнениями материалы собраны и опубликованы М.Н. Чернышевским, обнаружившим их в архиве А.Н. Пыпина. Речь идет прежде всего о письме П.В. Анненкова к А.Н. Пыпину от 12 марта 1869 г. Ссылаясь на привезенные кем-то из Сибири известия, автор письма, из осторожности не называя Чернышевского по имени, уверял: «...Там все обстоит благополучно и никакой перемены в положении известного лица так, как и в его здоровье, не произошло». Анненков привел в свидетели губернатора Н.П. Дитмара, который «недавно там навещал его и нашел его в обычном расположении духа — суровом, сосредоточенном; необщительном, на что и жалуется, но бодром и особенно несколько не возбужденным какими-либо сверхкомплектными неприятностями, которых и не было»⁵⁵. Не удовлетворившись сообщением Анненкова (писем от Чернышевского по-прежнему не было!), Пыпин нашел возможность лично запросить обо всем самого Дитмара, в ту пору бывшего в Петербурге. Тот ответил сдержанно и кратко, не сообщая всей информации, хотя, разумеется, знал все. «...Господин Чернышевский, — писал он 21 марта того же года, — по сведениям, полученным мною из Забайкальской области, жив и здоров». Ни в какие отношения с родственниками «государственного преступника» генерал входить не собирался. Однако соответствующий приказ о доставлении сведений с места он все же отдал. Приказ адресован его помощнику А.А. Мордвинову и датирован 19 марта. В Чите он получен 13 мая и на следующий день отослан нерчинскому коменданту. В конце мая полковник Кноблех рапортовал Мордвинову: «Чернышевский находится в одной из тюрем Александровского завода и пользуется постоянно хорошим здоровьем; на запрос о том, почему оставлены им родственники более полугода без всякого о себе известия, он не находил другого отве-

та, кроме того, что не о чем ему писать им». Ответ Дитмару помечен 31 марта 1870 г.⁵⁶ Заключительная фраза в рапорте Кноблоха не допускает сомнений в принятии самим Чернышевским решения прекратить переписку с родными, возобновленную 7 июля 1869 г. (XIV, 498). А в марте 1869 г. А.Н. Пыпин продолжил поиски источников более точной и полной информации.

Глухие намеки на июльские события 1868 г. содержали два документа. Первый – письмо В. Лебедевой к П.И. Бокову от 8 сентября 1869 г., которое он тут же передал Пыпину. Говоря о «невеселых вестях, да что же делать, трудно помочь тому, что уже совершилось», Лебедева сослалась на письмо от четы Вольнских, уехавших из Александровского завода в Иркутск 21 мая 1869 г., – «они все знают хорошо. – Вы не тревожьтесь, Петр Иванович, он жив и здоров, да только...» Сохранилось и недатированное письмо самой А. Вольнской, супруги смотрителя Александровских тюрем В.И. Вольнского: «...Несмотря на мое искреннее желание говорить о нем, я не могу сказать о нем ничего, кроме того, что его положение ухудшилось с июня прошлого года, и я могла его видеть только перед отъездом»⁵⁷.

Примерно в сентябре 1869 г. пришло первое после перерыва известие от Чернышевского, но вплоть до объяснений, присланных им только в 1871 г., его родные так ничего и не знали о подлинных причинах его молчания.

Примечания

- ¹ Подробнее в кн.: *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978.
- ² Дневник Д.А. Милютина. М., 1947. Т. 1. С. 116.
- ³ *Венюков М.И.* Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора: 1855–1878. Прага, 1880. Т. IV. Вып. 2. С. 101; *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 300.
- ⁴ *Татищев С.С.* Император Александр II: Его жизнь и царствование. СПб., 1911. Т. 2. С. 20.
- ⁵ *Оржеховский И.В.* Самодержавие против революционной России. М., 1982. С. 100–101.
- ⁶ Полное собрание законов Российской империи. II собр. Т. XLVI. Отд. I. № 43298. С. 547.
- ⁷ *Оржеховский И.В.* Самодержавие против революционной России. С. 102–103.

- ⁸ См.: *Филиппов Р.В.* Революционная народническая организация Н.А. Ишутина-И.А. Худякова (1863–1866). Петрозаводск, 1964. С. 44, 50, 156–157.
- ⁹ Покушение Каракозова: Стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др.: В 2 т. / Подг. к печати М.М. Клевенский и К.Г. Котельников. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 309; Т. 2. С. 345–346.
- ¹⁰ *Теплинский М.В.* Н.Г. Чернышевский и цензура (по новым материалам) // Чернышевский. Вып. 5 (1968). С. 181; Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 391. Подробнее см.: Научная биография (1859–1864), раздел «Литературная работа. Роман “Что делать?”».
- ¹¹ Покушение Каракозова. Т. П. С. 345; *Троев П.С.* Н.Г. Чернышевский и ссыльные каракозовцы // Из истории политической ссылки в Якутии: Сб. науч. статей. Якутск, 1977. Вып. V. С. 56–59.
- ¹² Напр., показания И.А. Худякова о планах освобождения Чернышевского датированы 26 апреля, показания Н.П. Страндена – 18 мая. См.: Русско-польские революционные связи. М., 1963. Т. II. С. 574; *Базанов В.Г.* И.А. Худяков и покушение Каракозова // Русская литература. 1962. № 4. С. 160.
- ¹³ Каторга и ссылка. 1927. № 4. С. 187. Однако здесь неточно указана дата документа – 28 мая. Та же ошибка повторена в кн.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 142. Исправлено нами по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 270.
- ¹⁴ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 267.
- ¹⁵ Каторга и ссылка, 1927, № 4. С. 187.
- ¹⁶ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л.; 269.
- ¹⁷ *Хейфец М.* Чернышевский в Сибири. 1866–1883. (По материалам архива Корсаковых и Воронцова-Дашкова) // Записки отдела рукописей Всес. библиотеч. им. В.И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 56.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ ЛН. Т. 67. С. 151.
- ²⁰ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 45. Д. 160. Л. 1–7.
- ²¹ *Багаутдинов А.З.* Н.Г. Чернышевский на каторге... С. 35–36. Здесь утверждается, что «слух имел под собой определенную почву», так как по дороге на каторгу Чернышевский встречался со многими польскими повстанцами и оказывал на них революционизирующее влияние. Подобное заявление нужно признать необоснованным.
- ²² *Любарский А.* Новое о Чернышевском // Дружба народов. 1966. № 5. С. 234.

- ²³ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1766. Д. 65. Л. 53. Ср.: Чернышевский в Сибири (1969). С. 105.
- ²⁴ Вестник Европы. 1907. № 6. С. 589.
- ²⁵ Чернышевский в Забайкалье. С. 62.
- ²⁶ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 2. Отд. полит. Д. 132. Л. 316.
- ²⁷ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 189.
- ²⁸ Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 244.
- ²⁹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XIX.
- ³⁰ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 20. Л. 123–123 об.
- ³¹ Там же. Л. 126; Чернышевский в Сибири (1969). С. 112–113.
- ³² ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 20. Л. 127–129.
- ³³ См.: Из истории русско-славянских литературных связей. М.; Л., 1963. С. 153.
- ³⁴ ГАЧО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 3522. Л. 4. В «Месячных отчетах о финансовом состоянии Александровского завода. Ведомости на выдачу жалованья. 1868 г.» наряду с дьячком Алексеем Поповым упомянуты священник Стефан Попов, пономарь Адам Скорняков, просвирня Елизавета Телятьева.
- ³⁵ Утверждение, что Чернышевский жил на квартире «два месяца» или «около двух месяцев», ошибочно. См.: XIV, 841 (комментарии); Воспоминания (1959). Т. 2. С. 155; Чернышевский в Сибири (1969). С. 44.
- ³⁶ Летопись. С. 370.
- ³⁷ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 155.
- ³⁸ Там же. С. 158.
- ³⁹ *Быковский Н.* «Сон каторжника» и его автор // ЛН. Т. 25–26. С. 458–471. Правильное название стихотворения – «Сон каторжного», что видно из автографа (там же. С. 461). Текст предсмертной записки уточнен по автографу (там же. С. 469). См. также: *Клевенский М.* К биографии А.А. Красовского // Красный архив. 1929. Т. 6 (37). С. 232.
- ⁴⁰ Чернышевский в Забайкалье. С. 59, 100.
- ⁴¹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1760. Д. 16. Л. 57–72.
- ⁴² Нерчинская каторга. М., 1933. С. 45.
- ⁴³ Чернышевский в Сибири (1969). С. 119.
- ⁴⁴ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1773. Д. 139. Л. 45 об. – 46 об.
- ⁴⁵ Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 234–235.
- ⁴⁶ *Беркович В.* Н.Г. Чернышевский в Забайкалье. По вновь найденным материалам // Тихоокеанская звезда (Хабаровск). 1928. 2 декабря.
- ⁴⁷ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 2227. Д. 31. Л. 16–17.

- ⁴⁸ Тихоокеанская звезда (Хабаровск). 1928. 2 декабря; Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 236.
- ⁴⁹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1773. Д. 139. Л. 51 об. — 52.
- ⁵⁰ Записки отдела рукописей Всес. библ. им. В.И. Ленина. Вып. 6. С. 57.
- ⁵¹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1763. Д. 40. Л. 1 об.
- ⁵² См.: Летопись. С. 371.
- ⁵³ Записки отдела рукописей Всес. библ. им. В.И. Ленина. Вып. 6. С. 56.
- ⁵⁴ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге (в Александровском заводе). 1867–1872. М., 1906. С. 4.
- ⁵⁵ Возможно, П.В. Анненков пользовался сведениями, которые мог получать в окружении своего брата, И.В. Анненкова, с 1862 г. С.-Петербургского обер-полицмейстера, а с 1867 г. коменданта С.-Петербурга.
- ⁵⁶ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Отд. общ. Д. 935. Л. 2; Чернышевский в Забайкалье. С. 116, 117.
- ⁵⁷ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 179–180.

5. В среде ссыльных

Едва ли не единственным источником для биографа, интересующегося внутренней жизнью Чернышевского в период забайкальской каторги, его духовным обликом, дружескими общениями, являются воспоминания современников. Писем сохранилось немного, к тому же подневольное положение их автора сильно ограничивало их информационность.

За время пребывания в Забайкалье ближайшее окружение Чернышевского составили высланные в Сибирь польские повстанцы и молодые участники новой волны освободительного движения. Только однажды в Кадае во время встречи с М.И. Михайловым на него пахнуло близко знакомым воздухом литературного Петербурга. Все остальные годы его александровского существования заполнило общение с племенем молодым и не совсем знакомым. В основном это были студенты или недавние выпускники университетов. Приезд каракозовцев заметно увеличил число русских политических арестантов, некоторые из них сделались товарищами Чернышевского, а впоследствии и его мемуаристами. Особое распространение в биографической литературе получили

воспоминания П.Ф. Николаева, В.Н. Шаганова, С.Г. Стахевича, П.Д. Баллода, И.Г. Жукова. Существуют и другие, менее известные мемуарные записи.

По свидетельству Николаева и Стахевича, в тюрьме, размещавшейся в здании бывшей заводской полиции и потому называвшейся «полицией», куда Чернышевского перевели из главного тюремного корпуса в феврале 1867 г., жили «восемь русских и один поляк» — это Николай Васильев и Николай Волков (сосланы за распространение прокламаций), Петр Баллод (студент, по делу о типографии), Илья Жуков (член первой «Земли и Воли»), Андрей Красовский, а после его самоубийства Николай Михайлов (из организации военных), Митрофан Муравский (по процессу «193-х»). Дмитрий Степанов (земледелец), Сергей Стахевич (студент-медик, осужден за прокламацию «Льется польская кровь...») и поляк Леон Масло (из дворян, «за подговор крестьян к восстанию и произнесение дерзких слов против священной особы Государя Императора»²). В одну из камер «полиции» поселили в том же 1867 г. шестерых каракозовцев — Петра Ермолова, Максимилиана Загибалова, Петра Николаева, Николая Страндена, Вячеслава Шаганова, Дмитрия Юрасова. В течение того же года в «полицию» были помещены несколько поляков во главе с прикованным к тачке Казимиром Арцымовичем, вместе с ним 27 марта прибыли Леопольд Ильяшевич, Эдуард Вронский, Александр Властовский³ — «такова была довольно смешанная компания, составлявшая постоянную аудиторию Н.Г. Чернышевского»⁴.

Никто из мемуаристов точного, исчерпывающего перечня находившихся рядом с Чернышевским лиц не приводит. Поэтому приобретает значение найденный в архиве список «Об отпуске дозволения государственным политическим преступникам, находившимся в Александровских тюремных замках в сентябре 1868 года». Этот список из 221 человека приложен к рапорту смотрителя тюрем капитана Волынского от 30 сентября 1868 г. за № 404. Отдельной алфавитной группой из 20 человек здесь помечены: Арцымович Казимир, Васильев Николай, Волков Николай, Вронский Эдуард, Дядин Кузьма, Ермолов Петр, Жуков Илья, Загибалов Максимилиан, Зайончковский Юлиан, Кувязев Владимир, Крушевский Эдуард, Масло Леон, Муравский Митрофан, Николаев Петр, Стахевич Сергей, Степанов Дмитрий, Странден Николай, Чернышевский Николай, Шаганов Вячеслав, Юрасов Дмитрий⁵. Здесь явно перечислены обитатели «полиции», где Чернышевский жил до поселения его на квартире в июне 1867 г. и после перевода его в тюрьму в июле 1868 г. Находясь на квартире, Чернышевский, по свидетель-

ству современников, продолжал с разрешения начальства бывать в полиции в воскресные и праздничные дни. С конца сентября его переселили в так называемую «контору» — тюремное помещение, расположенное всего в двухстах шагах от «полиции», но это не превратило прежних общений.

В «конторе» содержались преимущественно поляки «из простолюдинов, городских рабочих и особенно много было жмудинов, полукрестьян-полупанков»⁶. Состав узников «конторы» восстановить поименно не удастся. В научной литературе известен датированный 4 марта 1869 г. список из 105 человек⁷, но кто из них находился в «конторе», сказать трудно.

Мемуары о Чернышевском весьма неравноценны. Наиболее точными в фактическом отношении следует признать воспоминания С.Г. Стахевича. В те годы он вел своего рода дневники и впоследствии опирался на эти записи. Отсюда документальность, информативность тона повествования, придающие его мемуарам особую достоверность, хотя и лишаящие их порою живости слога и обычной для мемуарного жанра последовательности в изложении событий. По свидетельству П.Д. Баллода, Стахевич «мало отвлекался посторонними занятиями, но больше читал и всегда, когда у него набирался известный запас вопросов, требовавших разъяснения, он отправлялся к “стержню” (так звали государственные Чернышевского) за разъяснениями. Чернышевский был всегда доволен приходом Стахевича, относился к нему очень радушно и говорил о нем: “вот из него бы, вероятно, и вышел человек, если бы судьба не завела его сюда”». Баллод знал о желании Стахевича поселиться с Чернышевским даже в Вилуйске, «хотя бы в качестве слуги»⁸. Право жительства в Европейской России Стахевич получил только в 1892 г. С 1908 г. жил в Петербурге, служил бухгалтером. По поводу его смерти 16 мая 1918 г. газета писала: «Он представлял собою прекрасный образец цельной, твердой личности 60-х годов, сохранившей всецело лучшие заветы своей эпохи»⁹.

Доверие к сообщениям С.Г. Стахевича вовсе не исключает критического отношения к тексту. Тот же принцип распространяется на все другие воспоминания, требующие взаимного их сопоставления и по возможности проверки разного рода биографическими источниками.

Внешний облик Чернышевского запечатлен мемуаристами с фотографической ясностью: средний рост, заметно покатые плечи и несколько впалая грудь, длинные, густые, светло-русые, заметно волнистые волосы, имевшие рыжеватый оттенок на небольшой бороде и усах, серые (серо-голубые) глаза, добродушно поглядываю-

щие через стекла очков, широкое переносье, скуластое лицо, желтоватое, без румянца, голос, подкреплявший впечатление добродушия и простоты. Чаще всего появлялся в халате на белом барашке, в мягких валенках и в маленькой черной барашковой шапке, которую редко снимал даже тогда, когда писал или обедал. Ходил нервной, пошатывающейся походкой, неуклюже размахивая руками¹⁰.

Впечатление от снятого появлением Чернышевского напряжения, с которым ждали первой встречи со знаменитым писателем, П.Ф. Николаев передает фразой: «“Да какой же он простой!” — “Простой!” — именно это и было настоящее слово. И чем больше мы узнавали его, тем для нас яснее становилось, что в этой именно простоте и таилась та притягательная сила, которую чувствовали все. <...> По этой простоте, — заключал мемуарист, — Николай Гаврилович был истым, инстинктивным демократом, в самом буквальном смысле этого слова, человеком труда, братом всякому человеку труда, всякому мужику, всякому простому человеку, и притом без фраз, без предвзятых намерений...»¹¹. Другой воспоминатель, будучи постарше восторженных поклонников автора «Что делать?», обратил внимание на нервное волнение, даже робость, конфузливость вошедшего, «на голубых глазах из-под очков сквозили слезы. <...> Не до слов, казалось, в такую минуту, не до выражений их в правильной логической форме, — все было отрывчато, с примесью какого-то нервного смеха, но сквозь который ясно сказывалось искреннее участливое свидание старшего с младшими, связанных крепкою взаимною симпатией, тем духовно-нравственным единением, которое разве можно передать заповедными словами: “...аз положу душу свою за други своя”»¹².

С поляками у Чернышевского в «конторе» установились, как и в Кадае, ровные дружелюбные отношения. Его демократичность и в этой среде, нередко высказывавшейся против интеллигенции и социалистов, располагала, связывала. «Они, — говорил полякам об интеллигенции и социалистах Чернышевский, — “добро людям хотели сделать”, а “их побили и ссылают”, это правда. Так ведь и вас тоже побили и сослали. А женам да детям по-прежнему плохо живется». Эти объяснения принимались, прочувствовались. «Не стал бы пан Чернышевский за них заступаться, если бы это не так было», — говорили поляки своим ксендзам и панам. И простые поляки глубоко уважали его, «с каким-то удивительным трогательным доверием они относились к нему и умели и шадить, и беречь его, с поразительной, только простолюдину свойственной деликатностью избегая всего, что могло бы огорчить или взволновать “пана Чернышевского”»¹³.

В «полиции» в окружении образованной и думающей молодежи Чернышевскому жилое увереннее, спокойнее. И комната его была побольше, посветлее, чем в «конторе». Быт его определялся общим укладом жизни каторжан, полностью себя обслуживающих. Стремясь оградить население каторги от влияния политических преступников, начальство, как и в Кадае, не посылало их на работы в рудники, и они имели время обихаживать себя, заводить огороды, поддерживая свой скудный стол. В Петербурге Чернышевский был совершенно свободен от каких-либо хозяйственных забот, принятых на себя Ольгой Сократовной. В Александровском заводе условия изменились, но его бытовая непригодность бросалась в глаза сразу же, и товарищи по заключению заботливо освобождали его от каких бы то ни было работ, хотя он постоянно порывался помогать им в повседневных делах. Домашних работ было немного: привезти воды из речки, почистить картофель, наколоть дров, поставить самовар, истопить печь. Не включая Чернышевского в ежедневные списки дежурных, ссыльные выражали тем самым, пусть, замечает Стахевич, и очень слабым способом, уважение к «патриарху нашей тюремной колонии, стержню». Но, живя «на квартире», а затем в «конторе», Чернышевский все же был вынужден как-то заниматься своим бытом. В письме от 5 января 1870 г. он сообщал жене: «Знаю теперь и хозяйство, — не сельское, разумеется, а домашнее: цену всякого найма, всякой вещи. Могу проверить всякий счет, не хуже всякого другого». «Вот как усовершенствовался. Поэтому не нахожу проведенного здесь времени потерянным», — с определенной долей иронии прибавлял он (XIV, 499).

На досуге играли в чехарду и городки. «Забавен он был, — вспоминал очевидец, — когда, вооружившись тяжеловесною палкою, стремительно направлял ее далеко не по направлению кеглей, увлекая с нею и себя». Развертывались и шахматные баталии. К шахматам он питал «немалую страсть», и «не знаю, — писал тот же мемуарист, — выигрывал ли кто из нас у него партию», так как зачастую «партнеру приходилось утрачивать терпение». «Выигрыш свой он сопровождал гомерическим хохотом, который далеко разносился по камерам»¹⁴. Но большая часть свободного времени уходила на разыгрывание пьес, о чем подробнее скажем ниже.

«Стержнем добродетели» или просто «стержнем» Чернышевского называли в шутку, признавая за ним непререкаемый умственный и нравственный авторитет. Очевидцы единодушно свидетельствуют о том, какое «сильное возбуждение мысли, страстную жажду знания» (П.Ф. Николаев) внушал Чернышевский каждому. Он сразу же делался центром, средоточием духовной жизни по-

литических каторжан. Судя по всему, главной его заботой было поддержание в «заключенниках»¹⁵ моральной стойкости, чувства собственного достоинства. «Он говорил: “Только бы они не замерзли” (в моральном смысле этого слова)», — вспоминал один из современников¹⁶.

Чернышевский знал, как часто царская каторга ломает души. В связи с этим уместно привести мнение одного из администраторов, много лет служившего в Сибири. «Политический ссыльный, — уверял он, — приносит убеждение, что весь итог прожитой жизни утрачен безвозвратно и потому: или кажется совершенно равнодушным ко всему окружающему, или является раздражительным, беспокойно-нервным»¹⁷. За время каторги Чернышевский был свидетелем многих человеческих драм, подтверждавших тяжелую справедливость суждения анонимного администратора. Взять хотя бы судьбу А.А. Красовского, сломленного каторгой. Можно привести также слова подполковника Купенкова, специально разрабатывавшего способы подавления личности политических преступников. В своем докладе от 14 июля 1867 г. он писал, что «лучшею мерою для уничтожения злоумышлений оказывается внезапное арестование и перевод в другие места лиц, играющих между ссыльными товарищами роль по своему развитию и влиянию». «Убежденный лично в карательном влиянии на арестантов одиночного заключения», Купенков предлагал «устроить в виде опыта человек на 25 одну тюрьму с одиночными заключениями в Александровском заводе Нерчинского округа как в центре сосредоточения более важных преступников и постоянного местопребывания коменданта»¹⁸. Рекомендуемые изобретательным подполковником меры постоянно применялись им и, по его наблюдениям, приносили ожидаемые результаты, вызывая у политических ссыльных отмечаемые современниками «равнодушие» или «раздражительность».

Товарищ Чернышевского по Александровскому заводу П.Д. Баллод справедливо увязывал «всю тяжесть каторги» со все учащающимися случаями столкновения каторжан друг с другом в мелочах; «мы, — писал он, — делались мелочными, обидчивыми; кроме того, конечно, мы испытывали тяжесть от потери нескольких лет, проведенных нами без всякого смысла для кого бы то ни было...» И Петр Баллод вспоминал, как Чернышевский советовал не углублять возникавшие споры, «предлагал их кончать какой-нибудь грошовой игрушкой». Мемуарист относит действия Чернышевского на счет всего лишь еще одной положительной черты его характера — миролюбия¹⁹. Ясно, что своим миролюбивым советом он полагал более далекие цели — сохранения, спасения их душевной чистоты.

Поразительно, но мемуаристы, представившие в руки позднейших исследователей ценнейший биографический материал о Чернышевском, редко задумывались об этой стороне их отношений с ним. Между тем, поддерживая в них постоянный интерес к интенсивной умственной жизни, он серьезно содействовал не только росту уровня их образованности, но и ненавязчиво, незаметно, тактично оберегал их, как умел, от напастей морального разложения и других последствий давления карательной машины каторги. И если современники особо отмечали, что «все каракозовцы выдержали и каторгу, и ссылку в якутские тундры, где они были первыми политическими ссыльными <...>, победив предубеждения якутов своим упорным трудолюбием, своим участием к нуждам населения и своей просветительной деятельностью», что все они «были сильные, одаренные люди», немалая заслуга в том принадлежала и влиянию Чернышевского на некоторых из них.

Разговор о Чернышевском времени каторги невозможен без выяснения его читательских возможностей.

Первая просьба о присылке книг и журналов содержалась в письме Чернышевского родным от 31 марта 1867 г. (XI, 493). Письмо Ольга Сократовна получила в мае, и А.Н. Пыпин (конечно, подбором книг и журналов занимался он) тогда же собрал посылку. В очередном письме от 27 июня того же года Чернышевский извещал о получении книг, которые «посланы весною». Но нужны были и журналы, и он настойчиво повторил: «Прошу, пусть будут мне присылаемы книги и журналы, русские и иностранные (журналы, а не газеты)» (XIV, 494). В августовском письме к жене: «Напомни родным, чтобы прислали мне книги и журналы» (там же). К концу года посылки пришли. В письме от 3 апреля 1868 г.: «Стали высылать мне журналы: “Вестминстерское обозрение”, английский “Атенеум”, “Revue des Mon-des” и “Вестник Европы” уже доходят сюда». Несколькими строками ниже дано уточнение: «Вестник Европы» «за прошлые годы» и «Revue des Mondes» «за прошлый год». — «Теперь, когда стал иметь довольно книг, дающих занимательное чтение, моя жизнь и вовсе сделалась очень похожа на ту, какую я вел в Петербурге. Не то что дни, — и недели летят так быстро, что и не замечаю, как пролетают» (XIV, 495). Еще раз речь о книгах зашла только в 1871 г. «Каких книг присылать мне? — Каких хочешь; только присылай», — писал он А.Н. Пыпину в январе, а в апреле сообщил о пришедшей посылке — «читаю без перерыва, — по целым месяцам» (XIV, 508, 510). Какие именно книги и журналы приходили, Чернышевский не указывает, лишь приведенный выше отрывок из письма 1868 г. содержал название пришедших журналов.

Состава библиотеки Чернышевского этого времени касаются и мемуаристы. И.Г. Жукову, например, хорошо запомнился много-томный лексикон Брокгауза на немецком языке²¹. Подробнее об этом написал С.Г. Стахевич. Он перечисляет книги на иностранных языках: немецкие издания – «Всемирная история» Шлоссера в 16 томах, 10 томов статей по истории Европы XIX века, «Энциклопедия Брокгауза («17 или 18 томов»), «Географический атлас» Штилера, газета «Наше время» («множество тетрадок»), «Жизнь и сочинения Дидро» Розенкранца, «Капитал» (первый том) и «К критике политической экономии» К. Маркса; на английском языке – «История индуктивных наук» Вебеля, «Основы политической экономии» Г. Маклеода, «Лекции о языке» Макса Мюллера; на французском – «Записки» М. Ролан, «Сравнительная статистика» Мориса Блока. Из книг на русском языке названы Библия, «Война и мир» Л. Толстого, роман «Что делать?», обзор «Истории славянских литератур» А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича, «Снеговик» Ж. Санд, «Один в поле не воин» Ф. Шпильгагена, восемь томов «Истории 18 столетия» Ф. Шлоссера, «История Франции» А. Рохау, «История умственного развития Европы» Д. Дрэпера, «Новая Америка» В. Диксона, «О богатстве народов» А. Смита, «Система логики» Д. Милля, «Огюст Конт и позитивная философия» Д. Милля, разные сочинения Г. Спенсера. Из газет С.Г. Стахевич называет одну – «Голос». Ее, ввиду запрета получать газеты, выписывали через знакомых купцов. «Газета поступала прежде всего к Н.Г. Чернышевскому, который просматривал ее днем, вечером она переходила в наше распоряжение»²².

Любопытны сведения об отдельных номерах «Современника», просачивавшихся к ссыльным. Упомянутый С.Г. Стахевичем роман «Что делать?» в ту пору существовал лишь в журнальном издании. Ссылаясь на указания ссыльнокаторжных Александровского завода, В.Г. Короленко фиксировал знание ими номеров «Современника» в его последние годы. В.Г. Короленко передал также рассказ С. Рыхлинского о Чернышевском, читающем «Современник»: «Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистовал ее, потом книга выскользнула у него из рук, он встал и быстро ушел к себе. Мы заметили у него на глазах слезы». Причиной столь глубокого переживания стали опубликованные Н.А. Некрасовым в «Современнике» верноподданнические стихи в честь спасителя Александра II крестьянина О.И. Комиссарова, подтолкнувшего руку Д. Каракозова в момент выстрела²³. Стихотворение Некрасова было напечатано в апрельской книжке «Современника» за 1866 г. Достоверность сооб-

щения вряд ли может быть серьезно поколеблена допущенной в мемуарном пересказе неточностью, позволяющей думать, будто Чернышевский получил «Современник» с почтой, тогда как в Кадае он книг и журналов не получал.

Переданное В.Г. Короленко воспоминание находит косвенное подкрепление в материалах, связанных с творчеством А.А. Красовского. В записной книжке Красовского после его смерти нашли письмо, адресованное Некрасову в связи со стихотворением «Осипу Ивановичу Комиссарову» («Не громка моя лира, в ней нет...»). Письмо начиналось стихотворной фразой «Беранже ты будешь с виду, но Катков душой...» Автор рекомендует поэту в искупление падения «1. Написать стихотворение, во всех отношениях превосходящее “Размышление у парадного подъезда”. 2. Быть за него высланным сюда, для занятия почетного места м<ежду> пок<ойным> М<ихайло>вым и еще живым Ч<ернышевски>м». Известная Красовскому публикация, конечно, не могла пройти мимо Чернышевского, которого автор письма упомянул особо. Однако о стихотворении Некрасова каторжане узнали не из журнала, а из газеты — «Газетная молва донесла и до наших отдаленных глухих нор отголоски ново-клубного вдохновения вашего, начинающегося словами: “Не громка моя лира...” — писал Красовский²⁴.

О политических взглядах Чернышевского этого периода можно судить по его высказываниям, сохранившимся в передаче современников. На первое место здесь следует поставить пространное рассуждение, записанное В.Н. Шагановым и воспринятое им и его друзьями как своеобразное «политическое завещание». Оно прозвучало в прощальной беседе, которая состоялась накануне их отъезда из Александровского завода. Речь шла о будущем русского народа, забота о котором составляла главный смысл деятельности демократов. В европейских странах со времени Руссо, говорил Чернышевский, «демократические партии привыкли идеализировать народ — возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию». «Ни один народ до сих пор не спасал сам себя», «самодержавие народа» вело лишь к передаче власти правителям или партиям, которые обычно использовали ее не в интересах народа. И все же, полагал Чернышевский, при власти партий «более вероятности сделать что-нибудь в пользу народа, чем при отсутствии всяких политических форм», поскольку народ всегда что-то выиграет от «борьбы партий», от победы одной партии над другой. «Как и прежде, в конце 50-х гг., когда указывал на неизбежность аграрного вопроса в будущем России, он и теперь, в конце 60-х и начале 70-х гг., — пи-

сал о Чернышевском В.Н. Шаганов, резюмируя его политические высказывания, — не ошибся, указав на неизбежность борьбы за свободу партий, за ослабление центральной власти. События самой русской жизни и ее направление, особенно со второй половины 70-х гг., оправдали мысли высокого ума»²⁵.

С этими воспоминаниями согласуются утверждения С.Г. Стахевича, писавшего о неоднократно повторяемых Чернышевским мыслях в пользу политической свободы, необходимой «для правильной жизни человеческого общества»²⁶. При этом Чернышевский резко высказывался против «прямолинейного революционерства». Об одном из их сотоварищей, М.Д. Муравском, он, например, говорил, что тот «принадлежит к разряду тех прямолинейных революционеров, которые не умеют да и не хотят принимать в соображение обстоятельства времени и места. В критические моменты народной жизни эти люди пронесут свое знамя через сцену действий; это они умеют делать и сделают. Но критические моменты редки и коротки; до них и после них надо махнуть на этих людей рукой; ничего из них нельзя извлечь или разве очень мало. Святые младенцы: святые — правда, но и младенцы — тоже правда»²⁷.

Приведенные мемуаристами высказывания вполне соответствуют статьям Чернышевского «современниковского» периода и тому, что слышали от него другие современники.

Особняком от этих воспоминаний встают свидетельства П.Ф. Николаева, уверявшего в приверженности Чернышевского к бланкизму. «Н. Г. был несомненным бланкистом», — суммировал он свои впечатления от бесед с ним²⁸. Между тем еще в статье «Кавеньяк» (1858) Чернышевский называл революционеров-заговорщиков типа Л.О. Бланки не иначе как «интриганами» (V, 22). Критические суждения в адрес бланкистов содержались в романе «Пролог» (XIII, 54). Он и в последующие годы, как увидим ниже, будет резко высказываться против подобного рода экзальтированных революционеров, непримиримых сторонников тайных обществ и социальных катастроф.

Примечания

¹ Воспоминания (1982). С. 292.

² ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1761. Д. 20. Л. 183. В комментариях к воспоминаниям С.Г. Стахевича обычно указывается поляк С. Рыхлинский, который в действительности был товарищем Чернышевского по Кадае. См.: Воспоминания (1982). С. 526; Воспоминания (1959). Т. 2. С. 107 (примечание 10).

- ³ Чернышевский в Забайкалье. С. 114.
- ⁴ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 5.
- ⁵ ГАЧО. Ф. 1. Оп. 2. Отд. полит. Д. 132. Л. 140—140 об.
- ⁶ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 9.
- ⁷ Чернышевский в Забайкалье. С. 114—115. Из архивного списка от 30 сентября 1868 г., вероятно, есть смысл привести первый алфавитный перечень: Баранцевич И., Баранцевич С., Баратынский В., Бороздин И., Василевский И., Войцеховский К., Вишневский К., Выджга Л., Доловец П., Зелинский Р., Зубок К., Кобылянский К., Калгинский А., Колаковский Ф., Кржишталович И., Кульвец Ю., Кинастовский И., Ленчевский Л., Ляховецкий Ф., Мирошников А., Матусевич И., Новицкий Ф., Неринг Р., Новаковский И., Осмольский А., Оссовский Л., Орловский Ф., Одржеховский К., Петров В., Подгорский Д., Пенский Г., Секура В., Сенкевич А., Стефановский В., Семашко А., Сурин П., Серафимович К., Турцевич М., Шульц А., Ярошевский Б. (ГАЧО. Ф. 1. Оп. 2. Отд. полит. Д. 132. Л. 139—140).
- ⁸ *Баллод П.Д.* Воспоминания о Чернышевском // Н.Г. Чернышевский. Сб. М., 1928. С. 46.
- ⁹ Дело народа. 1918. 18 мая.
- ¹⁰ Воспоминания (1982). С. 293—294.
- ¹¹ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 7.
- ¹² *Жуков И.Г.* Воспоминания... С. 251.
- ¹³ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 9—11.
- ¹⁴ *Жуков И.Г.* Воспоминания... С. 263, 264.
- ¹⁵ Слово заимствовано из статьи того времени: *Максимов С.В.* Государственные преступники // Отечественные записки. 1869. № 10. Отд. 1. С. 563.
- ¹⁶ *Виташевский Н.А.* Мнение Н.Г. Чернышевского // Каторга и ссылка. 1929. № 7. С. 86.
- ¹⁷ *Максимов С.* Политические ссылки // Отечественные записки. 1869. № 8. Отд. 1. С. 244.
- ¹⁸ Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 252, 253, 254.
- ¹⁹ *Баллод П.Д.* Воспоминания... С. 52, 54.
- ²⁰ *Брешковская Е.* Из моих воспоминаний. СПб., 1906. С. 17.
- ²¹ *Жуков И.Г.* Воспоминания... С. 258.
- ²² *Карякина А.В.* Круг чтения Н.Г. Чернышевского в Александровском заводе // Филологические науки. 1965. № 3 (31). С. 121—122.
- ²³ *Короленко В.Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 8. С. 51; Воспоминания (1959). Т. 2. С. 302.
- ²⁴ Красный архив. 1929. Т. 6 (37). С. 236.
- ²⁵ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 135—136.

²⁶ Там же. С. 73.

²⁷ Н.Г. Чернышевский. Сб. М., 1928. С. 82.

²⁸ Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 20.

6. Литературная работа

«Писать для Николая Гавриловича значило то же, что для рыбы плавать, для птицы летать, писать для него — значило жить» — наиболее удачное по фактической и психологической точности наблюдение, принадлежащее П.Ф. Николаеву¹.

К литературной работе Чернышевский приступил сразу же по прибытии на каторгу. Мы вправе судить об этом по вскользь сделанным упоминаниям в письмах его родных. Так, 19 декабря 1864 г. Евг.Н. Пыпина, пересказывая родителям содержание «недавно» полученного письма из Кадаи, между прочим сообщала: «Занимается какими-то своими работами. Конечно, перешлет потом». «Занимается, как прежде», — писал А.Н. Пыпин 29 декабря того же года. Никакими уточняющими подробностями мы не располагаем.

Отправным пунктом в предположении о том, какой же именно работой занимался Чернышевский, могут стать опирающиеся на уверенность самого Чернышевского слова Евг.Н. Пыпиной о предстоящей пересылке из Сибири трудов для опубликования — «конечно, перешлет потом». Что же мог он переслать? О критических и публицистических статьях речи, понятно, идти не могло. Переводной работой он не имел возможности заниматься ввиду отсутствия книг на иностранных языках. Научные труды исключались. Даже в Александровском заводе, когда некоторые книги начали поступать к нему, «ему нельзя было приступить к какой-нибудь крупной работе, для которой, как он сам говорил, ему нужно делать постоянные справки»³. Остается думать одно: в Кадае Чернышевский начал работу над каким-то художественным произведением.

Условия вынуждали его исключительно к этому виду творчества. Однажды власти допустили к печати роман «Что делать?». Логично было бы повторить попытку.

Посылая с оказией свои произведения в январе 1871 г., Чернышевский, как значится в составленном им «Списке бумагам и заметкам о них», вложил в пачку помимо других сочинений, о которых ниже, рукописи эпизодов из романа «Книга Эрато». «Я, — пояснял он родным, — работаю над нею уже больше двух лет» (XIV, 507), то есть приблизительно с середины 1868 г. К этому времени были на-

писаны романы «Старина» (послан до 1871 г.), «Пролог пролога» и «Дневник Левицкого» (это были части романа «Пролог», продолжавшего «Старину»), повесть «История одной девушки». Следовательно, роман «Старина» и его продолжение Чернышевский начал писать в Кадае. По крайней мере, В.Н. Шаганов уверял, что «Пролог пролога», «Дневник Левицкого» «задуманы и начаты» в 1865 г., «окончены лишь в 1868 г. в Александровском заводе»⁴. Пьесы, известные по александровскому периоду, он в Кадае не писал: «Не приходилось слышать от Чернышевского и о каких-либо опытах его в Кадае в драматическом роде»⁵.

Можно полагать, роман «Старина» был закончен к лету 1866 г. Полной уверенности в такой датировке у нас нет. Однако существует документ, публикация которого прежде не связывалась непосредственно с Чернышевским. Мы имеем в виду предписание К.Н. Шелашникова нерчинскому коменданту от 25 августа 1866 г. «В минувшем июне месяце, — писал иркутский генерал, — я сообщал на усмотрение г. шефа корпуса жандармов ходатайство одного из политических преступников, находящихся в работе в Нерчинских заводах о передаче рукописи его для напечатания в редакцию одного из русских журналов». По поручению графа Шувалова управляющий Третьим отделением известил, «что удовлетворение упомянутой выше просьбы политического преступника признано невозможным и что в случае поступления от политических преступников подобных просьб на будущее время не следует давать им хода»⁶. В предписании имя «одного из политических преступников» и место его пребывания не названы, поскольку они не названы и комендантом, несохранившееся обращение которого к генералу Шелашникову предшествовало переписке с Третьим отделением. Однако среди политических преступников, в то время отбывавших сроки на Нерчинских заводах, не было, кроме Чернышевского, другого литератора, столь озабоченного напечатанием в «одном из русских журналов» — М.И. Михайлов и Н.А. Серно-Соловьевич уже умерли, а В.А. Обручев, как видно из его воспоминаний, подобных попыток не предпринимал. Можно думать, Чернышевский, конечно, не объявляя своего авторства, воспользовался согласием кого-то из политических подать просьбу о передаче рукописи по официальной линии. Лишившись этой возможности, он отослал «Старину» с кем-то из уезжавших в Европейскую Россию.

В Александровском заводе беллетристическая деятельность Чернышевского продолжалась с особенной интенсивностью. Местное начальство не препятствовало ей, хотя и существо-

вал запрет иметь арестантам в тюрьмах письменные принадлежности (чернила, перья, карандаши и бумагу) — приказ генерал-губернатора Восточной Сибири от 11 сентября 1866 г. со ссылкой на доклад майора Купенкова, отобравшего у ссыльных «Устав общества изгнанников в Александровских казармах»⁷. Чернышевский, по его словам, уже цитированным нами, «был в очень хороших отношениях со всеми здешними официальными лицами», которые конечно же понимали нелепость запретов пользоваться письменными принадлежностями тем, кому, скажем, дозволялась переписка с родными.

Сравнение своей жизни в Александровском заводе с петербургской имело в виду не только беспрепятственное чтение, но и возможность писания. «Здесь, от нечего делать, выучился я писать занимательнее прежнего для массы; мои сочинения будут иметь денежный успех», — писал он жене в апреле 1868 г., надеясь на возможность публиковаться после отбытия срока каторжных работ (XIV, 497). А.Н. Пыпину в апреле 1870 г.: «К осени устроюсь где-нибудь так, что буду иметь возможность наполнять книжки журнала, какой ты выберешь, моими работами. Нужнее и выгоднее для журнала, конечно, беллетристические. Потому я и готовил больше всего в этом роде. Кое-что, может быть, окажется пока еще неудобно для печати. Но много есть и такого, что совершенно удобно, даже похвально с точки зрения благонравности. Например, нечто вроде арабских сказок и «Декамерона» по форме: роман; в нем бесчисленные вставные повести и драматические пьесы, — каждая годится для печати особо, — тут совершенно пригодного листов полтора журнала формата. <...> Много, много у меня наработано. Талант положительно есть. Вероятно, сильный» (XIV, 501). В этом преувеличении значительности своего беллетристического дара видится драматическое переживание невозможности оказания материальной помощи семье.

«Художественная жилка несомненно существовала у автора “Что делать?”. Всякий, кому пришлось послушать его простой и непринужденный разговор, не мог усомниться в этом», — писал П.Ф. Николаев⁸. Вспоминая один из рассказов, который «Николай Гаврилович, так сказать, читал нам, наизусть, т.е. без рукописи», С.Г. Стахевич свидетельствовал: «Этот рассказ запечатлелся у меня в памяти чрезвычайной яркостью изложения; все это как будто перед глазами живое проходило»⁹. О даровании Чернышевского-рассказчика, развертывавшего «в глухую зимнюю пору перед многочисленными слушателями своей аудитории блестящий свиток своей эрудиции», поведал еще один из современников¹⁰.

Писал он «прямо набело, не заботясь о слоге, на листах большого формата почтовой бумаги круглым, красивым, разборчивым почерком. Мешать ему во время этих занятий никто не решался»¹¹.

Корпус всего написанного Чернышевским в Кадае и Александровском заводе не поддается полному восстановлению. Сохранились сочинения, переправленные в Петербург в январе 1871 г. и поименованные в «Списке бумагам...»: роман «Пролог пролога» с «Дневником Левицкого», повесть «История одной девушки», четыре сюжета из «Книги Эрато» (пьеса «Драма из русской жизни», рассказы «Потомок Барбаруссы», «Кормило кормчему», «Знамение на кровле») (XIV, 506–507). Помимо произведений из этого «Списка бумагам...» уцелели две пьесы «Великодушный муж» и «Мастерица варить кашу».

Рукопись романа «Старина» утеряна. По одной версии, «посылка не дошла по назначению»¹², согласно другой — ее уничтожил А.Н. Пыпин вследствие идейных расхождений с Чернышевским и опасения обнаружить связи с опальным писателем¹³. Подобный упрек в адрес Александра Николаевича представляется совершенно бездоказательным.

Отправленная родным «пачка» составляла, по словам Чернышевского, «незначительную часть» приготовленного для печати. Однако все эти рукописи, кроме текстов указанных выше двух пьес, бесследно исчезли. Какие-то сочинения сжигались самим автором. «Он много читал и писал, но написанное, к сожалению, почти всегда уничтожал», — свидетельствовал П.Д. Баллод¹⁴. Вероятно, массовое уничтожение рукописей относилось к последним месяцам пребывания в Александровском заводе, когда надежды на поселение в крупном сибирском городе или вблизи него истаяли окончательно.

В научной литературе приобрело силу прочной традиции мнение о существовавшей романной трилогии: «Старина», «Пролог», состоящий из двух частей — «Пролог пролога» и «Дневник Левицкого за 1857 год», «Книга Эрато», имевшая также название «Рассказы из Белого Дома» или «Рассказы из Белого Зала»¹⁵. Опорой в объяснении именно такого авторского замысла обычно служили упомянутый «Список бумагам...» и воспоминания современников. Между тем свидетельства мемуаристов сбивчивы и противоречивы. В.Н. Шаганов, упоминая о «трилогии больших романов», называет «Пролог к прологу», «Дневник Левицкого» и «Пролог»¹⁶. П.Ф. Николаев уверял, что трилогия состояла из «Введения к прологу к прологу», «Пролога к прологу» и «Рассказов из белого дома»¹⁷. С.Г. Стахевич помнил чтение «Старины», «Пролога», состоявшего

из двух частей («Пролога к прологу» и «Дневника Левицкого»), и говорил о некоторых темах, намеченных Чернышевским для будущих «Рассказов из Белого зала»¹⁸. Ссылаясь на каракозовцев, Н.С. Тютчев назвал «Рассказы из Круглого зала» второй частью «Пролога», которая отсылалась «кем-то в Россию для перевозки за границу, но где-то дорогой пропала»¹⁹.

В «Списке бумагам...» все названия романов, привычно включаемых в состав трилогии, присутствуют. Однако связь между ними, указанная Чернышевским, не дает возможности, на наш взгляд, говорить о трилогии. Непосредственным продолжением «Старины» сам автор называет роман «Пролог пролога». О «Дневнике Левицкого» сказано: «Начало второй части “Пролога”, брошенное мной». Можно предположить из этого, что Чернышевским были задуманы три романа, имеющие общее название «Пролог», но образуют они не трилогию, а своеобразную дилогию: первая часть «Пролога» включала два романа — «Старину» и «Пролог пролога», вторую часть составлял роман «Дневник Левицкого». Отдельно от этого замысла Чернышевским упомянуты повесть «История одной девушки» и новый роман «Книга Эрато», представляющий собой самостоятельное художественное целое. По характеристике автора, это «многосложный роман», «энциклопедия в беллетристической форме» (XIV, 507). Автор намеревался включить в его состав множество романов, повестей, рассказов, пьес — «нечто вроде арабских сказок и “Декамерона” по форме», — объяснял Чернышевский А.Н. Пыпину (XIV, 501).

Мемуаристы объединяли «Рассказы из Белого Дома» («Книгу Эрато») с «Прологом» на том основании, что, как они припоминали по авторским чтениям вслух, Волгин с женою (действующие лица «Пролога») и их друзья уединились на Сицилию или острова Тихого океана и там в Белом зале какого-то замка вели душевные беседы, рассказывая друг другу различные истории. В устной импровизации Чернышевский вполне мог для легкости восприятия, достигаемой приданием повествованию знакомых черт связанности, указать на уже известные аудитории образы и характеры. «Вообще то, что я пишу, связано — один роман с другим, другой с третьим», — пояснял Чернышевский Ольге Сократовне, имея в виду, конечно, «Книгу Эрато» (XIV, 505)²⁰. Однако в «Списке бумагам...», когда необходимо было точно определить соотношение произведений друг с другом, Чернышевский строго и выверенно обозначил их жанровую самостоятельность. Напомним, что эти сведения содержатся в письме 1871 г. К этому времени значительная часть его слушателей уже разъехалась, и таким образом по отношению к их воспомина-

ниям «Список бумагам...» является более поздним документом, отражающим последнюю авторскую волю.

В пользу высказанного нами предположения о составе «Пролога» может служить обычно ускользающий от внимания исследователей факт, сообщенный М.Н. Чернышевским. Он называет отмеченную А.Н. Пыпиным дату получения «Пролога» и некоторых других сочинений Чернышевского — «июль 1870». «Сколько помнится, — писал Михаил Николаевич, — их доставил какой-то священник, приехавший в Петербург с Александровского завода»²¹. Подлинность заявления М.Н. Чернышевского не подлежит сомнению. Но точно так же не подлежит сомнению факт присылки Чернышевским рукописей, которые принято связывать с основным составом «Пролога», в 1871 г. с сопроводительным письмом и «Списком бумагам...». Противоречие снимается, если предположить получение А.Н. Пыпиным в июле 1870 г. рукописи, имеющей общее заглавие «Пролог» и заключающей пока лишь часть «Пролога» под названием «Старина». Пыпин и отметил у себя присылку «Пролога», а не «Старины». Письмо Чернышевского к А.Н. Пыпину от 29 апреля 1870 г. также получено им, судя по отметке, «в июле 1870 г.» (XIV, 865). Следовательно, «Старина», по нашему предположению, отправлена Чернышевским в апреле 1870 г. И не случайно письмо к Пыпину целиком посвящено литературным делам. Говоря о «совершенно невинном» содержании написанных повестей и пьес, оставшихся непосланными, Чернышевский замечал: «...Но не пусто. Этому можешь поверить; хоть бы я и уверял, что пусто, не поверил бы ты. <...> Есть и о России, — есть и о ней такое, что годится» (XIV, 501).

Текст «Старины» не сохранился, однако о его содержании можно судить по пересказам современников, слушавших его в чтении автора. Здесь, вспоминал С.Г. Стахевич, «изображалось наше провинциальное общество времен, непосредственно предшествующих Крымской войне». Главное лицо романа — Волгин, который по окончании столичного университета приезжает в глухую провинцию на службу и живет у родителей. Взаимоотношения с родными, знакомство с Платоновой, вскоре ставшей женой Волгина, описание чиновников, рассказ о крестьянском бунте, усмиренном властями, — таковы основные сюжетные линии этого произведения. Стахевич утверждал, что «беллетристический талант Николая Гавриловича проявился в “Старине” с большей силой, нежели в каком-либо другом из его произведений на поприще беллетристики»²².

Роман «Пролог пролога» был впервые опубликован по рукописной копии русским эмигрантским издательством «Вперед!» в Лондоне в 1877 г. Происхождение этого экземпляра рукописи до

сих пор не вполне выяснено. Автограф романа, как известно, Чернышевский отослал с оказией родным в Петербург, поясняя в сопроводительном письме от 12 января 1871 г.: «Прошу напечатать, сколько возможно по цензурным условиям. Если уцелеет хоть половина, и то хорошо. Я писал с мыслью издать во французск<ом> или английск<ком> переводе» (XIV, 506). Посылка дошла, и А.Н. Пыпин, заботившийся о сохранении права издания сочинений Чернышевского за его семьей, естественно, считал себя единственным владельцем рукописи. Надежды на ее опубликование в России не было никакой. Именно в 1871 г., разъяснял А.Н. Пыпин позднее, одна предпринимательница издала в Москве несколько произведений Герцена, напечатанных им прежде. «Слышно было, – писал Пыпин, – что должен был выйти 2-ой томик. Книжка по содержанию имела чисто литературное и вовсе не политическое значение, но Третье отделение не хотело допустить и этого, и чтобы сделать появление 2-го томика невозможным, испросило Высочайшее повеление, запрещающее вообще издание сочинений “государственных преступников”»²³.

Прошло пять лет, и за границей, а затем и в России возникли слухи о намерении жившего в Лондоне П.Л. Лаврова издать новое сочинение Чернышевского. В начале 1877 г. А.Н. Пыпин отправил через своего знакомого профессора-слависта М.П. Драгоманова, поселившегося в Женеве, два письма на имя П.Л. Лаврова с требованием остановить печатание романа, поскольку к тому времени уже было известно, что речь шла о «Прологе». Действие эмигрантов, объяснял он, может неблагоприятно отразиться на судьбе сосланного писателя. Но главное – нарушение прав собственности автора и его семейства. Пыпин полагал, что роман печатается по копии, которую скрытно от него изготовили близкие ему люди, М.А. Антонович или А.В. Захарьин, но они «отрекаются», и возможно, рукопись по неряшеству «попала от кого-нибудь из них в глупые руки». «Не знаю, чьими руками произведено воровство, но оно ясно», – писал Пыпин. В конце апреля П.Л. Лавров потребовал представить до 15 мая подлинное письмо Чернышевского о его авторских правах, однако уже в начале июня роман вышел в свет²⁴. Известно также письмо М.А. Антоновича к П.Л. Лаврову в поддержку требований А.Н. Пыпина²⁵.

Выясняя роль П.Л. Лаврова в этой истории, биограф Чернышевского Е.А. Ляцкий провел свое расследование и выяснил, что подозрения А.Н. Пыпина были напрасными, никто из лиц, которым он доверился, копии с хранившейся у Пыпина рукописи не снимал. «В распоряжении Лаврова оказался список романа, сделанный в

начале семидесятых годов М.Д. Муравским, находившимся в ссылке на Александровском заводе одновременно с Чернышевским. Муравский передал рукопись Г.И. Успенскому, который вручил ее Г.А. Лопатину, доставившему ее Лаврову». Печатаю роман, Лавров, разумеется, руководствовался желанием подчеркнуть значение личности Чернышевского в годы замалчивания его в русской печати. Все сведения о фактической стороне истории опубликования романа Е.А. Ляцкий получил от Г.А. Лопатина²⁶.

Изложенная Е.А. Ляцким версия долгие годы оставалась единственной²⁷. В подкрепление ее со ссылкой на П.Л. Лаврова один из современников заявил: в письме к А.Н. Пыпину П.Л. Лавров удостоверял получение рукописи редакцией «Вперед!» «от лица, безусловно пользующегося ее доверием с гарантией, что рукопись передана для печати по личному желанию автора, нарушать волю которого Лавров не считал себя вправе»²⁸.

Последующее изучение «копии Муравского» позволило предположить в ней следы четырех почерков, в том числе Чернышевского²⁹, и только специально проведенная графологическая экспертиза опровергла участие Чернышевского в изготовлении копии. Однако в некоторых случаях его рукой проставлена нумерация страниц и ему принадлежат обрывки фраз на оборотных сторонах трех листов. Следовательно, копия снималась в Александровском заводе с ведома Чернышевского; основным исполнителем был М.Д. Муравский, почерки трех его помощников не идентифицированы³⁰.

Высказанное в свое время А.Н. Пыпиным подозрение, будто копию с рукописи романа снял кто-либо из его окружения, на первый взгляд подтверждается опубликованной доверенностью О.С. Чернышевской, дарованной 22 февраля 1872 г. В ней право на издание всех сочинений Чернышевского, оригинальных и переводных, предоставлялось А.В. Захарьину. Таким образом, Захарьин мог, опираясь на волю жены Чернышевского, направить копию рукописи «Пролога» П.Л. Лаврову. Однако, полагаем мы, все же нет достаточно веских оснований думать, что расписка была вручена Захарьину, поскольку подлинник (автограф О.С. Чернышевской) так и остался в ее архиве, где он и был обнаружен много лет спустя. Известны также письма современников М.Д. Муравского, содержащие сообщения о его рассказах, связанных с Александровским заводом и встречами с Чернышевским³¹. Тем не менее в этих откровенных воспоминаниях М.Д. Муравского странным образом отсутствуют указания на роман «Пролог пролога», рукопись которого в то время находилась у него. В результате некоторый повод для сомнений в активной роли Муравского в связи с «Прологом» возникает, но приведенные

в печати материалы не отклоняют опирающееся на авторитетные свидетельства Г.А. Лопатина и П.Л. Лаврова утверждение об александровском происхождении копии рукописи. Дополнением к теме можно признать и свидетельство И.Г. Жукова, уверявшего, что рукописная копия романа была вывезена из Сибири караковцем И.С. Климовым в 1876 г. и переслана самим И.Г. Жуковым Г.И. Успенскому в начале 1880-х годов³². Указание на И.С. Климова как товарища Чернышевского по Александровскому заводу документально подтверждается архивным списком от 4 марта 1869 г.³³ Но к факту опубликования романа «Пролог пролога» за границей воспоминание И.Г. Жукова отношения не имеет, хотя оно и подкрепляет сведения о существовании сибирской, а не петербургской копии романа.

Отправляя рукопись в Петербург, Чернышевский одновременно высказал пожелание увидеть ее во французском или английском переводе. И П.Л. Лавров, сколько можно судить по сохранившемуся черновику его письма к М.П. Драгоманову, имел веские основания заявить, разъясняя отношение Чернышевского к «друзьям», то есть А.Н. Пыпину и М.А. Антоновичу. «Передача этой рукописи романа (написанного между 60–70 гг.) не “друзьям” доказывает уже, что автор находил ее в их руках бесполезною; и действительно, она была бы там бесполезна, так как она осталась бы под спудом...»³⁴ Итак, П.Л. Лавров печатал роман по копии рукописи, вывезенной из Александровского завода не без воли автора. И потому в споре А.Н. Пыпина с П.Л. Лавровым объективно правота сохранялась за вторым. Однако игнорирование заграничными издателями материальных интересов семьи Чернышевского привнесло в эту историю некоторый элемент поспешности, даже бестактности, и упреки А.Н. Пыпина в этом отношении не были безосновательными.

Роман «Пролог пролога», для краткости упоминаемый как «Пролог», написан в продолжение «Старины» с сохранением главных действующих лиц. Уже современники отмечали присутствующую в романе «примесь автобиографического элемента, примесь очевидную и довольно значительную»³⁵. Жанровое своеобразие «Пролога» составляет также очевидная политическая направленность. Выяснена историческая основа произведения³⁶. Установлен автобиографический колорит образа журналиста Волгина. Его жена, Лидия Васильевна Волгина, во многом напоминает Ольгу Сократовну Чернышевскую, которой автор посвятил свой роман – «той, в которой будут узнавать Волгину» (XIII, 5). Волгой Саратовной называли в шутку Ольгу Сократовну, имея в виду ее происхождение из Саратова. Ее девичья фамилия «Платонова» придумана, полагаем

мы, с использованием параллели Сократ – Платон. Сократом звали отца Ольги. В Левицком много сходства с Добролюбовым, а фамилия заимствована автором у рано умершего друга его юности Михаила Левитского³⁷. Прототипом Рязанцева, как полагают, послужил профессор К.Д. Кавелин, Савелову под стать крупный деятель высшей царской бюрократии Н.А. Милютин, Петру Степановичу (в романе без фамилии) – Я.И. Ростовцев или А.И. Левшин, Соколовскому – польский революционер С.И. Сераковский.

Название романа, можно думать, полемически противопоставлено тургеневскому «Накануне». Тургенев изображал события, намекавшие на необходимость единства всех национальных сил накануне освобождения крестьян от крепостной зависимости. В «Прологе» – как будто та же ситуация. Намереваясь создать «роман из начала шестидесятых годов», как значится в подзаголовке к произведению, Чернышевский останавливается пока на 1857 г. – «Пролог пролога», год официального объявления правительством создания губернских комитетов для выработки основных положений предстоящей реформы. Однако авторская позиция в корне иная, чем у Тургенева. Не накануне светлого дня, а вступление в драму – такова оценка внутривнутриполитического движения событий. По Чернышевскому, ни о каком объединении нации не может быть и речи. Точно так же истолковал роман Тургенева Н.А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?». Интересы высокопоставленных чиновников Чаплина и Петра Степановича, стремящихся сохранить и даже упрочить свои привилегии, никогда не совпадут с интересами народа. Заслугой автора явилось глубокое понимание непоследовательности взглядов Рязанцева и Савелова, либеральных реформистов, искавших способы улучшить, «заштопать», «залатать» существующее положение вещей и на этом пути готовых пойти на сделку с Чаплиным. Волгин (Чернышевский) понимает, что предлагаемое правительством и поддержанное либералами освобождение крестьян с землею, но за выкуп, не несет подлинного освобождения и является лишь новой формой замаскированного закабаления земледельца. Волгин объясняет радикально настроенному Соколовскому, но поддававшемуся либеральным иллюзиям: «...План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, – вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее; это будет только разорять их. Выкуп – та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли» (XIII, 188). Никто в русской литературе и пуб-

лицистике не смог подняться до подобного глубинного постижения существа готовившейся и вскоре проведенной реформы.

«Пролог» — единственное в русской литературе произведение, с реалистической правдивостью и разоблачающей прозорливостью изобразившее политический и нравственный лик либерала. С первых строк возникает ироническое описание «образованного Петербурга», восхищающегося «прекрасным началом своей весны», — намек на радужные ожидания реформ. Затем либеральное общество предстает в конкретных образах благородного Нивельзина, простодушного Илатонцева, наивного добряка Рязанцева, карьериста Савелова. Всех их объединяет политическая слепота, неумение разобраться в происходящих событиях и противостоять властям.

Политическая бесхребетность и неразборчивость оборачивается в личной жизни многих либеральных деятелей «Пролога» моральными потерями, нравственной несостоятельностью. Одно с другим тесно связано: каковы убеждения — таковы и поступки. «Единство социального и нравственно-интимного»³⁸ образует идейно-образную систему романа в целом. С неизбежной силой возмездия обманывается Нивельзин в чувствах любимой женщины, которая предпочла мужа-министра. Илатонцев поработшен предприимчивой Мери, извлекающей выгоды из отношений с богатым любовником. Ослепленный реформистским бумом, Рязанцев идет на прямую сделку с правительством, предавая интересы народа, о котором постоянно печется на словах. Савелов откровенно торгует женой в карьеристских целях.

Либералам в романе противостоят Волгин и Левицкий — люди зрелой мысли и высокой нравственности. По словам Волгиной, ее муж «раньше всех понимал, что нужно для пользы народа» (XIII, 90). Волгин убежден: освобождение крестьян должно быть полным и быстрым, «по мыслям народа, который говорит: господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье». Все выкупные операции с предоставлением крестьянам земли в их полную собственность должно, считает Волгин, принять на себя государство. Но этому не суждено сбыться. Монархическое правительство, больше всего заботящееся о сохранении дворянской собственности и связанных с нею привилегий, ни за что не пойдет навстречу крестьянам.

Но Волгин понимает и другую сторону дела: крестьяне не способны на сознательное политическое выступление, чтобы отстоять свои права. «...Нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом», — говорит Волгин. Привыкший к рабству народ не в состоянии постоять ни за себя, ни

за своих борцов, «нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы» (XIII, 140, 197).

Позиция Волгина, отрицающего реформы, не совпадает с позицией Чернышевского 1857 г., когда ведущий публицист «Современника» еще надеялся на осуществление аграрной реформы с помощью правительственных акций. Решительное наступление на либералов он повел только со второй половины 1858 г.³⁹ В «Прологе» он создает обобщенную картину своих выступлений в течение 1857–1859 гг. по крестьянскому вопросу, концентрируя в высказываниях Волгина позицию, занимаемую самим Чернышевским только со второй половины 1858 г. С другой стороны, ничего существенно нового, отличного от этой позиции сравнительно со временем написания «Пролога» в романе не содержится. С определенностью можно утверждать, что автор «Пролога» лишь укрепился в мыслях и идеях, высказываемых им в своих работах 1858–1862 гг.

Нет также полного совпадения образа Левицкого с Добролюбовым: смещены многие события, изменены обстоятельства личной жизни, подвергнуто переменам содержание дневника, реально существовавшего и хорошо известного Чернышевскому документу. Писатель и не стремился к буквальному биографическому повторению. Он создавал художественное произведение, одной из главных задач которого было изображение характера общественного деятеля нового типа. Дневник Левицкого как художественный прием в раскрытии образа явно перекликается с дневником Печорина в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Но если лермонтовский герой принадлежал к типу «лишних людей», склонных к бесплодной рефлексии, то Левицкий — «будущий руководитель русского общества». Он знает: «Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа. Я должен буду приберечь себя к тому времени» (XIII, 244). Осознанное служение народу — в этом состоит смысл его жизни. Он больше, чем Волгин, скептически оценивающий возможность народной инициативы, убежден во взрывной силе народного послушания — ведь «народу не так легко терпеть, как нам».

Чернышевский верил в актуальность идей, составивших содержание его романа и направленных к осознанию сложной эпохи шестидесятых годов. Не случайно он определенно высказывался за напечатание «Пролога» в России или за рубежом. Об отношении автора к факту опубликования романа в Лондоне можно судить по его отзыву о П.Л. Лаврове в беседе с Л.Ф. Пантелеевым в 1889 г.: «Да, глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу»⁴⁰.

Повесть «История одной девушки» – это история болезни Лизаветы Арсеньевны Свилиной, не сумевшей устроить свою жизнь и оставшейся одинокой. Ее болезнь происходит от скуки, от подавления в себе естественных потребностей женского счастья, основанного на семейной жизни (XIII, 356–456). Автор повести внушал читательницам мысль о необходимости полноценной жизни, обеспечивающей свободное и независимое развитие.

Сохранившиеся отрывки из «Книги Эрато» не раскрывают вполне замысла, внешнюю канву которого составила судьба некоей знатной итальянки, вдовы русского вельможи, которая вместе с детьми, родными и небогатыми друзьями поселяется на доставшейся ей по наследству фамильной вилле Капель-Бельпассо и затевает здесь с ними спектакли и литературные вечера. Эти развлечения, по объяснению Чернышевского, «дают рамку для бесчисленных эпизодов всяческого содержания» (XIV, 507).

Среди присланных рукописей – исторический рассказ «Потомок Барбаруссы», посвященный характеристике членов богатой семьи Капель-Бельпассо (XIII, 524–549). «...Продолжение этих рассказов, – пояснял автор, – охватит историю французской революции и т.д. до самых последних европейских событий». Особое внимание предполагалось уделить фигурам «всех эксцентричных руководителей крайней прогрессивной партии, от Бабефа до Маццини» (XIV, 507).

Сочинение прозы стало для Чернышевского привычным занятием. Но когда пошли пьесы, он, вероятно, и сам удивлялся своему драматургическому умению. Поводом послужил тамошний «тюремный театр», время от времени устраиваемый молодежью. Заметив увлечение своих товарищей театральными постановками пьес, вроде придуманной ими «Лизы, любящей всех», он взялся за составление небольших комедий, которые тут же разыгрывались импровизированными актерами. «Один из них играет женские роли», – сообщал Чернышевский жене в одном из писем. Тем самым они, прибавлял Чернышевский, «находят возможным не тяготиться своей судьбой» (XIV, 506).

Он «дал нашему театру три пьесы», – вспоминал П.Ф. Николаев⁴¹. Одна из них сохранилась не полностью, Чернышевский предполагал включить ее под названием «Драма из русской жизни» в «Книгу Эрато». В другом месте Чернышевский называет эту пьесу «Драмой без развязки» или «Другим нельзя». Ее сюжет связан с проблемой устройства семейного брака, основанного на предоставлении женщине права выбора (XIII, 457–523). Пьесу «Другим нельзя», по свидетельству П.Ф. Николаева, «хотели отослать в Петербург»⁴²

(в черновом варианте его мемуаров сказано: «...И мы хотели ее напечатать»⁴³). Из двух других пьес «Великодушный муж» и «Мастерица варить кашу» только вторая дошла полным текстом (XIII, 550–614). Возможно, пьес было больше. С.Г. Стахевич, например, вспоминает о «комедии-водевили без названия»⁴⁴. По одним воспоминаниям, перед отъездом в Вилуйск Чернышевский передал помощнику коменданта капитану Шеголеву «многое из своих рукописей и просил их сжечь»⁴⁵. И.Г. Жуков уверял: некоторые пьесы «в оригинале вывезены мною в Россию, вручены в 1876 г. некоему Григорьеву во время приезда его в Кураховку Екатеринославской губернии, где проживал я в ту пору, для передачи беллетристу г. Наумову»⁴⁶. Так или иначе, но со времени опубликования сохранившихся трех текстов М.Н. Чернышевским в 1906 г. в составе первого «Полного собрания сочинений» Н.Г. Чернышевского не было обнаружено ни одного нового текста.

Сочиненные сцены наполнены аллегориями. По крайней мере именно так они воспринимались «артистами». По поводу «Мастерицы варить кашу», где изображена самодурка-мошенница барыня, обманом завладевшая деньгами своей воспитанницы, П.Ф. Николаев писал, что здесь иносказательно имелась в виду идея «освобождения народа от уз деспотизма и служащей ей бюрократии»⁴⁷. В недошедшей комедии без названия высмеивались либералы, литератор и юрист, трусливо пресмыкающиеся перед тираном, истязующим свою жену. В конце пьесы и тиран, и «культурные люди» выгнаны старым слугой, по мнению мемуариста, представителем народа⁴⁸. Включенные в «Книгу Эрато» аллегорические рассказы «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» также проводят идею спасения людей от бедности через усвоение правды, с которой пришел к ним ученый Пожиратель Книг⁴⁹. Чернышевский и на каторге оставался политическим и нравственным воспитателем, умело направляя слушателей на серьезные размышления о человеке труда, о судьбах России.

Примечания

¹ Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 24.

² Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XVII.

³ Баллод П.Д. Воспоминания... С. 46.

⁴ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 129.

⁵ Жуков И.Г. Воспоминания... С. 252.

⁶ Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 248.

- ⁷ Там же. С. 249.
- ⁸ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 13.
- ⁹ Воспоминания (1982). С. 306.
- ¹⁰ *Жуков И.Г.* Воспоминания... С. 264.
- ¹¹ Там же. С. 258.
- ¹² Летопись. С. 377. С романом «Старина» можно связать следующее упоминание А.Н. Пыпина в его письме к Чернышевскому конца 1885 г.: «Когда-то ты задумал и частично исполнил рассказы на тему “Старина” и “Наша улица” — эти начинания или не были доведены до конца или пропали» (Лит. наследие. Т. III. С. 558).
- ¹³ *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 180, 263; *Тамарченко Г.Е.* Чернышевский-романист. Л., 1976. С. 388–389.
- ¹⁴ *Баллод П.Д.* Воспоминания... С. 45.
- ¹⁵ См.: *Николаев М.П.* Творческий путь Н.Г. Чернышевского как художника слова: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1964; *Скафтымов А.П.* Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского // *Скафтымов А.П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972; *Тамарченко Г.Е.* Чернышевский-романист. Л., 1976; *Руденко Ю.К.* Чернышевский-романист и литературные традиции. Л., 1989.
- ¹⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 129.
- ¹⁷ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 41.
- ¹⁸ Воспоминания (1982). С. 300, 304, 306.
- ¹⁹ *Тютчев Н.С.* В ссылке и другие воспоминания. М., 1925. Кн. III. Ч. II. С. 76.
- ²⁰ Содержательное исследование принципа циклизации в художественной системе Чернышевского см.: *Руденко Ю.К.* Чернышевский-романист и литературные традиции. Л., 1989.
- ²¹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 2. С. XLIII. Как указывалось нами выше, обязанности священника в Александровском заводе в те годы исполнял Стефан Попов (ГАЧО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 3522. Л. 4). Неясно, на каком основании утверждается, будто роман «Старина» «закончен и отправлен Пыпину в 1871 году» (*Тамарченко Г.Е.* Чернышевский-романист. Л., 1976. С. 387).
- ²² Воспоминания (1982). С. 300–303.
- ²³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 548. Л. 27–27 об.
- ²⁴ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 2. С. XLI–XLVIII.
- ²⁵ Русская мысль. 1911. № 9. С. 143.
- ²⁶ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 2. С. XXXVII–XXXVIII.
- ²⁷ См., напр.: *Водовозов Н.В.* Политическая борьба вокруг напечатания «Пролога» // *Чернышевский Н.Г.* Пролог. М.; Л., 1936. С. VIII–XIV.

- ²⁸ Кулябко-Корецкий Н.Г. Из давних лет. Воспоминания лавриста. Л., 1931. С. 68–69.
- ²⁹ Курточкина Г.П. Роман Н.Г. Чернышевского «Пролог»: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1951; Шульгин В.Н. Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 196.
- ³⁰ Николаев М.П. Из истории публикации романа Чернышевского «Пролог» // Русская литература. 1971. № 3. С. 85–86.
- ³¹ Пинаев М.Т. Еще раз к истории лондонского издания романа Н.Г. Чернышевского «Пролог» // Русская литература. 1972. № 3. С. 127–128.
- ³² Жуков И.Г. Воспоминания... С. 255. Эту историю мемуарист связывал с романом «Старые годы» («Старина»), где, как пишет он, изображались «деятели по освобождению крестьян». Но эти изображения содержались не в «Старине», посвященной началу 1850-х годов, а в «Прологе», и рассказ И.Г. Жукова, конечно, имеет в виду именно роман «Пролог».
- ³³ Чернышевский в Забайкалье. С. 115.
- ³⁴ Травушкин Н.С. Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978. С. 71–72.
- ³⁵ Воспоминания (1982). С. 303.
- ³⁶ Скафтымов А.П. Исторические пояснения к персонажам романа // Чернышевский Н.Г. Пролог. М.; Л., 1936. С. 479–533. См. также его примечания: XIII, 889–901).
- ³⁷ Подробнее см.: Научная биография (1828–1853), раздел «Михаил Левицкий». Ч. 1. С. 100–106.
- ³⁸ Николаев П.А. Историзм в художественном творчестве и литературоведении. М., 1983. С. 183.
- ³⁹ Подробнее см.: Научная биография (1853–1858), разделы «Помещик А.С. Зеленой», «Записка Кавелина», «В должности редактора».
- ⁴⁰ Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 234, 542.
- ⁴¹ Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 25–26. См.: Николаев М.П. Тюремный театр // Чернышевский. Вып. 6 (1971). С. 243–249.
- ⁴² Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 30.
- ⁴³ Трофимов И. «Кто знал его, забыть не может» // Дружба народов. 1978. № 8. С. 282.
- ⁴⁴ Воспоминания (1982). С. 298.
- ⁴⁵ Яшарова Л.А. Н.Г. Чернышевский на Александровском заводе // Омский альманах. 1940. Кн. 2, С. 193.
- ⁴⁶ Жуков И.Г. Воспоминания... С. 270.
- ⁴⁷ Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 30.

⁴⁸ Там же. С. 26–27.

⁴⁹ См: *Коломийцева Е.Ю.* Антиутопические элементы в рассказах Н.Г. Чернышевского «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» // Вестник Ставропольского гос. пед. ун-та. Филологические науки 1999. Вып. 22. С. 55–62.

Глава вторая В Вилюйском остроге

7. Новое преступление властей

Александр II знал, ссылая Чернышевского и милостиво сокращая наполовину срок каторги, что из сибирской тюрьмы он писателя не выпустит. Эта трагическая предопределенность судьбы открылась Николаю Гавриловичу не сразу. Поначалу он производил впечатление человека, лишь временно прервавшего главное занятие своей жизни — литературную деятельность. «Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит — особого рода реклама», — говорил Чернышевский в июне 1864 г. С.Г. Стахевичу во время встречи в тобольской тюрьме. При всей горькой ироничности слов писателя в них содержалась и услышанная мемуаристом надежда — пройдет, мол, срок наказания, будет освобожден, восстановлен в правах и снова примется за журналистику. «Если таково было его тогдашнее мнение — какое жестокое последовало разочарование!» — писал С.Г. Стахевич, свидетель его драмы¹.

По действующему правилу ссылнокаторжные, положительно аттестованные местным начальством, попадали под действие разного рода льгот, устанавливаемых высшей властью. Подобных манифестов за время пребывания Чернышевского на каторге было несколько: 16 апреля и 28 октября 1866 г., а также 25 мая 1868 г. Апрельские «Высочайше дарованные милости политическим преступникам» касались преимущественно участников польского мятежа. Приказом Председательствующего в Совете Главного управления Восточной Сибири генерал-лейтенанта К.Н. Шелаш-

никова этот манифест не распространялся на Чернышевского и еще десятерых человек (А.А. Красовского, Н.В. Васильева, И.Г. Жукова, Д.Т. Степанова, Л. Масло, С.Г. Стахевича, Н.Н. Волкова, Влоцкого, Э. Крушевского, М.Д. Муравского) «как сужденных за государственные преступления»². Действием следующего манифеста от 28 октября 1866 г. срок Чернышевского сокращался на одну четверть³. От назначенной ему семилетней каторги это составляло один год и девять месяцев. Пребывание Чернышевского в тюрьме заканчивалось теперь 10 октября 1869 г. Не затрудняя себя точными подсчетами, генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков сообщил в Третье отделение 26 марта 1868 г., что в соответствии с прошедшим манифестом Чернышевский будет освобожден «в 1869 г. или в начале 1870 г.». Раньше этих событий П.А. Шувалов 21 ноября 1867 г. просил сообщить список арестантов, участь которых могла бы быть облегчена, о Чернышевском здесь не было ни слова. М.Н. Чернышевский, впервые опубликовавший эти два документа, вполне резонно связывает их с вскоре тщательно продуманным и разработанным планом новой расправы с писателем⁴.

Получив от М.С. Корсакова сведения о Чернышевском, П.А. Шувалов направляет в Иркутск 25 мая 1868 г. секретное письмо за № 1385. Документ в печати известен. Из него обычно приводят строки, рекомендующие обратить «особое внимание» на Чернышевского и Огрызко⁵. Между тем упускается из виду существенная подробность: свое письмо шеф жандармов подписал в день объявления нового манифеста, по которому предоставлялись различные льготы всем ссыльнокаторжным, осужденным до 1 января 1866 г.⁶ В письме П.А. Шувалов запрашивал данные о поведении Н. Чернышевского, И. Огрызко, Н. Васильева и Н. Волкова, чтобы решить вопрос о распространении на них дарованных манифестом от 25 мая 1868 г. «Высочайших милостей», и только потом следовало особое указание на Чернышевского и Огрызко, «заявивших крайне опасное свое направление»⁷. Иными словами, П.А. Шувалов ясно давал понять, что в Иркутске не должны торопиться с применением к Чернышевскому (он, конечно, а не Огрызко более всего беспокоил шефа жандармов) каких-либо послаблений. Но понимал П.А. Шувалов и другое: сам Чернышевский не даст повода задержать на сколько-нибудь серьезных основаниях применение к нему нового манифеста, и участь его будет облегчена естественным законным ходом дела. Главный жандарм России решил на этот раз не промахнуться и своевременно проконтролировать течение событий, не допуская распространения на Чернышевского объявленных льгот. Шуваловское письмо за № 1385 еще не пришло в Иркутск, а он уже теле-

графирует генералу К.Н. Шелашникову (получено 5 июля 1868 г.): «Цель эмиграции освободить Чернышевского. Прошу принять все возможные меры относительно его»⁸. В тот же день К.Н. Шелашников отдал соответствующее распоряжение нерчинскому коменданту А.Е. Кноблоху, и тот рапортовал 16 июля, что Чернышевский, живший год на «вольной квартире», возвращен в тюрьму (этот эпизод рассмотрен в предыдущей главе нашей книги). В этих условиях применение к Чернышевскому манифеста от 25 мая становилось невозможным. В рапорте от 3 сентября 1868 г. А.Е. Кноблох напоминал начальству, что изданный для политических преступников манифест «не применен по сие время к преступникам государственным», между тем они того, по мнению коменданта, вполне заслуживают. Содержащиеся в тюрьмах государственные преступники Н. Чернышевский, Н. Васильев и Н. Волков вели себя «очень хорошо», «вообще, — писал он, — государственные преступники из русских отличаются здесь перед всеми другими кротостью, благонаравием и безропотным перенесением определенного им наказания», применение к ним манифеста оказалось бы для них «высоким благодеянием»⁹. Ответом было: упомянутых лиц «оставить на содержании в тюрьмах и, не употребляя в работы, облегчить им по возможности настоящее их положение, продолжая в то же время иметь за ними неослабное наблюдение». «Я, — пояснял М.С. Корсаков в письме к П.А. Шувалову от 29 октября 1868 г., — не считаю удобным обращать преступников Чернышевского, Васильева, Волкова и Огрызко на поселение», поскольку «нельзя поручиться, что оные не совершат побега или какого-либо другого преступления, так как надзор за преступниками, проживающими на свободе, чрезвычайно затруднителен и при обширности и малочисленности здешнего края, а равно при нахождении в среде коренного населения массы ссыльных русского и польского происхождения, вполне надежно обеспечен быть не может». Шеф жандармов, привычно перевавав тяжелую корсаковскую фразу, вполне с ним согласился¹⁰. В представленном М.С. Корсаковым списке подлежащих амнистии против фамилии Чернышевского появилась резолюция: «По особому распоряжению шефа жандармов действию Высочайшего повеления не подлежит»¹¹.

О всей этой переписке высших чинов Чернышевский, разумеется, не знал, но он не мог не чувствовать перемены в худшую сторону. Первые его предположения о сроках окончания каторжных работ высказаны в письме к жене от 18 апреля 1868 г. «Лучше отложи свиданье со мной на год, — писал он. — К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет

переехать на ту сторону Байкала, — и нет сомнения, это будет сделано, потому что все хорошо расположены ко мне. Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске, — или даже в Красноярске» (XIV, С. 496—497). Он писал это, находясь на квартире и полагая, что сокращение его срока на одну четверть приблизит конец каторги. Но вот его снова заключают в тюрьму, льготами по манифесту он обойден, и в письме от 7 июля 1869 г. сообщает: «В следующем июле придет мне время переместиться отсюда поближе к России (по правилам, по которым считаются сроки, один год из семи выбрасывается)» (XIV, 498). Об июле 1870 г., как вероятном времени освобождения, он писал и в январе (XIV, 498—499). 29 апреля уверенно заявил: «10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему» (XIV, 500). 5 июля: «Срок моего пребывания здесь — 10 августа» (XIV, 501). Следующее письмо датировано 12 октября 1870 г., и в нем о скором освобождении ни слова. Наконец в письме от 12 января 1871 г. изложил свое понимание случившегося. Он предполагал, что в Иркутске или Петербурге по недоразумению или незнанию срок его каторги ведут на полные семь лет, тогда как, согласно Своду законов, после первых полутора лет каждый год считается за десять месяцев, следовательно, весь срок составляет семьдесят три месяца. Но теперь, уверял он, 10 июля 1871 г. — окончательная дата; «преднамеренного нарушения закона я не хочу предполагать ни в каком ведомстве, ни в чьем желании» (XIV, 503—504).

Он сдержан в письме, оберегая жену от волнений. Но переживал глубоко, догадываясь, конечно, о неслучайности задержки разрешительных документов. Новый генерал-губернатор Восточной Сибири Н.П. Синельников, посетивший Александровский завод в начале июля 1871 г., подтвердил: какая-то задержка есть, «в чем она состоит, — писал Чернышевский 16 августа, — он не мог сказать мне; но сказал, что, по его мнению, она устранится в непродолжительном времени» (XIV, 510). Генерал, разумеется, знал обо всем. Врач В.Я. Кокосов в разговоре с Н.П. Синельниковым там же на Александровском заводе указывал на состояние здоровья Чернышевского, требующее поддержки, напомнил об истечении срока заключения и необходимости переселения в более подходящее для поправления здоровья место. «Ледяным тоном» генерал отослал врача. Чернышевский держался мужественно и бодрился, но, вспоминал В.Я. Кокосов, однажды довелось подсмотреть «глубокую, невыразимую тоску», передающую тогдашнее его «душевное состояние»¹².

Сохранившиеся официальные документы, опубликованные лишь частично, воссоздают картину перевода Чернышевского из Александровского завода во всех драматических подробностях.

Сведения «наверх» об окончании каторжного срока были поданы нерчинским комендантом своевременно, «так заблаговременно, что ответ должен был прийти раньше того числа», — писал Чернышевский, имея в виду 10 августа 1870 г. (XIV, 503). Исходные архивные данные этого документа — 18 мая 1870 г., № 616. Здесь указывалось время поступления в каторжные работы — 10 июля 1864 г. и время их окончания — 10 августа 1870 г.¹³ Этот срок составлял семьдесят три месяца, о которых писал Чернышевский, ссылаясь на Свод законов. Таким образом, льготы, следовавшие ему по манифесту от 28 октября 1866 г., в расчет уже не входили, они как бы автоматически отменялись приведенным выше распоряжением П.А. Шувалова, касающимся неприменения к Чернышевскому положения манифеста от 25 мая 1868 г.

Спустя месяц после получения рапорта А.Е. Кноблоха (срок вполне обычный), генерал-губернатор Забайкальской области Н.П. Дитмар сообщил в ответ в конфиденциальном письме (15 июня 1870 г., № 774), что распоряжение о Чернышевском «сделает высшее правительство»¹⁴. Соответствующие бумаги пошли в Иркутск, и в докладе генерал-лейтенанта К.Н. Шелашникова генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову от 2 июля 1870 г. за № 846 говорилось о необходимости отдать нерчинскому коменданту приказание, чтобы «Чернышевский впредь до особого распоряжения содержался в заключении»¹⁵. В начале августа М.С. Корсаков получил из Третьего отделения особое, за подписью генерала Н.В. Мезенцева письмо от 20 июня 1870 г. с просьбой дать «предположение» относительно Чернышевского¹⁶. 12 августа М.С. Корсаков шлет на имя П.А. Шувалова шифрованную телеграмму: «Срок работ Чернышевскому кончился 10 августа. Закон требует отправить на поселение. По письму вашему № 1385 следует предварительно войти в соглашение. Если будет свободен, отвечать за целостность нельзя. Как поступить»¹⁷. Укажем на важную подробность в этом документе, на которую исследователи обычно не обращали внимания, — ссылка на письмо за № 1385, подробно рассмотренное нами выше. В нем Чернышевский характеризовался, как и прежде, преступником, заявившим «крайне опасное свое направление» и потому, как это ясно читалось между строк, не заслуживающим снисхождений. Но одно дело намек в письме в связи с льготами ссыльнокаторжным по манифесту от 25 мая 1868 г., другое — необходимость решения «по закону», предписывающему освобождение Чернышевского

ввиду окончания срока приговора. По этому поводу потребовалось «предварительно войти в соглашение» с Третьим отделением, как о том пишет в своей телеграмме М.С. Корсаков. Генерал К.Н. Шелашников составляет 24 сентября 1870 г. специальный доклад за № 1186 в заседании Главного управления Восточной Сибири, и здесь сообщается, что генерал-губернатор М.С. Корсаков выезжает в Петербург, чтобы вместе с шефом жандармов П.А. Шуваловым решить наконец «вопрос о Чернышевском»¹⁸.

Как видим, дело Чернышевского находилось полностью в руках Главного начальника Третьего отделения. Свою основную задачу П.А. Шувалов видел в отыскании способов оставить Чернышевского в тюремном заключении и тем самым лишить его возможности выступать в печати. Для этого нужно было обойти закон, по которому Чернышевский, отбыв наказание, имел право на поселение в Сибири согласно утвержденному императором решению Государственного совета от 7 апреля 1864 г. Совмещением незаконного требования (продолжение тюремного заключения) с законным пунктом приговора («поселить в Сибири навсегда»¹⁹) Шувалов надеялся соблюсти декорум, придать окончательному решению законный вид.

Первый же документ, открывший вереницу подготавливаемых актов, с очевидностью обнаруживал набор неправых средств, обусловливавших неправую цель. Это была записка о Чернышевском, составленная по заданию шефа жандармов начальником 3-й экспедиции Третьего отделения статским советником А.Ф. Шульцем. Записка составлялась наскоро, и в этой торопливости автор не потрудился даже справиться с документами процесса Чернышевского 1862–1864 гг. В ход пошли самые нелепые обвинения: подстрекал студентов в 1861 г., участвовал в распространении возмутительных листов, написал «Воззвание к войску» и «Что нужно народу», находился в сношениях с лондонскими эмигрантами Герценом и Огарёвым, устроил из своей квартиры сборный пункт подозрительных личностей, являвшихся переодетыми по ночам. Судя по всему, основным источником для записки стали агентурные сведения о Чернышевском, многие из которых в свое время были отвергнуты даже следственной комиссией. Но главной виной, как и прежде, объявлялась приверженность редактора «Современника» социалистическим убеждениям²⁰.

Весь этот наспех состряпанный набор обвинений не мог казаться убедительным, тем более что за свои убеждения и прочие провинности перед правительством писатель уже отбыл наказание. И тогда в спешном порядке к тексту записки подверстывается справ-

ка, призванная доказать продолжающееся вредное влияние Чернышевского на общество. Сообщено о попытке некоего Кунтушова содействовать побегу Чернышевского, для чего с собранными в Петербурге и других городах двумя тысячами рублей «он обязался добраться до Чернышевского и ему их вручить». На полях документа пометки (вероятно, П.А. Шувалова): «По какому делу?», «Когда?», «Подтверждается ли это показаниями других?». Они показывают, насколько неподготовленными, непроверенными оставались сведения, которым придавалось значение дополнительных компрометирующих фактов. В приложенной к записке Шульца справке сказано также об участии нескольких арестованных лиц «в тайном сбыте сочинений Чернышевского, печатаемых в Женеве Элпидиным». Упомянуто о фотографических портретах Чернышевского «разных величин», найденных при обысках. Заявлено: «В захваченной переписке арестованных лиц ясно видно влияние учений Чернышевского и поклонение ему, доходящее до знания наизусть именно тех мест его сочинений, в коих сосредоточена суть его учений»²¹.

Третьеотделенские чины трудились споро, и уже 4 сентября 1870 г. Шувалов вошел к царю с «Всепопданнейшим докладом о политическом преступнике Чернышевском». В первой части важнейшего для судьбы писателя документа подтверждается право узника на освобождение от каторжных работ «с обращением на поселение». Но тут же сообщается об опасениях генерал-губернатора Восточной Сибири и об их совместном решении пока не освобождать опасного политического преступника. Затем приводятся подготовленные Шульцем материалы, заключающиеся выводом: источником раскрываемых правительством новых политических преступлений в России служат «агитаторская деятельность Чернышевского и идеи, развитые в его сочинениях». Влияние Чернышевского, говорится в докладе, возрастет в случае его побега за границу, где он вскоре же сделается «центром нигилизма и вождем тех опасных попыток, к которым у нас, к сожалению, склонны вредные личности из молодежи». В заключение П.А. Шувалов просил разрешения вынести вопрос на заседание Комитета министров, поскольку «обращение Чернышевского на поселение в настоящее время предоставляется ему законом» и «продолжение содержания его в тюрьме было бы отягчением наказания, которое ему положено судом»²².

В верхней части первого листа копии доклада, по которой позднее текст воспроизводился в печати, сделана пометка: «На подлинном рукою генерал-адъютанта графа Шувалова написано: “Высочайше повелено исполнить согласно с соображением”»²³. Первый шаг к расправе с писателем Шувалов сделал: царь утвердил неза-

конное, хотя и временное, содержание Чернышевского в тюрьме вплоть до окончательного решения вопроса о его судьбе.

5 сентября Шувалов направил свой доклад председателю Комитета министров П.П. Гагарину, 12 сентября эту «записку» Шувалова запросил министр внутренних дел А.Е. Тимашев²⁴. В совершении беззакония инквизитор Шувалов, опираясь на Высочайшее волеизъявление, повязал круговой порукой всех первых лиц государства.

На своем заседании 15 сентября 1870 г. Комитет министров, разумеется, согласился с действиями П.А. Шувалова и М.С. Корсакова и предписал «приступить к отысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закона, в разряд ссыльнопоселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устраняли всякие опасения насчет его побега и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению»²⁵. Резолюция Александра II от 25 сентября: «Исполнить»²⁶.

Получив выписку из журнала заседания Комитета министров, Шувалов 30 сентября направил ее Корсакову. В сопроводительном письме он просил указать «подходящее место и обстановку для поселения» и «долгом счел присовокупить», что пока Чернышевский «должен содержаться в тюрьме на прежнем основании»²⁷. На черновом варианте письма пометка Шувалова: «переговорить»²⁸. Личные контакты с Корсаковым намного упрощали дело, не оставляя следов на бумаге.

М.С. Корсаков хорошо знал свой край, и выбрать для Чернышевского самое «подходящее» место не составляло труда. Например, в сентябре 1867 г. якутский губернатор докладывал Главному управлению Восточной Сибири о практике поселения в Якутии политических ссыльных за «дурное поведение»: «...Особенные известные Вашему Высокопревосходительству местные условия климата и образа жизни якутов, а главное уединенное от товарищей своих жительство делает ссылку в Якутской области для политических преступников настолько тягостною, что я полагал бы справедливым доставить им возможность выхода из этого положения чрез доброе поведение и безусловное повиновение к распоряжениям правительства»²⁹.

Корсаков ответил Шувалову 28 октября, точно обозначив свое, удобное руководителю Третьего отделения, понимание вопроса: «...С одной стороны, выполнить в точности на основании закона приговор, состоявшийся над Чернышевским, а с другой, принять меры к устранению возможности побега и продолжения его преступной деятельности». Корсаков предложил план поселения Чер-

нышевского в Якутской области, а именно в Вилюйске под бдительным надзором двух казаков и секретным досмотром местного пристава, разместить же его в доме, где жили два поляка-повстанца. «Ввиду того, — писал Корсаков, — что ему не дозволены будут отлучки с места причисления и в Вилюйске невозможно будет сыскать средств к существованию, назначить ему на содержание сумму, сообразно с существующими ценами на предметы довольствия»³⁰.

Вот и определено место для Чернышевского, хотя еще и не утверждено окончательно. Вилюйск означал полное одиночество и лишение возможности получить журнальную или какую-либо другую литературную работу. Содержание в доме под постоянной охраной и с запрещением отлучек — тюрьма. Тюремный режим подчеркивался выдачей ежемесячной казенной суммы для существования. Такое безусловное ограничение свободы лишь на бумаге могло считаться исполнением закона о переводе на поселение. На деле это означало бессрочное продление приговора 1864 г. с назначением жительства в несравненно более худших условиях, чем в Кадае или Александровском заводе.

Шувалов с готовностью принял предложение Корсакова. С министрами внутренних дел и финансов согласование всех условий охраны и содержания государственного преступника прошло, как и ожидалось, без малейшей осечки³¹. И в архивном деле Чернышевского появляется запись документа, раскрывающего существо разыгранного Шуваловым трагического фарса. Жандармский канцелярист занес в дело название документа — «Копия с представления г-на Главного Начальника 3-го отделения за № 4476 в Комитет министров относительно облегчения участи бывшего литератора — политического ссыльного Чернышевского — находится у графа Петра Андреевича Шувалова (также и записка министра внутренних дел)»³². «Облегчением участи» обозначено содержание нового сочинения Шувалова, имевшего официальное название «Записки по делу о порядке обращения ссылокаторжного Николая Чернышевского в разряд ссыльнопоселенцев»³³. По своим названиям документы о Чернышевском придерживались закона, по содержанию — противоречили закону. Дата представления «Записки» в Комитет министров — 15 декабря 1870 г. Она рассматривалась здесь 22 декабря. Все предложения были утверждены, но «с тем, чтобы приведение оных в исполнение последовало лишь по прибытии генерал-губернатора в Иркутск под его главным надзором...». Резолюция Александра II последовала 1 января 1871 г. На втором заседании Комитета министров 5 января решено сообщить выводы Комитета графу Шувалову³⁴. М.С. Корсаков получил соответству-

ющее извещение 8 января³⁵, но он подал прошение об увольнении в отпуск на один год для лечения и в Иркутск не вернулся. На его место царским указом от 21 января 1871 г. назначен сенатор Н.П. Синельников. Уведомление Якутскому, Забайкальскому, Амурскому и Приморскому губернаторам о вступлении его в должность последовало 30 марта 1871 г.³⁶

Смена высшего иркутского начальства задержала выполнение постановления Комитета министров о Чернышевском, но пауза продлилась еще восемь месяцев. И хотя 5 июля 1871 г. нерчинскому коменданту посылалось генералом Шелашниковым предупреждение о предполагаемом переезде Чернышевского из Забайкальской области в Иркутск, во время которого следует исключить возможность оказания ему содействия к побегу прибывшим в Сибирь с учеными целями кандидатом университета Ровинским, родственником Чернышевского, «лично или чрез посредство знакомых ему лиц», однако время переезда точно не указывалось³⁷.

Причину задержки с отправкой Чернышевского биографы обычно связывают с арестом в феврале 1871 г. Г.А. Лопатина, приехавшего в Сибирь из-за границы, и возникшим подозрением в существовании связей Чернышевского с «заграничной партией», что юридически и оправдывало перевод, с которым новый генерал-губернатор не торопился «до выяснения всех обстоятельств открывшихся попыток к освобождению узника»³⁸. Однако, как известно, иркутский суд еще в сентябре 1871 г. оправдал Лопатина от обвинения в намерении освободить Чернышевского, и свои истинные цели приезда в Сибирь, связанные таки с попыткой вывезти Чернышевского, Лопатин объявил сам только в начале 1873 г. после второго своего ареста³⁹. Так что не в Лопатине было дело.

Промедление с переводом Чернышевского в Вилюйск, думается, следует объяснять иной причиной, заложенной в постановлении Комитета министров от 22 декабря 1870 г. Оно предусматривало, чтобы, как уже упоминалось выше, исполнение решения «последовало лишь по прибытии генерал-губернатора в Иркутск под его главным надзором и по предварительном приведении им в известность действительной достаточности имеющихся в виду мер к устранению побега помянутого преступника как при следовании его в Якутскую область, так и по водворении его на место поселения»⁴⁰. Как видим, правительство предупреждало против какой бы то ни было поспешности, и генерал не спешил. Вступив в должность, он по существующему правилу обязан был совершить инспекционную поездку по вверенному ему краю. Она была назначена, разумеется, в летнее время, единственно удобное в условиях Сибири. К этому времени

вышел еще один указ от 13 мая 1871 г. о предоставлении Высочайшей милости политическим ссыльнокаторжным, но тут же последовало адресованное генералом К.Н. Шелашниковым коменданту Нерчинских заводов извещение от 22 июня 1871 г., по которому эта милость «не должна быть распространяема на преступников: Николая Чернышевского и Николая Ишутина как по важности совершенных ими преступлений, так и ввиду их неблагонадежности»⁴¹. Когда в июне 1870 г. генерал-губернатор Восточной Сибири приказал иркутскому фотографу Августу Гофману изготовить десять фотографических карточек самых важных государственных преступников, находившихся в Александровском заводе, то под номером первым шел Чернышевский, а под номером вторым — Ишутин⁴².

Н.П. Синельников посетил Александровский завод, по свидетельству Чернышевского, в конце июня — начале июля 1871 г. Но только осенью полицейско-бюрократическая машина приступила к обеспечению безопасного перевода своего хлопотного подопечного.

Основное внимание в системе разрабатываемых мер было уделено составлению «Инструкции для наблюдения за государственным преступником Николаем Чернышевским». Этот документ регламентировал порядок его привоза в Вилюйск и определения на жительство. «Инструкция» подписана Н.П. Синельниковым и немедленно была отослана П.А. Шувалову жандармским полковником Дувингом при отношении от 20 ноября 1871 г. за № 328⁴³. Аналогичный текст получен и якутским губернатором⁴⁴. Приводим все семнадцать пунктов этого документа, исправляя ранее опубликованный текст⁴⁵ по якутскому первоисточнику.

«1. Важность преступлений, совершенных Чернышевским, и значение, которым пользуется он в среде сочувствующих ему поклонников, вызывают со стороны правительства особые меры для отстранения Чернышевскому возможности побега и отклонения его вредного влияния на общество. В этих видах, для поселения Чернышевского по случаю окончания определенного ему срока каторжных работ, назначается отдаленное и уединенное место Якутской области, именно г. Вилюйск, в котором Чернышевский должен помещаться в том здании, где и ранее его помещались преступники;

2. При приеме Чернышевского от нерчинского коменданта следует обратить особое внимание на снабжение этого преступника вполне теплою одеждою на дорогу, чтобы, за недостатком последней, не приходилось делать в пути частых и продолжительных остановок, которых следует избегать;

3. Чернышевский должен быть доставлен к месту назначения на почтовых лошадях под конвоем двух жандармов и наблюдением

офицера. Один из конвоирующих его жандармов, по очереди, должен постоянно быть бдительным и в пути сидеть на козлах, а во время остановок безотлучно находиться при преступнике, — другой же сидеть вместе с ним в повозке;

4. Офицеру, назначенному для наблюдения, постоянно следовать за повозкой и во время остановок на станциях помещаться в одной с Чернышевским комнате;

5. Строго наблюдать, чтобы Чернышевский ни с кем из посторонних лиц не имел сообщений и не передавал им писем для доставки помимо установленного для сего порядка;

6. Обходиться с Чернышевским кротко и вежливо, но в случае явного с его стороны непослушания дозволяется употреблять законные меры для приведения его к повиновению;

7. Если во время дороги Чернышевский захворает, то стараться довести его до места, где ему может быть оказана медицинская помощь. В этом случае помещать Чернышевского не на станции, а на особой квартире, в которую, кроме медика, никого не допускать и при которой безотлучно находиться офицеру и по очереди жандармам;

8. Посещение медика допускать не иначе, как в присутствии офицера, предложив первому о ходе болезни Чернышевского вести скорбный лист;

9. В проезде из Иркутска в случае затруднения испрашивать указаний по телеграфу, донося депешами о прибытии в Читу и Посольск;

10. По прибытии в Якутск представить преступника губернатору и, получив от него наставления, следовать дальше;

11. В Вилюйске передать Чернышевского исправнику и поместив затем в указанном доме, наблюдать, чтобы Чернышевский не выходил из своей квартиры без сопровождения жандармского унтер-офицера, чтобы посторонние лица посещали Чернышевского не иначе, как с разрешения унтер-офицера или исправника, чтобы в ночное время один из конвойных, по очереди, постоянно наблюдал Чернышевского, не обращая на это его внимания, и чтобы дом в продолжение ночи был заперт;

12. Вся корреспонденция Чернышевского как подлежащая надзору не может быть отправляема непосредственно им, а должна поступать через исправника на просмотр губернатору. Из писем, адресованных на имя Чернышевского, выдаются только те, кои, пройдя установленную цензуру, поступят в официальном порядке;

13. В случае болезни пользоваться Чернышевского на его квартире чрез местного врача;

14. Для содержания Чернышевского имеет быть назначена особая денежная сумма, размер коей должен быть представлен местным исправником, сообразно с ценами на предметы продовольствия. Утверждение этих цен зависит от генерал-губернатора;

15. О поведении Чернышевского и его здоровья доносить с каждой почтой генерал-губернатору и от него же получать разъяснения по всем случаям, настоящею инструкцией не предусмотренным;

16. Приставленный для постоянного наблюдения за Чернышевским жандармский унтер-офицер должен жить в одном с ним доме и сопровождать его в прогулках и вообще при отлучках из дома; но этот надзор он должен устроить незаметно, чтобы не раздражать Чернышевского и не придавать ему вида арестанта. Урядники даже обязаны исполнять поручения Чернышевского, но один из них должен быть всегда дома;

17. Унтер-офицер при сопровождении Чернышевского может быть в партикулярной одежде».

Текст «Инструкции» заверен якутским губернатором.

11 ноября 1871 г. из Иркутска на имя шефа жандармов отправлены две телеграммы. Первую подписал генерал-губернатор Восточной Сибири: «Чернышевского перевожу в Вилюйск. Прошу разрешения назначить для охранения жандармского унтер-офицера. Я назначу еще двух казаков»⁴⁶. Вторая телеграмма послана полковником Дувингом: «Генерал-губернатор предлагает Чернышевского, отправляемого в Вилюйск с Зейфартом и двумя жандармами, чтобы они или один жандарм находился постоянно при нем. Не имея на это основания, я прошу разрешения вашего сиятельства»⁴⁷. На листке с телеграфным текстом Н.П. Синельникова внизу распоряжение П.А. Шувалова: «Полковнику Дувингу – разрешаю согласно № 666 откомандировать двух или трех жандармов». Однако телеграмма, отправленная Дувингу 12 ноября, содержала несколько иной текст: «Разрешаю согласно № 730 отправить трех жандармов. Будьте осторожны». В тот же день Н.П. Синельникову: «Приказания согласно вашему желанию отданы»⁴⁸. Обмен телеграммами наглядно показывает, насколько перестраховались, не считаясь с затратами, высшие чины государства, усиливая охрану Чернышевского.

Так и сделали. За Чернышевским в Александровский завод отправились не жандармский унтер-офицер и два казака, а штабс-капитан корпуса жандармов Зейфарт с двумя унтер-офицерами Ижевским и Кузьминым. 19 ноября 1871 г. они выехали из Иркутска⁴⁹ с предписанием Н.П. Синельникова «принять самые энергичные и бдительные меры, чтобы во время следования Чернышевский ни с кем из посторонних лиц не имел сообщений и чтобы не смог со-

вершить побега», поскольку «по действиям своим Чернышевский признан правительством чрезвычайно вредной и в высшей степени неблагонадежной личностью». Приказывалось не допускать скопления народа в местах остановок, проезжать через Иркутск только ночью и некоторое время задержаться в Вилюйске, «оставив порученное дело вполне». Зейфарт вез также губернаторские наставления нерчинскому коменданту, которому предстояло лично передать узника и позаботиться о негласности увоза с внушением Чернышевскому, чтобы «он и сам по себе» отстранялся «от всего, что может вызвать на него нареkanie», иначе власти вынуждены будут прибегнуть к «мерам строгости в будущем его содержании». 7 декабря жандармский эскорт появился в Александровском заводе и в тот же вечер «в 9 часов» отбыл. Распоряжение об отправлении «не произвело, по-видимому, на него, — сообщал о Чернышевском комендант генерал-губернатору, — никакого особого впечатления, т.к. он, по причине истекшего уже на пребывание в каторжных работах срока, давно ждал разрешения отправиться на поселение. При апатичности же его характера он казался совершенно спокойным и довольным»⁵⁰. В.Н. Шаганову Чернышевский позднее рассказывал, как неожиданно нагрянули жандармы и, не объясняя ничего, повезли в Иркутск⁵¹.

О Вилюйске Чернышевский узнал, вероятнее всего, только в Иркутске. В письме к жене, написанном 18 декабря, в день приезда, он обещает написать о назначенном ему месте, когда познакомится с ним «по собственному опыту» (XIV, 511). Утром 20 декабря ему разрешили дать телеграмму родным, но без обозначения города. На имя И.Г. Терсинского Чернышевский написал на клочке бумаги: «Еду в жить. Поездка очень удобно устроена. Я совершенно здоров». После предлога «в» им было оставлено место для вписания названия местности. Чьей-то рукой предлог зачеркнут и сверху поставлено: «на север». С этим исправленным текстом телеграмма в 8 часов 45 минут утра пошла в Петербург (XIV, 512, 865)⁵². В тот же день генерал-губернатор телеграфировал шефу жандармов: «Чернышевский проехал в Вилюйск, послал через меня телеграмму в синод к Терсинскому о проезде и письмо чрез него же». На документе автограф П.А. Шувалова: «Закрываю из сей телеграммы, что Чернышевский переведен в число поселенцев»⁵³. На бумаге все по закону — «поселенцев», на деле — переводился из одной тюрьмы в другую и намного худшую. В конце декабря доложили Александру II, о чем можно судить по письму Н.П. Синельникова к П.А. Шувалову от 27 ноября 1871 г. за № 1597. Генерал-губернатор сообщал об отъезде узника вилюйской тюрьмы И. Огрызко в Якутск под строгий надзор и ос-

вобождении таким образом места для Чернышевского. В архивное дело письмо вложено 30 декабря с пометкой: «Д. Е. В.» — «Доложено Его Величеству»⁵⁴.

Уходящий год коронованный жандарм России и его подручный провожали с торжеством. Поставлена точка в судьбе опасного для империи писателя. Противозаконию придан законный вид и наконец найден едва ли не полный эквивалент давнишнему желанию Александра II заточить Чернышевского навечно в Шлиссельбургскую крепость⁵⁵.

Новый 1872 год Чернышевский встретил в пути, длившемся 22 дня — на каждый день два года прожитой жизни: ему шел сорок четвертый. Впереди труднейшие испытания, отягощенные полной безысходностью. В «Ведомости о Чернышевском», составленной Вилюйским окружным полицейским управлением спустя четыре года, так и записано: «Какой губернии — неизвестно... о сроке неизвестно». Достоверным оставалось лишь, что он «государственный преступник», «на месте семейства не имеет», причислен к Чачуйскому наслегу Верхневилуйского улуса, «в вилюйском остроге с 11 января 1872 года».

Изведавший семисотверстный зимний якутский тракт до Вилюйска один из политических ссыльных писал: «Абсолютная тишина и пустыннось дороги производят на новичка сильное впечатление»⁵⁷. «Дорога страшно тяжелая, окрестности безлюдны, станции разбросаны на пятьдесят-шестьдесят верст. Кругом болото или непролазный кустарник; летом — тучи мошкары», — свидетельствовал другой⁵⁸. Чернышевский рассказывал в 1874 г. приехавшему к нему с обыском жандарму, что после такой дороги более недели не вставал с постели⁵⁹. «Путь сюда далек и очень труден», — скупо написал Чернышевский жене. Выручила песцовая шуба, недорого (до сорока рублей), приобретенная в Иркутске (XIV, 517, 529).

Штабс-капитан Зейфарт, исполняя предписание, оставался в Вилюйске около двух недель и «в продолжение этого времени ежедневно посещал Чернышевского», — сообщал полковник Дувинг в Петербург, пересказывая рапорт штабс-капитана. Эти две недели «Чернышевский, — свидетельствовал Зейфарт, — находился в крайнем раздражительном состоянии», «во время пути Чернышевский был здоров, продолжительных остановок в дороге не было». Помещен он в «бывший острог», здание «теплое и довольно исправно содержано». В том же доме разместились на жительство для ведения охраны жандармский унтер-офицер Ижевский и присланные местным губернатором два урядника Якутского казачьего полка Попов и Готилов⁶⁰.

В день отъезда штабс-капитана Чернышевский передал с ним коротенькое письмо к жене, датированное 16 января. Вся информация заключалась в трех фразах: «Я совершенно здоров. Живу по-прежнему. И вообще, все хорошо» (XIV, 512)⁶¹. «По-прежнему» — значит, как и в Александровском заводе, в тюрьме, и в его положении арестанта изменений к лучшему не произошло.

Примечания

- ¹ Воспоминания (1982). С. 291–292. Бездоказательным является допущение связи между надеждой Чернышевского на освобождение и планами польских ссыльных, готовивших восстание в Сибири (см.: *Марголис А.Д.* Н.Г. Чернышевский в дороге на Нерчинскую каторгу // Политические ссыльные в Сибири (XVIII–начало XX в.). Новосибирск. 1983. С. 57).
- ² Чернышевский в Забайкалье. С. 104.
- ³ Летопись. С. 360. Считается, что «на него не распространялись никакие льготы по сокращению сроков каторги» — Чернышевский в Сибири (1969). С. 139. Как видим, распространялись. Другое дело, что впоследствии они не учитывались, но это другая постановка вопроса.
- ⁴ *Чернышевский М.Н.* Чернышевский в Вилюйске // Былое. 1924. № 25. С. 35.
- ⁵ Там же. См.: Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 188.
- ⁶ Извещение о манифесте см.: ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1774. Д. 173.
- ⁷ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 2227. Д. 31. Л. 6.
- ⁸ Там же. Л. 10.
- ⁹ Там же. Л. 20–21.
- ¹⁰ Былое. 1924. № 25. С. 36.
- ¹¹ *Шульгин В.Н.* Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 160. В справке о Чернышевском, составлявшейся в 1883 г. чинами Правительствующего сената и министерства юстиции, сказано относительно Высочайшего повеления от 25 мая 1868 г., «по коему Чернышевский подлежал обращению к разряду ссыльно-поселенцев», что оно «не было применено к нему, потому что местное начальство опасалось возможности побега». Местное начальство — генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков (РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 128. Л. 19–19 об.).
- ¹² *Давыдов Ю.* Соломенная сторожка: Две связки писем. М., 1990. С. 193–194.
- ¹³ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 2227. № 31. Л. 32–33.

- ¹⁴ Там же. Л. 35.
- ¹⁵ Там же. Л. 37–39.
- ¹⁶ Там же. Л. 41–42.
- ¹⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 303 об. С неточностями опубликовано в: *Шульгин В.Н. Очерки...* С. 167. См. также: *Былое*. 1924. № 25. С. 37; *Чернышевский в Сибири* (1969). С. 144.
- ¹⁸ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 2227. Д. 31. Л. 47.
- ¹⁹ См.: *Научная биография (1859–1864)*, раздел «Завершение судилища. В Сибирь».
- ²⁰ *Каторга и ссылка*. 1927. Кн. 4. С. 189–190.
- ²¹ Там же. С. 191; ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 312.
- ²² *Былое*. 1924. № 25. С. 37–41. О подготовительных материалах к докладу П.А. Шувалова см.: *Нольман М., Пьяных М. Проект резолюции по делу Чернышевского // Чернышевский*. Вып. 4 (1965). С. 200–202.
- ²³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 313.
- ²⁴ Там же. Л. 320–322.
- ²⁵ *Былое*. 1924. № 25. С. 41.
- ²⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 328; *Шульгин В.Н. Очерки...* С. 169.
- ²⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 330–330 об.; *Каторга и ссылка*. 1927. Кн. 4. С. 193.
- ²⁸ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. № 230. Ч. 26. Л. 329.
- ²⁹ ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. К. 1769. № 114. Л. 1–1 об.
- ³⁰ *Былое*. 1924. № 25. С. 41–42.
- ³¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 337–339.
- ³² Там же. Л. 339 об.
- ³³ Там же. Л. 341.
- ³⁴ *Каторга и ссылка*. 1927. Кн. 4. С. 195.
- ³⁵ *Былое*. 1924. № 25. С. 42.
- ³⁶ ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1756. Д. 99. Л. 1–6. Тем же числом (30 марта 1871 г.) помечено распоряжение царя о перемещении генерал-лейтенанта К.Н. Шелашникова на должность иркутского губернатора (там же. Л. 4). Указание, будто М.С. Корсаков в 1871 г. стал комендантом Петропавловской крепости (см.: *Шульгин В.Н. Очерки...* С. 170), ошибочно. Из послужного списка Николая Петровича Синельникова: родился 25 сентября 1805 г., воспитывался во Втором кадетском корпусе. Участвовал в сражениях против поляков в 1831 г. и против венгров в 1849 г. Звание генерал-майора получил в 1851, генерал-лейтенанта — в 1861 г. Служил губернатором во Владимире, Житомире, Воронеже. С 1863 г. — в военном министерстве, с 1866 — сенатор.

- Имел двух сыновей и двух дочерей (ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1756. Д. 99. Л. 8–21).
- ³⁷ Забайкалье. С. 242–243.
- ³⁸ См.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 171; Чернышевский в Сибири (1969). С. 151.
- ³⁹ См.: Герман Александрович Лопатин (1845–1918). Пг., 1922. С. 71.
- ⁴⁰ Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 195.
- ⁴¹ Забайкалье. 1950. Кн. 4. С. 241–242. В архивной юридической справке 1883 г. читаем: «В разъяснение вопроса о применении к Чернышевскому Высочайшего повеления 13 мая 1871 г.; 8-го апреля 1873 г. Высочайше повелено: оставить Чернышевского в том же положении» (РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 128. Л. 20).
- ⁴² Там же. С. 238–240. Были сфотографированы также Н. Странден, Н. Волков, Н. Васильев, П. Ермолов, К. Арцымович, Цитович, А. Мысловский, Л. Ильяшевич.
- ⁴³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. № 230. Ч. 26. Л. 356–362.
- ⁴⁴ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 13–16.
- ⁴⁵ См.: Минувшие годы. 1980. № 3. С. 2–5; *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в Вилюйской ссылке. Якутск, 1939. С. 13–14.
- ⁴⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 347; Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 195.
- ⁴⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 348.
- ⁴⁸ Там же. Л. 349, 350.
- ⁴⁹ А не 9 декабря, как утверждает Ю.М. Стеклов (Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 196); ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 357.
- ⁵⁰ Чернышевский в Сибири (1969). С. 153–157.
- ⁵¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 142.
- ⁵² См.: *Свободин А., Эйдельман Н.* Еду в... // Комсомольская правда. 1974. 17 ноября. № 267.
- ⁵³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 355.
- ⁵⁴ Там же. Л. 363–364.
- ⁵⁵ См.: Научная биография (1859–1864), раздел «Завершение судилища. В Сибирь».
- ⁵⁶ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. № 15. Л. 656.
- ⁵⁷ Автобиография Михаила Ивановича Ромась // Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 164.
- ⁵⁸ *Грабовский П.А.* Избранное. М. 1952. С. 279.
- ⁵⁹ Былое. 1924. № 25. С. 51.
- ⁶⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 36. Л. 378–379.
- ⁶¹ Там же. Л. 380. Цитируем по сохранившейся в жандармском архиве копии письма.

8. Среди местного населения

В письмах к родным Чернышевский достаточно подробно описал место своей ссылки. Однако в его словах не найти полной правды. Так, первые подробные письма от 31 января и 27 марта 1872 г. содержали явно приукрашенные характеристики: Вилюйск — «очень маленький город», «воздух здесь очень здоровый», в реке «много рыбы; превосходной», «нечто вроде маленького оазиса среди пустыни» (XIV, 512–514). Но стоило Ольге Сократовне упомянуть о возможном ее приезде, Чернышевский заметно сбавил тон. «Вилюйск — это по названию город; но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, — это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет»; «дело в самом климате, в воздухе: он нехорош, кроме как во время сильных морозов. Кругом болота. А земля вечно мерзлая внизу»; «морозы — это еще не главное здесь. Хуже их летняя сырость (весны здесь нет)»; с апреля до ноября «трудно найти мясо или рыбу»; «нет медика» (XIV, 520, 536). И все же идущие от Чернышевского сведения лишь частично передавали характер реальных условий его жизни в Вилюйске. И делал он это, как и прежде, сознательно, направляя мысли своей жены на заботы о себе самой. «Если бы что-нибудь было и не совсем прекрасно, — объяснял он А.Н. Пыпину свои отношения к жене, — я все-таки писал бы ей: превосходно» (XIV, 601). Между тем ему довелось полной мерой познать жуткие будни вилюйского заточения. «Нигде я не видал местности, которая бы производила такое подавляющее впечатление, как эта», — свидетельствовал поймавший Сибирь В.Н. Шаганов¹.

Постройка Вилюйского острога относится к 1866 г. Здесь предполагалось содержать важных политических и государственных преступников. По архивной справке, этот тюремный замок был рассчитан «по кубическому содержанию воздуха на двадцать человек»². Из шести достаточно просторных комнат одну занимал Чернышевский, в трех постоянно жили жандармский унтер-офицер, казак и сторож. Самая большая комната, именуемая Чернышевским на его плане «залом», пустовала. Соседняя с ней — «комната или пустая, или занятая казаком»³. Занимаемое Чернышевским помещение протокольно описано в рапорте жандармского полковника Купенкова, производившего у него обыск в конце 1873 г.: «...Имеет около 2¹/₂ саж<ень> в длину и ширину и 4¹/₂ арш<ин> высоты»⁴; в ней два окна, выходящих во двор, обнесенный палями, окна снабжены же-

лезными решетками и двойными рамами, из коих в зимних стекла в два ряда; печь голландская с топкою из соседней комнаты; в наружной стене устроен вентилятор; мебель комнаты составляли: большой деревянный сундук и несколько столов и кроватей, оставшихся, вероятно, в ней от ранее содержавшихся здесь преступников; температура около 14° по Реомюру⁵ при морозе в 38°, вообще как в этой комнате, так и во всем здании достаточно светло, воздух чист, сух, и оно вполне удовлетворяет санитарным требованиям»⁶.

Чернышевский же в своих письмах так же не стремился к полной объективности: «лучший дом в городе», «совершенно тепло» (XIV, 513). «В прошлую зиму, например, — писал он в июле 1875 г., — не больше, вероятно, раз четырех приходилось велеть топить печи по два раза в день; и стекла в окнах ни разу во всю зиму не замерзали нисколько. Даже и на полу всю зиму была не холодная температура» (XIV, 621). Он ничего не рассказал о том, каково жилось в прошлые зимние месяцы, но и это его сообщение о зиме 1874—1875 гг. можно до некоторой степени прокорректировать архивными данными. Так, в «Акте», составленном вилюйским исправником и его помощником 12 октября 1874 г., значилось разбитых стекол в «главном здании» четыре, на кухне 27, в бане 13, в карцерском здании пять и в казарме три, не хватало двух выюшек с приборами. Из Якутска в ноябре вместо требуемых 52 стекол прислали 31 и только одну выюшку⁷. Наверное, в «главном корпусе» какие-то окна все же починили, стало теплее, и Чернышевский мог написать об этом жене.

В том же июльском письме 1875 г. особо упомянуто о «чистоте» комнат дома. Документы побуждают с недоверием отнестись к подобному утверждению. «В вилюйском тюремном замке, — писал исправник якутскому губернатору 10 апреля 1875 г., — во время топки в бане и в большом корпусе печей и вообще для присмотра и уборки в комнатах недостает одного сторожа»; напомнил исправник и о недостающей выюшке. Последовал отказ, датированный 20 мая 1875 г.⁸ Следовательно, комнаты убирались нерегулярно, и писать об их «чистоте» было преувеличением.

Значительно корректируют высказывания Чернышевского и мемуары современников. Политссыльный П.А. Грабовский писал о вилюйской тюрьме: «Это мрачное и темное продолговатое деревянное здание, разделенное на несколько клеток — тюремных камер, с частыми слепыми окнами, забитыми железными решетками. Перед самыми окнами вздымается ввысь высокий частокол, который закрывает от глаз человека чуть ли не все здание, и только верхушка его маячит где-то высоко в небе». Мемуарист впечатляюще описывает комнату Чернышевского «с двумя окнами против

дверей, страшно темную (не видно и клочка неба!) и сырую: даже в конце мая нельзя было снять валенок, так как сразу же начинало ломить ноги»⁹. Полковник Купенков, побывавший у Чернышевского в конце декабря 1873 г., обратил внимание на «беспорядок и крайнюю неряшливость всей обстановки, поддерживаемые им вопреки стараниям к противному наблюдающего за ним жандармского унтер-офицера», который доложил: «Чернышевский всегда протестует против уборки на том основании, что от сырости после нее у него всегда болит голова»¹⁰. О сырости, губельно влияющей на узника, подверженного сильному ревматизму со времени заключения в Петропавловской крепости, упомянуто в рапорте налетевшего с обыском полковника как несерьезное объяснение обнаруженного беспорядка. А сырость эта день за днем и год за годом подтачивала силы своей жертвы, пытавшейся хоть как-то ей противостоять.

Тюрьма располагалась на высоком берегу Вилюя. От ближайших домов она отстояла в шестидесяти саженьях (около ста тридцати метров). Далее начиналась «пашня» местного купца Лаврентия Алексеевича — «пашня лишь по имени, на факте пастбище скота», как пояснил Чернышевский на своем плане. В четверти версты от тюрьмы начинался кустарник и лес.

Вилюйские жители привычно встретили очередного арестанта. Русские, составлявшие весьма незначительную часть населения, сразу отметили: в церкви бывает редко. «Видели его на свадьбе, да под пасху разве зайдет, шапку снимет, руки за спину заложит и так-то отстоит службу, — вспоминала дочь исправника Анна Александровна Жиркова¹¹. Все вместе, русские и якуты, к которым он вынужден был обращаться по разным бытовым надобностям, увидели другую, резко бросающуюся в глаза особенность: не торгуется, аккуратен в расчетах. «Здесь все знают, — писал он жене, — что я расплачиваюсь в ту же минуту, как беру вещь; это здесь диковинка...» (XIV, 621, 633).

В письмах Чернышевский редко называет вилюйчан по имени. В набросанном им позже плане некоторые дома помечены именами их хозяев, с которыми он встречался чаще. Это дом купца Лаврентия Алексеевича Кондакова, «человека совершенно бескорыстного» (XV, 369), ему поручались покупки в Якутске. Евпраксия Гавриловна Карякина готовила ему обеды; «наконец отыскалась старуха, жившая когда-то в Иркутской губернии и имеющая на коровье масло обыкновенный русский взгляд», — сообщал Чернышевский в 1875 г., имея в виду якутскую привычку употребления масла во всех блюдах в «неимоверных количествах». С той поры, как она стала «готовить мне кушанье, оно хорошо, вкусно и здорово. Это уж

давно» (XIV, 621). Вилюйское «общество» состояло из нескольких чиновников да двух священников. «Все они люди хорошие. Все они мои добрые знакомые», однако круг их интересов был ему «совершенно чужд», точно так же его разговоры, как он полагал, «скучны для них», и «я, — писал Чернышевский летом 1873 г., — довольно мало выдаюсь с кем-нибудь». Спустя два года он почти теми же словами охарактеризовал свои «общественные отношения», рассказывая, как постепенно приучал местных священников и чиновников не досаждать ему своими посещениями (XIV, 533, 621, 623). Жандармский полковник Купенков, расспросив местных жителей, писал в рапорте: «Эксцентричен, странен и необщителен с людьми, вследствие чего вилюйские жители считают его полупомешанным, но по суждениям с ним этого вынести нельзя»¹². В своих письмах Чернышевский сообщил о некоторых своих действиях, воспринятых, особенно якутами, как необъяснимые странности. Например, он никак не мог растолковать якутам, что зимой при встрече не следует снимать шапки и стоять долго с непокрытой головой. Недоумения вызывали и его занятия по расчистке ручейков, когда он в начале лета, проводя время на свежем воздухе, осушал часть низменной местности возле острога (XIV, 518, 622).

Сведения о русских знакомых Чернышевского были в свое время частично восполнены старожилами Вилюйска. Из купцов, кроме Л.А. Кондакова и его жены Веры Ивановны, называли Расторгуева. Фамилия одного из священников устанавливалась из рассказа его сына Дмитрия Ивановича Винокурова. Записаны воспоминания Евдокии Даниловны Корякиной, некоей Дуняши, сохранившей в памяти облик грустного и одинокого «дяденьки Николая», частенько угощавшего ее собранной в лесу ягодой¹³. О любви Чернышевского к детям вспоминали многие¹⁴.

С якутами Чернышевский в первые годы старался видаться еще реже. Его поражала и угнетала крайняя нищета вилюйского «крошечного населения», их «дикарский» образ жизни. В официальном «Обзоре Вилюйского округа на 1871 год» отмечалось, что местное население всех четырех инородных управ (Средне-Вилюйской, Сунтарской, Мархинской и Верхне-Вилюйской) занимается скотоводством и рыболовством. В округе числилось всего две школы с тридцатью шестью учениками, получающими начальное образование. Это количество, говорилось в «Обзоре», «далеко не соответствует народонаселению», насчитывающему 59 653 человек, но кочевой образ жизни многих якутов и «нерасположение инородцев отдавать детей в учение» препятствуют расширению образования. К тому же «со стороны ни духовенства, ни обществ к усилению

образования ничего не предпринято». Музеев, библиотек, ученых объединений в Вилюйском округе не существовало¹⁵. Учитель Сунтарской инородной школы священник Василий Попов сообщил в своем отчете, что «члены управы и родоначальники не заботятся об увеличении числа учеников, а напротив, число их время от времени уменьшается»¹⁶. Вторая школа округа располагалась в Вилюйске.

Между тем были и среди тогдашних якутов способные люди, по словам Чернышевского, способнее иных европейцев, и «через несколько времени будут жить и якуты по-человечески» (XIV, 535).

В.Г. Короленко записал такое воспоминание о Чернышевском: «Смешной был старик иногда, но добр бесконечно, всем готов был помочь, особенно в болезни. К Чернышевскому часто приезжали якуты. Любили они его. Приедут, бывало, и спросят: “Есть Никола?” Чернышевский сейчас ставит им самовар, поит их чаем. По-якутски сам не говорил ни слова. Но урядники-якуты переводили ему»¹⁷. Эти посещения участились после того, как однажды зимой он оказал помощь упавшему на улице пьяному якуту и вернул ему оброненный кошелек с деньгами. «Такого человека я еще не встречал в жизни, чтобы найденные деньги возвратил сам, — говорил ему якут. — На что Чернышевский возражает, что так должен делать каждый». По свидетельству вилюйского акцизного чиновника О.Ф. Жукова, теперь «каждый якут, приезжавший из отдаленных улусов, считал своей обязанностью посмотреть Николая Гавриловича»¹⁸. «Вилюйцы вспоминают Чернышевского как человека чрезвычайной простоты и правдивости», — писал другой мемуарист¹⁹.

В круг вилюйских общений узника неизбежно входили врачи. «Здесь нет медика, — писал он жене в апреле 1872 г. вскоре по приезде, — и ближайšie медики — в Якутске, за 700 верст; эти 700 верст удобны для проезда лишь три, четыре месяца в год; в остальные времена года, если послать за медиком, посланный едва ли дотащится до него в неделю», потому «занемочь здесь сколько-нибудь серьезно — значило бы наверное умереть». В то время Чернышевский считал себя достаточно крепким, «мне не нужны ни медики, ни аптеки», — писал он (XIV, 515). При всех преувеличениях эта информация до известной степени отражала действительное положение дела. В первое лето он даже купался в реке (XIV, 560). Размеренный образ жизни, прогулки в лес, разрешенные стражами, регулярное питание, отвращение к спиртному предохраняли здоровье от быстрого разрушения. «Мой день обыкновенно проходит так, — сообщал он четыре года спустя: — встаю я очень поздно, часу в двенадцатом. Уж готов самовар. Часа в три обедаю; после обеда опять пью чай. Часов в девять опять пью чай. В час или позднее ужинаю и

опять пью чай». О его неприхотливости в еде жена знала — «ты помнишь, я терпеть не могу никаких блюд, кроме как простого русского приготовления» (XIV, 632). Одно из постоянных блюд — ячменная каша на воде с добавлением молока (XIV, 532). Молока было достаточно, в удойное время покупал его по две-три бутылки в день, и пил, предварительно пропуская его через уголь для дезинфицирования и уничтожения посторонних запахов (XIV, 534, 543).

В первое время часто курил и пил много чаю. Несколько лет спустя стал ограничивать себя — «чай и табак я употребляю в умеренном количестве» (XV, 8, 332). Жена одного из охранников рассказывала: «...Не ел ни мяса, ни белого хлеба. <...> Больше всего Чернышевский питался кашей, ржаным хлебом, чаем, грибами (летом) и молоком, редко — рыбой. Птица дикая в Вилюйске тоже была, но он ее и масла не ел. Он ни у кого и в гостях ничего не ел, как бывало, ни просили. Раз только на именинах моих немного съел пирога с рыбою. Вина тоже терпеть не мог: если, бывало, увидит, сейчас говорит: “Это уберите, уберите!”»²⁰ «Я никогда не имел склонности к вредным для здоровья вещам: ни к вину, ни к чему подобному», — писал Чернышевский в 1882 г. (XV, 382).

Недостатка в деньгах для приобретения продуктов или вещей не испытывал. В предписании якутскому губернатору от 12 ноября 1871 г. расходы на содержание Чернышевского определялись суммой в 17 рублей 12 копеек²¹. Она составила из намеченного вилюйским исправником списка продовольствия на один месяц сообразно с местными ценами: 1 фунт чая и 2 фунта сахара — 3 руб., 1 пуд 20 фунтов ржаной муки по цене 1 руб. 91 коп. за пуд, 1 пуд пшеничной муки — 4 руб., 1 пуд 20 фунтов мяса по цене 3 руб. за пуд, 10 фунтов коровьего масла — 2 руб. 50 коп., 10 фунтов соли — 25 коп.²² О доброкачественности иных продуктов (ржаной муки, к примеру) Чернышевский писал как-то: «...Мука эта такая, что в пуде ее оказывается от 8 до 10 фунтов мякины, не идущей в пищу» (X, 529).

Крайне малое употребление мяса, которое было для него вполне доступным продуктом, объясняется, вероятно, не только простым пренебрежением к нему с детства (см.: XV, 69), но и опасением заразиться проказой, в те годы весьма распространенной в Якутии. Глава Якутской области сообщал, например, в Иркутск 12 августа 1872 г. о «развивающейся по округам Якутской области, преимущественно в Вилюйском, болезни “проказа”». Было разослано по округам «Краткое наставление», в котором читаем: «Известно, что проказа (улахан-Элю, Эм-Илбат-Элютя) развивается в Колымском, Вилюйском и частью в Якутском округах — в местностях

исключительно болотистых и покрытых множеством озер; почему проживание в таких местностях должно быть безусловно избегаемо и заменяемо местами, достаточно возвышенными, сухими и для хозяйственного быта удобными. Так как дурная пища способствует тоже к порождению проказы, то строго воспрещается употреблять в пищу мясо нездоровых, особливо палых животных, а также испорченную и гнилую рыбу, какую едят якуты Колымского и других округов по неимению погребов, в которых могли бы они сохранять рыбу, добываемую летом и в начале осени»²³.

Положенную Чернышевскому ежемесячную сумму в 17 руб. 12 коп. выплатили не сразу. Исполняющий обязанности якутского губернатора В.П. де-Витте в отношении от 4 декабря 1871 г., видимо, еще не получив из Петербурга распоряжения от 12 ноября, известил вилюйского исправника о ежемесячном начислении по 12 руб. Но и после того, как бумага от 12 ноября поступила в Якутск и В.П. де-Витте распорядился о 17 руб. 12 коп. (документ от 7 апреля 1872 г. за № 1069), в Вилюйск пришли за январь — апрель только 48 руб. Вилюйский исправник в ответе от 28 июня 1872 г. написал, что эти деньги получены, но «ныне» Чернышевский заявил о необходимости получения пособия от казны и оно должно составлять 17 руб. 12 коп. в месяц. В официальном письме от 19 июля 1872 г. глава Якутской области направил требуемые за апрель — июль 68 руб. 48 коп., и впредь эта сумма уже не изменялась²⁴.

Помимо казенных денег Чернышевский получал переводы и от родных — жены или А.Н. Пыпина. Например, в письме от 1 июня 1872 г. он известил о получении 250 руб. Правда, судя по архивной справке, на руки он получил 248 руб. 20 коп., так как 1 руб. 80. коп. были удержаны за перевод²⁵, но на подобные вычеты он внимания не обращал, располагая вполне достаточными для безбедного прожития суммами — «у меня теперь очень довольно денег» (XIV, 521). В начале следующего года пришли еще дважды по 200 руб., и в письме от 10 июня 1873 г. он заверил: денег «достанет мне и на следующий год» (XIV, 531). Когда это письмо в начале сентября проходило через Третье отделение, кто-то из начальствующих чиновников оставил пометку на сопроводительном рапорте: «Он пишет, что денег достаточно ему и на следующий год, поэтому, мне кажется, следовало бы обратить на это обстоятельство внимание»²⁶. Конечно же намекали на пересмотр положения о ежемесячной выдаче из казны, однако последствий высказанное здесь предупреждение не имело. В январе 1874 г. у Чернышевского оставалось около 310 руб., которых, по его расчетам, должно было хватить года на два, а в марте он получил еще 100 руб. (XIV, 554—556). На эти дополнительные деньги он

получил возможность покупать табак, чай, овощи, когда они были. В качестве витаминов запасал рябину, боярышник, дикий шиповник (XIV, 531), собирал красную смородину, грибы (XV, 303, 337, 372). В феврале 1873 г., жалуясь на скорбут (цингу), написал А.Н. Пыпину: «Ем бруснику. Съел два пуда. Буду есть, пока будет в продаже, — то есть круглый почти год» (XV, 149). И все же витамины помогли мало, а полноценной медицинской помощи не было.

Имена вилюйских медиков дошли до нас лишь в отрывочных и случайных упоминаниях. Так, в одном из рапортов вилюйского исправника от 19 июня 1875 г. мелькнуло имя фельдшера Павлова²⁷. Вероятно, врачебное «искусство» этого Павлова и аттестовал Чернышевский словами «медика здесь нет» в письме к А.Н. Пыпину от 28 марта 1875 г. (XIV, 602).

В 1882 г. Чернышевский, не называя имен, писал о трех медиках, постоянно живших в Вилюйске. Первый «был старик, хороший и честный человек и очень усердный врач, но — плохо понимавший свою науку (он здесь умер, бедняжка)». Речь, вероятно, шла о Павлове. Второго врача Чернышевский называл «искусным», ту же характеристику заслужил и третий, «ныне служащий здесь» (XV, 382), — скорее всего, И.Е. Доброзраков, «хороший медик» (X, 531). Но ни к кому из них старался не обращаться, больше полагаясь на самолечение и изредка пользуясь запасами тамошней аптеки. Ни с одним из «приезжавших на время медиков я не хотел видеться», — писал Чернышевский А.Н. Пыпину в конце марта 1875 г., сообщая о появлении в Вилюйске инспектора якутской врачебной управы, навестившего его и нашедшего у него растущий зуб как следствие влияния нездорового климата (XIV, 602). Этот врач наведывался и позднее, известны записки Чернышевского о нем и к нему, и в них называлась его фамилия — Капелла (XV, 200, 212). Но особые неприятности доставляли застарелые цинга и ревматизм. Сохранилась записка Чернышевского некоему Алексею Панкратовичу²⁸ от 5 августа 1877 г. с просьбой разузнать, есть ли в вилюйской аптеке какие-либо лекарства от цинги (XV, 77). В одной из записок 1878 г. назывался в связи с местной аптекой Бергман (XV, 200). «Лечиться мне надобно от зоба и от хронического ревматизма», — писал Чернышевский И.Г. Терсинскому летом 1876 г., выражая желание получить хорошую медицинскую книгу (XIV, 659). Однако своего старшего сына в то же время просит не присылать лекарств (XV, 85) — вероятно, поддерживая постоянный рефрен своих писем к жене: «по обыкновению здоров». Известен и такой факт. Пришедшие ему в сентябре 1875 г. лекарства из Петербурга были отданы начальством «в лечебницу для выдачи Чер-

нышевскому по рецепту фельдшера»²⁹. Полковник Купенков, знавший Чернышевского еще по годам каторги, писал в вилюйском рапорте: «...Состояние здоровья его удовлетворительно, хотя от постоянно сидячей жизни он похудел и пожелтел против того, каким был в Нерчинских заводах. На неправильное биение сердца не жалуется и вообще к медицинской помощи не прибегает»³⁰. Со временем болезни обострялись, но он держался. За все время ни разу серьезно не слег, и в официальных отчетах вилюйского исправника неизменно отмечалось: «находится в нормальном состоянии здоровья», «здоровья нормального», «здоровья хорошего»³¹. В октябре 1881 г., когда Чернышевскому исполнилось пятьдесят три года, он, успокаивая, как мог, жену относительно своего здоровья, написал ей, что надеется дожить до восьмидесяти (XV, 332). Никто лучше его не знал о его болезнях, и он, конечно, был нарочито спокоен, и уверен, и мужествен в письмах к той, здоровье которой было для него выше его собственного. А.Г. Кокшарский, помощник вилюйского исправника в последние пять лет пребывания Чернышевского в Вилюйске, утверждал, что во все это время он «не видал его вполне здоровым»³².

В борениях с болезнями, в полной духовной изоляции проходили недели, месяцы, годы. Один из торговцев, побывавший в Вилюйске, рассказывал И.Г. Жукову, что Чернышевский живет «особняком», «подойдет иной раз к реке и все бросает, все бросает камешки в воду — видно, тоскует...»³³.

Его вилюйское одиночество лишь однажды ненадолго было нарушено неожиданным посещением товарищей по Александровскому заводу В.Н. Шагановым и П.Ф. Николаевым. Оба этапным порядком переводились в Якутскую область по предписанию от 4 декабря 1871 г. В Якутске обоих направили на жительство в Вилюйский округ — Шаганова и Хотинский наслег Сунтарского улуса, Николаева — в Удугейский наслег Верхне-Вилюйского улуса. Дорога в ссылку вела через Вилюйск, куда они прибыли 25 апреля 1872 г.³⁴ По свидетельству Шаганова, они прожили в Вилюйске не более четырех-пяти дней. «Свидание было кратковременно и нерадостно, — вспоминал П.Ф. Николаев. — Замечательно то, что, не выразив ни одним словом жалобы на свою судьбу, этот благородный человек был страшно огорчен встречей и горько жаловался на нашу судьбу»³⁵. О том, как Чернышевский сокрушался по поводу участи своих молодых друзей, вспоминал и В.Н. Шаганов, с которым Чернышевскому удалось свидеться еще раз в феврале 1874 г.³⁶ Пусть на короткое время, но эти две встречи несколько скрасили унылое течение его безрадостного вилюйского времени.

Примечания

- ¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 140.
- ² НАРС. Ф. 12-и. Оп. 1. Д. 2730. Л. 5.
- ³ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 189.
- ⁴ То есть около 7,5 м в длину и ширину и 3,2 м высоты. Чернышевский дает несколько другие размеры: 9,75 аршин (6,93 м) в длину и 9,5 аршин (6,7 м) в ширину.
- ⁵ Около 17,5° по Цельсию.
- ⁶ Былое. 1924. № 25. С. 49. Здесь неточно напечатано: «около 10° по Реомюру». Исправлено по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 443 об.
- ⁷ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 314, 317.
- ⁸ Там же. Л. 389, 412.
- ⁹ *Грабовский П.А.* Избранное. С. 282, 283. См. также: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 142.
- ¹⁰ Былое. 1924. № 25. С. 50.
- ¹¹ *Лунин Б.В.* По следам вилюйского узника. М., 1960. С. 83.
- ¹² Былое. 1924. № 25. С. 52.
- ¹³ *Лунин Б.В.* По следам вилюйского узника. С. 83, 85, 110–112.
- ¹⁴ См.: Воспоминания (1982). С. 375.
- ¹⁵ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 190. Л. 190–196.
- ¹⁶ Там же. Д. 231. Л. 6.
- ¹⁷ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 219.
- ¹⁸ Сибирский архив. 1912. № 4. С. 215.
- ¹⁹ *Грабовский П.А.* Избранное. С. 285.
- ²⁰ Воспоминания (1982). С. 374–375.
- ²¹ Каторга и ссылка. 1927. Кн. 4. С. 196.
- ²² *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 21.
- ²³ ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. К. 2183. Д. 560. Л. 36, 38–39.
- ²⁴ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 4, 56, 66, 71; См.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 20.
- ²⁵ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 52.
- ²⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 418.
- ²⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 614. Л. 17.
- ²⁸ Вероятно, А.П. Кондаков, урядник, в 1877–1878 гг. управляющий вилюйской казачьей командой (НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 603).
- ²⁹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 484.
- ³⁰ Былое. 1924. № 25. С. 51–52.
- ³¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 161, 232, 376, 591.

³² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 232.

³³ Жуков И.Г. Воспоминания... С. 274.

³⁴ НАРС. Ф. 22-и. Оп. 7. Д. 3. Л. 1, 4. Ср.: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 140.

³⁵ Николаев П.Ф. Личные воспоминания... С. 51.

³⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 141, 145.

9. Под надзором

С момента получения жандармским штабс-капитаном Зейфартом, привезшим Чернышевского в Вилюйск, расписки от местного исправника, удостоверяющей, что государственный преступник «принят» и «согласно предписания гражданского губернатора от 21 декабря 1871 г. за № 104 помещен в единении нынешнего тюремного замка»¹, за узником немедленно установили круглосуточный надзор под непосредственным контролем откомандированного в Вилюйск жандармского унтер-офицера Семена Ижевского, в подчинении которого находились два урядника Якутского казачьего полка Афанасий Попов и Лев Готиллов. Основным документом, регламентирующим действия охраны и поведение охраняемого, была приведенная выше «Инструкция», текст которой оставался без изменений все двенадцать лет.

Положение Чернышевского теперь полностью зависело от того, насколько буквально будут исполняться пункты «Инструкции», и в первый же год ему явно не повезло с С. Ижевским, ретивым службистом и ревностным соглядатаем. Конфликт назревал очень быстро. О крайней раздражительности Чернышевского в первые дни пребывания в Вилюйске сообщал Зейфарт в своем рапорте. Жандарм не вникал в причины раздражения, но основная из них и не нуждалась в объяснениях: писателю, крайне уставшему в дороге, невыносимо тяжело было мириться с несправедливым, незаконным решением властей поселить его в тюремном доме. Всякое подчеркивание осторожного режима вызывало новые приливы нервного возбуждения, а Ижевский, сколько можно судить по сохранившимся материалам, в этом отношении не церемонился. «Стерва ужасная был этот унтер-офицер, — жаль, фамилию его позабыл», — писал В.Н. Шаганов². Один из очевидцев, занимавший должность помощника исправника, свидетельствовал, что с Чернышевским «можно ладить при устранении совершенно ненужных строгостей и формальностей, очень раздражающих его»³.

Терпение Чернышевского подверглось испытанию в связи с появлением в Вилюйске В.Н. Шаганова и П.Ф. Николаева. Первый из них впоследствии вспоминал, как жандарм пытался помешать их встрече, немедленно сделав донос о ней исправнику. На другой день исправник стал настаивать на прекращении свиданий. Узнав об этом, Чернышевский «вспылил и побежал к исправнику. Он, главным образом, стыдил исправника, что тот позволяет собой командовать такому холую, как жандармский унтер, что он позволяет ему садиться в его присутствии, и вот последний зазнался и пугает его; что сам Чернышевский не может глядеть на унтера более, чем как на лакея, приставленного при нем, а тем более исправник должен держать его в субординации. Как бы то ни было, но, должно быть, Чернышевский так пронял исправника, что тот не мог ему этого забыть никогда и с тех пор стал к нему в самое официальное положение»⁴. Окружным исправником в ту весну 1872 г. служил сорокадевятилетний Федот Алексеевич Аммосов, назначенный на эту должность в 1865 г.⁵

Случай с приездом бывших товарищей по каторге впервые так ярко оттенил, сделал заметнее зависимое положение Чернышевского как узника. Немудрено, что исправник и унтер-офицер старались теперь не упустить случая унизить его, и дело не могло не кончиться взрывом.

В литературу о Чернышевском последующие события лета 1872 г. вошли под названием «инцидента с Ижевским»⁶. Между тем, как явствует из документов, не менее активным участником конфликта был и Аммосов, придавший всему происшедшему угодный ему и унтер-офицеру смысл и окраску.

Первый документ – рапорт Ижевского от 20 июля 1872 г. в Иркутское жандармское управление. По обычному расчету времени эта бумага должна была поступить не позднее первой половины августа. Однако управление отреагировало сообщением в Петербург только 1 сентября и не обычной почтой, а телеграммой, подписанной штабс-капитаном Зейфартом. Можно предположить, что начальник управления полковник Дувинг не счел документ первоочередным и важным (он, действительно, походил на обычную клязду) и не торопился с докладом в Петербург. Но стоило Дувингу отлучиться, его адъютант Зейфарт поспешил телеграфировать шефу жандармов П.А. Шувалову, и 2 сентября в Третьем отделении уже расшифровывали следующий текст: «Доносит унтер-офицер Ижевский, что Николай Чернышевский будто бы подвергнулся умопомешательству. Подробности почтой отправлены Вашему Сиятельству»⁷. Однако пересказ текста депеши (он, вероятно, и был вручен

Шувалову) не отличался точностью: в телеграмме — «будто бы подвергнулся умопомешательству», в пересказе на отдельном листке — «подвергся умопомешательству»⁸.

Рапорт Зейфарта с сообщением «подробностей» датирован 17 сентября, Шувалов читал его 21 октября⁹. Текст рапорта впервые опубликован с очень незначительными изменениями М.Н. Чернышевским¹⁰. Ввиду важности документа воспроизводим основную его часть по первоисточнику: «...Доносит унтер-офицер Ижевский в рапорте своем, что с некоторого времени Николай Чернышевский при разговоре с ним выражает какие-то непонятные слова и в это время весь сам трясется как будто бы подвергнувшийся полному умопомешательству; так, например:

1) Николай Чернышевский говорит, что ему зарезать человека ничего не значит и это послужит к его же оправданию.

2) Чернышевский ныне стал сопротивляться тому, чтобы дом, в котором он помещен, был бы заперт на замок в ночное время, что обязаны исполнять дежурные урядники, находящиеся для наблюдений за Чернышевским, и вынуждает жандармского унтер-офицера Ижевского показать ему письменное приказание, на основании которого дом запирается на ночь.

3) Чернышевский говорит находящимся при нем урядникам, чтобы наблюдавший за ним унтер-офицер Ижевский делал бы ему, Чернышевскому, при встрече как начальнику фронт или отходил бы от него в сторону.

4) Вообще ныне замечает наблюдавший за государственным преступником Чернышевским жандармский унтер-офицер Ижевский, что Чернышевский желает быть каким-то начальником и желает, чтобы все ему повиновались.

5) Во время прогулок Чернышевский не ходит по прямой дороге и кидается во все стороны как умопомешанный.

6) Особенную злобу Чернышевский имеет на окружного вилюйского исправника Амосова и на вверенного ныне мне Управления дополнительного штата унтер-офицера Ижевского.

7) Чернышевский говорит, что ему все местное начальство в г. Вилюйске нипочем и что кроме Генерал-губернатора Восточной Сибири ему никто ничего не может сделать; так что однажды, несмотря на проживающих с ним в вышепоименованном доме двух урядников и жандармского унтер-офицера он, Чернышевский, 15 истекшего июля сего года в 5 часов утра стал ломить у входных дверей замок железными щипцами и при этом кричал на бывших при нем урядников, какони смели запереть на ночь входную дверь и кто осмелился приказать им это сделать, произнося при этом, что

не приехал ли сюда Государь или Министр или Генерал-губернатор, что урядники осмеливаются запирают дверь во время ночи.

Между тем до настоящего времени государственный преступник Николай Чернышевский, как мне известно из получавшихся с каждою почтою из г. Вилюйска донесений от унтер-офицера Ижевского, вел себя чрезвычайно спокойно и никаких подобных поступков не делал, также и в разговоре его с Ижевским каких-либо болезненных умозаключений не проявлялось»¹¹.

Почти в одно время с Ижевским, 23 июля 1872 г., составил свой рапорт якутскому губернатору исправник Ф.А. Аммосов. В журнале исходящих бумаг документ назван так: «Его Превосходительству о неблагоприятных поступках Чернышевского с унтер-офицером Ижевским»¹², а близость выражений в рапортах свидетельствует о согласованных действиях их авторов. Исправник сообщал со слов Ижевского: «...Чернышевский приходит до такого исступления, что требует от него фронта, делает ему угрозы, требует письменные факты, на основании которых он состоит при нем и запирает на ночь на замок дверь, выходную из здания, где они помещены, и раз дозволил себе ломать замок у тех дверей». Не удовлетворившись словесным рассказом унтер-офицера, Аммосов лично допросил урядников Готилова и Попова, а также сторожа. Сообщалось, что Чернышевский «постоянно высказывает ненависть к Ижевскому, требуя от него предъявить ему, Чернышевскому, распоряжение начальства, на основании чего находится при нем Ижевский, и Чернышевский, раздражаясь, приходит до исступления ума. Выходки его выказывают желание иметь влияние над всеми здесь имеющими за ним надзор лицами. Что же касается до унтер-офицера Ижевского, то он ничего не позволял себе такого, что бы могло раздражать Чернышевского, кроме исполнения возложенной на него обязанности». В черновике остались зачеркнутыми слова и фразы, которые содержались в рапорте Ижевского, но которые исправник из осторожности или ввиду их явной нелепости не решился—таки вставить в отсылаемый текст: «говорит, что зарезать ему человека ничего не значит», «высказывает, что кроме генерал-губернатора над ним нет никакой власти», «не всегда бывает в нормальном состоянии ума»¹³.

Как видим, автором версии об «умопомешательстве» был не только С. Ижевский, как принято считать, но и Ф. Аммосов.

Получив рапорт исправника, В.П. де-Витте в ответном секретном письме от 4 августа 1872 г. запросил, в чем именно проявилось у Чернышевского «исступление ума», так как сообщенные подробности свидетельствовали вовсе не о признаках сумасшествия, а о нервной вспышке, вызванной крайним раздражением. Он по-

требовал «принять зависящие меры, чтобы представленные к государственному преступнику Чернышевскому лица обращались с ним как только возможно кротко и вежливо и чтобы жандармский унтер-офицер Ижевский, живя с ним в одном доме, сопровождал бы Чернышевского незаметным образом в прогулках и при отлучках из дома, чтобы не раздражать Чернышевского и не придавать ему вида арестанта, а урядникам поставить в обязанность исполнять поручения Чернышевского, если они не будут заключать ничего в себе противозаконного, и чтобы дом, в котором помещается Чернышевский, в продолжение ночи был заперт, при этом, — писал В.П. де-Витте, — поставляю вам в неперемнную обязанность произвести секретное дознание, вследствие каких причин Чернышевский доходит до умоисступления, и не скрывается ли в наблюдающих за ним лицах по каким-либо интригам умысла к несправедливому его оклеветанию, и мне об этом с полною откровенностью донести. В случае же явного сопротивления и непослушания употреблять законные меры для приведения его к повиновению, действуя в сем случае благоразумно и доставляя мне при каждом случае надлежащие сведения о поведении его для доклада Господину Генерал-губернатору Восточной Сибири»¹⁴. По сути, здесь пересказаны некоторые пункты «Инструкции».

Губернатор был близок к истине, говоря о возможности «несправедливого оклеветания», и вилюйский исправник не мог не почувствовать недоверия своего начальника к посланному рапорту.

О своих действиях В.П. де-Витте тогда же (4 августа) известил генерал-губернатора, и председательствующий в Совете Главного управления Восточной Сибири Н.П. Дитмар, сменивший на этой должности К.Н. Шелашникова, 4 сентября того же года отправил соответствующее донесение шефу жандармов П.А. Шувалову, которое тот читал 7 октября¹⁵. Пересказывая сообщение из Якутска, Дитмар писал, что Чернышевский «с некоторого времени приходит в дикое исступление ума»¹⁶. Подобное истолкование состояния ссыльного принадлежало уже лично Дитмару, так как у якутского губернатора сказано: «...стал приходиться до такого исступления ума...»¹⁷.

Тем временем начальствующие чины выяснили причину нервной раздражительности своего вилюйского подопечного. Как сообщал Дувинг Шувалову 18 октября 1872 г., она стала следствием запрета встречам Чернышевского с Шагановым и Николаевым, и далее прибавлено: «...В последнее время Чернышевский живет спокойно, и здоровье его находится в удовлетворительном состоянии»¹⁸.

На том история с «умопомешательством» Чернышевского и закончилась. Последними напоминаниями о ней стали два доку-

мента. Первый – надпись третьестепенного чиновника на рапорте заведующего Временным управлением по делам о ссыльных полковника Купенкова, который переслал в Петербург, как это делал всегда, очередное письмо Чернышевского к родным. Надпись датирована 13 ноября 1872 г. «Настоящее письмо, – говорится здесь, – писано 20-го июля, сведения же об умопомешательстве Чернышевского получено было 1-го сентября. Не приказано ли будет направить письмо по принадлежности?» И ниже другим почерком: «Можно отправить по принадлежности. 13 ноября»¹⁹. Остается сожалеть, что письмо не сохранилось. Оно писалось в самый разгар конфликта с Ижевским и Аммосовым и, может быть, содержало связанные с ним подробности. Второй документ – справка о Чернышевском, составленная в Третьем отделении в 1877 г. Здесь между прочим читаем: «Одно время были слухи о болезненном расстройстве умственных его способностей, но фактов в подтверждение сего не представлено»²⁰.

В конце 1872 г. приказом от 6 декабря на место С. Ижевского был назначен жандармский унтер-офицер Иван Максимов. Заменены и урядники – на место Готилова и Попова предписанием от 12 января 1873 г. прикомандированы пятидесятник Евтропий Бродников и урядник Николай Новгородов²¹. С низшим составом охранников Чернышевский, впрочем, никогда не конфликтовал. В мае 1872 г. о Готилове и Попове, не называя их по имени, он писал как о «скромных и добрых сожителях» (XIV, 518). Исправник Ф. Аммосов служил до ноября 1873 г., и отношения с ним постоянно оставались напряженными. «С исправником он живет не в ладах (т.е. просто сам исправник на него злится)», – знающе утверждал В.Н. Шаганов²². Ф.А. Аммосова сменил Иван Андреевич Жирков (в должности с 10 ноября 1873 г.²³), при котором подобных личных столкновений уже не происходило. «К приставленному надзору кроток и вежлив», – констатировал полковник Купенков в декабре 1873 г.²⁴

Эпизод с так называемым «умопомешательством» не нашел в биографических работах единого истолкования. Одни видели в нем результат нервного возбуждения и раздражения (Е.А. Ляцкий, Ю.М. Стеклов, М.Я. Струминский, Б.П. Козьмин)²⁵, другие – демонстрацию напускной свирепости, обусловленную желанием «обратить на себя внимание высшего начальства и побудить его яснее высказать свое отношение к нему» (М.Н. Чернышевский)²⁶. Совершенно произвольным представляется третье объяснение, согласно которому Чернышевский, зная о намерении Г.А. Лопатина освободить его, намеренно обострил свои отношения с Ижевским, чтобы

добиться его смещения, так как Ижевский знал Лопатина в лицо по Иркутской тюрьме и мог помешать замыслу (В.Н. Шульгин, И.М. Романов)²⁷.

Попытка Ижевского и Аммосова заручиться в своих действиях поддержкой властей и от их имени ужесточить режим наблюдения за Чернышевским не привела к безусловному успеху. Однако в главном их требования вполне совпадали с требованием начальства всех уровней — соблюдение «Инструкции». События 1872 г. и последующего времени давали новые поводы к постоянным напоминаниям свыше о необходимости тщательного надзора. Понимали: упустят Чернышевского — слетят погоны у многих, а потому не скупились на приказы, предписания, указания, распоряжения.

15 мая 1872 г. вилюйским исправником получено предупреждение из Якутска о возможном появлении «швейцарского подданного» Э.И. Бонгарда, отправившегося через Америку в Сибирь будто бы для сбыта фальшивых русских денег, «а может быть и с другими преступными целями». Бонгард «за участие в последнем польском мятеже, — объяснял губернатор, — был сослан в каторжные работы и помилован в 1867 году. Он знаком с государственным преступником Чернышевским, у которого учился русскому языку и владеет им хорошо». Предписывалось «принять деятельнейшие меры к задержанию означенного лица»²⁸. Опасения, разумеется, оказались напрасными, но за Чернышевским стали следить строже, и в событиях лета 1872 г., приведших к столкновению с Ижевским и Аммосовым, свою роль сыграла и бумага о Бонгарде.

Особое беспокойство причинил стражам Г.А. Лопатин, известный революционер-эмигрант, прибывший в Сибирь под чужой фамилией с целью освободить Чернышевского. Восторженные отзывы о Чернышевском знавших его людей, которые говорили «о высоком благородстве и самоотверженности его личного характера», глубокое изучение его работ, убеждение, что, по словам К. Маркса (в передаче этих слов Лопатиным, знакомым с Марксом), «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы», переросли, как пояснял Лопатин позже, в «жгучее желание попытаться возратить миру этого великого публициста и гражданина»²⁹. О жизни Лопатина собирався написать повесть Г.И. Успенский. «Это целая поэма, — говорил писатель о Германе Александровиче. — Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком...»³⁰ 1 февраля 1871 г. Лопатина-Любавина арестовали в Иркутске за проживание по чужому паспорту. 3 июня он бежал из-под охраны унтер-офицера С. Ижевского, был пойман, судим,

и приговорен к сторублевому штрафу, поскольку обвинение в связях с Чернышевским оставалось недоказанным. В начале августа 1972 г. снова бежал, и этот побег власти немедленно связали с выполнением плана освобождения Чернышевского³¹. Уже 21 сентября В.П. де-Витте извещал вилюйского исправника (получено 4 октября) о розысках Лопатина, который «был «заподозрен в намерении освободить государственного преступника Чернышевского», и потребовал учредить «бдительный надзор». Сообщались его приметы: 26 лет, волосы русые, близорук, ходит в очках, росту 2 аршина 6 вершков, говорит с малороссийским акцентом. Губернатор предупреждал также о прибытии из Иркутска 20 сентября штаб-ротмистра князя Голицына в связи с розысками Лопатина. Вилюйский исправник отвечал, что «Лопатин ни в городе, ни вокруг не появлялся», а за Чернышевским «имеется строгий надзор, и нет ему никакой возможности сбежать из г. Вилюйска, а также, — прибавлял он заодно, — государственный преступник Вячеслав Шаганов, находясь под надзором Хотинского родового управления Сунтарского улуса, живет в доме самого старосты»³². Голицын прибыл в октябре, поездил по округу, побывал у Чернышевского, но следов Лопатина не обнаружил³³. О положении Чернышевского в последние месяцы 1872 г. вспоминал В.Н. Шаганов: «...Жандарм творит ему по возможности пакости, — так, например, зимой начал запирает острог, когда сам уходил пьянствовать с казаком в город, а потом это запираение ввел в систему, именно: стал запирает острог, когда бывал и дома»³⁴.

Лопатина и на этот раз поймали. Находясь под арестом, он 15 февраля 1873 г. написал письмо на имя генерал-губернатора Восточной Сибири Н.П. Синельникова и в нем откровенно признался о желании сделать все зависящее для освобождения Чернышевского, возвратив «делу отечественного прогресса одного из его наиболее сильных, наиболее честных и преданных деятелей». «Полная откровенность с Вами касательно бывших моих намерений, — писал Лопатин, — может послужить скорее в пользу, чем во вред Чернышевскому», так как теперь правительство знает, что имела место «единоличная сумасбродная попытка», и эта попытка потерпела неудачу³⁵.

В июне 1873 г. Лопатин вновь бежал, теперь уже за границу. Но администрация Восточной Сибири, ввиду недавнего признания Лопатина, направила строжайшие распоряжения в Якутск, и управляющий Якутской областью А. Юрьев приказал «усилить надзор за преступниками и в особенности за Чернышевским», что и было неукоснительно выполнено, как видно из вилюйского рапорта от

7 августа. «Я в тот же раз, — писал исправник, — дал строгое приказание страже, состоящей при государственном преступнике Чернышевском, об усилении бдительности надзора за ним»³⁶.

Ко времени поднявшегося полицейского переполоха относится событие, подчеркнувшее перемены к лучшему в отношениях к Чернышевскому. Дело касалось его прогулок. Охрана уже привыкла к его недолгим отлучкам и особенных препятствий ему не чинила. «Я, по своему обыкновению, довольно много хожу для поддержания здоровья», — писал Чернышевский жене летом 1872 г. (XIV, 531). Вспоминали, что иногда, чтобы подшутить над жандармом (а, может, и досадить ему), Чернышевский, гуляя, вдруг «подбирал полы пальто и пускался бежать, как бы устраивая побег», жандарм не выдерживал, кричал ему, а он, «сделав моцион», «останавливался и шел шагом, как бы ни в чем не повинный»³⁷. Но вот в письме от 10 августа 1873 г. Чернышевский подробно описал свои прогулки (XIV, 544). В другое время подобное сообщение никого не беспокоило бы. Однако на этот раз А. Юрьева насторожили слова о том, что в теплое время, когда нет снега, Чернышевский бродит по всем местам. Последовал резкий выговор. А. Юрьев потребовал немедленно известить, соблюдаются ли правила наблюдения за Чернышевским, «если нет и не особенно строго это было обставлено, то ввиду побега Лопатина с целью увлечь за собой Чернышевского, установить надзор как можно строже, скрытно и так, чтобы не придать ему вида арестанта»³⁸, — в соответствии с требованиями «Инструкции».

К этому времени подоспел еще один документ, который, несмотря на всю его абсурдность, все же в руках перепуганных генералов возымел действие. В октябре 1873 г. (судя по отметке — 21 числа³⁹) Н.П. Синельников читал анонимный донос от 8 марта, написанный мелким слипающимся почерком. На нескольких страницах автор с подкупающими подробностями расписал готовящийся план освобождения Чернышевского. М.А. Бакунин, Н.И. Утин и автор письма будто бы уже прибыли в Вилуйск, где их ждал Г.А. Лопатин. «С Чернышевским, — сообщал аноним, — мы имели постоянные сношения посредством микроскопических шифрованных депеш, которые оставляли ночью в известном месте, и во время прогулок Чернышевский их подымал незаметно от сопровождавшего его жандарма». Чернышевский будто бы долго не соглашался на побег, но наконец принял план, заговорщики лишь ждут санного пути, чтобы, устроив в городе пожар, в суматохе увезти его. Аноним нашел предлог вернуться в Иркутск и теперь советовал, не доверяя вилуйской охране, послать туда секретно кого-нибудь и сорвать го-

товящийся побег. Из Иркутска пошла зашифрованная депеша в Петербург. Там сведения сочли «едва ли основательными», но приказ «усугубить надзор» все же последовал. Вскоре заграничные агенты Третьего отделения уведомили, что М.А. Бакунин и Н.И. Утин находятся в Европе и что они действительно «предлагали Чернышевскому средства бежать, но он по слабости здоровья отказался». Получив эти сведения, Н.П. Синельников счел за надежное все же предложить П.А. Шувалову способ их проверки: командировать в Вилюйск полковника Купенкова под видом устройства золотых промыслов, но с главным поручением — «поймать Лопатина и кого-либо из соучастников»⁴⁰.

Появление в Вилюйске штаб-ротмистра князя Голицына, спустя год полковника Купенкова — эти частые наезды столь важных персон держали в напряжении и якутское, и вилюйское начальство, они не могли не отразиться и на положении Чернышевского.

Купенков выехал из Иркутска 12 декабря 1873 г., 30 декабря уже производил у Чернышевского обыск и на следующий день отбыл⁴¹. Обыск продолжался шесть часов с десяти утра в присутствии исправлявшего должность вилюйского исправника И. Жиркова, жандармского унтер-офицера И. Максимова, а также приехавших с полковником унтер-офицеров М. Мошкова и Ф. Черкашина. В составленном «Акте» находим подробное описание комнаты Чернышевского и ее обстановки. «Кроме необходимых одежных вещей, — писал Купенков, — и для хозяйства у Чернышевского в комнате найдены чай, сахар, табак, письменные принадлежности и разные книги научного содержания и периодические издания. При рассмотрении бумаг Чернышевского между письмами жены его найдено триста десять рублей, каковые отобраны и переданы на хранение местному исправнику под особую расписку. <...> Затем ничего подозрительного не обнаружено»⁴².

По возвращении в Иркутск Купенков представил генерал-губернатору подробный рапорт, датированный 30 января 1874 г. Мы уже приводили некоторые места из этого документа, представляющего несомненный биографический интерес. Обратим внимание на основную тему рапорта, связанную с главной целью поездки полковника. На вопрос Чернышевского «облегчение или отягощение» привез ему неожиданный визитер, тот объявил о вынужденности администрации принять особые меры к «пресечению ему побега из Сибири», поскольку известны намерения некоторых лиц, считающих себя «его друзьями», освободить его. Ответ Чернышевского жандарм привел полностью и в кавычках, ручаясь за достоверность услышанного: «Я их друзьями не считаю и никогда никого об этом

не просил и узнал только из газет, читая процесс Нечаева. Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя и Лермонтова, так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу, потому что я также передовой человек в русской литературе. Если те идеи, которые я проводил 10 л<ет> тому назад, признаны преступными, то за них я потерпел довольно, подчиняясь суду, и не знаю, за что после истечения срока каторги отягчают мою участь содержанием здесь и воспрещением печатать мои сочинения». Полковнику ничего не оставалось, как снова сослаться на тех, кто пытается устроить побег. Тогда Чернышевский еще раз убежденно заявил о своем отрицательном отношении к подобным попыткам. В передаче Купенкова его слова выглядели так: «Чернышевский высказал, что если бы ему предложили бежать, то он не согласится на это из простого благоразумия, ибо скрываться не умеет и не желает замерзнуть или утонуть в окрестностях Вилюйска». Затем «после обыска Чернышевский сказал, что охотно напечатал бы в газетах своим доброжелателям не делать к освобождению его никаких попыток, и, если я верю его честному слову, то он дает его в том, что помимо распоряжения начальства из Вилюйска не уедет». По мнению полковника, «побег Чернышевского из Вилюйска почти невыносим, благодаря географическому положению этого города, его климатическим условиям и редко населенным инородцами окрестностям. Какой бы путь для побега он ни избрал, т.е. через Приморскую область или по р. Лене, тот и другой одинаково затруднительны и не представляют возможности скрываться долго человеку, не знающему якутского языка и привыкшему к употреблению хлеба»⁴³.

Все три места в рапорте, связанные с темой побега, отчеркнуты на полях, вероятно, П.А. Шуваловым⁴⁴.

Отсылая в Петербург анонимное письмо и отчетные документы полковника Купенкова, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.П. Синельников дополнительно заверил: «...Хотя изложенное в письме и не подтвердилось, тем не менее о бдительном наблюдении за Чернышевским сделано надлежащее повторение»⁴⁵.

Подтверждением искренности заявлений Чернышевского об отъезде из Вилюйска только по разрешению властей служит его коротенькое письмо, написанное при Купенкове 30 декабря и с ним отправленное. Он просил здесь Ольгу Сократовну не верить разного рода слухам на его счет, исходящим от «бестолковых людей». «И даю тебе, мой друг, — писал он, — честное слово: не уеду отсюда никаким другим способом, как тот, которым приехал сюда» (XIV, 553). То же повторил он год спустя после разговора с приехавшим в Вилюйск

с инспекционной проверкой В.П. де-Витте, которого временно замещал А. Юрьев. «Даю тебе честное слово, — писал Чернышевский жене 25 января 1875 г., — что не поеду отсюда иначе, как обыкновенным, ни от кого никак не скрываемым, спокойным способом, с соблюдением всех форм и правил» (XIV, 583)⁴⁶.

О попытке Лопатина Чернышевский узнал от П.Ф. Николаева, проезжавшего через Вилюйск на жительство в Иркутскую губернию, «и он, — писал мемуарист, — плакал горькими слезами <...> плакал не потому, что все подобные попытки довольно сурово отражались на его собственной судьбе, а потому, что ему было жаль бесплодно из-за него гибнущих молодых сил...»⁴⁷.

Излишне говорить, что имя Чернышевского по-прежнему вычеркивалось из списков ссыльнокаторжных, положение которых облегчалось разного рода монаршими милостями. В архивном документе отмечено нераспространение на него льготы, дарованной очередным императорским распоряжением от 9 января 1874 г. Читаем: «О применении повеления 9-го января 1874 года вопроса не возникло, ибо означенное повеление относится до лиц, состоявших в разряде посланных на житье, а Чернышевский в 1873 году по особому Высочайшему повелению оставлен в положении ссыльно-поселенца»⁴⁸. В записке, составленной в 1883 г. Управляющим 2-м уголовным отделением Департамента министерства юстиции, отмечалось между тем, что «последовательное применение Высочайших повелений 25 мая 1868 года, 13 мая 1871 года и 9 января 1874 года имело бы своим последствием дарование прежних личных прав состояния Чернышевскому еще в 1874 году с дозволением переселиться в одну из внутренних губерний по назначению правительства»⁴⁹. Александр II, как видим, лично «позаботился» о судьбе ненавистного ему писателя.

Распоряжения об усилении надзора за Чернышевским после отъезда Купенкова приходили в Вилюйск еще несколько раз. Так, 24 декабря 1874 г. В.П. де-Витте направил подробное и «совершенно секретное» разъяснение относительно намерений уехавшего в Европу Лопатина и «заграничной партией лиц» освободить Чернышевского. После привычной фразы о «бдительном наблюдении» следовало: «...Следить за служащими чинами и в случае малейшего возбуждения с их стороны подозрения в правильности отправления ими служебных обязанностей принимать против них меры и производить строжайшее расследование совершенных ими упущений. Передавая Вашему Высокоблагородию все здесь изложенное, я остаюсь в полной уверенности, что Вы обратите на это важное обстоятельство особенное Ваше внимание, с тем чтобы Вы о неусыпном и ежечас-

ном надзоре за Чернышевским и появляющимися подозрительными лицами в Вилюйске дали соответственные строгие инструкции или предупредительные советы наблюдающему жандарму, урядникам и благонадежным лично известным Вам казакам по сему предмету, дабы не впасть в оплошность или обман и предотвратить побег названного преступника, преследуя его сообщников»⁵⁰.

Недоверие якутского начальства к «служащим чинам» при Чернышевском оставалось даже при условии, что они ежегодно сменялись и ни разу не были заподозрены в пособничестве «государственному преступнику». В январе 1874 г. вместо Е. Бродникова и Н. Новгородова присланы пятидесятник Семен Попов и урядник Александр Третьяков, спустя год – вновь Е. Бродников и Григорий Рубцов. Унтер-офицерами в 1874–1876 гг. назначались поочередно Ф. Черкесов, А. Фомин, С. Плотников, А. Быков⁵¹. Отзвуком благожелательных взаимоотношений Чернышевского с урядниками может служить предупреждение генерал-губернатора главе Якутской области и затем вилюйскому исправнику, последовавшее еще в конце 1871 г., о способности Чернышевского «располагать в свою пользу лиц, приставленных к нему для наблюдения»⁵².

1875 год оказался не менее наполненным посыпавшимися в Вилюйск наставлениями. В мае В.П. де-Витте довел до сведения тамошнего начальства распоряжение министра внутренних дел от 8 марта 1875 г. не допускать к государственным преступникам никого, кроме должностных лиц⁵³. В июне пришло предупреждение о возможном появлении в Вилюйске освобожденных на восемь месяцев для геологической экспедиции ссыльных А. Чекановского и С. Венгловского, которых не велено было допускать к Чернышевскому «ни под каким предлогом»⁵⁴. Незадолго до этого было предусмотрено «на случай пожара в Вилюйске, чтобы приставленные нижние чины отнюдь не отлучались из острога»⁵⁵.

Особенно заметными для Чернышевского оказались последствия приезда в Вилюйск И.Н. Мышкина.

Примечания

¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 18. Ср.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 19; Чернышевский в Сибири (1969). С. 167–168.

² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 141.

³ Там же. С. 231.

⁴ Там же. С. 143.

- ⁵ НАРС. Ф. 23-и Оп. I. Д. 158. Л. 11–20.
- ⁶ См.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке, С. 53; *Шульгин В.Н.* Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 264; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. Якутск. 1957. С. 78.
- ⁷ Былое. 1924. № 25. С. 44.
- ⁸ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 391. Полную расшифровку текста телеграммы см. там же: Л. 390, 402.
- ⁹ Там же. Л. 392.
- ¹⁰ Былое. 1924. № 25. С. 44–45.
- ¹¹ ГАРФ. Ф. 105. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 392–394.
- ¹² НАРС. Оп. 6. Д. 4. Л. 2.
- ¹³ Там же. Л. 78–79. Приведенный (с неточностями) текст рапорта исправника (в кн.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 53) ошибочно назван ответом на предписание якутского губернатора от 4 августа 1872 г. Допуская неточности при перепечатке текста рапорта, другой исследователь неверно датирует его 14 июля 1872 г. (см.: *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 79).
- ¹⁴ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 76–77.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 395.
- ¹⁶ Былое. 1924. № 25. С. 46.
- ¹⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 397 об.
- ¹⁸ Былое. 1924. № 25. С. 46.
- ¹⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 406.
- ²⁰ Там же. Л. 567.
- ²¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 103–106, 132.
- ²² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 145.
- ²³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 536.
- ²⁴ Былое. 1924. № 25. С. 52.
- ²⁵ См.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XLV; Каторга и ссылка. 1927. Кн. 5. С. 170; *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 51; см.: XIV, 843 (примеч. Б.П. Козьмина). Мы разделяем точку зрения Б.П. Козьмина.
- ²⁶ Былое. 1924. № 25. С. 46.
- ²⁷ *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 267; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 78–79.
- ²⁸ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 57–58; *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 42.
- ²⁹ Воспоминания (1982). С. 355.
- ³⁰ *Успенский Г.И.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1955–1957. Т. 9. С. 291.
- ³¹ Г.А. Лопатин. Пг., 1922. С. 11, 64–65.

- ³² НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 93–96.
- ³³ Романов И.М. Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 75.
- ³⁴ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 145.
- ³⁵ Воспоминания (1982). С. 357–358.
- ³⁶ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 547. Л. 3; Д. 619. Л. 7. Ср.: *Струминский М.Я.* Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 43; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 75–76.
- ³⁷ Воспоминания. (1982). С. 371.
- ³⁸ Романов И.М. Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 77.
- ³⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 441.
- ⁴⁰ Былое. 1924. № 25. С. 47–49.
- ⁴¹ Романов И.М. Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 118.
- ⁴² Былое. 1924. № 25. С. 49–50.
- ⁴³ Там же. С. 50–52.
- ⁴⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 449 об., 450.
- ⁴⁵ Там же Л. 439–439 об.
- ⁴⁶ Не выдерживает критики аргументация исследователей (см.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 273; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 119–124), видевших в словах Чернышевского «скрытую инструкцию» или «конспиративный намек» относительно того, как следует организовать его побег — например, с помощью переодевания в жандармскую форму.
- ⁴⁷ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 24.
- ⁴⁸ РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 128. Л. 20–20 об.
- ⁴⁹ Там же. Л. 4 об.
- ⁵⁰ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 337. Ср.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 45.
- ⁵¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 226, 262, 356, 521–528, 635. Ср.: *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 50; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 106.
- ⁵² *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 20.
- ⁵³ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 404.
- ⁵⁴ Там же. Л. 414; *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке С. 45 (с ошибкой в датировке документа сентябрем 1875 г.).
- ⁵⁵ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 362; *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 45.

10. Попытка уюза

Из всех известных попыток освобождения Чернышевского из Сибири¹ только одной, связанной с именем Ипполита Никитича Мышкина, суждено было обрести конкретные «вилуйские» очертания. Одному лишь Мышкину удалось добраться до самого Вилюйска, и если бы не бдительность стражей, жизнь Чернышевского могла подвергнуться еще большим и тяжким испытаниям.

История предприятия Мышкина хорошо изучена². Однако в научной биографии возникает потребность в новом критическом исследовании всей совокупности источников, восстанавливающих подробности события, поразительного по дерзости замысла и жертвенности исполнения.

Ко времени приезда в Сибирь Мышкину исполнилось 27 лет. Солдатский сын, он и сам начальное образование получил в школе кантонистов; но, отличившись способностями, был переведен в топографический класс Петербургского военного училища. Затем служил в штабах, изучал модную в те времена стенографию. Оставив в 1868 г. службу, поселился в Москве, выполняя поручения М.Н. Каткова для «Московских ведомостей». В частности, для этой газеты он стенографировал нечаевский процесс, и тогда-то, по словам В.Г. Короленко, «впервые проник в него микроб революционного настроения». Завел собственную типографию, печатал нелегальную литературу для саратовских пропагандистов. Избежав ареста, уехал в 1874 г. за границу, и вся последующая его деятельность накрепко связана с революционным движением. В.Г. Короленко называл его «быть может, самым ярким представителем не только народнического периода, но, пожалуй, и всех напластований революции того времени», «страстотерпцем революции»³.

Отвечая после ареста в 1875 г. на вопрос о его отношении к Чернышевскому, Мышкин написал: «...личная симпатия к Чернышевскому как автору нескольких произведений, с которыми мне удалось познакомиться», а «о нахождении Чернышевского в Вилюйске узнал из одного заграничного журнала»⁴. «Сочувствовать Чернышевскому он считает обязанностью всякого порядочного человека», — писал в донесении шефу жандармов начальник иркутского жандармского управления полковник Янковский⁵. По воспоминаниям хорошо знавшей Мышкина современницы, «он не мог не остановиться на фигуре Николая Гавриловича Чернышевского, огромным силуэтом выделявшейся на фоне подцензурной России и

отчетливо встававшей тогда в представлении русской молодежи, воспитавшейся на гениальных произведениях этого мощного ума, этой великой души». Мышкин «отдался весь» идее вырвать Чернышевского из когтей Александра II⁶.

Вся история с Мышкиным в кратком жандармском телеграфном извещении, представленном П.А. Шуваловым Александру II 17 августа 1875 г., выглядела следующим образом: «12 июля сделано покушение освободить Чернышевского лицом в жандармском мундире, именовавшимся поручиком Мещериновым. Вилюйский исправник, заподозрив личность, арестовал, отправил в Якутск. Дорогой мнимый Мещеринов, ранив одного казака, бежал в лес, 12-го пойман, назвал себя сыном вологодского священника Михаилом Петровичем Титовым. Следствие начато по предложению генерал-губернатора. Командирован в Якутск для участия в производстве следствия капитан Соколов. Подробности почтой»⁷.

Сообщение подробностей основывалось, конечно, на донесениях исполнявшего должность исправника сотника И.А. Жиркова. Первое из них датировано 12 июля 1875 г. и за № 1576 отправлено якутскому губернатору. Событие зафиксировано здесь с точностью до минуты – «12-го числа сего июля в три четверти третьего часа пополудни». Любопытно, что Мышкин прибыл в Вилюйск в день рождения Чернышевского. Назвавший себя Мещериновым офицер предъявил три документа: 1) телеграмму генерал-губернатора Восточной Сибири в Иркутское жандармское управление и вилюйскому исправнику с предписанием «оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск»; 2) уведомление исполняющего должность начальника иркутского жандармского управления капитана Соколова вилюйскому исправнику о препровождении телеграммы генерал-губернатора и об оказании содействия Мещеринову «по исполнению возложенного на него поручения»; 3) распоряжение капитана Соколова унтер-офицеру А. Фомину «исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручика Мещеринова»⁸.

Исправник Жирков, предупрежденный накануне двумя рапортами своих подчиненных, уже поджидал гостя и встретил его настроенно. Письмоводитель Сунтарской инородной управы доносил 11 июля о появлении на наемных лошадях в Сунтаре Мещеринова, который «не имел при себе ни казака и никакого человека». Другой подчиненный, помощник исправника Порогов, извещал, что «встретил Мещеринова в 10 верстах от Верхне-Вилюйской иногородней управы», и тот спросил Порогова, «ког-

да должна быть почта из Якутска в Вилюйск, сообщил, что он вернется из Вилюйска не один, но не знает еще, каким путем — через Сунтар или Якутск». Строгие распоряжения губернатора, посылаемые в течение последнего времени, предупредительные письма подчиненных чиновников обусловили настороженное отношение исправника к личности прибывшего и предъявленным документам. «...Я не только не допустил г. Мещеринова видеться с Чернышевским или делать у него обыск, а попросил усилить караул в остроге как наружный, так и внутренний и не решился выдать по требованию Мещеринова, тем более, как отозвался сам Мещеринов, он приехал в г. Вилюйск без подорожной, инкогнито и прогон нигде не оплатил». После этого, по словам исправника, офицер заявил о намерении немедленно ехать в Якутск, а исправник «для присмотра же за ним» назначил в сопровождение двух казаков (это были Бубякин и Моршинцев), с которыми и послал свое первое донесение⁹. Таким образом, содержащаяся в читанной Александром II телеграмме информация, будто вилюйский исправник арестовал Мещеринова и отправил его в Якутск под конвоем, была преждевременной.

Спустя два дня, 14 июля, исправник Жирков направил своему губернатору второе донесение. В дополнение к сообщенному добавлены слова, сказанные им Мещеринову: без предписания губернатора он не допустит-де в острог даже самого генерал-губернатора и шефа жандармов. Но основной смысл донесения заключался в другом — в объяснении надежности охраны Вилюйска и тюремного здания. Об урядниках он писал, что «негодное вооружение их и неимение даже необходимых патронов не позволило бы им прибегнуть к энергичным действиям в случае надобности». Исправник находил «содержание в здешнем тюремном замке государственного преступника Чернышевского небезопасным», и он предложил «ныне же перевести Чернышевского в Якутск» или прислать для охраны десять вооруженных солдат с двумя унтер-офицерами.

Прошло еще пять дней, и с казаком быстрым порядком отправлено в Якутск третье донесение о только что полученных («в 10 часов пополудни») тревожных известиях: Мещеринов, не доезжая одной версты до девятой станции от Вилюйска, четырежды выстрелил по сопровождавшим его казакам, ранил Бубякина и скрылся. Казакам Егору, Василию и Алексею Корякиным приказано срочно отправиться к месту происшествия, найти Бубякина, «по розыску же Мещеринова стараться всеми мерами схватить его в живых»¹⁰. На поминку Мещеринова губернатор также отрядил якутского исправника с двумя казаками.

В то же время якутский губернатор, получив первое донесение Жиркова от 12 июля, не смог сдержать раздражения по поводу всего случившегося. В секретном письме от 19 июля за № 22, оценивая действия вилюйского исправника в целом как «правильные», говорил за то, «что Вы, — писал губернатор, — напрасно не обыскали эту неизвестную личность и не отобрали от него всего оружия, как огнестрельного, так и холодного, что Вы в подобных случаях на будущее время должны исполнять. Караулы же, как Вы уже и распорядились, должны быть удвоенными до времени»¹¹.

Мышкина-Мещеринова арестовали на территории Якутского округа. Следственная комиссия, возглавленная якутским губернатором, немедленно приступила к работе. Сначала Мышкин назвал себя Титовым, его подлинная фамилия была установлена несколько позднее, как это следует из донесения полковника Янковского шефу жандармов от 12 сентября за № 51¹². Выяснено также, каким образом Мышкин раздобыл подлинные бланки иркутского жандармского управления: помог ему писарь управления К. Непейцын, и тот же писарь, не подозревая ничего, рассказал о местонахождении Чернышевского и организации надзора за ним¹³. При расспросах Мышкин поведал, что Чернышевскому он собирался открыть свой замысел потом, после увоза. «Если бы, — объяснял он, — предъявить Чернышевскому с первого раза откровенно предложение его освободить, то наверное надо было ожидать отрицательный ответ»¹⁴. На вопрос, знает ли он Лопатина, Мышкин ответил отрицательно¹⁵.

Об отношении самого Чернышевского к случившемуся известно лишь из мемуарных источников. Унтер-офицер Г.С. Щепин вспоминал, что попыткой Мышкина «Чернышевский был очень недоволен». Якутскому чиновнику Д.И. Меликову, видевшему Чернышевского в 1883 г., он сказал: «Вот тоже вздумали: Мышкин приезжал освобождать меня. Для чего это? Неужели они надеялись, что я соглашусь на побег? Этого никогда не могло быть». Важно отметить знание Чернышевским подлинной фамилии приезжавшего в Вилюйск офицера. Известен также рассказ Чернышевского, записанный Н.В. Рейнгардтом после встречи с ним в 1889 г.: «Я ничего не знал и не слышал об этом ранее. Однажды жандарм, который следил за мной, заявил мне, чтобы я оставался дома, не выходил никуда, так как едет жандармский офицер освободить меня; на это я ему выразил сомнение, сказав, что не может быть, тут что-то не то. На мои слова жандарм ответил, что он так же думает, что должно быть что-то не то, но во всяком случае попросил не выходить из дома. Когда наступил вечер, то жандарм пришел ко мне и объявил, что жандармский офицер оказался ненастоящий и его уже арестовали».

По свидетельству М.И. Писарева, Чернышевский называл подобные предприятия «напрасными затеями». «Они не знали, что я и ездить верхом не умею», — говорил он Н.Ф. Хованскому о Мышкине и других, кто строил планы его освобождения¹⁶.

В биографической литературе широкое распространение получила история с жандармским аксельбантом, послужившим причиной разоблачения Мышкина-Мещеринова. В печати о ней довольно подробно рассказано было в 1905 г. К.М. Федоровым, пользовавшимся авторитетом личного секретаря Чернышевского. «Попытка эта, — сообщал он, — едва не удалась, если бы не одна случайность, которая обнаружила обман. Дело в том, что офицер, назвавшийся Мещериновым и так формально обставивший все свое предприятие, надел аксельбант не на ту сторону мундира, где ему надлежало быть, чем и возбудил подозрение исправника. Мнимый жандарм Мещеринов был немедленно задержан. Он оказался политическим преступником Ипполитом Мышкиным. Сам Чернышевский, как он мне рассказывал впоследствии, в этом деле никакого участия не принимал. Весь заговор был сделан без его ведома»¹⁷. Между тем в опубликованных тогда же материалах о Мышкине упоминаний об аксельбанте не встречалось¹⁸. Ничего не говорилось о нем и в письме А.Н. Пыпину, присланному в октябре—ноябре 1875 г. кем-то из сотрудников газеты «Санкт-Петербургские ведомости», редакции которой неизвестным корреспондентом из Якутска были предоставлены сведения о попытке «господина в жандармском мундире»¹⁹. Большое сомнение по поводу ошибки Мышкина высказал В.Г. Короленко: «...Говорили, будто у Мышкина аксельбант был повешен не на той стороне, где надо, но, кажется, это неверно»²⁰. «Верно ли это — неизвестно», — писал другой современник, передавая сообщение об аксельбанте как о «слухе»²¹. Е.А. Ляцкий, судивший о вилюйском происшествии «по сообщению лица, исследовавшего эпизод Мышкина-Мещеринова на основании документов», об аксельбанте не сказал ни слова²². Между тем в 1913 г. М.Н. Чернышевский поместил в составе своих примечаний к сибирским письмам отца текст из записной книжки А.Н. Пыпина: «30 сентября 1876 г. — Был Иван Григорьевич <Терсинский>. <...> Рассказывал, что после попытки (Мышкина) освобождения в Вилюйске, где исправник уже готов был выдать Николая Гавр., но заподозрил мнимого жандарма, потому что у него не на той стороне был аксельбант. — У Николая Гавр. был сделан обыск»²³. Вместе с тем в печати продолжали появляться сообщения, подвергавшие сомнению достоверность факта. Так, о попытке Мышкина много и подробно рассказывал Н.С. Тютчеву унтер-офицер Гусаков, но из этого рассказа тому мало что запом-

нилось, «кроме, кажется, неверного слуха, что Мышкин возбудил подозрение потому, что у него аксельбанты были надеты не на полагающейся стороне»²⁴. В иных публикациях тех лет версию об аксельбанте просто отрицали²⁵.

Но вот в 1939 г. М.Я. Струминским осуществлено документальное закрепление истории с аксельбантом. Пересказывая содержание первых двух донесений вилюйского исправника якутскому губернатору в июле 1875 г., исследователь со ссылкой на архивный источник пишет: «Кроме того, зоркий глаз исправника усмотрел непорядок в одежде Мещеринова, недопустимый с точки зрения жандармской формы: аксельбанты одеты были неправильно»²⁶. С этого времени признание факта считалось обязательным. И.М. Романов, специально обследовавший якутский архив, подтвердил сообщение М.Я. Струминского. Однако с этим сообщением никак не согласовывалось немаловажное обстоятельство, выявленное и опубликованное ранее: по словам самого Мышкина, «мундир был шит у лучшего московского военного портного, заказанный военным же, и все было заранее прилажено к своему месту»²⁷. Тогда исследователь высказал предположение, что «эта легенда была сочинена вилюйским исправником Жирковым только для показа своей бдительности. На самом же деле Мышкин не мог допустить такую мелочную, но очень серьезную ошибку»²⁸.

В действительности цитированные выше донесения вилюйского исправника Жиркова, датированные 12 и 14 июля 1875 г. соответственно под № 1576 и 1584 – именно на них делали ссылки М.Я. Струминский и И.М. Романов, – сведений о нарушениях в одежде жандармского поручика Мещеринова в момент его появления перед исправником не содержат. Если бы Мышкин и в самом деле допустил оплошность с аксельбантом, исправник, без сомнения, не преминул бы отметить это. Документы свидетельствуют, что промах был совершен, но не в Вилюйске, а по дороге в Вилюйск, что было замечено и о чем было доложено якутскому губернатору и выше по инстанции. В донесении от 14 июля исправник Жирков сообщал о странностях в поведении Мещеринова после отъезда из Вилюйска: поручик неожиданно переоделся в частную одежду, тогда как до Вилюйска ехал в форменном сюртуке с аксельбантом на левой стороне²⁹. В секретном письме генерал-губернатора Восточной Сибири П.А. Фредерикса на имя шефа жандармов П.А. Шувалова от 19 августа 1875 г. под № 47 (оно было доложено Александру II 26 сентября) читаем о Мышкине, направившемся после встречи с исправником Жирковым в Якутск в сопровождении двух казаков: «По отъезде Мещеринов на 1-й станции переоделся в частную оде-

жду (тогда как он до Вилюйска на всем пространстве ехал в форменном сюртуке с аксельбантом на левой стороне), передав всю форму на хранение до Якутска казаку Семену Бубякину»³⁰.

На этот счет существует и мемуарное свидетельство, до сих пор не учитываемое в биографических работах. Оно принадлежит Н.М. Дашевскому, бывшему жителю Вилюйска, хорошо знавшему Чернышевского. О «мещанине Дашевском» Чернышевский упоминал в 1879 г. (X, 653). «Старик Н.М. Дашевский передает, что на его глазах была произведена попытка Мышкина освободить Чернышевского, выкрасть его из Вилюйска. Когда Мышкин, подвезая к Вилюйску, остановился в одном из пригородных улусов и стал переодеваться в офицерскую форму, он был замечен помощником вилюйского исправника, случайно находившегося в этом улусе. Мышкин тут же был взят на подозрение, так как, одевая офицерскую форму, он неправильно нацепил аксельбанты. До приезда в город о Мышкине уже было сообщено с нарочным якутом в Вилюйск»³¹. Возможно, Мышкин при въезде в Вилюйск успел исправить непорядок в одежде, но, как свидетельствуют приведенный выше документ из архива и показание современника, «он до Вилюйска на всем пространстве ехал в форменном сюртуке с аксельбантом на левой стороне».

В другом мемуарном отрывке, принадлежащем одной из знакомых Мышкина, весь эпизод передан следующим образом: «Разговор с исправником окончился неудачей. Потому ли, что, как говорил сам Мышкин, жандармские аксельбанты очутились у него не на том плече, на котором их полагалось носить, а может быть и потому еще, что царское правительство издавна умеет выбирать “опытных” сторожей к “серьезным” государственным врагам своим, нелегко выпускающих из рук своих ценную добычу — только кончилось тем, что исправник усумнился в действительности поручения и заявил, что без прямого распоряжения иркутского генерал-губернатора не может отпустить Чернышевского»³². Приведенные нами подлинные документы позволяют исправить ошибки памяти мемуаристки. Исправник потребовал бумагу, подписанную якутским, а не иркутским губернатором. Но в данном случае важнее другое: об ошибке с аксельбантом говорил сам Мышкин, хотя, вопреки утверждению его собеседницы, допускающей неточности в передаче фактов, относиться это могло и не ко времени его непосредственного пребывания в самом Вилюйске. Ведь Мышкин и потом в ходе следствия мог узнать, что настороженность вилюйского исправника была вызвана также и небрежностью в форменной одежде, замеченной помощником исправника Пороговым во время их беседы на подходе к

Вилуйску. Так или иначе, но предложение вовсе отвергнуть версию об аксельбанте³³ не находит опоры в источниках.

Судьба И.Н. Мышкина сложилась трагично. Он прошел по делу о «193-х» и был осужден на каторжные работы. В ноябре 1877 г. Мышкин произнес на суде одну из выдающихся в истории политических процессов речь³⁴. Каторгу отбывал на Каре и какое-то время в Вилуйском округе. Во «Входящем журнале секретным бумагам Вилуйского окружного полицейского управления на 1882 год» под № 45 значится получение 6 июня предписания якутского губернатора от 28 мая «об усилении строгого секретного надзора за прибытием ссыльнокаторжного Мышкина, а также за государственным преступником Чернышевским»³⁵. Волею судьбы их имена снова оказались вместе в полицейском документе связавшего их Вилуйска. В 1883 г. Мышкина перевели в Петропавловскую крепость и два года спустя расстреляли в Шлиссельбурге за неповиновение властям.

Вилуйская одиссея Мышкина лета 1875 г. повлекла за собой новый поток распоряжений перепуганных администраторов, столкнувшихся с реальной опасностью нелегального освобождения Чернышевского. Еще до ареста Мышкина якутский губернатор приказом по местной военной команде от 20 июля 1875 г. направил шестерых вооруженных солдат под начальством ефрейтора Захара Годунова «для усиления караула вилуйского острога»³⁶. Удалось установить имена рядовых — Никита Бурундуков, Афанасий Карпович, Семен Филонов, Петр Чубинский, Данила Никулин, Кирило Манаев. В 1876 г. А. Карпович и С. Филонов заменены Ларионом Борисовым и Иваном Анисимовым (прибыли 2 апреля)³⁷. Впоследствии численность солдат сократили до четырех человек, а с конца 1879 г. солдатский караул заменен казачьим³⁸.

Попытки вилуйского исправника избавиться от хлопот, возникающих в связи с пребыванием Чернышевского в его округе, оказались безрезультатными. В августе 1875 г. он снова предложил перевести столь важного ссыльного «в более благонадежное место»³⁹. Однако власти настаивали на жительстве Чернышевского именно в Вилуйске, и Жиркову пришлось удовлетворяться благодарностью, объявленной ему якутским губернатором 8 сентября «за осмотрительность и осторожность» в деле о намерении Мещеринова⁴⁰. На следующий год его наградили орденом Св. Станислава 2-й степени «за надлежащую осторожность, твердость и вместе с тем отличную исполнительность», «вполне серьезное отношение к своим обязанностям»⁴¹. Зато дело о награждении якута, поймавшего Мышкина, надолго затянулось и, судя по всему, ничем не кон-

чилось. Имя якута — Николай Афанасьевич Дьяковский, старшина Западно-Кангалаского улуса Одушинского селения. В 1886 г. после вторичного напоминания о нем из Главного управления Восточной Сибири, куда Дьяковский неоднократно обращался, якутский губернатор ответил, что тот в свое время действительно представлялся к награде, но бумаги сгорели во время пожара в 1879 г. и поэтому дело остановлено⁴².

Усиление охраны вилюйского острога воинским караулом сопровождалось предпринятыми исправником собственными мерами. Например, по его приказу в конце июля 1875 г. был организован «поход по городу и за наблюдением по реке». 1 апреля 1876 г. исправник получил строжайшее распоряжение нового якутского губернатора Г.Ф. Чернышева немедленно арестовывать каждого, кто явился бы за Чернышевским без собственноручного письма губернатора Якутской области⁴³. Администрация каторги и ссылки набиралась опыта в противодействии деятелям, покушавшимся на охранительные меры властей.

Слухи о неудачной попытке Мышкина распространились довольно широко в среде революционной молодежи и остановили не одно замышлявшееся предприятие такого же рода. Значение получили и публикации, появившиеся в русской эмигрантской или нелегальной прессе. Так, в газете «Вперед!» за 1875 г. (№ 23) в одной из корреспонденций, присылаемых из Сибири, сообщалось в связи с Мышкиным: «...Говорят, что при этой истории Чернышевский заявил, что увезти его помимо его воли немислимо и что напрасно его благодетели губят себя задором, ибо он твердо решил не бежать, так как он убежден, что должен же наступить когда-нибудь тот день, когда правительство сознает необходимым исправить сделанную им по отношению к нему несправедливость или когда, по крайней мере, перестанут осыпать его мерами строгости, ничем не вызванными с его стороны и составляющими совершенно произвольное, ничем не оправдываемое и вопиющее отягчение состоявшегося над ним приговора, как бы ни был несправедлив и суров этот последний»⁴⁴. В другой нелегальной газете «Начало» за март 1878 г. (№ 1), печатавшейся в России, неизвестный автор писал: «Чернышевский положительно не хочет бежать, чувствуя себя не в силах преодолеть все трудности пути, так что всякая попытка, ухудшая его положение, не может достичь своей цели»⁴⁵. В обоих случаях, как видим, неисканно передавались не единожды повторяемые Чернышевским просьбы-призывы. Авторы приведенных статей располагали надежной и точной информацией, путь которой из Вилюйска на волю еще подлежит внимательному исследованию.

Примечания

- ¹ О них см.: Чернышевский в Сибири (1969). С. 193, 238–283; *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978. С. 28–47; *Троицкий Н.А.* Восемь попыток освобождения Н.Г. Чернышевского // *Вопр. истории.* 1878. № 7. С. 122–141; *Сойкин О.А.* Из истории попыток освобождения Чернышевского // *Полярная звезда.* 1978. № 4. С. 132–136.
- ² Напр., см.: *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилуйском заточении. С. 139–147; Чернышевский в Сибири (1969). С. 261–280.
- ³ *Короленко В.Г.* Собр. соч.: В 5 т. Л., 1990–1991. Т. 5. С. 245, 252.
- ⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 511 об.
- ⁵ Там же. Л. 491 об.
- ⁶ *Брешковская Е.* Ипполит Мышкин и архангельский кружок. Типография партии социалистов-революционеров. 1904. С. 17.
- ⁷ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 459.
- ⁸ *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилуйской ссылке. С. 63–65.
- ⁹ Там же. Текст уточнен по первоисточнику: НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 420–422.
- ¹⁰ *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилуйской ссылке. С. 65–66; *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилуйском заточении. С. 145; НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 425–438.
- ¹¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 446–447.
- ¹² ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 525. Свое настоящее имя Мышкин объявил 10 августа 1875 г. в письменном заявлении на имя прокурора. – Чернышевский в Сибири (1969). С. 277.
- ¹³ Каторга и ссылка. 1927. № 5. С. 177.
- ¹⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 504 об.; *Вопр. истории.* 1978. № 7. С. 138.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 512.
- ¹⁶ *Воспоминания* (1959). Т. 2. С. 218, 281; *Воспоминания* (1982). С. 394, 396, 366.
- ¹⁷ *Федоров К.М.* Жизнь русских великих людей. Н.Г. Чернышевский. СПб., 1905. С. 78.
- ¹⁸ См.: *Мир Божий.* 1905. № 1. С. 41–42; *Минувшие годы.* 1908. № 3. С. 10–13.
- ¹⁹ *Чернышевский в Сибири* (1913). Вып. 1. С. 188.
- ²⁰ *Русское богатство.* 1904. № 11. С. 49.

- ²¹ *Добогорий-Мокриевич Вл.* Воспоминания. СПб., 1906. С. 187.
- ²² Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. LVII–LVIII.
- ²³ Там же. Вып. II. С. 217.
- ²⁴ *Тютчев Н.С.* В ссылке и другие воспоминания. М., 1925. Кн. III. Ч. II. С. 74.
- ²⁵ См.: *Ноздрин А.С.* Попытки освобождения Чернышевского // Рабочий край (Иваново–Вознесенск). 1928. 24 июля.
- ²⁶ *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 65.
- ²⁷ Мир Божий. 1905. № 1. С. 40.
- ²⁸ *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 144.
- ²⁹ *Бик В.И.* Н.Г. Чернышевский в Вилюйской ссылке (хронологическая канва) // *Грибановский Н.Н.* Н.Г. Чернышевский в Вилюйске. Библиографический указатель. Якутск. 1947. С. 55.
- ³⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 497–497 об.
- ³¹ Живой свидетель пребывания Н.Г. Чернышевского в ссылке // Советская Сибирь (Новосибирск). 1928. 6 декабря.
- ³² *Брешковская Е.* Ипполит Мышкин и архангельский кружок. С. 20.
- ³³ Вопр. истории. 1978. № 7. С. 137.
- ³⁴ См.: *Базанов В.* Ипполит Мышкин и его речь на процессе «193-х» // Русская литература. 1963. № 2. С. 150–162; *Троицкий Н.А.* Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866–1882 гг. М., 1978. С. 120–123.
- ³⁵ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 28. Л. 3.
- ³⁶ *Струминский М.Я.* Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 66.
- ³⁷ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 490, 590, 595.
- ³⁸ *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 148.
- ³⁹ Летопись. С. 438; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 20–21.
- ⁴⁰ *Струминский М.Я.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 67; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 21.
- ⁴¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 534; Каторга и ссылка. 1927. № 5. С. 181.
- ⁴² НАРС. Ф. 12-и. Оп. 1. Д. 2838. Л. 1, 13, 14, 18–20.
- ⁴³ *Бик В.И.* Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 58; Летопись. С. 437, 446–447.
- ⁴⁴ *Клевенский М.* Н.Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60–80-х годов // ЛН. Т. 25–26. С. 559.
- ⁴⁵ *Чешихин-Ветринский Вас.Е.* Н.Г. Чернышевский. Пг., 1923. С. 184.

11. В тисках запретов

По приезде в Вилюйск Чернышевский не сразу принялся за продолжение беллетристических сочинений, которыми был занят последние годы. В.Н. Шаганов, побывавший у него с П.Ф. Николаевым в конце апреля 1872 г., засвидетельствовал: «Писать еще не начал. Он говорил, что услышавши о приезде к нему жандармского офицера, он предполагал обыск и потому уничтожил свои рукописи, о чем, особенно об уничтожении “Рассказов из Белого Зала”, он, очевидно, очень сожалел.

– Надо писать все снова, – говорил он, – поэтому все и не принимаюсь». Уничтожение рукописей, вероятнее всего, относится к последнему александровскому году, потому что в ту пору появление жандармского офицера в Вилюйске, когда только что уехал штабс-капитан Зейфарт, не ожидалось.

Мемуары В.Н. Шаганова являются также единственным источником, из которого устанавливается факт первой вилюйской попытки Чернышевского получить доступ в печать. Это было связано с приездом в Вилюйск в октябре 1872 г. князя Голицына, служившего адъютантом у генерал-губернатора Восточной Сибири. «Чернышевский после рассказывал, что он просил Голицына сказать Синельникову, не разрешат ли ему списаться в Петербурге, чтобы ему присылали книг для переводов, и эти переводы он мог бы отсылать в Петербург. Голицын категорически заявил, что это желание Чернышевского не будет удовлетворено»¹.

Следующий случай вновь заявить о своем желании получить выход в печать представился через год в связи с приездом полковника Купенкова. В передаче жандарма слова Чернышевского о воспрещении печататься звучали так: «Это единственный источник моей семьи, которую я обязан поддерживать своим трудом. Другого труда, кроме литературного, я не знаю, – стало быть, этим воспрещением мне наносится денежный убыток, по крайней мере в 10 тысяч рублей в год, и я вместо того, чтобы помогать семье, должен брать от нее последние средства для своего содержания». В ответ Чернышевский привычно услышал, что «правительство не может допустить его дальнейшей литературной деятельности»².

Рапорт полковника содержит также ценное для биографа сообщение о литературных занятиях писателя. «При втором моем посещении, – писал Купенков, – Чернышевский заявил, что время он проводит в чтении и письме, излагая на бумагу сюжеты своих лите-

ратурных трудов, и когда они укрепятся в его памяти, то уничтожает их. Сначала он написал до 15 романов, а теперь пишет очерки из всеобщей истории человечества»³. Романы — конечно, результат труда за все время пребывания в Сибири. А об очерках умолчать было невозможно, поскольку полковник изъял эти рукописи при обыске. Крапорту были приложены, кроме «а) Акта обыска в помещении Чернышевского», «б) 12-ть листов его рукописей в) Тетрадь переписанных рукописей»⁴. В «Акте» заявлено: «Бумаги, писанные рукою Чернышевского, по краткости времени и неразборчивости его почерка, при обыске не прочтены, а в числе двенадцати отрывков отобраны и припечатаны»⁵. Эти двенадцать листов автографов не сохранились в жандармском деле, а оставшиеся здесь копии, выполненные тогда же в Вилюйске, включают три варианта «Очерков содержания всеобщей истории человечества», отрывки под названием «Рассказы А.М. Левицкого» (см.: XIII, 884—885) и текст стихотворения, начинавшегося строками «Песня битвы с Газдрубалом, песня стонов и мольбы...»⁶. Сохранение «Рассказов А.М. Левицкого» показывает, что автор не оставлял мысли завершить роман «Пролог», в который составной частью входила повесть о Левицком. «Песня битвы с Газдрубалом...» — отрывок одного из вариантов поэмы «Гимн Деве Неба», посланной, как увидим ниже, в полном виде редактору «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу в 1875 г. Начало работы над этим произведением, следовательно, относится к 1873 г. «Очерки содержания всеобщей истории человечества» представлены лишь вариантами «Предисловия», объясняющего цели и задачи труда. «Эта книга, — читаем здесь, — ряд технических разъяснений, составляющих очень неполный, но все-таки непрерывный комментарий к обыкновенному тексту всеобщей истории, — чьему в особенности? — ни к чьему в особенности; к обыкновенному только; коллективному только». Далее, по-прежнему настаивая на полной объективности намерений, Чернышевский указывал на отсутствие в книге споров «ни с кем из историков ли, из других ли ученых», на отсутствие в ней цитат, «ни прямых, ни косвенных»⁷.

В начале февраля 1874 г. В.Н. Шаганову, переводимому из Сунтарского в Бутурусский улус, вновь удалось побывать у Чернышевского, и тот поведал о своих творческих планах. Продолжил было «Рассказы из Белого Зала», но «часто рвал в ожидании нашествия неприятеля и без надежды получить возможность возобновить их и писать без помехи». Задумал также написать историю человечества в рассказах для детей, часть ее уже сочинил, но уничтожил еще до приезда Купенкова. Затем вернулся к замыслу, и В.Н. Шаганов услышал часть написанного в авторском чтении. «Это пред-

полагался, — вспоминал он, — ряд исторических картин, образно и рассказанных. Прочитанный мне отрывок рассказывал про осаду Коринфа римлянами. Священная любовь коринфян к своим республиканским учреждениям и страх за разрушение греческой цивилизации варварами-римлянами — вот была тенденция, поучение рассказа. Собрания на площадях граждан, их разговоры, их воззвания и приготовления к защите города, наконец самая осада — это было изображено в ряде таких живых и вдохновенных картин, что они остались в моей памяти именно как картины живой жизни, а не слова». Молитва к богине, покровительнице Коринфа, была написана гекзаметром, «но я до тех пор не слышал такого страстного, такого могучего гекзаметра»⁸. Возможно, «Гимн Деве Неба» — из этого же замысла, который, несомненно, связан и с работой над «Очерками содержания всеобщей истории человечества».

Спустя ровно год, в половине февраля 1875 г., Чернышевский предпринял решительный шаг к прорыву в печать. На имя редактора «Вестника Европы» М.М. Стасюлевича он отправляет свою поэму «Гимн Деве Неба», подписав ее вымышленным именем Дензиль Эллиот. Поэма здесь названа частью прозаического рассказа «Внука Эмпедокла», который в свою очередь являлся одним из бесчисленных вставных эпизодов «Академии Лазурных гор» — монументального произведения, схожего, судя по всему, с «Рассказами из Белого Зала». Настойчиво подчеркивалось полное пренебрежение автора (Дензиля Эллиота) к современным политическим темам — «не то, что о России или Германии, странах чужих ему, даже об Англии он забывает для преданий старины; для дивной природы юга; для вечных интересов мысли» (XIV, 585). Только в этом случае, как убеждал Чернышевский Стасюлевича, обеспечивались условия прохождения его произведений через цензуру.

Поводом для прямого обращения к редактору журнала послужило очередное письмо Ольги Сократовны, жаловавшейся на безденежье. Ее письмо датировано 24 ноября 1874 г., в Вилюйск оно пришло, как устанавливается по отметке в полицейском управлении, 25 января 1875 г.⁹, и в тот же день Чернышевский написал и отправил с приехавшим в Вилюйск губернатором В.П. де-Витте ответ, по которому можно судить о содержании послания О.С. Чернышевской. Она писала, что с холодами опять болеет, что нет денег для поездки на юг. Чернышевский сокрушается по поводу своей вины перед ней и детьми, оставшимися без средств. Он теперь намерен исправить эту вину, хотя «с официальной точки зрения может казаться соединенным с некоторыми неудобствами единственный способ, каким я способен зарабатывать деньги, литературный труд».

Он понимает, насколько незначительными по содержанию будут его произведения, ввиду особых условий, «но не из авторского же самолюбия стану я писать. Конечно, лишь для того, чтобы получались за это деньги и передавались тебе» (XIV, 583, 584).

Нужно полагать, две недели, отделившие это письмо от послышки М.М. Стасюлевичу, он трудился над поэмой «Гимн Деве Неба». О другой поэме он сообщил жене 18 марта 1875 г., приведя написанные в честь ее дня рождения четыре стиха из хора девушек, встречающих Лейлу: «Волосы и глаза твои черны, как ночь; // И сияние солнца во взгляде твоём» и т.д. «Поэма будет такая, что от нее не отказались бы ни Лермонтов, ни Пушкин» (XIV, 596), — сказано, несомненно, с самоиронией, но на всякий случай и с целью внушить читающим его письмо чиновникам высокое мнение о его таланте. О стихах говорил в одном из писем 1883 г.: «Версификация не дана мне природою». Более высоко оценивал свой дар беллетриста — «но проза моя — хорошая поэзия». Но и в этих самооценках сильны критические нотки: «Я очень плохой стилист. <...> У меня всегда была растянутасть, самый язык мой всегда был неуклюж. Это не язык Пушкина или Лермонтова, а язык Гоголя: неловкие выражения, неточность в употреблении слов — то есть неуменье подобрать для мысли соответствующие характеру ее слова и выражения — запутанность конструкции, периоды то по вершку длиною, то по девяти сажень, — словом, плохой язык» (XV, 390, 392). «Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель», — очень точно сказал он однажды о себе (XV, 20).

Посылая поэму «Гимн Деве Неба», Чернышевский ничуть не обманывался насчет ее художественных достоинств. Но надеялся: там, в петербургском журнале, поймут и напечатают, хотя бы и в убыток себе. Придет время — расплатится. «Со мною не бывает неприятных денежных расчетов», — писал он М.М. Стасюлевичу (XIV, 587).

Получателем посланных Чернышевским рукописей Е.А. Ляцкий, ошибочно датировавший весь эпизод 1870 г., называл А.Н. Пыпина, который будто бы решил задержать их, не передавая М.М. Стасюлевичу¹⁰. Однако это не так. Жандармский архив свидетельствует, что письмо Чернышевского в редакцию «Вестника Европы» не дошло по назначению, будучи приобщенным к делу 8 августа 1875 г.¹¹ К А.Н. Пыпину Чернышевский адресовался чуть позднее, 3 мая 1875 г., приложив к письму шесть листков — отрывки из «Академии Лазурных гор» и вставной поэмы «Книга Солнца Ночи». В последние три месяца «не было ни одних суток, в которые, — писал здесь Чернышевский, — работал бы я меньше пятнадцати часов». В письме есть обращение и к якутскому губернатору: надежда на

благоразумие административных лиц, не смеющих мешать исполнению «обязанностей семьянина», и предупреждение, что в случае задержки отсылаемых в журнал произведений их автор вынужден будет писать шефу жандармов (XIV, 505, 618). В Третьем отделении письмо задержали и приобщили к делу, как и предыдущее, 8 августа.

10 июня 1875 г. в вилюйском окружном управлении зарегистрировано письмо «в редакцию “Вестника Европы”» на имя А.Н. Пыпина¹² — очередные семь листов «громадного, — сообщил Чернышевский, — комплекса рассказов из “Академии Лазурных Гор”» и листок заметок для типографии. Известил: как только увидит напечатанным «Гимн Деве Неба», будет посылать «массы» — «я по-прежнему неутомим в работе» (XIV, 619). Письмо и рукописи 1 сентября того же года оставлены в Третьем отделении¹³. После этого последовали девять коротких писем к жене без каких-либо вложений, а 13 марта 1876 г. Чернышевский, воспользовавшись приездом в Вилюйск нового якутского губернатора Г.Ф. Черняева, отправил письмо с рукописями поэмы «Гимн Деве Неба» и поэмы «Из Видвесты» (ее отрывок посылался прежде — XIV, 613). «То, что я послал Стасюлевичу и тебе, — правильно рассудил он, — осталось-таки лежать под зеленым сукном». Ради получения разрешения на печатание он готов был добровольно подвергнуться на длительное время суровым условиям одиночного заключения. «Около половины прошлого-годного (1875) лета я, — писал он здесь же, — засел в моей комнате; не абсолютно безвыходно, но почти безвыходно. Я выходил раз в месяц на полчаса отдать деньги двум старухам за обед и за молоко. Только. И понемногу довел дело до того, что перестал принимать в свою комнату кого бы то ни было, кроме якута, подающего мне самовар и обед и не умеющего говорить по-русски (а я по-якутски не знаю ни одного слова). Приезжал сюда зимой архиерей, хотел видеть меня, — я и ему отвечал, что не могу его видеть. <...> И более чем полгода добровольно просидел в одиночном заключении, более строгом, чем правила, какие соблюдались при мне в Алексеевском равелине» (XIV, 630–631).

Объяснял и рассказывал это Чернышевский не столько для Пыпина, сколько для главных лиц якутской и петербургской власти, чтобы продемонстрировать твердость воли в достижении своих целей.

Появление губернатора Г.Ф. Черняева в Вилюйске использовано для нового возбуждения вопроса о разрешении литературной деятельности. Документальное подтверждение этому — официальное обращение генерал-губернатора Восточной Сибири к управляющему Третьим отделением 15 мая 1876 г. Ввиду важности устанавливаемого биографического факта приводим текст документа полностью:

«Управляющий Якутской областью от 10 минувшего апреля за № 35 доносит, что при обозрении им Вилюйского округа содержащийся в Вилюйске государственный преступник Николай Чернышевский обратился к нему с личной просьбою о разрешении ему отдавать в печать собственные его литературные произведения и печатать таковые не под его именем, а под псевдонимом; таковую просьбу Чернышевский основывает на крайней необходимости помогать деньгами жене и детям своим, терпящим крайнюю нужду, доводящую его самого до безысходных страданий, не дающих ему покоя; вместе с тем Чернышевский просит также и о том, чтобы все деньги, платимые редакцією журнала “Вестник Европы” за его сочинения, были бы выдаваемы его жене. При этом полковник Черняев представил и письмо Чернышевского, адресованное Ивану Григорьевичу Терсинскому для передачи Александру Николаевичу Пыпину с приложением сочинений “Гимн Деве Неба” и “Из Видвесты”».

Сообщая об изложенном, имею честь препроводить при сем на усмотрение Вашего Превосходительства письмо Чернышевского и его литературные произведения»¹⁴. Итак, якутский губернатор дал официальный ход просьбе Чернышевского, и ее поддержал генерал-губернатор П.А. Фредерикс. Бумага из Иркутска адресовалась Н.В. Мезенцову, а шефом жандармов в ту пору был А.Л. Потапов, главный организатор подлога в деле Чернышевского¹⁵; ни тот ни другой никогда ничего не сделали бы для сосланного писателя, и разрешение не состоялось. Формально это выглядело так. Для А.Л. Потапова чиновники Третьего отделения составили довольно пространную справку «О корреспонденции политических преступников» с выписками из различных постановлений. В частности, сюда вошли тексты 5 и 12 пунктов «Инструкции для наблюдения за государственным преступником Николаем Чернышевским», касающихся правил переписки. Здесь же помещено изложение Высочайшего повеления по докладу П.А. Шувалова в феврале 1871 г. об отношении к сочинениям политических преступников — «не разрешать к выпуску сочинений лиц, признанных изгнанниками отечества, тайно покинувших его, и государственных преступников, какого бы содержания и в каком бы виде сочинения эти ни были, под собственными ли именами авторов или под какими-либо псевдонимами и знаками». На полях первой страницы справки сделана надпись, решающая судьбу письма Чернышевского: «Письмо задержать. 25 июня»¹⁶.

В свою очередь склонить Третье отделение к выдаче разрешения на опубликование произведений Чернышевского попытался А.Н. Пыпин. В его записной книжке под 30 сентября 1876 г. поме-

чено: «...Надо написать докладную записку в III отделение об издании сочинений». Затем пришло решение действовать не напрямую, а через Литературный фонд. С этой целью Пыпин уже в 1877 г. составил список из 22 сочинений Чернышевского 1854–1862 гг. и письмо к председателю Литературного фонда К.Г. Репинскому с изложением материальных затруднений семьи писателя и обстоятельств, связанных с нежелательным злоупотреблением его имени «здешними агитаторами» и «воровским печатанием его сочинений за границей» (речь шла о романе «Пролог пролога»). К этому Пыпин присоединил просьбу о ходатайстве перед Третьим отделением в разрешении «хотя переводных работ»¹⁷. Сенатор К.Г. Репинский, бывший соученик Г.И. Чернышевского по Пензенской духовной семинарии, не остался равнодушен и 22 октября 1877 г. подал свое ходатайство на имя шефа жандармов. 26 ноября пришел ответ: «Положение семейства Чернышевского не может быть облегчено тем способом, к которому Вы изволили придти...»¹⁸.

Поэма «Гимн Деве Неба» так и не появилась в печати, и отчаявшийся автор вообще перестал что-либо сочинять, сжигая все написанное. По его словам из письма к жене от 21 июля 1876 г., он уже «года полтора» как «не имел охоты писать для бросания в печь» (XIV, 661). Сочинительство уступило место многостраничным письмам сыновьям, которые он сам называл «беседами» или «учеными диссертациями». Убеждая стражей в отказе от сочинительства, он все же не оставил попыток обойти их бдительность. Так, в один из конвертов с письмом к жене от 31 марта 1878 г. он вложил свой перевод рассказа Брета Гарта «Миггельс» с английского, рекомендуя его детям как «материал для курса морали» (XV, 228–238). Рассказ вполне годился и для печати. В начале марта того же года он пообещал Ольге Сократовне написать для нее свои воспоминания о детских годах, чтобы, по его словам, как-то развлечь ее. Была, думается, и еще причина для припоминаний о далеких саратовских годах – долгие беседы с саратовскими старообрядцами супругами Чистоплюевыми. Не случайно в «Записке» об их следственном деле он неоднократно подтверждал сказанное ими своими детскими впечатлениями (см.: X, 545–546, 551, 552). В то же время имелись в виду и публикаторские цели. «То, что может иметь интерес для тебя, – объяснял он, – отберу и пошлю к тебе. Но это будет лишь небольшая доля. Остальное, неинтересное тебе, буду, вероятно, посылать мужу Юлии Петровны» (XV, 179). Муж Юлии Петровны – А.Н. Пыпин. Чернышевский явно намекал на возможность использования присылаемых материалов для печати. Программа намечалась обширная – «о моем детстве, о годах моего юношества и обо всем и

обо всех, кто были и что было около меня до нашего с тобой отъезда в Петербург. И некоторые частички из моих воспоминаний о последующих временах» (X, 201). И действительно, из острога чередой потянулись письма с подробными воспоминаниями «о старине», между тем сохраняющими самостоятельную литературную цельность. Вспомним, как Чернышевский, находясь в Петропавловской крепости, работал над автобиографической книгой и вводил ее фрагменты в текст романа «Повести в повести»¹⁹.

Замысел проникнуть-таки в литературу не удался и на этот раз. На пути писателя встал якутский губернатор Г.Ф. Черняев, всего два года тому назад не препятствовавший отсылке его сочинений в печать. Видимо, жестким оказалось сделанное губернатору внушение высших петербургских чинов, если теперь он сам проявил инициативу в разоблачении попытки сочинителя. 11 апреля 1878 г. Г.Ф. Черняев отправил в Иркутск генерал-губернатору донесение с восемью письмами Чернышевского от 8 марта до 6 апреля, которые «обратили на себя внимание собственно своим содержанием»: например, заключающиеся в этих письмах рассуждения об истории «уже не есть продолжение прежних бесед с детьми его, как называет Чернышевский, а труд самостоятельный по всеобщей истории с философической точки зрения». Имея в виду воспоминания о детских годах, перевод рассказа Брета Гарта и «философские рассуждения», губернатор пишет, что они «хотя и не заключают в себе ничего предосудительного, но представляют собою уже труд самостоятельный, вполне годный для печати, и тем более, что Чернышевский, увеличив число и объем своих писем, обещает и продолжение их». 7 июня письма переслали в Третье отделение, где их тщательно перечитали и постановили по адресу не пересылать, поскольку их автор «не только извещает о себе, но и рассказывает о сторонних обстоятельствах в литературно-повествовательной форме». В Иркутск 14 июля отправлен ответ Н.В. Мезенцова: «...Признаю справедливым предупредить Чернышевского, что на основании установленных правил он имеет право в письмах своих к родным лишь извещать их о своем положении в приличных формах и выражениях, не касаясь вовсе посторонних обстоятельств»²⁰. Эти слова, но без упоминания о Третьем отделении, якутский губернатор повторил почти дословно в своем распоряжении, посланном вилюйскому исправнику 29 сентября 1878 г. за № 121. Тот предъявил документ Чернышевскому, и на полях официальной бумаги появились две его надписи. «Само собою разумеется, что я буду держаться правила, которое изложено в этой бумаге, но я полагаю, что это предписание возникло лишь по какой-нибудь ошибке, и отправлю об этом пись-

мо в 3-е отделение Собственной Его Величества канцелярии» – запись свидетельствует о крайнем раздражении, о готовности пойти на конфликт. Во второй надписи Чернышевский поручал исправнику отправить губернатору «эту бумагу с этою моею подпиской». Одновременно он написал какое-то письмо (оно не сохранилось), о котором известно лишь, что оно вызвало повторное чернышевское распоряжение за № 176 от 27 ноября 1878 г. с напоминанием о предыдущем за № 121. В Вилюйск оно пришло 2 декабря. Губернатор указывал: Чернышевский «не выполняет вышесказанного распоряжения и адресует свои письма не на свое семейство через г. Терсинского (как уже давно установившийся адрес), а даже на посторонних». Чернышевский оставил автограф и здесь: «Эта бумага послужит предметом моего письма к Терсинскому, которое советую г. губернатору не задерживать». На отдельном листке он написал: «Г. исправник потрудится отослать г. губернатору этот листок. Чернышевский советует г. Черняеву быть осторожнее. Н. Чернышевский. 5 декабря 1878. (подана по прочтении бумаги из Якутского областного правления от 27 ноября 1878). Н. Чернышевский» (XV, 922)²¹. После этого поступило еще одно губернаторское послание от 23 декабря 1878 г. за № 208. Оно учитывало не дошедшее до нас извещение, в котором Чернышевский выразил опасение быть отравленным. «Поручается объявить Чернышевскому, что доходящие до него слухи, – писал губернатор (и слухи эти, к счастью, не оправдались), – несомненно клеветы <...> и если Чернышевский укажет, от кого он слышал об желании его смерти, то удостоверимся и произведем следствие». Касаясь угрозы ссыльного обжаловать действия губернатора в Третьем отделении, Черняев писал: «Я разрешаю ему это сделать, но не в виде письма Терсинскому, а адресуя шефу жандармов, но при условии писать строго проверенную правду и в выражениях, подобающих высокопоставленной особе». Чернышевский не оставил без ответа и эту рекомендацию. На самом документе он написал: «...Ни разрешать, ни запрещать мне писать к г. шефу жандармов якутский губернатор не имеет права». И далее следовал совет придерживаться в своих действиях законов (XV, 922). Можно себе представить, как взбешен был полковник. Его очередной в этой истории конфликта указ от 23 февраля 1879 г. содержал сплошные угрозы и репрессивные распоряжения. Вилюйскому исправнику А.Г. Протопопову (он сменил И.А. Жиркова 30 октября 1876 г.) объявлялся строжайший выговор за предъявление государственному преступнику секретной переписки, а Чернышевского велено было за допущение «ложных и крайне неприличных выражений» лишить на три дня права выхода за ворота тюремного

замка» (XV, 922)²². «Арест в аресте» — по словам современника. «Нам рассказывали, — вспоминал он, — что этот арест страшно возмутил Николая Гавриловича, что это возмущение он проявил горячо и несдержанно, несмотря на то, что выглядел уравновешенным; да смог ли бы кто не возмутиться?»²³

Факт протеста зафиксирован документально. В послании Г.Ф. Черняева от 6 марта 1880 г. к шефу жандармов (им с августа 1878 г. стал Н.Д. Селиверстов) этому эпизоду было отведено особое место. «...Когда он, — писал о Чернышевском губернатор, — запротестовал на это взыскание, не желая его выполнить, то без дальнейших разговоров ворота острога были заперты, и он в течение трех дней не выпускался за ограду». И далее губернатор изложил свое, основанное, конечно, на сообщениях исправника Шахурдина (Протопопов оставил должность в конце февраля 1879 г.) понимание психологии своевольного политссыльного: «Лишенный возможности порисоваться угнетением, такого ареста перед своими вилюйскими знакомыми, Чернышевский казался присмирившим и недовольствие свое выражал только долгим неписанием обыкновенных писем к своей семье»²⁴.

Чернышевский прервал переписку до апреля 1879 г. «На то была единственной причиной моя воля не писать. Мотив этой воли немало не важный. Но мне думалось, что это необходимо так сделать. Почему и для чего, напишу в следующий раз», — сообщал он жене в письме от 25 мая 1879 г. (XV, 298–299). Объяснений он не стал делать и позднее.

Казалось, безрезультатность обращений к высшей якутской власти уже не оставляла надежды на облегчение участи, на возможность печататься. Однако Чернышевский не относился к людям пассивным, он готов был бороться до тех пор, пока существовал малейший шанс повлиять на условия установленного режима. Трехдневный арест, устроенный ему в начале марта 1879 г., лишь укрепил в мысли действовать более уверенно. Оставался еще один более высокий, чем якутский губернатор или генерал-губернатор Восточной Сибири адрес — Александр II, и Чернышевский решил прибегнуть к этому последнему способу, чтобы прояснить свою судьбу.

Выступить с просьбой о помиловании — обычный верноподданнический путь смирившихся протестантов — он не желал. Писатель нашел иной способ напомнить о себе, сохраняя личное достоинство, достоинство русского литератора. Он сочиняет прошение о помиловании, но просит не за себя, а за посланных по судебному приговору на поселение в Вилюйск старообрядцев Чистоплюевых и Головачевой. По высоте и силе подчеркнутого здесь чувства

собственного достоинства это прошение не походило на обычные обращения к монарху. «Ни по форме, ни по изложению не могло быть писано на Высочайшее имя» — мнение якутского губернатора, опытного администратора.

Изложение дела о старообрядцах исполнено самого искреннего доброжелательства, участия в их жизни. Неграмотные, глубоко религиозные крестьяне, обвиненные в словесном оскорблении монаршей особы и некоторых должностных лиц, потерпели вследствие собственного невежества, темноты, неумения точно выразить свои мысли. Приверженность к старообрядчеству не мешала оставаться им добрыми и честными людьми, но она поставила их в особенное положение в Дубовском посаде Саратовской губернии, где они жили. Чернышевский не пожалел времени на расспросы доверившихся ему людей, выясняя все подробности жизни Фомы и Катерины Чистоплюевых и их родственницы Матрены Головачевой и восстанавливая ход их следственного дела. В действительности император для них — святой угодник Божий, начальство преисполнено добропорядочности, и ни о каких политических намерениях, усмотренных судом в их словах и поступках, они и не помышляли, поскольку, замечает Чернышевский, вообще «русские простолюдины не имеют ни политических понятий, ни политических желаний» (X, 573). Формально суд был прав, придав их словам противоправное значение, но «они соединили с этими выражениями смысл, бывший понятным только для них и сделавшийся известным мне, — писал Чернышевский, — единственно благодаря тому, что они вполне откровенны со мною» (X, 518).

С присущим ему демократизмом Чернышевский взглянул на их историю их собственными глазами, а не глазами бездушных канцеляристов. Он сам жил в Сибири в тех же условиях, что и они, сам пережил бесправие и произвол, продолжавшие определять ход их и его жизни. Защищая бесправных, обнаруживая их полную невиновность перед законом, Чернышевский апеллировал к гуманности монарха, побуждая к объективному взгляду на совершившийся факт несправедливого судебном-административного решения. Император, оказавший милость беззащитным людям, мог бы, как это читается между строк, и на судьбу автора прошения взглянуть иначе. Но Чернышевский ничуть не заискивал перед монаршей особой. В обращении к Александру II он не однажды упоминает о своих политических взглядах, не совпадающих с официозом. Например, он заявляет: «Каковы бы ни были мои политические мнения, но смею сказать о себе, что я не обманщик» (X, 518). Он не отказывается от своих убеждений, за которые сослан, но проявление

милосердия, полагает он, не должно зависеть только от их оценки, тем более что враждебными по отношению к личности монарха их назвать нельзя. Свою подпись под прошением Чернышевский сопроводил пассажем, выражающим его отношение к внешней политике Александра II: «Человек, который, каковы бы ни были его политические мнения, благословляет Ваше Величество за то, что, наперекор неистовым воплям невежд, Вы спасли Вашу империю от напрасных тяжких страданий, не поколебавшись ратифицировать Берлинский трактат» (X, 519). Имелись в виду заключенные в 1878 г. и подвергнутые воинственными патриотами критике условия мира с Турцией, невыгодные для России, но выведившие ее из разорительной для нации войны. Заключительные слова Чернышевского находили перекличку с открывавшей прошение фразой о себе: «Человек, признанный судебным порядком за врага Вашей особы...» (X, 518). Ясно, «врагом» Александра II Чернышевский назван судьями, но таковым он не является, несмотря на огромную разницу в «политических мнениях». В связи с изложенным может быть поставлено заявление, сделанное Чернышевским в конце декабря 1873 г. полковнику Купенкову, никак не прокомментированное жандармом, но подчеркнутое на полях П.А. Шуваловым: «Да я еще надеюсь, что меня правительство возвратит из ссылки само, оно еще будет во мне нуждаться»²⁵. Подразумевалась аналитическая способность Чернышевского как политика, проявившаяся в его международных обзорах в 1859–1862 гг. с проницательными суждениями и прогнозами по поводу ряда событий в странах Европы и Америки. В том же ряду находится и фраза о Волгине в романе «Пролог»: «Пришло, к нашему счастью, время, что журналист – сила, важнее всяких министров» (XIII, 121). В прошении о старообрядцах Чернышевский высказал мнение о политическом событии (мире с Турцией), в данном случае совпавшее с действиями императора, и это было мнение писателя и журналиста, способного еще оказаться полезным для своего отечества, – такова подоплека его обращения к монарху. Государственное мышление, проявленное Чернышевским в его творчестве, было, к слову сказать, глубоко обозначено выдающимся русским философом В.В. Розановым: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства – было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> Такие лица рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое»²⁶.

«Записку» нельзя не оценить и с собственно литературной стороны. Тщательность исследования фактов искусно реконструированного судебного дела, тонкое понимание малейших ню-

ансов человеческого поведения, мастерство психологических наблюдений и характеристик, живость изложения, воодушевленность автора, передающаяся читателю благодаря верно и точно найденному тону повествования — все это придает «Записке» значение литературного труда. Показательно, что именно так взглянул на материалы «Записки» губернатор Черняев, назвавший их «изложениями, годными хотя бы и в дальнейшем будущем для печати».

Эта характеристика содержалась в донесении якутского губернатора шефу жандармов от 6 марта 1880 г., документе, который как бы завершал картину пятилетней борьбы Чернышевского за выход в печать. Еще в начале лета 1879 г. исправник доложил губернатору, что Чернышевский «склонил находящегося при нем жандармского унтер-офицера Якова Захарова отправить письмо помимо исправника» в Иркутск на имя начальника жандармского управления. 21 июля Захарову объявлен выговор, в ноябре на его место прислали другого. Из Иркутска Черняеву отправили все пересланные через Я. Захарова «письма Чернышевского», адресованные Александру II, шефу жандармов, самому Я. Захарову и «особое письмо для подачи на почту от находящихся под строгим полицейским надзором ссыльных Чистоплюевых, которые тогда же водворены в первоначально определенные им места вне г. Вилюйска» (это письмо неизвестно). К двум первым письмам прилагалась «обстоятельная записка на восьми листах, видимо, отделанная для печати, и также, как и все означенные письма, заключает в себе описания предметов посторонних, до Чернышевского не касающихся»²⁷. Сам Чернышевский предупреждал, что посылаемая рукопись являлась лишь предисловием к «деловой записке», которая «еще не готова» (X, 521). Прошение на имя Александра II не датировано, под письмами к Я.И. Захарову и шефу жандармов проставлены соответственно даты «26 марта 1879» и «25 мая 1879».

Уже в июле Чернышевский понял, что его заинтересованность судьбою Чистоплюевых и Головачевой навлекла на них неприятности, но он продолжал работать над «Запиской», закончив ее 27 октября 1879 г. «Записку» и новую просьбу к шефу жандармов о смягчении участи старообрядцев Чернышевский послал уже обычным законным порядком через вилюйского исправника.

В упомянутом донесении Черняева в Петербург от 6 марта 1880 г. сообщено: «В ноябре месяце минувшего года вилюйский исправник представил ко мне полученные им от Чернышевского письма: на имя Вашего Превосходительства с приложенной особой объяснительной запиской на сорока пяти (45) листах и письмо на имя настоящего его адресата г. Терсинского с передачей не семье Чер-

нышевского, а А.Н. Пыпину, которого просит уведомить о последствиях его ходатайства о Чистоплюевых. Последняя объяснительная записка есть продолжение рассказа, помещенного в первой записке и также отделано для печати».

Письмо к А.Н. Пыпину (оно неизвестно) и «Записка» пролежали у Черняева до марта 1880 г. и только тогда, вместе с другими письмами были отправлены в Третье отделение. По получении от исправника «последних писем и записки Чернышевского я, — писал Черняев, — приказал снова подтвердить ему о исключении в своих письмах предметов посторонних, а в противном случае письма его не будут отправляться по адресам»²⁸.

В 1881 г. Г.Ф. Черняеву присвоили звание генерал-майора, и не последнюю роль, думается, здесь сыграла его жесткая позиция по отношению к важному государственному преступнику.

Чернышевский прекратил безрезультатную тязбу с властью держащими, стоящую ему сильного нервного напряжения, хотя жену он уверял в марте 1882 г., что «нервических страданий» не испытывал (XV, 345). «Нервы его настолько были расшатаны, что, когда он чувствовал себя нехорошо, то разговор его походил скорее на стоны, и в таком состоянии он не выносил даже плача ребенка, уходя сейчас же от меня, как только услышит плач моей девочки», — рассказывал помощник исправника А.Г. Кокшарский²⁹. А исправник Третьяков докладывал 15 апреля 1880 г.: «Ведет себя спокойно, и здоровье его в нормальном состоянии»³⁰. Письма поднадзорного перестали походить на «ученые диссертации» и какое-то время не заключали в себе ничего, что могло быть сочтено за литературно обработанный труд. Так продолжалось до осени 1881 г., когда в ноябрьском письме к сыновьям появился небольшой отрывок из новой поэмы. «Я задумал было написать поэму из староперсидских исторических легенд», — сообщал он, предлагая сыновьям доработать план, который готов прислать. «Спросите у вашего дяди, удобно ли», — заключал он (XV, 338). Иными словами, А.Н. Пыпину поручалось справиться, не изменились ли прежние условия запрета печататься. Старший сын ответил, что план поэмы может показаться интересным, и воодушевленный автор 2 апреля 1882 г. послал план и подробный пересказ первой песни «Книги Солнца Ночи». А в части письма, адресованной А.Н. Пыпину, содержался краткий очерк воспоминаний об отношениях с некоторыми из писателей-современников: Н.А. Некрасовым, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, А.Ф. Писемским, А.Н. Островским (XV, 350–362). Но адресата это письмо, как и предыдущие «литературные» корреспонденции, не нашло. Оно даже не включено в сборник переписки «Чернышев-

ский в Сибири»³¹. Вероятно, Чернышевский получил очередное представление недремлющего губернатора. По крайней мере, во «Входящем журнале секретным бумагам» за 1882 г. под № 121 значится: «6 октября. Г. Якутский губернатор об объявлении Чернышевскому предписания генерал-губернатора о письмах»³².

Возобновление замысла поэмы чередовалось с сочинением других произведений, о которых до нас дошли чрезвычайно скудные, отрывочные сведения, поскольку автор уничтожил написанное. По свидетельству А.Г. Кокшарского, «Николай Гаврилович в продолжение зимних ночей что-то писал, а под утро написанное сжигал». Объяснение следовало такое: «...Если бы все это время я ничего не писал, то я мог бы сойти с ума или все перезабыть, а то, что я раз написал, этого уже не забуду»³³. Д.И. Меликову весной 1883 г. Чернышевский рассказывал, что «пробовал писать и отправлять в печать через непосредственное начальство. Рукописи брали, а печатать не печатали и не возвращали, а потому он продолжал писать и сжигал затем все написанное»³⁴. Вскоре он прислал ему вместе с книгами рукопись неоконченного романа «Отблески сияния». Возможно, Меликов владел еще одной рукописью, «О женском равноправии», но дальнейшая ее судьба неизвестна³⁵. Какие-то листки Чернышевского видели у А.Г. Кокшарского родственники, но тот, по их словам, однажды «все сжег»³⁶. От Евпраксии Карякиной исходит легенда о рукописях, оставленных писателем по отъезде из Вилюйска местному священнику Ивану³⁷.

Сохранившийся отрывок романа «Отблески сияния» включает «Отдел второй. Общий эскиз фантазий на мотивы были» с фрагментами «Под верандою» и «II. По дороге в будуар» (XIII, 628–772). Как полагают исследователи, роман начат «не раньше второй половины 1879 года» (XIII, 915). Точнее, не раньше конца этого года, так как до 27 октября Чернышевский занимался составлением «Записки» о старообрядцах, а еще точнее начало работы над романом следовало бы датировать концом 1882 г., когда было получено очередное предупреждение по поводу содержания писем этого времени, о чем говорилось выше. В самом деле, до этого времени он еще надеялся на продвижение в печать поэмы или отрывка из нее. Убедившись, что надежды на журнал рухнули, он приступил к сочинению романа, напечатание которого отодвигалось на более далекую перспективу. Надеясь на посредничество Д.И. Меликова, Чернышевский писал А.Н. Пыпину (письмо не датировано): «Продолжение будет через два, три месяца. Это громадный роман, этот “Отдел второй, общий эскиз”, и он лишь действительно эскиз, в котором сделаны легкие очерки главных контуров тем, которым счет — десятки и де-

сятки, и которые – или повести, или сказки (волшебные или просто фантастические) и целые романы. Это будет “Отдел третий. Фантазии”»³⁸. Чернышевский оставался верен циклическому построению взаимосвязанных беллетристических замыслов.

Главная тема сохранившихся отрывков – изображение жизни людей, отвечающих требованиям благородства, гуманности и благородия. Взаимоотношения матери, богатой светской женщины, с ее двадцатисемилетним сыном Владимиром и его сестрой Лоренькой составляют основной сюжет повествования. Владимир – ученый, несколько лет живший за границей. В нем высокоразвито чувство нравственной ответственности за результаты научных исследований, направленных на благо человечества. Он озабочен судьбой сестры, попавшей под тягостную опеку матери. Можно думать, название романа связано с Лоренькой, красивой, доброй, умной девушкой, распространяющей вокруг отблески сияния своей гуманной, высоконравственной личности. Проблема женского равноправия, сквозная в творчестве Чернышевского-прозаика, находит в романе новые ситуации и положения. И представляется натяжкой усматривать исключительно политический смысл в содержании романа и его заглавии, будто бы связанном с пропагандой «сияющих» идей французской революции 1871 г.³⁹

Возвращение к литературному труду не состоялось. Власти последовательно тушили одну попытку за другой, обрекая свою жертву на полную безысходность. И когда писатель в сердечном отчаянии объяснял, что наносится удар не по авторскому самолюбию только (с этим он готов смириться), но прежде всего по обязанности семьянина материально поддержать оставленное без средств семейство, протокольно-бездушными запретными предписаниями методично доводили до нервного срыва. Мыслителя, писателя, ищущего выхода в общественный мир, оставляли один на один с горящим листком рукописи – трагическая картина, зловещим отблеском сопровождавшая все долгие сибирские годы замкнутого существования, общения (через получаемые журналы и книги) с чужими идеями, чужими образами без всякой возможности вмешаться, высказать свое мнение, повлиять, выразить то, что так щедро было отпущено ему природой.

Примечания

¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 143, 145.

² Былое. 1924. № 25. С. 51.

- ³ Там же. Текст уточнен по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 450.
- ⁴ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 451 об.
- ⁵ Былое. 1924. № 25. С. 50.
- ⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 446–465 (особой пагинации).
- ⁷ Впервые опубликовано Н.А. Алексеевым в сб.: Н.Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи / Под общ. ред. проф. С.З. Каценбогена. Саратов, 1928. С. 96–97.
- ⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 147.
- ⁹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 357.
- ¹⁰ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. XXIX.
- ¹¹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 455.
- ¹² НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 413.
- ¹³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 473 об.
- ¹⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 567. Л. 1–1 об.
- ¹⁵ См.: Научная биография (1859–1864), раздел «Главное обвинение». По свидетельству современника, А.Л. Потапов страдал «разжижением мозга», перешедшим вскоре в «буйное помешательство» (*Валуев П.А.* Дневник. М., 1961. Т. 2. С. 387, 388). 30 декабря 1876 г. шефом жандармов назначен Н.В. Мезенцов.
- ¹⁶ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 543, 548–549.
- ¹⁷ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. II. С. 217, 219–221. Здесь письмо А.Н. Пыпина печатается по сохранившемуся черновику.
- ¹⁸ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 562–563, 572–573 об. Ср.: Летопись. С. 463.
- ¹⁹ См.: Научная биография (1828–1853), разделы «Семейное воспитание», «Саратовская действительность», «Духовное училище»; Научная биография (1859–1864), раздел «Литературная работа. Роман “Что делать?”».
- ²⁰ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 575, 576 об., 579 об., 581 об. Ср.: Лит. наследие. Т. II. С. 581–582; Каторга и ссылка. 1927. № 5. С. 182.
- ²¹ Текст уточнен по архивному источнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 549. Л. 2; Лит. наследие. Т. II. С. 583.
- ²² Лит. наследие. Т. II. С. 583–584.
- ²³ *Грабовский П.А.* Избранное. С. 286.
- ²⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 22.
- ²⁵ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 449 об.; Былое. 1924. № 25. С. 51.
- ²⁶ *Розанов В.В.* Уединенное // *Розанов В.В.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 207–208. См.: *Черногаев С.П.* В.В. Розанов и Н.Г. Чернышевский // Чернышевский. Вып. 13 (1999). С. 184–188.

- ²⁷ *Серебряников А.М.* Н.Г. Чернышевский в Вилюйске // Сибирский архив. 1913. № 8. С. 603–604; Лит. наследие. Т. II. С. 584–587; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 22–24.
- ²⁸ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 24 об.
- ²⁹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 232–233.
- ³⁰ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 547. Л. 5.
- ³¹ См.: Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 3. С. 181–183.
- ³² НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 28. Л. 6 об.
- ³³ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 237.
- ³⁴ Там же. С. 245. 253.
- ³⁵ *Грибановский Н.Н.* Н.Г. Чернышевский в вилюйской ссылке. С. 35.
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ *Лунин Б.* По следам Вилюйского узника. С. 85.
- ³⁸ *Скафтымов А.П.* Неизданная повесть Н.Г. Чернышевского «Отблески сияния» среди его сибирской беллетристики // Чернышевский: Сб. Саратов, 1928. С. 268; Ср.: XIII, 915.
- ³⁹ См., напр.: *Корочкин В.М.* Об оценке Чернышевским «Капитала» Маркса // Вопр. истории. 1980. № 3. С. 180–184. О попытке опубликовать роман в 1909 г. см.: *Макаров И.Г.* «Отблески сияния» Н.Г. Чернышевского в Якутии // Полярная Звезда. 1978. № 4. С. 137–138.

12. Круг чтения

«...Живу я в мире моих книг» (XIV, 623) – эту фразу из письма четвертого года вилюйского заточения можно выставить эпиграфом к характеристике духовной биографии Чернышевского этого периода. «...По целым неделям и месяцам не бывает ни одного часа, кроме сна, когда бы я был без книги в руках, – писал он за два года до этого (XIV, 539). Упоминаниями о постоянном чтении пересыпаны все последующие письма вплоть до отъезда. В.Г. Короленко рассказал со слов очевидцев о его обычае встречать почту, приходившую раз в месяц: «Он тотчас же разносил книги по городу, приравливаясь ко вкусам читателей. Когда его спрашивали, отчего он так мало оставляет себе, он лукаво улыбался и говорил:

– А вы не поняли: расчет. Ведь я обжора: накинусь, сразу все и погложу. А так, по партиям, мне и хватит на целый месяц»¹.

По свидетельству В.Н. Шаганова, Чернышевский привез на Вилюй «мало книг» – тома лексикона и атласа Брокгауза. Но «вскоре получил Лассаля, Вермореля, Тэна и Берне»². Биографами первая

книжная посылка датируется 29 февраля 1872 г.³ Однако этим числом помечен сопроводительный документ из Якутска за № 439⁴, а в получении «тюка с книгами» Чернышевский расписался лишь 19 апреля⁵. В тот же день 19 апреля он получил два письма⁶ (корреспонденции О.С. Чернышевской от 21 и 24 января 1872 г. – XIV, 517), присланные из Якутска при сопроводительной от 29 марта за № 754⁷. Следовательно, «тюк с книгами» прибыл одновременно с этими письмами и позже сопроводительного письма о нем. В описи значилось десять наименований: «Энциклопедический словарь» Брокгауза в 16 томах (на немецком языке), «История второй империи во Франции» Т. Делора, «Деятели 48-го года» А. Вермореля (1870), первый том сочинений Ф. Лассалья в переводе В. Зайцева (1870), «Владение и пользование землей в различных странах» – Д.-С. Милля, два тома сочинений Л. Берне в переводе П. Вейнберга (1869), «Революция» Э. Кине (на французском языке). «Новая Франция» М. Прево-Парадоля (на французском языке), «1848 и 1851. Комедия всеобщей истории» И. Шерра (на немецком языке), первые четыре номера французского журнала «Обозрение двух миров» за 1869 г.⁸ Эти книги, конечно, посылались родными в Александровский завод и уже оттуда были переправлены администрацией в Якутск. В следующий раз книги пришли в Вилюйск 27 августа 1872 г. при сопроводительной от 19 июля. Они собирались весной А.Н. Пыпиным, а П.И. Боков, как это видно из его письма к Пыпину, советовал послать «Основы химии» Д.И. Менделеева, «Русский календарь» А.С. Суворина, труды Ч. Дарвина, Д. Тиндаля, Г. Гельмгольца; Т.-Г. Гексли, Д. Гершеля, Ч. Ляйелля. Из новейших русских изданий в посылку включены четырехтомник сочинений Н.А. Добролюбова, «Разоренье» Г.И. Успенского, «Свой хлеб» Ф.М. Решетникова, «Среди богомольцев» Н.А. Благовещенского, «Общественное движение в России при Александре I» А.Н. Пыпина, а также двухтомный труд Ч. Дарвина «Происхождение человека и подбор по отношению к полу», «Путешествие по Америке в 1869–1870 годах» Э. Циммермана, «Повести, сказки и рассказы кота Мурлыки» Н.П. Вагнера, «Один в поле не воин» Ф. Шпильгагена, «Публичные лекции о войне между Францией и Германией до Седана включительно» Г.А. Леера. Из иностранных книг – «История Наполеона» П. Ланфре и 25 номеров немецкого журнала «Наше время». Все эти издания вошли в перечень, составленный А.Н. Пыпиным как «Посылаемые книги», и все прибыли в Вилюйск. Однако в вилюйской описи не значатся несколько названий, указанных в «Посылаемых книгах»: сборник П.И. Бартенева «Девятнадцатый век», «Об историческом изучении греко-славянского мира в Западной Европе»

В.И. Ламанского, «За много лет» В.Д. Спасовича, «Исторические бумаги, собранные К.К. Арсеньевым», «История политической литературы XIX в.» Ю.Г. Жуковского, «Капитал» К. Маркса, «Чрез Сибирь в Австралию и Индию» Русселя Киллуги, «Записки Добрынина»⁹. Отсутствие этих книг в вилюйской описи можно объяснить следующим обстоятельством. По архивным данным, тогда же, 27 августа 1872 г., в Вилюйск была доставлена для вручения Чернышевскому еще одна посылка, но не при сопроводительной от 19 июля, как предыдущая, а при отношении якутского губернатора В.П. де-Витте от 11 августа 1872 г. за № 2525¹⁰. Реестра содержимого посылки в деле нет, но скорее всего это были книги, отмеченные А.Н. Пыпиным среди «посылаемых». Исключение, возможно, составили лишь «Записки Добрынина», которые представляли собой вынутые из III и IV томов «Русской старины» за 1871 г. части произведения «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная» и вошедшие в вилюйский список как «несколько разбитых книг».

В письме от 30 сентября Чернышевский поблагодарил за книги и на вопрос, не нужны ли еще, ответил: «...Книги стоят денег. Это удерживает меня от просьб о новых посылках» (XIV, 522). В последующие годы он получил несколько посылок, некоторые из которых наверняка состояли из книг (описи не составлялись) — 3 мая и 28 сентября 1873 г., 21 июля и 1 августа 1874 г., 18 марта и 30 июля 1875 г.¹¹ В ответных письмах Чернышевский иногда называл полученные книги. Так, 30 июля 1874 г. упомянута «книга Беджгота» — русский перевод монографии В. Беджгота «Естествознание и политика», 25 марта 1875 г. сообщено об «Атласе» А.А. Ильина, 17 марта 1876 г. — об «Истории культуры» Ф. Гелльвальда (XIV, 565, 597, 643). В 1877 г. получены «Основания практической медицины» К. Кунца (в русском переводе), «Руководство к специальному учению о прописывании лекарств» Л. Познера и Г. Симона (на немецком), книга А.Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка», двухтомное издание А.И. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России», работа Н.И. Костомарова «Русская история в жизнеописаниях главнейших ее деятелей», труды И. Тэна, В. Тиссо, Л. Линтона, романы В.-У. Коллинза, А. Доде, «Военно-медицинский журнал» (№ 1 за 1877), «Учение о пище» Ф.-В. Пэви (XV, 7, 70, 94). В апреле 1878 г. получены работы английских физиков Д. Гершеля и Д. Тиндаля, немецких ученых физиолога Э. Дюбуа-Реймона и химика Ю. Либиха — книги из рекомендованного в 1872 г. П.И. Боковым списка. Тогда же пришли книги, приготовленные А.Н. Чернышевским: «История землевладения русских крестьян» И.А. Кейслера (на не-

мецком языке), «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах» Ю.Э. Янсона, «Руководство к гигиене» Ф.Ф. Эрисмана, «Индийские сказки» И.П. Минаева, «Последние песни» Н.А. Некрасова (XV, 277, 282–283)¹². Упоминание в апреле 1881 г. об английском натуралисте А.-Р. Уоллесе (XV, 325) можно понять как полученную книгу этого автора. Какую-то книгу, судя по отметке в полицейском управлении, он получил 1 сентября 1882 г.¹³

Судьба вилюйской библиотеки Чернышевского до сих пор остается невыясненной. Значительнейшую ее часть он подарил Д.И. Меликову, отправив в Якутск два ящика весной 1882 г. (XV, 395–396). Книги, оставшиеся в Вилюйске после его отъезда, он в июле 1886 г., уже живя в Астрахани, просил через якутского губернатора передать в собственность находившемуся там политическому ссыльному Н.В. Иордану (XV, 605, 941). Сохранилась копия списка этих книг, заверенная вилюйским исправником и его помощником 3 мая 1887 г.; она опубликована Н.М. Чернышевской по рукописи Н.Н. Захаренко «Чернышевский в Вилюйске». Здесь 23 названия на иностранных языках. Укажем имена авторов, не упомянутых нами ранее: Ф.-К. Шлоссер («Всемирная история» в 19 томах), Г. Рольфе, математики М. Курно и Ш. Врио; А. Ланжель, Д. Боккаччио, Д.-С. Милль («Основания политической экономии»), Г. Берггольд¹⁴.

Для биографических целей представляется не менее важным уточнить имеющиеся сведения о периодических изданиях, находившихся в вилюйской библиотеке Чернышевского. Постоянным аккуратно отправляемым А.Н. Пыпиным в Вилюйск русским журналом стал «Вестник Европы», который Чернышевский получал и в Александровском заводе. В редактировании журнала до 1885 г. участвовал Н.И. Костомаров, близко к редакции стоял А.Н. Пыпин. В 1870–1980-х годах издание приобрело наибольшую популярность, набирая, подобно «Современнику» в былые годы, свыше шести тысяч подписчиков. Отсылка журнала шла регулярно по мере выхода очередного номера. Например, в течение первых двух лет канцелярия исправника регистрировала следующие поступления: 19 октября (две книги)¹⁵, 26 декабря (две книги) 1872 г. и 29 января, 3 мая, 23 и 25 июня (пять книг), 28 сентября (две книги), 25 октября, 30 ноября 1873 г.¹⁶ Д.И. Меликову Чернышевский в 1883 г. отписал книжки «Вестника Европы» от начала годов и книжек его по списку до 11-й книжки 1880 г. (включительно). По этому адресу посылались и все последующие получаемые номера (XV, 395, 396, 402). Следовательно, Чернышевский был читателем «Вестника Европы» за все время издания журнала (с 1866 г.) вплоть до отъезда из Вилюйска в 1883 г. — за этот год в его руках были № 2 и 3 (XV, 402).

Первым в Вилюйск суждено было прибыть журналу «Русский архив». Вскоре по приезде Чернышевский получил десять номеров за 1871 г. и первые четыре книги за 1872 г.¹⁷ В следующий раз «Русский архив» (номер неизвестен) ему вручили 26 декабря этого года и 3 мая 1873 г.¹⁸ На этом сведения о получении «Русского архива» обрываются. Вероятно, А.Н. Пыпин присылал номера выборочно с публикациями, которые могли заинтересовать Чернышевского.

Основной источник для чтения предоставляли, конечно, «Отечественные записки». Первые документальные данные о получении этого журнала относятся к 21 июня 1874 г. — день регистрации двух номеров при сопроводительных соответственно от 29 мая и 5 июня этого года¹⁹. Конечно, этот журнал приходил и раньше, но ни в описях, ни в журнале регистрации он отдельно не указывался. Для отправки к Д.И. Меликову Чернышевский упаковал номера за 1877—1882 гг., оставив у себя «от 8-й книжки 1872 года до 11-й 1877 года включительно» (XV, 395), но и они вскоре были отправлены вместе с полученными в течение 1882 г. и с № 2 за 1883 г. (XV, 402). Можно сделать вывод, что «Отечественные записки» с № 8 за 1872 г. читались Чернышевским постоянно.

28 сентября 1873 г., как явствует из письма Чернышевского к жене, он получил журнал «Знание» за 1871, 1872 гг. и первые «шесть номеров за нынешний год». «Искренно благодарю Сашу за эту присылку», — прибавлял он (XIV, 538). Это были две пачки, одна с сопроводительной от 14 августа²⁰, другая — от 18 сентября²¹. По словам Чернышевского, журнал приходил исправно до августа 1874 г. (XIV, 563, 565). В «Летописи» последняя присылка отмечена ноябрем 1876 г.²² Таким образом, определенно можно говорить о принадлежности Чернышевскому комплектов этого журнала за 1871—1876 гг.

Другие журналы к Чернышевскому в ту пору не поступали. Однажды в 1875 г. он упомянул «Русский вестник» (XIV, 627), но, как правильно в свое время заметил М.Н. Чернышевский, это была описка и имелся в виду, конечно, «Вестник Европы»²³.

Из иностранных изданий он располагал немецким журналом-обозрением «Наше время»: за 1871 г. — 23 книги, 1873 — 24 книги, 1874 — 23 книги, 1875 — 22 книги, 1876 — 24 книги, 1877 — 23 книги и 1878 — девять книг²⁴.

В мае 1873 г. А.Н. Пыпин получил от кого-то оторванный листок из какого-то письма с просьбой передать ему, Пыпину, что Чернышевский находится в Вилюйске, «что-то переводит, получает, по словам исправника, много журналов, но не получает ни одной газеты — почему, неизвестно»²⁵. Вероятно, Пыпин какое-то время затратил на справки, какие газеты на русском языке возможны для

посылки политическому ссыльному. Так или иначе, но первое сообщение от Чернышевского поступило в его письме от 3 мая 1875 г.: «Я стал получать газету “Неделя”. Благодарю за нее» (XIV, 604). До этого времени он оберегал родных от излишних денежных затрат на приобретение подписки на газеты. По документам, две и еще две пачки «Недели» поступили в Вилюйское окружное полицейское управление 2 мая при отношениях от 1 и 22 апреля²⁶. Газета приходила до февраля 1876 г.²⁷ С какого времени он отказался от нее, сказать трудно, но, например, в письме от 1 мая 1881 г., где содержался перечень всех получаемых им периодических изданий, как будто бы обязывающий к исчерпывающей полноте, «Неделя» не указана. Читаем: «В прошлом году я получал “Вестник Европы” и “Отечественные записки”. Продолжаю получать их и в нынешнем. Кроме того стал получать за нынешний год газету “Порядок” и “Сибирскую газету”. Само собою, очень усердно благодарен за это» (XV, 326). Газета «Порядок» выходила всего год, ее издателем был М.М. Стасюлевич. 3 мая 1882 г. Чернышевский подтвердил, что «Получал и “Порядок”, пока он выходил» (XV, 265). О его внимании к этой газете свидетельствовали предпринятые им розыски непришедших номеров. Так, 30 июня 1881 г. вилюйский исправник направил губернатору рапорт «с представлением записки Чернышевского о розыскании газеты»²⁸. Какие именно номера потерялись, неизвестно. Последние номера газеты он получил 25 марта 1882 г.²⁹

«Сибирская газета» издавалась в г. Томске. Чернышевский получал ее весь 1881 г. В следующем году он получал ее 25 марта, 1 июля (№ 18), 1 августа («с препровождением 23 №»), 1 и 30 сентября (№ 30–32), 27 ноября (№ 35, 36 и еще какие-то два номера)³⁰. О чтении газеты в 1883 г. он сообщал в письме от 10 июня (XV, 401). Тремя изданиями («Вестник Европы», «Отечественные записки» и «Сибирская газета») очерчивалось его ознакомление с русской периодикой в последний вилюйский год³¹.

Достаточно широкий и разнообразный круг чтения несколько раздвигал тесные вилюйские горизонты и предоставлял великому острожнику ощущать научный и литературный пульс его родины и Европы. Его могучий интеллект, энциклопедические познания, высокий не теряющий силы творческий потенциал не удовлетворялись только этой вынужденной пищей, но в его положении и эти недостаточно прочные нити оказывались единственной спасительной связью, поддерживающей духовный тонус и позволяющей примериться к неостановимому движению человеческой мысли. Еще недавно деятельно участвовавший в этом движении, теперь он был насильно лишен такой возможности, вынужден оставаться лишь

созерцателем, невидно, безучастно оценивающим происходящее. Вот что он писал об этом сам в апреле 1872 г. на десятом году неволи: «Хоть я и порядочно много отстал от ученого движения, но смею полагать, что все еще остаюсь человеком обширной и глубокой учености». В июле 1873 г.: «Быть может, эта моя отсталость менее велика, нежели кажется это, вероятно, для ученых, не проводивших много лет вдали от больших библиотек». К этой тревожащей теме он вернется и в июльском письме за 1875 г.: «...Полагаю, что мои здешние ученые занятия не останутся совершенно бесполезными для ученых, занимающихся теми отделами знаний, которыми интересуюсь я. Читая нынешние книги, вижу, что результаты моих трудов, когда будет возможность издать их, будут приняты ученым миром с сочувствием» (XIV, 516, 532, 623). «Трудов» – не оказалось, условий для их создания – не было. Однако его мысли, оценки, суждения, характеристики, изложенные лишь фрагментарно, приобретали историческое значение, подлежащее специальному изучению. В пределах научной биографии подобную работу невозможно осуществить в полном объеме. Укажем лишь на факты, наиболее значительные или приобретающие биографический колорит.

Источником для анализа могут служить лишь его письма. Сохранившиеся мемуары касаются исключительно бытовой стороны жизни Чернышевского. Образованных, воспринимающих и оценивающих его идеи слушателей, какими судьба окружила его в Александровском заводе, теперь не стало. Писатель был обречен на монолог, к тому же несвободный, ввиду постоянных угроз со стороны властей квалифицировать его письма как печатное слово. Остается удивляться его мужеству, стоической твердости, гордости мыслителя, высокой духовностью преодолевающего гробовое якутское небытие.

Высказывания Чернышевского о современной литературе, которой совсем недавно отдавалось столько творческой энергии и души, чрезвычайно скупы. Постоянный читатель «Отечественных записок» и «Вестника Европы», он знал ее великолепно. В журнальных публикациях прочитывались новые произведения Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, Г.И. Успенского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Решетникова, В.А. Слепцова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Е. Каронина-Петропавловского, Д.Л. Мордовцева, М.А. Маркович, В.М. Гаршина, А.Н. Плещеева, С.Я. Надсона, А.К. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Апухтина, Я.П. Полонского, В.С. Соловьева, критические и публицистические статьи Н.К. Михайловского, А.М. Скабичевского, Г.З. Елисеева, М.А. Антоновича, П.Д. Бо-

борыкина, А.Н. Энгельгардта, М.К. Цебриковой, С.Н. Кривенко, научные работы Н.И. Костомарова, В.В. Берви-Флеровского, М.М. Стасюлевича, С.М. Соловьева, Н.А. Котляревского, А.Н. Веселовского, Ю.Г. Жуковского, А.Ф. Кони, В.В. Стасова, И.М. Сеченова, И.И. Мечникова. Но высказываться о прочитанном свободно Чернышевский не мог, не натолкнувшись на запреты.

Из его отрывочных замечаний видно, что в литературных делах для него по-прежнему оставалось принципиально важным видеть связь литературного явления с определенными тенденциями в жизни народа и нации в целом. «История литературы ли вообще, поэзии ли в частности, живописи ли, чего ли другого подобного, — писал он младшему сыну в марте 1882 г., — объясняется только историей крупных национальных событий, дающих тон жизни. Потому я не разделяю пренебрежения к так называемой “внешней” истории, проповедуемого многими из ученых, занимающихся так называемую “историей культуры”» (XV, 349). Трудно сказать, какие именно прочитанные им статьи и книги нуждались в обозначенной концептуальной коррекции, но в том же году он еще раз вернулся к объяснению своего взгляда на историю литературы. «Если бы мне привелось обрабатывать ее, — писал он в июле, — я находил бы полезным сильнее, чем обыкновенно делают ее историки, показывать зависимость литературной деятельности в каждую данную эпоху жизни данной нации от крупных фактов собственно так называемой “исторической жизни” той нации в то время» (XV, 371).

Из русских писателей чаще цитирует Гоголя (XV, 132, 157), которого всегда ставил очень высоко. Однажды привел фразу из «Записок охотника» И.С. Тургенева (XV, 114). Нередко вспоминал и читанное из зарубежной классики. Особенно чтит Шиллера и Гете — «лучшее в немецкой литературе»; чрезвычайно ценил Сервантеса (XV, 323). Много «дивно-гениального» находил у Руссо (XV, 239). О Д. Боккаччо сказал, что в его «Декамероне» есть «рассказы чистые от грязи, прекрасные» (XV, 58). Неустаревающими называл романы Диккенса и Ж. Санд (XV, 285). Из современных авторов выделял немецкого писателя Ф. Шпильгагена и австрийского прозаика Л. Захер-Мазоха, рассказ которого «Лунная ночь» очень ему нравился. «Во всяком случае, — писал он в мае 1878 г., — Цахер-Мазох много выше Флобера, Зола и других модных французских романистов (из которых Доде уже вовсе пошляк). А Шпильгаген, — это я говорю положительно, не бездарен. И все те французы в подметки ему не годятся» (XV, 286). Из «Отечественных записок» с удовольствием процитировал часть стихотворений А. Кристен «Пестрота цветов душистых...» и «Счастье ль это, свет души...» (XV, 294)³².

Свой взгляд на состояние отечественной литературы и науки в их прошлом и настоящем и в их сопоставлении с зарубежными образцами Чернышевский высказал в письме к жене 30 августа 1877 г. Советуя детям непременно выучиться говорить и читать на «трех важнейших языках ученой литературы, — на французском, на немецком и на английском», он прибавлял: «Дело в том, что русская литература до сих пор еще очень бедна. Наши знаменитые поэты, Пушкин и Лермонтов, были только слабыми подражателями Байрона. Этого никто не отрицает. Мы очень гордимся Гоголем. Но он — фигура очень мелкая, сравнительно, — например, с Диккенсом, или с Фильдингом, или Стерном, или Свифтом, не говоря о таких юмористах, как Рабле или Вольтер (в своих “сказках” Вольтер тоже юморист).

А поэтический и беллетристический отдел нашей литературы все-таки еще следует назвать очень богатым по сравнению с научным отделом ее.

У нас есть несколько ученых, очень почтенных. Но они все-таки люди очень, очень маленькие перед учеными Западной Европы, и количество книг, написанных этими учеными, так не велико, что о самостоятельной научной литературе на русском языке странно и говорить: это не литература, а несколько книг ученого содержания. И почти все эти немногие наши ученые книги относятся только к русской истории или к истории русской литературы. Кроме этой отрасли знания, нет ни одной, по которой труды русских ученых имели бы хоть маленькое научное значение. (Я говорю о трудах русских ученых на русском языке.) <...>

Наша переводная научная литература очень жалкая. <...> Ход ее пополнения менее быстр, чем ход научной деятельности в Западной Европе, так что мы — не нагоняем, а отстаем.

“Пора спешить”, — твердили мы. Но не спешим, а медлим; и отстаем»³³.

Приращение значения русской литературы и науки не лишено субъективности, но в целом Чернышевский прав, говоря об отставании России перед Западом.

Особым литературным и биографическим сюжетом прошла через письма Чернышевского некрасовская тема. Он не пропускал новых произведений поэта, появлявшихся на страницах «Отечественных записок». Внимание его не могло не задержаться на стихотворении «Пророк», опубликованном в январской книжке журнала за 1877 г. в составе стихотворной подборки из книги «Последние песни», и он наверняка угадал, что стихотворение посвящено ему. В экземпляре книги «Последние песни», подаренной художнику И.Н. Крамскому

3 апреля 1877 г., Некрасов зачеркнул первоначальное заглавие «Пророк (Из Барбье)» и надписал: «Памяти Чер-<нышев>ского», а затем переправил эту надпись на «В воспоминание о Чер<нышев>ском», поскольку Чернышевский был жив³⁴. После сообщения А.Н. Пыпина о смертельной болезни Некрасова Чернышевский писал в ответ 14 августа 1877 г.: «В “Отечественных записках” я, разумеется, читал стихи Некрасова. <...> Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов» (XV, 88). 5 ноября Пыпин посетил больного поэта и передал ему эти слова. «Скажите Николаю Гавриловичу, — ответил Некрасов, — что я очень благодарю его; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова»³⁵.

Пыпин подробно написал об умирающем в письме, которое Чернышевский получил в конце февраля 1878 г., когда Некрасова не стало. Но до Виллюйска эта печальная весть еще не дошла, и Чернышевский писал: «О Некрасове я рыдал, — просто рыдал по целым часам каждый день целый месяц, после того как написал тебе о нем. — Но моя любовь к нему не имеет никакой доли в моем мнении о его историческом значении. Это значение — факт истории. И мне с моими личными склонностями нечего мешаться в оценку фактов. Это дело науки, а не личных вкусов ученого. Повтори ему, если он жив, все, что я говорил, — от лица историка, или эстетика, Чернышевского, которому нет дела до вкусов его знакомого, Чернышевского. То действительно факты. Поцелуй от меня, как от его знакомого. Благодарю за его доброе мнение об мне. Скажи, что он был честнее меня. Это буквально» (XV, 150).

В письмах последующего времени Чернышевский неоднократно упоминал о своих близких отношениях к Некрасову, делился воспоминаниями о нем (XV, 209, 350—353). Излишне говорить, что были скрупулезно перечитаны статьи А.М. Скабичевского о поэте, очерк врача Н.А. Белоголового «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова», библиографические материалы В.П. Горленко о литературном дебюте Некрасова, заметки о личном архиве покойного³⁶.

Главными отраслями знаний, интересовавшими Чернышевского постоянно, оставались философия, всеобщая история, политическая экономия.

В философии он продолжал называть себя последователем Фейербаха, которого в прежние годы знал «чуть не наизусть» (XV, 543). «Я с первой молодости, — писал он в 1876 г., — был твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т.д., до Лукреция Кара и которое теперь начинает быть модным между учеными» (XIV, 650). Речь, конечно, идет о материалистической традиции, к которой Чернышевский причислял себя всегда. «Остаюсь верным последователем его», — писал он сыновьям о Фейербахе в 1877 г. — «...» Гораздо лучше, нежели от меня самого, вы можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха. — Это взгляд спокойный и светлый» (XV, 23, 25).

Материалистически решая один из важнейших философских вопросов «о достоверности наших чувственных восприятий», «о достоверности наших знаний» (XV, 156, 157, 194), Чернышевский подвергает резкой критике философов, которые «называются философами идеалистического направления», в особенности систему Канта и его последователей. «Он решил: “Что ложь и что истина, этого мы не знаем и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно”» — так, намеренно упрощая и схематизируя, передал Чернышевский основную кантовскую мысль, изложенную в «Критике чистого разума». «Творение Канта, — писал он сыновьям в 1876 г., — объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни». Подобная философия, по Чернышевскому, отвлекала людей от понимания подлинных причин социальных недугов. Эту поверку философских идей социальными критериями не выдерживали и последователи Канта, например модный во второй половине века Огюст Конт, который также «преусердно твердит: “неизвестно”, “неизвестно”. — Но для мыслителей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом и разгадка успеха системы Огюста Конта» (XIV, 651, 652).

В присылаемых научных книгах, относящихся к самым различным областям знаний, Чернышевский не находил для себя существенно нового, способного внести в его сложившееся мировоззрение сколько-нибудь заметные изменения. Например, после получения «Истории землевладения русских крестьян» Кейслера (на немецком языке) и «Опыта статистического исследования о крестьянских наделах и платежах» Янсона Чернышевский просит не тратить денег «на присылку книг о “землевладении” или о

“крестьянах”» – «тошнит меня от этого предмета» (XV, 282, 283). И дело, разумеется, не в том вовсе, что он нарочито подчеркивал перед читающими его письма соглядатаями пренебрежение к теме, о которой не может высказаться откровенно. По убеждению Чернышевского, аграрный вопрос в России не был решен удовлетворительным для крестьян образом, и потому всякого рода теоретические и статистические исследования, не способные изменить сложившееся не в пользу крестьян положение дел, уже не могут вызвать у него, знатока крестьянского вопроса, серьезный интерес.

Присылались и политико-экономические книги, несомненно, тщательно изучаемые им, но о них Чернышевский никак не высказывался из-за опасения навлечь арест на свою переписку. Так, о его отношении к новому в этой области знаний научному направлению, возглавленному К. Марксом, мы узнаем только из высказываний, запомнившихся его собеседникам в разные годы. Основные труды Маркса «К критике политической экономии» и первый том «Капитала» Чернышевский имел и, судя по воспоминаниям современников, основательно их изучил. П.Ф. Николаеву запомнилось, что о Марксе Чернышевский «часто упоминал, как о замечательно талантливым сотруднике газеты, и отзывался о нем всегда с большой похвалой, как о последовательном и крайнем ученике Фейербаха»³⁷. Обстоятельный разговор о Марксе и «Капитале» состоялся у Чернышевского с С.Г. Стахевичем, который, ссылаясь на знакомство с трудами Милля и примечаниями Чернышевского к ним, «не нашел для себя ничего нового» в теоретической части книги. «Но историческая часть сочинения Маркса, – говорил он Чернышевскому, – для меня нова: я никогда не читал такого обстоятельного рассказа о возникновении и о развитии фабричного законодательства в Англии». В своем ответе Чернышевский прокомментировал только последнее замечание. Его слова в передаче мемуариста звучали так: «Досадно одно: наша публика, прочитавши у Маркса восхваление фабричных инспекторов, проникнется желанием иметь у себя таких же инспекторов; того не подумают, что на нашей российской почве это чужеземное растение выродится и примет совершенно другой вид, чем там у них». На самой книге Стахевич увидел пометку карандашом: «Пустословие в социальном духе», хотя, впрочем, и не настаивал на ее принадлежности именно Чернышевскому³⁸. Неприменимость к русским условиям иных рекомендаций зарубежных экономистов – характерная для Чернышевского позиция. О высокой оценке Чернышевским исторической части сочинений Маркса Стахевич рассказывал и другим своим товарищам по каторге. Н.А. Виташевский, например, наряду с этими оценками вспоминал

также и об одном из критических замечаний: «Чернышевский говорил, что Маркс напрасно употреблял трилогический философский метод Гегеля: все, что он сказал, можно изложить гораздо проще»³⁹.

О критическом отношении Чернышевского к учению Маркса свидетельствовал и Б.А. Маркович, принимавший идеи «Капитала». В письме к матери от 12 мая 1887 г. он сообщал, рассказывая о своих впечатлениях от только что состоявшейся беседы: «...Замечательно, что о всех писателях, кроме Спенсера и, отчасти, Маркса, у нас с Чернышевским почти одни мнения»⁴⁰. По воспоминаниям А.А. Токарского, Чернышевский однажды завел с ним разговор о возможности открытия «закона человеческой жизни», подобно тому как «Ньютон уловил закон мироздания». На вопрос, «не приближает ли нас к разрешению вопроса теория экономического материализма», последовал ответ: «Нет, это, может быть, материал, но не путь к разрешению вопроса»⁴¹. Под «экономическим материализмом» в те годы принято было разуметь теорию Маркса.

Встречающееся в мемуарных высказываниях утверждение, будто Чернышевский, живя в Вилюйске, делал из страниц «Капитала» кораблики и пускал их по реке⁴², может быть оспорено свидетельством самого Чернышевского. Он проделывал это не с «Капиталом», а с книгой У. Беджота «Природа и политика», в которой автор пытался объяснить ход развития общества через биологические законы борьбы за существование и естественного отбора. «Эта книжонка, — писал Чернышевский в 1876 г., — произвела на меня такое омерзительное впечатление, что я наделал из нее лодочек и корабликов и пустил их плыть по реке, протекающей под моими окнами» (XIV, 643).

В литературе о Чернышевском давно отвергнуто неумеренное сближение его взглядов с теорией Маркса, как это характерно, например, для монографии Ю.М. Стеклова⁴³. Однако рецидивы подобной методологии отдельными своими сторонами проявлялись еще какое-то время⁴⁴, и чаще в виде утверждений, что Чернышевский по ряду вопросов сближался с марксизмом, но марксистом не стал, и это последнее оценивается как исторически объясненный недостаток его мировоззрения⁴⁵. Опорой для такого рода заключения обычно являлось высказывание В.И. Ленина: «Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»⁴⁶. Исследователи не располагают достаточно полными материалами для решения вопроса об отношении Чернышевского к учению Маркса. Но сохранившиеся факты критического восприятия Чернышевским «Капитала», не всегда учитываемые в специальных научных

трудах⁴⁷, позволяют в теме «Чернышевский и Маркс» сосредоточить внимание не на отсталости первого от второго, а на возникшем заочном диалоге между обоими учеными-экономистами.

Примечания

- ¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 307.
- ² Там же. С. 143.
- ³ Летопись. С. 396.
- ⁴ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 46.
- ⁵ Романов И.М. Н.Г. Чернышевский в вилуйском заточении. С. 99.
- ⁶ Травушкин Н.С. Чернышевский и Якутия // Вопросы биографии Н.Г. Чернышевского и восприятия его личности в России и за рубежом. Волгоград, 1979. С. 19.
- ⁷ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 39.
- ⁸ Летопись. С. 396.
- ⁹ Там же. С. 400–401; Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 182; Лернер М.И. Был ли у Чернышевского в Вилуйске «Капитал» Маркса в русском переводе // Вопросы биографии Н.Г. Чернышевского... С. 21–26.
- ¹⁰ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 80.
- ¹¹ Там же. Л. 153, 244, 246, 287, 372, 373, 384, 451.
- ¹² Ср.: Струминский М.Я. Н.Г. Чернышевский в вилуйской ссылке. С. 83.
- ¹³ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 28. Л. 5 об.
- ¹⁴ Летопись. С. 507–509.
- ¹⁵ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15, Л. 100. Поскольку исправник получил эти номера без сопроводительного письма, он обратился в Якутск за санкцией, и Чернышевскому они были выданы только после разрешения губернатора от 24 ноября (там же. Л. 108). Ср.: Летопись. С. 404–406.
- ¹⁶ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 107, 109, 131, 153, 164, 166, 168, 191, 198, 210, 218. Ср.: Летопись. С. 407, 409–413.
- ¹⁷ Летопись. С. 400.
- ¹⁸ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 107, 152; Летопись (с. 406, 409) отмечает лишь получение «Вестника Европы».
- ¹⁹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 290, 291. Ср.: Летопись. С. 420, 421.
- ²⁰ Летопись. С. 411.
- ²¹ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 191.
- ²² Летопись. С. 452.

- ²³ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 171, 188. Ср.: Летопись. С. 442.
- ²⁴ Летопись. С. 508–509.
- ²⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 182–183.
- ²⁶ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. № 15. Л. 397, 399. Ср.: Летопись. С. 431.
- ²⁷ Летопись. С. 444.
- ²⁸ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 27. Л. 3.
- ²⁹ Там же. Д. 28. Л. 1 об.
- ³⁰ Там же. Л. 2, 4–7.
- ³¹ *Петров В.А.* Личная библиотека Н.Г. Чернышевского в Вилюйске (опыт составления каталога по архивным и литературным материалам) // Чернышевский. Вып. 16 (2007). С. 133–139.
- ³² Отечественные записки. 1875. № 5. Отд. I. С. 13–14.
- ³³ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 2. С. 203–204. В Полн. собр. соч. письмо воспроизведено с купюрами – XV. С. 91.
- ³⁴ ЛН. Т. 49–50. С. XXV. *Некрасов Н.А.* Последние песни / Изд. подг. Г.В. Краснов. М., 1974. С. 279. См.: *Гин М.М.* Об идейно-литературных взаимоотношениях Н.Г. Чернышевского и Н.А. Некрасова (К постановке вопроса) // Чернышевский. Вып. 8 (1978). С. 112–119.
- ³⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 2. С. 210.
- ³⁶ Отечественные записки. 1878. № 5. Отд. I. С. 93–116; № 6. Отд. I. С. 365–406; № 10. Отд. II. С. 314–340; № 12. Отд. II. С. 149–165; 1879. № 1. Отд. I. С. 61–66.
- ³⁷ *Николаев П.Ф.* Личные воспоминания... С. 22.
- ³⁸ Воспоминания (1982). С. 325–326.
- ³⁹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 214.
- ⁴⁰ *Марко Вовчок.* Твори. Киев. 1928. Т. IV. С. 459.
- ⁴¹ Воспоминания (1982). С. 433.
- ⁴² Страница дневника А.И. Эртеля // Голос минувшего. 1913. № 2. С. 236.
- ⁴³ *Стеклов Ю.М.* Н.Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. СПб., 1909. С. 176. Первую критику этой точки зрения см.: *Плеханов Г.В.* Еще о Чернышевском // Современный мир. 1910. № 4. С. 119; *Ленин В.И.* Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 29. С. 582. Между тем указанный недостаток перешел и во второе издание труда Ю.М. Стеклова. См.: *Стеклов Ю.М.* Н.Г. Чернышевский: Его жизнь и деятельность: В 2 т. М., 1928. Т. 1. С. 426.
- ⁴⁴ См.: *Корочкин В.М.* Был ли знаком Н.Г. Чернышевский с «Капиталом» Маркса? // Вопр. истории. 1968. № 3. С. 203–204.
- ⁴⁵ См.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978. С. 315–316; *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. Саратов, 1983. С. 82–90.

⁴⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 384.

⁴⁷ Травушкин Н.С. Написал ли Чернышевский статью о «Капитале» К. Маркса? // Чернышевский. Вып. 7 (1975). С. 180–193; Свердлина С.В. О заметках Чернышевского на страницах сочинений Маркса // Чернышевский. Вып. 11 (1989). С. 43–59.

13. Письма... письма... письма...

Поднадзорность переписки — постоянно действующий фактор, узаконенный «Инструкцией для наблюдения за государственным преступником Николаем Чернышевским». Писать ему разрешалось раз в месяц согласно дозволению генерал-губернатора Н.П. Синельникова, о котором Чернышевский сообщал в июле и августе 1871 г. (XIV, 510), и если эта периодичность прерывалась, то по инициативе самого Чернышевского, как это произошло в декабре 1878 г., когда он остановил переписку до мая 1879 г.

Порядок прохождения писем строго регламентировался. Сначала они поступали к вилюйскому исправнику, в обязанность которого не входило их просматривать, и письма в конверте, обычно адресовываемом Чернышевским на имя И.Г. Терсинского, отправлялись к якутскому губернатору. Тот прочитывал их и отправлял в Иркутск, откуда с сопроводительной они шли в Петербург в Третье отделение, где их снова тщательно перечитывали. Однажды на сопроводительном документе от 4 июля 1873 г. за № 443 кто-то из высокочинных надзирателей написал: «Разве приказано на самом письме делать надпись о том, что оно просмотрено? 11 авг.»¹. Власти, якобы соблюдая законность, явно не желали обнаружения признаков особого надзора за Чернышевским, формально числившимся ссыльнопоселенцем.

До октября 1873 г. все его письма обязательно фиксировались в жандармском «Деле», но в последующее время соответствующие пометки делались здесь только в случае задержания корреспонденции. Наконец по ходатайству якутского губернатора Г.Ф. Черняева, затеявшего рассмотренную выше историю с восемью письмами Чернышевского, решено было все письма поднадзорного направлять из Якутска непосредственно руководителям Третьего отделения, минуя Иркутск. Первая такая посылка датирована в Якутске 7 октября 1878 г.², и этот порядок сохранялся до последнего дня пребывания Чернышевского в Вилюйске, но уже по ведомству Департамента полиции, поскольку с августа 1880 г. Третьего отделения не существовало.

В октябре 1875 г. Якутское областное управление издало распоряжение за № 5269 не заклеивать конверты с письмами Чернышевского. Тот, вероятно, подчинился не сразу, и 6 декабря того же года приказ повторен: письма не запечатывать³. Об условиях его переписки ярко свидетельствует еще один документ. Директор Департамента полиции В.К. Плеве в особом письме к якутскому губернатору от 20 октября 1881 г. обратил внимание на отсутствие в бумаге, сопровождающей очередное письмо Чернышевского, надписи «секретно». Сановный полицмейстер России вполне в духе упраздненного Третьего отделения потребовал впредь в обязательном порядке засекречивать документ, поскольку «присылка корреспонденции столь важного государственного преступника ни в коем случае не должна подлежать оглашению»⁴.

О сибирских письмах Чернышевского следовало бы написать отдельную книгу. Собственно, такая книга есть – сами письма, настолько объемно и цельно отразился в них автор с его болью, мыслью, надеждой. Боль – шемящая, незатухающая, подкрепляемая все новыми свидетельствами обречения на одиночество; мысль – ясная, глубинная, способная, казалось бы, объять труднейшие вопросы бытия; надежда – упования человека благородного, гордого, рассчитывающего на понимание тех, к кому обращено его спокойное и мужественное слово.

Главной, мучительной заботой для него оставалась Ольга Сократовна с ее постоянными жалобами на нездоровье и безденежье. Свое спокойствие и счастье, доставляемое лишь одной возможностью писать к «милой радости», он ставил в исключительную зависимость от ее настроения, весьма неустойчивого, переменчивого. Ее глазами воспринимал неясные очертания оставленной жизни, ее высказываниями оценивал события и людей, которые зачастую знал и понимал лучше, советам и пожеланиям ее беспрекословно подчинялся, не оставляя за собой права на малейшее обсуждение. «Ты здорова – это единственное, чем я дорожу на свете», «Будь здоровенькою и постарайся быть веселенькою, моя милая красавица, и все будет прекрасно, и я буду вполне счастлив», «старайся развлекать себя, делами ли, удовольствиями ли, – и все будет хорошо» – таковы из письма в письмо, из года в год повторяющиеся слова-заклинания, передающие его искреннее желание внушить ей мысль о необходимости заботиться прежде всего о себе самой. Можно смело предположить, что, если бы Ольги Сократовны вдруг не стало, он не прожил бы и нескольких дней. «Единственная моя привязанность к жизни – это любовь моя к тебе», «живу исключительно мыслями

о тебе, моя радость» (XIV, 509, 570) – и это была вся правда его отношений к Ольге Сократовне.

Ежегодно он отмечал лишь два праздника – ее день рождения (15 марта) и ее день именин (11 июля), отмечая единственно доступным ему способом – письмом «милой голубочке». И дни эти приобрели в его сознании особое значение не только в Сибири – они стали такими с того времени, когда Ольга Сократовна вошла в его жизнь. Не случайно же роман «Что делать?» начинается с события, имеющего точную дату – 11 июля.

Чернышевский был однолюбом. Его чувство к Ольге Сократовне, пришедшее в зрелые годы, когда ему шел двадцать пятый год, не только сохранилось, но и со временем крепло, обретая уверенность в правильности когда-то сделанного выбора. «Я люблю тебя, – писал он в апреле 1883 г., приготовившись к вилюйскому вечному плену. – Помни, что любил я тебя одну и что ни одна из всех других виденных мною женщин не могла бы быть любима мною, если б я и никогда не видывал тебя» (XV, 393). Обреченный жить вдали от любимой он имел возможность аналитически размышлять по поводу своей удивительной привязанности именно к этой женщине, и это придавало его словам трезвую взвешенность, продуманность, не зависимую от вызванных длительной разлукой эмоций. Даже свою любовь к детям он объяснял сквозь призму любви к жене. «Она несравненно дороже для меня, чем даже наши с нею дети; мысль о ее пользе была для меня главной», – объяснял он чуть позже А.Н. Пыпину (XIV, 601). А самой Ольге Сократовне писал: «Извини, в моем сердце очень мало места для личной любви к кому-нибудь, кроме тебя: все занято тобой, мое сердце. И моя любовь к детям – это лишь отражение твоей любви к ним». И в том же письме уверенно повторил, признавая необычность подобной силы преданности: «...Я люблю лишь тебя. Кроме любви к тебе, личных привязанностей у меня нет с того времени, как я познакомился с тобою. Когда-нибудь я поговорю о моем странном – действительно странном – чувстве моем к тебе» (XIV, 278, 279). Всепоглощающая любовь водила его пером, когда он писал: «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя» (XIV, 500). Он пишет ей стихи, шлет цветы, аккуратно высушивая их и завертывая «в обложечки» (XIV, 298, 305, 320, 327, 336, 596).

Письма жены, переживающей нелегкие годы испытаний, нередко приводили его в состояние сильного возбуждения. «За одну ночь, бывало, столько перемен бывает с ним! – вспоминала Щепина (в пересказе В.Г. Короленко). – То он поет, то танцует, то хохочет вслух, громко, то говорит сам с собой, то плачет навзрыд! Горько

плачет, громко эдак! Особенно плачет, бывало, после получения писем от семьи. Говорили, что он жену свою очень любил; он сам рассказывал про детей своих. <...> После таких ночей так расстроится, бывало, что не выходит из своей комнаты, печален, ни с кем не говорит ни слова, запрется и сидит безвыходно»⁵.

Мучительно нестерпимой была мысль о материальных трудностях, которым подверглась Ольга Сократовна после его ареста и высылки в Сибирь. Некоторую поддержку составили средства, вырученные от подготовленных А.Н. Пыпиным изданий сочинений Чернышевского (разумеется, без имени автора). Так, в 1864 г. удалось выпустить книжку «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения», написанную еще в 1856 г., в 1865 — «Эстетические отношения искусства к действительности» и выполненные Чернышевским прежде переводы — двухтомник «Основание политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии» Д.-С. Милля (повторено Пыпиным в 1874 г.) и 16-й том «Всемирной истории» Ф. Шлоссера. В 1865, 1869 и 1871 гг. Пыпин напечатал восемь томов выполненного Чернышевским еще до ареста перевода «Истории восемнадцатого столетия» Ф. Шлоссера. По рецензиям в периодической печати Чернышевский наверняка знал об этих изданиях. Косвенным подтверждением этому можно считать его советы Ольге Сократовне проводить зимы на Южном берегу Крыма или в Италии (XIV, 532, 536, 557, 561, 567). Советы усилились с 1875 г. (см.: XIV, 573, 587, 618, 623, 624, 626), когда до Вилюйска стали доходить печатные отзывы о выпущенном в 1874 г. двухтомнике Д.С. Милля⁶, принесшего Ольге Сократовне дополнительные средства.

Забота о здоровье жены составляла, как он выразился в одном из писем 1882 г., его «непрерывную единственную думу» (XV, 377). Он и старшему сыну, уже взрослому, внушал, что главное — здоровье мамы и что он обязан доставлять средства для ее поездки на юг (XV, 5–6, 9, 14). О себе же Чернышевский неизменно сообщал: «Совершенно здоров, живу очень комфортабельно и имею в большом избытке все, что нужно для удобства» (XV, 94, 95 и т.д.). В письме к старшему сыну Александру он как-то заметил, что подобного рода преувеличения имели оправданием «необходимость успокаивать твою маменьку за мое здоровье» (XV, 82). И, сколько можно судить, такого рода заверения не вызывали у Ольги Сократовны недоверия и не становились предметом обсуждения.

Однажды она заявила о своем желании навестить мужа. Об этом она написала 24 января 1872 г., еще не зная о его переводе в Вилюйск. «Не приезжай сюда, заклиная, не приезжай. Подожди, пока

переведут меня жить куда-нибудь, где больше возможности жить и тебе», — отвечал он уже из Вилуйска (XIV, 519). Но его не переводили, и разговоры о ее приезде больше не возобновлялись.

Свои письма в Вилуйск (они в полном составе были привезены Чернышевским по возвращении) Ольга Сократовна не сохранила. Об их содержании мы вынуждены судить лишь по отрывочным сведениям, рассыпанным в ответах Чернышевского. Между тем только знакомство с текстами может дать биографу конкретное представление о характере ее переписки. Такую возможность предоставили архивы, позволившие прочитать два ее письма. Одно написано в первый вилуйский год, второе в последний. Это, конечно, мало, но для характеристики О.С. Чернышевской оказывается достаточным.

Первое письмо сохранилось в копии, изготовленной в Иркутске и посланной полковником Купенковым в Третье отделение. Сбоку надпись: «Доложено мною на словах графу Петру Андреевичу <Шувалову> 2-го апреля». Все последующие письма О.С. Чернышевской также внимательно прочитывались, однако не копировались и пересылались беспрепятственно в Вилуйск. На публикуемое нами письмо Чернышевский отвечал в апреле 1872 г. (XIV, 515—516).

«24 января 1872 г.

Письмо твое, мой милый Николай Гаврилович, посланное из Иркутска (от которого числа неизвестно, потому что ты не выставил его на своем письме), совершенно воскресило меня морально⁷. Что же касается до физического здоровья, то я уже писала тебе, что я еду лечиться в Москву к П. П., он ведь переехал туда совсем на житье⁸, вот мы хорошенько и полечимся у Пет. Ив.⁹ Здесь же я ездила к одному известному доктору, и он сказал мне, что все мои болезни происходят от сильнейшего расстройства нерв. Советовал ехать за границу. Ну это в сторону. Если к первому числу февраля я поправлюсь настолько, что в состоянии буду пуститься в дорогу, то и отправлюсь в Москву для лечения. Там же я буду ждать твоего письма или телеграммы (как ты обещал мне), в котором или на которой ты уведомишь меня, куда мне писать к тебе. Возьму с собою и Мишу, а то я без него уж слишком скучаю. Надобно будет также приискать какую-нибудь госпожу, которая могла бы мне прислужить в дороге, а также быть и компаньонкой. Бедных много! За хорошую плату, я думаю, согласятся поехать куда угодно. Я так занята в настоящее время этою поездкой, что я, право, совсем забыла об своей болезни. А как Мишка радуется, что поедет к тебе. Саша же очень недоволен тем, что я советую ему прежде окончить курс и потом уже ехать к тебе на свидание. Не правда ли, мой милый, что нужно сделать

так-то. Пожалуйста, напиши ему об этом. Насчет же этой поездки я поступлю таким образом. Когда я узнаю хорошенько, где ты останешься жить, то я отправлюсь к здешнему генерал-губернатору Трепову и скажу ему, что я вот собираюсь ехать к тебе и попрошу его дать мне открытый лист или там какую нужно бумагу, чтобы мне не было нигде задержки, а если он этого не может сделать без разрешения III отделения, то я отправлюсь и туда за этим. Советоваться же я теперь ни с кем не буду, а буду делать так, как сама думаю. Это лучше. Да у меня и нет теперь таких знакомых (а также и родных), с которыми я могла бы посоветоваться. Впрочем, я не желаю ничьих советов. Будь же уверен, мой дорогой Николай Гаврилович, что в другой раз не подвергнусь неприятностям. Тогда это вышло потому, что я решительно ничего не понимала в этих делах. Теперь стала поопытнее¹⁰.

Милый мой, жду не дождусь того времени, когда мы снова увидимся и будем жить вместе.

До свидания, мой дорогой, целую и обнимаю тебя крепко.

P. S. Дети здоровы, мне гораздо лучше.

Твоя Леля»¹¹.

Второе письмо отправлено зимой 1883 г. Оно явилось ответом на полученную от мужа посылку с мехами. Подарок жене Чернышевский задумал сделать в феврале 1882 г. после получения от сына денег. Скопилась сумма, и «потому я вздумал, — пояснял он, — употребить часть их на покупку песцов» (XV, 343). В действительности, средств на подарок не хватало, как свидетельствует его записка к помощнику вилюйского исправника А.Г. Кокшарскому от 2 июля 1882 г.¹² с просьбой передать губернатору просьбу выделить в зачет будущих отчислений из казны на содержание Чернышевского, так как денег может не хватить купцу Л.А. Кондакову, выполняющему в Якутске поручение Чернышевского (XV, 368). В письме к жене уже говорится не о песцах, а о лисьих шкурках (XV, 369). Губернатор исполнил просьбу, и в начале 1883 г. О.С. Чернышевская посылку получила. Она писала мужу 14 февраля 1883 г., что «очень обрадовалась» его письму от 3 декабря, «одно только скверно. Руки еще не совсем годятся. Нынешняя зима для меня была убийственной зимой. Хуже всех зим. Очень я болела от холода».

И далее: «40 лисиц и 5 соболей получены в исправности. Вот только беда в том, что меня с ними здесь поддели! 5 лисиц самых лучших переменяли на очень низкий сорт, так что мех от этого очень потерял. Вышло целых два. Думала продать один, чтобы долг заплатить. Ведь я еще не все выплатила за свою хату¹³. Да никто не

купил. Давали совсем неподходящую цену. Так и остался. Много мне было горя с этим мехом. Продать не продала, да и себе ничего не сшила. Денег не было на это. И чистка-то его, и подбор стоили немало денег. Потому-то я уж очень бедствовала. Все хорошо с деньгами. А когда их нет, то гадко. Я даже прислугу не держала. Пустила даром жить в кухню одну бедную женщину с детьми. Ну вот она мне и прислуживала кое-как»¹⁴.

В первом письме обращает на себя внимание замечание о том, что «теперь» у нее нет знакомых, «а также и родных», с которыми она могла бы посоветоваться. Но такие «родные» были — Пыпины, и прежде всего А.Н. Пыпин, принимавший самое близкое участие в делах семьи Чернышевского. «Воспитанием своим мы с братом, — свидетельствовал М.Н. Чернышевский, — всецело обязаны покойному дяде, А.Н. Пыпину, который по мере сил и возможности помогал также и моей матушке»¹⁵. Фраза из письма выдавала вновь обострившиеся ее отношения с Пыпиными, которые, по словам М.Н. Чернышевского, «никогда не могли примириться с тою беззаботностью и довольно легкомысленным отношением к своим денежным делам, которое проявляла мамаша». «По своему нервному характеру, она, — писал об Ольге Сократовне ее младший сын, — не терпела возражений, страшно обижалась и по малейшим пустякам постоянно ссорилась со всеми. Говорить с ней серьезно было страшно трудно всегда, а с годами все труднее и даже прямо невозможно. Приходилось или соглашаться или отмалчиваться и быть всегда готовым к внезапной вспышке обиды и ссоры»¹⁶. Чернышевский понимал, как трудно Пыпиным с Ольгой Сократовной, и он старался не вмешиваться в их взаимоотношения. В его письмах до 1874 г. мы не найдем ни одного слова, сказанного против Пыпиных. Но вот в 1874 г. в двух своих письмах (от 21 июня и 11 июля) О.С. Чернышевская, вероятно, в самых энергичных выражениях пожаловалась на «дурное обращение» Пыпиных с нею. Особенно задела ее высказанные кем-то из двоюродных сестер Чернышевского упреки в том, что она не поехала в Вилюйск к мужу. Скорее всего, Ольга Сократовна потребовала от Николая Гавриловича разрыва с Пыпиными. И Чернышевский, уступая боготворимой им жене, в ответном письме от 29 сентября запретил своим детям видеться с Пыпиными. Ей же пояснял, что «родные» поступают так «пошло» вследствие досады на теперешнее его, Чернышевского, безденежное положение (XIV, 568–569). Объяснение несерьезное, даже абсурдное, способное успокоить одну Ольгу Сократовну, для которой важно было одно: муж поддержал ее, а какие аргументы выдвигались — дело его и его родных. Свою позицию Чернышевский подтвердил в письме

от 22 октября, а неделю спустя, и не вспоминая о Пыпиных, писал только о своих чувствах к ней (XIV, 569, 570). Новый 1875 год он встретил с ее письмами и с ее новой фотографической карточкой в руках, и он еще раз повторил свое осуждение «пошлой болтовни глупых людей» (XIV, 571, 572). А в феврале предпринимает попытку заработать литературным трудом и шлет свои произведения не А.Н. Пыпину, с которым вслед за Ольгой Сократовной в ссоре, а непосредственно М.М. Стасюлевичу.

А.Н. Пыпин, как сообщил позднее М.Н. Чернышевский, о перемене в настроениях брата догадался по поведению Александра Чернышевского. Впоследствии М.Н. Чернышевский нашел в пыпинском архиве и опубликовал черновик письма, отправленного в Вилюйск в декабре 1874 г. А.Н. Пыпин, только догадываясь о наветах со стороны Ольги Сократовны, писал, что ни в чем не мог обидеть ее — «я делал и делаю все, что в моих силах было для О. С. и для детей, — мне шемит сердце только за тебя, что ты мог смутиться новостями, что ты перестал мне верить». Далее сообщалось о появившейся у Ольги Сократовны сильной раздражительности. Пыпин припомнил неожиданные и ничем не мотивированные, вызванные лишь какими-то мелкими бытовыми обстоятельствами резкости с ее стороны в 1863 г., 1864-м, 1873-м, но он не поддерживал ссоры, а «старался только удалять новые поводы к раздражению». «Память старых привязанностей, самых дорогих отношений, — писал А.Н. Пыпин, — остается все также необходима для моего нравственного существования, и я никак не хочу нести несправедливости, возводимой на эти отношения»¹⁷.

Это письмо пришло в Вилюйск 7 марта 1875 г. вместе с письмом Ольги Сократовны от 1 января¹⁸, и весь следующий день Чернышевский писал ответы, причем жене о письме двоюродного брата не сообщил ни слова. Чернышевский просил прощения у всех родственников за напрасно принесенные огорчения и сразу же заявил, что «с каждым словом» А.Н. Пыпина «совершенно согласен». «Я знаю это как нельзя лучше уж много лет: она и наши дети живут на твои деньги; без тебя они давным-давно умерли бы с голода. <...> Они живут лишь благодаря тебе», — писал он (XIV, 588, 589). Свои предыдущие письма о Пыпиных Чернышевский объяснил как попытку избавить их и прежде всего Александра Николаевича от материальных затрат на его семью, «у меня просто-напросто было намерение искоренить из ваших чувств всякое расположение ко мне» (XIV, 588). Странно, но подобное объяснение удовлетворило биографов¹⁹. А.Н. Пыпину уже наверняка были ясны более очевидные причины его поступка, обусловленного очередной прихотью, несдержанностью Ольги

Сократовны. Говоря о своей «безграничной любви к ней» (XIV, 590), Чернышевский признавал приоритет ее желаний. В то же время он хотел возвысить ее в глазах родных: «Она не сможет ни сама серьезно разойтись с тобой, ни допустить сына до этого» (XIV, 589). Все дело, мол, в обыкновенной «вспыльчивости характера», быстро проходящей. К тому же она не согласилась выйти замуж вторично, несмотря на настойчивые советы самого Чернышевского. Теперь же, рассуждал он, о втором замужестве думать поздно, и теперь все его действия направлены на сохранение «ее здоровья и спокойствия ее жизни». Чернышевский как бы призывал и Пыпиных смириться с нею такую, какой она была.

Письмо своего брата, бесконечно ему преданного, Чернышевский оценил вполне. Оно «исполнено высокого благородства души. За него стоило бы, — писал он, — поцеловать и твою руку; это неприлично, но я с некоторыми людьми не стеснялся в этом, когда был молод» (XIV, 594). Стараясь не раздражать жену несогласием с ее высказываниями, Чернышевский, как представляется, все же попытался воздействовать на нее в ее несправедливых требованиях к Пыпиным. Он сделал это тогда же, в письме от 25 марта 1875 г., но адресовал письмо не ей, а младшему сыну, прикрыв свой совет рассуждениями общего научного и нравственного плана. Говоря, что «ум и доброе сердце это одно и то же», Чернышевский заметил: «Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям» (XIV, 598). Речь шла об оценке общераспространенных исторических знаний, и подобное заключение о людях с «бойким характером» вполне уместно истолковать как осторожное указание Ольге Сократовне. В свете рассматриваемых фактов имеет значение и приписка в письме к А.Н. Пыпину от 28 марта 1875 г., содержащая совет не говорить Ольге Сократовне о письме Пыпина в Виллюйск (XIV, 604).

О.С. Чернышевская наверняка жаловалась на Пыпиных и в последующее время. Так, случай 1874 г., подтвердил Чернышевский, «был пятьдесят первый или сто первый в ее письмах ко мне за эти три года, которые я живу здесь. И за предыдущие годы было такое же изобилие жалоб» (XIV, 590). Однако Ольга Сократовна, вероятно, поняла всю бесперспективность попыток вмешивать мужа в свои отношения с его родными, и подобные инциденты больше не возникали.

Причины раздражительности О.С. Чернышевской, несомненно, объяснялись не только обыкновенной вспыльчивостью, неровностью настроений, горячностью (см. XV, 140). Чернышевский пони-

мал (он писал о «нравственных страданиях» – XV, 386), понимали и Пыпины, как сложно приходилось ей, жене государственного преступника, не пожелавшей оставить запрещенную фамилию. «На наш род все смотрят, как на каких-нибудь зачумленных», – писала она старшему сыну в августе 1879 г. В октябре тогда же: «Главное, никогда не ронять своего имени и помнить, что ты сын самого честнейшего из честнейших людей». И однажды обеспокоенная долгим отсутствием писем из Вилюйска: «Саша! Скоро ли ты известишь меня о Папаше? Я положительно с ума схожу, что не имею об нем известия. Что же это такое в самом деле? Человек умрет в той трущобе и никто об этом знать не будет. Мне необходимо знать это потому, что я тогда буду знать, что с собою делать. Мне жизнь такая надоела! Я ради Папаши все сносила, а теперь поступлю иначе (если он уже не существует). Много, много я оскорблений видела, как он оставил меня. Я все скрyla от него, чтобы он был только спокоен». В 1881 г.: «...Больно и горько жить на этом свете. И если бы наш милый Папаша не любил меня так много, то я наверное давно оставила бы этот мир»²⁰.

Отношение Чернышевского к сыновьям составляет особую тему его сибирской переписки. Старшего Александра в последний раз он видел в 1864 г. перед самым отъездом в Сибирь (ему было 10 лет), младшего Михаила в Кадае во время свидания с женой (ему исполнилось семь). В 1871 г. Чернышевский поздравил старшего с поступлением на математический факультет Петербургского университета. Вилюйские письма уже адресовались человеку вполне взрослому, способному воспринимать серьезные идеи. Диалог с Александром не состоялся бы, если бы отец не высказал интерес к его математическим занятиям, и Чернышевский, затрачивая огромное количество времени, садится за освоение математики, в которой, впрочем, не был новичком еще с петербургского времени. Вовлекая сына в предлагаемые исчисления и формулы, высказываясь о тогдашних профессорах, Чернышевский в конечном счете вел к обобщениям философского плана, заботился о воспитании мировоззрения, побуждал размышлять о нравственности в науке. Он внушал мысли об уважительном отношении к великим математикам прошлого, как бы хороши ни были современные ученые, П.Л. Чебышев например. Назывались П.С. Лаплас, И. Ньютон, П. Ферма, Ж.-Л. Лагранж, Л. Эйлер (XIV, 581).

В феврале 1877 г. Александр получил университетский диплом, некоторое время преподавал в гимназии, служил домашним учителем у Фан-дер-Флитов, а с началом Русско-турецкой войны решил вступить в армию добровольцем. К патриотическому желанию за-

щитить болгар присоединялась мысль кровью заслужить возвращение отца. Чернышевский узнал о военном предприятии старшего сына из письма жены от 20 июня 1877 г. Новость принесла ему «душевное страдание» (XV, 93). В письме к самому Саше он дал понять, что не одобряет поступка. «Он ошибся», — писал Чернышевский жене (XV, 96–98). В феврале 1878 г. Александр сообщил об увольнении из армии по болезни. Чернышевский признался жене, что до возвращения сына «ходил как с разбитою грудью и полуразбитыми ногами и руками» (XV, 112). К этому времени подоспело октябрьское письмо А.Н. Пыпина с объяснением обстоятельств: побуждения Саши относительно болгар были «самые прекрасные и самые идеалистические»; попал на передовую в Рушукский отряд, «их полк постоянно двигался, и когда наступили дожди, это был труд, который не всегда выносят и закаленные солдаты»; он «получил лихорадку» и до сих пор еще не поправился²¹. С мнением А.Н. Пыпина о «прекрасном» побуждении Саши Чернышевский, сколько можно судить по его ответу от 25 февраля, не согласился. Но открыто высказаться по поводу текущих политических событий он не мог в письмах, просматривавшихся в Третьем отделении. И он изложил свое мнение в краткой форме, вложенной в уста немецкого генерала К.Б. Мольке: «Эти патриоты вредят своей родине. Никакое европейское государство не нуждается в солдатах. У всякого есть большее число хороших солдат, чем каким оно в состоянии пользоваться» (XV, 147). Иными словами, война с Турцией вовсе не требовала такого количества добровольцев, к тому же плохо обученных. В письме к сыну от 24 апреля Чернышевский еще раз высказался против «туманной фразы» о красоте благородных увлечений. Патриотические поступки Горация Коклеса или Курция, на которых можно было бы сослаться, не были «увлечениями», а «потребностью природы» этих римлян, пожертвовавших собой для спасения родины, «дела их были нужны, — не им самим, а их родине». Своему сыну отец пытался объяснить, что никто на Россию не нападал и война с Турцией русскому народу не была нужна. «Но убивать — не турок русскому, но русских русскому — хорошо?.. Ты воображал, — писал Чернышевский, — что едешь убивать турок. Ты ошибся, мой друг» (XV, 281–282). То есть на этой войне русские солдаты умирали не ради своего отечества, а ради исполнения иных целей. И выходило, что русские (посылавшие на войну) убивали русских (посылаемых на войну). Чернышевский не разделял ура-патриотических настроений, поскольку, по его убеждению, «никогда никакая наступательная война не была полезна нации, которая вела ее» (XV, 598).

Александр выздоравливал, и отец поддержал в нем решимость «добывать себе кусок хлеба честным, скромным трудом» (XV, 291). С семьей барона Фредерикса в качестве учителя его сына А.Н. Чернышевский в октябре 1879 г. уехал в Париж. Здесь он бывает в доме художника Н.Д. Дмитриева-Оренбургского, знакомится с писателем П.А. Сергеенко (будущим секретарем Л.Н. Толстого). Сыном Чернышевского заинтересовался И.С. Тургенев, у которого Александр по его приглашению был 1 декабря 1879 г.²² П.Л. Лаврову Тургенев рассказывал о своем посетителе: «...Отца он, по-видимому, страстно любит, а к друзьям отца относится как к врагам. Он пишет стихи недурные — частью навеянные Гейне»²³. Слова о враждебном отношении к «друзьям отца» Н.М. Чернышевская объясняет как «первые признаки душевного расстройтва, которым и закончилось его пребывание в Париже»²⁴. Думается, однако, речь шла о русских революционных эмигрантах, издателях сочинений Чернышевского за границей, о которых А.Н. Чернышевский вслед за А.Н. Пыпиным мог высказаться отрицательно.

Начавшиеся нервные припадки послужили причиной возвращения в Россию. Он служит домашним учителем, изучает языки, занимается математикой, сочиняет стихи. Чернышевский находил у него поэтический талант и рекомендовал заботиться «серьезным образом о его развитии» (XV, 387). В журнале «Мысль» за 1881—1882 гг. появляются три его научные статьи из математики. «Ход мыслей логичный, язык точный, сжатый», — высказался о них Чернышевский (XV, 394).

В 1882 г. Александр пережил любовную драму. Родители девушки, Зинаиды Палуевой, вмешались в отношения молодых людей, хотя Ольга Сократовна была не прочь женить сына²⁵. Переживания усилили признаки душевного расстройства. Саша начал пить. За его лечение всерьез взялся П.И. Боков, но тот упорно отказывался подчиняться врачам. Чернышевский не был посвящен в эту историю и узнал о ней только по возвращении.

Младший сын Чернышевского Михаил получил первое, лично ему адресованное письмо отца в 1875 г., когда ему шел семнадцатый. Учился он в гимназии, и по его припискам к письмам матери Чернышевский решил, что сына из всех учебных дисциплин больше интересует история. С этого времени отец старался возможно больше уделять внимания разъяснению своих представлений об исторической науке. Благодаря этим своеобразным урокам, «ученым диссертациям», мы располагаем высказываниями, имеющими непреходящее значение. Официозным истолкованиям, насаждав-

шимся в гимназиях, было противопоставлено мнение мыслителя, считавшего историю одной из своих специальностей.

Чернышевский начал с изложения «важнейших выводов». «Источники, по которым пишутся исторические книги, — разъяснял он сыну, — имеют почти все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы», суть которых такова: «ум и честность это одно и то же; ум и доброе сердце это одно и то же». Между тем «история вся сплошь набита похвалами фактам, которых не может оправдывать добрый, честный и неглупый человек» (XIV, 598). Нравственным аспектам исторических исследований Чернышевский придавал самое серьезное значение. «Добро и разумность, — повторял он и в последующих письмах, — это два термина в сущности равнозначщие. Это одно и то же качество одних и тех же фактов, только рассматриваемое с разных точек зрения: что с теоретической точки зрения разумность, то с практической точки зрения — добро; и наоборот: что добро, то непременно и разумно. — Это основная истина всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни; потому это основная истина и всеобщей истории. <...> Критериум исторических фактов всех веков и народов — честь и совесть» (XIV, 645). Применение этого «критериума» Чернышевский показал на истории иезуитов в Средние века. Развивая мысль о подлинных ценностях тех или иных исторических деяний, Чернышевский высказал свое понимание «знаменитого подлого правила», будто «цель оправдывает средства», — «подразумевается: хорошая цель, дурные средства». «Нет, — убежденно писал он, — она не может оправдывать их, потому что они вовсе не средства для нее: хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели; а для хорошей годятся только хорошие. <...> Средства должны быть таковы же, как цель» (XIV, 684–685).

В гимназии Михаил не отличался особенными успехами и даже однажды не выдержал экзамена. Ободряя сына, Чернышевский посоветовал вообще оставить курс и поступить в университет, поскольку, писал он, «в школах — чопорное тупоумие невежд. Наука — в книгах и в личном самостоятельном труде над приобретением знаний из книг и из жизни», «надобно развивать в себе любовь к чтению» (XV, 14, 100, 113). По окончании гимназии М.Н. Чернышевский поступил в университет на филологический факультет. Отец одобрил намерение получить высшее образование, побуждал к изучению европейских языков (XV, 321, 323). Однако учебные дела подвигались трудно, на втором курсе пришлось взять отсрочку на год. Факультета он так и не закончил.

Место сыновей в биографии Чернышевского послевилюйского периода будет рассмотрено в последующих главах книги.

Примечания

- ¹ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 417.
- ² Там же. Л. 455.
- ³ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 514, 529.
- ⁴ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. № 230. Ч. 26. Л. 645–645 об.
- ⁵ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 218.
- ⁶ Напр., см.: Отечественные записки. 1874. № 1. Отд. II. С. 151–184.
- ⁷ Это было письмо от 18 декабря 1871 г. (XIV, 511–512, 517), в котором сообщалось о перемещении на новое местожительство. «Вся моя жизнь устроится хорошо», – по обыкновению уверял он.
- ⁸ Вероятно, П.П. Фан-дер-Флит, муж П.Н. Пыпиной.
- ⁹ П.И. Боков.
- ¹⁰ Подразумевалась ее поездка в Сибирь в 1866 г.
- ¹¹ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 375–376. Слова О.С. Чернышевской о том, что ей не с кем посоветоваться, приведены в кн.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 259.
- ¹² Подобную просьбу к начальнику области Чернышевский направлял через А.Г. Кокшарского и 2 мая 1882 г. (XV, 363).
- ¹³ В 1880 г. О.С. Чернышевская купила у вдовы А.А. Шапуриной в Саратове небольшой домик по Армянской улице, прежде принадлежавший ее няне и находившийся на усадьбе ее отца. Приобретен по акту от 28 июня 1880 г. – МУЧ. Основной фонд. № 3806). Купленную «хату» она перевезла на усадьбу дома Чернышевских на место сгоревшего в 1866 г. флигеля. Чернышевский одобрил эту покупку (XV, 342).
- ¹⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. I. Д. 500. Л. 33–34 об. С небольшими неточностями напечатано в кн.: Лит. наследие. Т. II. С. 589–590.
- ¹⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 180–181.
- ¹⁶ *Чернышевский М.Н.* Мои личные воспоминания о семье Пыпиных // Пропагандист великого наследия. Саратов, 1990. Вып. 2. С. 43, 44.
- ¹⁷ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 110–118.
- ¹⁸ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 371.
- ¹⁹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. LX–LXI; *Пыпина В.А.* Любовь в жизни Чернышевского. Пг., 1923. С. 88; *Чернышевская Н.М.* Семья Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1980. С. 32.
- ²⁰ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 232–234, 238.

²¹ Там же. Вып. II. С. 209.

²² *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. М.; Л., 1960–1968. Письма. Т. XII. С. 181.

²³ *Л<уканина> А.Н.* Мое знакомство с И.С. Тургеневым // Северный вестник. 1887. № 3. С. 67–68.

²⁴ *Чернышевская Н.М.* Семья Н.Г. Чернышевского. С. 60. Подробнее см. там же. С. 62–63.

14. Ходатайства об освобождении

На протяжении всех лет сибирского заточения Чернышевского ходатайства о его освобождении возникали постоянно, составляя печальный ряд несбывшихся благородных порывов и надежд, принадлежавших людям различных официальных и общественных кругов и возникавших при несхожих обстоятельствах.

Частоту хрестоматийного употребления приобрел эпизод, введенный в биографическую литературу газетой «Новое время» в 1904 г. Зимой 1864–1865 гг. во время «государевой охоты» в Новгородской губернии Александр II спросил неподалеку стоявшего поэта графа А.К. Толстого о литературных новостях. Ответ был смелым и даже дерзким: «Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского...» Царь не дал окончить фразы и недовольным, непривычно-строгим голосом сказал: «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском» и, «отвернувшись, дал понять, что беседа их кончена»¹. Слова поэта восприняты монархом как заступничество, своеобразное ходатайство, немедленно и категорически пресеченное. До конца своего царствования Александр II сохранил эту демонстративно-непримиримую, так ни разу и не смягчившуюся позицию по отношению к поверженному писателю.

В начале 1865 г. П.Л. Лавров предложил Литературному фонду, возглавляемому Е.П. Ковалевским, просить правительство о помиловании Чернышевского или облегчении его участи. «Фонд отказался ходатайствовать», — записал хорошо информированный А.В. Никитенко в своем дневнике за 6 марта 1865 г.² Из других источников известно, что предложение П.Л. Лаврова поддержал К.Д. Кавелин³.

Еще одна попытка организовать общественное мнение в пользу Чернышевского связана с именем Ольги Ивановны Шаповой, жены известного историка и участника освободительного движе-

ния А.П. Шапова. Из писателей-современников она «едва ли не выше всех ценила Н.Г. Чернышевского», и после его провоза через Иркутск в Якутскую область вынашивала мысль подать от имени иркутских женщин «адрес генерал-губернатору Восточной Сибири о возвращении Чернышевского из Вилюйска»⁴.

К 1873 г. относится заграничная публикация в первом номере журнала «Вперед!» со ссылкой на слухи о «знаменитом медике», который, помня о Чернышевском, «испросил себе в награду за лечение коронованной особы его перевод в Европейскую Россию». Передавая эту новость и указывая на С.П. Боткина, получившего звание лейб-медика, автор резонно заметил: «Для всех, знающих личность, о которой идет дело, не могло быть ни минуты сомнения, что это — вздор и что прославленный эскулап не мог никогда и подумать заикнуться о столь нецензурной просьбе»⁵.

Самая крупная акция в защиту Чернышевского была предпринята главой Восточно-Сибирской администрации Н.П. Синельниковым, тем самым, который посетил Чернышевского в Александровском заводе и разрешил ему отправлять письма домой раз в месяц, то есть втрое чаще, чем полагалось по действовавшим постановлениям. 27 февраля 1873 г., когда решалась судьба Г.А. Лопатина, генерал, проникшись доверием к подследственному, направил министру внутренних дел ходатайство с предложением прекратить дело Лопатина и «облегчить несколько участь Чернышевского, переведя его на жительство в Якутск под особенный надзор полиции»⁶. Министр А.Е. Тимашев немедленно соотнесся с Третьим отделением, и 11 марта шеф шандармов П.А. Шувалов ответил: «Я нахожу, что положение находящегося в г. Вилюйске Николая Чернышевского не должно быть изменяемо»⁷. Затем состоялся доклад Александру II (исследователи утверждают, что царь «не соизволил ответить» на ходатайство Н.П. Синельникова⁸), и 8 апреля 1873 г. последовала Высочайшая резолюция: «Оставить в том же положении в г. Вилюйске»⁹. Надеждам Чернышевского, высказываемым в 1872 г. («подожди, — писал он жене, — пока переведут меня жить куда-нибудь, где больше возможности жить и тебе. — Вероятно, переведут скоро; так я сужу по всем приметам» — XIV, 519, 524), ставилась теперь непреодолимая преграда. Императорским повелением перекрывались все пути и для каких бы то ни было ходатайств в ближайшее время.

И все же в начале 1874 г. Александр Чернышевский известил Ольгу Сократовну, находившуюся в Саратове, об открывшейся новой возможности. 7 февраля он писал, что «некоторые хорошо к нам расположенные люди» советуют в данное время (и именно в данное) обратиться в комиссию прошений «для улучшения участи

Папаши». Он прислал два заранее составленных текста — прошение на имя Александра II и аналогичную докладную записку на имя П.А. Шувалова. В подготовке документов принимал самое близкое участие А.Н. Пыпин¹⁰. О.С. Чернышевская тут же переписала и отправила в Петербург оба прошения, но сыну объяснила: «Для вас обоих я сделаю то, что вы хотите. Но знайте, что это будет сделано против моего и наверное против желания вашего отца. Я никогда не ждала ничего для Н.Г. Я знала, что его сгноят там. Для чего же кланяться? Все это напрасно! Ничего не будет лучше. Я в настоящее время нахожусь в таком состоянии, что готова Бог знает, что с собою сделать. Самое лучшее, что могли бы мы все сделать — это умереть! Фамилия Чернышевского проклята Богом! Ее следует стереть с лица земли как можно скорее!..» Письмо сына пришло в момент, когда Ольга Сократовна недомогала, сильно хандрила и находилась в самом дурном расположении духа. Она оказалась права, предвещая неудачу, но все же важно было не мириться с положением дела, а настойчиво вести борьбу за вызволение Чернышевского. Он сам, как мы видели, мужественно противостоял обстоятельствам и не упускал случая влиять на них.

Оба прошения А.Н. Чернышевский передал по назначению 12 февраля. Через две недели он писал матери: «Говорил и с графом Ш<уваловым>. Он не то, чтобы подал повод к мечтам, но говорил гораздо лучше, чем я мог ожидать. Сколько помню, сказал в конце разговора: “Должно быть, извещу”. Посмотрим»¹¹. Трудно сказать, какие именно конкретные факты поселили в инициаторах надежду на успех. Напротив, пока дело Чернышевского не могло решиться положительно. На докладной записке П.А. Шуваловым оставлена резолюция: «Ожидать сведения из Сибири по поводу командировки должностных лиц в Виллойск. 22 февраля»¹². Имелись в виду, конечно, результаты поездки полковника Купенкова. Прощение же на монаршее имя сопровождено пометой: «Оставить. 27 февраля»¹³. Просьба перевести Чернышевского «из пустынной страны, из сурового климата в местность для жизни человека более благоприятную», как и следовало ожидать, оказалась погребенной в жандармском архиве.

Однако родственники Чернышевского не прекратили попыток. Так, получив от Чернышевского письмо в марте 1875 г. с известием об ухудшении здоровья, А.Н. Пыпин написал на имя П.А. Шувалова письмо с просьбой «о некотором облегчении его крайне бедственного положения». «Попытка, по обыкновению, успеха не имела», — резюмировал М.Н. Чернышевский¹⁴.

Некоторое время спустя произошло событие, вставшее в тот же ряд рассматриваемых биографических фактов. Оно подробно опи-

сано В.Я. Кокосовым со слов главного действующего лица — полковника Г.В. Винникова, беседовавшего с Чернышевским в Вилюйске, и с тех пор ни одна биографическая книга о Чернышевском не обходится без цитации из этого яркого эмоционального рассказа. В научной литературе, кажется, лишь однажды было заявлено, что к свидетельству Винникова, не подкрепленному архивными или другими материалами, нужно отнестись «весьма осторожно»¹⁵. Анализ доступных к настоящему времени источников действительно позволяет критически взглянуть на сообщенные мемуаристом подробности.

По словам В.Я. Кокосова, его разговор с Г.А. Винниковым, которого он знал с 1873 г., когда тот еще «в чине сотника» служил при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.П. Синельникове, состоялся в 1894 г., спустя двадцать лет после встречи с Чернышевским, а опубликованы эти воспоминания были еще по прошествии десяти лет¹⁶. «Веря ему безусловно, я, — писал Кокосов, — передаю то, что он рассказывал в присутствии своей жены»¹⁷. Главное в сообщении Винникова — отказ Чернышевского от подачи прошения о помиловании, текст которого тот привозил в Вилюйск для получения подписи. Рассмотрим внимательнее все обстоятельства столь важного события, изложенного полковником много лет спустя.

Винников вспоминал: «Состоя адъютантом генерал-губернатора Синельникова с 1871 года, я исполнял разные поручения и кое-что могу рассказать вам и о Чернышевском. По правде сказать, замечательнейшая выдающаяся личность погибла в его лице для России. <...> В 1874 году генерал-губернатором была получена из Петербурга бумага приблизительно такого содержания: “Если государственный преступник Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он может надеяться на освобождение его из Вилюйска, а со временем и на возвращение на родину”. На меня, как адъютанта, пал выбор для исполнения поручения <...>» Обратим внимание прежде всего на весьма существенную неточность, странную для бывшего адъютанта. По документам, Н.П. Синельников продержался на своей должности всего около трех лет, то есть до конца 1873 г. Вероятнее всего, подлинной причиной отставки послужили проявленные им знаки внимания к Н.Г. Чернышевскому и Г.А. Лопатину. Новым генерал-губернатором Восточной Сибири назначен П.А. Фредерикс, до этого служивший Варшавским обер-полицмейстером (с января 1864 г.), генерал-полицмейстером в Царстве Польском (с 1866 г.) и начальником Варшавского жандармского округа (с 1867 г.). Дела по управлению краем Н.П. Синельников сдал в феврале 1874 г., новоназначенный П.А. Фредерикс вступил в должность

18 июня этого года¹⁸. Перед отправлением в Иркутск Фредерикс еще в Петербурге специально познакомился с делом Чернышевского, о чем свидетельствует его записка в Третье отделение к А.Ф. Шульцу от 15 марта 1874 г.: «Согласно письма Вашего от 11 марта, имею честь возвратить при сем по прочтении бумаги, касающиеся до преступника Чернышевского»¹⁹. Сомнений не остается: Винников мог совершить поездку в Вилюйск только по приказу Фредерикса. Что касается его адъютантской службы у Синельникова, то, действительно, согласно одному из документов, он, например, в октябре 1872 г., имея чин хорунжего, посылался в Петербург «курьером для доставления нужных бумаг»²⁰.

Вступает в заметное противоречие с рассмотренными выше материалами и утверждение о получении бумаги из Петербурга. Спрашивается, какие ведомства или какие высокочинные лица, имеющие отношение к политической ссылке, могли осмелиться на подобное предложение Чернышевскому, минуя Александра II, который, как было хорошо известно, лично контролировал относящиеся к писателю документы и который только что, в апреле 1873 г., повелел оставить его «в том же положении в г. Вилюйске»? Шеф жандармов или министр внутренних дел? Но мы видели, как П.А. Шувалов и А.Е. Тимашев отнеслись к предложению Синельникова. Генерал-губернатор П.А. Фредерикс? Для него, бывшего полицейского и жандармского правителя одного из самых горячих в политическом отношении краев Российской империи, подобный поступок никак не характерен. Но даже если предположить возникшее у него желание помочь Чернышевскому, то и в этом случае ему, наверняка знавшему резолюцию Александра II от 8 апреля 1873 г., после ознакомления с делом Чернышевского должна была быть понятной бесперспективность любых прошений в его пользу, от кого бы эти прошения ни исходили, и он не мог не учесть горького опыта своего предшественника. К тому же никаких следов документа, о котором сообщил Винников, ни в петербургских, ни в сибирских архивах не обнаружено после самых тщательных разысканий. Вывод один: такого документа ни в 1874 г., ни в ближайшее к этому году время быть не могло, его существование явно не вписывается в установленную и постоянно ужесточаемую систему отношений властей к вилюйскому политическому ссыльному.

Далее Винников сообщил: «...Для отвода глаз мне дано было открытое поручение до Вилюйска включительно обревизовать волостные правления, полицейские управления и земских заседателей. “Я прошу вас и надеюсь, — сказал генерал-губернатор, — что главное поручение будет исполнено вами осторожно и деликатно;

вы обязаны доставить мне от Чернышевского положительный документальный ответ в ту или другую сторону»».

Якутский биограф Чернышевского И.М. Романов опубликовал архивные данные, подтверждающие факт командирования Винникова в Якутскую область. Попутно уточняется время поездки — «июнь 1875 года» и ее цели — «для ревизии делопроизводства и вообще Якутского казачьего полка», а также «для ревизии делопроизводства в окружном полицейском управлении» города Вилюйска²¹. Представляется возможным поточнее определить дату пребывания Винникова в самом Вилюйске. Время его отъезда — 27 июня 1875 г., так как в этот день адъютант генерал-губернатора есаул Винников передал членам вилюйского окружного полицейского управления Жиркову и Порогову свое заключение о проведенной ревизии²². Конечно, он пробыл в Вилюйске не один день, и сопоставление известных фактов позволяет с большой степенью вероятности назвать день его приезда в Вилюйск и дату встречи с Чернышевским. В самом деле, в июне Чернышевский отправил письма 10 и 25 числа. 10 июня — с обычной почтой. «Давно не было отправки почты по весеннему непроездному состоянию дорог; больше месяца», — сообщает он жене 10 июня. «Недели через три, вероятно, пойдет опять почта», — пишет он в тот же день А.Н. Пыпину (XIV, 618, 619). Но почта пришла не в июле, как ожидалось, а раньше — 23 июня. В этот день в канцелярии полицейского управления в Вилюйске зарегистрирована посылка для Чернышевского: одно письмо, книжка «Вестника Европы» и пачка газеты «Неделя»²³. Скорее всего, 23 июня — день приезда Винникова с сопровождающими его лицами из Якутска, с ними и была отправлена внеочередная адресованная в Вилюйск корреспонденция. Точно так же с Винниковым отправили: все посылки в Якутск, и Чернышевский написал коротенькое письмо жене 25 июня (XIV, 619–620) — это, полагаем мы, и был день, когда есаул навестил его. Чернышевский, как мы знаем, всегда пользовался возможностью послать родным внеочередное письмо. Следующая почта прибыла в свою очередь в начале июля. В его письме от 9 июля читаем: «Вот я написал довольно длинное письмо, благодаря тому обстоятельству, что эта почта отходит лишь через немного дней после прежней <...>» (XIV, 623).

По дальнейшему рассказу Винникова, он, «обревизовав вилюйского исправника», заявил ему о поручении «опросить претензию» у государственного преступника. «В острожке я не застал Чернышевского, жандарм указал мне в сторону озера, недалеко от острожка, прибавив, что “арестант гулять вышел, это он делает ежедневно”, — было это часа в два. Я увидел Чернышевского, сидевшим на скаме-

ечке, лицом к озерку, в сером одеянии, с открытой головой. Я пошел к нему и представился, проговорив, что мне, между прочим, поручено генерал-губернатором спросить вас: “Все ли вы довольны? Не имеете ли претензий?” Он встал со скамейки, быстро оглядел меня сквозь очки с ног до головы, оглядел, не торопясь, самого себя, нагнув при этом голову. Затем, приподняв ее, он проговорил: “Благодарю вас! кажется, всем доволен и претензий не имею”».

В этой своей части воспоминания Винникова не вызывают сомнений. Косвенным подтверждением слов Чернышевского могут служить строки из его письма, которое он передал есаулу: «Я живу по-прежнему, то есть во всех отношениях хорошо, даже очень хорошо» (XIV, 619). Казалось бы, обычное для Чернышевского заверение. Но ни в майских, ни в одном из писем от 10 июня он о своем положении ни разу не упомянул, зато в письме от 25 июня настойчиво повторил то, что было сказано Винникову, — живет «очень хорошо». Вспомним, как в письме, врученном Купенкову, подобным образом повторено сказанное полковнику в беседе с ним — уедет из Вилюйска только на законном основании, то есть только с разрешения самого правительства, и повторил то, что составляло основное в разговоре с Купенковым.

Наконец Винников рассказал о главной цели своего визита: «Я приступил прямо к делу: “Николай Гаврилович! я послан в Вилюйск с специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам... Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону”. И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ноги, сказал: “Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен просить помилования?! Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?! Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь...”

По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном.

— Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?!

— Положительно отказываюсь! — и он смотрел на меня просто и спокойно.

— Буду просить вас, Николай Гаврилович, — начал я снова, — дать мне доказательство, что я вам предъявил поручение генерал-губернатора...

— Расписаться в прочтении? — закончил он вопросом.

— Да, да, расписаться...

– С готовностью! – И мы пошли в его камеру, в которой стоял стол с книгами, кровать и, кажется, кое-что из мебели. Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: “Читал, от подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский”.

“Да, голубчик! – увидеть-то я тогда Чернышевского увидел и говорил с ним с глазу на глаз, а уезжая от него, мне сделалось стыдно за себя, а может быть, что и другое... А знаете ли? – подумав, закончил полковник свой рассказ, – попытка Мышкина к его увозу, от которой, как говорят, он отказался наотрез, на много лет затормозила его возвращение в Россию...”»

Воспоминания о поведении Чернышевского при встрече с официальным представителем высшей иркутской власти, несомненно, заслуживают внимания. Тем не менее воспоминания полковника не вполне увязываются с комплексом существующих документов и комментариев. Фактические неточности и несоответствия не только значительно снижают степень достоверности его утверждений о существовании петербургской бумаги и о связанном с нею поручении генерал-губернатора, но и вообще ставят под сомнение самый факт наличия этого документа. Скорее всего, Винников, как до него Купенков, получил приказ проверить надежность системы надзора за Чернышевским ввиду усилившейся зимой 1874–1875 гг. обеспокоенности полицейско-жандармских ведомств побегом Лопатина. Можно предположить также, что в памяти бывшего адъютанта Н.П. Синельникова остался факт обращения генерал-губернатора в Петербург в 1873 г. о смягчении участи Чернышевского, и его позднейшие мемуарные пересказы наложились на ситуацию 1873 г., стали результатом нередкой в таких случаях контаминации реального и воображаемого.

Итак, поездка Винникова в Вилюйск была совершена не в 1874 г. по приказу генерал-губернатора Н.П. Синельникова, который действительно проявлял некоторые сочувственные знаки внимания к Чернышевскому, а в 1875 г. по распоряжению нового генерал-губернатора П.А. Фредерикса, который, ознакомившись перед отбытием на место службы с делом Чернышевского, знал о недавней резолюции Александра II не выпускать писателя из Вилюйска, наверняка поручил своему адъютанту проверить надежность охранения узника, и от П.А. Фредерикса или кого-либо другого никак не могла исходить инициатива составления документа с подачей Чернышевским прошения о помиловании.

В свое время М.Н. Чернышевский попробовал поддержать сообщение Винникова фразой из письма Чернышевского к А.Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г.: «Чего не хочу писать, того не писал и не напи-

шу». В этих словах увиден «намеки на предложение генерал-губернатора написать просьбу о помиловании»²⁴. Объяснение явно неудачное. Во-первых, по свидетельству самого Винникова, он приехал не с поручением написать Чернышевскому просьбу о помиловании, а с готовым текстом прошения, ответ на которое должен быть задокументирован «в ту или другую сторону». Во-вторых, письмо к Пыпину 1878 г. по времени отстоит далеко от события, чтобы столь туманно, неясно ссылаться на него, Пыпину не известное. Да и в контексте письма слова Николая Гавриловича означали совершенно другое: он не хотел часто переписываться с Пыпиным, чтобы не усложнять ему отношений с властями, но отосланное благополучно доходило, так как ничего недозволенного он не сообщал — «я плохой стилист, но я пишу лишь то, что хочу. Чего не хочу писать, того не писал и не напишу. А когда пишу к тебе, или к детям, или к кому из других родных, или к Оленьке, то разумеется хочу, чтобы письма были получаемы» (XV, 137).

В начале 1880 г. О.С. Чернышевская решила возобновить хлопоты о перемещении мужа из Вилюйска. Сначала возникла мысль подать прошение на Высочайшее имя к 19 февраля, 25-летию царствования Александра II, затем М.Н. Чернышевский, посоветовавшись с кем-то, назвал руководителя внутренней политики России графа М.Т. Лорис-Меликова, который, как казалось, поможет переселить Чернышевского «пока в Иркутск, а потом, может быть, и в Саратов». С именем графа связывали начало эпохи «умиротворения», общественного согласия, и на его содействие рассчитывали многие просители. Ввиду отъезда министра прошение на имя царя, подписанное сыновьями Чернышевского 6 октября 1880 г., передали А.А. Скальковскому, управляющему канцелярией М.Т. Лорис-Меликова. Ходатайствовали о переводе в Саратов или «в другую, более близкую, местность Сибири, менее суровую в климатическом отношении»²⁵. Прощению дали ход, но результат оказался прежним.

Следующий 1881 год буквально взорвал тайники канцелярий, хранивших прошения о Чернышевском, и сделал их достоянием общественности. В передовице либеральной газеты «Страна» от 15 января, редактируемой сотрудником «Вестника Европы» писателем Л.А. Полонским, вилюйский ссыльный объявлялся «жертвой реакции». Автор статьи предлагал склонить царя к милосердию и освободить Чернышевского, который «едва прозябает, отчужденный от семьи, от товарищей в русской литературе, лишенный почти всех условий человеческого существования». Обращаясь к властителям, автор призывал исправить «старую ошибку» — «дайте еще один, весьма крупный залог, что, в самом деле, вы желаете умиротворения».

Страстный голос в защиту литератора мгновенно подхватила русская легальная и нелегальная пресса. Выдержки из «Страны» дали «Молва» (16 января) и «Порядок» (17 января). Январские номера газеты «Порядок» могли попасть и к Чернышевскому. «Стал получать за нынешний год газету “Порядок”, — сообщал он сыну 1 мая 1881 г. (XV, 326). «2 пачки газет и книг для выдачи Чернышевскому» прибыли в Вилюйск 28 августа 1881 г.²⁶ По поводу передовицы «Страны» выступил в «Русской мысли» В.А. Гольцев, поддержавший требование «изменить участь Чернышевского»²⁷. То же сделала «Неделя» (№ 3), присоединив к своей публикации воспоминание о гражданской казни Чернышевского. Перепечатку этих воспоминаний находим в «Саратовском дневнике» (27 января). На статью «Страны» отозвался издававшийся Московским юридическим обществом во главе с профессором С.А. Муромцевым журнал «Юридический вестник» (№ 2), свою солидарность с ним проявила газета «Московский телеграф» (№ 17)²⁸. За границей подали голос «Общее дело» (№ 39), «Набат» (№ 4).

Многokrатно повторенный призыв «Страны» получил значение политического требования, выражения общественного мнения, с которым властям трудно было не считаться. «Страна» получила предупреждение, «но это более для вида», — писал М.Н. Чернышевский матери 17 января 1881 г.²⁹ «Статья эта, — писал И.С. Тургенев, — благородный поступок честного человека, желающего добра правительству»³⁰.

На волне публично поднятого вопроса А.Н. Пыпин приступил к составлению обширной «Записки о деле Н.Г. Чернышевского», призванной послужить документальным разоблачением действий теперь уже не существующего Третьего отделения. В стремлении быть очень точным Пыпин решил разыскать другую свою подобную записку, которую написал в начале 1864 г. по свежим данным, полученным от Чернышевского во время свиданий с ним в крепости. В 1864 г. свой манускрипт Пыпин передал петербургскому генерал-губернатору А.А. Суворову. Теперь же, пользуясь посредничеством Н.И. Костомарова и Н.Д. Новицкого, он передал А.А. Суворову просьбу разыскать ту записку. 9 февраля 1881 г. Суворов сообщил Н.И. Костомарову, что не может попасть в Стрельну, где в кабинете хранятся все его бумаги, и просил не торопить его. Однако время не ждало, и Пыпин 18 февраля передал М.Т. Лорис-Меликову новосоставленную «Записку». Предварительно ее просматривали Н.Д. Новицкий и Н.И. Костомаров, который, как писал Новицкий Пыпину 3 февраля, сделал какие-то «добавки»³¹. Но включения не были существенными, и единственным автором документа следует,

конечно, считать А.Н. Пыпина. Суворов же ничего у себя в кабинете не нашел, о чем он сообщил Н.И. Костомарову 20 марта этого года³², и «Записка» 1881 г. приобретала значение первоисточника.

В ней детально и основательно рассматривались ключевые моменты процесса Чернышевского, связанные с фальсификацией и подлогом³³. Указывалось на излишнюю подозрительность прежнего правительства к заграничным изданиям сочинений Чернышевского, предпринятым «авантюристами»; «Счесть людей, исповедующих бакунинскую теорию анархии, за последователей Чернышевского, есть не только клевета, но бессмыслица». Отмечалось чересчур жесткое отношение к сосланному писателю, уже достаточно вынесенному за свои идеи, открыто проводимые в «Современнике», «ни одно из облегчений, какие даются ссыльным по отбытии срока, ему дано не было, он был исключаем из амнистий, у него отбирались его бумаги, затруднялась переписка с семейством и родными – единственная, какую он вел». Теперешнее его положение (проживание в убийственном климате, болезни, полная изоляция от мира) невыносимо и требует изменения. Пыпин ходатайствовал о смягчении участи Чернышевского и о разрешении печатать его труды, некогда разрешенные цензурой³⁴. Для того времени «Записка» Пыпина могла служить лучшим объективным комментарием к делу Чернышевского, которое, по свидетельству В.Д. Спасовича, затребовал для ознакомления М.Т. Лорис-Меликов³⁵.

События 1 марта 1881 г., оборвавшие жизнь Александра II и активизировавшие силы реакции, остановили начавшееся движение в защиту Чернышевского. Публикации о нем в русской печати вновь сделались невозможными. Однако спустя два года его освобождение из Сибири все же состоялось. О подробностях дела рассказал в 1906 г. Н.Я. Николадзе. Участник петербургских студенческих волнений 1861 г., он был лично знаком с Николаем Гавриловичем и, подобно своим товарищам по университету, воспитывался под влиянием «Современника». Последующие годы он посвятил публицистической деятельности в Грузии, и в своих статьях, по характеристике Г.М. Туманова (Туманишвили), «проводил в общество идеи Чернышевского и Добролюбова». Сотрудничал в «Колоколе», «Современнике», «Отечественных записках», входил в группу М.К. Элпидина, издававшую в Женеве сочинения Чернышевского³⁶. В 1882 г. Николадзе выступил посредником в переговорах между «Народной волей» и правительством, от которого народовольцы потребовали в числе прочих условий освобождения Чернышевского. При этом гарантировалось «хорошее поведение партии во время коронации». Переговоры велись с министром

двора графом И.И. Воронцовым-Дашковым, а после его отставки с флигель-адъютантом графом П.П. Шуваловым³⁷. Министры внутренних дел Н.П. Игнатьев и сменивший его Д.А. Толстой всячески оттягивали решение вопроса³³. Наконец, в Департаменте полиции была составлена «Справка» о Чернышевском, которая в отличие от прежних третьестепенных документов содержала объективные сведения о его положении. «Осужденный отбыл свое наказание, — говорилось здесь, — и отбыл, не воспользовавшись, не по своей вине, вторичным облегчением, которое ниспосылало ему Монаршее милосердие в 1868 году. Чернышевский выдержал продолжительное испытание с истинно христианским смирением и, можно сказать, с достоинством, оставаясь все время на высоте своего, хотя и заслуженного, но тем не менее несчастного положения. Он ни разу сам непосредственно не подал ни малейшего повода к стеснению его участи». Отмечалось, что писатель не одобрял попыток к насильственному его освобождению и, как удостоверяют местные губернаторы, «безропотно и с покорностью нес и несет до сих пор кару, возложенную на него законом». Ныне он «не в состоянии уже превратиться в ожесточенного преступника». «Справка» завершалась следующей рекомендацией: «Предоставление Чернышевскому права поселиться в доме, принадлежащем ему в Саратове, было бы, кажется, мерой вполне целесообразной»³⁹.

В составлении этой «Справки», вероятно, участвовал начальник охранного отделения Г.П. Судейкин, у которого М.Н. Чернышевский неоднократно был на приеме и показывал ему письма отца, осуждавшего нелегальные способы своего освобождения⁴⁰. На первой странице документа сверху Д.А. Толстой написал 16 февраля 1883 г., адресуясь к Директору департамента полиции В.К. Плеве: «При свидании потрудитесь со мною переговорить»⁴¹. А 18 февраля Д.А. Толстой писал И.И. Воронцову-Дашкову о Чернышевском: «...О смягчении его участи будет доложено Государю перед коронацией. Думаю, что так было бы осторожнее, потому что в течение двух месяцев мы увидим, как будет держать себя террористическая партия, а от этого будет зависеть и степень, так сказать, помилования Чернышевского, которого они считают своим праотцем»⁴². В действительности Чернышевский ничего общего с революционерами-террористами не имел, однако высшие чины государства по-прежнему смотрели на него как на их главу, и речь могла идти лишь о «степени помилования». Слова О.С. Чернышевской «боятся его очень»⁴³ точно отражали ситуацию.

Тем временем Н.Я. Николадзе передал П.А. Шувалову пыпинскую «Записку о деле Н.Г. Чернышевского». Через несколько дней

граф вернул рукопись и предложил составить всеподданнейшее прошение сыновей. Оно датировано 9 мая 1883 г., и здесь говорилось о возвращении отца «на родину». Вскоре при очередном свидании Г.П. Судейкин спросил М.Н. Чернышевского, в каком из двух городов семья хотела бы видеть отца — в Архангельске или в Астрахани. О Петербурге, как требовал Исполнительный комитет «Народной воли», или даже о Саратове просить было нельзя. Выбрали Астрахань. 15 мая 1883 г. благополучно прошла коронация, а 27 мая последовала резолюция министра внутренних дел на прошении сыновей: император выразил «предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в г. Астрахань, с тем чтобы по пути следования его не делалось ему каких-либо оваций», а министру юстиции Д.Н. Набокову велено сообщить «для окончательного доклада»⁴⁴. 6 июля Набоков доложил Александру III, и тот уже окончательно утвердил Астрахань как дальнейшее местопребывание Чернышевского, а также повелел «признать его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным по ст. 43 Улож. о Наказ., всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу». Иными словами, ему частично возвращались только права гражданства. Министр юстиции сообщил об этом решении Д.А. Толстому 10 июля в письме за № 1778⁴⁵. Соответствующий Указ Александра III министру внутренних дел датирован 15 июля 1883 г.⁴⁶ Тем же числом помечен указ Правительствующего сената, излагающий Высочайшее повеление⁴⁷. Тогда же в июле вице-директор Департамента министерства юстиции особым письмом к Г.А. Евреину распорядился: «Высочайшее повеление о смягчении участи государственного преступника Николая Чернышевского опубликованию не подлежит»⁴⁸.

В Иркутск отправили зашифрованную телеграмму, все нужные бумаги пошли и в Якутск. Приведем некоторые из важнейших для биографического исследования документов.

В телеграмме генерал-губернатора Восточной Сибири Д.Г. Анучина товарищу министра внутренних дел генерал-лейтенанту П.П. Оржевскому от 19 июля за № 2153 сообщалось, что в Вилюйск за Чернышевским «немедленно» отправлены два жандарма⁴⁹. В тот же день Д.Г. Анучин адресовал якутскому губернатору Г.Ф. Черняеву предписание, в котором, в частности, говорилось: «Самому Чернышевскому, а равно и вилюйским властям нет необходимости сообщать вполне последовавшее о Чернышевском Высочайшее повеление, а достаточно ограничиться объявлением, что преступник этот по Высочайшему соизволению возвращается в Европейскую Россию, в пункт, который местному начальству неизвестен. Весь

путь Чернышевского от Вилюйска до Якутска и далее до Иркутска должен быть совершен в полной тайне, без малейшей огласки имени пересылаемого преступника, которого прошу отправить не под его фамилией, а под № 5, приняв все зависящие меры к скорому и благополучному следованию его и к устранению всякой возможности для находящихся в области других государственных преступников узнать о его поездке, а тем более видеть его»⁵⁰.

В воспоминаниях помощника вилюйского исправника находим подробное описание объявления Чернышевскому распоряжения. Сначала в камеру пришел исправник Третьяков и, вероятно, точно следуя предписанию, известил его об отъезде, не раскрывая подробностей. Николай Гаврилович разволновался, потребовал объяснений, куда все же повезут, возникла ссора. Вскоре пришедший помощник исправника А.Г. Кокшарский разрядил обстановку, показав Чернышевскому документ. Прочитав бумагу и возвратив ее, он «сел на кровать, немного подумал и сказал: “Да, ошибку отца хочет поправить сын, но это поздно уж теперь”». По свидетельству жены унтер-офицера Щепина А.Л. Могилевой, Чернышевский, узнав новость, «начал плакать. То захохочет, то снова плачет! И начал он просить, чтоб его сейчас же везли. Муж стал уговаривать его уложиться, приготовиться к дороге и дать жандармам отдохнуть. Он согласился...»⁵¹

Точная дата прибытия в Вилюйск жандармов и документа от якутского губернатора — 21 августа 1883 г. В этот день во «Входящем журнале секретным бумагам Вилюйского окружного полицейского управления на 1883 год» под № 105 записано: «Предписание г. Губернатора от 12 августа об отправке № 5-го»⁵².

Способ отправления вызвал осложнения. Ехать верхом Чернышевский решительно отказался. Качалка, устраиваемая обычно в виде качелей между двух лошадей, тоже была отвергнута. Решили везти на санях по земле. Полицейское управление, как докладывал исправник своему губернатору, «вынуждено отправить в дровнях как в единственном способе его следования, на чем настаивал и сам Чернышевский». И далее П. Третьяков писал: «На случай же того, что при переезде через болота в дровнях он мог замочить платье и вымокнуть сам, снабжен он броднями колымской выделки вроде высоких сапог. Обувь эта взята в одолжение у одного из здешних жителей»⁵³.

23 августа прибывшим за Чернышевским жандармским унтер-офицерам Тимофею Шигорину и Ивану Мошкову окружной исправник П. Третьяков выдал расписку в том, что они «приняли от нас Чернышевского». На документе также подписи Г. Щепина и

двух местных казаков⁵⁴. На следующий день в четыре утра, чтобы избежать проводов⁵⁵, в сопровождении жандармов Чернышевского повезли из Вилюйска, который состарил его на одиннадцать лет семь месяцев и двадцать три дня, безжалостно поглотив лучшую пору жизни.

После отъезда Чернышевского вилюйский острог не оставался незаселенным, и, если бы не сама природа, долго бы ему служить утешением для непокорных. «...При весеннем разлитии реки Вилюя, — извещал якутского губернатора местный исправник в мае 1893 г., — ежегодно и значительно промывается берег и обрывается именно простое здание тюремного замка, в котором содержались ссыльнокаторжные да государственные преступники, так что означенное здание, построенное в 1865/6 годах на полуверстном расстоянии от берега, в настоящее время от онога на расстоянии всего на 10 сажен»⁵⁶. Вскоре река смыла берег с острогом, и тюрьма таким образом ненадолго пережила своего великого пленника.

Примечания

¹ Летопись. С. 344.

² *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 2. С. 501.

³ ЛН. Т. 67. С. 137.

⁴ *Шапов А.П.* Сочинения: В 2 т. СПб., 1906. Т. 2. С. 29.

⁵ ЛН. Т. 25–26. С. 558, 574.

⁶ Г.А. Лопатин. Сб. Пг., 1922. С. 87; *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 268.

⁷ *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 269.

⁸ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 11.

⁹ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 414.

¹⁰ См.: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 548. Л. 1–2.

¹¹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 183–185.

¹² ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 435.

¹³ Там же. Л. 437.

¹⁴ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. 1. С. 186–187.

¹⁵ *Неводов Ю.Б.* Примечания // Воспоминания (1959). Т. 2. С. 187.

¹⁶ Русское богатство. 1905. № 11–12. С. 170–173; *Кокосов В.Я.* Рассказы о Карийской каторге. СПб., 1907. С. 315–316.

¹⁷ Здесь и далее цитируем по изданию: Воспоминания (1982). С. 359–363.

¹⁸ ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1945. Д. 94. Л. 1–23.

¹⁹ ГАРФ. Ф. 109. I экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 452.

²⁰ ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1756. Д. 107. Л. 2.

- ²¹ *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 137.
- ²² НАРС. Ф. 23-и. Оп. 1. Д. 465. Л. 2–4.
- ²³ Там же. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 418.
- ²⁴ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 52, 231. См. также примечания: XV, 921.
- ²⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 235–237. Сохранившийся черновик прощения датирован 7 октября 1880 г. — РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 548. Л. 5–8.
- ²⁶ НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 26. Л. 4.
- ²⁷ Русская мысль. 1881. № 2. Внутреннее обозрение. С. 41.
- ²⁸ *Козьмин Б.* Около вопроса об амнистии Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1928. С. 321–323.
- ²⁹ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 237.
- ³⁰ *Тургенев И.С.* Письма. Т. XIII. Кн. 1. С. 45.
- ³¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 551. Л. 1.
- ³² Там же. Л. 3–5, 36.
- ³³ См.: Научная биография. (1859–1864), раздел «Главное обвинение».
- ³⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 548. Л. 26–26 об.; Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 210–235.
- ³⁵ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 237.
- ³⁶ См.: *Джавахишвили Г.Д.* Первые революционные «университеты» Нико Николадзе // Революционная ситуация. М., 1974. С. 164–173.
- ³⁷ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 261–263.
- ³⁸ *Глинка Ю.* Письмо в редакцию // Наша жизнь. 1904. 16 ноября. № 11.
- ³⁹ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 2–6; Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 153.
- ⁴⁰ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. XXXIII.
- ⁴¹ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 2.
- ⁴² Записки отдела рукописей Всес. библиотеч. им. В.И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 59.
- ⁴³ Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. 237.
- ⁴⁴ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 264; Чернышевский в Сибири (1913). Вып. III. С. XXXIII–XXXIV; *Стеклов Ю.* К истории «освобождения» Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 149, 154–155.
- ⁴⁵ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 156.
- ⁴⁶ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 12.
- ⁴⁷ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. Саратов, 1983. С. 269.

- ⁴⁸ РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 128. Л. 30–30 об.
- ⁴⁹ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 157 (с ошибкой в дате: 9 июля. Исправлено по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 15).
- ⁵⁰ *Романов И.М.* Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 217.
- ⁵¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 224, 239–240.
- ⁵² НАРС. Ф. 23-и. Оп. 6. Д. 15. Л. 5 об.
- ⁵³ Лит. наследие. Т. II. С. 590.
- ⁵⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 553. Л. 1.
- ⁵⁵ Летопись. С. 509.
- ⁵⁶ НАРС. Ф. 22-и. Оп. 6. Д. 7. Л. 1.

Глава третья Перевод в Астрахань

15. В пути

Главной заботой при отправлении Чернышевского из Сибири стало соблюдение «секретности перемещения». В своем рапорте по начальству якутский правитель Г.Ф. Черняев сообщал 27 августа 1883 г.: унтер-офицерам Мошкову и Шигорину своевременно приказано, «чтобы приезд с Чернышевским в Якутск приноровили в сумерки или вечером» и чтобы ехали, нигде не останавливаясь, прямо к губернаторскому дому. Так и сделали, и в очередном донесении губернатор с удовлетворением подтвердил: «2-го сего сентября, около 7 часов вечера, государственный преступник Николай Чернышевский доставлен ко мне в дом и в 9¹/₂ часа того же вечера отправлен далее в Иркутск»¹.

Спешили все, хотя и по разным причинам: облеченные генеральскими полномочиями — памятуя о строгих петербургских наказах и освобождаясь от хлопотного поднадзорного, жандармские унтер-офицеры — торопясь домой, «секретный арестант № 5» — покидая тюрьму. И когда случилась непредвиденная задержка на Мархинской станции в 470 верстах от Якутска (местный писарь Федоров и почтосодержатели Дмитрий и Михаил Евстихеевы продержали едущих пять часов, требуя документы на шитик), «преступник № 5», как извещали унтер-офицеры в рапорте от 8 сентября за № 10, вышел из терпения и потребовал отправить нарочного в Якутск для объяснений губернатору. Осмелившиеся произвести «незаконную задержку» были подвергнуты в октябре «строгому дознанию», а в конце ноября губернатор распорядился арестовать писаря на трое суток, а почтовым служащим объявить строгий выговор².

Весь водный путь вверх по Лене, преодолеваемый на большой крытой плоскодонной лодке (шитике), до станции Жигаловой был заранее определен генерал-губернатором Восточной Сибири. При этом предписывалось избегать остановок в населенных пунктах. Затем ехали в тарантасе до Иркутска, куда прибыли 28 сентября около трех часов ночи. Здесь Чернышевскому наконец объявили конечный пункт следования – Астрахань³. В «Летописи» отъезд из Иркутска датирован 29 сентября⁴. Между тем в телеграмме за № 3556, составленной и отправленной 28 сентября начальником Иркутского жандармского управления подполковником Келером на имя директора Департамента полиции, говорится: «Сегодня прибыл Иркутск Чернышевский и сегодня же в сопровождении двух жандармов отправился по назначению. Просит разрешить ему свидание с семейством в Саратове в жандармском управлении». На документе отметка В.К. Плеве о прочтении депеши 29 сентября⁵. На отдых у Чернышевского времени было совсем немного.

С двумя жандармами, но уже другими, его отправили «через Оренбург, Самару, Сызрань, Саратов» – по маршруту, сообщенному в Департамент полиции еще генерал-губернатором Восточной Сибири. Однако, получив предупредительное извещение, оренбургский губернатор М.И. Астафьев в телеграмме от 1 октября за № 34 решил предложить другой путь: из Оренбурга, минуя водные пути, по железным дорогам до Царицына «через Самару, Сызрань, Пензу, Моршанск, Рязск, Козлов, Грязи», а из Царицына до места – по почтовому тракту. В.К. Плеве не согласился с этим, как он выразился, «неудобным» маршрутом. «Нельзя ли отправить из Сызрани в Царицын прямо на почтовых чрез Саратов?» – запросил он Астафьева в телеграмме от 4 октября. Тот подчинился⁶.

В Оренбурге предстояла смена конвоиров, и местному губернатору приезд «секретного преступника № 5» доставил немало хлопот. Получив официальное секретное письмо В.К. Плеве о Чернышевском еще в начале сентября, генерал-лейтенант М.И. Астафьев направил начальнику Оренбургского губернского жандармского управления полковнику В.А. Дувингу (известному по службе в Иркутске) записку с просьбой «пожаловать завтра 9 сентября для объяснения к этому письму в 9¹/₂ часов утра». Объяснения, конечно, касались строжайшего соблюдения секретности, а также подбора надежных охранников, которым предстояло сопровождать Чернышевского до самой Астрахани. Назначены были жандармские унтер-офицеры Дибенков и Дмитриев⁷. В Оренбург Чернышевского доставили 19 октября, вероятно утром, потому что в письме Астафьева к Дувингу от того же числа, помимо распоряжения о присылке двух жандар-

мов, содержалась просьба «сегодня, часов в 12, пожаловать ко мне для окончательных объяснений по отправлению означенного лица с соблюдением всех мер предосторожности»⁸. Из Оренбурга до Сызрани, согласно приказанию В.К. Плеве, Чернышевского должны были отправить «в особом купе второго класса», а обоим унтер-офицерам были куплены билеты в третьем классе⁹ — сэкономили. По указанию того же Плеве для сопровождения секретного пассажира до Сызрани назначили железнодорожного жандармского унтер-офицера (фамилия для истории утеряна)¹⁰. 19 октября Астафьев послал в Петербург телеграмму за № 1484: «Сегодня вечером Чернышевский отправился в Астрахань. Убедительно просит дозволить ему повидаться с отцом в Саратове в течение нескольких часов. Прошу ответ телеграфировать Саратовскому губернатору». Плеве такое разрешение дал, отправив телеграмму саратовскому жандармскому полковнику П.И. Гусеву¹¹. Чернышевский, конечно, имел в виду отца семейства Пыпиных Николая Дмитриевича. 31 октября Плеве читал донесение жандармского капитана Эшенбаха из Сызрани: Чернышевский прибыл «20-го текущего октября месяца с поездом № 4 в 1½ час. вечера» и «в 9½ час. вечера того же числа» отправлен с тем же конвоем в Саратов. «При моем с ним свидании, — сообщал капитан, — никаких претензий объявлено мне не было»¹².

От Сызрани до Саратова ехали по обычным почтовым дорогам и прибыли 22 октября «в шесть часов вечера в жандармское управление, где виделся с женой и Пыпиной, и ночью выехал далее», как доложил полковник П.И. Гусев 23 октября 1883 г.¹³ На следующий день, 24 октября, после выполненного поручения встретить и проводить Чернышевского, полковник отправился в поездку с инспекционными целями¹⁴. Возможно, отложить эту поездку на некоторое время заставила его телеграмма о прибытии Чернышевского. Встретив Чернышевского в своем доме, Гусев тотчас же послал за его женой свою служанку, а затем ей же поручил привести Варвару Николаевну Пыпину (XV, 418). «Я встретила его молодцом, — писала Ольга Сократовна в Петербург на следующий день, — но что чувствовала тогда — того и не перескажешь. А Варенька страшно разрыдалась. Насилу уняли ее. А это на него могло подействовать нехорошо». Ольга Сократовна рассказывала впоследствии, что Варенька плакала и кричала «Николя! Что они с тобой сделали. Что они с тобой сделали!». «Я, — писала Ольга Сократовна далее, — все время старалась быть веселой. Пусть люди опять говорят, что я бесчувственная. Делаю так потому, что так нужно. <...> Само собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на перекладных (делая 230 и 240 верст в день). Скает день и ночь. Казался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом деле.

Движения его довольно порывисты, несколько взволнован, но довольно весел. <...> Никак не могла уговорить его остаться до 5 час. утра. Спешил, страшно спешил. “Покуда, говорит, сухо да тепло, голубочка, нужно доехать <...>”». Получили Пыпины в Петербурге и письмо от Варвары Николаевны. По ее словам, Ольга Сократовна торопилась на пароход, чтобы встретить мужа в Астрахани, и Николай Гаврилович некоторое время провел в разговорах с ней наедине. Он спрашивал сестру о родных, об отношениях с Ольгой Сократовной. «Странное дело любовь, — сказал он, — вот я уже старик, а по-прежнему люблю ее сильно». «У него мы пробыли часа два, — сообщила В.Н. Пыпина сестре. — Хотя нам и предлагали пробыть до утра, но О.С. решила лучше уехать. Н.Г. не удерживал, но только сказал, что если мы не останемся, то он едет тотчас дальше, и просил послать за лошадьми»¹⁵.

Примечания

- ¹ Романов И.М. Н.Г. Чернышевский в вилюйском заточении. С. 219, 222.
- ² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 619. Л. 28–30; Сибирский архив. 1912. № 8. С. 611; Летопись. С. 511, 512.
- ³ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 160–161.
- ⁴ Летопись. С. 511.
- ⁵ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 20; Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 162.
- ⁶ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 162.
- ⁷ ГАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 30. Л. 1, 10. См. также: *Прянишников М.* Писатели-классики в Оренбургском крае. Чкалов. 1946. С. 141–143.
- ⁸ *Десятирик П.* «Секретный преступник № 5» // Южный Урал (Оренбург). 1983. 30 октября.
- ⁹ ГАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 30. Л. 5.
- ¹⁰ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 163.
- ¹¹ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 33–34; Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 164.
- ¹² Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 165.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ ГАСО. Ф. 53. Оп. 4. Д. 2. Л. 48.
- ¹⁵ *Чернышевская-Быстрова Н.* Чернышевский после Сибири // Красная новь. 1928. Кн. 8. С. 171–175; Н.Г. Чернышевский в Саратове. Воспоминания современников / Составлено Н.М. Чернышевской. Саратов, 1930. С. 76.

16. По-прежнему под надзором

Астраханский период жизни Чернышевского основательно изучен. Выявлены основные официальные документы, вычерчивающие внешнюю «поднадзорную» сторону его биографии, определен круг общений и связанных с ними мемуарных свидетельств, установлены объемы и результаты творческих занятий¹. И все же считать эту тему исчерпанной не приходится. Тексты опубликованных документов нередко воспроизводились с ошибками и неточностями, к тому же состав документальных данных все еще подлежит пополнению за счет новых источниковедческих разысканий. Остается не вполне учтенной переписка Чернышевского тех лет – важный биографический источник. Наконец его высказывания и труды астраханского периода зачастую получают весьма различные толкования, что создает противоречивое представление о направленности взглядов писателя. Научно-биографическое исследование, опирающееся на критический анализ первоисточников, призвано, отнюдь не закрывая астраханской темы, по возможности уточнить фактическую документальную основу шестилетнего пребывания Чернышевского в этом городе и выяснить наиболее характерные черты его духовного и житейского облика.

Как показывают документы, Чернышевский по прибытии на указанное ему местожительство сразу попал под жесткий надзор, тщательно разработанный местными органами полицейско-жандармского сыска и контроля.

К его приезду тщательно подготовились. Соответствующие предупредительные распоряжения астраханским властям Департамент государственной полиции сделал в секретном предписании губернатору от 18 июля 1883 г. за № 2784. Здесь особо говорилось о «недопущении огласки прибытия Чернышевского в г. Астрахань» и о принятии мер к «предупреждению возможности нежелательных выражений сочувствия к нему и каких-либо беспорядков»². Спустя месяц (23 августа) из того же учреждения последовало наставление за № 3413 на имя начальника местного жандармского управления подполковника Н.А. Головина, аналогичную бумагу получил и губернатор. Эти документы известны исследователям³. Однако при цитировании опускается или остается непрокомментированным первый абзац, где объяснялось, что по прибытии «на место водворения» Чернышевский «должен быть подчинен обыкновенному полицейскому надзору без применения к нему правил Высочайше

утвержденного 12 марта 1882 г. Положения о полицейском надзоре»⁴. В новом «Положении»⁵ ставилась задача приготовления поднадзорного «путем его умиротворения к возвращению в общество» и считалось обязательным поощрение его к труду. Например, разрешалось заниматься «письмоводством в правительственных и общественных учреждениях» за исключением губернских правлений, полицейских учреждений и учебных заведений. На Чернышевского это разрешение не распространялось. Ему воспрещались также, что было существеннее, какие-либо отлучки с места жительства, хотя по «Положению» таковые предусматривались «в редких особо уважительных случаях» (смертельная болезнь ближайших родных, опасность разорения). В апреле 1885 г. губернатор нашел неудобноисполнимой просьбу Чернышевского сопровождать больную жену в ее предполагаемой поездке на Кавказ (XV, 524). И главное: регламентируемая «Положением» организация «обыкновенного» гласного надзора, под который попадал Чернышевский, не вполне годилась для наблюдения за столь «опасным государственным преступником». Поэтому директор Департамента полиции в том же от 23 августа обращении к астраханскому подчиненному сделал следующее специальное разъяснение: «...Но, ввиду особой важности самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в Астрахани по приезде Чернышевского лиц политически неблагонадежных, для которых личность его может послужить средством к осуществлению их преступных целей, я имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, принять меры к установлению особого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского, дабы иметь возможность предупредить могущие произойти беспорядки. О средствах и способах осуществления такого наблюдения Вам, милостивый государь, надлежит войти в соглашение с начальником губернии»⁶. Итак, положенный по закону «обыкновенный полицейский надзор» соединился с противоречащим законоположению «особо бдительным негласным наблюдением».

Астраханским губернатором в 1883 г. был генерал-майор Е.О. Янковский⁷. Однако с конца августа этого года всеми делами заправлял вице-губернатор Н.И. Жоховский, назначенный на эту должность 7 июля и вступивший в нее 12 августа 1883 г. (прибыл из Оренбурга). В его «Формулярном списке», датированном 14 декабря 1883 г., значилось: «За отъездом астраханского губернатора в С.-Петербург вступил в управление губернией 24 августа 1883 г., которую управляет и до настоящего времени»⁸.

Выполняя распоряжение о «недопущении огласки прибытия Чернышевского в г. Астрахань», Жоховский 17 октября отправил соответствующие циркуляры за № 528 и 529 в уездные города Черный Яр и Енотаевск. Черноморский исправник Романов телеграфировал 26 октября: «Означенный предписанием 17 октября 528 проследовал сегодня ночью благополучно». Тем же числом 26 октября исправник Журомский извещал: «Личность, поименованная предписанием Вашего Превосходительства № 529, выехала Енотаевска Астрахань сего числа 4 часа пополудни»⁹. Вдогонку этой телеграмме енотаевский исправник отправил вторую, удостоверяющую, что «случаев выражения к нему сочувствия и беспорядков не было»¹⁰.

Другой важнейшей заботой астраханской власти стала разработка системы надзора.

Поначалу Головин в письме к Жоховскому от 22 сентября 1883 г. за № 396 предлагал помимо обычного полицейского надзора, осуществляемого подведомственными жандармскому управлению чинами, принять «одного из расторопных и сметливых полицейских околоточных надзирателей, переодеть его в партикулярное платье, вменить ему в обязанность зорко следить за всеми лицами, могущими посещать Чернышевского, в особенности за приезжающими в Астрахань, и не будут ли происходить в его квартире или его знакомых какие-либо сборища». Жоховский познакомил с этим планом полицмейстера майора М.Ф. Инковского, но тот возразил: «Сверх комплектных околоточных нет, и город отпускает суммы на наем лишь на штатное число». К тому же «местный околоточный, будучи без формы, не в состоянии будет нести прямой своей обязанности». Инковский предложил негласное наблюдение «поручить особому агенту на средства, отпускаемые на этот предмет в г. Астрахани, кроме этого возложить наблюдение как на местного участкового пристава, так и на одного из сыскных чиновников, в моем распоряжении находящихся». Губернатор принял сторону полицмейстера, назвав в письме к Головину от 8 октября предложенные Инковским способы «целесоответственными»¹¹.

Не получая сведений из Астрахани, директор Департамента полиции в зашифрованной телеграмме от 10 октября потребовал поспешить с их доставлением и добавил, что необходимо «иметь особых негласных агентов» для предупреждения «попытки побега» и принять меры против возможного «бегства морем», изготовив по приезду Чернышевского его фотографические карточки, которые полагалось раздать полицейским чинам и жандармам¹². В черновике телеграммы часть текста вычеркнута: «Если пребывание его в Астрахани будет признано почему-либо неудобным, возбудите во-

прос о переводе в один из уездных городов»¹³. Исключенное место предшествовало приказам о фотокарточках и негласных агентах¹⁴, поэтому его смысл можно истолковать как намерение избежать лишних расходов на организацию надзора в городе, имеющем выход в море и за границу. Но пребывание Чернышевского в любом из городов всегда оставалось бы для местных властей «неудобным», и Плеве зачеркнул фразу, не желая, вероятно, создавать прецедента. Да и не существовало еще повода к ухудшению положения Чернышевского, переведя его из губернского города в уездный.

В донесении за № 427 от 12 октября Головин подробно объяснил своему петербургскому начальству, какой именно способ был им «проектирован» во исполнение письма за № 3413: предполагалось привлечение четырех человек – участкового пристава, специально нанятого «особого агента», одного из сыскных чиновников от полицмейстера и жандармского унтер-офицера. Эти меры подполковник находил недостаточными, но он предлагал остановиться на них «до поверки на практике». С получением же телеграммы от 10 октября и учитывая мнения полицмейстера и губернатора, избрательный Головин в пространном ответном письме обрисовал несколько иной способ «установления бдительного негласного наблюдения». Самым важным представляется здесь первый пункт, который приведем полностью: «Нанять трех агентов, из коих одного человека развитого привилегированного сословия, которого поместить на жительство, если не представится возможность в одном доме с Чернышевским, то в близком соседстве с его квартирою, и на него возложить негласный надзор за поступками поднадзорного, его знакомствами, занятиями, образом жизни и следить за лицами, его посещающими, обязав этого агента ежедневно утром и вечером (исключая экстренных случаев) о всем и замеченном за наблюдаемым докладывать мне и получать необходимые указания. Двух агентов из лиц низшего сословия, на коих возложить на время навигации надзор на пристанях всех обществ; а с прекращением пароходства обязать их посещать трактиры, ночлежные дома и другие притоны, следить за теми лицами, кои будут выражать сочувствие Чернышевскому, желание с ним познакомиться и вслушиваться в разговоры об нем, так как в г. Астрахани находятся поднадзорные и проживают освобожденные от него, которые иногда посещают различные публичные заведения, зарабатывая себе деньги писанием различных прошений желающим, не считая ночлежных домов, где находит себе приют всякий сброд, не имеющий даже письменных видов. Эти последние два агента будут полезны и в деле обнаружения лиц, скрывающихся от преследования». Предполагалось, что первый

агент будет знать двух других и получать от них сведения. Независимо от этих трех агентов обязаны были вести гласный надзор участковый пристав и сыскной чиновник, а негласный — унтер-офицер. На первых трех агентов подполковник испрашивал 150 рублей в месяц. Вопрос о деньгах оказывался решающим, и Головин указал на очевидную недостаточность ежегодно отпускаемых городу 1500 рублей для целей надзора. «Из остатков этой суммы предполагалось нанять одного агента для негласного надзора за Чернышевским с платою ему по 30 рублей в месяц», однако «такой один агент не сможет принести существенной пользы»¹⁵.

Ответ из Петербурга Головин получил только в середине ноября, когда Чернышевский уже жил в Астрахани. Плеве, ссылаясь на мнение товарища министра, который «не признал возможным однако предрешать вопроса о способах сего надзора», предложил еще раз обсудить все с губернатором. А пока было принято решение об отпуске астраханскому губернатору «для усиления кредита на сыскную часть» 250 рублей до конца года и 1500 рублей на будущий¹⁶. 10 декабря Жоховский подписал донесение в Петербург о согласии с планом Головина (найм трех агентов определен в 125 рублей в месяц), Головин же в свою очередь сообщил, что «негласное наблюдение» за Чернышевским «учреждено окончательно»¹⁷.

Задержка с утверждением предложений Головина, разумеется, не означала, что до декабря за Чернышевским не наблюдали. Тайную слежку жандармы начали сразу же, как только нога «секретного преступника № 5» коснулась астраханской земли. Это видно из донесения Головина в Петербург от 28 октября: Чернышевский доставлен в Астрахань около 10 часов утра «сухопутным трактом», а в 4 часа пополудни к нему «прибыла на пароходе общества “По Волге” его жена, и “по словам Чернышевского, жена прибыла в Астрахань для совместного с ним жительства”. <...> При приезде Чернышевского, а равно при встрече им жены, на паровой пристани любопытных не наблюдалось; все совершилось тихо, обыденным порядком. Чернышевские поместились пока в гостинице и намерены искать себе частную квартиру. Наблюдение установлено на полицейские средства»¹⁸. В другом донесении в Департамент полиции от 28 октября за № 465 Головин сообщал, что за Чернышевским «со дня прибытия 27 октября учреждено также негласное наблюдение»¹⁹.

Все время до прибытия парохода Чернышевский, как писал он А.Н. Пыпину, «провел на пристани» (XV, 405). Следить за ним полицмейстер поручил приставу 1 участка и агенту Баканову, которому также «вменено в обязанность периодически доставлять сведения о поднадзорном начальнику Астраханского губернского жан-

дармского управления»²⁰. По данным местного «Адрес-календаря» на 1883 г., приставом 1 участка числился А.В. Соколов²¹. Казалось бы, имя человека, получившего приказ осуществлять за Чернышевским полицейским надзор, теперь установлено. Однако все же данные «Адрес-календаря» нуждаются в дополнительной проверке, поскольку сведения для такого рода справочного издания обычно собирались по учреждениям в конце предыдущего года и они не учитывали происходивших изменений текущего года. Из сохранившегося в архиве «Формулярного списка» А.В. Соколова за 1884 г. явствует, что 17 июня 1883 г. он назначен приставом 2-го участка²². Того же 17 июня «для пользы службы перемещен на должность пристава 1-го участка» К.П. Погорелов, до этого являвшийся приставом 5-го участка²³ (таковым он показан и в «Адрес-календаре»). Константин Петрович Погорелов, следовательно, а не А.В. Соколов был 27 октября 1883 г. тем приставом 1-го участка, которому поручили полицейскую слежку за Чернышевским. Наблюдение длилось всего три дня, и с переездом Чернышевских из гостиницы Смирнова в дом Хачикова на Почтовой улице 2-го участка главный надзор стал заботой упомянутого Алексея Васильевича Соколова. 1 декабря Чернышевские заняли другую квартиру Хачикова в соседнем доме на той же Почтовой, но с выходом на улицу²⁴. С наблюдения за этим домом начала действовать в декабре детально разработанная властями система надзора.

В жандармском управлении стали накапливаться агентурные сведения, которые, без сомнения, представляют биографическую ценность. Однако точные фактические данные порою соединялись в них с разного рода слухами и предположениями ретивых соглядатаев, оправдывающих свое жалованье, и потому некоторые из агентурных документов требуют проверки. Обзор донесений за 1884—1887 гг. был напечатан в 1917 г.²⁵, и мы будем пользоваться этой публикацией.

В октябре 1883 г. Чернышевского сфотографировали. Это было сделано в фотографическом заведении С.И. Климашевской, существовавшем в Астрахани с 1876 г. Первоначально оно принадлежало астраханскому мещанину Л.В. Климашевскому, а с мая 1883 г. перешло «в собственность с личной ответственностью» к его жене согласно прошению обоих супругов. «Климашевская, — рапортовал полицмейстер Инковский губернатору 29 апреля 1883 г., — ни в чем предосудительном замечена не была, вращается большею частию в обществе лиц, принадлежащих к польской национальности, у которых состоит в большом уважении, под следствием и судом не состояла и не состоит; фотографическое заведение Климашевского,

передаваемое жене его, удобно для полицейского надзора»²⁶. По архивным данным, С.И. Климашевская выполняла различные заказы начальника жандармского управления и в 1887—1889 гг.²⁷ Жандармы вместе с карточками обычно забирали и негативы, был изъят негатив и после получения фотографий Чернышевского. Шесть карточек отправили 4 ноября в Петербург, двадцать четыре поступили в распоряжение губернатора «для снабжения таковыми полицейских чинов как в Астрахани, так и в уездах губернии». Однако в начале следующего года точно такие же карточки обнаружили в столице «у некоторых обвиняемых, привлеченных к дознаниям политического характера». Проверкой установили сохранность всех розданных астраханскими властями экземпляров²⁸. Тайна распространения запретной фотографии так и осталась неразгаданной. Со ссылкой на свидетельство астраханца И.К. Курдова Н.М. Чернышевская утверждала, что несколько отпечатков удалось сделать и утаить самому фотографу²⁹. Это указание не подкреплено источниками и остается недостаточно убедительным.

Ежегодно в Петербург по инстанции отсылались сведения о поведении Чернышевского. Все они с небольшими вариантами повторяли известную по сибирским донесениям фразу о соблюдении поднадзорным всех установленных правил. В 1883 г.: «Пока ни в чем предосудительном не замечен», в 1884: «Ведет себя отлично, ничего предосудительного не замечено»³⁰. И все же по истечении 1884 г. Жоховский в марте опять запросил на очередной срок 1500 рублей для наблюдения за Чернышевским в дополнение к обычно присылаемым средствам на общие цели сыска. На астраханском письме резолюция нового директора Департамента полиции И.Н. Дурново: «тратить из 500 рублей, выданных вообще на 1885 год». В официальном письме от 11 апреля 1885 г. так и сказано: «Расходы по установлению надзора за упомянутым государственным преступником должны быть впредь согласованы с средствами, имеющимися в Вашем, милостивый государь, распоряжении на сыскную часть». Еще не имея на руках этой бумаги, астраханский губернатор генерал-майор Н.М. Цеймерн (назначение на должность он получил 1 февраля 1884 г.)³¹ повторил запрос 19 апреля. Резолюция прежняя: «Кроме ассигнованных 500 руб. ему больше денег дано не будет»³².

Ввиду сокращения расходов на цели надзора губернатор справился у Головина и Инковского о порядке ведущегося наблюдения за Чернышевским и предложил высказать свои соображения о том, каким его следовало бы установить. Инковский информировал: за политическими поднадзорными в Астрахани, в том числе и за Чернышевским, ведут наблюдение три агента — один стар-

ший (чиновник) с жалованьем 65 рублей в месяц и два младших с ежемесячным вознаграждением по 30 рублей. Полицмейстер находил возможным оставить двух агентов — старшего и младшего. Головин был такого же мнения. «В усиленном наблюдении за государственным преступником Николаем Чернышевским, — писал он 26 апреля 1885 г., — в настоящее время по моему мнению особой надобности не представляется, но надзор за ним необходим в одинаковой мере с лицами, находящимися в г. Астрахани и подчиненными негласному полицейскому надзору. Имея в виду, что в г. Астрахани ныне находится поднадзорных с политическим прошлым: гласных 3 и негласных 6, я полагал бы необходимым иметь для наблюдения за ними, а вместе с тем и за Чернышевским, не менее 2-х агентов, тем более что во время навигации бывает временная прибыль негласных поднадзорных, приезжающих в г. Астрахань из других местностей, за которыми устанавливается наблюдение чрез тех же агентов»³³. Получив эти сведения, Цеймерн в письме в Петербург от 29 апреля буквально взмолился: с начала года надзор продолжался, уже выдано агентам 500 рублей, а для наблюдения за Чернышевским и другими политическими «необходим по крайней мере один надежный агент, которому требуется жалованье не менее 65 руб. в месяц». Губернатор просил дополнительно уже не 1500, а хотя бы 800 рублей. Резолюция: «600 руб.» В письме от 17 мая П.Н. Дурново пояснил: издержки по надзору за Чернышевским нужно отнести «на кредит в количестве 500 руб., отпущенный в нынешнем году астраханскому губернатору на сыскные надобности», а дополнительных 600 рублей «вполне будет достаточно» для покрытия расходов до конца текущего года. Цеймерн вынужден был подчиниться³⁴. 5 июня он известил своего полицмейстера об оставлении только одного агента³⁵ и поручил «озаботиться приисканием благонадежного лица для означенной цели с производством жалованья ему не более 65 руб.»³⁶.

Имена первых старших агентов, тайно приставленных к Чернышевскому в 1884—1885 гг., известны из опубликованной переписки губернатора с полицмейстером. Сначала это был чиновник губернского правления коллежский асессор Купфер. После перевода его в декабре 1884 г. на службу в Туркестанский телеграфный округ полицмейстер предложил в сыщики своего помощника Гродзкого. Но губернатор отклонил эту кандидатуру ввиду важности его текущих служебных обязанностей и руководителем наблюдения временно назначил участкового пристава. С января 1885 г. надзор осуществлял канцелярский служитель дворянин П.И. Тронковский, в июне того же года его сменил надворный советник Михельсон³⁷.

Дополнительно выясняется, что В.Г. Купфер был зачислен в штат полицмейстера еще 24 июня 1883 г.³⁸, и, вероятно, он еще до приезда Чернышевского выполнял поручения по надзору. П.Ф. Гродзкий так и не попал в список сыщиков, в 1888 г. он уже числился помощником Енотаевского уездного исправника³⁹. П.И. Тронковскому с 12 июля 1883 г. пришлось служить по протекции полицмейстера в губернском правлении, а в октябре того же года Инковский перевел его в свое ведомство исправляющим обязанности делопроизводителя 3-го стола⁴⁰. Надворный советник В.И. Михельсон служил старшим чиновником особых поручений при губернаторе. По делам канцелярии он проходил в 1884 г. как «наблюдающий за типографиями, литографиями и книжную торговлю», за фотографическими заведениями в городе, в том числе и за деятельностью С.И. Климашевской⁴¹. В рапорте Инковского от 20 марта 1884 г. названо имя одного из платных агентов — крестьянин г. Сенгилея Симбирской губернии И.С. Трубочиев⁴².

Сокращение в июне 1884 г. штата негласных соглядатаев, опекавших Чернышевского, не могло, с точки зрения астраханского начальства, не ослабить систему надзора. Однако и сами организаторы сыска все больше и больше убеждались в «непредосудительности» поведения поднадзорного и продолжали содержать своего агента скорее по обязанности, чем по необходимости.

В июне того же года случилось событие, вполне подтвердившее никчемность слежки за писателем. Полицейское ведомство получило донос с указанием на неблагонадежность Чернышевского, будто бы распространявшего «вредные идеи» на собраниях в своей квартире. У Чернышевских немедленно произвели обыск. В записной книжке Ольги Сократовны этот факт помечен 14 июня 1885 г.⁴³ Попытки биографов связать его с арестом Г.А. Лопатина 6 октября 1884 г. и вынашиваемым им новым планом вывезти Чернышевского из Астрахани⁴⁴ нельзя признать убедительными. Обыск, понятно, ничего не дал. После этого полицейские чины устроили автору доноса проверку на опознание, но тот не смог узнать Чернышевского среди показанных ему людей. «Прокурорская власть и лицо, заведующее полицейским надзором, — писал М.Н. Чернышевский в официальном протестном документе от 5 ноября 1885 г., — убедились в гнусном шантаже, в бесчестном и оскорбительном для моего отца извете лживого доносчика»⁴⁵, но «Николай Гаврилович по своей великой гуманности, — сообщал мемуарист, — не пожелал преследовать доносчика, великодушно простив его»⁴⁶.

В «Сведениях» о лицах, состоящих под негласным надзором с 1 июля 1885 г. по 1 января 1886 г., о Чернышевском говорится:

«Жизни скромной; при нем находится его жена; знакомых имеет мало, преимущественно из армянских семейств, которые иногда бывают у него»⁴⁷. В «Сведениях» за первое полугодие 1886 г.: «Жизнь ведет скромную: знакомых имеет незначительное число армян. Живет с женою». За второе полугодие: «Ведет себя скромно и прилично, ни в чем предосудительном замечен не был»⁴⁸. Подобные аттестации делали бессмысленным негласный надзор, и он в начале 1887 г. был снят. В Департаменте полиции приняли решение, что ходатайство астраханского губернатора от 22 декабря 1886 г. за № 444 об ассигновании ему 600 рублей на расходы по наблюдению за Чернышевским в следующем году «не заслуживает удовлетворения», так как в продолжении особого наблюдения через наемных агентов «необходимости не встречается». Об этом директор Департамента полиции Дурново сообщил Головину 24 января, а Цеймерну 31 января 1887 г.⁴⁹ В канцелярию губернатора документ поступил 12 февраля, и тогда же губернатор получил донесение Головина (от 11 февраля), подтверждающее пришедшее на имя начальника жандармского управления письмо из Петербурга⁵⁰. Оно было получено Головиным на неделю раньше, и в тот же день он распорядился снять негласный надзор, установленный за Чернышевским. Соответствующий доклад губернатору Головин сделал «лично», как он напомнил об этом Цеймерну в своем донесении от 11 февраля⁵¹. Дата снятия негласного наблюдения с Чернышевского засвидетельствована документом. Мы имеем в виду «Список» лиц, состоявших под негласным надзором в первой половине 1887 г., где фамилия Чернышевского сопровождается записью: «Надзор прекращен 3 февраля 1887 года»⁵². Между прочим, получив этот «Список» в июле этого года, полковник Головин, увидев там фамилию Чернышевского, счел нужным указать полицмейстеру, подавшему этот «Список», что писатель «состоит под гласным надзором полиции»⁵³.

Последующие официальные характеристики поведения Чернышевского напоминали все прежние. Так, в «Аттестации», содержащей отзывы полицмейстера и губернатора, значится: «Поведения хорошего» (губернатор в 1887 г.), «Ведет себя отлично и ни в чем предосудительном замечен не был» (полицмейстер в 1888 г.), «Ведет себя безукоризненно, занимается переводом “Всеобщей истории” Вебера» (губернатор в 1888 г.)⁵⁴. Однако повлиять на отмену гласного надзора эти аттестации не могли. Он, как указывалось во всех без исключения официальных документах о Чернышевском, устанавливался для него «без срока».

Примечания

- ¹ Основные работы: *Ерьмовский К.И.* Чернышевский в Астрахани. Астрахань, 1952; *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978; *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. Саратов, 1983.
- ² ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 14–14 об.
- ³ См.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 165; *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 271.
- ⁴ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 940. Л. 1 об.
- ⁵ ГАСО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–4.
- ⁶ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 1. об. – 2. Подлинник документа находится в астраханском «Деле» Чернышевского – ГААО. Ф. I. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 3. Текст частично приведен в указанных книгах Н.С. Травушкина (С. 165) и А.Ф. Мартынова (С. 23–24).
- ⁷ Адрес-календарь Астраханской губернии на 1883 год. С. 27.
- ⁸ ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 52031. Л. 50 об.
- ⁹ Там же. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 18–21; *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 165.
- ¹⁰ ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 31.
- ¹¹ Там же. Л. 8, 14, 17.
- ¹² *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 268.
- ¹³ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 174–175.
- ¹⁴ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 3.
- ¹⁵ Там же. Л. 4–7.
- ¹⁶ Там же. Л. 10, 11.
- ¹⁷ Там же. Л. 16, 17, 21.
- ¹⁸ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 269. Текст уточнен по первоисточнику: ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 12.
- ¹⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 555. Л. 1.
- ²⁰ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 269.
- ²¹ Адрес-календарь Астраханской губернии на 1883 год. С. 41.
- ²² ГААО. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1176. Л. 39–46.
- ²³ Там же. Л. 31–38.
- ²⁴ Летопись. С. 515, 519.
- ²⁵ *Виноградов К.* Н.Г. Чернышевский в Астрахани (Материалы к биографии из архива Астраханского Губернского Жандармско-

- го Управления) // *Голос минувшего*. 1917. № 7–8. С. 193–197. В дальнейшем данные приводятся по этому источнику без указаний на него.
- ²⁶ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7. 1883 г. Л. 10–11, 29.
- ²⁷ ГААО. Ф. 286. Оп. 1. Д. 158. Л. 3; Оп. 2. Д. 41. Л. 5–6, 25.
- ²⁸ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 175–176.
- ²⁹ *Чернышевская Н.* Из рассказов о Чернышевском / Вступление А. Вознесенской // *Волга*. 1971. № 10. С. 177.
- ³⁰ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 273, 275.
- ³¹ ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 52673.
- ³² ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 38–40.
- ³³ ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 78–79; *Ерымовский К.И.* Чернышевский в Астрахани. Астрахань, 1952. С. 162.
- ³⁴ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 38–45.
- ³⁵ ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 85–86.
- ³⁶ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 26–27.
- ³⁷ Там же. С. 274–276.
- ³⁸ ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 51991. Л. 3, 7.
- ³⁹ Там же. Д. 52707. Л. 1–5.
- ⁴⁰ Там же. Д. 51991. Л. 8–11.
- ⁴¹ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 42. 1884 г. Л. 1. об.; Д. 7. 1883 г. Л. 32 об. – 33.
- ⁴² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 555. Л. 2.
- ⁴³ *Летопись*. С. 549.
- ⁴⁴ *Травушкин Н.С.* Н.Г. Чернышевский и революционное подполье 80-х годов // *Освободительное движение в России*. Саратов, 1975. Вып. 5. С. 54–56.
- ⁴⁵ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 177.
- ⁴⁶ *Воспоминания* (1982). С. 397.
- ⁴⁷ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 276.
- ⁴⁸ ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 29. Л. 101 об.; Д. 33. Л. 4.
- ⁴⁹ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 51, 52.
- ⁵⁰ ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 89, 90.
- ⁵¹ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 277.
- ⁵² ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 13. 1887 г. Л. 2 об.
- ⁵³ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 277. Звание полковника Н.А. Головин получил весной 1887 г.
- ⁵⁴ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 28. 1888 г. Л. 204.

17. В семье

Возвращение из Сибири Чернышевский связывал прежде всего с выполнением своих семейных обязательств главного и постоянно кормильца. Он чувствовал себя в долгу перед А.Н. Пыпиным и П.И. Боковым, материально поддерживавшими многие годы Ольгу Сократовну и детей. Снять с них эту заботу, попытаться самому зарабатывать и по возможности приобщить к своей работе сыновей, тем самым воспитывая их, — в этом Чернышевский находил в первые месяцы астраханской жизни смысл своих поступков.

1 ноября 1883 г. приехали сыновья Александр и Михаил. Сообщая об этом директору Департамента полиции, подполковник Головин писал об их сроке пребывания до 15 ноября и о представленных ими документах выпускника университета и студента¹. В письме к А.Н. Пыпину от 4 ноября Чернышевский говорил о желании поселить их у себя, хотя и понимал неосуществимость этого варианта в настоящий момент: зарабатывать он мог только литературным трудом, осуществление которого замедлялось и замедлялось. «Все эти дни прошли у меня в разговорах с детьми», — писал он брату 7 ноября, а месяц спустя признался: «Мое знакомство с моими детьми еще очень слабо. Они приехали сюда людьми совершенно “незнакомыми” мне» (XV, 406, 428).

Последний раз семья Чернышевских собиралась вместе накануне отъезда Ольги Сократовны с сыновьями в Саратов 3 июля 1862 г. Прошел двадцать один год. Старшему исполнилось двадцать девять, младшему — двадцать четыре. Но оба еще не определились в жизни и, полагал отец, нуждались в его советах. Он ошибся. Жить с родителями в Астрахани не пожелали ни тот ни другой. Близких семейных отношений не возникло, и оба уехали на неделю раньше — 9 ноября². Не случайно на вопрос, заданный М.Н. Чернышевскому много лет спустя профессором Б.М. Соколовым при осмотре музея в Саратове, какой же была первая встреча с отцом, тот ответил скупой: «Были слезы... целый потоп» — «и сейчас же перешел к другим предметам разговора»³.

Судьба практичного Миши не особенно беспокоила родителей, однако будущее старшего сына внушало серьезную тревогу. Расплывчатость его представлений о жизненных планах, романтичность характера, безвольность, болезненное состояние, требующее постоянного ухода и внимания, раздражали Ольгу Сократовну, отношение которой к детям во многом определяло и мнение Чер-

нышевского. 14 ноября 1883 г. он писал В.Н. Пыпиной: «Мишу хвалит Оленька, потому мне нет необходимости изображать его в похвальном виде. Сашею она не чрезмерно восхищается; и я полагаю, что никто из родных не находит возможности быть в восторге от него; не находишь этого возможным даже ты, при всем безграничном влечении твоём любить твоих родных». Подчеркивая в старшем сыне черты, которые явились следствием «нелепых понятий и стремлений», Чернышевский все же надеялся на его «здравый смысл» и «доброе, честное сердце». В отцовском порыве он отзывчив и снисходителен. «Еще возможно ему устроить свою жизнь разумным и в денежном отношении недурным способом», — уверял он свою двоюродную сестру (XV, 410). О намерении привязать Сашу к Астрахани Чернышевский сообщал почти во всех своих письмах к нему в течение последних месяцев года. Наконец 27 декабря написал А.Н. Пыпину, что «Саша приехал третьего дня» (XV, 439). Однако в отношениях родителей с сыном продолжала сказываться напряженность, в основном, вероятно, вызываемая поведением Ольги Сократовны, и А.Н. Пыпин посчитал нужным вступить за Сашу. «Мне кажется, — писал он 7 марта 1884 г., — несправедливым отягощать его в такой мере упреками за свойства характера, в которых он не сам один виноват. <...> Саша не виноват, что он родился человеком рассеянным, с фантазией, непрактичным. <...> Денег он не нажил, но он нажил то, что мне нравится в нем больше, чем если б он стал черствым богачом: он нажил чистую, честную душу, глубокую правдивость, благородный идеализм. <...> Надо оценить его лучшие стороны, — и стороны действительно есть прекрасные»⁴. О «добром, честном сердце» сына писал и отец, и потому слова Пыпина, нужно думать, больше адресовались Ольге Сократовне.

Настаивала Ольга Сократовна, да и сама жизнь так складывалась в первый послевиллюйский год, что следовало принимать в расчет прежде всего материальную сторону, и отец настойчиво внушал сыну мысль о необходимости зарабатывать «на кусок хлеба». Недолгое время Саша выполнял у него обязанности литературного секретаря, пишущего под диктовку. В апреле поступил на службу к астраханскому торговцу нефтепродуктами Нобелю. Причастным к этому устройству оказался посетивший Чернышевского 19 апреля служащий конторы Нобеля В.Г. Веймарн, имя которого сохранили следившие за квартирой полицейские агенты. Однако спустя два месяца был уволен за то, что вернулся с полдороги, бросив сопровождаемый груз (XV, 466). «Я теряю надежду, что Саша когда-нибудь образумится», — сообщал Чернышевский А.Н. Пыпину (XV, 464). После этого случая последовала кратковременная служба в конторе

пароходного общества «Лебедь», затем он снова по настоянию отца принялся писать под диктовку (XV, 468), в августе же уехал в столицу, заверив, что будет искать место домашнего учителя. В сентябре с семьей крупного железнодорожного чиновника Голубева он отправился за границу, но вскоре заболел и в декабре вернулся в Петербург. Отец мягок с ним, жалостлив, поддерживает склонность к поэзии, однако в письме к А.Н. Пыпину, нужно думать, под влиянием Ольги Сократовны, вновь прорывается досада по поводу затянувшегося «младенчества» тридцатилетнего мужчины. «Мне кажется, что когда твоя материальная жизнь устроится прочно и хорошо, это благоприятным образом повлияет и на деятельность идеальных влечений твоей натуры», — писал Чернышевский сыну 5 марта 1885 г. в день его рождения (XV, 518), а Ольга Сократовна приписала: «Сегодня Вам минуло 31 год, Александр Николаевич. Пора, давно пора выбросить все Ваши дикие фантазии из головы и приняться за дело посерьезнее»⁵.

Организовать свои материальные дела и заняться собственным здоровьем Саша так и не сумел. В мае 1885 г. он, по свидетельству его брата, решил полечиться, расставшись, например, с курением, перестал пить, «и опять из этого произошли бессонные ночи и расстройство нервов», — сообщал М.Н. Чернышевский отцу 1 июня⁶. Два летних месяца этого года Саша провел в специальной клинике для душевнобольных⁷.

В мае 1886 г., когда Чернышевский стал получать твердый заработок, он решил посылать старшему сыну 400 рублей в год, опасаясь, впрочем, что подобные выплаты уничтожат «хотя ту маленькую склонность к приобретению куска хлеба трудом, надобным для других, какую имеет теперь». Он все более утверждался в мысли «собрать хоть маленькое обеспечение для Оленьки и для бедного Саши» (XV, 571). Но отношение к сыну по-прежнему осложнялось чувствами Ольги Сократовны, не скрывавшей своего недовольства Сашей. По свидетельству внучки Ольги Сократовны М.М. Чернышевской, она не любила его⁸. «Он неспособен к работе, потому что болен; он не виноват, болезнь его виновата в его неспособности жить своим трудом», — убеждал Чернышевский жену, которая виделась с Сашей в Петербурге летом 1886 г. (XV, 586). Была еще одна неудачная попытка пригласить сына в Астрахань жить, хотя бы и на «особой квартире» (XV, 593). В следующий раз этот вопрос обсуждался в июле 1888 г. Условия те же: жить отдельно и бывать у родителей лишь по приглашению — «с таким, каков он был в прежние приезды, я не могу ужиться с ним». «Относительно Саши, — заверял Чернышевский Ольгу Сократовну, — все твои мысли, разумеет-

ся, и мои» (XV, 711, 733). Саше отсылались 50 рублей в месяц, а с 1888 г. — 40 рублей. В начале 1889 г. отец снова посоветовал ему серьезно заняться каким-нибудь делом, чтобы иметь твердый заработок: «...Ищи себе службы. Нашедши, держись ее, отбрось желание управлять людьми, дающими тебе жалованье; они нуждаются не в менторах, а в исполнителях их поручений» (XV, 815). Исполнить желание родителей их старший сын не мог. Усилилась его болезненная сосредоточенность на собственных переживаниях, он делался неуживчивым. Даже А.Н. Пыпин в письме к Чернышевскому от 14 января 1889 г. осторожно и мягко посетовал, что Саша «не умеет управляться с деньгами», часто берет в долг⁹. Подробно о его состоянии написала В.Н. Пыпина 19 декабря (вероятно, 1888 г.): «Он такой нервный и странный человек, что трудно решить, что и как может на него подействовать, он очень дорожит хорошим мнением о нем и вместе с тем так преисполнен самолюбием и самомнением, что часто оскорбляется и видит оскорбления там, где казалось бы можно видеть одно доброжелательство». О своей дальнейшей участи он, по словам В.Н. Пыпиной, как будто и не помышляет, между тем «ему уже давно за тридцать», и ему «кажется, пора было бы наскучить жизнью тунеядца, а всякий намек о приискании дела его только раздражает, он одно твердит, что был бы рад всякому делу, которое можно делать дома, и всякое занятие вне дома для него невозможно, прежде оно так и было, его несчастная страсть мешала, а теперь, когда запой у него бывает редко, можно было бы служить кое-как, но он так одичал, отошел от людей и от жизни, что для него невыносимо что-либо предпринять. Что же касается до его рассудительности, которую заметила в нем Ол. Сократ., то, если она приписывает рассудительности более умеренное питье, то, по-моему, причина скорей та, что организм уже не выдерживает и поневоле заставляет пить меньше, а сам он вряд ли бы стал умеренным. Совсем не пить он не может, каждый день две рюмки водки он выпивает в определенный час, и это ему так же необходимо, как пища. Вот суди сам, — обращалась она к Чернышевскому, — писать ли ему, стоит ли тратить слова с подобным господином, будет ли он в состоянии оценить советы и участие к нему»¹⁰. И это писала Варвара Николаевна, заслужившая в обеих семьях (Чернышевских и Пыпиных) репутацию самого сдержанного, благожелательного человека, предельно самоотверженного. Но отец послал-таки сыну еще одно увещательное письмо в ответ на высказанные Сашей обиды на мать. «Не поддавайтесь относительно меня, — писал он отцу 19 января 1889 г., — каким-либо сколько-нибудь угнетающим впечатлениям, тем более если эти впечатления не непосредственно

Ваши собственные, милый Папаша»¹¹. «Итак, — отвечал Чернышевский 11 февраля, пересказывая написанное сыном, — оставляю тебя считать твою мать врагом тебе, меня — слепым орудием ее вражды к тебе; пусть все это и будет так, пока не рассудишь ты, что я и твоя мать желаю тебе добра» (XV, 821). И больше в своих письмах к уезжавшей на отдых жене он вплоть до отъезда из Астрахани о Саше не упоминал.

Младший сын держал себя иначе, очень скоро освободив родителей от материальной опеки над собой. Университета он так и не окончил, намерение пойти по медицинской части, одно время владевшее им, также оказалось неосуществленным. В августе 1884 г. Чернышевский попросил Н.Я. Николадзе устроить сына «к делам г. Палашковского», которого ему рекомендовал А.В. Захарьин (XV, 470). С.Е. Палашковский служил инженером в правлении Закавказской железной дороги, и очень скоро Михаил получил там место. В 1885 г. он женился на Елене Матвеевне, дочери состоятельного чиновника¹². «Службою своею я доволен, — писал он отцу 25 ноября этого года. — Во всяком случае у меня есть так называемая “будущность”, имея в виду материальную обеспеченность. — Живем хоть и скромно, но ни в чем не нуждаемся и можем даже доставлять себе удовольствие и, говоря Вашими словами, “покупать сардинки”»¹³. Напряженной интеллектуальной работой он себя не обременял, литературным даром не был наделен. «Мне как-то трудно писать письма — писательский талант (писание писем тоже своего рода талант) как-то не дается мне», — признался он однажды¹⁴.

Чернышевский не навязывал своему младшему сыну деятельности, ему чуждой, предоставляя полное право выбора. Постоянным лишь оставался совет быть самостоятельнее и заботиться о твердом заработке. «Очень радуешь ты меня тем, что оказываешься человеком, способным порядочно устроить свою жизнь», — писал Чернышевский 4 мая 1885 г. Елене Матвеевне он находил время отправлять коротенькие подбадривающие записки, неизменно желая молодым супругам «жить счастливо» (XV, 462, 527, 551). Приезд обоих в Астрахань, рождение летом 1886 г. внука Володи придали взаимоотношениям ровную доброжелательность, участливость.

Как и в Петербурге в прежние годы, но теперь еще в большей степени образ жизни Чернышевского складывался под исключительным влиянием жены. Все бытовые подробности, отношения к детям и родственникам, круг знакомых и вообще ход жизни каждого дня определялись ею и только ею. Чернышевский не только не перечил ей ни в чем, но все свои нравственные силы сознательно сосредоточил на служении ей, выполнении ее желаний, а зачастую

просто капризов и прихотей. У нее фатально не складывались отношения с квартирными хозяевами, и за шесть лет Чернышевские сменили семь адресов. Она решала, кому он должен надписать или подарить без автографа очередной том переводимой им «Всеобщей истории» Г. Вебера. По ее слову начинались или рвались прочно налаженные знакомства. Единственная область жизни мужа, в которую она не вмешивалась, — его творческая работа, приносящая заработок. «Ольга Сократовна никогда не спрашивает о том, что я пишу», — объяснял он в конце 1884 г. А.В. Захарьину (XV, 494).

Она с трудом, нетерпеливо переносила тяготы астраханской жизни, особенно первых двух лет. Ее письма переполнены жалобами на нездоровье и неустроенность. И даже в конце 1885 г., когда материальное положение семьи стало заметно улучшаться, она писала О.А. Чернышевской: «...Живется тяжело. А уж тяжело так, как не дай Господи»¹⁵.

Чернышевский понимал, как непросто было ей привыкнуть к нему после стольких лет разлуки. Некоторое время давали себя знать «вилуйские» привычки разговаривать с собою вслух, бодрствовать далеко за полночь, не обращать внимания на многие бытовые мелочи, неизбежно проявляющиеся в совместной семейной жизни. А.Н. Чернышевский, например, сообщал Е.Н. Пыпиной в январе 1884 г.: «Здоровье Папаши теперь вообще лучше, чем прежде, и спит лучше, и питается. <...> Он сам как-то сказал: “Начаюсь есть по-человечески”. Но остается, разумеется, известная нервная впечатлительность в усиленной степени»¹⁶. Чернышевский старался перебороть себя, был в высшей степени внимательным к малейшим нюансам в поведении жены. «Измучена многолетними страданиями твоя мамаша, измучена, бедная», — говорил он младшему сыну (XV, 442). Для поправления ее здоровья он, несмотря на еще стесненные денежные обстоятельства, намечает ей поездку на Кавказ и готов сам сопровождать ее. За разрешением он 3 апреля 1885 г. ходил к губернатору Н.М. Цеймерну лично, попутно выясняя для себя степень строгости установленного надзора. Губернатор нашел просьбу в настоящий момент неисполнимой (XV, 522, 524, 938)¹⁷. Заботливостью, нежностью, безграничной, трогательной любовью пронизаны его письма к жене, каждое лето уезжавшей из Астрахани к детям и знакомым врачам. «Без тебя я — ничто», «живу только мыслями о тебе» (XV, 477, 543), — подобными признаниями переполнены обращения к ней. Невесте своего младшего сына он написал в октябре 1884 г.: «Моя жизнь состоит лишь в том, чтобы жить ее жизнью» (XV, 483). Все, что мы знаем о Чернышевском по этим последним годам его жизни, подтверждает приведенные сло-

ва. Выполняя летом 1887 г. поручение Ольги Сократовны подыскать во время ее отсутствия новую квартиру, он сообщает, что нашел две подходящие, но обе на втором этаже — «лестница каждой имеет около 25 ступеней. Это тяжело для твоих ножек» (XV, 645). В расчете поднять настроение супруги он посылает подробные отчеты о ее любимых кошках, оставленных на его попечение (XV, 472, 566, 567). Ее отъезды неблагоприятно отражались на его работе. «До получения твоей телеграммы, — писал он, например, в 1885 г., — работа у меня шла очень плохо: я был слишком озабочен мыслями о том, не будут ли тяжелы для тебя неудобства каюты» (XV, 534). От ее настроения и ее отношения к нему зависело все его существование. Его обожание доходило до полного самозабвения. В день своего шестидесятилетия (12 июля 1888 г.) он ни словом не обмолвился по этому поводу ни в одном из писем, посланных накануне или после этой даты. Ольга Сократовна, отдыхавшая в то лето в Липецке, поздравила его короткой строкой в письме от 7 июля и телеграммой: «Поздравляю со рождением. Целую. Здорова. Чернышевская»¹⁸. Любопытно, что именно 12 июля она писала мужу очередное письмо, и оно сплошь посвящено рассказу о предыдущем дне, дне ее именин, принесшем «большое отдохновение»: была на загородной прогулке, в театре¹⁹.

Упоминанию в этой связи подлежит инцидент, происшедший в конце 1888 г. Уже более трех лет Чернышевские жили безбедно, благодаря получаемой от К.Т. Солдатенкова платы за перевод «Всеобщей истории» Г. Вебера. Бывали месяцы, когда Чернышевский получал до тысячи или даже полутора тысяч рублей (см.: XV, 608, 620, 648, 658, 665). Почти все деньги уходили по желанию самого Николая Гавриловича на летние поездки его жены. И вдруг в середине ноября 1888 г. пришло извещение от И.И. Барышева, заведовавшего изданиями Солдатенкова, извещение об изменении прежнего порядка выплаты гонораров, которые отныне решено присылать раз в месяц по 250 рублей в определенное число. Чернышевский безропотно согласился с постановлением издательской фирмы (XV, 758), но недоумение в связи с неожиданностью решения все же оставалось, пока не пришло от А.В. Захарьина письмо от 23 ноября. Отношения Чернышевского с Захарьиным, много сделавшим для него в трудные астраханские годы и устроившим, в частности, перевод «Всеобщей истории» Г. Вебера, были самыми дружественными. «Благодарю Вас за неутомимую любовь, с какою заботитесь Вы о моих делах», — писал ему Чернышевский в мае 1885 г. (XV, 526). В письме к младшему сыну от 17 октября 1888 г. он поделился своими впечатлениями от только что состоявшегося свидания с Александром Васильевичем, закончив письмо словами: «Я сильно люб-

лю его» (XV, 752). 23 ноября Захарьин писал по-немецки с целью скрыть от Ольги Сократовны содержание сообщаемого, но по ее требованию Чернышевский перевел текст, и драматическая развязка наступила немедленно. Объяснения Захарьина клонились к тому, что он посчитал нужным вмешаться в бесконтрольное расходование Ольгой Сократовной крупных денежных сумм, и он посоветовал Солдатенкову ограничить денежные высылки Чернышевскому и тем способствовать некоторому накоплению денег «отчасти для уплаты долгов прежнего времени, отчасти для образования фонда, который мог бы в случае надобности поддержать Ольгу Сократовну в будущем»²⁰. С Ольгой Сократовной случился истерический психоз. Его последствием стала прощальная записка, в которой она сделала ряд предсмертных распоряжений о немедленном вызове священника для исповеди, о покупке савана и другой одежды для похорон, о погребении в Саратове. Впоследствии найдя эту злополучную записку в семейном архиве, М.Н. Чернышевский приписал на ней: «Это, вероятно, относится к концу 1888 г., когда произошла история с Захар<ыным>. Конечно, прочитав такую записку, отец, что называется, полез на стену»²¹. Единственным средством сколько-нибудь успокоить Ольгу Сократовну было немедленно порвать, как в сибирской «пыпинской» истории 1875 г., с ее обидчиками, людьми, оказавшимися причастными, по выражению Чернышевского, к «клеветам на нее». Прежде всего он прекратил всякие отношения с А.В. Захарьиным. Жертвой также оказался ни о чем не подозревавший К.Т. Солдатенков, в письме к которому Чернышевский резко выговорил за то, что тот доверился Захарьину, этому «полусумасшедшему пьянице», говорящему «нелепицу с примесью гнусной клеветы» (XV, 761). Высказанные Солдатенкову упреки, и Чернышевский понимал это, совершенно безосновательны. Ведь Чернышевский сам однажды признался в одном из своих писем в Москву, что тратит деньги (разумеется, не он, а его жена) «безрасчетно и безрассудно» (XV, 651). Но он, как выразился впоследствии его сын, «полез на стену». В ответном письме Солдатенков предложил «забыть случайное недоразумение, происшедшее по вине г. Захарьина» и выразил готовность высылать деньги в дни и количестве, которые установит сам Чернышевский²². В свою очередь Николай Гаврилович тут же повинился перед издателем, «но, — писал он 8 декабря, — по обязанности, мотивы которой я не имею права открывать Вам ли, или кому бы то ни было, хотя бы ближайшим родным моим, я должен был сделать так. Мне было тяжело выказывать себя перед Вами несправедливым, неблагодарным и злым, но того требовала от меня обязанность более важная, нежели мое нежелание выказывать себя перед Вами дурным

человеком. Я исполнил ее» (XV, 769). «Мотивы» – поведение и требования Ольги Сократовны, и Чернышевский позднее, 26 декабря того же года, объяснил это Солдатенкову: «...Всякое другое средство было бы недостаточно для такого смягчения неотвратимой болезни своей жены, чтоб болезнь могла быть вынесена ею, женщиною ослабевшего здоровья» (XV, 789).

Отношения с издателями-кредиторами наладились, О.С. Чернышевская снова получила возможность тратить деньги по своему усмотрению. Отправляя жену в апреле 1889 г. на пароходе в очередную поездку, Чернышевский особо оговорил с И.И. Барышевым условия, по которым она сама могла обращаться за деньгами в контору Солдатенкова. «Прошу Вас, – писал он 28 апреля, – считать ее просьбы более важными, чем мои личные» (XV, 846).

Случившееся не могло не отразиться на здоровье Чернышевского. Конечно, определенное отрицательное воздействие оказывала резкая перемена климата. Нелегко было выдерживать «тяжелый зной» летом (XV, 581), несколько дней в сентябре чувствовал себя плохо²³, в 1888 г. перенес приступы лихорадки (XV, 671). Но подолгу ни разу не болел, и серьезных опасений состояние его здоровья не вызывало. Сильнее действовали нравственные страдания, вызванные условиями надзора и запрещением активного литературного труда. И, конечно, значительными душевными переживаниями сопровождались семейные сцены, связанные с резкими перепадами настроения у Ольги Сократовны, усилением ее истеричности²⁴. «В последние два года, – сообщал Чернышевский врачу П.И. Боккову в Москву 8 мая 1886 г., – раз пять или шесть бывали у нее такие сильные пароксизмы какого-то нервического расстройства, что она казалась умирающей» (XV, 669). Однако события ноября 1888 г. потребовали от него особого напряжения. Тяжким грузом легла на сердце обязанность разорвать отношения с людьми, благодаря которым он получил наконец работу и возможность содержать семью. И все же другой Ольга Сократовна не могла быть. Она вела себя так, как умела, не всегда задумываясь о высокой цене душевных усилий, затрачиваемых ее мужем. Все покрывалось его редкостной, бескорыстной, безграничной, всепрощающей любовью к ней.

Примечания

¹ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 13.

² Там же. Л. 15.

³ *Чернышевская Н.М.* Семья Чернышевского. Саратов, 1980. С. 64.

- ⁴ Лит. наследие. Т. III. С. 548–549.
- ⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 424. Л. 77.
- ⁶ Там же. Д. 497. Л. 50.
- ⁷ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 178.
- ⁸ *Чернышевская Марианна*. Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской // Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1928. С. 211.
- ⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 466. Л. 88 об.
- ¹⁰ Там же. Д. 469. Л. 23–24.
- ¹¹ Там же. Д. 494. Л. 44.
- ¹² Там же. Д. 422. Л. 69. На письме отца от 14 июля (XV, 546) его пометка: «Наша свадьба 5 июля 1885 г.».
- ¹³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 53 об.
- ¹⁴ Там же. Л. 59 об. Письмо от 28 ноября 1887 г.
- ¹⁵ Там же. Д. 419. Л. 2.
- ¹⁶ Летопись. С. 528.
- ¹⁷ В мемуарной литературе (см.: Исторический вестник. 1905. № 12. С. 890; 1906. № 1. С. 202–203) ошибочно указывалось, что это был Л.Д. Вяземский. Между тем он приступил к управлению Астраханской губернией только в 1888 г.
- ¹⁸ Лит. наследие. Т. III. С. 623; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 84.
- ¹⁹ Лит. наследие. Т. III. С. 624–625.
- ²⁰ Там же. С. 577. Текст уточнен по первоисточнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 445. Л. 18.
- ²¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 114–114 об.
- ²² Лит. наследие. Т. III. С. 579–580.
- ²³ Летопись. С. 538.
- ²⁴ См.: *Пыпина В.А.* Любовь в жизни Чернышевского. С. 109 и след.

18. Круг общения

С переездом в Европейскую Россию ближайшее окружение Чернышевского, несомненно, расширилось, но лишь в пределах, регулируемых условиями полицейского надзора и самим местоположением Астрахани, расположенной на окраине страны. Не случайно даже на пятом году астраханской жизни он продолжал чувствовать себя Робинзоном. «...Я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо с своим другом Пятницею, — писал он А.Н. Пыпину в августе 1888 г. — Я не лишен некоторых приятностей дружбы; но все здешние друзья мои — Пятницы» (XV, 730).

Местные знакомые, действительно, составляли в основном мещанский и купеческий городской слой, живший повседневными материальными заботами, далекими от интеллектуальной деятельности. «Мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее; сколько привезено хлопка и фруктов из Персии; уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов (т.е. Гусейнов)» (XV, 730).

Привыкший за долгие вилоийские годы к одиночеству и углубленный в литературные труды, Чернышевский без особой досады переносил подобную замкнутость общения. Труднее приходилось его жене, особенно в первый, жестко контролируемый полицией астраханский год. Так, она жаловалась сыну Михаилу в декабре 1883 г.: «Живем чисто в ссылке. Ни к нам никто, ни мы ни к кому. Если б и нашлись такие смельчаки, которые пожелали бы с нами знаться, то, думаю, скоро бы отстали от нас. <...> Впрочем, я сама отклоняю всех от знакомства с нами. Зачем делать неприятности людям?»¹. Однако очень скоро Ольга Сократовна, не склонная к одиночеству, обзавелась достаточно широкими знакомствами, в которые невольно оказывался втянутым и ее супруг. Его письма к ней, посылаемые во время ее ежегодных летних поездок для лечения и отдыха, буквально пестрят массой имен и интересующих ее сведений, накапливавшихся в ее отсутствие. Меланья Семеновна, Татьяна Сергеевна, многочисленная родня торговцев Сукиасовых и Мелькумовых, Сергей Степанович Аветов, члены семей домовладельцев, у которых в данное время квартировали Чернышевские, рыбопромышленники Платоновы – привести сколько-нибудь полный перечень такого рода знакомых весьма затруднительно. Исполняя поручения жены летом 1886 г., Николай Гаврилович отнес Катерине Андреевне программу курса фельдшерниц, сообщил новости о Марье Петровне и ее муже Николае Герасимовиче, зашел к Платоновым, выполнил еще ряд мелких просьб (XV, 594). В июне следующего года, например, отправился в порт, вспомнив задание «отыскать того отставного офицера, который давно не писал родным. (Его фамилия Смирнов). Мне, – сообщал жене Чернышевский, – сказали, что он служит в бухгалтерском отделении». Отыскал, переговорил с ним, взял от него письмо и переслал Ольге Сократовне для отправления по адресу (XV, 639).

Самыми постоянными посетителями были врачи. Среди них Н.М. Никольский, А.Н. Орлов, П.Ф. Крамер, С.Я. Попов, С.М. Попов, приходившие по вызовам чаще к Ольге Сократовне, чем к Чернышевскому. Степана Яковлевича Попова направил к Чернышевским П.И. Боков (XV, 461). Семену Моисеевичу Попо-

ву Чернышевский дважды надписывал переведенные им тома Вебера². Александр Николаевич Орлов в 1877 г. окончил курс Казанского университета со званием лекаря, служил штатным врачом в управлении государственных имуществ. Павел Федорович Крамер, доктор медицины, занимался вольной практикой и в 1885 г. снимал квартиру в доме Хачикова на Почтовой улице, где до этого жили Чернышевские³. Его Ольга Сократовна считала «одним из лучших докторов в Астрахани»⁴.

Близкими к Чернышевским людьми становились литературные секретари, писавшие под диктовку и получавшие за работу определенную плату, устанавливаемую Ольгой Сократовной. Чернышевский называл их своими «помощниками». Этим названием пользовалось и «Положение о полицейском надзоре», разрешавшее поднадзорным иметь «помощников» в занятиях искусствами и ремеслами, но ни в коем случае «не учеников». Предписывалось «немедленно воспрещать» заводить «помощников», если влияние поднадзорного на них «почему-либо оказывается вредным»⁵.

Иногда обязанности литературных секретарей выполняли сыновья. Например, летом 1884 г. под диктовку отца записывал его воспоминания Михаил⁶. Выбор молодых людей осуществлялся почти всегда единолично Ольгой Сократовной. Одно время, по свидетельству К.М. Федорова, писали «барышни»⁷. Вероятно, это было в конце 1885 г., когда Чернышевский сообщал А.Н. Пыпину 22 декабря, что «эти три недели» делал «свой перевод Вебера диктовкою» (XV, 559), — до этого он, не располагая средствами, обходился без помощников. Первые переписчики не отличались грамотностью, и в феврале 1886 г. Чернышевский между прочим известил И.И. Барышева о намерении найти «грамотного человека, у которого больше свободного времени» (XV, 563).

Таким постоянным работником стал девятнадцатилетний Константин Михайлович Федоров, покинувший гимназию ради заработков. В своих воспоминаниях, опубликованных в 1905 г., Федоров относил время знакомства с Чернышевским и начало работы у него к 1885 г.⁸ Уточненно — 1 марта 1886 г., как это следует из приведенного выше письма Чернышевского к И.И. Барышеву, а также расходных записей О.С. Чернышевской⁹. По словам Федорова, рекомендовал его бывший гимназист Владимир Степанович Пальцев¹⁰. «Работа моя при помощи усердного к диктовке помощника стала подвигаться быстрее прежнего», — сообщал Чернышевский жене летом 1886 г. (XV, 585).

В первой половине июня 1886 г. «недели полторы» по утрам (Федоров трудился в послеобеденное время) приходил гимназист,

«племянник Семена Моисеевича» — врача С.М. Попова (XV, 590). Приглашение поднадзорным старших гимназистов в переписчики оказывалось, как видим, вполне возможным. Согласно документам, астраханская мужская гимназия не входила в число беспокоящих полицию учебных заведений. Так, 25 ноября 1888 г. директор гимназии М.И. Рубцов обратился к губернатору с просьбой организовать содействие полиции в наблюдении за учениками вне стен гимназии. Поводом послужил «недавний» случай, когда три ученика зашли в «непозволенное публичное место» и там, в армянской кухмистерской, пили пиво. «Из дел гимназии, — писал директор, имея в виду ближайшие несколько лет, — не видно, чтобы чины полиции делали гимназическому начальству какие бы то ни было указания на неодобрительные проступки того или другого ученика гимназии, точно так же и мне не приходилось еще пользоваться их содействием по надзору за исполнением учениками гимназических правил»¹¹. Имя племянника С.М. Попова — Иван Каллустович Курдов¹². Из писем Чернышевского выясняется, что он уже работал переписчиком до появления Федорова, но не понравился Ольге Сократовне своей «излишней развязностью» и был уволен. Теперь он стал «смирнен, послушен» (XV, 589).

В июне 1887 г. Федоров отправился на три недели в поездку на Кавказ, и Чернышевский временно взял к себе сына помощника управляющего конторой общества «Дружина» Протопопова, «юношу лет 16-ти, но по виду еще вовсе мальчика». «Пишет достаточно грамотно и четко, хотя, разумеется, не имеет такого хорошего почерка, как Константин Михайлович» (XV, 636). В июне 1888 г. Чернышевский сообщал жене о приходе Пальцева — «тот юноша, который несколько времени работал у меня». Это был, конечно, В.С. Пальцев, приведший на замену себе К.М. Федорова. «Он, — писал о Пальцеве Чернышевский, — стал совершенно рассудительный человек; ветер вылетел из головы; он думает исключительно о своей обязанности быть полезным семейству» (XV, 678). Как видно, Пальцев не нравился Ольге Сократовне и недолго пробыл секретарем. Теперь он снова был приглашен и работал около месяца (XV, 703). Со второй половины июня продолжил выполнение своих обязанностей Федоров (XV, 689). 1 июля того же года Чернышевский сообщил, что на время болезни Федорова, длившейся несколько дней, пришлось пригласить Амвросия Мартиновича Поповяна (Попова) — «помнишь армянина, служащего в общественной библиотеке, — того, который работал со мною летом третьего года» (XV, 694)¹³. Зашла речь и о возможной отставке Федорова, пристрастившегося к гуляниям в саду своего дяди, где частенько собира-

лись разные пьянчужки (XV, 694–695). О.С. Чернышевская тут же принялась подыскивать нового секретаря. Она писала мужу 5 июля 1888 г.: «Предложи Пальцеву. Может быть, ему выгоднее будет заниматься с тобою, нежели служить в аптеке. Впрочем, ведь он очень ленив. А у Амвросия Март<иновича> в настоящее время каникулы? Может быть, с месяц он попишет с тобою? А то не выписать ли из Саратова Таничкиного внука? Помнишь, об котором я говорила тебе? Он еще ищет места в аптеке. <...> А отказывать прямо К.М., по-моему, не следует. Нужно прежде найти другого помощника. А тебе заниматься одному я не позволю. Портить глаза, гнуть спину и не давать отдыха рукам — это ужасно! Пожалуйста, мой друг, прежде устрой это дело, а потом уж и отказывай К.М. Все равно уж недолго осталось ему до воинской повинности. Как никак, а расставаться с ним придется»¹⁴. Спустя неделю она уже решительнее настаивала на приглашении родственника Пыпиных Аркадия Матвеева. «Конечно, он будет жить у нас. Во-1-х, он отчасти родственник и нам с тобою, а потом он очень милый юноша, и я его и всю его семью очень люблю. Его сестренку Женю я даже сватала за нашего уродца Ал<ександра> Ник<олаевича>. Хорошо, что не вышла за него, — а то наплакалась бы вдоволь!»¹⁵. Чернышевский безропотно согласился. «Если б оказалось, что теперь он, — писал Николай Гаврилович об А. Матвееве, — еще не умеет писать как следует, это ничего не значит: в две, в три недели научится» (XV, 713). Однако он все же запросил В.Н. Пыпину о способностях А. Матвеева, которого «Оленька вздумала вызвать сюда» (XV, 704). Вскоре выяснилось, что А. Матвеев не сможет уехать из Саратова ввиду открывшейся вакансии в аптеке, и В.Н. Пыпина порекомендовала сына И.Н. Виноградова, дальнего родственника Чернышевских. «Но — я его терпеть не могу, — писала Ольга Сократовна мужу 25 июля 1888 г. — Напиши Вареньке, что у тебя уже отыскался в Астрахани такой человек, который может быть твоим помощником. Без всяких разговоров. <...> Ну, да я не люблю его, и дело с концом!»¹⁶. Поступлению А. Матвеева на службу в аптеку Чернышевский искренне обрадовался: с неопытным и неграмотным секретарем хлопот оказалось бы немало. А Ольгу Сократовну заверил: «Мое решение зависит, разумеется, от того, как решишь ты». Место помощника «занято и не будет свободным», — написал он В.Н. Пыпиной (XV, 713, 723).

Федоров с небольшими перерывами продолжал работать с Чернышевским. Осенью 1888 г. к нему в товарищи был принят Михаил Петрович Краснов. «К. М. уехал 21 октября», — записал Чернышевский на листке расчета с Федоровым¹⁷, имея в виду его отъезд в Москву (XV, 752). В декабре он писал А.Н. Пыпину о двух молодых лю-

дах, работающих у него «с утра до ночи». Подразумевались, конечно, Федоров и Краснов. Сообщал Чернышевский и о «третьем», который «часто помогает им». О трех своих помощниках писал он в конце декабря и К.Т. Солдатенкову (XV, 763, 789). Третьим, вероятно, был некий «Николай Васильевич», который в мае 1889 г. трудился вместе с Федоровым (XV, 854). Тогда же Чернышевский сообщил о расчетах с Федоровым и «молодым Кузнецовым» (XV, 862). Речь шла о младшем сыне владельца магазина галантерейных товаров Николае Васильевиче Кузнецове. Старший сын Кузнецова Василий оказывал Чернышевскому услуги в трудном 1883 г., он «не только отпускал товары в долг, но и давал деньги взаем». Впоследствии дела магазина пошли на убыль, и в 1887 г. Чернышевский попросил своего сына Михаила подыскать В.В. Кузнецову в Петербурге скромное место в какой-нибудь коммерческой конторе (XV, 661). На Н.В. Кузнецова как секретаря Чернышевского указывал и М.П. Краснов в неопубликованном письме к В.Е. Чешихину-Ветринскому¹⁸. В архиве Е.А. Ляцкого сохранилась рукопись Н.В. Кузнецова «Воспоминание о моих занятиях у Н.Г. Чернышевского». «Как я помню, — писал он, — это было в 1888 г. Живя в Астрахани Ольга Сократовна (жена Николая Гавриловича) предложила мне заниматься у Н.Г., и я в тот же день 10 сентября пошел к ним. <...> Познакомившись с Н.Г., я начал у него писать под диктовку. Занимался я у него и утром и вечером. <...> Могу сказать, что Н.Г. был замечательный человек: простой, добрый, отзывчивый ко всем нуждающимся. Он переводил немецкие книги и также переписывал письма Добролюбова и Пыпина. Н.Г. очень увлекался стихотворениями Некрасова и не раз во время перерыва их читал и так увлекался, что даже плакал. За мою работу он мне платил нерегулярно, а когда только у него были деньги. Зарабатывал я у него приблизительно рублей 25 в месяц. Жена его Ольга Сократовна была женщина гордая, строгая, любила, чтобы ей все подчинялись, и редко, чтобы ей кто-нибудь нравился. Нас у них занималось трое, и вот одного так возненавидела, что даже выгнала, и на нее трудно было угодить. Ко мне она относилась очень хорошо, называла меня всегда внучком»¹⁹.

В разное время Чернышевскому помогали также Антонина Александровна Чернышевская-Лебедева (во время отпуска Федорова в 1886 г.)²⁰, Николай Иванович Казанчиев²¹. По данным архива, Н.И. Казанчиев в июле 1887 г. подал прошение о зачислении на службу в штат канцелярских служащих Астраханского губернского правления. В полагающейся по этому случаю полицейской справке (подписана полицмейстером 27 июля) указано: «Казанчиев поведения и образа жизни хорошего и в политической неблагонадежно-

сти, а также в чем-либо предосудительном не замечен». В августе 1887 г. определен канцелярским служителем 3-го разряда казенной палаты²².

Воспоминания некоторых из литературных секретарей Чернышевского, участников его астраханской ссылки, содержат живые описания облика писателя, его литературной деятельности, подробности быта. Он запомнился им, говоря словами М.П. Краснова, «как идеал скромного до естественной простоты человека-работника»²³. Все они, хотя и в разной степени, испытали нравственное и духовное воздействие его личности, оставшейся в их памяти на всю их жизнь.

Связей с астраханской интеллигенцией Чернышевский в первое время старался избегать, чтобы не подвергать желающих познакомиться с ним назойливому полицейскому вниманию. Однако появление в городе знаменитого писателя будоражило воображение многих астраханцев, и вовсе исключить общение с ними было невозможно. Встреч с ним искали, от иных посетителей уберегала Ольга Сократовна в заботе о поддержании его рабочего режима. «У нас бывает очень мало гостей», — сообщал Чернышевский в одном из писем конца 1888 г., но тут же прибавлял, что на Рождество могло быть «десятка три людей с визитами», и ввиду болезни жены он вывесил на дверях уведомление: «Чернышевские не принимают никого, кроме врача. Просят не звонить» (XV, 787).

Характерен рассказ молодого преподавателя Второго городского училища Н.Ф. Скорикова²⁴. «Чтобы познакомиться с Н.Г. и быть принятым в его доме, необходимо перенести сначала “испытание” самой Ольги Сократовны, выдержать надлежащую пробу, а затем уже ожидать случая быть представленным и самому Н. Г-чу», — свидетельствовал он. По требованию О.С. Чернышевской он передал через своего ученика Сашу Иванова, сына кухарки, готовившей Чернышевским, затребованные сведения о возрасте и звании, свою фотографию и «ручательство на честное слово в благонадежности». «Не вы один, а многие добиваются знакомства с Н.Г., — сказала она Скорикову в первый его приход. — Только невозможно всех допускать: он очень занят, и пришлось бы часто отрывать его от работы».

Среди других знакомых Чернышевского Скориков называл некоторых педагогов и сотрудников местной газеты. «Одновременно собиралось не более 3–4 посетителя. <...> Привлекала необыкновенная простота его и радушие. <...> Н.Г. был непримиримый враг позы. Он никогда никому не намекал о перенесенных им страданиях, и если только кто спрашивал его об этом, он или утверждал, что никаких особенных страданий он не испытывал, или переменил тему разговора».

Посещавшие Чернышевского педагоги — товарищи и коллеги Н.Ф. Скорикова, А.Я. Назаров, Н.Ф. Казанский, А.В. Сергеев. В астраханском архиве сохранился след распоряжения губернатора от 25 февраля 1888 г. своему полицмейстеру доставить сведения «о нравственной и политической благонадежности учителя Астраханского городского 4-х классного училища Алексея Сергеева». Как показывает «Исходящий реестр секретным бумагам», эти сведения были доставлены 7 марта того же года²⁵. Тексты самих документов неизвестны. Возможно, их возникновение связано и с именем Чернышевского.

Из сотрудников местной газеты назовем прежде всего редактора Н.Л. Рослякова. В одном из летних писем-отчетов 1887 г. Чернышевский сообщил Ольге Сократовне о его визите: «...Просидел довольно долго; часа два, вероятно; он показался мне человеком скромным и неглупым; если правду говорят о нем, что он много пьет (судя по некоторой опухлости лица, это правдоподобно), то он делает так лишь по привычке, полученной в прежней бродячей жизни; и можно полагать, что он бросит эту привычку. Я, вероятно, зайду к нему (но по твоему приезду, если ты велишь)» (XV, 643). Особой близости с редактором «Астраханского листка» не возникло, как видим, но и сообщение Н.Ф. Хованского, будто Чернышевский «отклонил» попытки Рослякова познакомиться с ним²⁶, должно быть оценено критически. Знал Чернышевский и организаторов новой газеты «Астраханский вестник» Н.А. Зеленского и М.И. Попова. Первый номер газеты вышел 15 апреля 1889 г., а в конце мая Ольга Сократовна писала мужу из Саратова, что не смогла найти для Зеленского наборщиков, «двоих, которых я послала к нему — Росляков перебил у него и прежде». Сколько можно судить по этому письму, Ольгу Сократовну беспокоили не столько проблемы Зеленского, сколько желание помочь одному из наборщиков, сыну своей знакомой. «Кланяйся им обоим», — приказывала она, имея в виду тех же наборщиков²⁷. В неопубликованных воспоминаниях сотрудника «Астраханского вестника» А.Н. Штылько, в свое время находившегося у истоков возникновения нового периодического издания, засвидетельствовано, что в составлении программы газеты участвовали, кроме ее организатора «типографчика Зеленского», учитель реального училища Е.В. Воздвиженский, Е.Н. Чириков, В.Л. Поляк, Б.А. Маркович «и другие», «благословил издание Н.Г. Чернышевский»²⁸. Вывод, будто Чернышевский принял прямое участие в заботах об успешном ходе новой газеты и будто бы она «замышлялась в доме Николая Гавриловича, может быть, даже по его совету»²⁹, не лишен преувеличения. Но он приветствовал появ-

ление в городе этого издания, был в курсе некоторых его проблем, внимательно читал газету, беседовал с сотрудниками. Так, Е.Н. Чириков вспоминал: «Он часто заходил в редакцию “Астраханского вестника”, где я тогда работал»³⁰. А.Н. Штылько вел в газете местную хронику, писал статьи на исторические темы. В частности, для первых номеров он написал статью из истории астраханской прессы «25 лет назад». После закрытия недолго просуществовавшего «Астраханского вестника» «Чириков, Кларк, Маркович и я, — вспоминал он, — перешли разом все вместе в “Листок”»³¹. По жандармской справке Евгений Николаевич Чириков, состоявший под негласным надзором полиции, поступил сотрудником в «Астраханский листок» 6 октября 1889 г.³² В новой газете сотрудничали также П.М. Никольский, Б.А. Маркович, с которыми Чернышевский был хорошо знаком. Помещали здесь свои материалы В.Л. Поляк (Поллак) и его жена А.П. Подосенова, приезжавшие в Астрахань на короткое время в конце мая 1889 г. «Об астраханской газете я слышал, — писал В.Л. Поляку 15 июля того же года В.Г. Короленко, — что она “начинает идти”, что ею интересуется Н<иколай> Гаврилович и что у нее есть будущее...»³³ 27 апреля 1889 г. в «Астраханском вестнике» опубликована небольшая заметка о пожертвованиях в пользу библиотеки «Народных чтений» при Втором одноклассном городском училище, где трудился Н.Ф. Скорилов: получены «от г-жи О. С. Ч.» (О.С. Чернышевской) полный комплект «Вестника Европы» за 1888 г., книга П.Д. Тета «О теплоте» и один рубль деньгами, а «от г-на NN» (т.е. Н.Г. Чернышевского) пять рублей серебром³⁴. В расписке, выданной Н.Ф. Скориловым О.С. Чернышевской 26 апреля 1889 г., упомянуты также «82 № Саратовского дневника за 1889 г.»; карандашом приписано: «Сарат. дневник отдан по 21 апреля»³⁵.

Особая тема — интерес к театру. Театральная жизнь города определялась творческой деятельностью местной труппы, руководимой Гавриилом Мироновичем Гашинским (по сцене — Ковровым), а также заезжих коллективов, ежегодно гастролирующих в поволжских городах. Театр Чернышевский посетил в первое же лето. В это время на сцене астраханского Зимнего театра шли представления труппы Московского товарищества артистов под управлением знаменитого актера Василия Николаевича Андреева (Андреева-Бурлака). В составе труппы играл известный в ту пору артист Модест Иванович Писарев. 11 июня 1884 г. В.Н. Андреев-Бурлак и М.И. Писарев нанесли визит Чернышевским. Одновременно в летнем театре играла местная труппа, в составе которой в то лето выступали сама М.Н. Ермолова и выдающийся армянский трагик Петрос Адамян. В воспоминаниях С.Б. Сукиасовой-Артемьевой читаем: «Един-

ственный раз был Николай Гаврилович в театре в приезд армянского трагика Адамяна. В нашу ложу в антракт пришли свободные артисты и увели Николая Гавриловича за кулисы. Ему сделали овацию, он переходил из одних объятий в другие»³⁶. Спектакли с участием Адамяна шли с 25 мая по 10 июля. Это «Маскарад», «Уриель Акоста», «Гамлет», «Семья преступника» (мелодрама П. Джакометти в переводе А.Н. Островского) и «Кин, или Гений и беспутство» (А. Дюма-отца). Существует предположение, что в театре Чернышевский был с женой 29 мая 1884 г. (О.С. Чернышевская отметила в этот день в своей расходной тетради покупку театральные билеты), когда шел «Гамлет»³⁷. Сохранились списки актеров местной труппы антрепренера П.М. Медведева и труппы В.А. Андреева-Бурлака, игравших в летний сезон 1884 г. (длился с 28 апреля по 11 сентября). Эти списки приложены к рапорту полицмейстера Инковского от 30 октября 1884 г. Указано, что с 3 по 9 июля приезжая труппа давала представления в Зимнем театре, принадлежавшем потомственному почетному гражданину Н.И. Плотникову³⁸.

Свидетельство С.Б. Сукиасовой-Артемьевой, будто Чернышевский был в театре «единственный раз», опровергается источниками. «Одно отвлекает нас от работы: очень любим мы с ним шляться в театр», — сообщал, например, Чернышевский жене 20 июня 1886 г., имея в виду своего литературного секретаря К.М. Федорова, страстного театрала (XV, 594)³⁹. В письме от 13 июня 1887 г. Чернышевский извещал жену о посещении, которое сделал местный драматург М.И. Попов, занятый постановкой своей пьесы «На яру» (XV, 634). Установилось знакомство и с Г.М. Ковровым и его женой Марией Саввишной Гашиной (по сцене — Брянской). Гуляя однажды летом 1888 г., Чернышевский зашел к ним. «Нами всеми, — писал он жене 11 июня, — овладела радость при неожиданном для всех нас свидании. Я посидел у них с полчаса». За это время хозяева познакомили его «с Медведевым (приехавшим сюда на гастроли) и Аграмовым (режиссером); оба понравились мне». Затем «Ковров пошел на репетицию. И я с ним направился в театр; посмотрел несколько минут» (XV, 678). В письме речь идет о Михаиле Васильевиче Аграмове, участнике труппы Коврова в сезон 1888 г., и, вероятно, о Петре Михайловиче Медведеве⁴⁰. По свидетельству К.М. Федорова, чета Чернышевских в театр ходила «изредка», «в особенности, когда в Астрахани подвизалась драматическая труппа Г.М. Коврова, бывшего кинешемского семинариста, ярого поклонника Чернышевского»⁴¹.

Тем же летом 1888 г. состоялось случайное знакомство с жившей по соседству «дивной певицей и пианисткой, сестрой г-жи Харуц-

кой»⁴². Характеристика иронична, что видно из следующих строк: «Мое нерасположение к певице — быть может, чувство соперничества: я сам хорошо пою, но она превосходит меня искусством; это досадно» (XV, 689, 695). Легкая ирония проскользнула также и в одной вскользь брошенной фразе по поводу «здешней избалованной великими артистами армяно-русской публики» (XV, 742). Однако в личных общениях с актерами и драматургами он был предельно любезен и внимателен. Известна, например, его записка к М.И. Попову от 2 ноября 1888 г. с благодарностью за предложенную ложу для просмотра его пьесы. Идти не пришлось из-за болезни Ольги Сократовны (XV, 754). «На здешнем театре (имеющем в своей труппе очень талантливую артистку г-жу Брянскую (Коврову, по мужу) и двух, трех талантливых артистов (один из которых Ковров), — писал Чернышевский И.И. Барышеву 16 апреля 1889 г., — собираются поставить Вашу “Маленькую войну”. Мы будем в театре, когда она пойдет» (XV, 832). В воспоминаниях М.П. Краснова отмечен факт посещения Чернышевским «пьесы Барышева»⁴³. В мае 1889 г. труппа Коврова сорвала гастроль в Саратове, о чем Ольга Сократовна поведала мужу в письме от 7 мая, «многие актеры его надули и не приехали ни сюда, ни поехали в Астрахань». Сообщила она и о сложностях в отношениях супругов Ковровых — «должно быть к тому идет, что они должны будут разойтись»⁴⁴. 14 мая Чернышевский писал не без иронии, что «решительно примкнул к театральному миру»: выполняя поручения жены, ходил к артистке Каниной, познакомился с драматургом и артистом А.Н. Кремлевым, которого привел врач А.Н. Орлов. «Мне, — писал Чернышевский, — он понравился. Орлов, и он просидели со мною часов до десяти. — Он здесь проездом в Дербент. Ковров приехал вчера, я с ним еще не виделся» (XV, 861).

Н.Ф. Скориков видел Чернышевского в театре в 1889 г. Шла комедия А.С. Суворина «Татьяна Репина», и Чернышевский пришел по билету, предложенному артисткой Брянской. Об отношении Чернышевского к этой пьесе можно судить по реплике, брошенной им Скорикову после обмена впечатлениями с князем Г.К. Чичуа: «А знаете, что мне сейчас говорил князь о “Татьяне Репиной”? “Человеку нервному, пожалуй, вредно ее смотреть!..” А ведь правда!.. Вот так князь!..»⁴⁵

С театральной темой связан один из эпизодов, косвенно коснувшийся Чернышевского. В конце 1887 г. в жандармское управление поступил донос на Чернышевского, который будто бы побывал на одном из домашних спектаклей. Подробности выяснились из следующего конфиденциального письма полицмейстера Инковского жандармскому полковнику Головину от 7 декабря: «9 февраля в

квартире Мовшовича, проживающего в доме Усейнова по Полицейской улице, действительно был дан любителями бесплатный спектакль в семейном и знакомом кругу зубного врача Мовшовича; пьеса шла “Снявши голову по волосам не плачут” и исполнителями ее были: дочь красноярского мещанина Розенблюма, мещане: Анненберг, Апатов, девица Акимова, купеческий сын Павлов, армяне: Папаев и Попов и племянник поверенного Гурьянова Федоров. Подозрительных личностей в квартире Мовшовича не было, возмутительных лекций не читалось и никакой домашней типографии не существовало. Анонимное письмо писал купеческий сын Владимир Нашатырь, как заявили Мовшович, Анненберг и друг., из-за того, что он не был приглашен участвовать в спектакле 9 февраля; 30 же января он участвовал на первом подобном же спектакле, на котором была поставлена пьеса “Не зная броду, не суйся в воду”. При этом присовокупляю, что Чернышевский на спектакле не был и не знаком с вышепоименованными лицами, кроме Федорова, который в то время занимался у Чернышевского в качестве переписчика»⁴⁶. Донос последствий не имел, но сам факт попытки использования его имени в целях политической инсинуации весьма показателен и характерен.

Из приезжавших в Астрахань родственников (кроме сыновей) прежде всего нужно сказать о Пыпиных. В мае 1886 г. Ольга Сократовна привозила на короткое время отца семейства семидесятивосьмилетнего Н.Д. Пыпина (XV, 575). Время от времени навещалась из Саратова его дочь Варвара Николаевна. Александр Николаевич был дважды – в мае 1884 и в июне 1888 г. Привычно родственные чувства Пыпиных к Николаю Гавриловичу наполнялись безмерным обожанием, благоговением, создавая столь необходимую для него атмосферу искреннего понимания и признания. «...Позволь сказать, – писала ему, например Екатерина Николаевна, – как дорого для меня каждое твое слово и как сильно желаем все мы, чтобы ты не забывал нас»⁴⁷. Радовали также приезды Марии Александровны и Ольги Александровны Чернышевских, дочерей Александра Гавриловича Чернышевского, названного брата Николая Гавриловича⁴⁸. Еще не видевшись с Ольгой, он писал ей 15 декабря 1885 г.: «Я так много слышал о Вас от Ольги Сократовны, что хоть и не знаком с Вами лично, но знаю Вас очень близко, и она так любит Вас, что и я чувствую совершенно родственное расположение к Вам»⁴⁹. Сестры приехали в Астрахань в июне 1886 г. и пробыли здесь три дня. «Хорошие девушки обе они; а Марья Александровна совершенно такая, какую ты описывала ее мне: девушка, достойная глубокого уважения», – сообщал Чернышевский жене 29 июня, упомянув и

об их астраханских знакомых — А.И. Виддинове с женой и артистке Жуковской (XV, 600). Вторично свидание с ними произошло в июне 1888 г. (XV, 717). Привозил и увозил их капитан парохода А.М. Рынкевич, оказывавший Чернышевским ряд мелких услуг. Виделся Чернышевский и с их братом Константином, заезжавшим летом 1886 г. «Я хорошо знал вашего отца — Александра Гавриловича, его очень уважал, жаль, что он так рано умер», — говорил Чернышевский ему⁵⁰.

В разное время Чернышевского навестили в Астрахани Л.Ф. Пантелеев и Н.В. Рейнгардт, помнившие его по шестидесятым годам и впоследствии написавшие о нем воспоминания. Дважды, в 1886 и 1887 гг., побывал Н.Ф. Хованский. Летом 1886 г. заезжал известный физиолог профессор И.Р. Тарханов с женой М.М. Манасеиной⁵¹. В том же году осенью Чернышевского посетил врач-гипнотизер О.И. Фельдман, которому был подарен том «Всеобщей истории» Г. Вебера с надписью: «В знак глубокого уважения к его деятельности на пользу науки и страждущего человечества»⁵².

В биографической литературе прочную традицию получили утверждения о связях Чернышевского с так называемым «астраханским подпольем». Попытка самого полного исследования темы принадлежала стороннику существования этих связей профессору Н.С. Травушкину. В главе «Поволжские революционеры» его книги «Н.Г. Чернышевский в годы каторги и ссылки» содержится почти исчерпывающий перечень всех живших в Астрахани или приезжавших сюда лиц, так или иначе имевших отношение к нелегальной деятельности. Однако убедительных доказательств причастности Чернышевского к революционному движению в Астрахани у исследователя все же не находится. Провисает и взятая в эпиграф выдержка из статьи Н.М. Чернышевской 1969 г.: «...Странно было бы теперь найти в переписке Чернышевского и в мемуарах современников точные даты, точные имена лиц, связанных с революционным подпольем и составляющих завуалированное окружение сосланного в Астрахань деятеля революционной демократии»⁵³. Остается проблематичным само существование «астраханского подполья». Среди астраханской интеллигенции, несомненно, были люди, в прошлом участвовавшие в студенческих волнениях 1861 г. (П.П. Вейнер) и первой «Земле и воле» (П.М. Никольский), ишутинцы и карказовцы (братья А.М. и П.М. Никольские, братья Автоном и Андрей Фортаковы, Ф.С. Яковенко, И.С. Климов), проходившие по процессу «193-х» (П.П. Воскресенский, А.И. Виддинов), студенты Казанского университета, высланные за участие в волнениях 1882 и 1887 гг. (Н.В. Новиков, В.И. Кларк, А.Г. Покровский, Е.Н. Чир-

ков). Кто-то из них сохранил радикальные взгляды на современное политическое устройство России, находились и сочувствовавшие террористическим программам народовольцев. Но это вовсе не означает, что они-то и составляли «завуалированное окружение» Чернышевского. Подобное утверждение не находит опоры в биографических источниках. Скорее напротив. Чернышевский каждый раз, когда предоставлялась возможность, настойчиво подчеркивал свое нежелание иметь дело с людьми, настаивающими на необходимости нелегальных акций.

Его осторожность в отношении с астраханцами, которые находились на заметке у полиции, была широко известна. По свидетельству очевидцев, один из административных ссыльных пришел к нему в первый же вечер в гостиницу Смирнова. «Чернышевский сказал ему: “Ваше положение опасно и мое тоже. Лучше нам не быть знакомыми”. То же Чернышевский сказал и другим астраханским ссыльным, заявлявшимся к нему, обнаруживая явное нежелание заводить с ними знакомства»⁵⁴.

«Административный ссыльный», встретивший Чернышевского в гостинице Смирнова, – астраханский врач Николай Михайлович Никольский. Уроженец Астрахани, он учился в Медико-хирургической академии и там приобщился к революционной деятельности. Был арестован за антиправительственную пропаганду. В «Ведомости о лицах, состоящих к 1 января 1884 г. под надзором полиции в Астраханской губернии по политическим причинам и нравственной неблагонадежности» указано, что ему 29 лет, живет у матери, холост, выслан из Саратовской губернии под гласный полицейский надзор сроком на три года с 9 сентября 1881⁵⁵. В другой «Ведомости», составившейся в ноябре 1883 г., уточнено: выслан из села Рудни Камышинского уезда Саратовской губернии. Здесь же содержится аттестация полицмейстера: «Ведет себя предосудительно. Требуется надзора»⁵⁶. Запись, вне сомнений, явилась результатом визита в день приезда Чернышевского. В мае 1884 г. в связи с близившейся датой окончания надзора полицмейстер дал более развернутую характеристику Никольскому: «Жизнь ведет скромную и приличную; занимается медицинской практикою; поведения хорошего; вращается преимущественно среди лиц, состоящих под надзором полиции по политическим делам и видимо сочувствует им: он лечит всех означенных лиц, присутствует при отъезде каждого из тех, которым оканчивается срок надзора...» Из круга поднадзорных Чернышевский здесь не выделен, хотя полиция располагала точными сведениями о появлении Никольского в его доме: 8 января 1884 г. в 11 часов ночи и «сидел более часу», как отмечалось

в агентурном донесении. Однако случай в гостинице нашел-таки в аттестации специальное упоминание. «...А по приезде в Астрахань государственного преступника Чернышевского, — продолжал полицмейстер, — встретив его на лестнице, в гостинице Смирнова, с видимою радостью бросился к нему в объятия, целовал и высказывал удовольствие по случаю его возвращения из Сибири и прибытия в Астрахань». Исполнявший должность губернатора Жоховский в официальной бумаге, отправленной в Департамент полиции 21 мая 1884 г. за № 202, придал информации полицмейстера более жесткую оценочную тональность: «...Хотя отличается скромным образом жизни и хорошим поведением, но вращается среди политических поднадзорных...» Эпизод с Чернышевским, разумеется, приведен и здесь. В результате по окончании срока гласного наблюдения тут же установили за Н.М. Никольским «на один год секретный полицейский надзор», отмененный 10 сентября 1885 г.⁵⁷

Близким знакомым Чернышевского современники называли Павла Маркеловича Никольского⁵⁸, человека с заметным политическим прошлым: участие в кружке Ишутина, арест в 1866 г., ссылка. Надзор за ним был снят в 1873 г., но возобновлен в связи с упоминанием о нем в одном из дел об организации одесского нелегального кружка⁵⁹. В Астрахани П.М. Никольский управлял заведением искусственных минеральных вод при аптеке П.М. Пясецкого. В одной из полицейских «Ведомостей» 1884 г. о нем сказано: «За истечением срока гласного полицейского надзора согласно предписания г-на Астраханского губернатора от 8 сентября 1884 г. за № 3869 освобожден от этого надзора с учреждением на один год секретного полицейского надзора»⁶⁰. Его росписи сохранились в «Книге на записку каждодневной явки к приставу поднадзорных за 1885 год»⁶¹. В марте 1886 г. за ним снова установили годичный негласный надзор и по результатам положительной аттестации («ведет себя хорошо, ничего предосудительного не замечено»⁶²) отменили его 7 марта 1887 г.⁶³

Документально засвидетельствован единичный факт посещения Чернышевского 25 марта 1884 г. кассиром Общества взаимного кредита Петром Алексеевичем Агеевым, в прошлом студентом университета и участником «Казанского заговора» 1863 г., приговоренным к шести годам каторги. Зафиксировано агентами и появление ревизора Астраханской контрольной палаты Александра Ильича Виддинова, саратовца, проходившего по знаменитому в конце семидесятых годов процессу «193-х» (был оправдан) и пользовавшегося расположением Чернышевского (см.: XV, 588, 591, 597, 600)⁶⁴.

«Ссылным из князей» проходил по жандармскому делопроизводству Георгий Константинович Чичуа, занимавшийся в Астра-

хани шелководством. В полицейской аттестации за 1888 г. отмечено, что он «ведет себя хорошо»⁶⁵. Чернышевский относился к нему вполне дружелюбно. «Он немножко азиатец; но в сущности хороший, благородный человек», — сообщал Чернышевский жене в мае 1889 г. (XV, 861). Впоследствии Чичуа, вспоминая о своих встречах с писателем, резко протестовал против распространившегося в «местном мещанском обществе» слуха, будто Чернышевский «умственно отстал». «На самом же деле, — писал он, — Чернышевский был по-прежнему большим мыслителем, великой и цельной личностью»⁶⁶.

Из других политических поднадзорных самые видные имена — И.А. Житецкий, Б.А. Шимановский и А.М. Пумпянская. Ирадион Алексеевич Житецкий (в 1883 г. ему было 33 года) окончил кандидатом историко-филологический факультет Киевского университета. За политическую неблагонадежность его выслали сначала в Вятскую губернию, а затем в 1881 г. в Астрахань, где он служил письмоводителем в казенной палате по вольному найму и находился под надзором до мая 1884 г. Борис Афанасьевич Шимановский был старше Житецкого на два года. Он уроженец Киева и выслан из Вологодской губернии в 1881 г. под трехлетний надзор полиции, занимался письмоводством в городской управе по вольному найму⁶⁷. Аделаида Михайловна Пумпянская родилась в 1855 г., за участие в одесских беспорядках выслана в г. Кадников Вологодской губернии, а в 1881 г. — в Астрахань. С 18 июня 1883 г. местом ссылки для нее и ее сына Николая стал г. Царев Астраханской губернии. Дважды она получала разрешение на короткое время приезжать в Астрахань «для излечения болезни» — во второй половине января 1885 и в начале сентября следующего года. В жандармском документе сказано: «Во время нахождения под надзором полиции в г. Астрахани Пумпянская никаких преступлений не сделала, так равно в неблаговидных поступках замечена не была». 14 сентября 1886 г. она уехала в Казань⁶⁸. И.А. Житецкий покинул город 5 октября 1885 г.⁶⁹ Документального подтверждения их встречам с Чернышевским не находится.

Тщательная слежка за Чернышевским и всеми другими политическими поднадзорными не давала материалов для соединения их имен в каком бы то ни было из полицейских документов. Выявленные к настоящему времени источники не позволяют биографу Чернышевского делать положительные выводы о нелегальной деятельности писателя в Астрахани.

Об отношении Чернышевского к современным политическим настроениям можно судить по мемуарным записям некоторых из его посетителей.

Первая такая запись относится к 1883 г., принадлежит она английскому журналисту Э. Ноблю и опубликована в газете «Daily News» 22 декабря того же года под названием «Русский политический пленник». Выдержки из газеты появились на русском языке в «Новом времени», «Эхе», «Союзе» и «Вестнике Народной воли»⁷⁰. Разрешение на встречу дал начальник губернии Н.И. Жоховский.

В заметке говорится о надломленном здоровье, расшатанных нервах писателя, о сообщенных им подробностях трудного пути из Вилуйска, о его литературных занятиях (романах, статьях по всеобщей истории, которые сжег). К политическим заявлениям относились объяснения Чернышевским причины ссылки в Сибирь: он видел ее в своих сочинениях политического и экономического характера, публикуемых в открытой печати. Затем Э. Нобль уверял, что тем не менее у писателя в отношении к своему правительству «нет и тени злопамятства», что он, очутившись в Астрахани, даже признателен властям за этот «акт милости» и что агитаторской деятельностью он не занимается, а лишь надеется «провести остаток своих дней в покое».

Вынужденность иных высказываний была очевидна и для англичанина, и для поднадзорного. И все же полностью отрицать значение этого мемуарного свидетельства как исторического документа нельзя. Силу достоверности сохраняли суждения Чернышевского, пытавшегося показать, что отношение правительства к нему как к «агитатору» ошибочно. В беседе с иностранцем писатель не погрешил против своих убеждений: он и во время следствия, и позднее настойчиво подчеркивал свою непричастность к нелегальным действиям⁷¹ и только в содержании своей литературной деятельности, неугодной властям, но осуществлявшейся на вполне законном основании под надзором государственной цензуры, усматривал объяснение репрессий по отношению к себе.

Другие мемуарные источники имели более позднее происхождение.

В августе 1887 г. к Чернышевскому явились революционно настроенный бывший студент Казанского университета Н.П. Чердынцев с курсисткой Хлебниковой. Разговор шел о «задачах текущей жизни». После казни А.И. Ульянова и его единомышленников, осужденных за покушение на Александра III, «хотелось руководящих указаний авторитетного человека». Однако беседа с автором «Что делать?» оставила у молодых посетителей тяжелое впечатление. «Работайте! Работают же люди! — говорил Чернышевский в ответ на настойчивые расспросы. — Знаю — тяготятся. А по-моему, сами не правы. Здесь газета издается. Я знаком с редактором. Веч-

но жалуется на цензора — строг очень, много черкает, убытки от переверстки номера. А я говорю: кто же виноват? Требования цензора знаете? Выполняйте их, неприятностей и не будет. Ведь цензор не изменится от того, что вы его требований не исполняете!». Студенты не соглашались. «Совсем не надо бы цензора, ни худого, ни хорошего!» — говорили они. «Не надо! Вполне согласен. А вот он есть! А уж раз есть, нужно слушаться», — настаивал он. «Теперь при университетах карцеры учреждаются. Значит, и в карцер садиться, раз он есть?» — недоуменно вопрошали Чердынцев и его приятельница. И в ответ слышали: «Непременно! Как же иначе! Садитесь в карцер! Есть карцер, должен быть и заключенный!» «Не надо бы и карцера», — продолжали твердить они. «Совершенно верно! Всегда думал: не нужно ни цензоров, ни карцеров! А вот они существуют! Куда вы от них денетесь?» Взволнованный, с глазами, мечущими, как показалось Чердынцеву, «бешеный огонь», Чернышевский вышел на крыльцо и крикнул молодым людям вслед: «В карцер садитесь! В карцер!».

Спутница Чердынцева следующим образом прокомментировала слова писателя: «Ведь он нас дураками обругал! <...> Все русское общество дураками назвал — знает, что мы не станем молчать о визите к нему! Ведь он сказал: если после стольких жертв, какие принесены моим поколением и моими преемниками, все еще существуют цензоры и карцеры — вы дураки! С вами говорить бесполезно! <...> Сколько же он выстрадал, раз подобным образом разговаривает с нами?!..»⁷² Возможно, в словах Чернышевского содержался и такого рода упрек. Но упрекая, он как бы удерживал молодежь от бездумных, рискованных, приводящих к жертвам действий. Подобно тому, как в начале шестидесятых годов он советовал студентам умерить революционный пыл, не горячиться с подачею адресов в высокие инстанции и сочинением антиправительственных прокламаций («Вы, господа революционеры, прямо скажу, ужасные вы революционеры», — иронически говорил он им)⁷³, так и теперь он не мог одобрить выражений резкого протеста, приводящих в карцеры и даже на плаху. И это было не равнодушие к отчаявшимся, а проявление неравнодушия единомышленника. Он призывал не горячиться, а глубоко поразмышлять по поводу «задач текущей жизни» и выработать решения, реализация которых со временем сделает невозможным существование цензоров, карцеров и других репрессивных учреждений. Чернышевский советовал «работать». Он и в романе «Что делать?» пропагандировал труд и образование, обеспечивающие высокую степень человеческого достоинства. «...Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд

обогатит нас, — это дело пойдет, — поживем, доживем...» — так пересказал Чернышевский в романе, отвечая на вопрос «что делать?», знаменитую песню «Дело пойдет» времен Французской революции (XI, 7). Эту мысль романа содержательно прокомментировал в свое время Д.И. Писарев: «Реалист — мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом. <...> Труд есть необходимое орудие самосохранения, необходимое лекарство против заразительной пошлости; он ищет себе полезного труда с тем необходимым упорством, с каким голодное животное ищет себе добычи; он ищет и находит, потому что нет таких условий жизни, при которых полезный умственный труд был бы решительно невозможным»⁷⁴.

«Нападками» на современную молодежь показали себя высказывания Чернышевского и его молодому знакомому Н.Ф. Скорикову, в те годы одушевленному радикальнейшими идеями. Речь однажды зашла о беспорядках среди студентов по поводу введения нового устава. Действия учащихся Чернышевский назвал «слишком наивными, а потому плохо рассчитанными побуждениями». Беспорядки «способны лишь ухудшать положение протестующей стороны». Скориков пытался отстоять естественно возникающее возражение: в таком случае правы те, кто, не удовлетворяясь легальным путем, создает тайные общества и прибегает к подпольной пропаганде. Чернышевский отвечал точно, недвусмысленно: «История показывает, что общества с тайным, в большинстве с преступным образом действий никогда не достигали положительных целей. <...> Все, что делается в темноте, — либо пошло, либо пусто. <...> Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят. <...> Тайные кружки и общества — это пустые бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они вместе с тем вредят и государству. <...> Цивилизация движется не тайными обществами, — нет! — ими возбуждались только местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положительным результатам...» Далее Чернышевский не менее резко высказался по поводу революционной пропаганды среди народа. «...Как вы станете предлагать народу, в пользу которого работают часто тайные общества, такие прелести, в которых путаются сами члены тайных обществ, рисуя будущий, идеальный, по их мнению, строй жизни?.. Прежде всего, народ не имеет времени и не желает слушать ваши бредни: он слишком занят для этого. <...> Как я буду философствовать с вами, если у меня постоянно зубы болят?..» Что касается пропаганды «идей высшего порядка» среди правящего класса и среди войска, то Чернышевский сравнил ее с обращением овец к волкам

жить дружно: «Будьте великодушны, не трогайте нас!». «Мыслящие люди» обязаны помнить: «Чтобы подвинуть жизнь вперед, не следует людям навязывать то, в чем они не видят пользы и что не может к ним привиться. <...> А проповедникам идей высшего порядка не следует брать на себя обузу, которую они поднять не в силах. <...> Большое дело могут и должны делать только большие люди», а всем другим полезно стараться лишь о том, чтобы «их работа и стремления были честны».

Пораженный показавшимися ему неожиданными речами, Скориков поделился своими недоумениями с сослуживцем А.Я. Назаровым, «ярким революционером». Тот немедленно объявил Чернышевского отступником от прежних убеждений, назвал его «постепеновцем» и пожелал лично поговорить с Чернышевским. Скориков устроил эту встречу с глазу на глаз. «До нашего слуха, — вспоминал он, — ясно доносилось, что в гостиной идет жаркий спор и что Н.Г. сильно волнуется и возвышает голос», и когда Ольга Сократовна прервала беседу, Скориков услышал произнесенную Чернышевским фразу: «Ничего подобного я никогда не писал и не высказывал!». Назаров остался при своих убеждениях. «Нет, я положительно не могу согласиться со взглядами Н.Г. на нелегальный образ действий», — заявил он. Упреки Чернышевскому, будто бы изменившему своим прежним убеждениям, высказали и другие товарищи Скорикова, которым тот написал⁷⁵.

Сам Чернышевский, как видим, не принимал заявлений такого рода. Ему, вероятно, нелегко было сознавать, что современное молодое поколение именно в его прежних работах искало опору для своих представлений о революционных способах борьбы с существующим политическим строем. В действительности он ни в чем не отступил от идей, высказанных почти тридцать лет назад. Никогда не отрицая реакционности самодержавного правления, Чернышевский и тогда предупреждал о губительности преждевременных и необдуманных выступлений революционеров, которые, как писал он в одной из статей 1860 г., ведут к «бесплодным катастрофам», к «вредной растрате собственных сил и общественных средств» (VII, 146–152). Чернышевский убежден, что разрешению общественных вопросов должен предшествовать «путь ученого исследования», разработка «теории об улучшении народного быта»⁷⁶. Так писал он в 1860 г., то же утверждал почти тридцать лет спустя, когда говорил Скорикову о бесполезности нелегальных акций и о «больших людях», способных на «большие дела».

По просьбе Скорикова оставить ему что-нибудь на память Чернышевский написал на полулисте почтовой бумаги: «Про-

свещенные люди какого-нибудь народа, имеющего просвещенных людей, видят, — масса их народа имеет дурные привычки, вредящие ей; они желают добра своему народу, чувствуют себя обязанными действовать на пользу ему, и находят, что важнейшая причина неудовлетворительности его настоящего положения состоит в дурных привычках его массы. Они чувствуют себя обязанными действовать для устранения этой главной причины его страданий.

Спрашивается теперь: какой характер должна иметь та их деятельность на пользу народа, которая, по их справедливому мнению, составляет их патриотическую обязанность?

Масса их народа имеет дурные привычки. Для его блага надобно, чтобы дурные привычки заменились хорошими. Почему же она до сих пор держится своих дурных привычек, почему не заменились они у нее хорошими? Она или не знает хорошего, или не имеет возможности усвоить его себе; чаще всего эти препятствия существуют вместе. Стало быть, просвещенные люди, желающие блага своему народу, должны знакомить его с хорошим и заботиться о доставлении ему средств приобрести это хорошее»⁷⁷.

При таком воззрении Чернышевским не могли не осуждаться очень резко террористические и подобные им авантюристические формы революционной борьбы. Они и прежде были чужды разрабатываемой им «теории трудящихся», а в восьмидесятые годы, когда они получили в народовольческой среде попытку теоретического обоснования и практического применения, взгляды современных революционеров встретили в великом шестидесятнике непримиримого оппонента. Потому-то с особой силой звучали услышанные некоторыми из его молодых собеседников слова осуждения нелегальной деятельности.

Примечания

¹ Летопись. С. 522.

² *Чернышевская Н.М.* Надпись на книге // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. статей. Л., 1969. С. 390, 396.

³ ГААО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 779. Л. 11, 13 об.

⁴ Лит. наследие. Т. III. С. 619.

⁵ ГАСО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.

⁶ Лит. наследие. Т. III. С. 107.

⁷ *Федоров К.М.* Жизнь в Астрахани (1883–1889). Из воспоминаний бывшего личного секретаря Н.Г. Чернышевского // Правда. 1928. 27 ноября. См. также: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 282.

- ⁸ Воспоминания (1982). С. 445.
- ⁹ Летопись. С. 553. К.М. Федоров родился 3 июня 1866 г. в г. Подольске Московской области в семье рабочего. В Астрахани оказался после переезда родителей в 1870-х годах. После смерти Чернышевского занялся издательской деятельностью, выпускал газету «Закаспийское обозрение» (1903–1912), «Туркестан» (до 1916). С. 1918 по 1923 г. работал инспектором Центрального архивного управления в Туркестане, затем в Москве до 1934 г. — ученым-картографом в художественной части музея института Маркса — Энгельса. В 1941–1944 гг. — научный сотрудник саратовского музея Н.Г. Чернышевского. Умер в Москве 4 октября 1947 г. (см.: *Пузанкова И.* Рядом с Чернышевским // Годы и люди. Саратов, 1990. Вып. 5. С. 75, 89).
- ¹⁰ Правда. 1928. 127 ноября. Между прочим Федоров рассказал здесь, что впервые встретился с Чернышевским на квартире в доме купца В. Полетаева. Чернышевские переехали в этот дом 20 февраля 1886 г.
- ¹¹ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 30. 1888 г. Л. 1–2.
- ¹² О нем см.: *Чернышевская Н.* Обзор первоисточников, хранящихся в Доме-музее Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский: Сборник статей. Саратов, 1939. С. 341; *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 255–256; *Карнаухова Е.И.* Воспоминания И.К. Курдова о Н.Г. Чернышевском // Чернышевский и его эпоха. М., 1979. С. 261–263.
- ¹³ Устные воспоминания А.М. Попова опубликованы в статье: *Юдин П.Л.* К биографии Н.Г. Чернышевского (по архивным документам) // Исторический вестник. 1906. № 1. С. 200, 203.
- ¹⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 77–78.
- ¹⁵ Лит. наследие. Т. III. С. 626. Ал. Ник. — старший сын Чернышевских.
- ¹⁶ Там же. С. 627.
- ¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 571. Л. 4 об.
- ¹⁸ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 252.
- ¹⁹ ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. Д. 209. Л. 49–50.
- ²⁰ *Чернышевская-Лебедева А.А.* Шесть месяцев под одной кровлей с Николаем Гавриловичем // Поволжская правда (Саратов), 1928. 28 ноября. № 143.
- ²¹ Свидетельство старшего преподавателя Астраханского педагогического института Д.Е. Казанчиева. См.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 252.
- ²² ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 52521. Л. 1.
- ²³ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 288.

- ²⁴ *Скориков Н.Ф.* Н.Г. Чернышевский в Астрахани // Исторический вестник. 1905. № 5. С. 476–495.
- ²⁵ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 4. 1888 г. Л. 5 об., 6.
- ²⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 280.
- ²⁷ Лит. наследие. Т. III. С. 638.
- ²⁸ ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 865. Л. 4 об.
- ²⁹ См.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 260–265.
- ³⁰ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 393.
- ³¹ ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. № 865. Л. 4 об.
- ³² ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 45. Л. 98. Здесь же отмечено, что 13 октября 1889 г. Е.Н. Чириков перешел на квартиру в дом Балабанова на Канаву во 2-м участке.
- ³³ *Бушканец Е.Г.* В.Г. Короленко в «Волжском вестнике» // Учен. зап. Казанск. пед. ин-та. Казань, 1972. Вып. 101. С. 11.
- ³⁴ См.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 274.
- ³⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 620. Л. 33.
- ³⁶ ЛН. Т. 67. С. 161.
- ³⁷ *Колесова И.В.* Чернышевский на спектакле Петроса Адамяна // Вопросы биографии Чернышевского. Волгоград, 1979. С. 58–65.
- ³⁸ Астраханская труппа (в скобках — сценическое имя): Н.В. Медвеев (Николаев), А.П. Золотарев (Смирнов), Н.Ю. Львов (Львов-Тургенев), Е.В. Климкович (Писарев), Ф.А. Стржелковский (Шолковский), С.К. Ильяшевич (Ильяшевич), Н.М. Буренин (Буренин), Ю.Д. Инсарский (Инсарский), М.Е. Филиппов (Евгениев), Л.М. Вейман (Яковлев), С.С. Батавин (Росатов), Н.Е. Карпов (Кручинин), Н.Е. Максимов (Максимов), А.П. Докучаева (Докучаева), Е.И. Архипова (Гусева), Вера Григорьевна, она же Р.Г. Левик (Ланская), Л.П. Медведева (Медведева), Е.П. Медведева (Медведева), Ю.Н. Львова (Львова-Тургенева), А.И. Ильяшевич (Ильяшевич), М.В. Филиппова (Евгениева), А.Н. Карпова (Кручинина), Е.А. Максимова (Максимова), О.А. Гурьева (Гурьева), О.М. Иванова (Надимова). Труппа играла в здании театра, находившегося в загородном саду купца К. Поляковича.
- В группе В.Н. Андреева-Бурлака: М.И. Писарев (Писарев), А.И. Горяинов (Горин), А.А. Штакеншнейдер (Костров), В.Е. Ильков (Ильков), В.Д. Рокотов (Рокотов), В.В. Шумилин (Шумилин), В. Васильев (Васильев), А.Н. Соколов (Соколовский), А.С. Никольский (Федчук), А.Я. Глама (Глама-Мещерская), Е.И. Цар (Варламова), А.А. Паклина (Эльмина), Н.А. Кузьмина (Кузьмина), Л.И. Шалковская (Шаховская).

За время летнего сезона 1884 г. труппами сыграно 32 драмы, в том числе «Гроза», «Горькая судьбина», «Коварство и любовь», «Маскарад», «Мария Стюарт»; трагедии «Разбойники», «Ермак, или Волга и Сибирь», «Нарцисс», «Уриэль Акоста», «Гамлет, принц Датский», «Самоуправцы»; 31 комедия, в том числе «Грех да беда на кого не живет», «Бесприданница», «Лес», «На бойком месте», «Доходное место», «Горе от ума», «Бедность не порок», «Не все коту масленица»; 31 водевиль и 16 опер, в том числе «Жизнь за царя», «Рогнеда», «Вражья сила», «Русалка», «Корневильские колокола» (ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 21, 1884 г. Л. 9–12, 18).

³⁹ Приводим архивный «Список артистам летнего театра в саду Поляковича “Аркадия” сезона 1886 г.»: режиссер Г.М. Гашинский (Ковров), помощник режиссера К.С. Евелев (Леонтьев), Л.Я. Щербов (Никольский), Е.И. Беккер (Полтавцев), К.И. Стоян (Светлов, Стоян), В.И. Лихомский (Лихомский), А.С. Яниковский (Сарматов), Б.З. Соршер (Казанский), Е.Н. Чернышев (Чернышев), П.Г. Протасов (Протасов), Д.И. Юматов (Юматов), суфлер В.Е. Тоскин (Тоскин), И. Фюрер (Спорова), Е.П. Сабакеева (Шебуева), А.Я. Ермилова (Ермилова), А.А. Туманович, М.А. Ковальская (Мекульская), М.С. Гашинская (Брянская), Н.А. Протасова (Протасова), А.А. Добротина (Добротина), хористки К.А. Ватипалс (Миролюбова), Е.А. Григорьева (Стрепетова), М.А. Хохлова (Семенова) (ГААО. Ф. 286. Оп. 1. Д. 139. Л. 22).

⁴⁰ Состав труппы Г.М. Коврова летом 1887 г.: Г.М. Гашинский (Ковров), К.И. Стоян (Светлов-Стоян), Э.Д. Бастунов (Бастунов), Е.Н. Чернышев (Чернышев), А.С. Яниковский (Сарматов), П.Г. Протасов (Протасов), М.Б. Соловьев (Соловьев), В.И. Лихомский (Лихомский), С.И. Коваленко, Б.З. Соршер (Казанский), А.Г. Георгандопуло (Леонов). В.Е. Тоскин (Тоскин), В.И. Сперанский (Сперанский), М.С. Коврова (Брянская), М.К. Агранович (Львова), А.В. Ген (Шорохова), Р.А. Добротина (Добротина), П.А. Доманина (Доманина), Е.И. Мострас (Мострас), А.А. Протасова (Протасова), М.Ф. Усова (Александровская), Ю.А. Баракки (Соловьева), Н.С. Андреева (Любимова), Е.Т. Лебедева (Лебедева), Х-Р.В. Дембо (Дембо).

Состав его же труппы в 1888 г.: Г.М. Гашинский (Ковров), В.И. Лихомский (Лихомский), Б.З. Соршер (Казанский), А.Д. Георгандопуло (Леонов), Г.Г. Ларионов (Ларионов, Ларин), М.В. Аграмов (Аграмов), И.Н. Ионов (Хереонский), С.П. Войцехович (Эспе), М.С. Коврова (Брянская), Л.С. Яниковская (Яниковская), Р.А. Добротина (Добротина), Н.Н. Заплатана (Ку-

- дрин), Е.А. Сокановская (Иловайская), В.Е. Прокофьева (Прокофьева), Ю.Н. Минина (ГААО. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1700. Л. 59–64).
- ⁴¹ Правда. 1928. 27 ноября.
- ⁴² Вероятно, жены астраханского врача Н.О. Харуцкого.
- ⁴³ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 286.
- ⁴⁴ Лит. наследие. Т. III. С. 635.
- ⁴⁵ Исторический вестник. 1905. № 5. С. 494.
- ⁴⁶ ГААО. Ф. 286. Оп. 1. Д. 150. Л. 27–28.
- ⁴⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 471. Л. 1.
- ⁴⁸ О нем подробнее см.: Научная биография (1992). Ч. 3. С. 115–116.
- ⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 419. В Полное собрание сочинений это письмо Чернышевского не включено.
- ⁵⁰ *Чернышевский К.А.* Час с Николаем Гавриловичем // Поволжская правда (Саратов). 1928. 25 ноября. № 141.
- ⁵¹ *Вандалковская М.Г.* Новые архивные данные о деятельности шестидесятников в 80-е годы XIX в. // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 203.
- ⁵² ЛН. Т. 67. С. 161.
- ⁵³ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 184.
- ⁵⁴ Союз! Сборник общестуденческой организации. М., 1884. Вып. 1. С. 11.
- ⁵⁵ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 41. 1884 г. Л. 8. См. также: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 194.
- ⁵⁶ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. 1883 г. Л. 37.
- ⁵⁷ Там же. Оп. 10. Д. 2994. Л. 52–60. Ср.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 167, 195; *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 25.
- ⁵⁸ Исторический вестник. 1905. № 7. С. 128.
- ⁵⁹ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 188.
- ⁶⁰ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 41. 1884 г. Л. 47.
- ⁶¹ Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1411. Л. 1.
- ⁶² Там же. Ф. 286. Оп. 2. Д. 29. Л. 114.
- ⁶³ Там же. Ф. 1. Оп. 6. № 13. 1887 г. Л. 2–2 об.
- ⁶⁴ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 196.
- ⁶⁵ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 28. 1888 г. Л. 135, 208. По приговору Тифлисской судебной палаты от 9 октября 1884 г. князь Г.К. Чичуа был признан виновным в убийстве Софрония Мехрикадзе, совершенном в состоянии запальчивости, и подлежал «лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и ссылке на житье в Иркутскую губернию с воспрещением всякой отлучки с места, назначенного для его жительства, в продолжении трех лет и выезда затем в другие губернии и обла-

сти Сибири в течение десяти лет» (XV, 958; ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 160). В мае 1886 г. ссылку в Сибирь заменили на поселение в г. Красный Яр Астраханской губернии, а в начале 1888 г. ему разрешили жить в Астрахани.

⁶⁶ Н.Г. Чернышевский. Сборник. Л., 1941. С. 276.

⁶⁷ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 41. 1884 г. Л. 10, 12, 20, 25, 101. Ср.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 193.

⁶⁸ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. 1883 г. Л. 3, 74; Ф. 286. Оп. 2. Д. 29. Л. 138, 143, 146, 154.

⁶⁹ ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 29. Л. 3.

⁷⁰ Русский перевод полностью напечатан в кн.: *Чешихин-Ветринский*. Н.Г. Чернышевский. Пг., 1923. С. 186–192. Об установлении имени корреспондента см.: *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 172.

⁷¹ Подробнее см.: Научная биография (1992). Ч. 3. С. 223–277.

⁷² *Чердынцев Н.* Что делать? // Журнал журналов. 1916. № 24. С. 5.

⁷³ Подробнее: Научная биография (1992). Ч. 3. С. 125–126.

⁷⁴ *Писарев Д.И.* Соч.: В. 4 т. М., 1955–1956. Т. 3. С. 67, 69.

⁷⁵ Исторический вестник. 1905. № 5. С. 485–490.

⁷⁶ См. раздел «Теоретические основы демократии» в кн.: Научная биография (1859–1864).

⁷⁷ Исторический вестник. 1905. № 5. С. 494–495. Этот текст не включен в Полное собрание сочинений.

19. Научное и литературное творчество

«Я буду с утра до ночи работать, т.е. писать» – в этой фразе из письма, отправленного А.Н. Пыпину на другой день по приезде, высказано намерение Чернышевского установить для себя ритм жизни в новых условиях. «Что буду писать, уведомя после. Знай только, – извещал он брата, – что я еще сохранил способность по целым месяцам работать изо дня в день с утра до ночи, не утомляясь» (XV, 405). Дело не в его работоспособности, как бы говорил Чернышевский, а в зависящем от властей разрешении печататься. Не дожидаясь ответа, он сделал попытку обратиться к редактору-издателю «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу непосредственно. Начальник астраханского жандармского управления в донесении петербургскому начальству от 3 ноября 1883 г. за № 470 уведомил, что поднадзорный «имел намерение» послать Стасюлевичу телеграмму «с просьбою открыть ему в Астраханском отделении государствен-

ного банка кредит в 1000 рублей», которые возвратит «после, литературным трудом». «Но сколько мне до настоящего времени известно, — изведал подполковник, — телеграммы еще не подавал, а 1 ноября сдал на почту куда-то простое письмо. Предполагаю, не писал ли Стасюлевичу, — так как в проектированной к подаче депеше имел намерение прибавить: “пишу вам почтою”»¹. Говоря о Стасюлевиче, Чернышевский свидетельствовал в 1888 г.: «Когда я, возвратившись из отдаления в Россию и не имея никаких средств к жизни, просил у него работы, он отказал мне» (XV, 784). Ни письма Чернышевского, ни ответа Стасюлевича не сохранилось.

В письме к А.Н. Пыпину от 7 ноября Чернышевский сообщил о намерении воспроизвести сочиненный в Сибири и хорошо запомнившийся «рассказ», имеющий «громадный размер; тома полтора “Вестника Европы” или “Отечественных записок” или можно сравнить его по длине с самыми большими романами Диккенса». Именно эти петербургские издания упомянуты не случайно — «честные журналы», в которых он находил возможным для себя печататься. Содержание задуманной вещи «чисто психологическое; круг событий — семейные отношения; ни малейшей примеси более широких в историческом или ином смысле элементов нет; поэтому рассказ безусловно невинен. Первую часть его надеюсь написать в месяц». Письмо заканчивалось настойчиво повторяемой фразой о «зарабатывании денег на жизнь Оленьки и детей и на уплату долгов» (XV, 407). Речь шла, по всей вероятности, о многоплановом романе «Вечера у княгини Старобельской», к замыслу которого он будет возвращаться не один раз. В другом своем письме, сохранившемся частично, Чернышевский изложил план работ на ближайшее время: «Романы без числа», издание антологии и большого сборника повестей авторов малоизвестных или затрудняющихся выпустить свои произведения в свет, новое издание экономических трудов Милля с примечаниями переводчика, «ученые статьи, какие нужны для журналов», «переводы». «Вся важность для меня, — внушал он Пыпину, — получать деньги, чтобы жить и расплатиться с долгами. Дело готов иметь со всяким честным человеком, издающим честный журнал или честные книги и имеющим деньги на авансы» (XV, 440).

В первое время А.Н. Пыпин являлся единственным связующим звеном с литературно-издательским миром. Однако очень скоро Чернышевский, раздосадованный его медлительностью, начал искать другую, более эффективную возможность выйти в печать. И дело вовсе не в том, что Пыпин будто бы, как долгое время полагали исследователи, намеренно затягивал печатание произведений Чернышевского, не разделяя взглядов автора. В одной монографии

так и сказано: «...Сделал все, чтобы они не появились»². Было другое. Александр Николаевич подошел к делу с чисто гуманной стороны, к тому же он сознавал предстоящие цензурные затруднения. В письме от 5 ноября 1883 г. он посоветовал не торопиться с работой, «нужно же отдохнуть после усталости от такого долгого, утомительного пути, успокоить и мускулы, и нервы». В следующем послании он снова просил не волновать себя «вопросами о работе и о долгах, никем не предъявляемых». На какое-то время денег, им предложенных, вполне хватило бы, и он умолял не переводить личные отношения на денежные счета. В этом же письме Пыпин дал понять, что известные «обстоятельства» позволяют пока надеяться на переводы только научных книг³.

Конечно, Пыпин был прав в своих советах не спешить с работой. Однако он все же не учел, что Чернышевский болезненно воспринимал всякую материальную зависимость, даже исходящую от брата, и что его особенно тяжело ранили переживания Ольги Сократовны, болезненно переносившей безденежье. Сыну Михаилу Чернышевский писал 4 февраля 1884 г., уже не скрывая своего недовольства нерасторопностью Пыпина: «Прошу тех, кому случается думать обо мне с расположением, то есть твоего дяденьку, других родных и тебя, выбросить из головы заботы о моих расстроенных нервах и моей дряхлости и т.д. Все эти фантазии очень милы. Но благодаря им я целые два месяца оставался без работы, и пока они не будут отброшены вами, мои друзья, я буду оставаться нищим» (XV, 449).

Слова «два месяца оставался без работы» означали, что ранее Пыпин работу присылал. Это были заказы на переводы книги немецкого филолога О. Шрадера «Сравнительное языковедение и первобытная история» и труда английского физиолога В.-Б. Карпентера «Энергия в природе». Занятия переводами Чернышевский по праву считал недостойным для себя делом. «Переводить книги — такому ли человеку, как я, тратить время на эту грошовую работу?» — писал он сыну, но тут же прибавлял, что пока нет другого, будет ради заработка заниматься и этим, заниматься «лишь по праву нищего», как он выразился в письме к Пыпиным от 29 марта по окончании переводов (XV, 450, 455).

Обе книги не понравились Чернышевскому, он без обиняков назвал их «дрянью» и попросил передать издателям (соответственно М.А. Антоновичу и Л.Ф. Пантелееву) свое желание не выставять имени переводчика — «это не такие труды, чтобы мне могло быть приятно хвалиться ими» (XV, 455). Тем не менее обязанности переводчика он исполнил со всею добросовестностью. Так, в связи

с книгой Шрадера он просил Пыпина прислать алфавиты «санскритский, зендский, персидский (армянский есть у меня), албанский, кельтский, литовский (семитических не нужно, я помню их), (тюркских не нужно, я помню их), грузинский» (XV, 453). Книгу Карпентера он сопроводил своим послесловием с изложением основных понятий материалистического мировоззрения, однако оно не вошло в издание по предложению М.А. Антоновича, предвидевшего цензурные осложнения⁴. Заметки, долгое время считавшиеся утраченными, были найдены и опубликованы в 1934 г.⁵ «Энергия в природе» вышла в августе 1885 г., а книга О. Шрадера только в марте 1886 г.

В те же астраханские месяцы Пыпин прислал для перевода книгу знаменитого английского философа Г. Спенсера «Первые основания философии». Принципиальные мировоззренческие расхождения с автором побудили было Чернышевского к составлению довольно обширных примечаний, но вскоре он отказался от них. «...По-видимому, издатель, — писал он Пыпину 15 июля 1884 г. о Л.Ф. Пантелееве, — имеет желание, чтоб я ограничился исполнением его заказа и не обременял книгу моими прибавками, от которых он не ожидает пользы» (XV, 468). Вместо примечаний Чернышевский решил написать послесловие. В конце августа перевод был готов, около двух недель ушло на составление «характеристики философии Спенсера», 13 сентября отослал перевод, но без этого прибавления (XV, 479–480). Рукопись послесловия не сохранилась. Книга вышла из печати только в 1897 г. под заглавием «Основные начала» без обозначения имени переводчика. Чернышевский скептически воспринял идеи позитивизма, пронизывающие философию Спенсера, а его труды назвал «пустословием или враньем», предпочитая получить для работы книги английского историка древнего права Г.-Д.-С. Мэна, но выяснилось, что Мэн уже переведен (Т. XV. С. 465, 468). Одновременно с А.Н. Пыпиным и в постоянном взаимодействии с ним к участию в литературных делах Чернышевского подключился А.В. Захарьин, от которого, однако, писатель ждал более активного содействия, чем от Пыпина. В конце августа 1884 г. Захарьин навестил Чернышевских⁶. Жандармский подполковник доносил в Петербург 1 сентября: «К Чернышевскому приезжал “старый его знакомый” губернский секретарь Александр Васильев Захарьин — прибыл 24 и уехал 29 августа вверх по Волге». По распоряжению Департамента полиции он тут же был взят «на карточку». Выданная начальником петербургского отделения по охранению порядка и общественной безопасности Вельбицким характеристика оказалась вполне благополучной, и у полиции Заха-

рьин беспокойства не вызвал. Здесь отмечалось: «Ему 50 лет, имеет жену Александру Васильевну⁷ 40 лет и детей: от первого брака сына Михаила Михайлова 20 лет, от 2-го брака Александра Александрова 15 и Елену 8 лет. <...> Определенных занятий он не имеет и, по-видимому, обладает хорошими средствами к жизни, почти ежедневно бывает в клубах»⁸.

В письме от 8 октября 1884 г. Захарьин запросил «что-нибудь беллетристическое». «Предъявление в цензуру, — писал он, — конечно, произведено должно быть как можно скорее, дабы положить конец вопросам о праве Вашей деятельности на литературном поприще». Выяснение позиции цензурного ведомства, подчеркивал Захарьин, важно и для журнальных редакторов, пока остерегающихся приглашать Чернышевского к сотрудничеству⁹. Подобная решительность импонировала писателю больше, чем советы Пыпина не спешить с работой, и Чернышевский выслал в конце октября свою поэму «Гимн Деве Неба». «Единственный цензурный вопрос, возбуждаемый этою поэмою из быта греческой древности, состоит в том, что пьеса написана мною», — пояснял он. Чернышевский просил поставить свое имя или, в случае затруднений в цензуре, придать поэме вид перевода («из Сэвиджа Лэндора»), выбрав для обозначения имени переводчика «какую-нибудь из обыкновеннейших русских фамилий: Андреев, Павлов, Яковлев, или какую другую в этом роде». На художественном достоинстве посланной вещи автор не настаивал, она служила лишь пробным камнем на пути в печать: «моя поэма — очень удобная вещь для решения этого вопроса, потому что ровно никаких вопросов, кроме этого одного, не имеет она возбуждать» (XV, 436, 437). Судя по всему, Чернышевский восстановил текст ее по памяти, поскольку ее прежний вариант, посланный из Сибири в 1875 г. М.М. Стасюлевичу, осел в жандармском архиве. В поэме изображается, в пересказе самого автора, «вымышленный эпизод из войн между карфагенцами и греками в Сицилии», когда руководимые Газдрубалом кархедонцы-завоеватели наносят поражение славным защитникам Акраганта. Победенные взывают к боготворимой ими Деве Неба (Артемиде), и она, как уверен поведавший историю сражения старец-певец Эмпедокл, воодушевит их на будущие подвиги и своими стрелами возмездия поможет обработать врага в бегство (XV, 489, 906—918).

Письмо Захарьина от 22 ноября принесло обнадеживающие новости. «Теперь я сильно занят хлопотами о Вашем праве печататься», — сообщал он. Около середины ноября Захарьин заявился с поэмой Чернышевского к начальнику Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистову, тот пообещал переговорить с по-

лицей, «которая вообще дирижирует направлением литературы». Спустя несколько дней Феокистов пригласил Захарьина и объявил: напечатание стихотворения под псевдонимом «не встречает препятствий»¹⁰. Как свидетельствует архивный документ, встреча Захарьина с Е.М. Феокистовым состоялась в понедельник 19 ноября¹¹. Именно этим числом помечено официальное письмо директора Департамента полиции Н.П. Дурново к Феокистову с приложенными рукописями Чернышевского 1875 г.: «Академия Лазурных Гор», «Из Видвесты», «Гимн Деве Неба», тетрадь с начатым «Очерком содержания всеобщей истории человечества», неоконченный рассказ и отрывки в стихах из «Гимна Деве Неба»¹². По распоряжению Дурново эти рукописи были изъяты из архива полиции 16 ноября для передачи в Главное управление по делам печати¹³. «Бумаги Чернышевского» Феокистов возвратил в Департамент полиции 26 ноября 1884 г.¹⁴ Движение рукописям, без сомнения, было дано в связи с хлопотами Захарьина. Воодушевленный успехом, он повел с Феокистовым разговор о праве Чернышевского на литературную деятельность, но тот сослался на Дурново. Во вторник 20 ноября аудиенция была ему дана. От Захарьина потребовали докладную записку для сообщения министру внутренних дел. «Сегодня я отвезу ему записку», — извещал Захарьин Чернышевского 22 ноября¹⁵, и уже 27 ноября написал, что вопрос о праве «занятий в печати» выяснился, и теперь все рукописи следует направлять к нему для последующей их передачи в цензуру. «Я очень счастлив, что на мою долю выпало это посредничество», — писал Захарьин. Предупредил он и о главном условии властей: неразглашение псевдонима и предупреждение тем самым оваций¹⁶.

Получив в декабре это письмо, Чернышевский ускорил выполнение какого-то замысла, название которого не сообщил. «Я рассчитывал со следующей почтою отправить Вам работу, которою занимаюсь. Вижу, что не успею кончить ее к тому дню. Думаю, что она будет готова дня через четыре. Но, пожалуй, возьмет она у меня и еще с неделю. Как будет она готова, пошлю на Ваше имя». В этом письме (оно датировано 9 декабря) Чернышевский заявил о полном доверии Захарьину. «Распоряжайтесь ею, — писал он о будущей рукописи, — как почтете лучшим; я повторяю, что вперед согласен с Вашими мыслями по всякому, какой представится Вам, вопросу о моих работах» (XV, 494). Обещанную рукопись Чернышевский послал с письмом от 29 декабря, но это была, как он объяснил здесь, не повесть, которая «выходит так длинна, что не могу скоро кончить ее», а какая-то статья. «Только захочет ли какой-нибудь журнал напечатать такую никому в России не нужную и не любопытную ста-

тью?» — прибавлял он (XV, 501). По всей вероятности, речь шла о статье «Характер человеческого знания». Захарьин без промедления отнес ее в Главное управление по делам печати, куда его 17 января 1885 г. пригласили для «необходимых объяснений»¹⁷.

Начало 1885 г. проведено Чернышевским в сочинении «ничтожных», по его словам, статей. 15 января он отсылает переводную статью «О столетии газеты “Таймс”», а спустя неделю «статейку о бассейне реки Конго». «Хочу испытать, — пояснял он, — могу ли получить деньги посредством такой пустой работы» (XV, 502, 506). 6 февраля Главное управление по делам печати известило Захарьина, что не видит препятствий к опубликованию этих рукописей¹⁸. Оставалось найти издателей, и Александр Васильевич первым делом пришел к А.Н. Пыпину. «Мне долго приходилось убеждать Сашеньку, — сообщал он Чернышевскому, — что “Столетие Таймса” не может быть ничьей самостоятельной, не переводной или не компилированной статьей, что поневоле об этом предмете надо взять то, что говорят иностранцы. Пройти же молчанием это событие для “Вестника Европы” — будет просто невежливо. <...> Статейку о Конго следовало бы тоже поскорее поместить там же, но С<тасюлевич> откладывает до апрельской книжки. <...> Статейку о “Характере человеческого знания” “Вестник Европы” принять, кажется, побаивается, по крайней мере так я понял из слов Сашеньки»¹⁹. Статью «Характер человеческого знания» напечатали за подписью «Андреев» «Русские ведомости» (1885. 6 марта. № 63 и 7 марта. № 64), «Столетие газеты “Таймс”» опубликована за подписью «Б» «Вестником Европы» (1885. № 3)²⁰, «Гимн Деве Неба» Андреева нашел пристанище в «Русской мысли» (1885. №7)²¹. Судьба других рукописей неизвестна.

Самой крупной работой, принесшей Чернышевскому материальный достаток, стал перевод с немецкого «Всеобщей истории» Г. Вебера. Автора он выбрал сам. Известив Захарьина о своем намерении в письме от 14 октября 1884 г., Чернышевский прибавлял, что издание имело бы, по его мнению, «очень солидный успех» и что он берется осуществить его в три года. Через две недели он попросил выслать книги и подыскать издателя, если не получится стать «хозяином издания». А.Н. Пыпина и сына Михаила он призвал поторопить Захарьина с исполнением просьбы (XV, 485, 490). Пыпину изложены требования к «качеству книги», выбранной для перевода: «1) Дельность; 2) Преобладание фактичности над тенденциозностью; 3) Большой объем (чтоб это было солидное денежное, а не грошовое предприятие); 4) То, чтобы книга была покупаема публикою». Пока, писал он 31 октября, «я не придумал, какая книга

лучше “Всеобщей истории” Вебера удовлетворяла б этим условиям» (XV, 489). Однако мысль приняться за перевод Вебера не была поддержана коллегами Пыпина. Размеры задуманного предприятия «затрудняют издателей — по крайней мере тех, кого я знаю», — писал он 17 ноября²². Чернышевский предвидел подобное возражение (см.: XV, 490), и в очередном письме к Пыпину от 27 ноября он, обосновывая просьбу о Вебере, писал в отчаянии: «Другого дела у меня нет и не предвидится. <...> Друг мой, прошу тебя, имей снисхождение к моей просьбе» (XV, 492). О.С. Чернышевская сопровождала это письмо постскриптумом: «Наш Н.Г. сильно хандрит (иногда замечаю, что и плачет). Работы никакой нет»²³. Возможно, она несколько сгущала краски: в это время Чернышевский знал о положительном решении цензуры относительно некоторых его статей. Но все же это были, как он выражался, «грошовые предприятия», постоянного, гарантированного заказа не получалось, неопределенность положения оставалась и грозила вызвать нервный срыв. А тут еще пришло известие и от Захарьина (от 22 ноября), в котором тот подтверждал пока непреодолимые сложности с организацией перевода Вебера. «По советам всех людей, знающих дело, и людей практичных, — писал он, — теперь не время заниматься его изданием, ибо не пойдет оно»²⁴. Зная о безуспешных хлопотах Пыпина и Захарьина, М.Н. Чернышевский писал отцу 1 декабря: «Если Вы останетесь при Вашем мнении относительно Вебера и после письма Александра Васильевича, то я пришлю Вам, милый Папаша, эту книгу»²⁵. Но Чернышевский уже принял решение, и сообщил 2 декабря Захарьину, а 19 декабря Пыпину, что бросает мысль о переводе Вебера (XV, 493, 496). Совет Пыпина приняться за перевод начавших выходить в Германии томов всеобщей истории Л. Ранке Чернышевский принял — «это хороший труд очень почтенного ученого» (XV, 498). Однако издатель, как сообщил Пыпин, на длительное время уехал за границу, и снова возникла пауза, затянувшаяся до февраля следующего года.

9 февраля Захарьин известил, что собирается в Москву «для переговоров с некоторыми журналистами и издателями разных иностранных сочинителей»²⁶. Пыпин сопровождал его письмами к «разным тамошним литературным господам»²⁷, в том числе к А.Н. Веселовскому, которого просил «устроить для Чернышевского перевод многотомной “Всеобщей истории” Вебера». «Зная о моей близости с Солдатенковым, человеком гуманным и отзывчивым, он, — вспоминал А.Н. Веселовский о Пыпине, — надеялся, что мне удастся склонить Козьму Терентьевича к обширному и долголетнему издательскому предприятию, которое обеспечило бы положение

Чернышевского. Солдатенков остался верен себе. Заслышав о том, кто будет у него переводчиком, кого нужно выручить, он радостно вострепнулся, назначил высокий гонорар, льготные условия. Желанный ответ я передал через того же таинственного посланца Пыпину, и не было пределов его ликования»²⁸. Свои действия Солдатенков согласовал с помощником по издательскому делу Е.Ф. Коршем. Товарищ В.Г. Белинского, Т.Н. Грановского и А.И. Герцена, Евгений Федорович Корш через всю жизнь пронес лучшие идеалы сороковых годов, всегда симпатизировал в литературе всему талантливому и честному. В 1855 г. Чернышевский приглашал его на публичную защиту своей магистерской диссертации, переписывался с ним в 1858 г.²⁹ «Вы передаете мне дружескую его благодарность, — писал Корш Захарьину о Чернышевском 2 апреля 1885 г., — а я, с своей стороны, искренно благодарю Вас за то, что доставили мне совсем неожиданный случай приобрести ее»³⁰.

В ту московскую поездку Захарьину удалось договориться с «Русской мыслью» о напечатании «Гимна Деве Неба», переговорить в комитете иностранной цензуры о переводе Вебера Чернышевским и получить разрешение на издание, за исключением мест, которые «изображают не совсем приличную картину русской истории в эпоху прошлого столетия»³¹. Денежные условия перевода Чернышевский нашел «превосходными». 6 марта 1885 г. он получил московское письмо Захарьина от 28 февраля (оно не сохранилось) с изложением всех обстоятельств, 7 числа утром пришел первый том оригинала «и уж принялся за перевод его», — сообщал Чернышевский ему 7 же марта. «Я очень благодарен ему», — писал он здесь же о К.Т. Солдатенкове (XV, 520).

Еще в 1856 г. К.Т. Солдатенков как издатель выступил совместно с Н.М. Щепкиным и Н.Х. Кетчером с книгами стихотворений А.В. Кольцова, Н.П. Огарёва, Н.А. Некрасова. В 1859–1862 гг. он выпустил первое собрание сочинений В.Г. Белинского в двенадцати томах, отнесенное современниками к значительнейшим фактам литературно-общественной жизни. Солдатенков и в последующие годы немало потрудился для прогрессивной литературы. Заручившись участием Чернышевского, он, без сомнения, укрепил переводческий корпус своей издательской фирмы.

21 марта 1885 г. Чернышевским посланы первые 76 страниц перевода первого тома (XV, 521). Экспертизу качества работы провел Е.Ф. Корш. «Я считал себя до сих пор наторелым переводчиком, — писал он Чернышевскому 28 апреля 1885 г., — но, прочитав пять первых листов Вашего перевода, пришел в совершенный восторг от так легко дающегося Вам мастерства обходить долговязые темноты и

темные долговязости книжного немецкого языка при переложении его на живой и ясный русский. Вы пишете, что авторская и переводческая амбиция не принадлежит к Вашим недостаткам³²; она во всяком случае не потерпела бы от меня тем более, что я с давних пор привык отдавать Вам, по мере своих сил, полную справедливость»³³. 3 сентября 1885 г. перевод (878 страниц) был завершен (XV, 552), в середине ноября первый том с указанием «перевел Андреев» вышел из печати³⁴.

Поначалу Солдатенков установил оплату в 25 рублей за один печатный лист обычного крупного шрифта, но текст печатался тремя шрифтами и требовался трудоемкий пересчет более мелких шрифтов, оплачиваемых выше. Чтобы избежать этого утомительного подсчета, Солдатенков по договоренности с Коршем, как писал Солдатенков Захарьину 16 ноября сразу по выходе из печати первого тома, условились платить по 30 рублей «за весь перевод кругом». В результате за первый том (53 печатных листа) переводчику выписали 1590 рублей³⁵ – плату, которую Чернышевский по справедливости счел очень щедрой (XV, 561). Во все последующие годы Солдатенков ни разу не нарушил своего обязательства. «Благодаря Вам, – писал ему Чернышевский в декабре 1888 г., – уж больше трех лет живу безбедно» (XV, 787).

Опыт работы с первым томом и уяснение исторической концепции Г. Вебера привели Чернышевского к выводу, который он пока в самом общем виде сформулировал в письме к И.И. Барышеву 28 декабря 1885 г., уже принявшись за перевод второго тома: «...Я полагал бы дать продолжению его такую форму, которая пришлась бы более по вкусу русским читателям и обеспечила б успех русского издания» (XV, 559). Подобное предложение могло изменить цели издателя. Ввиду важности дела Чернышевскому написал сам Солдатенков. Это письмо не сохранилось, но Чернышевский в своем послании к Захарьину от 1 февраля 1886 г. пересказал его содержание и процитировал часть своего ответного письма, которое в полном виде также не сохранилось. Издатель просил продолжить перевод «вполне и без переделок», Чернышевский пообещал, но мысли об изменениях не отставил, отодвинув время представления «плана переделки» (XV, 560, 561). Как пояснил Чернышевский три года спустя, «имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я» (XV, 769).

По мере продвижения работы недовольство Чернышевского немецким источником нарастало. В 1887 г., в июне: «У Вебера множество пустой болтовни», но и «множество пробелов, которые надобно дополнить»; в июле: «...Возможно стало приняться за ис-

полнение моего плана. Делаю попытку. К переводу VII тома (конец которого отправлен вчера) я присоединяю свою статью («О расах»); в августе: пишет дополнения к VII тому, «место для них выигрывается выбрасыванием пустословия из Вебера»; в ноябре: к переводу VIII тома приложен очерк «О классификации людей по языку» (XV, 631, 645, 646, 655). В 1888 г., в январе: «В переводе V тома выброшено мало, в VI томе больше, в VII и VIII томах довольно много»; в мае: «Книга для перевода выбрана мной. Судил о ней по отзывам немецких историков. Они обманули меня. Книга несравненно хуже своей репутации. Я стыжусь своей ошибки». IX том сопровождается статьей Чернышевского «О различиях между народами по национальному характеру», X том — «Общий характер элементов, производящих прогресс»; в декабре: «Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне», «теперь уж набрана половина XI тома; на этот том уж можно махнуть рукой. Но остается еще четыре тома. Я улучшу их, насколько допускается необходимостью сохранить за ними вид продолжения прежних томов», «за эти томы, — писал он Солдатенкову, — русская публика будет более благодарна Вам, чем за первые одиннадцать» (XV, 663, 670, 770, 771). Вышедший в апреле XI том включал статью Чернышевского «Климаты. Астрономический закон распределения солнечной теплоты». Здесь же приложением даны выписки из «Истории России в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» Н.И. Костомарова. Для «перedelки» Вебера у Барышева запрошены труды французского историка П. Шероэля, автора работ по эпохе кардинала Ж. Мазарини, и английского исследователя истории революции в Англии С.-Р. Гардинера (XV, 772—773). Для второго издания Вебера Чернышевский готовил обширную вводную статью «Очерки научных понятий о возникновении человеческой жизни и о ходе развития человечества в доисторические времена» (X, 950—977).

Чернышевский ревниво оберегал свой текст перевода от вмешательства извне. Еще в феврале 1884 г. он писал для сообщения издателям русского перевода: «...Кроме чисто корректурного чтения набора для исправления очевидных описок, никаких поправок в посланной мною рукописи я не позволяю» (XV, 450). В истории с переводом Вебера случилось так, что державший корректуры Е.Ф. Корш время от времени позволял себе делать в рукописи поправки, которые с переводчиком не согласовывались. Так, обнаружив в переводе первого тома изменения в орфографии некоторых китайских имен, Чернышевский дал знать об этом своему корректору³⁶, но от выговора пока удержался. Когда же Корш, как выяснилось, начал поправлять различные имена и даже целые выражения

во втором и последующих томах, он вынужден был вмешаться. «Такой писатель, как я, не нуждается в чужих исправлениях того, что он пишет», — заявил он И.И. Барышеву в декабре 1888 г. и потребовал сменить корректора (XV, 773, 774). Не совсем оправданная резкость заявления может быть объяснена только настроением, овладевшим Чернышевским в период осложнений в отношениях с Захарьиным и Солдатенковым. Те же чувства владели Чернышевским и 3 января 1889 г., когда он написал самому Коршу письмо с категорическим требованием прекратить корректурное чтение рукописей перевода Вебера (XV, 810). Вскоре (12 января) он снял свое требование (XV, 817, 818). Однако И.И. Барышев все же сообщил 27 июня: «Коршу же посылать корректировать не будем»³⁷.

Чернышевский не успел завершить перевод всей пятнадцатитомной «Всеобщей истории» Г. Вебера — двенадцатый взял в Саратов, а выпустить его не довелось. После его смерти издание закончили В. Неведомский и Э. Циммерман, уже без отступлений следовавшие оригиналу.

Вносимые Чернышевским «добавки» в веберовский текст существенным образом корректировали взгляды немецкого историка. Например, иные исторические события Г. Вебер склонен объяснять расовыми принадлежностями людей. В своей статье, подключенной к составу седьмого тома, Чернышевский, придерживаясь «научных понятий», пояснял, что никакая раса не имеет и не должна иметь преимущества перед другой, и за разделением людей в умственном и нравственном отношениях по расовым признакам скрывается желание отстоять определенные (чаще всего сословные) привилегии одних перед другими (X, 808—826). Точно так же несостоятельны попытки большинства историков придать различиям по языку и национальной принадлежности характер теоретического положения, согласно которому одни нации получают преимущества перед другими (X, 826—896). Во взгляде Чернышевского на историю просматривается принцип, обозначенный им в одном из сибирских писем к сыновьям: «Добро и разумность — это два термина в сущности равнозначашие. <...> Критериум исторических фактов всех времен и народов — честь и совесть» (XIV, 645), — вывод, применимый и к оценке действий субъектов истории, и к оценке трудов историков, принявших за исследования.

По поводу своей статьи в седьмом томе Чернышевский однажды предупредил И.И. Барышева, что, возможно, в журналах «будут называть излагаемые в ней мысли ошибочными, невежественными и т.д. Прошу Кузьму Терентьевича не смущаться этим» (XV, 645). Отрицательные отзывы действительно появились, но в основном в

них выражалось недоумение по поводу сокращений в тексте оригинала и манеры изложения в предисловиях и статьях³⁸. Но были и положительные отклики. Издание в целом оценивалось как «лучший свод», важный «и для истории культуры, и для истории литературы, одинаково полезный и для студентов, и для учителя...»³⁹. Один из рецензентов, отмечая точный и легкий русский язык перевода, выступил союзником автора статьи о расах в стремлении доказать, «насколько ошибочны очень еще распространенные представления о расах как об исконных и неподатливых подразделениях человечества. Такой взгляд является источником всевозможных заблуждений, потому что стереотипные фразы об ограниченности того или иного племени, о его особых свойствах и склонностях освобождают от необходимости искать исторического объяснения фактов»⁴⁰. Другой рецензент также энергично поддержал тезис «о единстве человеческого рода и о способности всех рас человеческих к развитию»⁴¹.

Чернышевский, по его словам, не читал отзывов за неимением времени, но один из них задел его за живое. Это была рецензия в ноябрьской книжке «Вестника Европы» за 1888 г., в журнале, «пользующемся авторитетом в хорошей части публики». А.Н. Пыпин в письме от 24 ноября рассказал Чернышевскому, что М.М. Стасюлевич, печатая отзыв, где с неодобрением и «с шуточками» говорилось о сокращениях немецкого текста, понятия не имел, кто такой «Андреев», а узнав от Пыпина, что это Чернышевский, попросил написать в Астрахань «об этом недоразумении, которое ему очень прискорбно» (XV, 784, 785).

Сотрудничество с К.Т. Солдатенковым вызвало знакомство Чернышевского с людьми, выполнявшими посреднические обязанности по отношению к переводчику. Так, всю финансовую сторону договора выполнял Иван Ильич Барышев, с которым Чернышевский вступил в переписку 28 декабря 1885 г. и продолжал ее почти четыре года. Барышев имел специальное финансово-экономическое образование (окончил коммерческое училище), преданно служил издательской фирме Солдатенкова и пользовался особым доверием патрона еще и потому, что был его незаконнорожденным сыном. Фамилию и отчество Барышев носил придуманные, и тайна неродственных отношений тщательно сохранялась⁴². Возможно, Чернышевский знал все от В.Е. Грачева, переводчика и активного помощника Солдатенкова. Грачев дважды побывал в Астрахани: 17 июня 1888 г. с визитной карточкой Солдатенкова, который на ее обороте рекомендовал его Чернышевскому (XV, 682, 968) и 14–16 июня 1889 г. (XV, 878, 881)⁴³. Разговор у них в первую же встречу зашел о Барышеве, о чем Чернышевский рассказал жене в

письме от 11 августа, от Грачева же он узнал, что Барышев занимается беллетристикой. По просьбе Чернышевского Барышев прислал свою книгу юмористических рассказов из московского купеческого быта. «Он человек неглупый и имеет талант; но рассказы — пусты», — делился с женой своими впечатлениями Чернышевский (XV, 731), а Барышеву написал, что его произведения обнаруживают талант, который развернется вполне, если автор возьмется за роман (XV, 724). Спустя несколько лет Барышев-Мясницкий выступит с романами и повестями, однако большим писателем он так и не стал.

В круг литературных знакомств, появившихся в связи с переводом Вебера, вошли также И.Г. Короленко и Б.А. Маркович.

Родной брат известного писателя, Илларион (Ларион) Галактионович Короленко прошел по общей для народников-семидесятников революционной дороге: участие в публичных акциях протеста, арест в 1879 г., административная ссылка, которую отбывал в течение пяти лет. Затем поселился в Нижнем Новгороде, зарабатывая на жизнь службой в пароходстве Зевеке. Его появление в Астрахани точно зафиксировано полицией: прибыл 20 октября 1886 г. и выехал 14 апреля 1887⁴⁴. К этому времени и относится знакомство с ним Чернышевского. С тех пор, бывая в период навигации в Астрахани по делам конторы, он непременно заходил к Чернышевским. Вероятно, в апреле 1887 г. Чернышевский договорился с ним о составлении указателя к переводу Вебера. 19 декабря 1887 г. Чернышевский писал сыну, что «первую книжку, указатель к первым четырем томам, взял с полгода тому назад для перевода брат беллетриста Короленко, служивший на одном из пароходов Зевеке и познакомившийся с нами» (XV, 660). Однако И.Г. Короленко задерживал выполнение порученного дела. В неопубликованном письме к Чернышевскому от 1 июля (письмо не датировано, но по многим признакам оно написано в 1887 г.) он извещал о причине своего «бесследного исчезновения с астраханского горизонта»: начальство засадило его за конторские дела. Но указатель он не забросил, «по расчетам, — писал он здесь, — кончить могу не ранее конца сентября, а то и в октябре. <...> Я рассчитываю, что поздней осенью мне удастся совершить поездку по Волге; тогда привезу Вам работу, если оставите ее за мной»⁴⁵. Чернышевский сообщил сыну, что ждет эту работу «в октябре или ноябре» (XV, 653). Осенью Короленко не удалось закончить обещанное, и 9 декабря М.Н. Чернышевский выразил желание взяться за указатель самому. «Не поручите ли Вы, если, конечно, найдете это нужным, составление этого указателя нам с Леночкою?» — спрашивал он, имея в виду свою жену⁴⁶. Чернышевский согласился и предложил сыну приготовить вторую

книжку указателя к следующим четырем томам перевода (XV, 660, 662). М.Н. Чернышевский принялся было за работу, но дело у него не пошло. Тем временем И.Г. Короленко прислал свою часть. «Она исполнена хорошо, так что я без всяких поправок отсылаю ее в печать», — сообщал Чернышевский сыну 24 апреля 1888 г. В этом же письме он посоветовал ему, предвидя непосильность принятого им на себя труда, бросить указатель, который вполне можно передать тому же И.Г. Короленко (XV, 668). Так и получилось⁴⁷: и эту часть выполнял Илларион Галактионович. Однако с ее присылкой И.Г. Короленко задержался. В письме от 8 июня (год не указан, но это, конечно, 1889) он приносит извинения за то, что «так долго» не отвечал на два письма Чернышевского (письма неизвестны) и что до сих пор не выслал «книги и работу». Далее объяснялись причины подобной «беспорядочности»: «Во-1-х, с января месяца я все почти время находился в разъездах: прожил месяца 1 1/2 в Петербурге (после 10-летнего невольного отсутствия), командирован был затем в Москву, потом в Рыбинск, потом на Шексну: в промежутках бывал в Нижнем на короткое время. При такой гонке и порядочный человек мог наделать упущений в своей переписке. Но главная вина — неотправка работы и книг — объясняется следующим обстоятельством: 3/4 работы было уже сделано и передавать заканчивать ее другому я считал неудобным и думал, что это едва ли ускорит ее. Кроме того тотчас по получении Вашего письма я получил отчаянное трогательное письмо от одного из сыновей Антонины Алекс<андровны> Костровой⁴⁸, который просит дать ему какую-ниб<удь> работу, объясняя, что по независящим обстоятельствам вышел из университета и несколько лет уже мыкается без всяких занятий. Я и думал приспособить его к этой работе, полагая, что и Вы ничего против этого иметь не будете. Написал ему письмо, чтобы приехал для переговоров и знакомства (он живет в деревне близ Нижнего). Но долго не получал ответа. По приезде Антонины Алекс., она объяснила, что ее сын очень несчастный человек, бросил университет из-за трагического романа с какой-то девушкой, после чего опустился и начал пьянствовать. Это конечно (т.е. пьянство) значительно усложняло уже возможность предоставления ему работы, но из участия к Антон. Алек., которая надеялась, что предоставленная работа и некоторое влияние может его поставить на ноги, т.к. человек он способный, неглупый и с доброй душой, — я обещал попробовать. К сожалению, он приходил во время отсутствия моего в Нижнем, а затем больше не был, так что мне так и не удалось познакомиться с ним. Задерживать долго работу, имея его в виду, едва ли было бы резонно, да и едва ли из этого вышел бы какой-либо толк. Указатель

к V–VIII томам, надеюсь, будет готов через месяц. Долгонько задержал я его...»⁴⁹ Об исполнении И.Г. Короленко написал 10 октября⁵⁰, но этого письма, вероятнее всего, Чернышевский уже не читал.

Предоставляя составление указателя И.Г. Короленко, Чернышевский тем самым заботился и о его помощниках, нуждающихся в работе (см.: XV, 658). Подобным образом он помог и сыну известной писательницы Марко Вовчок Б.А. Марковичу. Поддержку попавшим в трудное материальное положение собратьям по перу он оказывал и в «современниковские» пятидесятые годы, стал оказывать и теперь, едва наладились его собственные финансовые возможности.

Богдан Афанасьевич Маркович не был заметной фигурой в русском освободительном движении, но его честность, отвага, сочетаемые с добротой и отзывчивостью, снискали ему известность и уважение среди народовольцев. Студент университета, увлеченный социалистическими идеями, рабочий фабрики, участник декабрьской демонстрации у Казанского собора в 1876 г., пропагандист в рабочем кружке «Общество друзей» – так складывалась его биография, получившая логическое продолжение в ссылке сначала в Екатеринославской губернии, а затем в Астраханской⁵¹. В письме астраханского губернатора Цеймерна, направленном 19 февраля 1887 г. жандармскому подполковнику Головину, сообщалось о Высочайшем повелении от 24 января 1887 г. сослать кандидата С.-Петербургского университета Б.А. Марковича, обвиняемого в совершении государственного преступления, в Астраханскую губернию на три года. Местом ссылки губернатор определил Красный Яр, куда он прибыл, судя по рапорту красноярского старшего унтер-офицера Васильева, 13 мая 1887 г. Отмечалось, что сослаемому 33 года, имеет жену и детей, проживающих в Калужской губернии⁵². А накануне, 12 мая, Маркович отправил матери письмо о своем свидании с Чернышевским. «Спрашивал о тебе, обо мне – и, знаешь, я, как ребенок, говорил ему все просто, искренно». Беседа длилась допоздна и возбудила в молодом человеке возвышенные чувства. «...Я вышел сам не свой, радостный, просветленный; шел и вдруг схватил обеими руками грудь – слишком широко, хорошо дышалось». Напоследок Чернышевский пытался предостеречь его от необдуманных поступков. «Слушайте, – говорил он, – вы человек уже не молодой, но я старый, старый... старик. Будьте осторожны!» «Я, – писал Маркович, – никогда не забуду, как он в ту минуту на меня смотрел, с каким необычным чувством он сказал последние слова...»⁵³

Следующая их встреча произошла в сентябре того же года. По документам, Маркович 7 сентября выехал из Красного Яра в Астра-

хань с разрешения губернатора на десятидневный срок и вернулся 20 сентября⁵⁴. Подобные отпуска ссыльным в ту пору дозволялись.

Еще в июне Чернышевский отправил И.И. Барышеву рекомендательное письмо, испрашивая для Марковича какую-нибудь переводную работу: «Он человек очень образованный. И нуждается в деньгах. Я присоединяю к его просьбе мою». Чернышевский выразил готовность взять на себя ответственность за качество переводов и предложил начать с книг французского антрополога и социолога Ш. Летурно. Аналогичное письмо от отправил и К.Т. Солдатенкову (XV, 676–677, 684). Тот ответил согласием, и уже в июле Чернышевским посланы в Красный Яр книги Ш. Летурно «Эволюция морали» и «Эволюция брака». На полях книг он сделал для Марковича пометки, характеризующие «способ перевода», которым пользовался сам. «Одно из его правил, — объяснял он в сопроводительном письме свой способ, — заботиться о простоте и ясности языка; для этого следует избегать всякого оригинальничания — например, выковывания новых слов; если термин еще не вошел в употребление на русском языке, следует или заменять его перифрастически ясным, простым выражением, или присоединять объяснение». Другие заметки в книгах касались оценки взглядов Летурно, который, по мнению Чернышевского, «не особенно великий ученый», но книги его все же будут полезны русскому читателю. Первый переведенный печатный лист Чернышевский просил прислать на просмотр. К концу года перевод был готов. «Все могущее возбудить цензурные затруднения, — писал Чернышевский Барышеву 5 января 1889 г., — выброшено из книги г. Марковичем и мною, так что книга в его переводе стала совершенно невинной» (XV, 705, 812).

В конце января Марковича переселили в Черный Яр, подальше от Астрахани, но это не послужило препятствием для продолжения его отношений с Чернышевским. На новом месте он принялся за перевод второй книги, писал Чернышевскому, что получил от Барышева работу и книгу Ш. Летурно «Эволюция собственности»⁵⁵, как вдруг разразился цензурный гром, остановивший все издания. Вышедший из печати том «Эволюции морали» был запрещен вследствие обнаруженных там «материалистических тенденций» и за «возбуждение рабочих классов к борьбе против существующего экономического порядка». В результате Ш. Летурно оставался в России запретным автором до 1910 г.⁵⁶

Дружеские связи с Б.А. Марковичем привели к хлопотам по изданию сочинений его матери, известной в середине века писательницы Марии Александровны Маркович (Марко Вовчок). Свои прежние оценки — «талант сильный, прекрасный» (XII,

683) — Чернышевский повторил и теперь, представляя издателям «этого даровитейшего из русских рассказчиков после Лермонтова и Гоголя» (XV, 807–808). Завышенность оценки не снимает главного — стремления выдвинуть в первый литературный ряд именно демократического писателя, продолжающего, по Чернышевскому, сохранять значение и в восьмидесятые годы. В архиве Чернышевского сохранился датированный 1 ноября 1888 г. листок с указанием пока еще не распроданных томов прежнего издания ее сочинений: 1320 экземпляров третьего тома («Живая душа», «Теплое гнездышко»), 1300 экземпляров четвертого («Записки причетника»), 1800 экземпляров книги «Сказки и быль». Отмечено, что «томов I и II не существует в продаже», что вышел отдельным изданием (в ограниченном количестве экземпляров), которое уже разошлось, роман «В глуши», печатавшийся в 1875 г. в «Отечественных записках», что «есть еще несколько повестей, печатавшихся с 1872 до 1878 под разными псевдонимами в повременных изданиях»⁵⁷. Справка, присланная, вероятно, через Б.А. Марковича, свидетельствует, как тщательно изучал Чернышевский условия для издания нового полного собрания сочинений писательницы. Он даже намеревался написать большое предисловие, «которое было бы обзором движения идей в беллетристике того времени (1860–1875 годов)». Настойчиво заинтересовывая Солдатенкова в новом издании, Чернышевский прибавлял: «Это важная моя просьба» (XV, 831). Заметим, что намерение составить «обзор движения идей в беллетристике» затрагивало время, которое Чернышевский провел вне активного участия в литературном процессе, но о котором он тем не менее имел вполне достаточное представление. Факт примечательный, снимающий встречающиеся в мемуарах и биографических работах утверждения, будто он, находясь в Сибири, отстал от современной литературы и не мог разбираться в ее проблемах компетентно.

Солдатенков согласился с предложением издать сочинения Марка Вовчка, но просил отложить дело до ноября. Чернышевский так и не успел подготовить эту работу, а первое полное собрание сочинений писательницы в семи томах вышло в 1896–1898 гг., и не в Москве, а в Саратове с помощью трудившегося здесь в газете ее сына.

В творческих занятиях Чернышевского значительное место заняла добролюбовская тема. Она возникла не вдруг, не неожиданно, не в связи с каким-либо случаем, как это стало с намерением подготовить издание собрания сочинений Марка Вовчка. Добролюбов «жил» в нем всегда, время от времени прорываясь в воспоминания и высказывания о прошедшей эпохе. Так, в январе 1884 г. он по просьбе А.Н. Пыпина написал об отношениях И.С. Тургене-

ва, Н.А. Некрасова и Н.А. Добролюбова (1, 723–741). Читая их «с большим любопытством», Пыпин сразу же оценил их «важность, если не для чего другого, то, например, для биографии Добролюбова». Он предвидел всякого рода домыслы в будущих попытках иных деятелей: «Будут говорить об этом вкривь и вкось, как уже говорили раньше, и исторические толкования очень понадобятся, — если только они вообще на что-нибудь понадобятся»⁵⁸. В этом же письме (оно от 5 февраля 1884 г.) Пыпин «между прочим» сообщил о сохранившихся у него бумагах Добролюбова⁵⁹. Занятый переводами, Чернышевский в ту пору не отреагировал на явно присутствующее в письме предложение брата приняться за биографию Добролюбова.

К затронутой теме Пыпин вернулся спустя два с половиной года. В письме от 29 августа 1886 г., запрашивая об авторстве Добролюбова в отношении одного из стихотворений, он вновь напомнил об имеющейся у него переписке Добролюбова и закончил письмо решительной фразой: «Его биографию также я считаю вещью очень необходимой, как вообще сведения о том времени»⁶⁰. Настойчивые напоминания Пыпина возымели действие, и в октябре 1886 г. Чернышевский принял за воспоминания о начале знакомства с Добролюбовым (1, 755–757). «Не имею времени, не имею», — уже с досадой прибавил он в письме от 1 ноября (XV, 611).

Новое продолжение пыпинская инициатива получила во время его свидания с Чернышевским 24–28 мая 1888 г. Как выясняется из их последующего обмена корреспонденциями, он привез в Астрахань «список писем» Добролюбова вместе с выполненными им копиями значительной их части, и уже в письме от 15 июня Чернышевский пообещал: «То, что я говорил о письмах Добролюбова, исполню» (XV, 680, 702). Пыпин же, вернувшись домой, начал «разбирать остальной материал для биографии» и нашел массу писем к Добролюбову, пачку разных его черновых бумаг и студенческих сочинений, заметки и воспоминания о нем — материалы, которые Чернышевский собрал вскоре после смерти критика⁶¹. Не дожидаясь получения всех материалов, Чернышевский написал ему 1 июля, что намерен сделать статью «Н.А. Добролюбов по его письмам» (XV, 696). Однако Пыпин в письме от 8 июля, ссылаясь на предварительные договоренности с издателями, ответил, что «желалось иметь для московского издания (ряд биографий) биографию Добролюбова. Статья “Добролюбов по его письмам” не совсем ответит этому желанию. <...> Или, написавши статью <...> ты возвратишься к цельной биографии, когда будут доставлены тебе остальные материалы (они уже готовы для отсылки) и журнал?», — запрашивал Пыпин⁶². Обещание устроить печатание биографии в Москве показалось

Чернышевскому убедительным, и в письме от 7 июля он сообщил, что приостановил начатую над статьей работу. Пыпин в ответ посоветовал начать прежними «материалами для биографии»⁶³. Речь, конечно, шла о работе, опубликованной в «Современнике» в 1862 г. под названием «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова».

Разъяснение о возможности «московского издания» содержится в неопубликованном письме А.Н. Пыпина от 26 июля 1888 г. Приведем из него обширные выписки, без которых многое остается непонятным.

«Милый Николая. — Я получил сегодня письмо твое от 16 июля и “спешу” ответить, хотя не знаю, что может выйти из этого спеха. Дело в том, что с биографией Д<обролюбова> выходит ряд недоразумений, которые не знаю как могут распутаться. Во-первых, ты говоришь в своем письме о “серии биографий, предположенной Гольцевым”, — но Гольцев не имеет никакого отношения к той серии, о которой я тебе говорил и от издателей которой я передавал тебе предложение написать биографию Д<обролюбова>. Предприятие принадлежит трем лицам (к числу которых Г<ольцев>в не принадлежит), и из них я, помнится, называл тебе Алексея Веселовского (в Москве). По возвращении из моей поездки я должен был дать ответ этим издателям (я их всех знаю и со всеми нахожусь в более или менее приятельских отношениях) о твоем согласии или несогласии составить биографию, и отвечал им утвердительно, — так что они находятся в ожидании биографии. На днях от Веселовского я имел по этому поводу письмо, о котором далее. — Солдатенков к этому предприятию также не имеет никакого отношения.

Как мне теперь быть, т.е. что написать этим издателям или Алексею Веселовскому (из их числа), с которым я об этом говорил и списывался?

Письмо, мною на днях полученное от В<еселовско>го, заключает в себе следующее. — Надо сказать предварительно, что в Москве не было налицо одного из издателей, — и они свиделись все теперь летом, и по совещании пришли к выводу, который и сообщается мне В<еселов>ским. Раньше я им говорил, — по предположениям вследствие разговоров с тобой, что биография может устроиться так, что сначала явится в виде нескольких журнальных статей, с подробностями фактов или писем, а потом составит книжка в более сжатом изложении. Теперь, по упомянутом совещании, мне пишут буквально так, — что издателей “смушала” мысль, что после появления статей, составленных по новым материалам в журнале, книжка с извлечениями из них представит мало интереса и не пойдет в ход; поэтому они, чтобы избежать печатания извлечения,

решили на этот случай расширить объем книги (т.е. чтобы в книге могла явиться твоя работа вся целиком, как она напишется) и увеличить гонорар, определение которого желают предоставить самому автору.

Последнее — в тех видах, что ими ранее (и вообще) предположился для этих книжек гонорар (60 р.) был ниже гонорара, принятого в больших журналах (80—100 р.), и они, желая печатать прямо в книгу то, что предполагалось для журнала, не хотели, из-за своего желания, делать ущерба автору, — мне кажется это очень резонным»⁶⁴.

Чернышевский, действительно, печатание работы о Добролюбова связывал поначалу только с «Русской мыслью», редактор которой В.М. Лавров в начале июля 1888 г. навестил его в Астрахани. «Он очень понравился мне: милый человек, добрый, скромный и — чего я не воображал по отзывам о нем как о пешке, — очень неглупый, очень», — сообщал Чернышевский Пыпину 16 июля (XV, 707). Член редакции «Русской мысли» В.А. Гольцев о работе был извещен ранее письмом Чернышевского от 23 июня (XV, 687). Однако сотрудничество в этом журнале стало делом, словами Чернышевского, «очень сомнительным». «Мои мнения по многим вопросам, — объяснял он В.М. Лаврову, — отличаются от мнений “Р<усской> мысли”», редакция которой, как выяснилось из привезенного Чернышевскому письма В.А. Гольцева от 1 июля⁶⁵, испытывала сомнения в опубликовании статьи «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь». И Чернышевский сразу же, 2 июля (письмо неизвестно), запросил Солдатенкова о возможности издать письма Добролюбова с пояснениями к ним. Тот ответил согласием⁶⁶, о чем Чернышевский известил Пыпина (XV, 708). В письме к Пыпину от 29 июля он повинился в том, что перепутал слова о серии биографий с именем Гольцева. «Теперь, — писал здесь Чернышевский, — когда я отбросил мысль о печатании биографии отдел за отделом в виде журнальных статей, я соединяю в одну книгу и мой биографический рассказ и издание текста писем» (XV, 720). Пыпин одобрил план подобного обширного труда, «но это, конечно, — писал он 3 августа, — не будет такая биография, какую представляли себе мои приятели-издатели. Биография в их смысле должна быть составлена особо. <...> Об этом можно будет подумать и поговорить после»⁶⁷. Сохранился и ответ Чернышевского, датированный 10 августа: он «не намерен» отказываться от обещания, данного «Веселовскому и другим», «ты правильно передал им мое желание служить им, чем могу. Я и желаю. — Итак, спроси у них, если считаешь надобным, хотят ли они, чтоб я написал для них в размере других предположенных ими книжек, биографию Добролюбова; хотят, то напишу,

когда подготовлю к изданию материалы, по которым надобно писать ее» (XV, 729). Иными словами, Чернышевский намеревался, закончив подготовку большой книги для К.Т. Солдатенкова, написать на этом материале биографию Добролюбова как отдельный том. В «Предисловии», написанном А.Н. Пыпиным в марте 1890 г. для подготовленной Чернышевским книги писем Добролюбова, также заявлено: «Биография Добролюбова должна была стать одной из ближайших предстоящих его работ, — но предварительно он решил издать в полном составе те материалы, которые, кроме его личных воспоминаний, доставляли главную основу для этой биографии»⁶⁸. Остается сожалеть, что смерть помешала выполнению этого плана сотрудничества с А.Н. Веселовским.

27 октября Чернышевский сообщил Пыпину, что «начал писать биографию Добролюбова». В январе и феврале 1889 г. «Русская мысль», выполняя прежнюю договоренность, напечатала с указанием «сообщено Г. Андреевым» две большие статьи под заглавием «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова» (сюда вошла переписка с отцом и матерью). По мере получения материалов от А.Н. Пыпина и М.А. Антоновича продумывался окончательно весь корпус принятого труда. Несколько собранных и упакованных Пыпиным пачек добролюбовских бумаг доставил М.Н. Чернышевский, намеревавшийся пробыть в Астрахани с 18 по 20 августа⁶⁹, а проживший у отца 19–24 августа (XV, 740, 741). В марте 1889 г. Чернышевский в письме к Солдатенкову сообщил предварительное полное название работы — «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова, собранные и приведенные в порядок по поручению его сестер и брата». Предполагалось издать два тома: в первом переписка, во втором — обзор рукописей и мемуары. «Моего имени на обертке не будет <...> не будет мое имя встречаться и в тексте книги» (XV, 827). Позднее, посылая (уже из Саратова) указания для типографского набора, Чернышевский предупредил: «Свою фамилию (Чернышевский) я прежде заменял буквами Н-ъ. Надобно везде заменить буквами Л-ский. Это Л-ский надобно склонять по родам, числам, падежам, как в тексте склоняется моя фамилия»⁷⁰. В архиве сохранился план 2 тома, составленный, со слов А.Н. Пыпина, в ноябре 1889 г.: «Часть 1. Дневник, автобиографические заметки и др. бумаги, не литературного содержания. Часть 2. Журнальные статьи, повести, стихотворения, написанные до начала журнальной работы (извлечение из “Слухов”). Часть 3. Воспоминания о Добролюбове»⁷¹.

В апреле 1889 г. Чернышевский сообщил издателю, что рукопись первого тома будет отослана приблизительно в мае, остальное — к началу июля. «Русская публика, — писал он Солдатенкову, — будет

признательна Вам за это издание» (XV, 832). Сроки представления рукописи в типографию, однако, передвинулись, а второй том так и не был полностью приготовлен и в печать не поступил. Но мысль написать «Биографию Н.А. Добролюбова» по завершении «Материалов» оставалась у Чернышевского до самого конца (XV, 869).

Вырученные от издания «Материалов» деньги Чернышевский полагал перечислить сестрам критика, оставив себе лишь плату за время, какое ушло на работу (XV, 847). К.Т. Солдатенков и в этом случае поступил чрезвычайно великодушно, предоставив Чернышевскому самому назвать гонорар. «Прошу Вас сказать мне прямо, откровенно, что Вы желаете получить за каждый печатный лист издания, которое я предполагаю отпечатать в количестве двух тысяч четырехсот экземпляров», — писал он 17 мая 1889 г.⁷² Чернышевский назвал плату, получаемую за перевод Вебера, — 30 рублей за один печатный лист, но был готов признать и любую меньшую сумму (XV, 866).

Издавая «Материалы» в 1890 г., А.Н. Пыпин несколько изменил заглавие, в котором теперь не были упомянуты родственники Н.А. Добролюбова, а вся вырученная сумма поступила в распоряжение О.С. Чернышевской.

«Материалам» посвящена достаточно обширная исследовательская литература⁷³. Наиболее распространенной и устойчивой является точка зрения, согласно которой Чернышевский предпринял здесь попытку донести революционную программу и тактику Добролюбова, раскрыть его усилия по созданию в России центра революционного подполья⁷⁴. Между тем позиция Чернышевского определяется другими, более реальными и соответствующими его убеждениям целями и задачами. Читателю восьмидесятых годов предстала личность литератора, всем своим существом не приемлющего крепостнический строй жизни, точно и емко названный им самим «темным царством». В деталях, в подробностях быта и общественного окружения показаны среда, конкретные условия формирования его характера, его мировоззрения. В кратких примечаниях Чернышевский сумел передать протестующую натуру Добролюбова, его непримиримость к пошлости и застою, стремление активно противостоять общественному злу. Чернышевский был озабочен сохранением исторической правды о прошедшей дореформенной эпохе и ее деталях, среди которых Добролюбов, по глубокому убеждению Чернышевского, занимает одно из самых достойных мест.

В литературные планы Чернышевского астраханского периода некоторое время входило и намерение издать свои собственные сочинения прошлых лет. Эту идею первым высказал его сын Михаил в

конце 1883 г. «О том, что полезно в денежном отношении издать собрание моих статей в “Современнике” 1853—1862 гг., ты рассудил совершенно справедливо. И я, — писал ему Чернышевский 1 декабря этого года, — разделяю твою мысль, что надобно будет позаботиться о возможности сделать это».хлопоты же о разрешении на издание, по мнению Чернышевского, нужно поручить «кому-нибудь более опытному в подобных заботах» (XV, 424). Спустя три месяца он попросил А.Н. Пыпина дать в газетах объявление: «Мы слышали, что Н.Г. Чернышевский готовится к изданию собрание своих сочинений» (XV, 455). Чернышевский решил напрямую вынудить позицию властей: дадут ход объявлению — появится надежда и на доступ в печать. Письмо-просьба датировано 29 марта 1884 г., и в тот же день подполковник Головин в секретном донесении за № 94 сообщил о содержании письма в Департамент полиции. В.К. Плеве в письме от 26 апреля за № 1094 к начальнику Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистову просил сделать распоряжение «о недопущении к напечатанию в газетах» извещения Чернышевского⁷⁵. Причем Плеве не сразу пришел к столь категорическому мнению. В тексте документа первоначально написано (потом зачеркнуто): «Считаю долгом сообщить изложенное Вашему Превосходительству для сведения и зависящего распоряжения...»⁷⁶

В ответных письмах Пыпина эта тема не затрагивалась. Вероятно, как полагают биографы, он все объяснил брату при личном свидании⁷⁷, которое, по жандармским сведениям, состоялось «с 8 по 11 мая включительно»⁷⁸. Время для издания собрания сочинений еще не пришло, и Чернышевский отложил выполнение задуманного до лучшей поры. Однако мысль исподволь приготовить хотя бы сборник своих статей его не оставляла. По крайней мере, в октябре 1888 г. он поручил своему сыну Михаилу прислать «вырванные из “Современника” статьи», а спустя месяц писал по поводу присланных материалов: «Я уж начал перечитывать их. Когда обработаю для издания, возвращу сборник тебе. Но это будет очень нескоро, потому что у меня много другой работы» (XV, 756). Комплект «Современника» за 1848—1866 гг. Чернышевский получил в подарок от А.В. Михайлова, московского присяжного поверенного, хорошего знакомого А.В. Захарьина (см.: XV, 742—743). К этому времени относится составление Чернышевским списка своих статей (XV, 643—646). Сохранились также сведения о предоставлении на время многих журналов из этой коллекции учителю астраханского реального училища Е.В. Воздвиженскому⁷⁹.

Судить о составе подготавливаемого сборника затруднительно, но в 1893 г. М.Н. Чернышевский издал без имени автора два сбор-

ника: «Критические статьи. Пушкин. Гоголь. Тургенев. Островский. Лев Толстой. Щедрин и др. ("Современник" 1854—1861 гг.)» в 387 стр. и «Эстетика и поэзия ("Современник" 1854—1861 гг.)» в 509 стр. Конечно, он не мог не воспользоваться подобранными самим автором названиями.

Но одну свою книжку, посвященную А.С. Пушкину, Чернышевскому все же удалось выпустить третьим изданием без указания авторства. Первое издание относится к 1856 г. — «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения» (автор самим Чернышевским не назван). Второе осуществил А.Н. Пыпин в 1864 г., когда имя Чернышевского уже находилось под запретом. 29 октября 1884 г. М.Н. Чернышевский писал отцу: «В настоящее время некий книгопродавец Тяпкин (знакомый мне) издает разных русских авторов для школ. Изданы уже Жуковский и Тургенев, готовится Лермонтов, а потом последуют и другие. Я слышал, что он хотел бы купить для этого издания и Пушкина. Как Вы думаете, милый папаша, об этом? Расчет-то тут, положим, грошовый, так сказать, но все-таки мне кажется, что лучше взять хотя что-нибудь, чем ничего. Да и книжка-то очень ведь маленькая — в ней около 8 листов, но напечатано очень крупно, а в новом издании выйдет, должно быть, листов 5. Я слышал, что он дает рублей 25—30 за лист, за право одного издания в количестве 1200 экз. Если Вы согласны, милый папаша, то я войду с ним в переговоры»⁸⁰. Чернышевский согласился: «Продай эту книжку за столько, сколько дадут; хоть бы дали и меньше той цены, о которой ты слышал» (XV, 490). В декабре по предложенной издателем форме он отослал расписку, по которой уступал право на третье издание книги «Чтение для юношества. А.С. Пушкин, его жизнь и сочинения» Н.Д. Тяпкину за 200 рублей⁸¹. При этом Чернышевский поручил сыну передать Тяпкину, что «в случае убытка деньги будут возвращены» (XV, 499). Книга вышла в 1885 г. Расходилась она медленно. Оставалась нераспроданной часть тиража еще прежнего (1864) издания, и за ее распродажей послеживал А.Н. Чернышевский. 17 ноября 1887 г. он написал отцу, что у него «явилось предположение отдать его в пользу училищных библиотек»⁸². Чернышевский разрешил (XV, 659). 8 октября 1888 г. Александр сообщал, что «книги всего должно оставаться около 860 экземпляров»⁸³.

Тогда же была предпринята попытка переиздания книги «Эстетические отношения искусства к действительности», выпущенной в 1855 г. Второе ее издание было подготовлено А.Н. Пыпиным в 1865 г., и на книжном складе М.М. Стасюлевича, где книга продавалась, ее, по сообщению А.Н. Чернышевского 27 октября 1887 г., оставалось всего около ста экземпляров. «Кажется, — писал он

отцу, — можно было бы сделать новое издание этой книги»⁸⁴. Чернышевский откликнулся немедленно (письмо от 2 ноября): «Если бы какой-нибудь издатель полагал, что надобно сделать новое издание “Эстетических отношений”, то я просил бы тебя уведомить меня об этом и прислать мне экземпляр книжки; я переделал бы ее. В условия об издании не входи; у меня есть свое предположение о том, как следует издать» (XV, 654). 17 ноября Александр отослал требуемый экземпляр, прибавляя, что книги на складе осталось уже около пятидесяти экземпляров⁸⁵. Получив экземпляр, Чернышевский решил написать «предисловие» и сделать «кое-какие примечания» (XV, 659). Работа над переводом Вебера не оставляла свободного времени для столь серьезного труда, выполнение которого стало затягиваться. А.Н. Чернышевский между тем, передавая слышанные мнения, в письме от 24 февраля 1888 г. советуя «просмотрев и дополнив книгу, издать ее вновь», робко предложил поделиться и собственными впечатлениями от только что заново прочитанной им этой книги⁸⁶. К сожалению, неизвестно, написал ли он о них. О необходимости переиздать «Эстетические отношения» заговорил и младший сын, начавший, как сообщал он 12 апреля, переговоры с Л.Ф. Пантелеевым⁸⁷. 17 апреля Чернышевский известил Михаила, что уже «стал писать предисловие и делать поправки в тексте». Исправленный экземпляр и рукопись он просил передать Л.Ф. Пантелееву «в полное распоряжение» без всякого денежного вознаграждения. «Скажи, что я желал бы иметь когда-нибудь возможность доказать ему свою глубокую признательность за его доброе расположение ко мне» (XV, 666–667). 20 апреля все материалы — экземпляр книги с поправками на полях, рукопись предисловия и записка, удостоверяющая безвозмездную передачу прав на третье издание Пантелееву, — были отосланы в Петербург на имя М.Н. Чернышевского (II, 834; XV, 668).

Запрос о цензурном разрешении на издание сделал А.В. Захарьин. Ответ последовал 7 мая 1888 г. за № 2034: «Начальник Главного управления по делам печати, свидетельствуя свое почтение к Александру Васильевичу Захарьину и возвращая при сем книгу “Эстетические отношения искусства к действительности” с предисловием к ней, имеет честь уведомить, что книга эта не может быть допущена к печатанию» (II, 835)⁸⁸. «Как я потом узнал, — вспоминал Л.Ф. Пантелеев, — именно благодаря предисловию и главным образом ссылке на Фейербаха книга не была разрешена к переизданию»⁸⁹. В данном случае мемуарист не указал на источник информации. История проясняется, благодаря письму А.Н. Майкова к сыновьям от 4 мая 1888 г. с рассказом о заседании в Главном управлении по делам пе-

чати, куда он обыкновенно приглашался как председатель комитета цензуры иностранной. «...Шел вопрос — позволить ли сделать новое издание его “Эстетических начал”, о чем просят. Судили, прибегали к законам. Я предложил решение: тут главное надо обсудить, полезно ли будет вновь издание этой книги (1862 г.), которая шла параллельно с пропагандой, пожарами и пр., которая произвела Зайцева, Писарева и др., и все поколение 60-х годов на ней воспитывалось, — или не полезно и — сообразно с тем решить. Конечно, решили не позволить»⁹⁰. Первое издание книги Чернышевского, состоявшееся в 1855 г., не имело никакой связи с упомянутыми здесь «пропагандой, пожарами» — подразумевались пожары мая 1862 г. и пропагандистская прокламация «Молодая Россия», вызвавшие правительственные репрессии против лидеров оппозиции⁹¹. Но дело касалось Чернышевского, и предвзятость, привнесение в литературные дела сугубо политических соображений и антипатий, возникали сами собой.

Экземпляр книги издания 1865 г. с поправками Чернышевского и написанное им предисловие сохранились в полном виде. Детальное изучение этих материалов — задача специальная, и мы коснемся ее в допустимых биографическим исследованием пределах.

«Предисловие к третьему изданию» (так оно названо автором) впервые было опубликовано М.Н. Чернышевским в 1906 г.⁹² (II, 119–126).

В «Предисловии» Чернышевский пояснял, что его работа, изданная более тридцати лет назад, — «попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики». Немецкого философа он назвал своим учителем, труды которого некогда содействовали формированию «научного образа мыслей» (II, 121). Причем в рукописи слово «научного» поставлено вместо зачеркнутого «рассудительного». Выделяя значение Фейербаха в истории философии и науки, Чернышевский, как видно из рукописи, намеревался дать краткую биографию философа. Здесь зачеркнуто (заключаем в квадратные скобки) ее начало: [Сын знаменитого юриста, составителя баварского уголовного кодекса]. Там, где речь шла об изучении Чернышевским в молодости работ Фейербаха, вместо первоначального [усердно читал сочинения Фейербаха] написано и оставлено: «усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха» (II, 121). В конце «Предисловия» автор счел нужным остановить внимание читателя на содержавшемся в его диссертации определении прекрасного, выводимом из представлений Фейербаха о решающем значении предметов «действительного мира» (II, 126). Далее в рукописи следовало (зачеркнуто): [Точно в таком же смысле долж-

но понимать и все другие упоминания автора о системе понятий, которую применяет он к разъяснению эстетических понятий. Это значит, что понятия, на которых основывается он в своем анализе, приобритены от Фейербаха; а под системой господствующих [эстетических] понятий, неосновательность которых доказывает он, должно всегда понимать метафизическую философию, в частности систему Гегеля]. Снимая это пояснение, Чернышевский избегал повторений, а также возможных упреков в непоследовательности заявлений, согласно которым автор диссертации все же цитирует не из Гегеля, а из эстетических трудов левогегельянца Ф. Фишера. Свое окончательное суждение о Гегеле и его диалектике Чернышевский тем самым как бы оставлял за пределами конкретных полемических выпадов автора диссертации. Предпоследний абзац «Предисловия», в котором говорилось о стремлении диссертанта быть точным в передаче идей Фейербаха, насколько позволяли условия цензуры (II, 126), Чернышевский первоначально намеревался заключить следующим рассуждением: [Перемены, какие делал он, состоят только в замене неудобных на русском языке терминов широкими, устранявшими затруднения, какие представлялись положением русской литературы, так, например, онтологические термины, обозначающие игру случая, он заменил термином “судьба”, имеющим такое же значение, но указывающим лишь одну из форм более широкого понятия]⁹³. Такого рода заявление требовало более пространного цитирования из диссертационного раздела о трагическом, где приводились упомянутые термины, что в свою очередь могло вызвать новые цензурные затруднения, и автор «Предисловия» зачеркнул написанное. Исправления в тексте самой книги частично (в количестве шести) приведены Н.М. Чернышевской в 1949 г. (II, 895). Сохранившиеся материалы позволяют с исчерпывающей полнотой учесть характер внесенных автором поправок, которых всего насчитывается около ста. Наиболее крупные, значительные из них Чернышевский собственноручно выписал отдельно, сделав на титульном листе книги следующее предупреждение: «На некоторых страницах поправки перепутаны так, что выходит трудно разобрать их; эти места в исправленном виде переписаны на особых листках (числом восемь), прилагаемых мною (они вложены в эту книжку под этим оберточным листом)»⁹⁴. На листках указаны страницы книги и номера строк, подвергшихся изменению.

Прежде чем перейти к рассмотрению поправок, отметим немаловажное обстоятельство. Издание 1865 г. открывалось неозаглавленным четырехстраничным вступлением со своей пагинацией и с датой «1855». В издании 1855 г., которое воспроизведено в Полном

собрании сочинений, эта часть текста как вступление не выделена. Однако Чернышевский не стал ничего менять, и далее текст первой страницы открывался изложением понятия прекрасного в гегелевской эстетике (II, 6). Подобная структура более четко выражает авторскую позицию и более строго организует работу, сохраняя атрибуты научного труда.

Все поправки условно можно разделить на три группы.

К первой следует отнести грамматические и мелкие стилистические исправления. Например, первый абзац первой страницы начинался с цитаты, но кавычки отсутствовали (II, 6–7), и Чернышевский поставил их. Вместо «портрет хорош только тогда, когда» (II, 9) стало: «портрет хорош в том случае, если», во фразе «качание их ветвей, вечно колеблющиеся листочки их» (II, 13) зачеркнуто слово «вечно». Вычеркнуто заключенное в скобки рассуждение об игре слов «безобразное» и «безобразное» (II, 15). Во вторую группу можно включить исправления разного рода неточностей, допущенных при перепечатке с издания 1855 г. Так, в предложении «лес в двадцать раз выше наших яблонь, акаций» (II, 19) поправлено: «в пять раз»; вместо «проводить по всем родам возвышенного» (II, 20) — «проводить по всем классам возвышенного»; вставлено явно выпущенное по недосмотру слово «человека» во фразу «фантастические представления полудикого и научные понятия» (II, 24); выражение «берега Волги» (II, 39) исправлено на «берега средней части Волги»⁹⁵.

Третью, самую малочисленную, группу составили поправки, дополнительно проясняющие авторскую мысль. Приведем характерные примеры, включая сюда вставки, выписанные самим Чернышевским отдельно на восьми страничках, но не учтенные позднейшими комментаторами. Так, зачеркивается все сравнение предмета А с предметом Х от слов «Обыкновенно думают» до слов «говорится» (II, 40) и вместо него вписано: «Авторы трактатов об эстетике в духе господствующей школы рассуждают так: если есть или может быть предмет выше находящегося у меня перед глазами, то предмет, находящийся у меня перед глазами, низок. Но не так чувствуют люди. Зная, что Амазона величественнее Волги, мы продолжаем однако считать и Волгу величественной рекой. Философская система, которой держатся эти авторы, говорит, что...». Существенно уточнен смысл и такой фразы: «Мы готовы однако же согласиться, что преднамеренности больше в прекрасных произведениях искусства, нежели в прекрасных созданиях природы и» (II, 49) — «Правда, в прекрасных произведениях искусства находится более преднамеренности создать прекрасное, нежели в прекрасных

произведениях других деятельности человека, и бесспорно, что в деятельности природы вовсе нет преднамеренности, потому следовало бы согласиться, что...». Исправлению подверглось выражение «Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии» (II, 84). После слова «ниже» поставлено: «монологов псевдоклассической трагедии» и далее изменено на: «В художественном произведении все должно быть облечено красотой»; одно из условий красоты — развитие всех подробностей из завязки сюжета, и нам...» И ниже после слова «своей типичности» (II, 84) вместо «искусство дает» — «драматург или романист дает». Внесено изменение в сравнение истории с искусством. Было: «история говорит о жизни человечества, искусство — о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной» (II, 87). Стало: «история рассказывает о жизни человечества, заботясь более всего о фактической правде, искусство дает о жизни людей рассказы, в которых фактическая правда заменяется верностью психологической и нравственной истине». Утверждая, что в произведениях поэзии «скоро стареет язык», Чернышевский вычеркнул содержавшуюся в прежнем издании фразу: «и мы по этой причине не можем наслаждаться Шекспиром, Данте, Вольфрамом так свободно, как наслаждались их современники» (II, 50). Суждение о живописи и скульптуре, которые «исчезают» в сравнении с музыкой и поэзией, как более высшими, совершеннейшими из искусств (II, 61), Чернышевский откорректировал следующим образом: «совершеннейших искусствах, пред которыми, как говорит господствующая эстетическая теория, утрирующая в этом случае мысль, в умеренной форме справедливую, исчезают...»⁹⁶.

Исправления не носили принципиального характера. «Они относятся исключительно к мелочам», — отмечал сам автор. И тут же указал на главную причину подобного невмешательства: «В старости не годится переделывать то, что написано в молодости» (II, 126). Иными словами, Чернышевский не вполне разделял предложенные его книгой 1855 г. положения. Однако установить, какие из них именно теперь подлежали авторскому пересмотру, не представляется возможным.

Примечания

¹ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 13. С незначительными неточностями напечатано в кн.: *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 278.

- ² Шульгин В.Н. Очерки жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. М., 1956. С. 371.
- ³ Лит. наследие. Т. III. С. 537, 539.
- ⁴ Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний прошлого. М., 1934. С. 554–555.
- ⁵ Исторический сборник. Л., 1934. Т. 2. С. 192–198; Под знаменем марксизма. 1934. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 93–100.
- ⁶ Летопись. С. 537.
- ⁷ Правильно: Елена Васильевна.
- ⁸ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 29, 31–32.
- ⁹ Лит. наследие. Т. III. С. 571. Текст уточнен по первоисточнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 445. Л. 2.
- ¹⁰ Лит. наследие. Т. III. С. 572.
- ¹¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 568. Л. 1.
- ¹² Мартынов А.Ф. Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 280–281. Однако здесь ошибочно указано местонахождение документа. Правильно: ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 47–48.
- ¹³ ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 474.
- ¹⁴ Там же. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 49.
- ¹⁵ Текст записки опубликован Н.М. Чернышевской в кн.: Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1926. С. 143–145. Местонахождение подлинника: ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 35–36. Этот текст за подписью Захарьина воспроизведен с ошибочной датой 26 ноября 1884 г. в кн.: Мартынов А.Ф. Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 281–282.
- ¹⁶ Лит. наследие. Т. III. С. 573.
- ¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 568. Л. 3. Захарьин получал приглашение в Главное управление по делам печати и 21 декабря 1884 г. (там же. Л. 2).
- ¹⁸ Там же. Л. 4.
- ¹⁹ Лит. наследие. Т. III. С. 574. Текст уточнен по первоисточнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 445. Л. 8 об., 9.
- ²⁰ В присланной Чернышевскому выписке из расходной книги конторы журнала «Вестник Европы» за эту статью ему выплачено 75 рублей (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 17). См.: Мостовская Н.Н. Чернышевский на страницах журнала «Вестник Европы» в 70–80 годы // Чернышевский. Вып. 7 (1975). С. 109–120.
- ²¹ Первоначальный текст «Гимна Деве Неба», относящийся к 1875 г. (рукопись без заглавия, начинается стихами: «Песня битвы с Газдрубалом / Песня стонов и мольбы...») и содержащий разночтения с публикацией 1885 г., см.: ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. Оп. 5. Д. 230. Ч. 26. Л. 469.

- ²² Лит. наследие. Т. III. С. 552.
- ²³ Там же. С. 85.
- ²⁴ Там же. С. 572.
- ²⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 47.
- ²⁶ Лит. наследие. Т. III. С. 574.
- ²⁷ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 220.
- ²⁸ *Боград В.Э.* Неизвестное предисловие Н.Г. Чернышевского к «Материалам для биографии Н.А. Добролюбова» // Русская литература. 1975. № 2. С. 172.
- ²⁹ См.: Научная биография (1984). Ч. 2. С. 39, 202, 229–230.
- ³⁰ Лит. наследие. Т. III. С. 576,
- ³¹ Там же. С. 575.
- ³² Это письмо Чернышевского неизвестно. Судя по ответу Е.Ф. Корша, получившего его «третьего дня», датировать его следует 17–18 апреля 1885 г.
- ³³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 451. Постскрипtum из этого письма опубликован в кн.: Лит. наследие. Т. III. С. 335–336.
- ³⁴ Летопись. С. 551.
- ³⁵ Лит. наследие. Т. III. С. 576.
- ³⁶ Там же. С. 335–336.
- ³⁷ Там же. С. 591. Текст исправлен по первоисточнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 430. Л. 46.
- ³⁸ Наблюдатель. 1886. № 2. С. 31–33; № 7. С. 28–31; Исторический вестник. 1887. № 9. С. 660–662.
- ³⁹ Исторический вестник. 1886. № 2. С. 480.
- ⁴⁰ Русская мысль. 1887. № 10. С. 600.
- ⁴¹ Исторический вестник. 1887. № 12. С. 735.
- ⁴² *Толстяков А.П.* Люди и мысли и добра: Русские издатели К.Т. Солдатенков и Н.П. Поляков. М., 1984. С. 41.
- ⁴³ Из письма К.М. Федорова к О.С. Чернышевской от 15 июня 1889 г.: «Сейчас у нас сидит Грачев, который вчера приехал в Астрахань...» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 422. Л. 119 об.).
- ⁴⁴ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 13. 1887 г. Л. 3.
- ⁴⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 450. Л. 4–5.
- ⁴⁶ Там же. № 497. Л. 61.
- ⁴⁷ Лит. наследие. Т. III. С. 607.
- ⁴⁸ Антонина Александровна Кострова – родная сестра Н.А. Добролюбова. Речь в письме идет об Алексее Михайловиче Кострове.
- ⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 450. Л. 1–2 об.
- ⁵⁰ Лит. наследие. Т. III. С. 605.
- ⁵¹ Подробнее: *Орлов В.П.* К биографии Б.А. Марковича // Исторический архив. 1962. № 3. С. 216–217.

- ⁵² ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 33. Л. 20–22, 33, 44.
- ⁵³ Крутикова Н.Е. Из истории братских культур (Н.Г. Чернышевский и Марко Вовчок в письмах Б.А. Марковича) // Русская литература. 1972. № 4. С. 131.
- ⁵⁴ ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 33. Л. 68–69.
- ⁵⁵ Лит. наследие. Т. III. С. 599.
- ⁵⁶ Добровольский Л.Н. Запрещенная книга в России М., 1962. С. 175–176.
- ⁵⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 20–20 об.
- ⁵⁸ Лит. наследие. Т. III. С. 545. Текст этой части письма восстановлен нами по первоисточнику: РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 466. Л. 30 об.
- ⁵⁹ Лит. наследие. Т. III. С. 546.
- ⁶⁰ Там же. С. 561; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 466. Л. 64.
- ⁶¹ Лит. наследие. Т. III. С. 563–564.
- ⁶² Там же. С. 564.
- ⁶³ Там же. С. 566.
- ⁶⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 466. Л. 80–81. Трое издателей – А.Н. Веселовский, М.М. Ковалевский, Н.И. Стороженко.
- ⁶⁵ Лит. наследие. Т. III. С. 592.
- ⁶⁶ Там же. С. 579.
- ⁶⁷ Там же. С. 567.
- ⁶⁸ Материалы для биографии Н.А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. / Изд. К.Т. Солдатенкова. М., 1890. Т. 1. С. 1.
- ⁶⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 68. Письмо от 9 августа 1888 г.
- ⁷⁰ Там же. Д. 265. Л. 19.
- ⁷¹ Там же. Л. 13.
- ⁷² Там же. Д. 479. Л. 9.
- ⁷³ Напр., см.: Бушканец Е.Г. Н.Г. Чернышевский в борьбе за наследие Н.А. Добролюбова // Чернышевский. Вып. 2 (1961). С. 80–95; Свердлина С.В. Чернышевский в 1883–1889 годы (к вопросу о композиции книги «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова») // Филологические науки. 1966. № 2. С. 109–122; Кашина Л.П. Текстологический принцип издания эпистолярного материала в книге Н.Г. Чернышевского «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова» // Добролюбовские чтения. Горький, 1977. С. 38–41; Сорочкина А.А. Н.А. Добролюбов на страницах журнала «Русское богатство». 1896–1911 // Добролюбовские чтения. Горький, 1977. С. 88–96; Мартынов А.Ф. Борьба Н.Г. Чернышевского за идейное наследие Н.А. Добролюбова // Освободительное движение в России. Саратов. 1979. Вып. 9. С. 52–70; Краснов Г.В. Летопись жизни и деятельности Н.А. Добролюбова, составленная Чернышевским // Чернышевский. Вып. 10 (1987). С. 81–103.

- ⁷⁴ См.: *Мартынов А.Ф.* Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 113, 122.
- ⁷⁵ Там же. С. 279–280.
- ⁷⁶ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 26.
- ⁷⁷ Лит. наследие. Т. III. С. 51.
- ⁷⁸ ГАРФ. Ф. 102. 3 д-во. Д. 904. Л. 27. См. также: *Голос минувшего.* 1917, № 7–8. С. 195; *Пыпина В.А.* Любовь в жизни Чернышевского. Пг., 1923. С. 115.
- ⁷⁹ *Травушкин Н.С.* Комплект «Современника» у Чернышевского в Астрахани // Чернышевский. Вып. 10 (1987). С. 105.
- ⁸⁰ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 45–45 об.
- ⁸¹ Лит. наследие. Т. III. С. 91.
- ⁸² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 494. Л. 7.
- ⁸³ Там же. Л. 34 об. М.Н. Чернышевский извещал о нераспроданных 1800 экземплярах книги нового издания (Лит. наследие. Т. III. С. 91).
- ⁸⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 494. Л. 6.
- ⁸⁵ Там же. Л. 7.
- ⁸⁶ Там же. Л. 13.
- ⁸⁷ Лит. наследие. Т. III. С. 607.
- ⁸⁸ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 568. Л. 5.
- ⁸⁹ *Пантелеев Л.Ф.* Воспоминания. М., 1958. С. 473.
- ⁹⁰ *Ямпольский И.Г.* Заметки о Чернышевском // Чернышевский (1978). Вып. 8. С. 235–236.
- ⁹¹ Подробнее: *Научная биография (1859–1864)*, раздел «Майские пожары. Разгул репрессий».
- ⁹² *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1905–1906. Т. X. Ч. 2. С. 190–197.
- ⁹³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. № 226. Л. 3, 4 об, 12 об. – 13, 13 об.
- ⁹⁴ Там же. Л. 24.
- ⁹⁵ Там же. Л. 36, 38, 41 об., 43 об, 47, 47 об, 51 об, 65.
- ⁹⁶ Там же. Л. 26, 27, 30, 32, 74.

20. Отъезд

В практике полицейского пресечения деятельности политически неблагонадежных лиц очень часты случаи перемены места ссылки по самым различным обстоятельствам. Однако Чернышевский продолжал оставаться в списке особо опасных государственных преступников, и, как было видно по всему, Астрахань предназна-

чалась ему постоянным местопребыванием. Выхлопотать переезд в другой город становилось не менее затруднительным делом, чем перемещение из Виллойска. По свидетельству О.С. Чернышевской и В.Н. Пыпиной, он при свидании с ними по дороге в Астрахань уверял обоих, что по прибытии на место немедленно обратится с просьбой о разрешении поселиться в Саратове¹. Возможно, в беседе с губернатором он и затрагивал эту тему, но, разумеется, получил отказ. Показательна отрицательная реакция высших властей на прошение М.Н. Чернышевского, поданное на имя Александра III 5 ноября 1885 г. Текст документа почти полностью составлялся А.Н. Пыпиным и без ведома Чернышевского («сам он ни о чем не просил», — подтверждал Михаил Николаевич²). Сын ходатайствовал о разрешении «бывшему политическому преступнику Чернышевскому жить в России, где ему будет нужно, не исключая и Петербурга, и дозволить ему заниматься литературным трудом как средством, обусловливающим его существование с семейством и вместе с тем могущим сколько-нибудь облегчить его изболевшееся нравственное состояние»³. В ответе директора Департамента полиции от 6 декабря 1885 г. за № 4814: изменение местожительства Чернышевского «Министром внутренних дел признано преждевременным»⁴.

В начале ноября 1886 г. М.Н. Чернышевский получил от отца указание навести справки, имела ли бы успех просьба о переводе в Саратов. «Дело в том, — объяснял Чернышевский, — что на следующее лето должно опасаться проникновения холеры в Россию; а в Астрахани — гнилой и знойной, эта эпидемия будет сильнее, чем в других русских городах. Мне все равно, где жить. Но твоя маменька очень страшится быть во время холеры здесь» (XV, 192). Инициатива на этот раз, как видим, исходила от Ольги Сократовны, но ни в одном из писем самого Чернышевского эта тема больше не затрагивалась. Возможно, о неудаче с прошением 1885 г. поведала Чернышевскому жена его младшего сына Елена Матвеевна, побывавшая в Астрахани летом 1887 г. (XV, 647)⁵.

В том же 1887 г. распространилась молва о переводе Чернышевского в уездный город («слух, что Вы, по просьбе, переводитесь в Царицын», — писал ему И.И. Короленко в приведенном выше письме от 1 июля⁶), однако предположение не имело под собой оснований, Чернышевский неизменно оставался в Астрахани.

Прошло около двух лет, и 28 марта 1889 г. М.Н. Чернышевский возобновил ходатайство об отце. Прошение написано на имя министра внутренних дел. Главное место здесь отведено описанию состояния здоровья Чернышевского. Астрахань названа «одной из наименее благоприятных в санитарном отношении местностей Рос-

сии», «климат астраханский, — писал М.Н. Чернышевский, — уже успел оказать в течение пяти лет свое влияние и на здоровье моего отца, а также и на здоровье моей матушки, никогда не отличавшейся здоровьем. <...> Дальнейшее проживание в Астрахани представляет для моей матушки самую серьезную опасность, угрожая прямо ее жизни». Он просил о переводе отца «в родной его город Саратов, куда имела бы возможность переселиться и больная моя матушка». В тексте прошения властным красным карандашом отчеркнуты два места, где говорится о возрасте Чернышевского («отцу моему уже шестьдесят первый год») и о Саратове⁷. Ольга Сократовна хотела, чтобы ее муж и сам похлопотал «вовремя о переводе себя в другой город». «Все подают просьбу лично Государю, — настаивала она в письме из Саратова от 29 мая. — Говорят, скоро свадьба у наследника»⁸. В ночь на 1 июня от Михаила пришла адресованная матери телеграмма: «Хлопоты увенчались успехом, результат скоро», и отсылая ее адресату, Чернышевский приписал: «О чем говорится в ней, я догадываюсь; но не знаю, верно ли разгадываю» (XV, 870, 959).

Последовательность событий была следующей. По распоряжению министра внутренних дел вице-директор Департамента полиции затребовал 3 мая 1889 г. от астраханского губернатора сведения «об образе жизни и поведении Чернышевского». 19 мая губернатор отвечал: «...Ведет себя безукоризненно, занимается переводом “Всеобщей истории” Вебера, доведенным им почти до конца. Что же касается до политической благонадежности Чернышевского, то я нахожу его совершенно безопасным в политическом отношении, ввиду очевидного падения или притупления его умственных способностей» (XV, 959)⁹. Донесение губернатора прибыло в Петербург 25 мая¹⁰, а к 3 июня было подготовлено окончательное решение, о котором М.Н. Чернышевский узнал двумя днями раньше: «Признать ходатайство это заслуживающим удовлетворения». Документ за № 1972 подписан вице-директором Департамента полиции А.А. Сабуровым¹¹. В письме от 6 июня Ольга Сократовна уже дала распоряжение о подготовке вещей к перевозу в Саратов, «когда ты, — писала она мужу, — узнаешь от своего приятеля жандармского об этом переводе»¹². Сообщение астраханского губернатора полицмейстеру последовало 15 июня за № 198¹³, оно и стало заключительным документом астраханской ссылки Чернышевского.

Губернатором в Астрахани служил князь Леонид Дмитриевич Вяземский. Его назначение состоялось указом Александра III 31 июля 1888 г., когда Вяземскому исполнилось сорок лет. 6 сентября он уведомил своего предшественника Л.Е. Норда о своем вступлении в должность «сего числа»¹⁴. Вяземский воспитывался в Александров-

ском лицее, вступил в службу унтер-офицером в 1867 г. Дальнейшая карьера вполне соответствовала его княжескому происхождению: поручик (1870), исполняющий должность полкового адъютанта (1871), штаб-ротмистр (1873), отчислен в свиту императора (1876), полковник (1877). Участвовал в Русско-турецкой войне. Затем он уехал в свое имение в Тамбовскую губернию, где за ним числилось 3200 десятин земли (еще 1300 десятин – в Саратовской губернии). В 1884 г. он избирался предводителем дворянства Усманского уезда. 30 августа 1887 г. произведен в генерал-майоры. К этому времени он был женат на графине М.В. Левашовой, имел двух сыновей Бориса и Дмитрия и дочь Лидию¹⁵. Назначение астраханским губернатором и одновременно атаманом астраханского казачьего войска положило начало дальнейшей высокой карьере. Главой губернии он пробыл до 19 апреля 1890 г., после чего был назначен начальником Главного управления уделов, а с 1898 г. стал членом Государственного совета.

Два события в жизни Вяземского оказались связанными с передовыми общественными акциями: содействие Чернышевскому в перемещении в Саратов и вмешательство в действия полиции при разгоне демонстрации 4 марта 1901 г. на Казанской площади в Петербурге. Последнее повлекло за собой опалу и высылку за границу. «Благородный человек», – высказался о нем Чернышевский (XV, 879). Этой характеристикой, вполне точной и объективной, обозначена личность родовитого сановника, не склонного к репрессивным способам правления.

Новому губернатору Чернышевский был представлен сразу же. Очень скоро их отношения перешли рамки исключительно официальных, обычно устанавливавшихся между главой губернии и политическим поднадзорным. Так, 28 апреля 1889 г. Чернышевский писал жене, что собирается нанести визит одному из «знакомых» для вручения своего XI тома «Всеобщей истории» Г. Вебера и сообщения ему того, о чем она говорила перед отъездом (XV, 841). Имя «знакомого» выясняется из письма Ольги Сократовны от 6 мая: «...Был ли ты у Вяз<емского> и отнес ли ему XI т. и как он принял тебя? Поправляется ли его супруга?»¹⁶ Эту, словами Чернышевского, «инструкцию» он исполнил 10 мая. Из осторожности не называя имен, он ответил жене, что побывал у них, просидел «у дамы» (т.е. Марьи Владимировны Вяземской) часа полтора, что «большую часть времени (пока мы были одни, она и я и потом ее муж) она расспрашивала о тебе с большим уважением (он тоже)», «он» сетовал на его, Чернышевского, редкие посещения и просил бывать «хоть раз в неделю» (XV, 858).

В напряженные дни, когда решался вопрос о разрешении на переезд в Саратов, Чернышевский, успокаивая Ольгу Сократовну,

писал 5 июня: «Кстати, напишу ответ на один из прежних твоих вопросов. — В хороших ли отношениях я с мужем той дамы, которую искренно полюбил за скромность? — Да, в хороших; иначе и быть не может, потому что он очень уважает жену и видит искренность моего расположения и уважения к ней (да и к нему, потому что я считаю его хорошим человеком, и он видит это)». Получив письмо, О.С. Чернышевская приписала после слова «мужем»: «т.е. с княз. Вяземским» (XV, 971). В том же письме от 5 июня Чернышевский известил, что муж «той дамы» давно уехал в объезд по местности, которую заведует и что по его приезде собирается потолковать с ним «о его жене, детях и об ученых вопросах, и о всяческих делах, в том числе и о своих» (XV, 873). «Ученые вопросы», скорее всего, охватывали круг тем, связанных с текстом «Всеобщей истории» Вебера, тома которой переводчик преподносил с автографом хозяину гостеприимного дома.

Время приезда Вяземского — 7 июня — Чернышевский тотчас сообщил жене в следующем своем письме (XV, 874). Деликатно выждав два дня (они, конечно, стоили немалых переживаний), он вечером явился к губернатору, но не застал его дома. На другой день (10 июня) Чернышевский пришел снова и оставил заранее составленную записку с запросом о своем деле (она не сохранилась). Утром 11 июня Вяземский прислал ответ, «разумеется, очень милый и благородный, как и не могло быть иначе, при его добром и деликатном характере». Чернышевский переписал для жены почти полностью весь текст, содержание которого сводилось к тому, что он, Вяземский, дал министерству «вполне благоприятный» ответ относительно возможности облегчения участи Чернышевского. Выпущенными оказались две фразы: «По чьей инициативе был возбужден вопрос о переводе — я не знаю, но полагал, что Вы сами просили об этом» и «Письмо Вашей супруги при сем возвращаю»¹⁷. Следовательно, Ольга Сократовна сама обращалась к князю за разъяснением дела. Чернышевский, как писал он жене, письменно поблагодарил губернатора (письмо не сохранилось) и к этой благодарности решил присоединить и устную (XV, 876, 877).

14 июня пришла распорядительная бумага из Петербурга, и князь Вяземский немедленно отправил Чернышевскому собственноручную записку: «14 июня 89. Милостивый государь, Николай Гаврилович, особенно сожалею о том, что Вы не застали меня именно сегодня, т. к. имел сообщить Вам приятную новость: Вам уже разрешено переехать в Саратов. Хотел сегодня же сообщить Вам это известие письменно, всегда готовый к услугам

Ваш кн. Вяземский»¹⁸.

Получение записки засвидетельствовано К.М. Федоровым, который писал 15 июня: «Вчера, дорогая Ольга Сократовна, получили от князя извещение, что Николаю Гавриловичу разрешено переехать в Саратов»¹⁹. 14 июня Чернышевский пришел к губернатору домой для беседы. «Я просидел вчера у него начало вечера, — сообщал он жене на другой день. — По моему (можно сказать: допросу) признался, что начал дело он, — частным письмом. Я в этом был убежден» (XV, 879). Исключать возможность частного обращения Вяземского к кому-либо из высших петербургских чиновников (возможно, к министру внутренних дел) у нас нет никаких оснований.

В ту беседу 14 июня Вяземский вряд ли рассказал о содержавшейся в его официальном отзыве о Чернышевском фразе относительно «очевидного падения или притупления его умственных способностей». Она носила вынужденный характер и предназначалась для полицейского ведомства, более всего озабоченного возможным проявлением поднадзорным политической активности. Князь явно «пережал» в этой характеристике, которой, безусловно, противоречило предшествующее ей в том же документе сообщение об успешных занятиях Чернышевского переводом «Всеобщей истории» Г. Вебера, требующим огромных интеллектуальных сил. Вразрез с губернаторской фразой шли строки из прошения М.Н. Чернышевского, уверявшего, что его отец в настоящее время «желал бы посвятить свои силы изучением историческим, философским и историко-литературным. Но для такого труда, — прибавлял сын писателя, — необходимы серьезные пособия и исторические материалы. Таких пособий Астрахань иметь, конечно, не может»²⁰. Что касается личного мнения Вяземского о Чернышевском, то постоянное общение с ним, разговоры об «ученых вопросах», появление в журналах серьезных научных публикаций с несомненностью убеждали в мощном творческом потенциале его собеседника, незаурядности его личности. Впрочем, губернатору, хорошо знавшему высший чиновный мир, виднее было сказать так, как он сказал. Важен результат, означавший для Чернышевского пусть незначительную, но все же подвижку в многолетних упорных противодействиях правительства, или, как выразился сам Чернышевский, «хорошо уж то, что оно имеет серьезное желание сделать в мою пользу, что будет возможно по обстоятельствам» (XV, 876–877).

По воспоминаниям М.А. Чернышевской, Николай Гаврилович «очень ждал возвращения в Саратов»²¹. Сыну же он писал, что жить в Саратове удобнее «в деловом отношении», поскольку облегчалась связь с Москвой. «Еще важнее это переселение, — уверял он, — для вашей мамы; я надеюсь, что ее здоровье здесь улучшится»

(XV, 888). «Обрадовались мы, как и не помню когда, при добром известии о переезде Вашем в Саратов», — писала Чернышевскому жена А.Н. Пыпина Юлия Петровна²².

Событие очень быстро сделалось достоянием гласности, благодаря извещениям в местной прессе: 24 июня о нем известил «Саратовский дневник», 27 июня — «Астраханский вестник».

Ольга Сократовна была едва ли не единственной, кто не испытал в связи с предстоящим переездом радостного волнения, хотя исполнялось прежде всего именно ее желание покинуть Астрахань. Она писала из Саратова мужу 11 июня, уже зная о разрешении: «...Как-то все не верится ни во что и ни в кого. С этой зимы я разлюбила все и всех. В настоящее время я прямо могу сказать, что я не живу, а только прозябаю. Что делать, мой друг! Всему бывает конец!» И далее она прибавила фразу, наверняка прошившую сердце Чернышевскому: «Я чувствую, что скоро умру»²³. Смерть действительно скоро пришла — не к ней (она прожила еще около 30 лет), а к нему.

Канитель переезда захватила всех, отвлекла от размышлений, побудила заняться конкретными житейскими делами. Чернышевский упаковывал и отправлял парходом вещи, Ольга Сократовна спешно занялась приисканием квартиры «поближе к своим», то есть к Пыпиным. Поселиться в родовом доме Чернышевских, все эти годы сдававшемся внаем, она не пожелала. «Квартиранту отказывать не хочу. Пусть живет в нашем доме. В этом доме я жить боюсь. Много он нам всем горя принес. Бог с ним совсем!» — объясняла она мужу²⁴. Чернышевский просил ее нанять квартиру с конюшней. «Тебе приятно иметь лошадь, а мне не то что только приятно, — мало этого, надобно», — убеждал он (XV, 882—883) — совсем по правилам «разумного эгоизма». 21 июня пришла из Саратова телеграмма с извещением о найденной квартире с конюшней и перевезенной мебели (XV, 959)²⁵. Во второй телеграмме сообщался адрес: «Соборная дом Никольского во дворе»²⁶.

Наконец наступил и день отъезда. В рапорте полицмейстера Инковского от 26 июня на имя Вяземского о Чернышевском говорилось: «24 сего июня с открытым листом за № 102, выданным от меня, отправился на постоянное жительство в г. Саратов и дело о нем вместе с сим препровождено к саратовскому полицмейстеру»²⁷. Приезд немедленно был зафиксирован рапортом местного полицмейстера своему губернатору: «27 сего июня прибыл в Саратов и остановился на квартире в доме Никольского на Соборной площади. <...> Сделано распоряжение об учреждении за Чернышевским надзора»²⁸.

Примечания

- ¹ Красная новь. 1928. № 8. С. 174, 175,
- ² Воспоминания (1982). С. 450.
- ³ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 167.
- ⁴ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. № 3892. Л. 74. Ср.: Лит. наследие. Т. III. С. 192.
- ⁵ «Быть может, в конце июля нам удастся прокатиться к Вам», — писал отцу М.Н. Чернышевский 9 июня 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 57). Однако в Астрахань поехала одна Е.М. Чернышевская.
- ⁶ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 450. Л. 4 об.
- ⁷ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 179—180.
- ⁸ Лит. наследие. Т. III. С. 638.
- ⁹ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 292—293; ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 94—95.
- ¹⁰ ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 80.
- ¹¹ Там же. Л. 81 об.; *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 293.
- ¹² Лит. наследие. Т. III. С. 640—641. Вероятно, так иронически был назван полицмейстер Инковский.
- ¹³ ГААО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 97.
- ¹⁴ ГААО. Ф. 1. Оп. 6. Д. 27. 1888 г. Л. 2, 5. Л.Е. Норд прибыл в Астрахань вице-губернатором в феврале 1886 г. на место Н.И. Жоховского, назначенного 19 декабря 1885 г. вице-директором хозяйственного департамента в Петербурге (ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 52405. Л. 1, 5).
- ¹⁵ ГААО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 52791. Л. 1—8; Ф. 1. Оп. 6. Д. 27. 1888 г. Л. 19—26. См. также: *Вопр. литературы.* 1978. № 7. С. 94.
- ¹⁶ Лит. наследие. Т. III. С. 634.
- ¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 435. Л. 1—1 об.
- ¹⁸ Там же. Л. 2—2 об.
- ¹⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 422. Л. 119.
- ²⁰ Н.Г. Чернышевский: Сб. М., 1928. С. 180.
- ²¹ Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1926. С. 218.
- ²² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 472. Л. 16.
- ²³ Лит. наследие. Т. III. С. 642.
- ²⁴ Там же. В доме Чернышевских в 1860 г. умер в четырехлетнем возрасте сын Ольги Сократовны Виктор. О нем см.: *Научная биография (1859—1864)*, в разделе «Снова в Саратове», примеч. 2.

- ²⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 155. С 15 сентября 1888 г. Чернышевские снимали квартиру в доме С.Н. Карамышева (Летопись. С. 579). О воспоминаниях сына хозяина дома см.: *Краснов Г.В.* Рассказы А.С. Карамышева о Чернышевском // Чернышевский. Вып. 8 (1978). С. 217–224.
- ²⁶ Там же. Л. 156.
- ²⁷ ГАО. Ф. 1. Оп. 3 а. Д. 46. Л. 99.
- ²⁸ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 557. Л. 9.

Глава четвертая В Саратове

21. В родном городе

Двухэтажный дом саратовского чиновника А.М. Никольского стоял в центральной части города на Соборной улице напротив городского сада «Липки». Здание в шесть окон на каждом этаже располагалось в глубине двора, закрытого с улицы высоким плотным забором с воротами. Справа от ворот находился небольшой садик, а все хозяйственные постройки, в том числе конюшня, помещались позади дома¹. Чернышевские обязались платить хозяину 500 рублей в год². Свой адрес Чернышевский сообщал так: «Соборная ул., д. Никольской (№ 6)»³ или «Саратов, Соборная улица, дом Никольской» (XV, 885).

Место было достаточно тихое, домовладелец пользовался репутацией вполне добропорядочного человека. За последние несколько лет только одно событие связало имя А.М. Никольского с полицейским донесением. Докладывая начальству об очередных происшествиях, местный пристав сообщал о полуторамесячном младенце, подкинутом в девять часов вечера 28 марта 1888 г. «на Соборной улице во дворе дома Никольского неизвестно кем» и отправленном в приют «Ясли»⁴.

После вступившего в силу 1 марта 1888 г. изменения границ полицейских частей города улица Соборная вошла в 3-ю часть, где приставом стал В.В. Фабрициев. Ему и его помощникам и было поручено осуществление гласного полицейского надзора за Чернышевским. Приставу Фабрициеву в 1889 г. было тридцать лет, по аттестации начальства — «опытный, способен по сыскной ча-

сти, честный, но слишком строг к подчиненным». Помощниками у него в течение весны-осени 1889 г. были Н.Н. Розин, И.Г. Гомеров, П.А. Инглези, И.П. Меликов, Н.П. Леопольдов. 30 апреля 1890 г. Фабрициев получил должность помощника саратовского полицмейстера⁵.

Общее руководство по надзору осуществлял, как и полагалось, полицмейстер Х.М. Лотовицкий, исполнявший эту должность с 28 июня 1886 г.⁶ и действовавший совместно с начальником жандармского управления генерал-майором П.И. Гусевым, который помнил Чернышевского с 1883 г. (генералом он стал в апреле 1886 г.⁷). Губернией управлял генерал-лейтенант А.И. Косич (с 27 марта 1887 по 20 декабря 1891 г.). Мемуаристы утверждают, что губернатор относился к Чернышевскому весьма сочувственно. По свидетельству Н.Ф. Хованского, Чернышевский «в последние дни перед смертью» собирался посетить начальника губернии, «о котором ему говорили много хорошего»⁸. Столь запоздалое представление, как мы установили, объясняется просто: с 7 июня 1889 г. А.И. Косич воспользовался четырехмесячным отпуском, вернулся в Саратов только в сентябре и вскоре уехал в столицу, куда, по газетным сообщениям, прибыл 25 сентября, а возвратился 7 октября⁹. Некоторое представление о благородной личности А.И. Косича дает, к примеру, адрес, преподнесенный ему в конце 1891 г. в связи с его отъездом из Саратова и новым назначением. Адрес составлен 17 декабря членами общества санитарных врачей. Они отмечали «просвещенное содействие и авторитетную поддержку» губернатора своим начинаниям и трудам. Особо сказано о лекторской деятельности членов общества, ставшей возможной «при наиболее благоприятном условии академической свободы слова». В числе подписавших адрес лечивший Чернышевского врач А.В. Брюзгин, редактор «Саратовского дневника» А.Ф. Хованский, член Саратовской ученой архивной комиссии С.С. Краснодубровский, бывшие политические поднадзорные В.Л. Поляк, Б.А. Маркович. На другом адресе — подпись М.А. Чернышевской¹⁰.

Все необходимые распоряжения в отсутствие губернатора в 1889 г. отдавал вице-губернатор, действительный статский советник А.А. Высоцкий, занимавший эту должность с 24 ноября 1888 по 12 ноября 1902 г. В саратовском «Деле об учреждении надзора полиции за титулярным советником Николаем Чернышевским. Начато 9 июня 1889. Окончено 3 января 1890» нет ни одного документа, который утверждал бы необходимость усиления установленного гласного надзора. Записанные Н.М. Чернышевской показания Ек.Н. Пыпиной, будто полицейские неотступно следили за домом

Никольского и во время прогулок Чернышевского его сопровождал «некто в черном»¹¹, документально не подтверждаются. Система гласного надзора не предусматривала подобных мер, подчеркивающих особенность положения поднадзорного.

На другой же день по приезде Чернышевский побывал в своем доме, где жил с семьей А.А. Токарский, присяжный поверенный саратовского окружного суда, навестил Пыпиных и семидесятичетырехлетнего родственника И.Н. Виноградова¹².

Внешне город почти не изменился со времени последнего его пребывания здесь¹³. По воспоминаниям А.А. Токарского, сопровождавшего Чернышевского домой после встречи, он, идя по Гимназической улице¹⁴, «узнавал дома, которые были еще при нем, и называл их хозяев»¹⁵. По табличке на доме вспомнил своего бывшего ученика по гимназии А.П. Ровинского, ставшего присяжным поверенным, в газете вычитал имя поверенного А.М. Родионова, которого помнил мальчиком. Мемуаристы засвидетельствовали его встречи с другим бывшим гимназистом В.Д. Вакуровым, купцом, владельцем крупной гостиницы на Театральной площади¹⁶. Вероятно, навещал Чернышевского и Ю.М. Мосолов, который в 1851–1853 гг. учился у него в гимназии, впоследствии его видели на похоронах писателя¹⁷. Мосолов был искренним почитателем своего учителя, за участие в освободительном движении попал в политические ссылки. Ф.В. Духовников, называя в письме к М.И. Семевскому от 22 ноября 1891 г. бывших учеников Чернышевского по гимназии, поделившихся с ним воспоминаниями о Чернышевском, указал, кроме В.Д. Вакурова, на председателя Саратовской губернской земской управы В.В. Безобразова, бывшего учителя камышинского уездного училища И.А. Залесского, военного врача В.А. Дементьева – сотрудника «Саратовского дневника», умершего в 1891 г.¹⁸ В других мемуарах названо также имя К.П. Трушкина, товарища детских игр Чернышевского, однажды он провел в доме Никольского целый вечер¹⁹. В Саратове в ту пору жили бывшие соученики Чернышевского по местной духовной семинарии – протоиерей женского монастыря А.Е. Фиолетов, священник Ильинской церкви Е.А. Маноев, протоиерей кафедрального собора В. Копронимов²⁰. Сразу после смерти писателя первым воспоминаниями о нем поделился с читателями местной газеты его бывший соученик по духовной семинарии протоиерей А.И. Розанов²¹. Воспоминаниями А. Фиолетова и В. Копронимова пользовался Ф.В. Духовников²².

Конечно, заходил Чернышевский и в Сергиевскую церковь, где многие годы служили протоиереями его дед Г.И. Голубев и отец, здесь Николая Гавриловича крестили и здесь он венчался в 1853 г.²³

Посетил дом Васильевых, в котором выросла Ольга Сократовна. Преподавательница А.П. Горизонтова рассказывала: «Это было летним вечером, жильцы дома находились во дворе. Отворилась калитка, и во двор тихо вошел незнакомый старик. Жильцы знали, что дом принадлежал раньше тестю Чернышевского, и слышали, что Николай Гаврилович должен приехать в Саратов. Поэтому они сразу догадались, что это был он. Николай Гаврилович, не обращаясь ни к кому с вопросом, молча сел на скамью, оперся руками на палку, бывшую у него в руках, склонил голову и долго просидел в глубокой задумчивости. Все, кто был во дворе, поняли, что ему вспоминалось прошлое, поэтому ушли в дом и увели детей, чтобы не потревожили его...»²⁴ Из живших в те годы в Саратове родственников Ольги Сократовны Чернышевский особенно радушно принимал Буковских – Константина Николаевича (земского деятеля) и его жену Варвару Александровну, которая приходилась Ольге Сократовне племянницей (была дочерью Анны Сократовны Васильевой)²⁵. В часы отдыха Чернышевский ходил гулять на Волгу. Он любил гулять один и старался идти где-нибудь переулочками, чтобы пройти незамеченным. Иногда Ольга Сократовна ездила с ним на извозчике куда-нибудь за город, на дачу»²⁶.

«Пройти незамеченным», избежать назойливых разговоров все не означало отстраниться от людей. А.А. Токарский, например, описал сцену оживленной беседы Чернышевского с толпой крестьян на улице перед зданием суда, где Токарский служил. Охотно согласился встретиться с саратовцами в одной из небольших комнат Коммерческого клуба, интересовался делами земства, судебными учреждениями, настроениями сельскохозяйственных рабочих, бытом чиновничества. Характерна его озабоченность судьбой одного из сослуживцев Токарского, вскоре умершего от злоупотребления алкоголем; «когда после похорон, – рассказывал мемуарист, – я заехал к Н. Г-чу, он, знавший из газет, что в тот день хоронили моего товарища, ни одного вопроса не задал, ни звуком не намекнул на событие. Взявши меня за плечо, провел прямо в кабинет и почти тотчас же стал что-то рассказывать. Эта тонкая деликатность и мягкая нежность были так присущи Н. Г-чу, что окружающие их почти не замечали»²⁷. Однажды, гуляя, он отдал свое пальто какому-то чиновнику²⁸.

О важнейших событиях городской жизни Чернышевский узнавал из газет, которые прочитывал обязательно. У одного из земских деятелей он как-то выспрашивал сведения о постройке земской железной дороги, о проекте приобретения казенных земель для переселенческих целей и очень подосадовал на незнание его себе-

седником источников²⁹. Его двоюродной сестре Ек.Н. Пыпиной запомнилось, как Николай Гаврилович обсуждал с ее отцом Н.Д. Пыпиным какую-то газетную статью³⁰. Пресса сообщала об устройстве в городе первой телефонной линии, о пополнениях в музее имени А.Н. Радищева (он открылся в июне 1885 г. на Театральной площади), о намерении нескольких лиц из среды местной адвокатуры учредить юридическое общество (другая газета отрицала эту новость), о начавшемся избрании земских гласных, внесшем в общественную жизнь заметное оживление, о процессе обезземеления крестьян, о больших партиях рабочих, возвращающихся с отхожих заработков и ищущих в городе любую «наемку» для приобретения денег на дорогу, о собраниях местной ученой архивной комиссии, исподволь начинавшей готовиться к празднованию трехсотлетия со дня основания города, о состоявшемся 11 и 12 сентября губернском съезде земских врачей, о ценах на рынках (за сотню хороших огурцов, например, просили 7–8 коп.), о земской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, устроенной в Саратове с 6 по 21 сентября³¹.

На этой выставке ему довелось побывать. Она занимала значительную площадь на углу Малой Сергиевской и Александровской улиц. На выставку свои экспонаты прислали и другие губернии, в том числе Астраханская, представленная, в частности, продукцией шелководства станции Г.К. Чичуа. В письме к Чернышевскому от 7 сентября 1889 г. грузинский князь, состоявший под надзором полиции, объяснял, что не сможет приехать на выставку («лично мне, как Вам известно, нельзя быть в Саратове»), и потому «я, — писал он, — очень просил бы Вас понаблести за выставленными мною предметами». К письму он приложил составленный им специально для выставки «очерк деятельности» своей станции шелководства. «Не стану, — писал Чичуа здесь же, — особенно поздравлять Вас с возвращением на родину, так как для Вас, где бы Вы ни были — везде родина, везде одинаково любят Вас, одинаково помнят. Тем не менее возвращение Ваше в Саратов все же, полагаю, приятно, так как это Ваш родной город, где протекла Ваша молодость. Словом, я очень рад за Вас и желаю Вам всего самого хорошего в мире»³².

Просьбу своего астраханского знакомого Чернышевский исполнил со всею тщательностью. Он посетил выставку 14 сентября, переговорил с ее распорядителями и на следующий день написал князю, что коконы были получены 10 и стали экспонироваться 13 сентября в «Главном павильоне, где выставлено множество разнороднейших предметов, интересных для массы публики, которая поэтому постоянно толпится там». «Кроме Вас, — сообщал Чернышевский, — при-

слал коконы только один производитель, г. Лятошинский, плантация которого находится между Царицыным и Сарептой. Он занялся шелководством недавно...» (XV, 898–899). По уверению местной газеты, павильон шелководства В.Ф. Лятошинского «один из самых интереснейших отделов выставки, привлекавший наибольшее число публики, в особенности школы»³³. В день закрытия выставки в газете появилась датированная 12 сентября небольшая корреспонденция из Астрахани, рассказывавшая об опытной станции шелководства «грузина Чичуа»³⁴. Постановлением распорядительного комитета выставки Г.К. Чичуа удостоился бронзовой медали «за успешное распространение действующего в Астрахани шелкового хозяйства» (XV, 960).

Вообще Чернышевский избегал многолюдных мест, его появление на выставке объяснялось, вероятно, только поручением Г.К. Чичуа. Однажды его и Ольгу Сократовну видели на концерте и в театре, находившемся в саду Сервье, и Николай Гаврилович тут же пояснил встретившемуся, что «Оленьку некому было проводить в театр»³⁶. Сведениями о том, на каких спектаклях бывал Чернышевский и посещал ли другие театры, биографы не располагают. В ту пору саратовская публика имела возможность посещать три театра. Городской зимний театр размещался в каменном здании, арендуемом товариществом артистов (16 актеров и 15 актрис), представителем которого выступал артист А.И. Горин-Горайнов. Этим же товариществом арендовался при участии купца М.Н. Иванова второй деревянный театр, принадлежавший купцу Г.В. Очкину. В 1889 г. представлений здесь не давали, как указано в рапорте полицмейстера от 19 декабря, «за недостатком артистов». Городской летний театр занимал деревянное здание, стоящее в городском саду, который носил имя бывшего его владельца француза И.Э. Сервье. Оно находилось в аренде «у запасного писаря Максимова сроком на три года». «В течение лета 1889 г. в этом театре, — докладывал полицмейстер, — давали представление разные приезжие артисты, обладавшие различными артистическими способностями»³⁶. На сцене этого театра, как извещали местные газеты, летом шли представления приезжей труппы русской оперетты. В Летнем саду при театре Г.В. Очкина проходили ежедневные гулянья, играл оркестр под управлением Г. Добровольского³⁷. В сентябре в городском зимнем театре саратовцы смотрели пьесу местного писателя И.А. Салова «Дармоедка» и его комедии «Тетенька» и «Аспид», которые газета назвала «картинками из “темного царства”». 25 сентября здесь шла «при порядочном сборе» комедия А.Н. Островского «Бедность не порок»³⁸.

Как бывший журналист, Чернышевский не мог не интересоваться состоянием газетного дела и его деятелями. В 1889 г. в городе издавались четыре газеты («Саратовский листок», «Саратовский дневник», «Саратовские губернские ведомости» и «Саратовские епархиальные ведомости»), три журнала («Вестник мира» на немецком языке, «Досуги Марса» и благотворительное издание «Братская помощь»), выходил сборник «Помощь самообразования». Наибольшую роль в общественной жизни играли первые две газеты.

«Саратовский листок» издавали П.О. Лебедев и И.П. Горизонтов, редактором-издателем «Саратовского дневника» был А.Ф. Хованский, родной брат известного Чернышевскому Н.Ф. Хованского, который редактировал неофициальную часть «Саратовских губернских ведомостей».

Иван Парфенович Горизонтов слыл опытным журналистом, писавшим обычно под псевдонимом «Каменный гость». Он успешно сотрудничал в «Вестнике Европы» и других изданиях. По его признанию, Чернышевский оказал «глубокое влияние» на его судьбу: в 1866 г. его исключили из Саратовской духовной семинарии за увлечение запретной литературой, в том числе произведениями автора «Что делать?». Студентом столичного университета участвовал в волнениях конца 1860-х годов и был выслан в Саратовскую губернию. Свое личное знакомство с Чернышевским Горизонтов-мемуарист датирует «летом» 1889 г.³⁹ Однако время их встречи легко уточняется по упоминанию мемуаристом имени Я.П. Полонского, останавливавшегося проездом из Сарепты 15–20 июля⁴⁰. Чернышевского Горизонтов увидел в гостях у Я.П. Полонского в одном из номеров Центральной гостиницы (так называли гостиницу на Немецкой улице). «Начался разговор, и все больше про Питер и его литературные сферы», и как ни старались собеседники «повернуть разговор на личную судьбу Чернышевского, он или отмалчивался, или ограничивался шуточками», — вспоминал Горизонтов, не раскрывая, однако, содержания затянувшейся дотемна беседы о литературе. Можно предположить, что много говорили об И.С. Тургеневе, с которым Я.П. Полонский и его жена дружили многие годы. «Хроника» «Саратовского листка» (ее автором в данном случае был сам Горизонтов), напоминая читателям о приехавшем в Саратов «известном поэте-писателе с семейством», сообщала между прочим: «Супруга поэта — тоже художник: она ваятель. Учиться искусству скульптуры начала еще недавно и по совету покойного Тургенева, который заметил в Ж.А. Полонской задатки большого таланта. И действительно, Тургенев не ошибся: г-жа Полонская в короткое

время достигла таких блестящих результатов на избранном ею поприще, что, как известно, на могиле Тургенева поставлен очень схожий бюст романиста, сделанный г-жой Полонской, и город Одесса именно ей предоставил вылепить бюст-памятник Пушкина, который недавно и открыт»⁴¹. В запомнившейся Горизонтову беседе, конечно, участвовала и Ж.А. Полонская, и Чернышевскому тогда с еще большими подробностями поведали историю ее успешного творчества. Существенным дополнением к рассказанному газетой стала публикация, состоявшаяся в день отъезда поэта с супругой и дочерью. Оказывается, в Саратове Полонский посетил городскую библиотеку и Радищевский музей. «Он выразил желание принести в дар библиотеке свои сочинения, некоторые из рукописей и портрет, так как имеющийся в библиотеке портрет его не отличался сходством. В дар музею Я.П. назначил изваянный его супругой бюст Тургенева и рисунок “Вид Сарепты” его собственной работы. Я.П. не только поэт, но и художник, настолько выдающийся, что одна из его картин даже приобретена Императорской академией художеств. Он сообщил также, что предназначал в дар нашему музею этюды масляными красками, воспроизводящие любимые места его друга И.С. Тургенева в имении последнего, с. Спасском, но этюды эти, находившиеся временно у Тургенева, еще не возвращены их автору из Парижа после смерти незабвенного писателя»⁴². В 1898 г. И.П. Горизонтов повторил эти сведения в заметке «Два слова о Я.П. Полонском» и сделал существенное для нашей темы добавление о цели остановки поэта в Саратове: она заключалась «в желании его после долгих лет свидеться с недавно поселившимся в Саратове Н.Г. Чернышевским»⁴³. Во время отъезда Я.П. Полонского Чернышевский, увидевший Горизонтова на пристани, сказал ему: «Хороша птичка канареечка, да жаль, что поет с чужого голоса»⁴⁴. В этих словах принято видеть отношение писателя-демократа к поэзии, лишенной отчетливой идейно-политической позиции⁴⁵. Точнее было бы предположить, однако, замеченные Чернышевским следы решающего влияния И.С. Тургенева на творчество Я.П. Полонского, а к автору «Отцов и детей», как известно, Чернышевский относился весьма скептически.

С Николаем Федоровичем Хованским Чернышевский встретился как со старым знакомым, посетившим его еще в Астрахани, и охотно принимал его у себя. Однажды попал на именины жены Хованского, «был разговорчив, много смеялся, рассказывал о прошлых купеческих нравах Саратова». Однако с появлением посторонних гостей «поспешно простился и ушел». Хованскому запомнилось, как Чернышевский «почти ежедневно» проходил мимо его

квартиры на почту — «ходил быстро, вечно попыхивая папиросой. Ходил он в очках. Волоса всегда прикрывали ему половину лба с правой стороны. Знакомых он не замечал на улице», и Хованский, встречаясь с ним, не останавливал его «из уважения к его личности и зная о недосуге его»⁴⁶.

«Саратовский дневник» обильно снабжал читателей историческими материалами. Например, в номере от 18 августа сообщалось о смерти юродивого Яши, ученика «известного юродивого же Антона Григорьевича, которого весь Саратов знал под именем Антонушки, в 40-х и в начале 50-х годов». Чернышевский не мог пропустить упоминания об Антонушке, одном из героев «Автобиографии», написанной Чернышевским в Петропавловской крепости⁴⁷. Антонушке посвятил большую статью бывший ученик Чернышевского по гимназии В.И. Дурасов⁴⁸. Свидетельств об их встрече не находится, однако предположить ее состоявшейся вполне естественно. Не случайно В.И. Дурасов стал одним из активных респондентов Ф.В. Духовникова, собиравшего сведения о писателе сразу после его смерти в 1889 г.⁴⁹ Могли остановить внимание Чернышевского также воспоминания бывшего директора Саратовской гимназии М.А. Лакомте, занявшие в сентябре и начале октября 1889 г. несколько номеров газеты⁵⁰. Здесь подробно характеризовались хорошо известные Чернышевскому бывший директор гимназии А.А. Мейер, инспектор Э.Х. Ангерманн, учителя Е.А. Белов, П.Я. Ефремов, чиновник А.Д. Горбунов⁵¹. М.А. Лакомте начал службу в гимназии в 1855 г. уже после отъезда Чернышевского, по памяти об опальном писателе жила в городе постоянно, и в воспоминаниях Чернышевский не назван только по цензурным соображениям.

В литературу о Чернышевском имя М.А. Лакомте вошло, к сожалению, с весьма недоброжелательным комментарием, опирающимся на записанные Н.М. Чернышевской воспоминания Ек.Н. Пыпиной. Рассказывая о саратовском пожаре 1866 г., сильно повредившем дом Чернышевских, она поведала, как на второй день пожара ее брат Петр, идя бульваром, услышал слова Лакомте, сидевшего со своим приятелем на скамейке: «Слава Богу! Последние остатки чернышевщины сгорели!»⁵². С этими словами принято также соединять эпизод, описанный самим Лакомте, свидетелем приезда в Саратов министра просвещения Д.А. Толстого в августе 1866 г., вскоре после выстрела Д. Каракозова. Обращаясь к преподавателям гимназии, где некоторое время учился Д. Каракозов, министр назидательно напомнил, намекая на Чернышевского, что среди них «находились также личности, которые не должны были

бы вступать на учительское поприще; они принимали на себя эту важную обязанность не для пользы юношества, а ко вреду для него, для распространения разрушительных идей, последствия коих, как теперь оказывается на опыте, было умственное и нравственное развращение некоторых людей, сделавшихся несчастною жертвою этой пропаганды»⁵³. Прочитав это место из речи сановника, М.А. Лакомте писал в своих воспоминаниях: «Думаю, что вряд ли Чернышевский всецело мог бы обвиняться в направлении учеников гимназии, если впоследствии оно оказалось вредным»⁵⁴. Такого рода суждение никак не согласуется с опубликованными воспоминаниями Ек.Н. Пыпиной, и появляется веское основание подвергнуть сомнению принадлежность слов о «чернышевщине» именно М.А. Лакомте, а не его неназванному в мемуарных записках приятелю. Существует еще один источник, с очевидностью противоречащий рассказу Ек.Н. Пыпиной. Речь идет о неопубликованных саратовских письмах Ф.В. Духовникова, адресованных М.А. Лакомте в Иваново-Вознесенск в 1891–1893 гг. В них он делился подробностями своей биографической работы о Чернышевском и ее прохождении через цензуру. Писать столь доверительно человеку, относящемуся к Чернышевскому отрицательно, Духовников, конечно, не стал бы. В письме от 21 марта 1891 г. он выразил возмущение напечатанным в журнале «Гимназия» положительным отзывом о брошюре бывшего саратовского епископа Никанора (А.И. Бровковича) «Беседа о значении семинарского образования. По поводу смерти Чернышевского» (Одесса, 1891). «Из обширного материала, имеющегося у меня о Чернышевском, — писал Духовников, — мне известна до малейших подробностей жизнь его в Саратове, почему я тоже хотел вступить в полемику с Никанором, но М.И. Семевский высказал мне, что лучше не вступать в полемику, а изложить события жизни Н.Г. так, как они были». Далее из письма выясняется, что М.А. Лакомте вполне разделял осуждение полной фактических ошибок, неточностей и бестактных выпадов брошюры Никанора. «Думаю и вполне уверен, — размышлял автор письма, — что Вашу полемическую статью с Никанором не пропустит цензура: ведь духовенство, особенно Никанор, не может ошибаться в своих суждениях. Так по крайней мере заставляют думать власть имущие». По просьбе Духовникова, трудившегося также над краеведческим сборником, Лакомте послал в Саратов часть своих неопубликованных воспоминаний о саратовской гимназии. Сборник трудно проходил через цензуру, и Духовников писал ему по этому поводу в феврале 1893 г.: «...Много было не пропущено цензурою. В Вашей статье, где приведено возражение Беляевского графу Толстому, вычеркнуто.

Фамилия Чернышевского вычеркнута из сборника...»⁵⁵ Имелось в виду следующее место в рукописи М.А. Лакомте о посещении Саратова Д.А. Толстым в 1866 г.: «Во всяком случае, чем же мы, настоящие преподаватели, виноваты, что в Саратовской гимназии был учителем Чернышевский; как могли мы за него быть ответственны! Эту последнюю мысль тут же перед министром выразил молодой преподаватель русского языка П.П. Беляевский. Министр отвечал: “а вы знаете, что значит дух заведения, который в нем живет”». Далее рассказывалось, что в 1874 г., когда Лакомте представлялся министру в качестве только что назначенного директора гимназии, тот вспомнил о дерзком учителе, задавшем вопрос⁵⁶. Для выяснения отношений М.А. Лакомте к Чернышевскому можно также упомянуть о его письме к П.Л. Юдину от 5 декабря 1904 г. «От директора Мейера и инспектора Ангерманна, — писал он здесь, — я слышал о Чернышевском немного, но всегда с большим уважением, как о человеке даровитом»⁵⁷.

Как и в Астрахани, Чернышевский по понятным причинам сохранял особую осмотрительность в возможных общении с другими поднадзорными. В 1889 г. политическими поднадзорными состояли В.К. Симонов (26 лет, мещанин г. Вольска), Н.С. Долгов (44 лет), И.В. Кананчук (20 лет, сын жандармского унтер-офицера), А.Л. Блек (28 лет), П.Д. Кузнецов (29 лет, чертежник в Управлении Тамбовско-Саратовской железной дороги), Н.И. Михневич (26 лет, бывший студент Петровской академии), В.П. Моисеев (26 лет), В.Х. Медведев (18 лет), Е.Е. Березин (23 лет, участник студенческих беспорядков в Казанском университете 4 декабря 1887 г.), А.В. Сазонов (28 лет), А.В. Попов (25 лет), А.П. Поляк (урожденная Подосенова, 27 лет, живет в Саратове с 21 октября 1889 г.), В.Л. Поляк (28 лет, одесский мещанин, кандидат прав, занимается адвокатурой, состоит присяжным поверенным при окружном суде), П.И. Долгов (23 года, под надзором с 19 октября 1889 г.)⁵⁸. По другому архивному списку сюда причислялся также «кандидат на судебные должности при прокуратуре Саратовского окружного суда» Н.Е. Зарайский, уезжавший в Казань и выехавший оттуда 26 июля 1889 г. Для полноты перечня мы обязаны упомянуть одесского дворянина Н.А. Караулова, который отбыл в Саратов 27 июля. В квартире состоявшего под негласным надзором крестьянина С.С. Сергеева, бывшего вольнослушателя Петербургского университета, жандармским подполковником Пашковым 13 июня 1889 г. был произведен обыск и обнаружены «40 фотографических карточек, лиц, привлекавшихся к обвинению в государственных преступлениях»⁵⁹. В жандармских архивах находился и список лиц,

«за коими учреждено местное наблюдение в 1889 г.». Здесь отмечены председатель дворянского и крестьянского земельных банков Н.А. Игнатьевский («о сомнительной благонадежности Игнатьевского в политическом отношении сообщено начальником Уфимского губернского жандармского управления 6 июля 1884 г. за № 118 и 215»), писец Саратовской губернской земской управы А.К. Коко («находился в близких отношениях к привлекавшимся по политическому дознанию Григорьеву, Россову и другим»), телеграфист В. Ярошевич («ведет знакомство с лицами, политически неблагонадежными»). В списке упомянуты живущие в Саратовской губернии Л.И. Алямский и аткарский мещанин П.Г. Кулаков («вращаются в кругу лиц, привлекавшихся к политическим дознаниям, а Кулаков кроме того привлекался и сам к дознанию за хранение запрещенных книг и содержался под стражей»). Особое беспокойство вызывал Царицын. Так, начальник Царицынской почтово-телеграфной станции Э.Н. Гартман находился под наблюдением «как родной брат государственного преступника Гартмана» — имелся в виду известный народоволец Л.Н. Гартман, некогда служивший волостным писарем в слободе Покровской Саратовской губернии и, по докладу о нем полицейского чина, читавший запрещенные сочинения Чернышевского и других авторов⁶⁰. Надзор установили и за смотрителем пристани товарного отдела М.Я. Качаловым. Два имени в царицынских документах останавливают внимание биографа Чернышевского: секретарь Царицынской уездной земской управы Илья Григорьевич Жуков («в 1864 г. был сослан по политическому делу и в 1874 году ему даровано прощение и возвращено дворянство») и смотритель керосинных баков в товариществе «Лебедь», бывший студент Казанского университета Евгений Николаевич Чириков (надзор за ним установлен по распоряжению начальника Тамбовского губернского жандармского управления от 29 июля 1888 г. за № 416)⁶¹. Полицией отмечено близкое участие И.Г. Жукова в судьбе арестованного в Царицыне в апреле 1889 г. бывшего студента Казанского университета Д.Н. Матвеева. Вместе с матерью арестованного А.Я. Матвеевой, а также с заведующей Царицынским женским училищем Ю.Н. Поливановской и учительницей В. Старцевой он подал прошение в защиту молодого человека. Ни обыск, произведенный у просителей, ни следствие по делу Матвеева ничего не дали, и 2 июня 1889 г. юноша был отпущен петербургским градоначальником на жительство в Царицын под надзор местной полиции⁶².

Трудно представить, чтобы И.Г. Жуков, отбывавший с Чернышевским каторгу и впоследствии написавший об этом воспомина-

ния, и Е.Н. Чириков, знавший писателя по Астрахани, не воспользовались каким-либо случаем навестить его в Саратове. Во всяком случае, многие из перечисленных нами лиц присутствовали на похоронах Чернышевского в октябре 1889 г.

Не подлежит сомнению знакомство Чернышевского с супругами В.Л. и А.П. Поляк, имена которых постоянно встречаются в астраханских и саратовских жандармских документах. В Саратовском архиве хранится отношение казанского губернатора от 7 июня 1889 г., в котором со ссылкой на уведомление Департамента полиции от 4 мая этого года отмечено: «...Вследствие вредного направления и деятельности помощника присяжного поверенного округа Казанской судебной палаты Владимира Львова (Вульфа Лейбова) Поляк, Министерством внутренних дел признано необходимым воспретить сказанному лицу жительство в университетских городах, а также в гг. Риге, Твери, Орле и Курске. Вследствие сего означенный Поляк выехал из Казани с намерением отправиться в Самару, а затем в Саратов и Астрахань». 16 июня саратовский вице-губернатор оповестил об этом документе начальника жандармского управления и полицмейстера⁶³. В конце мая В.Л. Поляк с женой приезжали на некоторое время в Астрахань в связи с предложением сотрудничать в новой газете⁶⁴. Возможно, тогда и состоялась их первая встреча с Чернышевским. Затем супруги Поляк вернулись в Саратов и снова отбыли в Астрахань, куда прибыли, согласно полицейской справке, 27 июля⁶⁵. Здесь, сотрудничая в «Астраханском вестнике», они жили вплоть до закрытия газеты. Жандармский документ гласил: состоявший под негласным надзором полиции «Владимир Львов Поляк 26 сентября уволен с редакции вестника, а 12 октября на пароходе “Гоголь” выехал совсем с женою и сестрою в Саратов»⁶⁶. Их приезд также отмечен. Начальник Саратовского губернского жандармского управления сообщил своему астраханскому коллеге 24 октября 1889 г.: «Поляк и его жена прибыли в Саратов 21 сего октября»⁶⁷. Эта дата вошла во все саратовские полицейские списки о супругах Поляк. Однако считать ее точной нельзя. Так, в письме М.Н. Пыпина засвидетельствовано участие В.Л. Поляка в похоронах Чернышевского, состоявшихся 20 октября: «Понесли гроб: в ногах А.А. Токарский и В.Н. Поллак (литератор, знакомый Николаю Гавриловичу и ему понравившийся)»⁶⁸. Укажем еще на один документ, подтверждающий прибытие В.Л. Поляка в Саратов ранее 21 октября — попавшееся нам в архиве юридическое подтверждение его подписи в Саратовской нотариальной конторе А.А. Гримма на переводном билете Астраханского отделения государственного банка от 11 октября в Саратовское отделение того же банка по отноше-

нию к подписи в получении сполна 854 руб. 65 коп. Запись произведена 20 октября 1889 г. под № 2976, заявитель — «Поляк Владимир Николаевич, кандидат прав, живет в Саратове на Никольской ул. в д. Миллер»⁶⁹. Выехав из Астрахани 12 октября, В.Л. Поляк с женой должны были приехать в Саратов 15 октября. Пересадок в дороге не планировалось, иначе он как поднадзорный обязан был заблаговременно уведомить о них астраханских жандармов, а в поступившем из Астрахани официальном извещении значился только один пункт следования — Саратов. Таким образом Поляк застал Чернышевского в живых, однако на этот раз они вряд ли успели повидеться. Их встречи и беседы происходили в Саратове в июле 1889 г., когда В.Л. Поляк, подбодренный письмом В.Г. Короленко (оно цитировалось выше) и советами Чернышевского, решал для себя вопрос о постоянном сотрудничестве в «Астраханском вестнике».

Примечания

- ¹ Юдин П.Л. Н.Г. Чернышевский в Саратове // Исторический вестник. 1905. № 12. С. 891. Здесь впервые помещены фотографии дома А.М. Никольского 1877 г. Снесен в 1905 г.
- ² Данные соглашения от 24 июня 1889 г. за подписью А. Никольского. Ежемесячная плата составляла 41 руб. 67 коп. Здесь расписки А. Никольского в получении платы 24 июня, 24 июля, 23 августа, 23 сентября (деньги давались за месяц вперед) — РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 620. Л. 40.
- ³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 571. Л. 8; Д. 266. Л. 7. Е.И. Никольская в шестидесятых годах владела чугунно-литейным механическим предприятием на берегу Волги в Затоне. — Саратовский справочный листок. 1864. № 183; 1867. № 58 (Сообщено нам Е.К. Максимовым).
- ⁴ ГАСО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 87. Л. 143.
- ⁵ Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4711. Л. 10 об., 23, 31 об.
- ⁶ Там же. Л. 1.
- ⁷ Там же. Ф. 53. Оп. 4. Д. 2. Л. 92.
- ⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 373.
- ⁹ Саратовский листок. 1889. 1 июля. № 137; 26 сентября. № 205; 8 октября. № 215.
- ¹⁰ ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 686 а. Л. 420—421, 429.
- ¹¹ Чернышевская Н.М. Чернышевский и Саратов. Саратов, 1978. С. 164.
- ¹² Беседы о прошлом. С. 116; Воспоминания (1959). Т. 2. С. 359.

- ¹³ О саратовских периодах его жизни подробнее см.: Научная биография (1828–1853), раздел «В местном обществе»; Научная биография (1859–1864), разделы «В Саратове», «Снова в Саратове».
- ¹⁴ О всех изменениях в названиях улиц и площадей Саратова см. в кн.: *Максимов Е.К.* Имя твоей улицы. Саратов, 1986.
- ¹⁵ Воспоминания (1982). С. 417–418.
- ¹⁶ Коммунист (Саратов). 1966, 26 июля. № 171. С. 4. Дом по ул. Соборной, 25, в котором встречались Чернышевский и В.Д. Вакуров, назван здесь принадлежащим Вакурову. Между тем его владельцем был Шахматов, а Вакуров, вероятнее всего, жил в нем только на правах совладельца. Собственный же дом В.Д. Вакурова в 1889 г. находился на углу ул. Никольской (Радищева) и Театральной площади; часть этого дома арендовал в тот год под магазин купец И.Ф. Шадрин, в другой его части жил купец И.К. Виноградов (ГАСО. Ф. 428. Оп. 1. Д. 1468. Л. 119, 120, 176 об.).
- ¹⁷ Воспоминания (1982). С. 459.
- ¹⁸ ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3042. Л. 1.
- ¹⁹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 358.
- ²⁰ Саратовские епархиальные ведомости. 1889. № 465; № 19. С. 538; № 21, С. 582, 586. Об Александре Фиолетове и Евгении Маноеве см.: Научная биография (1828–1853), раздел «В семинарии». Василий Копронимов учился с Чернышевским в «татарском классе» Г.С. Саблукова – ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1506. Л. 4 об.
- ²¹ Саратовский лксток. 1889. 1 ноября. № 234. С. 2. В более полном виде см.: Русская старина. 1889. № 11. С. 499–502; Воспоминания (1982). С. 133–136.
- ²² Воспоминания (1982). С. 45–48.
- ²³ См.: Научная биография (1828–1853), разделы «Родители», «Ольга Сократовна».
- ²⁴ *Чернышевская Н.М.* Чернышевский и Саратов. С. 162–163.
- ²⁵ А.С. Васильева, одно время бывшая невестой Н.А. Добролюбова, вышла замуж за военного телеграфиста К.П. Малиновского и на 25 году вскоре после рождения дочери Аллы покончила с собой. Аллу Каспаровну Малиновскую приняли в свою семью саратовские помещики А.И. и М.И. Котлубай, давшие приемной дочери другое имя (Варвара Александровна) и свою фамилию. См.: *Чернышевская В.С.* Из истории родственных отношений Н.Г. Чернышевского (материалы к родословной Васильевых и Казачковских) // Чернышевский. Вып. 7 (1975). С. 151–152.
- ²⁶ *Чернышевская М.<А.>* Мое знакомство с Чернышевским // Поволжская правда. 1928. 25 ноября. № 141.

- ²⁷ Воспоминания (1982). С. 425, 426,
- ²⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 362.
- ²⁹ Воспоминания (1982). С. 427.
- ³⁰ Беседы о прошлом. С. 116.
- ³¹ Саратовский листок. 1889. № 136, 139, 140, 144, 151, 163, 181, 195; Саратовский дневник. 1889. № 138, 142, 158, 189, 196, 198.
- ³² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 502. Л. 1–2.
- ³³ Саратовский листок. 1889. 16 сентября. № 197. С. 1.
- ³⁴ Там же. 21 сентября. № 201. С. 3.
- ³⁵ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 359, 372.
- ³⁶ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4841. Л. 18–19. В 1887–88 гг. зимний театр арендовался известной Чернышевскому по Астрахани труппой Г.М. Коврова. Приезжие актеры выступали обычно в летнем деревянном театре на Приволжском вокзале купчихи М.К. Ивановой. Второй летний деревянный театр находился в саду «Эрмитаж» и третий, тоже деревянный, – в парке купца В.Д. Вакурова, арендованный на два года купцом А.И. Волковым. В Саратове был еще один деревянный театр француза Густава Бодэ, находившийся на Немецкой улице. Но он был назначен на слом, и уже в 1887 г. представлений в нем не давали (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4657. Л. 7).
- ³⁷ Саратовский дневник. 1889. 14 июля. № 148. С. 3; 15 июля. № 149. С. 1.
- ³⁸ Саратовский листок. 1889. 24 сентября. № 204; 28 сентября. № 206; 3 октября. № 210.
- ³⁹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 374–375.
- ⁴⁰ Саратовский листок. 1889. 16 июля. № 150; 20 июля. № 153.
- ⁴¹ Там же. 18 июля. № 151. С. 2.
- ⁴² Там же. 20 июля. № 153. С. 2.
- ⁴³ Саратовский листок. 1898. 21 октября. № 226.
- ⁴⁴ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 375.
- ⁴⁵ Там же. С. 376 (примечания М.В. Ивановой); *Смирнов В.Б. Я.П. Полонский // Русские писатели в Саратовском Поволжье / Под ред. проф. Е.И. Покусаева. Саратов, 1964. С. 171.*
- ⁴⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 372.
- ⁴⁷ Подробнее: Научная биография (1828–1853), раздел «Духовное училище».
- ⁴⁸ Саратовский дневник. 1888. 29 июня. № 137. «Особенно нравились публике рассказы судебного следователя Дурасова», – читаем в воспоминаниях его современника А.Н. Штылько (ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 865. Л. 35).
- ⁴⁹ См.: Воспоминания (1982). С. 52, 55–57, 66, 100, 474.

- ⁵⁰ См.: Саратовский дневник. 1889. 205, 210, 212, 213 (публикация началась с № 129 от 21 июня).
- ⁵¹ Подробнее: Научная биография (1828–1853), глава «Учитель гимназии».
- ⁵² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 95.
- ⁵³ Северная почта. 1866. 13 сентября. № 196; Воспоминания М.А. Лакомте о Саратовской гимназии // Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов. 1903. Вып. 23. С. 7; Беседы о прошлом. С. 124.
- ⁵⁴ ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 2020. Л. 8 об. – 9.
- ⁵⁵ Там же. Д. 2022. Л. 89, 91–92, 93 об., 99 об. – 100.
- ⁵⁶ Там же. Д. 2020. Л. 9.
- ⁵⁷ Исторический вестник. 1905. № 12. С. 880.
- ⁵⁸ ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 20. Л. 20–40.
- ⁵⁹ Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4843. Л. 16, 18; Д. 4844.
- ⁶⁰ О Л.Н. Гартмане см.: *Троицкий Н.Л.* Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866–1895. М., 1979. С. 250–254; *Борисов С.В., Демченко Т.И.* Город Энгельс. Саратов, 1982. С. 23–26.
- ⁶¹ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–9; Ф. 1. Оп. 1. Д. 4674. Л. 112.
- ⁶² Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4844. Л. 4–9.
- ⁶³ Там же. Д. 4843. Л. 8, 9.
- ⁶⁴ *Травушкин Н.С.* Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 268.
- ⁶⁵ Там же. С. 269.
- ⁶⁶ ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 45. Л. 98.
- ⁶⁷ Там же. Л. 99.
- ⁶⁸ Воспоминания (1982). С. 464. После женитьбы на А.П. Подосеновой Владимир Львович Поляк (Поллак), приняв православие, стал зваться Владимиром Николаевичем.
- ⁶⁹ ГАСО. Ф. 428. Оп. 1. Д. 2469. Л. 114 об.

22. Знакомство с В. Г. Короленко

В феврале 1911 г. В.Г. Короленко получил от неизвестного ему А.И. Виддинова поздравительное письмо в связи с двадцатипятилетием возвращения из сибирской ссылки и женитьбы на Е.С. Ивановской. «...С Вашим юбилеем, – читал В.Г. Короленко, – в моем представлении связывается воспоминание о Н.Г. Чернышевском, с которым я в период моей жизни в Астрахани (с ноября 1884 г. и по февраль 1889 г.) в качестве земляка часто виделся. Думаю, что воспоминание о таком дорогом человеке, каким был Николай Гаври-

лович, в день Вашего юбилея не может быть неприятно, тем более что оно касается Вас». И далее автор письма сообщает, что Чернышевский, прочитав в «Русской мысли» рассказ «Сон Макара» (1885. № 3), высказал удивление той верности, с которой мастерски изображен якут. «Он очень интересовался автором рассказа, но узнал о Вас от Вашего брата только в 1886 г.»¹. Ответ В.Г. Короленко (отслан 15 февраля) неизвестен, но, без сомнения, именно Чернышевский, всегда остававшийся для него дорогим воспоминанием, был главной его темой.

О знании Чернышевским творчества В.Г. Короленко, «которому как писателю очень симпатизировал», свидетельствовал Н.В. Рейнгардт, приезжавший в Астрахань в июне 1886 г.² Свое любопытство к личности автора рассказа «Сон Макара» Чернышевский в известной степени удовлетворил в беседах с его братом И.Г. Короленко в конце 1886 г., и, разумеется, тот детально информировал Владимира Галактионовича о своих астраханских впечатлениях.

К этому времени В.Г. Короленко располагал значительными сведениями о бывшем вилюйском узнике. В воспоминаниях, написанных уже после его смерти, он особо подчеркивал идейное значение выдающегося мыслителя. «Его потеря, — писал он, — была очень чувствительна для передовой части общества, и примириться с нею было трудно»³. В.Г. Короленко, подобно многим его современникам, резко осудил действия Александра II и царского правительства за «беззаконное заключение Чернышевского в Вилюйске»⁴. Находясь в сибирской ссылке в соседних с Вилюйском местах, он не упускал возможности послушать, а то и записать распространяющиеся по Сибири рассказы и слухи о Чернышевском, интересовался его новыми литературными трудами, общениями.

Установившееся в 1886 г. их заочное знакомство быстро крепло. «Брат мой, Влад<имир> Галак<тионович> шлет Вам глубочайший поклон», — писал И.Г. Короленко Чернышевскому 1 июля 1887 г.⁵ К этому году относится, по свидетельству самого В.Г. Короленко, высказанное им желание побывать летом в Астрахани. «Нет, уж не надо, — сказал тогда Чернышевский. — Мы с Владимиром Галактионовичем как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют». «Намек, очевидно, на то, — писал В.Г. Короленко, — что у нас обоих репутация значительно в глазах начальства попорчена»⁶. В 1888 г. В.Г. Короленко, живший в Нижнем Новгороде, подключился по просьбе своего брата и Чернышевского к сбору сведений о семье Добролюбовых (XV, 708). В следующем году они вступили в переписку⁷. Летом 1889 г. О.С. Чернышевская побывала в Нижнем, и там состоялось ее знакомство с В.Г. Короленко. 11 мая Чернышевский

писал ей: «Кланяйся от меня Короленко (и его брату, если брат понравится тебе)» (XV, 859). 16 мая Ольга Сократовна писала в ответ: «Влад <имир> Кор<олен>ко мне понравился; но наш лучше»⁸. «Нашим» она называла Иллариона Галактионовича. Услугами братьев Чернышевский пользовался, посылая по их адресу телеграммы Ольге Сократовне (XV, 863). Вероятно, тогда-то В.Г. Короленко и получил от нее приглашение побывать в Астрахани. Условия надзора к тому времени изменились, и Чернышевский уже не опасался за писателя. Он и сам позвал его в Астрахань, но, к сожалению, это письмо, как, впрочем, и другие, утеряно. Приглашение, полагаем мы, содержалось в письме, отосланном В.Г. Короленко в Нижний 18 мая 1889 г.: этим числом помечена сохранившаяся в архиве запись о его отсылке⁹. Между прочим, здесь зафиксирована также корреспонденция, отправленная в Нижний Новгород на имя Иллариона Короленко (14 мая того же года)¹⁰. О вероятности приезда братьев Владимира и Иллариона в Астрахань О.С. Чернышевская сообщила мужу 6 июня¹¹. Почти одновременно с этим письмом (8 июня) отправил в Астрахань свое послание И.Г. Короленко, и здесь читаем: «Брат Вам кланяется (сейчас, впрочем, он уехал на несколько дней в Павлово). Он рассчитывает быть в Астрахани нынешним летом и хотел бы очень лично познакомиться с Вами»¹².

Намеченная В.Г. Короленко поездка на юг Волги состоялась, но его встреча с Чернышевским произошла уже в Саратове.

О приезде писателя с женой, разместившихся в номерах А.С. Тарканаева, местная газета известила горожан 17 августа¹³. Следовательно, приехали они накануне, и в тот же день Владимир Галактионович пришел в дом Никольского. Об этом он сам рассказал в своих воспоминаниях, ошибаясь, однако, на один день в датировке событий. Чернышевского он не застал и оставил визитную карточку. На следующий день утром, по возвращении из гостиного двора, Короленко получил в гостинице записку: «Владимир Галактионович, зайду к Вам между 10 и четвертью 11-го. Ваш Н. Чернышевский. 17 авг.» (XVI, 945)¹⁴.

Гость явился вовремя. «Голос, который мы услышали еще из-за перегородки, – вспоминал В.Г. Короленко, – был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившиеся внизу, без малейших признаков седины.

Но когда я взглянул ему в лицо, – у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности, он был по-

хож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были теперь мельче, миниатюрнее, — по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело».

Острым писательским глазом В.Г. Короленко сразу же уловил оттенок «добродушной улыбки и отчасти стариковского чудачества», и это оживляло лицо вошедшего. Разговор завязался «как-то сразу, точно мы, — писал В.Г. Короленко, — были с Н.Г. родные, свидевшиеся после долгой разлуки»¹⁵. Жена писателя подтвердила это впечатление: «Когда мы виделись с Н.Г. уже в номере, то много и оживленно разговаривали о литературе. Н.Г. так был прост и так обращался с нами, точно знал нас хорошо, и я чувствовала себя очень непринужденно»¹⁶.

Второе свидание состоялось на следующий день, 18 августа, в доме Никольского. Какая-то часть беседы происходила в присутствии М.А. Чернышевской, которую В.Г. Короленко принял за племянницу Чернышевского. Впоследствии она вспоминала, что гость произвел на нее «очень хорошее впечатление»¹⁷.

Приходил В.Г. Короленко и еще раз, 19 августа. Подтверждение этому находим в его письме к П.С. Ивановской, сестре своей жены. Он писал ей 5 апреля 1890 г. в связи с кончиной Чернышевского: «Месяца за два до этого — я и Дуня виделись с ним в Саратове, он принял нас очень радушно, даже сердечно. Дуня виделась с ним, впрочем, только у нас в гостинице, я был еще два раза у него, и мы долго беседовали, перебирая старину»¹⁸. На память о визите осталась книга «Слепой музыкант» (М., 1888) с авторской надписью: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому от глубокоуважающего В. Короленко»¹⁹.

Беседы с Чернышевским послужили В.Г. Короленко основой для «характеристики этого крупного человека в последний период его жизни». К очерку-воспоминаниям он приступил по свежим впечатлениям в 1890 г. (издано за границей в 1894, а в России в 1904 г.).

В нравственном облике Чернышевского мемуарист отметил «какое-то особое добродушное лукавство», «улыбающийся взгляд», «внимательность к окружающим», «тонкое понимание чужого настроения», а главное — сдержанность, умение владеть собой. По наблюдениям В.Г. Короленко, соединившего свои впечатления со свидетельствами знавших Чернышевского людей, он «всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью».

Основное место в очерке-воспоминании отведено характеристике взглядов Чернышевского. Как мемуарист В.Г. Короленко

стремится к предельной точности, объективности. Однако он очень хорошо понимал специфическую, так сказать, «мемуарную» природу этой объективности. Так, публикуя в 1905 г. «случайные заметки» о Чернышевском мемуарного происхождения, В.Г. Короленко посчитал необходимым сказать следующее: «Написать воспоминания о том или другом замечательном человеке не так легко, как кажется с первого взгляда. В сущности, во всякой попытке восстановить чужой облик по материалам собственной памяти есть некоторые элементы работы портретиста. И как бы мы ни старались “держаться фактов”, на их группировке и освещении, а значит и на передаче — непременно отразится наше понимание данной личности, то есть, до известной степени, и мы сами. Вот почему так много противоречий встречаем мы во всех воспоминаниях о всякой выдающейся личности. Это далеко не всегда ложь или сознательное искажение. Часто это только неизбежное влияние “преломляющей среды”...»²⁰

Чтение и анализ очерка-воспоминаний самого В.Г. Короленко побуждают помнить о факторе «преломляющей среды».

Наблюдения и суждения о Чернышевском пронизаны и организованы у В.Г. Короленко мыслью о том, «какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась». «...Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе». Создаваемый рукой художника «мемуарный портрет» изображает «старый камень вдали от берега изменившей русло реки. Она катится где-то далеко, где-то шумят ее живые волны, но они уже не обмывают его, одинокого, печального». Перед нами сильный романтический образ, но романтический не в смысле характеристики описываемой личности, а лишь по характерному для В.Г. Короленко-рассказчика способу, приемам этого описания.

В этом смысле показательное построение очерка-воспоминания. Повествование открывается как бы получающим значение эпиграфа пересказом читанного мемуаристом еще в детстве фантастического сюжета об архаической фигуре поляка с седой бородой и в старомодном одеянии, попавшего в молодости в погребок с вином и проспавшего там целое столетие. Приводимые затем факты из жизни Чернышевского, сообщаемые из вторых рук или почерпнутые из личного общения с ним, воспринимаются уже в заданном автором эмоциональном контексте.

Влияние «преломляющей среды», которое возникает в данном случае вследствие преобладания художника над мемуаристом, с от-

четливостью проступает при сопоставлении очерка В.Г. Короленко с воспоминаниями А.А. Токарского, близко знавшего Чернышевского и не согласившегося с наблюдениями и выводами автора «Слепого музыканта».

В.Г. Короленко пишет: «Публицистика!.. – сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее. – Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании»²¹.

Тот же факт видится А.А. Токарскому иначе: «И точно живым мне представляется Н. Г-ч. И я вижу его улыбающиеся глаза, я слышу его тон.

Он пробует собеседника.

Он знает о земстве достаточно, знает и о новых судах; но он знает гораздо больше.

Он знает, что вопрос идет об общей реакции во всех отраслях управления, во всей жизни страны.

И ему-то, знатоку всех европейских реакций, нечего сейчас сказать.

Он пробует. Собеседник удовлетворяется, и он умолкает.

И еще умолкает потому, что у него нет точки опоры.

Куда он, в самом деле, поместит статью?

Он и “Гимн Деве Неба” помещает под именем неизвестного англичанина. Он и Вебера переводит под псевдонимом “Андреев”.

А В.Г. Короленко поверил ему на слово, да еще на слово, сказанное чрез третье лицо, причем не видел ни выражения лица Чернышевского, не слышал его тона»²².

С такого рода доводами, особенно последним, трудно не согласиться. Действительно, о какой публицистике можно было сколько-нибудь всерьез говорить опальному, поднадзорному писателю? В.Г. Короленко, увлекаемый собственными построениями образа, забывает учесть реальное положение ссыльного, который конечно же сразу увидел всю наивность постановки вопроса его братом писателя, молодым собеседником, но из деликатности умолчал о ней.

В.Г. Короленко далее утверждал: «Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям». В стремлении быть доказательным автор передает свое истолкование главных оснований «прежнего умственного склада Чернышевского и его сподвижников».

Одним из краеугольных камней этого мировоззрения В.Г. Короленко называет «веру в силу устроительного разума, по Конту». Противоречивость такого рода заявления в свое время была отмечена Г.В. Плехановым. «Экономист, верящий в силу устроительного разума, — остроумно заметил он, — был бы похож на дарвиниста, принимающего моисееву космогонию»²³. Высказываясь о Конте в 1860 г. как «одном из гениальнейших людей нашего времени» (VII, 166), Чернышевский вовсе не причислял себя к безусловным его сторонникам. Не случайно в романе «Что делать?» Лопухов находит у этого философа «слишком много непоследовательной примеси средневековых понятий» (XI, 467). В одном из сибирских писем к детям Чернышевский в 1878 г. резко критиковал Конта, который, «не имея понятия о Гегеле, ни даже о Канте, ни даже, кажется, о Локке, но научившись много у Сен-Симона <...> вздумал создать философскую систему», основанную на «совершенно вздорной» формуле о трех состояниях мысли — теологическом, метафизическом, положительном. «Теологического периода науки никогда не бывало; метафизика в том смысле, как понимает ее Конт, тоже вещь никогда не существовавшая» (XIV, 651). Тем более неверно считать Чернышевского одновременно последователем и Конта, и Гегеля, как это сделал В.Г. Короленко. Чернышевский, подобно Гегелю и Фейербаху, никогда не отрицал познаваемости мира, тогда как Конт все же ограничивал в этом отношении возможности разума.

Остается у В.Г. Короленко непроясненной фраза о том, что материал, над которым Чернышевский «работал теперь, уже не подавался его приемам». В ту пору Чернышевский уделял немало времени сочинению статей, подключаемых в виде приложений к переводу Вебера. Но не столько они, сколько, можно думать, статья «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», известная В.Г. Короленко по публикации в «Русской мысли», могла вызвать несогласие с выводами ее автора.

Эту статью Чернышевский подписал псевдонимом «Старый трансформист». Не разделяя его позиции, В.А. Гольцев писал 12 августа 1888 г.: «Мы решаемся напечатать Вашу статью. Считаю своим долгом предупредить Вас, что нам придется составить маленькое замечание от редакции. Дело в том, что “Русская мысль” неоднократно высказывалась и в защиту трансформизма, и Дарвина, и многочисленные наши читатели могут смешать нападения на последнего с нападением на первый и упрекнуть в противоречии»²⁴. Редакционное пояснение действительно появилось. В нем говорилось, что журнал «несколько раз помещал статьи в разъяснение и защиту эволюционной теории от односторонних на нее нападений.

В нашем обществе однако продолжают иногда смешивать эту плодотворную научную теорию с попытками сузить ее смысл и значение, с стремлением доказывать, что эволюция (трансформизм) обуславливается исключительно борьбой за существование, которая будто бы всегда благодетельна, всегда ведет к прогрессу. Ввиду такого смешения понятий, редакция “Русской мысли” сочла своим долгом дать место статье писателя, “старого трансформиста”, как он на этот раз подписался»²⁵.

Чернышевский высказал досаду по поводу этого редакционного примечания (XV, 784). В самом деле, редакция обошла стороной главную задачу статьи — объявить несостоятельным перенос в общественные сферы сформулированного Мальтусом закона народонаселения, согласно которому существует несоответствие между развивающимся в геометрической прогрессии приростом населения и средствами пропитания, увеличивающимися лишь в арифметической прогрессии. Этим законом Мальтус пытался объяснить причины существующих социальных бед (нищета и ее последствия, пороки, преступления и т.д.), которых можно избежать лишь сознательным ограничением рождаемости населения. В статье показано, как противники социальных демократических реформ с радостью ухватились за эту теорию. К сожалению, полагал Чернышевский, это учение в известной мере увлекло и Дарвина, «доброе, безусловно честное, чрезвычайно благородное человека», «великого ученого» (X, 764). В дарвиновской теории борьбы за существование, по утверждению автора статьи, также скрыта не осознаваемая ученым мысль об оставлении в неизменном виде существующих политических учреждений, так как не в них-де источник социальных бед. Между тем «для устранения нищеты и ее последствий необходима замена несправедливых учреждений справедливыми» (X, 741).

Вероятно, В.Г. Короленко разделял позицию редакции «Русской мысли», упрекнувшей «Старого трансформиста», сторонника эволюционной теории, в непоследовательности позиции, если теперь он поднялся против Дарвина и его «плодотворной научной теории», связанной с идеей эволюции. По В.Г. Короленко, такого рода материал «уже» не поддавался анализу старыми рационалистическими методами. А получилось, если только В.Г. Короленко имел в виду именно эту статью, что он не уловил или не принял главного в позиции Чернышевского — оценки любого научного учения, претендующего на социальное значение, с точки зрения влияния этого учения на судьбу народа.

Точно так же В.Г. Короленко убеждал, что Чернышевский, продолжая с шестидесятых годов оставаться «рационалистическим

материалистом», оказался позади нового литературного направления, возглавленного Н.К. Михайловским. На место «схем чисто экономических» это направление литературного народничества поставило «целую перспективу законов и параллелей биологического характера», тогда как Чернышевский совершенно отвергал биолого-социологические параллели. Однако субъективная социология Н.К. Михайловского вовсе не была шагом вперед сравнительно с разделяемым Чернышевским положением об объективном ходе общественного развития.

Свое понимание мировоззрения Чернышевского Короленко попытался подкрепить его высказываниями о современной литературе, в частности о творчестве Г.И. Успенского. В памяти мемуариста осталось рассуждение по поводу рассказа «Взбрело в башку», в котором изображен крестьянин, разбогатевший на какое-то время после хорошего урожая и от безделья пустившийся в пьянство и рукоприкладство. Выходит, говорил Чернышевский, «не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался». Возможно, в этой реплике заключалась ирония, не замеченная мемуаристом, который повел разговор в нужном ему направлении. Вступая в спор с Чернышевским, Короленко называет другой рассказ Г. Успенского, показывающий, как после радостной картины урожая «выпрямляется» мужицкая душа, избавляясь от злобы и зверства. Этой сложности и противоречивости жизни Чернышевский не учитывал, требуя, как и прежде, от художественного произведения, словами Короленко, «ясного, простого, непосредственного вывода». Мемуарист называет это устаревшей рационалистической позицией. Ставить этот вывод под сомнение трудно, если следовать предложенной читателю логике его рассуждений. Но, казалось бы, приступая к оценке нового литературного движения со старыми, негодными, как представлялось Короленко, мерками, Чернышевский должен был критически отнестись и к творчеству самого Короленко. Однако этого не случилось. Например, Чернышевский говорил Е.С. Короленко при встрече: «...У В.Г., что бы он ни писал, всюду искры, надо, чтобы он работал и не отходил в сторону. Это большой талант, это тургеневский талант. Я только не примирюсь с ним, пока он не напишет большое что-нибудь из общественной жизни». «Это он говорил и В<ладимиру> Гал<актионовичу>», — свидетельствовала Е.С. Короленко²⁶. Еще одно подобное же сообщение, принадлежащее И.П. Горизонтову и заслуживающее полного доверия: «С большой похвалой и глубоким сочувствием говорил Чернышевский о г. Короленко и предрекал ему блестящую будущность»²⁷ — выводы, не укладывающиеся в концепцию «устаревшей рационалистической позиции».

Созданный В.Г. Короленко мемуарный образ-портрет Чернышевского в известной степени оказался подверженным действию «преломляющей среды», о которой предупредил сам мемуарист. И все же, не соглашаясь с иными его суждениями или соглашаясь с ними, мы обязаны признать в целом высокую ценность его свидетельства, исходящего от человека, дружески расположенного к Чернышевскому и пытающегося бережно сохранить во времени живые черты великого мыслителя.

Последним дошедшим до биографов звеном в их взаимоотношениях стало письмо В.Г. Короленко из Нижнего Новгорода от 30 августа 1889 г. с извещением о смерти М.А. Кострова и отсылке части записок его жены. «Сохранив самые светлые воспоминания о свидании с Вами и вообще о Вашей личности, — писал В.Г. Короленко, — она с радостью узнала, что Вы живы и вернулись», она также выразила желание повидаться с Чернышевским в предстоящем году²⁸. Ответ Чернышевского неизвестен. Возможно, были и еще письма В.Г. Короленко, остававшегося надежным помощником в собирании материалов для биографии Добролюбова и верным хранителем памяти о выдающемся современнике.

Примечания

- ¹ Морозова Т.Г. Н.Г. Чернышевский о В.Г. Короленко // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1953. Т. XII. Вып. 3. С. 266. Точнее текст письма А.И. Виддинова напечатан в работе: Храбровицкий А.В. Н.Г. Чернышевский о В.Г. Короленко (Письмо А.И. Виддинова) // Вопросы биографии Чернышевского. Волгоград, 1979. С. 66–67.
- ² Воспоминания (1982). С. 390.
- ³ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 299.
- ⁴ Короленко В.Г. Собр. соч.: В 5 т. Л., 1991. Т. 5. С. 195.
- ⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 450. Л. 5 об.
- ⁶ Воспоминания (1982). С. 398.
- ⁷ Там же. С. 398.
- ⁸ Лит. наследие. Т. III. С. 637. Знакомство О.С. Чернышевской с В.Г. Короленко ошибочно принято относить к лету 1888 г. См.: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 297.
- ⁹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 571. Л. 142.
- ¹⁰ Там же. Л. 131, 135.
- ¹¹ Лит. наследие. Т. III. С. 640.
- ¹² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 450. Л. 2 об.
- ¹³ Саратовский листок. 1889. 17 августа. № 175. С. 3.

- ¹⁴ В воспоминаниях В.Г. Короленко текст записки приведен неточно, и в таком виде он вошел в Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского: «Приходил. Буду между 10-ю и четвертью одиннадцатого. Н. Чернышевский» (XV, 895).
- ¹⁵ Воспоминания (1982). С. 400.
- ¹⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 297.
- ¹⁷ Там же. С. 327; Поволжская правда (Саратов). 1928. 25 ноября № 141.
- ¹⁸ *Короленко В.Г.* Письма к П.С. Ивановской. М., 1930. С. 26.
- ¹⁹ Книга хранится в саратовском Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского.
- ²⁰ *Корол<енко> Вл.* Случайные заметки // Русское богатство. 1905. № 6. С. 95.
- ²¹ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 312.
- ²² Там же. С. 349—350.
- ²³ *Плеханов Г.В.* Избр. философ. произв.: В 5 т. М., 1956—1958. Т. IV. С. 228.
- ²⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 439. Л. 3.
- ²⁵ Русская мысль. 1888. № д. С. 79.
- ²⁶ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 297.
- ²⁷ Там же. С. 375.
- ²⁸ Лит. наследие. Т. III. С. 605—606. См. также: *Петрова М.Г.* Негласная беседа о Чернышевском // Русская литература. 1985. № 2. С. 162; *Закирова Н.Н.* В.Г. Короленко и Н.Г. Чернышевский // В.Г. Короленко и русская литература: Семинарий. Глазов, 2010. С. 74—76.

23. Творческие замыслы

Переезд в Саратов не вызвал заметных изменений в творческих планах Чернышевского. Естественным образом продолжались работы, начатые в Астрахани, и первое место по-прежнему отводилось переводу «Всеобщей истории» Г. Вебера. Предложение К.Т. Солдатенкова приступить ко второму изданию перевода вселило надежду на существенную переработку прежних томов. «Я сильно переделываю текст, — писал он И.И. Барышеву за несколько дней до отъезда в Саратов. — Буду прибавлять свои дополнения. Благодаря этому книга выиграет во внутреннем достоинстве» (XV, 881). Сразу по приезде Чернышевский послал продолжение переделываемого первого тома, 30 июня отправил «еще кусок», а 11 июля известил о

продолжении перевода двенадцатого тома (XV, 885, 887). Одновременно началось печатание первого тома «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова», заключающего в себе переписку. Чтение корректуры Чернышевский не доверил никому, требуя обязательной ее присылки в Саратов, и тщательно сверял оттиснутые листы с подлинниками писем (XVI, 889, 890, 892). Трудоемкая текстологическая работа с «Материалами...» задерживала перевод Вебера. Он так и не успел довести до конца эти труды.

Всерьез заботила его и мысль о переиздании сочинений А.Я. Панаевой. Впервые ее имя в переписке Чернышевского появилось в его письме к младшему сыну 17 октября 1888 г. — ровно за год до смерти. Он просил Михаила непременно побывать у нее и даже указал примерно дом, в котором Авдотья Яковлевна тогда жила. «Ты знаешь, — писал Чернышевский, — что она любила нас (она — твоя крестная мать) и верила искренности нашей любви к ней. Я пользовался тогда полным ее доверием. Сохранилось ли оно у нее? — Вероятно. Если увидишь, что да, то передай ей мою просьбу о позволении мне писать ей». Чернышевский поручал выяснить, не смогла бы она помочь какими-либо материалами для будущей биографии Н.А. Некрасова, о которой он одно время помышлял, и прислать письма Н.А. Добролюбова, если таковые сохранились. «Еще больше я просил бы ее написать воспоминания о Добролюбове» (XV, 752). Последняя просьба попадала прямо в точку: в ту пору А.Я. Панаева уже работала над обширными мемуарами, в которых «Современнику» и ее главным деятелям отводилось значительное место. Об этом М.Н. Чернышевский сообщил отцу в ответном письме от 2 ноября, передавая слова А.Я. Панаевой, что ее расположение к Чернышевскому «нисколько не уменьшилось». К тому же она пообещала передать в его распоряжение части своей рукописи, которые, по ее предположениям, будут отвергнуты редакцией «Исторического вестника», поскольку мемуаристка «слишком резка в своих мнениях и воспоминаниях о некоторых личностях, которым сочувствуют Суворин и Григорович», например об И.С. Тургеневе¹. Чернышевский немедленно отправил ей письмо с предложением издать воспоминания отдельной книгой у Солдатенкова, переговоры с которым он принимал на себя, или особой статьей в каком-либо из журналов. Эти части воспоминаний, по его убеждению, будут содействовать «развитию честных понятий» в русской публике (XV, 757).

В конце января 1889 г. Чернышевский прочитал в «Историческом вестнике» начало мемуаров А.Я. Панаевой. Они «очень хороши», сообщал он сыну и поручил ему переговорить с А.Я. Панаевой

об издании их у Солдатенкова (XV, 818–819). Возможно, к этому времени относится появление в бумагах Чернышевского адреса: «В книжный магазин “Нов<ого> вр<емени>”, Невск<ий> просп<ект>, дом № 38. Редактору “Историч<еского> вестника” Сергею Николаевичу Шубинскому»². Вероятнее всего, по этому адресу он оплатил получение журнала в течение 1889 г., чтобы читать мемуары А.Я. Панаевой. Его письмо к С.Н. Шубинскому остается неизвестным.

Обязательства перед «Историческим вестником» побудили А.Я. Панаеву, как видно из писем М.Н. Чернышевского, отклонить предложение хлопотать перед Солдатенковым, но, переживая денежные затруднения³, она не прочь устроить у московского книгоиздателя печатание своих сочинений, список которых Михаил привел в письме к отцу от 12 марта 1889 г.⁴ Однако 28 марта она все же вернулась к мысли издать свои воспоминания отдельно. «Редакция, — писала она об “Историческом вестнике”, — много выкидывала из них по разным своим личным соображениям; в отдельном издании можно будет напечатать эти места, да и я с лист оставила прибавить к ним моих воспоминаний о трех литераторах»⁵.

Это письмо А.Я. Панаевой пришло почти в одно время с ответом И.И. Барышева, которого Чернышевский извещал о желании писательницы издать свои произведения (XV, 826). Барышев, ссылаясь на К.Т. Солдатенкова, отказал, посоветовав обратиться к А.С. Суворину, и Чернышевский сообщил об этом сыну (XV, 828), а Барышеву написал, что предполагал неудачу с планом издания сочинений А.Я. Панаевой (XV, 834). После получения от нее в начале сентября еще одного письма с напоминанием об издании воспоминаний отдельным томом Чернышевский решил действовать перед издателем настойчивее. С этой целью он задумал поддержать будущую книгу своим авторитетом. 12 сентября он писал А.Я. Панаевой: «Для того, чтобы Ваши воспоминания, напечатанные в журнале, имеющем много читателей, могли иметь денежный успех при напечатании их отдельной книгой, надобно сделать к ним много приложений. Я думаю сделать это». Выполнение обещания он перенес на ноябрь, надеясь к тому времени расквитаться с долгами (XV, 898). В тот же день 12 сентября саратовская газета поместила перепечатку фрагмента из шестнадцатой главы ее воспоминаний с рассказом о потере Н.А. Некрасовым рукописи романа «Что делать?» и последующей истории опубликования этого произведения «Современником»⁶. Письмо к А.Я. Панаевой написано, вероятно, под впечатлением прочитанного. «Помню, целый вечер он посвятил воспоминаниям Панаевой», — свидетельствовал А.А. Токарский⁷.

Обработка источников для биографии Н.А. Добролюбова, намерение поддержать издание сочинений Марко Вовчка своей статьей о характере литературного движения прошлой эпохи и мемуары А.Я. Панаевой своими примечаниями — все эти факты с очевидностью говорят об активной позиции Чернышевского в его стремлении растолковать современному читателю основные идеи шестидесятых годов, актуализируя их.

В творческие планы Чернышевского входило и участие в местных периодических изданиях. По заявлению И.П. Горизонтова, он выразил готовность сотрудничать в его газете, «но, — объяснял он редактору, — конечно, не под своим именем, дабы ни мне, ни вам не было неприятностей... Буду писать у вас о саратовской старине»⁸. Его осторожность не была беспочвенной. За редакторами и сотрудниками газет полиция время от времени слеживалась, и, возможно, Чернышевский об этом знал. Так, в рапорте полицмейстера губернатору от 6 июня 1889 г. за № 288 отмечалось: «4 сего июня чинами Саратовского губернского жандармского управления совместно с приставом 3 части Фабрициевым и помощниками пристава Инглези и Леопольдовым были произведены обыски: в типографии Штерцера, в редакции газеты “Саратовский дневник” и у сотрудника той же газеты дворянина Сергея Сергеевича Гусева, но ничего противозаконного не найдено»⁹. Близкий к редакции газеты Н.Ф. Хованский вполне мог рассказать Чернышевскому о недавнем событии, предшествовавшем его приезду в Саратов. Позднее в архиве Чернышевского его сын нашел начало статьи «Мысли о будущем Саратова», которая, вероятно, «предназначалась для помещения в одной из саратовских газет»¹⁰. Будущее родного города писатель связывал прежде всего с избавлением Волги от обмеления. В тот год саратовская пресса оживленно обсуждала усилившийся процесс обмеления реки, и редкий номер газеты обходился без публикации на эту тему.

Вообще местная пресса использовала малейшую возможность оказать знаки внимания поднадзорному писателю. Так, «Саратовский листок» напечатал достаточно пространную рецензию В. Б-шева (И.И. Барышева) на одиннадцатый том перевода «Всеобщей истории» г. Вебера. В отзыве отмечено высокое качество перевода и положительно оценены сделанные «почтенным переводчиком» два приложения к тому, составившиеся из рассказа французского историка Шерюэля о битве при Рокруа и сюжета о царствовании Ивана Грозного из «Истории в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» Н.И. Костомарова¹¹.

С переездом в Саратов появились новые надежды на прорыв цензурной блокады в сотрудничестве с московскими журналами и

газетами, связь с которыми теперь значительно облегчалась. На это обстоятельство указал владелец типографии В.Ф. Рихтер, у которого Солдатенков печатал «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова». «О приезде Вашем в Саратов, — писал Рихтер Чернышевскому в неопубликованном письме от 22 июня, — слышал я еще до получения Вашего письма и искренне порадовался, но не столько за близость пересылки корректуры, два-три лишних дня не Бог знает что, сколько за исполнение Вашего желания жить в своем городе. Кроме того, здесь и торная дорога до Москвы»¹².

В выборе серьезных периодических изданий Чернышевский оставался в высшей степени разборчив. «Я журнал понимаю так, — говорил он И.П. Горизонтову, — чтобы он от “а” до “зет” был одного вкуса, цвета и направления. Тогда и только тогда он будет иметь воспитующее значение и производить должное впечатление. А наши теперешние журналы, что они? Одна статья за реальное образование, рядом с ней за классическое; повесть говорит о свободе чувства и мысли, а роман за условную мораль... Словом, что ни журнал, то винегрет»¹³.

А.А. Токарский уверял, что в Саратове Чернышевский мечтал «переехать на жительство в Москву, взять в свои руки “Русскую мысль”, для осуществления этой цели он вошел в сношения с Гольцевым и получил от него несколько писем, из которых видно, что дело это могло устроиться»¹⁴. Между тем переписка с В.А. Гольцевым и редактором-издателем «Русской мысли» В.М. Лавровым относилась, как показано нами в предыдущей главе, к астраханскому периоду. А сам Чернышевский в письме к И.И. Барышеву от 25 сентября 1889 г. относил переговоры с «Русской мыслью» и «Вестником Европы» к прошлому времени, когда выяснилось, что в сотрудники им он «не годился» (XV, 901). В этом же саратовском письме называется другое периодическое издание, с которым он теперь намерен вступить в творческий контакт. Это «Русские ведомости», издаваемые В.М. Соболевским. В архивных бумагах Чернышевского находим извещение о получении им этой ежедневной газеты с № 181¹⁵, и среди адресов запись: «Василий Михайлович Соболевский»¹⁶ (писал ли ему Чернышевский, неизвестно).

В годы политической реакции «Русские ведомости» в известной мере отстаивали либерально-демократические традиции отечественной литературы. Характеризуя прессу 1880-х годов, современный исследователь отмечает, что «только “Русские ведомости” сохранили свой либерализм в старом виде, остальные повернули в сторону черносотенства»¹⁷. В газете печатались А.Н. Плещеев, Н.К. Михайловский, Г.И. Успенский, А.П. Златовратский, А.И. Эр-

тель, эмигрант П.Л. Лавров. В 1885 г. редакция газеты опубликовала статью Чернышевского «Характер человеческого знания». После закрытия «Отечественных записок» пришел в «Русские ведомости» М.Е. Салтыков-Шедрин, поместивший здесь в 1886 г. некоторые из своих сказок («Деревенский пожар», «Путем-дорогою», «Христова ночь», «Приключения с Крамольниковым»). «Мои понятия о вещах не сходятся с господствующими в лучших периодических изданиях; но, быть может, “Русские ведомости” окажутся имеющими менее узкий взгляд, чем “Вестник Европы” и “Русская мысль”. Посмотрим. Надеюсь, что это решено будет в октябре», — писал Чернышевский И.И. Барышеву 25 сентября 1889 г. (XV, 901).

О своих будущих трудах Чернышевский говорил детскому писателю А.В. Круглову. Тот вспоминал, что был встречен радушно, хотя сначала разговор как-то не вязался. «Но стоило коснуться литературы, как Чернышевский тотчас же оживился, усталые глаза разгорелись, и он с увлечением принялся развивать планы предполагаемых работ, делился воспоминаниями, говорил о литературе, которую очень любил». Гость «удивлялся душевной свежести и ясности мысли этого человека, к которому совсем не подходило название старика»¹⁸.

Более детальную характеристику научным и литературным замыслам Чернышевского находим в мемуарах А.А. Токарского. Называются русский энциклопедический словарь по типу Брокгауза (следовательно, эта идея не была окончательно отброшена), книги по истории и политической экономии. «Он хотел их назвать книгами для детей, но мечтал, собственно говоря, создать книги для народа»¹⁹. О своих беллетристических намерениях он тогда не упоминал. Он вообще не считал их своим серьезным занятием, годным лишь для быстрого заработка, предпочитая труды по истории и политической экономии. Сохранилось свидетельство М.И. Писарева, заметившего ему в беседе, что «в настоящее время все еще в печати не произносится его имени, а называют по литературным произведениям, обозначая, например, автором “Что делать?”».

— Удивительная судьба русского писателя, — сказал на это с улыбкою Николай Гаврилович, — именоваться автором самого плохого произведения».

С этими последними словами М.И. Писарев не согласился, заявив, что, по его мнению, роман «Что делать?» представляется одним из выдающихся явлений русской литературы, которое имело громадное влияние на общество.

«На это Николай Гаврилович возразил, что роман “Что делать?” не может представляться выдающимся произведением еще и пото-

му, что он, Чернышевский, вовсе не обладает беллетристическим талантом. Выдающимся же, серьезным своим трудом он считает комментарии к политической экономии Милля»²⁰.

Беседа с А.А. Токарским, однажды страстно заговорил о журнале: «Я здесь в России создам журнал. Я создам его». «И тут только я, — пишет мемуарист, — понял страшную, невыносимую муку этого человека, ту муку, которую он выносил оттого, что был оторван от возможности влиять на жизнь своим словом и убеждением»²¹.

Русский энциклопедический словарь, перевод «Всеобщей истории» Г. Вебера по новому плану, включающему обширные собственные разработки некоторых периодов истории человечества, печатание «Материалов для биографии Н.А. Добролюбова» и готовность приступить к биографической монографии о нем, биография Н.А. Некрасова, издание со своими комментариями сочинений Марко Вовчка и А.Я. Панаевой, историко-литературные работы, предполагающие характеристику литературного движения 1850–1870-х годов — объемная напряженная творческая программа, которая могла быть под силу только крупному могучему деятелю. Конечно, не было главного — трибуны, придающей всей работе общероссийские масштабы. Но он не терял своей интеллектуальной, идейной мощи, способной при известных условиях влиться в современное научное и литературно-общественное движение. Постоянно общавшийся с ним в последние месяцы его жизни современник чувствовал в нем эту внутреннюю готовность «вступить в ряды борцов»²².

Примечания

¹ Лит. наследие. Т. III. С. 607–608.

² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 266. Л. 4.

³ М.Н. Чернышевский писал своей матери, что на попечении А.Я. Панаевой дочь, которая в прошлом году пела в хоре Малого театра, а теперь будет петь в хоре итальянской оперы, и двое внуков — мальчик пяти лет и девочка трех лет. Муж дочери Мелик-Тангиев умер два года назад от грудной жабы (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 70 об.).

⁴ Лит. наследие. Т. III. С. 609. Однако здесь под № 6 повесть «Пасека» ошибочно названа «Полина». Исправляем по собственноручному списку А.Я. Панаевой, составленному специально для Чернышевского. Этот список заканчивается следующим указанием: «Есть ненапечатанная комедия и драма из современной

жизни. Предоставляю право издания на мое участие в романах “Три страны” и “Мертвое озеро”. В 1888 мной написана и напечатана в “Ниве” “История одного таланта” и в “Живописном обозрении” будет в этом году напечатан рассказ “Забитая”. Если будет напечатан мой рассказ “Денежная лихорадка”, то тоже может войти в издание» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 31, 32).

- ⁵ Лит. наследие. Т. III. С. 595. Три литератора – вероятно, Н.Г. Помяловский, Ф.М. Решетников, М.Е. Салтыков-Щедрин. Так, М.Н. Чернышевский со слов самой А.Я. Панаевой называет Н.Г. Помяловского и Ф.М. Решетникова (там же. С. 609), а последняя, восемнадцатая глава ее воспоминаний посвящена Ф.М. Решетникову и М.Е. Салтыкову-Щедрину. См.: *Панаева (Головачева) А.Я. Воспоминания / Вступ. статья К.И. Чуковского. Примеч. Г.В. Краснова. М., 1986. С. 365.*
- ⁶ Саратовский дневник. 1889. 12 сентября. № 194. С. 3; *Панаева (Головачева) А.Я. Воспоминания. С. 338–341.*
- ⁷ Воспоминания (1982). С. 420.
- ⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 375.
- ⁹ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4844. Л. 59.
- ¹⁰ Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1926. С. 36.
- ¹¹ Саратовский листок. 1889. 19 июля. № 152. С. 2.
- ¹² РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 475. Л. 1–1 об.
- ¹³ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 375.
- ¹⁴ Воспоминания (1982). С. 431.
- ¹⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 571. Л. 233.
- ¹⁶ Там же. № 266. Л. 5.
- ¹⁷ *Есин Б.И.* Русская дореволюционная газета. М., 1971. С. 45.
- ¹⁸ *Доганович Анна.* А.В. Круглов // Исторический вестник. 1910. № 10. С. 182.
- ¹⁹ Воспоминания (1982). С. 431.
- ²⁰ Там же. С. 396.
- ²¹ Там же. С. 431.
- ²² Там же. С. 439.

24. Семейные отношения. Болезнь и смерть

Глубокую сердечную заботу Чернышевского все последние месяцы составлял старший сын. 12 июня 1889 г. тот неожиданно отправился за границу. «Саша поехал на Парижскую выставку, — извещал отца Михаил 10 июля. — Мы все, конечно, указывали ему на несоответ-

ствие такой поездки с его денежными средствами, но все отговаривания были, разумеется, напрасны. <...> О финансах, о цене денег, о правильном обращении с ними Саша никогда не имел ясного представления, но в данном случае заблуждение его дошло до такой степени, которой необходимо во что бы то ни стало положить предел». Деньги он взял у А.Н. Пыпина. «Вообще я должен сказать, — читал Николай Гаврилович, — что за последнее время Саша делал Ал<ександру> Ник<олаевичу> много неприятностей своим крайне дерзким обращением с ним при получении от него денег. А.Н. по своему добродушию относился к этому легче, чем следовало, но окружающих его обращение всегда возмущало. Поэтому я думаю, что лучше будет освободить Ал. Ник. от обязанностей быть Сашиним кассиром и передать эту должность мне, хотя это Саше и не нравится». Уже в Берлине Александр остался без денег, запросил их у брата, и тот решил послать 150 руб. через русского консула с предупреждением, что других переводов не будет. От Александра Михаил потребовал вернуться, а отца просил присоединиться к этому требованию. «Вы, милый Папаша, остаётесь единственным человеком, мнением которого он несколько дорожит, — писал Михаил отцу. — На те 50 руб., которые он получает от Вас, можно жить вполне прилично одному человеку, даже позволять себе некоторые удовольствия. Но путешествовать с такими скудными финансовыми способностями немислимо». Спустя три недели М.Н. Чернышевский написал, что Александр деньги получил, дал обещание консулу вернуться, но вдруг «вчера получил письмо от Саши от 19 июля из Парижа»¹. Чернышевский немедленно отослал (через И.И. Барышева) долг А.Н. Пыпину и сообщил Михаилу, что согласен с его действиями. «Ты хорошо сделал, — писал он 15 июля, — что адресовал письмо на мое имя, а не на имя матери. Я ничего не скажу ей. Она и без того достаточно огорчается нелепостями твоего несчастного (душевнобольного или просто бестолкового, не разберу), нищенствующего брата» (XV, 888). В письме к А.Н. Пыпину от 16 июля Чернышевский осудил «нелепости понятий Саши» и поблагодарил за «снисходительную любовь», с которой тот выносил «глупые рассуждения несчастного сумасброда» (XV, 890). В тот же день Чернышевский направил И.И. Барышеву просьбу выслать на имя М.Н. Чернышевского 150 руб. для уплаты долгов «старшего сына, душевнобольного и потому безрассудного человека» (XV, 891).

История с заграничной поездкой сына, повлекшей для всей семьи непредвиденные расходы, вызывала новые переживания и досаду. Александр этого не понимал. Его письма к отцу полны безмятежности и многие сопровождаются стихами, которые он просил отправить

в «Русскую мысль»². Однако вскоре у него кончились деньги, и 8 августа он послал отчаянное письмо к П.И. Бокову, умоляя прислать на обратную дорогу. «Хочется побывать в Саратове, куда я прямо не приеду, с остановкой в Петербурге всего на несколько дней», — писал он. Это письмо П.И. Боков отправил Чернышевскому и на обороте приписал: «Я не сомневаюсь, что он сделал поездку в Париж в болезненном состоянии души и письмо это ясно доказывает» — оно адресовано в деревню, однако указана московская улица без обозначения дома. «Долго оно шло, но удивительно, что доставлено в Москву», — писал П.И. Боков 8 сентября³.

Серьезно задуматься о происшедшем заболевающего Александра заставили письма отца от 10 и 18 сентября. «Если ты убедился, — писал он в первом из них, — что до сих пор ты поступал безрассудно, и если ты принял твердое решение следовать моим советам, можешь переселиться в Саратов. Ты будешь жить особо от меня. Жить на одной квартире с тобою я не хочу, пока не изменятся прочным образом твои отношения ко мне. Я не люблю ссор. А до сих пор ты держал себя относительно меня так, что каждый день моей жизни в одной квартире с тобою был непрерывной ссорой.

Я полагаю, что ты считаешь себя правым передо мною, меня виноватым перед тобою. Пока ты остаешься при таком образе мыслей, мне и тебе не должно видаться. Каждое свиданье было бы вредно и для тебя и для меня» (XV, 897). Во втором письме, посланном на случай, если не дойдет первое или Саша не придаст ему должного значения, все это повторено почти в тех же выражениях (XV, 900).

Разлад отца с сыном углублялся. Жесткую линию по отношению к брату продолжал сохранять и Михаил, настаивавший на более категоричных выражениях в требовании запретить Александру приезд к родителям. 26 сентября Чернышевский послал старшему сыну короткое письмо: «Безусловно прошу тебя отбросить всякую мысль о поездке в Саратов. Желаю тебе здоровья и всего хорошего. Но видеться с тобою не хочу» (XV, 902). Конечно, категоричность заявлений вырастала из отношений к старшему сыну Ольги Сократовны. Александр сделал попытку объяснить свое состояние. «Если я хотел бы ехать к Вам, — писал он 30 сентября, — то разумеется с тем, чтобы употребить всякие старания быть если не вполне бесполезным Вам, то, по крайней мере, сколько возможно порядочным собеседником и не бесполезным дома, не говоря уже о том, что мне хотелось бы отдохнуть от собственных мытарств». Свои прошлые неудачи по службе он объяснял необходимостью общаться с людьми, ему не нравившимися, а ему хотелось бы «примирить между собою людей по внутреннему чувству»⁴. На следующий день он снова написал, и

теперь Чернышевский увидел в этих письмах некоторое понимание безрассудности прежней «манеры жить с пренебрежением к фактам». Как сообщил он сыну в Париж 11 октября, в их переписку посвящена и мать, и она, по словам отца, сжалившись, послала деньги для возвращения в Петербург. Чернышевский дал сыну год для присоединения какой-нибудь должности. «Тогда, — писал он, — я рассужу, возможно ли для меня дозволить тебе видеться со мною. Раньше того я не хочу видеть тебя» (XV, 903, 904). 11 октября и сын писал отцу в ответ на короткое письмо от 28 сентября: «Должно быть Вы слышали обо мне или по поводу меня слишком много слишком несправедливого. Постараюсь изменить Ваше настроение, милый Папаша». Далее он сообщал о своих посещениях библиотеки, о пришедших ему новых математических идеях⁵. Однако это письмо не застало Чернышевского в живых. Получилось так, что последним его обращением к сыну, согласованным, нужно полагать, с мнением матери, стали слова «я не хочу видеть тебя». Тяжело было отцу писать их, тяжело было и сыну читать их.

Возвратившись из-за границы, А.Н. Чернышевский пережил еще несколько приступов психического расстройства и вскоре снова уехал за границу, на этот раз навсегда. Жил он в скромном пансионе под Парижем на средства, присылаемые А.Н. Пыпиным из доходов по саратовскому дому. В 1903 г. Александр переехал в Рим, поселившись в мансарде дома семейства Фрессойя. После смерти А.Н. Пыпина в 1904 г. академик А.А. Шахматов выхлопотал для него у Литературного фонда пожизненную пенсию в 25 руб. в месяц. Других средств Александр Николаевич не имел. Умер он на шестьдесят первом году 30 января 1915 г. от сердечного приступа и похоронен на кладбище Тестаччио⁶.

Младший сын жил иначе, прочно устроившись в Департаменте железнодорожных дел. Его по-прежнему не привлекали серьезные интеллектуальные занятия, но в служебной деятельности он стал добиваться видимого признания и достиг заметных успехов. «Теперь, когда он оказался дельным человеком, я стал доволен им и, кроме приятного, он не услышит от меня ничего, — писал Чернышевский жене 26 июля 1888 г. — Поручения, которые дает ему правление железной дороги, доказывают, что он считается полезным и надежным человеком. Я думаю, что будущность его и Леночки теперь обеспечена» (XV, 715—716). Михаил, как мы видели, находил время выполнять и некоторые поручения отца в его литературных предприятиях.

В июле 1889 г. Чернышевский пригласил жену сына погостить в Саратове «хоть недельку». 15 августа приглашение, санкциониро-

ванное, разумеется, Ольгой Сократовной, повторено (XV, 888, 895). Поездка состоялась во второй половине августа, и приехали вместе. «Он не казался мне большим, — вспоминал Михаил. — Напротив, меня, как всегда, поражала его необыкновенная бодрость и молоджавость (в густых волосах на голове не было ни одного седого волоска — они были, и то в очень умеренном количестве, лишь в бороде). Его смело можно было считать лет на десять моложе, в особенности когда он вел обыкновенную беседу. Старость и усталость чувствовались лишь тогда, когда он с обыкновенной беседы переходил на разговор о более интимных, так сказать, сторонах жизни кого-нибудь из наших родных или близких, которыми он интересовался и которым хотел чем-нибудь помочь. Несколько дрожащим голосом и грустным-грустным проникающим в душу тоном, почти полупотом, расспрашивал он меня о разных сторонах жизни того или другого человека, и такой разговор будил во мне воспоминания о старике священнике, у которого мне приходилось исповедаться во дни моей юности. <...> Да и сами беседы имели характер исповеди, на которой раскрывались самые укромные уголки сердца»⁷.

Однажды что-то в отношении Чернышевского к младшему сыну и его жене встревожило Ольгу Сократовну. Она решила, что он в ту их поездку был недостаточно любезен, и в письме его к Елене Матвеевне от 10 сентября появились строки: «Я виноват перед Вами, не умел держать себя с Вами, как следовало. Пожалуйста, простите. Приезжайте весной, — может быть тогда буду держать себя с Вами лучше, чем в нынешний Ваш приезд». Предлагая ей будущим летом поехать с Ольгой Сократовной на Кавказ, он прибавлял: «Она Вас любит» (XV, 896—897, 960). Резким диссонансом отзывается приведенное выше письмо, написанное тоже 10 сентября старшему сыну, которому воспрещался приезд к родителям.

После смерти отца М.Н. Чернышевскому удалось издать несколько сборников его статей, а в 1905—1906 гг. — первое Полное собрание сочинений. СобираТЕЛЬСкая и публикаторская деятельность, а с 1917 г. заботы по увековечиванию памяти Чернышевского в Саратове, где вскоре был организован музей, принесли младшему сыну писателя известность музейного работника, научный авторитет и значение активного популяризатора жизни и творчества его отца. Он умер в 1924 г., будучи первым директором музея Н.Г. Чернышевского. Современники удивлялись его «изумительному любовному трудолюбию, планомерности и неустанности» в научной и пропагандистской работе. В некрологе отмечалось «сочувствие его деятельности со стороны профессоров Саратовского университета»⁸. После его смерти музейное служение продолжали

две его дочери Марианна (1891–1973) и Нина (1898–1975), переехавшие из Петербурга в Саратов.

Как и в Астрахани, быт Чернышевского целиком направлялся его женой. Современники оставили множество свидетельств особой внимательности, нежности в его отношениях к ней. «Она в его глазах являлась страдальцей. А этого одного было вполне достаточно, чтобы отношения его к О.С. сделались еще мягче, чем они были раньше», — писал близко знавший быт Чернышевских А.А. Токарский. Мемуаристу припомнился случай, когда один из его товарищей, развитой, умный, но несколько экспансивный, понравившийся Чернышевскому, позволил себе сказать, что не понимает, как это он, Чернышевский, мог жениться на Ольге Сократовне. Похлопав молодого человека по плечу, Николай Гаврилович ответил: «Знаете, прежде чем задать этот вопрос, нужно подумать... и подумать». «Я, — писал А.А. Токарский, — смотрел на Н. Г-ча; я знал, как он болезненно чутко относится ко всему, что касалось О.С., и ждал взрыва, но лицо его было покойно, и пропало только обычное ироническое выражение глаз». А.А. Токарский едва ли не из первых сделал попытку определить сущность тогдашних взаимоотношений Чернышевских, опираясь на собственные впечатления и материалы опубликованного в то время дневника молодого Чернышевского, а также романов «Что делать?» и «Пролог». «Ничто не возбуждало в обществе столько толков и недоумений, как эти отношения», — подтверждал мемуарист. Он держался убеждения, что Чернышевский, искренне любя одну Ольгу Сократовну, «поэтизировал и подрисовывал положительные черты дорогой ему женщины. Что же касается удивлявшего многих едва ли не деспотического ее отношения к супругу, то, полагал Токарский, «не она, а он поставил так дело», «строителем своей семейной жизни был сам Н. Г-ч», с молодости определивший свою линию поведения и никогда не отступавший от «выработанных правил и убеждений»⁹.

Наблюдения и выводы современника вполне убедительны. Однако они не охватывают всех сторон вопроса, в действительности более многослойного, сложного. Конечно, безграничная любовь к жене и преданность Чернышевского ей — факт несомненный, лежащий в основании его поведения на протяжении десятилетий. Но, глубокий и тонкий психолог, привыкший анализировать свои поступки, Чернышевский вовсе не слепо и безотчетно идеализировал дорогой ему образ, он вполне реалистически, трезво оценивал характер и действия Ольги Сократовны. Беспрекословно выполняя ее требования, иногда идущие вразрез с его мнениями и желаниями и заставлявшие его идти даже на разрыв с самыми близкими ему

людьми, Чернышевский понимал, что иначе их совместная жизнь станет невозможной, и несогласие с женой ему же и повредит, разрушив устоявшийся ход жизни. Спокойствия и нормальной жизнедеятельности он не мыслил без Ольги Сократовны.

Своих переживаний Чернышевский не открывал никому. Наблюдательный А.А. Токарский писал: «Простой, мягкий и сердечный, Н. Г.-ч по своему душевному строю принадлежал к числу людей скрытных. Мне думается, что не было на свете человека, которого бы Н. Г.-ч пустил в святая святых своей души»¹⁰. Отношения с Ольгой Сократовной составляли одну из главных его душевных тайн. И в Саратове только однажды в ситуации, которая требовала полной откровенности (обычно такие положения возникают в неизбежных общениях с врачами), он приоткрыл завесу своего понимания настойчивой, хлопотливой заботливости жены о нем.

В сентябре он стал чувствовать упадок сил, жаловался на головные боли, стал чаще принимать хину во избежание обострения лихорадки, приступы которой бывали в Астрахани. Об этом вспоминали многие саратовцы, опрошенные впоследствии Ф.В. Духовниковым. Значительную ценность приобретают, в частности, показания врачей и особенно А.В. Брюзгина. До середины сентября Чернышевский к врачам не обращался, однако Ольга Сократовна все же настояла на визитации А.В. Брюзгина, с которым познакомилась у одного из общих знакомых. Алексею Варфоломеевичу Брюзгину (Степанову) в 1889 г. шел тридцатый год. Он окончил Московский университет с дипломом лекаря в 1884 г., специализировался по внутренним и детским болезням и служил врачом при мужской гимназии, а также состоял в штате городского Александровского ремесленного училища и числился ординатором городской больницы¹¹. О.С. Чернышевская объяснила Брюзгину, что Николай Гаврилович, по ее мнению, страдает раком, признаком которого она считает ежедневную рвоту. Чернышевский отказался обследоваться, и когда они остались с врачом одни, сказал следующее: «Я глубоко уважаю как врачей, так и медицину, но в настоящее время в вашем исследовании я вижу только одно бесцельное и надоедливое ухаживание за собою жены; полжизни идет на это ухаживание. Вы вынуждаете меня сказать то, чего я не хотел». И он поведал, что давно страдает гастрической лихорадкой, так что в Вилуйске старался питаться «исключительно молоком и кашей». Держать такую диету было нетрудно, так как с детства «привык к пище простой — гастрономических кушаний для меня не существует». Но жена «то и дело твердит мне: “Ты себя истощаешь” и пристаёт ко мне: “Отчего ты не ешь?” Ну, я и ем... и после еды искусственно вы-

зывают рвоту, чтобы мне не было худо. Теперь же моя нервная жена заставляет меня есть даже то, что мне вредит»». В пример он привел вчерашний день, когда она заставила его съесть почки. «Как видите, — говорил Чернышевский, — я против своей воли и желания питаюсь не тем, что принимает мой желудок. Я глубоко убежден, что я выздоровею, если только буду освобожден от этого и соблюду диету. Для успокоения жены я буду принимать какие угодно лекарства. Ради Бога передайте жене, что вы меня исследовали...»¹². Брюзгин, слышавший о скрытном характере Чернышевского, поразился его откровенности, которая стала возможной в результате резкого вмешательства со стороны в состояние его здоровья. Характеристика действий жены обнаруживала давно накапливавшееся раздражение, постоянно скрываемое.

Посылая собранные мемуарные материалы в «Русскую старину», Ф.В. Духовников в письме к М.И. Семевскому от 10 марта 1890 г. среди причин, вызвавших ухудшение здоровья Чернышевского, назвал «повышенную нервозность» Ольги Сократовны и «огорчения сыном-неудачником, который живет за границей и который постоянно требует деньги». «Может быть, — писал Ф.В. Духовников, — Н.Г. искренно сказал одному своему родственнику: “Вы думаете, что в Сибири мне жилось нехорошо, я только там и счастлив был”». Эти слова Чернышевского Ф.В. Духовников ввел в свое мемуарное собрание¹³. Разумеется, Николай Гаврилович имел в виду исключительно семейно-бытовую обстановку, осложнившую его жизнь в Астрахани и Саратове, часто вызывая нервное перенапряжение.

Новый приступ болезни случился 14 октября. Вызванный А.В. Брюзгин отметил пароксизм той же малярийной лихорадки. Больной бредил, что, по мнению врача, указывало на слабость нервной системы. Лекарства возымели действие, и наутро 15 октября он чувствовал себя лучше. Однако он тут же принялся за работу и, по свидетельству очевидца, «надиктовал более 16 страниц печатного текста, сам изумившись своей рабочей энергией»¹⁴. Организм не выдержал напряжения, и вечером приступ повторился. А.В. Брюзгина дома не оказалось, тогда А.А. Токарский отправился к доктору Н., но тот отказался идти, сославшись на бывших у него гостей. О «странном, если не сказать больше, отказе доктора Н. от исполнения просьбы посетить больного» писала саратовская газета¹⁵. М.Н. Пыпин сообщал об этом эпизоде так: «...Токарский поехал за докторами: тот отказывается, тот спит; в конце концов кроме Брюзгина явились Кротков и Бонвеч»¹⁶. У Ф.В. Духовникова (в публикации А.А. Лебедева) читаем: «В десять часов состоялся консилиум из докторов: Брюзгина, Кроткова и Бонвеча, пригла-

шенного по совету А.П. Ровинского; хотя были приглашены и другие доктора (между прочим Розенталь и Погосский)¹⁷. На консилиуме пришли к заключению, что приступы болотной лихорадки приняли опасное направление. Предписали хинин. В два часа дня 16 октября снова приходили А.В. Брюзгин и М.И. Кротков. Они установили упадок сердечной деятельности и односторонний паралич. В сознание Чернышевский так и не приходил. В четыре часа ушли и вернулись через два часа; по-прежнему бессознательное состояние; давали дышать кислородом и применили возбуждающие средства. В двенадцать ночи состояние больного не изменилось. В 12 часов 37 минут ночи после апоплексического удара Чернышевского не стало»¹⁸.

Дополнительные подробности события передал М.Н. Пыпин в письмах к брату, включенных впоследствии М.Н. Чернышевским в статью «Последние дни жизни Н.Г. Чернышевского». У родных осталось убеждение, что врачи «не приняли серьезных мер» для лечения. После консилиума его участники А.В. Брюзгин, М.И. Кротков и Э.А. Бонвеч утром 16 октября дали телеграмму М.Н. Чернышевскому, что отец заболел, но серьезной опасности нет¹⁹. В свою очередь О.С. Чернышевская послала телеграмму П.И. Бокову с просьбой немедленно приехать. В письме от 17 октября он писал ей: «Печальная телеграмма о болезни Николая Гавриловича получена мною 16-го в 9 час. вечера. Прежде чем выехать, я послал запрос врачам, как они находят положение больного. Ночью получил еще телеграмму о печальном исходе болезни. Дорогая, примите мое самое сердечное участие в тяжелой утрате. Берегите себя! Татьяна Петровна и Лилиша²⁰ с своей стороны также просят передать Вам их сердечное участие»²¹. Мемуарное свидетельство: «Кротков и Брюзгин послали Бокову подробное описание болезни и ее лечения. Так как безнадежность положения Н.Г. была очевидна, то они послали ответ Бокову уже после смерти Чернышевского²². Сохранился также черновик текста короткой телеграммы на имя П.И. Бокова за подписью тех же двух врачей: «15 апоплексия левый паралич 16 сопор почти без пульса. Не глотает. Мускус, кислород, лед. Состояние безнадежное»²³.

М.Н. Пыпин в своих письмах привел последние слова Чернышевского, произнесенные в бреду в три часа утра 16 октября: «Странное дело — в этой книге ни разу не упоминается о Боге». «О какой книге говорил он — неизвестно. В 4 ч. утра началась хрипота и икота, наступила агония, продолжавшаяся почти сутки»²⁴.

Похороны Ольга Сократовна перенесла на один день, ожидая приезда сына Михаила с женой. С 17 по 20 октября квартира Чер-

нышевских была открыта для всех, желавших проститься с покойным. «Отец лежал в гробу, окруженном со всех сторон роскошными венками. Лицо его было глубоко спокойно; следы страдания и скорби исчезли», — вспоминал М.Н. Чернышевский. Венков было более сорока и большинство из них имели ленты с надписями. М.Н. Чернышевский привел в своей статье около тридцати, в том числе: «Автору “Что делать?” от русских женщин», «Великому незабвенному учителю и борцу за правду Н.Г. Чернышевскому. Русские женщины» (из Петербурга), «Мир праху твоему, страдалец» (от местного кружка молодежи), «Мыслителю и гражданину», «Памяти великого писателя от интеллигенции», «От молодежи незабвенному и дорогому» (венки от местных политических ссыльных), «Сеятелю великих идей от кружка почитателей», «Великому писателю от нижегородских почитателей», венки от студентов Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского (серебряный венок), Новороссийского, Дерптского, Варшавского университетов, Петровской академии, Горного и Лесного институтов, от Саратовского литературного фонда и редакций местных газет²⁵.

Фотографы И.М. Егеров и Ольденбург сфотографировали Чернышевского в гробу, художником С. Поповым и дальним родственником Пыпиных поручиком 40-й артиллерийской бригады М.М. Канищевым выполнены небольшие картины масляными красками и сделаны карандашные рисунки кабинета писателя²⁶. На фотографии, изготовленной И. Егеровым, отчетливо видны тома «Всеобщей истории» Г. Вебера, положенные в гроб.

Похоронами распоряжался К.Н. Буковский, и, конечно, во всем помогали Пыпины, особенно Варвара Николаевна. Деньги на похороны О.С. Чернышевская заняла. Сохранился текст расписки, выданной ей 26 октября 1889 г. Саратовским обществом вспомоществования нуждающимся литераторам (литературным фондом): «Принято от г-жи Ольги Сократовны Чернышевской сто рублей в возврат выданных ей на похороны ее мужа Николая Гавриловича Чернышевского»²⁷.

Газета объявила о ежедневных панихидах в десять утра и семь вечера²⁸. К дому Никольского потянулись саратовцы. «На второй день масса публики стояла на лестнице и на дворе за невозможностью проникнуть в комнаты», — писал М.Н. Пыпин. «С венком “Уму и таланту” от местного железнодорожного контроля, “прибежища свободомыслов”, явился В.И. Котельников, хороший знакомый М.Н. Чернышевского. Его жена, врач, на третий день приводила к гробу своего десятилетнего сына, чтобы тот, по ее словам, “поклонился праху великого человека и навек запечатлел черты его

лица»²⁹. Приводил своего десятилетнего сына и доктор Николаев³⁰. Из пришедших проститься М.Н. Пыпину запомнился также И.Я. Славин, один из видных деятелей городского управления³¹. Между прочим, по его рассказу, он не попал на первую панихиду из-за городского головы А.И. Недошивина, который уверял, что Чернышевского похоронили накануне³².

Вынос тела, согласно газетному объявлению, назначался на пятницу 20 октября в 9 часов утра в церковь Св. Сергия³³. Отпевали в этой Сергиевской церкви. Возле родового дома Чернышевских дважды отслужили литию — по пути в церковь и обратно. Весь достаточно длинный путь до Воскресенского кладбища гроб с телом несли на руках. Шли по Немецкой, Александровской и Московской улицам³⁴. Провожающие организовали хор, и «он пел прекрасно». «Катафалк, везомый четырьмя лошадьми, украшенный венками с развевающимися лентами, несение гроба женщинами, этот хор, масса провожающих — придавали всей процессии торжественно необычайный вид и делали похороны такими похоронами, каких Саратов не видел да никогда и не увидит. А тот, кто лежал в этом гробу? Как мало все это согласовалось с тою простотою, которую он везде и во всем любил! Но разве можно считать эту торжественность оскорблением его памяти?» — писал М.Н. Пыпин родным в Петербург³⁵. В письме Е. Ликаонской от 29 октября 1889 г. из Саратова к кому-то из ее знакомых читаем: «Только тут, при виде этой толпы, подавленной одним общим горем, можно было понять, как дорог был Н.Г. для многих и многих, только тут так долго сдерживаемое чувство любви и уважения к нему сплотилось и вылилось наружу»³⁶.

Речей на кладбище быть не могло. Хоронили в семейный склеп, для чего пришлось опустить глубже в землю гроб матери Чернышевского Евгении Егоровны и два маленьких гроба — Александры Нейман (дочери Ек.Н. Пыпиной-Нейман) и Виктора Чернышевского. Гроб с телом Николая Гавриловича поставили рядом с отцовским по правую его сторону³⁷.

Спустя полтора года на могиле Чернышевского была поставлена железная часовенка, изготовленная по рисунку художника Ф.Г. Беренштама, с цветными стеклами и запирающейся дверью.

Весть о смерти Чернышевского мгновенно облетела почти всю русскую прессу. Саратовские и астраханские журналисты откликнулись первыми³⁹, последовали публикации в «Новом времени», «Новом обозрении», «Русских ведомостях», «С.-Петербургских ведомостях», «Киевлянине», «Одесском вестнике», «Самарской газете» и других ежедневных периодических изданиях, а также в журналах «Русское богатство», «Вестник Европы», «Исторический

вестник». Поэтому со всех концов России успели прислать и венки, и телеграммы, тексты которых в свое время были опубликованы М.Н. Чернышевским. Именные траурные депеши поступили из Нижнего Новгорода от И.Г. Короленко и от А.В. Захарьина, из Астрахани от А.М. Никольского. Телеграммы пришли из Петербурга, Москвы, Барнаула, Минска, Варшавы, Казани, Дерпта, Одессы, Харькова. Например, студенты Новороссийского университета выражали глубокую скорбь в связи с кончиной «величайшего писателя Чернышевского, оказавшего неоцененную услугу русскому обществу и пробуждению в нем сознательного и критического отношения к действительности»⁴⁰. Смерть Чернышевского внесла заключительный штрих в отношения властей к поднадзорному писателю. Как и полагалось, саратовский губернатор А.И. Косич известил Департамент полиции о происшедшем, не сообщая, однако, подробностей, о которых между тем полицейская часть накануне донесла в особом рапорте от 22 октября 1889 г. «Похороны, — докладывал полицмейстер губернатору, — происходили при многочисленном собрании почитателей его таланта. Здесь были местные литераторы, учителя, учительницы и почти все лица, состоящие под негласным надзором полиции. В день погребения его был получен слух, что некоторые из сопровождавших гроб предполагали в церкви и на кладбище произнести речи о значении Чернышевского как писателя и публициста и о его страдальческой жизни, но по принятым со стороны полиции мерам никаких речей произнесено не было. На гроб Чернышевского разными лицами было возложено более двадцати венков с надписями обыкновенного дружеского характера. Предполагалось возложить два венка при надписях: “Сеятелю великих идей” и “Автору — что нам делать?”», но возложение этих венков устранено»⁴¹. В Департаменте полиции губернаторскую бумагу получили 27 октября, но поскольку в ней содержались лишь сведения о датах смерти и захоронения Чернышевского, никаких особых указаний не последовало⁴². Впрочем, по жандармской линии Департамент полиции знал обо всем. Генерал-майор Гусев писал: на похоронах собралось «много лиц, преобладающим был элемент женский», в похоронной процессии приняли участие и поднадзорные, но благодаря распорядительности полиции, «находившейся неотлучно как на панихидах в квартире покойного, так и на отпевании в церкви и на кладбище, порядок и благочиние не были ничем нарушены, ровно никаких надгробных речей не произносилось». Сообщалось, что «по желанию вдовы покойного» с двух венков сняли ленты с надписями «Сеятелю великих истин» и «Творцу романа “Что делать?”»⁴³. О конных и пеших городовых, переде-

тых полицейских, околоточных «в форме и без формы», приставе и его помощниках писал и М.Н. Пыпин. «...Одна старушка, видя полицию, сопровождавшую гроб, сказала: “И мертвого-то бояться, спокойно умереть не дадут”»⁴⁴. И все же грубых вмешательств полиции не наблюдалось.

Главное полицейское ведомство не досаждало саратовскому начальству наставлениями, пришедшими совсем с другой стороны. Спустя месяц после похорон начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов направил саратовскому губернатору официальное письмо, в котором со ссылкой на публикацию в астраханской газете запросил, действительно ли за гробом Чернышевского несли венки с надписями, в частности от саратовских газет и местного литературного фонда и «на каких основаниях» действует этот фонд. Генерал-лейтенант А.И. Косич, не относившийся к реакционерам типа Феоктистова, сразу увидел нелепую предубежденность сановного запроса. Действительно, венки были, «но венки эти, — отвечал губернатор 3 января 1890 г., — ничем особенным не выделялись, причем долгом считаю присовокупить, что в названном Обществе установился обычай возлагать венки на гроба всех умирающих в Саратове литературных деятелей и даже посылать их и в другие города. “Общество вспомоществования нуждающимся литераторам”, а не литературный фонд, как сообщено в “Астраханском листке”, действует на основании устава, экземпляр которого при сем прилагаю». Далее следовало разъяснение, выдававшее едва скрываемое осуждение: «В пояснение делу считаю необходимым присовокупить, что благодаря принятым, никого не раздражающим мерам похороны Чернышевского прошли совершенно спокойно и недемонстративно, как было, сколько известно, в других местах вне Саратовской губернии, а потому весьма желательно не возбуждать по этому поводу никаких дальнейших последствий». Письмо заканчивалось общепринятым оборотом: «Прошу принять уверение в совершенном почтении и глубокой преданности». Перед отдачей текста в канцелярию для оформления в посыл А.И. Косич вычеркнул из последней фразы слово «глубокой»⁴⁵, а в конце посланного текста добавил: «В числе принятых мер были между прочим устранение венков с тенденциозными надписями, недозволение речей и проч.» Слова «глубокой» в последней фразе отправленного в Петербург ответа не было⁴⁶.

Е.М. Феоктистов нашел другой способ проявить свою бдительность. Направляя директору Департамента полиции свое мнение по поводу поступившей 7 декабря 1889 г. в Главное управление по делам печати просьбы М.Н. Чернышевского об издании сборни-

ка статей своего отца, Феокистов писал 13 декабря: «Если не все, то некоторые из этих статей могли бы быть с точки зрения общей цензуры допущены к печати, но я покорнейше прошу Ваше Превосходительство почтить меня Вашим заключением, удобно ли было бы появление их в свет теперь, когда уже и без того обращено было слишком много внимания на Чернышевского по поводу его кончины». Высказанные опасения возымели действие, и главный полицмейстер России П.Н. Дурново высказался за появление сборника в свет «не ранее осени будущего 1890 г. и под псевдонимом». После этого Феокистов распорядился признать прошение сына писателя «не подлежащим удовлетворению»⁴⁷. Спустя год М.Н. Чернышевский получил разрешение выпустить книгу, однако попытки все же сохранить имя автора на обложке были решительно пресечены. «Издание статей с обозначением имени автора, — говорилось в справке Департамента полиции, — едва ли представляется желательным, так как сочинения эти, хотя и дозволенные цензурой, несомненно отличаются несомненной тенденцией и получают значительное распространение среди учащейся молодежи исключительно благодаря прошлому автору»⁴⁸.

После просочившихся в печать воспоминаний А.И. Розанова (1889) и рассказов саратовцев, собранных Ф.В. Духовниковым (1890), цензура останавливала публикацию материалов, затрагивавших изложение или оценку взглядов Чернышевского. Так, были запрещены воспоминания П.Ф. Николаева, направленные им через историка В.И. Семевского в «Русскую старину» в 1890 г.⁴⁹ Цензор П. Матвеев отмечал в своем заключении от 30 мая 1890 г., что автор — «горячий почитатель и поклонник» личности Чернышевского и его учения. Например, повесть Чернышевского «Тихий голос» (см.: XIII, 356, 864, 901) «с тенденцией отрицания обязательного брака ради пропаганды новых условий семейной жизни, указанных в романе “Что делать?”», — пишет цензор, — вызывает восторженные похвалы автора воспоминаний, очевидно их разделяющего». 6 июня 1890 г. Петербургский цензурный комитет признал воспоминания П.Ф. Николаева «безусловно подлежащими запрещению»⁵⁰. Они увидели свет лишь через шестнадцать лет. Почти на двадцать лет цензура задержала публикацию продолжения биографии Чернышевского, начатую Ф.В. Духовниковым. В архиве сохранилась уже отпечатанная очередная глава с пометкой редактора-издателя «Русской старины» М.И. Семевского: «Исключено цензором из I кн. “Р<усской> стар<ины>” за 1892 г.»⁵¹ «...Вся статья, — докладывал 24 декабря 1891 г. об этой работе Ф.В. Духовникова член Главного управления по делам печати Ф.П. Еленев, — направлена

к тому, чтобы посредством идеализации личности Чернышевского привлечь к ней сочувствие и уважение читателей». На докладе резолюция Е.М. Феоктистова: «...Я уже указывал на эту статью, — действительно, она дурного свойства»⁵². Из статьи Я. Колубовского о русской философии, приложенной к переведенной им с немецкого «Истории новой философии» Ф. Ибервега, петербургской цензурой были изъяты в 1890 г. страницы о Чернышевском, Л.Н. Толстом и П.Л. Лаврове⁵³.

Мы привели лишь немногие примеры подобных запретов. Цензурные истории печатания и попыток печатания статей Чернышевского и о нем после 1889 г. — тема специального исследования, выходящего за пределы научно-биографического изложения.

На сороковой день 26 ноября О.С. Чернышевская организовала, как и полагалось по христианскому обычаю, панихиду. Соответствующее объявление появилось в газете⁵⁴. Сохранившейся распиской от редакции газеты документально подтверждается, что текст объявления поместила вдова писателя.

Для Ольги Сократовны наступили трудные дни. Квартиру в доме Никольского пришлось оставить. Домовладелец поспешил дать объявления в газетах о сдаче комнат с 1 ноября⁵⁶, и Ольгу Сократовну приютили Пыпины в своем доме⁵⁷. Деньги, причитающиеся ей за перевод Чернышевским «Всеобщей истории» Г. Вебера и «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова», быстро кончились. Назначенное ей пособие из Литературного фонда ни в коей мере не способно было покрыть ее расходы. Права на издание сочинений Чернышевского, перешедшие ей по духовному завещанию мужа от 18 июля 1887 г.⁵⁸, она передала младшему сыну, но с годами ей стало казаться, что Михаил нечестен в денежных расчетах с ней. В ее письмах все чаще звучат упреки сыну в недостаточности, как ей казалось, выделяемых ей средств. Ни с сыном, ни с Пыпиными ужиться она уже не могла⁵⁹. «Вот она и стареющая, и совсем старая, с изменившимся лицом, с другими глазами, — писал современник, видевший ее незадолго до смерти. — Время совершило над ней перемену, еще более резкую, чем над мужем. Там, в портрете, лет за 5 до смерти, все-таки смутно угадываешь молодые черты Чернышевского. Здесь — уже совсем другая, другая, другая»⁶⁰.

Последние годы Ольга Сократовна жила безвыездно в Саратове. Однажды приехавший сюда М.Н. Чернышевский застал ее сидящей во флигеле в полном одиночестве и крайней запущенности. Ему удалось устроить ее в хроническое отделение городской больницы, где она и умерла на 86 году жизни — 11 июля 1918 г., в день своих именин. Как человека религиозного, ее похоронили с соблюдением

всех церковных обрядов неподалеку от могилы мужа. Все заботы и расходы приняли на себя городские власти. «По смерти мужа, — писала газета, — Ольга Сократовна целых тридцать лет буквально влачила жалкое существование, ухудшавшееся с каждым годом и прекратившееся только теперь сильно запоздавшей смертью»⁶¹. Но до самых последних минут ее жизни окружавшие «уважали в ней жену великого писателя»⁶². Имя О.С. Чернышевской осталось и в литературе благодаря однажды порученной ей мужем работе по составлению библиографического указателя к журналу «Современник» за первое десятилетие издания. Указатель опубликован за подписью «О. Ч.» в 1857 г. в качестве приложения к № 3 «Современника». Ценность выполненного труда определяли впервые осуществленные расшифровки многих криптонимов и псевдонимов, что помогло выявить журнальные публикации Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, В.П. Боткина, П.В. Анненкова и других писателей того времени⁶³.

Примечания

¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497. Л. 76–77, 80.

² Приведем некоторые из них с сохранением авторского написания (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 494. Л. 56, 57).

Сплетаются ветви коралла
В немой глубине переливы
Прозрачна морская вода
И света и мягких теней
Спит море под солнечным блеском
Пусть вечно венчает улыбка
Лишь зыбь пробежит иногда
Волнения сумрачных дней.

Берлин, июнь. А. Ч.

Если яд в бокал хрустальный
И в изменах неизменно
Для отравы попадал
Жажда верить так сильна
Разлетится по преданью
Что и грезится и ждется
Тотчас вдребезги бокал
Утомится и она!

Берлин. 30 июня

- См.: *Аветисян Г.А.* Поэтическое творчество А.Н. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 15 (2004). С. 93–103; *Она же.* Хрустальный дворец в стиле «модерн» (Фантастический рассказ «Остров Орельяно» А.Н. Чернышевского) // Чернышевский. Вып. 16 (2007). С. 73–82.
- ³ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 431. Л. 3, 4 об.
- ⁴ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 494. Л. 60.
- ⁵ Там же. Л. 65.
- ⁶ *Чернышевская Н.М.* Семья Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1980. С. 73–75.
- ⁷ Воспоминания (1982). С. 450–451.
- ⁸ Памяти М.Н. Чернышевского // Былое. 1924. № 25. С. 278–279. См.: *Чернышевская Н.М.* Младший сын Н.Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 3 (1962). С. 183–212; *Манова Е.Н.* Ответственная и культурно-просветительская деятельность М.Н. Чернышевского: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 07.00.02. Саратов, 2008.
- ⁹ Воспоминания (1982). С. 436–438.
- ¹⁰ Там же. С. 433, 434.
- ¹¹ ГАСО. Ф. 79. Оп. 2. Д. 211. Л. 130.
- ¹² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 363–364.
- ¹³ Там же. С. 368, 370.
- ¹⁴ Саратовский листок. 1889. 17 октября. Прибавление к № 222. С. 2.
- ¹⁵ Саратовский дневник. 1889. 25 октября. № 228. С. 2. А.А. Лебедев указывал, что это был врач Никифоров (Воспоминания (1959). Т. 2. С. 366). Подпись Н. Никифорова стоит на адресе, переданном членами Саратовского общества санитарных врачей губернатору А.И. Косичу в конце 1891 г. (ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 686 а. Л. 421 об.).
- ¹⁶ Воспоминания (1982). С. 461.
- ¹⁷ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 367. Приведем документальные сведения об упомянутых врачах: Михаил Иванович Кротков (род. 1851), выпускник Московского университета со званием лекаря (1880), занимался частной практикой по внутренним и нервным болезням. Эммануил Андреевич Бонвеч (род. 1843), окончил Дерптский университет и получил диплом доктора медицины (1869), служил врачом реального училища и католической духовной семинарии с 1873 г. Эрнест Павлович Розенталь (род. 1835), окончил Медико-хирургическую академию в 1864 г., занимался частной консультантской практикой. Викентий Феликсович Погосский (род. 1844), после окончания Московского

университета держал специальные экзамены в Военно-медицинской академии, ординатор саратовской губернской земской больницы (ГАСО. Ф. 79. Оп. 2. Д. 211. Л. 136, 172, 174, 175. Ср.: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 371 (примечание 17).

¹⁸ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 368–369.

¹⁹ Воспоминания (1982). С. 461.

²⁰ Жена и дочь Боковых Людмила.

²¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 74. Л. 11–11 об.

²² Воспоминания (1959). Т. 2. С. 368.

²³ Там же. С. 371.

²⁴ Н.Г. Чернышевский в Саратове: Воспоминания современников / Сост. Н.М. Чернышевская. Саратов. 1939. С. 130. К.М. Федоров последними словами Чернышевского называет следующие: «Судьба этого человека решена: ему нет спасения. В его крови найдено гнойное заражение» — Воспоминания (1982). С. 447. Однако по свидетельству М.Н. Пыпина, эти слова были произнесены раньше, 15 октября.

²⁵ Воспоминания (1959). Т. 2. С. 453, 454–455.

²⁶ Воспоминания Евгении Терентьевны Канищевой // Пропагандист великого наследия. Вып. 2. Саратов, 1990. С. 24; Воспоминания (1982). С. 468. Фотографии и некоторые рисунки хранятся в фонде МУЧ.

²⁷ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 620. Л. 42.

²⁸ Саратовский листок. 1889. 17 октября. Прибавление к № 222. С. 1.

²⁹ Ее фамилия — Томашевская (см.: Н.Г. Чернышевский в Саратове: Воспоминания современников. Саратов, 1939. С. 142). В архиве сохранилась врачебная карточка Надежды Константиновны Котельниковой: полька, род. в июле 1850 г., окончила женские врачебные курсы, занималась частной практикой, имела четырех детей (ГАСО. Ф. 79. Оп. 2. № 211. Л. 133). Томашевская — ее девичья фамилия.

³⁰ Н.Г. Чернышевский в Саратове: Воспоминания современников. С. 142. В кн.: Воспоминания (1982). С. 468. Ошибочно указан доктор Никифоров.

³¹ Иван Яковлевич Славин имел тогда должность заступающего место городского головы. Некоторое время он замещал городского голову А.И. Недошивина, ушедшего в отпуск по болезни с 24 сентября 1889 г. (Саратовский листок. 1889. 29 сентября. № 204. С. 2). См. также: *Славин И.Я.* Минувшее — пережитое. Воспоминания // Волга. 1988. № 8.

³² Воспоминания (1982). С. 467, 468.

- ³³ Саратовский дневник. 1889. 20 октября. № 224. С. 1.
- ³⁴ Существуют и другие указания маршрута: «...По Гимназической улице на Казачью и по Астраханской к кладбищу. Идти по людным центральным улицам города не разрешили, боялись демонстраций, волнений» — *Комаров М.Л.* Как его хоронили (рассказ очевидца) // Даешь комбайн (Саратов). 1936. № 280.
- ³⁵ Воспоминания (1982). С. 465.
- ³⁶ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 243.
- ³⁷ Свидетельство М.Н. Пыпина. См.: Н.Г. Чернышевский в Саратове: Воспоминания современников. Саратов, 1939. С. 132.
- ³⁸ Ныне находится на территории музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского в Саратове. Заменена в 1939 г. массивным надгробным памятником-аркой, построенным по проекту скульптора П.Ф. Дундука и архитектора М.В. Крестина.
- ³⁹ См.: *Марынов А.И., Бельмесова В.И.* Отклики саратовских газет на смерть Н.Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 6 (1971). С. 260–265; *Травушкин Н.С.* Астраханская газета о днях траура по Чернышевскому // Пропагандист великого наследия. Вып. 1. Саратов. 1984. С. 122–127. Сводку публикаций в русской прессе см. в кн.: *Шульгин В.Н.* Очерки... С. 383. См. также: О Чернышевском: Библиография. 1854–1910 / Сост. М.Н. Чернышевский. Изд. 2-е. СПб., 1911. С. 22–24.
- ⁴⁰ Воспоминания (1982). С. 456–458.
- ⁴¹ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 557. Л. 20–20 об.
- ⁴² ГАРФ. Ф. 102. 5 д-во. Д. 3892. Л. 88.
- ⁴³ *Мартынов А.Ф.* Н.Г. Чернышевский в восьмидесятые годы. С. 295.
- ⁴⁴ Воспоминания (1982). С. 462, 463.
- ⁴⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 557. Л. 21–23.
- ⁴⁶ Там же. Д. 558. Л. 2–2 об.
- ⁴⁷ РГИА. Ф. 1405. Оп. 20. Д. 1069 Л. 66–70.
- ⁴⁸ Там же. Л. 81–94.
- ⁴⁹ Сообщено нам проф. И.Г. Ямпольским со ссылкой на архив «Русской старины» (ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2.).
- ⁵⁰ *Порох И.В.* Из цензурной истории «Воспоминаний» П.Ф. Николаева о Н.Г. Чернышевском // Чернышевский. Вып. 4 (1965). С. 252–253. Текст приведенных здесь документов и их датировка уточнены по первоисточнику: РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1869 г. Д. 65. Ч. II. Л. 7, 8.
- ⁵¹ ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3041. Л. 109.

- ⁵² Ямпольский И.Г. Заметки о Чернышевском // Чернышевский. Вып. 8 (1978). С. 236–237.
- ⁵³ Колубовский Я. Из литературных воспоминаний // Исторический вестник. 1914. № 4. С. 139.
- ⁵⁴ Саратовский листок. 1889. 26 ноября. № 254. С. 1.
- ⁵⁵ РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 620. Л. 45.
- ⁵⁶ Саратовский листок. 1889. 17 октября. № 222; 21 октября. № 225; 22 октября. № 226; Саратовский дневник. 1889. 18 октября. № 222; 26 октября. № 229; 31 октября. № 233.
- ⁵⁷ См.: Воспоминания (1959). Т. 2. С. 371.
- ⁵⁸ Юдин П. Завещание Н.Г. Чернышевского: Из саратовского судебного архива // Русский архив. 1908. Кн. 1. Вып. 2. С. 274–276.
- ⁵⁹ Подробнее: Пытина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Пг., 1923.
- ⁶⁰ Измайлов А. Ольга Сократовна // Петроградский голос. 1918. 6 июля. № 131.
- ⁶¹ Из жизни О.С. Чернышевской // Эра. 1918. 16 июля.
- ⁶² Чернышевская Марианна. Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской // Н.Г. Чернышевский: Сб. Саратов, 1926. С. 214.
- ⁶³ См.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. С. 465.

Заключение

Время подготовки отмены крепостного права и провозглашения освобождения крестьян от крепостного права царским Манифестом от 19 февраля 1861 г. определило историческое своеобразие второй половины XIX века в России и обусловило общественное поведение главных деятелей эпохи, в ряду которых имя Николая Гавриловича Чернышевского выделялось особенно крупно, авторитетно. Самая активная творческая пора его жизни пришлась на дореформенные годы, когда важнейшей общественной задачей стала консолидация всех антикрепостнических сил. Сложившаяся веками система с ее опорой на рабство огромного большинства населения крестьянской России не желала сдавать позиций, искала способы как можно дольше продлить свое существование, обеспечиваемое длинным перечнем социальных и политических привилегий. В условиях столь упорного сопротивления значение приобретала всесторонняя критика крепостного режима и нахождение приемов борьбы с ним.

Ко времени вступления Чернышевского в большую печать литература находилась под строжайшим цензурным контролем, бдительно оберегавшим официальную идеологию с ее триединой формулой «православие, самодержавие, народность», несовместимой с проявлением свободной мысли. Если в Западной Европе общественная жизнь находила открытые формы выражения в виде парламентской борьбы, общественных союзов, организаций и объединений, то в России того времени никаких политических свобод не существовало, кроме свободы поддержки самодержавия. Бесправие было возведено в норму жизни и государственный принцип. Литература в России по необходимости включала в себя философские, политические, экономические, этические и другие социальные вопросы. Иного выхода, помимо литературы, социальные науки не имели. Только в ней сохранялась хоть какая-то возможность высказыва-

ния, воспитания в читателе критического восприятия действительности и на этой основе формирования общественного мнения.

Знакомство с Н.А. Некрасовым и предложенное им сотрудничество в журнале «Современник» определили литературную судьбу Чернышевского. Первые же его литературно-критические публикации обратили на себя внимание глубиной постановки вопросов, принципиальностью позиции, свежестью наблюдений и смелостью суждений. Боязливой, лицеприятной, услужливой литературной критике, в ту пору все чаще сбивавшейся на фельетонизм и библиографическое крохоборство, он противопоставил критику В.Г. Белинского, которая была «требовательна, разборчива, смела, строга», «серьезна», «современна» (II, 382). Складывающаяся историко-литературная концепция Чернышевского опиралась на теоретически разработанную им систему эстетических воззрений, предусматривающих определяющую роль содержания в художественном произведении. При этом подразумевалось не содержание вообще, как отвлеченная эстетическая категория, а содержание, отражающее конкретную социальную действительность. «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке», — писал Чернышевский, имея в виду основные принципы современной передовой философии, в то время все определеннее заявлявшей о себе. «Необходимо, — продолжал он, — привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения» (II, 6). Сближением науки и литературы, следуя Белинскому как теоретику «натуральной школы», Чернышевский обосновывал не теряющую в ту эпоху актуальности общественную функцию литературы, «проникновение литературы глубоким содержанием» (II, 680), что нашло отражение в первом в отечественной науке о литературе историко-критическом труде «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1856) и последующих литературно-критических статьях о новых произведениях А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, Д.В. Григоровича, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Ф. Писемского, И.С. Тургенева, Н.В. Успенского. В этих работах выдвинуты соответствующие времени и задачам словесного искусства принципы освоения и критики русской действительности.

«Стоять на почве науки», «быть верным истине», как выразился Чернышевский спустя много лет (XV, 167, 172), означало для него вернуться к человеку труда, озаботиться его интересами в экономической, политической и нравственной сферах. Глубоким демократизмом пронизаны все его последующие печатные труды, посвященные истории, философии, политической экономии, по-

литике, литературе, педагогике. Он предпринял попытку создания идеологии демократизма, экономической теории беднейшего крестьянского сословия, опираясь на которые можно было бы предвидеть ход общественного развития. Страстное отстаивание права человека на уважение и общественное признание, на экономическое и политическое раскрепощение одушевляло многостороннюю деятельность Чернышевского. Благодаря блестящему публицистическому дарованию, опирающемуся на глубокую образованность, Чернышевский в короткое время сделался «знаменитым», «самым крупным литературным талантом нынешней России» (А.И. Герцен), кумиром передовой молодежи, одним из идейных руководителей русского освободительного движения. Писатель такого масштаба стал представлять опасность для правящего режима, и он по сложившейся традиции отношения властей к неугодным литераторам был арестован, когда ему было 34 года, и затем сослан на 20 лет в Сибирь и еще на шесть лет в Астрахань и Саратов.

Попытки связать с революционной прокламацией «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» имя арестованного и тем самым придать следствию вид законности оказались несостоятельными. Фальсификация и подтасовки в деле Чернышевского были известны уже современникам, а ныне доказаны документально.

Вся последующая жизнь Чернышевского — нескончаемая цепь унижений и страданий. Лишенный возможности продолжать литературную деятельность в полную силу таланта, не померкшего за годы каторги и ссылки, он по возвращении из Сибири вынужден был добывать средства к существованию переводами, печатаемыми под псевдонимами. Здоровье не выдержало, и он умер, так и не осуществив свои творческие планы, поражающие многосторонностью намерений.

Идейные убеждения Чернышевского за годы политической изоляции не претерпели изменений. В философии он оставался материалистом, последователем Фейербаха. В литературе его симпатии по-прежнему принадлежали демократическим авторам, глубоко, как, например, М.Е. Салтыков-Щедрин, размышлявшим по поводу животрепещущих вопросов русской жизни. В социально-политической сфере Чернышевский продолжал оставаться сторонником коренных преобразований в пользу человека труда. Однако он еще более резко, чем в «современниковские» годы, выступил против «прямолинейного революционерства», непродуманных, зачастую легкомысленных, а то и просто авантюрных революционных лозунгов и действий, склоняющих современную молодежь к террористическим акциям и ведущих к напрасным жертвам. Улучшение

жизни народа, о котором пекутся такого рода революционеры, зависит не от их усилий, к тому же в народе с подозрением относились к таким агитаторам. Сам народ также не в состоянии изменить свое положение. Сделать что-нибудь в пользу народа, говорил Чернышевский своим товарищам по каторге, больше вероятности «при власти партий» и обоюдной «борьбе партий». Подпольно-революционным предприятиям противопоставлена демократическая программа, предусматривавшая открытую общественную деятельность. Чернышевский, как и прежде, продолжал настаивать на принципиальной важности нравственных аспектов этой (как, впрочем, и любой другой) деятельности, о чем неоднократно, пользуясь самыми разными поводами, писал из Сибири своим детям. Стараться быть честным и рассудительным, видеть в добре и разумности равнозначные понятия, следовать нравственности в убеждениях и своих поступках — этим заветам, воспринятым от своего отца-священника и оставленным своим детям, Чернышевский следовал до самого конца своей многострадальной жизни.

Уже и в ту пору современники вполне осознавали значительность фигуры Чернышевского в русской истории. Его жене писали в скорбные дни 1889 г.: «Вы похоронили то, что было смертного в Николае Гавриловиче, но слава его не умрет, пока живы в русском обществе любовь к народу и стремление к справедливости, пока не угасла в нем вера в лучшие идеалы человечества».

Эта оценка сохраняет непреходящее значение.

Примечания

Условные сокращения

Для архивных источников:

ГААО – Государственный архив Астраханской области.

ГАИО – Государственный архив Иркутской области.

ГАОО – Государственный архив Оренбургской области.

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.

ГАСО – Государственный архив Саратовской области.

ГАТО – Государственный архив Тобольской области.

ГАЧО – Государственный архив Читинской области.

МУЧ – музей-усадьба Н.Г. Чернышевского (Саратов).

НАРС – Национальный архив Республики Саха (Якутия).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства.

РГИА – Российский государственный исторический архив.

Ф. – фонд. Д-во – делопроизводство. Оп. – опись. Ч. – часть. Т. – том. К. – картон. ОФ. – основной фонд. Отд. общ. – отдел общераспорядительный. Отд. полит. – отдел политический. Собр. – собрание. Д – номер архивного дела. Л. – листы.

Для печатных материалов:

Сочинения и письма Н.Г. Чернышевского цитируются по изданию с указанием в тексте тома и страниц (соответственно римскими и арабскими цифрами): Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939–1953.

Лит. наследие – Н.Г. Чернышевский. Литературное наследие: В 3 т. М., 1928–1930.

ЛН – Литературное наследство: Сб. Т. 1–98. М., 1931–1991.

Научная биография (1828–1853) – *Демченко Адольф*. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015. (Серия «Humanitas»).

Научная биография (1859–1864) – *Демченко Адольф*. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1889). М.; СПб.: Центр

гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2016. (Серия «Humanitas»).

Чернышевский в Забайкалье – *Майский Ф.* Н.Г. Чернышевский в Забайкалье. Чита, 1950.

Чернышевский в Сибири (1913) – Чернышевский в Сибири. Переписка с родными / Статья Е.А. Ляцкого. Примеч. М.Н. Чернышевского. СПб., 1912–1913. Вып. I–III.

Чернышевский в Сибири (1969) – *Научитель М.В., Тагаров З.Т.* Чернышевский в Сибири. Иркутск, 1969.

Даты указаны по старому стилю.

Содержание

Часть I

Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1864)

Введение	7
Примечания	10
Глава первая. Поездка к Герцену	11
1. Полемика с издателем «Колокола»	11
Примечания	32
2. Лондонская встреча	35
Примечания	55
Глава вторая. Во главе освободительного движения	59
3. В Саратове	59
Примечания	67
4. На подступах к разработке теоретических основ демократии	69
Примечания	90
5. Заботы цензурные	92
Примечания	104
6. Манифест об освобождении крестьян	107
Примечания	119
7. Снова в Саратове	121
Примечания	125
8. Студенческие волнения	126
Примечания	147
9. Смерть Добролюбова	150
Примечания	160
10. Последние статьи. Усиление цензурных притеснений	163
Примечания	179
11. Майские пожары. Разгул репрессий	181
Примечания	193
Глава третья. Арест	195
12. Приостановка «Современника». Вызов в Третье отделение	195
Примечания	204
13. В Алексеевском равелине	205
Примечания	213
Глава четвертая. Расправа	215
14. В поисках улик	215
Примечания	222
15. Литературная работа. Роман «Что делать?»	222

Примечания	239
16. Главное обвинение	243
В. Костомаров до ареста Чернышевского	243
Показания В. Костомарова на процессе Чернышевского	258
Свидетельства современников	272
Содержание прокламации «Барским крестьянам»	286
Примечания	292
17. Завершение судилища. В Сибирь	301
Примечания	314
Заключение	317
Примечания	318
Примечания	319
Условные сокращения	319
Для архивных источников	319
Для печатных материалов	319

Часть II

Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1864–1889)

Введение	323
Примечания	325
Глава первая. В Забайкалье	326
1. Путь на каторгу. Усолье. Кадая	326
Примечания	340
2. Встречи и знакомства	343
Примечания	350
3. Приезд жены с сыном	351
Примечания	360
4. Александровский завод	362
Примечания	377
5. В среде ссыльных	380
Примечания	389
6. Литературная работа	391
Примечания	404
Глава вторая. В Вилюйском остроге	408
7. Новое преступление властей	408
Примечания	423
8. Среди местного населения	426
Примечания	435
9. Под надзором	436
Примечания	448

10. Попытка увоза	451
Примечания	460
11. В тисках запретов	462
Примечания	477
12. Круг чтения	479
Примечания	492
13. Письма... письма... письма...	494
Примечания	507
14. Ходатайства об освобождении	508
Примечания	522
Глава третья. Перевод в Астрахань	525
15. В пути	525
Примечания	528
16. По-прежнему под надзором	529
Примечания	539
17. В семье	541
Примечания	549
18. Круг общения	550
Примечания	570
19. Научное и литературное творчество	575
Примечания	604
20. Отъезд	608
Примечания	615
Глава четвертая. В Саратове	617
21. В родном городе	617
Примечания	630
22. Знакомство с В. Г. Короленко	633
Примечания	642
23. Творческие замыслы	643
Примечания	649
24. Семейные отношения. Болезнь и смерть	650
Примечания	665
Заключение	670
Примечания	674
Условные сокращения	674
Для архивных источников:	674
Для печатных материалов:	674

Серии книг, подготовленные ИНИОН РАН

Главный редактор и автор проектов С.Я. Левит

2010–2018

Серия «Humanitas»

- Автономова Н.С.** Познание и перевод. Опыты философии языка. – 2-е изд. испр. доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 736 с.
- Андроников И.** К музыке. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 240 с.
- Асоян А.** Данте в русской культуре. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 288 с.
- Бонецкая Н.** Дух Серебряного века (феноменология эпохи). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 720 с.
- Бонецкая Н.К.** Бахтин глазами метафизика. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 560 с.
- Бонецкая Н.К.** В поисках неведомого Бога. Мережковский – мыслитель. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 400 с.
- Бычкова Л.С.** Творчество и чудотворство: Живая классика искусства. – М.: Модерн-А; Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 320 с.; ил.
- Великовский С.И.** В поисках утраченного смысла. Очерки литературы трагического гуманизма во Франции. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 271 с.
- Визгин В.П.** Философия науки Гастона Башляра / В.П. Визгин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 288 с.
- Визгин В.П.** Пришвин и философия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 240 с.
- Визгин В.П.** Генезис и структура квалитивизма Аристотеля. – 2-е изд., испр., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 416 с.
- Гаджикурбанов А.С.** Этика Спинозы как метафизика морали. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 320 с.
- Гайденко П.П.** История новоевропейской философии. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 456 с.
- Гайденко П.П.** История греческой философии. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 319 с.
- Галинская И.Л.** Документальная проза Н. Мейлера и магический мир романов Дж. Роулинг. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 208 с.

- Галинская И.Л.** Дж.Д. Сэлинджер и М. Булгаков в современных толкованиях. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 192 с.
- Гальцева Р.А.** Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 320 с.
- География искусства:** Междисциплинарное поле исследования. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с.
- Глебкин В.В.** Лексическая семантика: Культурно-исторический подход. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 272 с.
- Глебкин В.В.** Смена парадигм в лингвистической семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 368 с.
- Гордон А.** Историческая традиция Франции. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 384 с.
- Гранин Р.** Эсхатология как феномен русской религиозно-философской метафизики. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 144 с.
- Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVI вв.)** – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 400 с.
- Гуманитарное знание и вызовы времени** / Отв. редактор и составитель С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 480 с.
- Гуревич А.Я.** История историка. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 288 с., ил.
- Гуревич А.Я.** Избранное. Ч. 1. История – нескончаемый спор. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.
- Гуревич А.Я.** Избранное. Ч. 2. Медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.
- Гуревич П.С.** Философское толкование человека. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 464 с.
- Гуревич П.С.** Философская интерпретация человека. (К 80-летию П.С. Гуревича). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 384 с.
- Демченко А.** Чернышевский. Научная биография (1828–1853). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Петроглиф, 2015. – 320 с.
- Ефременко Д.В.** Посттравматическая Россия. Социально-политические трансформации в условиях неравновесной динамики международных отношений. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 224 с.
- Западная философия XX – начала XXI вв.** Интеллектуальные биографии. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 320 с.
- Зинченко В.П., Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г.** Истоки культурно-исторической психологии: Философско-гуманитарный контекст. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 415 с.
- Зорин А.** Ангел-чернорабочий. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 192 с.
- Исупов К.** Метафизика Достоевского. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с.

- Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени:** Сборник трудов в честь В.М. Володарского. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 416 с.
- Каравашкин А.В.** Литературный обычай Древней Руси, (XI–XVI вв.). – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 544 с.
- Клюканов И.Э.** Коммуникативный универсум. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 256 с.
- Князева Е.Н.** Энактивизм: Новая форма конструктивизма в эпистемологии. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 352 с.
- Кондаков И.В.** Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2011. – 383 с.
- Котляревский Н.А.** Гоголь Н.В., 1829–1842: Очерк из истории русской повести и драмы. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 404 с.
- Котляревский Н.А.** Лермонтов М.Ю. Личность поэта и его произведения. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 351 с.
- Котляревский Н.А.** Декабристы. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 480 с.
- Культурно-историческая эпистемология:** Проблемы и перспективы. К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина. М.: Политическая энциклопедия. – 2014. – 599 с.
- Культурогенез и культурное наследие.** – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 640 с.
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б.** Словарь по психоанализу / Пер. с франц. и науч. ред. Н.С. Автономовой. 2010. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 751 с.
- Медушевский А.Н.** Политическая история русской революции: Нормы, институты, формы социальной мобильности в XX веке. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 656 с.
- Медушевский А.** Политические сочинения: Право и власть в условиях социальных трансформаций. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015. – 512 с.
- Медушевская О.М.** Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 463 с.
- Методология психологии: Проблемы и перспективы.** – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 528 с.
- Микешина Л.А.** Диалог когнитивных практик. Из истории социальной эпистемологии и философии науки. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 575 с.
- Микешина Л.А.** Современная эпистемология гуманитарного знания: междисциплинарные синтезы. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 463 с.
- Микешина Л.А.** Современная эпистемология гуманитарного знания: междисциплинарные синтезы. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 464 с.

- Мильдон В.И.** Вся Россия – наш сад (русская литература как одна книга). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 463 с.
- Мильдон В.И.** Эдип и Фауст. Заметки по теории культуры. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 368 с.
- Миркина З.А.** Невидимый собор. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 271 с.
- Наследие Александра Веселовского** в мировом контексте. Исследования и материалы / Отв. ред. Т.В. Говенько. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 320 с.
- Неокантианство немецкое и русское:** Между теорией познания и критикой культуры / Под ред. И.Н. Грифцовой, Н.А. Дмитриевой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 567 с.
- Перельштейн Р.М.** Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 255 с.
- Перельштейн Р.М.** Видимый и невидимый мир в киноискусстве. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015. – 208 с.
- Перельштейн Р.** Старая дорога. Эссеистика, проза, драматургия, стихи. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 272 с.
- Пинский Л.** Шекспир. Основные начала драматургии. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 623 с.
- Померанц Г.С.** Записки гадкого утенка. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 464 с.; ил.
- Померанц Г.С., Миркина З.А.** Великие религии мира. – 4-е изд., испр. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 256 с.; ил.
- Померанц Г.С., Миркина З.А.** В тени Вавилонской башни. – 2-е изд. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 368 с.
- Померанц Г.С., Миркина З.А.** Работа любви. Лекции, прочитанные на рубеже веков. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 352 с.
- Померанц Г.С., Миркина З.А.** Собрание себя. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 143 с.
- Померанц Г., Миркина З.** Спор цивилизаций и диалог культур (Лекции и статьи нулевых годов). – М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 594 с.
- Притяжения Андроникова.** Статьи. Очерки. Воспоминания. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 464 с.
- Романов В.Н.** Культурно-историческая антропология. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 362 с.
- Рюриков Ю.** Три влечения. Любовь: Вчера, сегодня и завтра. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2015. – 256 с.
- Семенов В.Е.** Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 688 с.
- Сергазина К.** «Хождение вокруг»: Ритуальная практика первых общин христоверов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 256 с.
- Синергетика. Антология.** М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 408 с.

- Скворцов Л.В.** Информационная культура и цельное знание. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2011. – 440 с.
- Скворцов Л.В.** Цивилизационные размышления: Концепции и категории постцивилизационной эволюции. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 384 с.
- Скворцова Е.Л., Луцкий А.** Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 391 с.
- Стиль мышления:** Проблема исторического единства научного знания: К 80-летию Владимира Петровича Зинченко. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 640 с.
- Тавров А.М.** Нулевая строфа. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 432 с.
- Тема «живого тела» в истории философии:** Материалы научной конференции. (Институт философии РАН, май 2015 г.). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 288 с.
- Топосы философии Наталии Автономовой.** К юбилею / Отв. ред.-сост. Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 808 с.
- Трубникова Н.Н., Бабкова М.В.** Обновление традиций в японской религиозно-философской мысли XIII – XIV вв. – М.; СПб.: РОССПЭН, 2014. – 758 с.
- Философия познания:** К юбилею Л.А. Микешиной. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 663 с.
- Философы Франции. Словарь.** – Изд. 2-е, доп., перер. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 464 с.
- Человек в мире знания:** К 80-летию В.А. Лекторского. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 623 с.
- Чистяков Г.** Библийские чтения: Апостол. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 388 с.
- Чистяков Г.П.** Библийские чтения: Пятикнижие. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 352 с.
- Чистяков Г.** Труды по античной истории. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 320 с.
- Чистяков Г.** Над строками Нового Завета. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 400 с.
- Чистяков Г.** С Евангелием в руках. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 416 с.
- Чистяков Г.** Свет во тьме. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 320 с.
- Шишков А.М.** На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры западного Средневековья (V – XIV вв.). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 704 с.
- Шпет Г. и его философское наследие:** У истоков семиотики и структурализма: Коллективная монография. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 527 с.

- Эволюционная эпистемология: Антология** / Сост. Е.Н. Князева. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 704 с.
- Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX–XX веков: от личности к традиции.** – М.: РОССПЭН, 2013. – 447 с.
- Эпштейн М.Н.** От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 480 с.
- Эстетика немецких романтиков.** – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 576 с.

Серия «Российские Пропилеи»

- Автономова Н.С.** Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – 2-е изд., испр., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 509 с.
- Автономова Н.С.** Философский язык Жака Деррида. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 510 с.
- Бахтин М.М.** Избранное. Том 1: Автор и герой в эстетическом событии / Сост. Н.К. Бонеецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 544 с.
- Бахтин М.М.** Избранное. Том 2. Поэтика Достоевского / Сост. Н.К. Бонеецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 512 с.
- Бычков В.В.** 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Т. 1: Раннее христианство. Византия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 576 с. ил.
- Бычков В.В.** 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Том 2: Славянский мир. Древняя Русь. Россия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 560 с. ил.
- Бычков В.В.** Византийская эстетика. Исторический ракурс. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 768 с.
- Бычков В.В.** Древнерусская эстетика. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 832 с., ил.
- Бычков В.В.** Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 368 с.
- Бычков В.В.** Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 528 с.
- Бычков В.В.** Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2010. – 784 с.
- Великовский С.** В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX – XX веков. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 415 с.
- Великовский С.** Грани «несчастливого сознания». Театр, проза, философская эссеистика, эстетика А. Камю. – М.; СПб., 2015. – 208 с.

- Веселовский А.Н.** Избранное: На пути к исторической поэтике / Сост. И.О. Шайтанов. – М.: Автокнига, 2010. – 688 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – 2-е изд., испр. – СПб.: Университетская книга, 2011. – 687 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Культура итальянского и французского Возрождения. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 512 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное. Критические статьи и заметки / Сост. и вступительная статья Т.В. Говенько. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 496 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Легенда о Св. Граале / Сост. и вступительная статья Пашенко. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 512 с.
- Веселовский А.** Избранное: Эпические и обрядовые традиции. – М.: Политическая энциклопедия, 2013. – 639 с.
- Веселовский А.Н.** В.А.Жуковский. Поэзия чувства «сердечного воображения». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 528 с.
- Габричевский А.Г.** Биография и культура: Документы, письма, воспоминания: В 2 кн. / Сост. О.С. Северцева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 775 с., ил.
- Габричевский А.Г.** Избранное: Гётеана. – М.; СПб.: Петроглиф, 2013. – 704 с.
- Гальцева Р.А., Роднянская И.Б.** К портретам русских мыслителей. – М.: Петроглиф; Патриаршее подворье храма – домового мц. Татианы при МГУ, 2012. – 748 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Демоны глухонемые. Статьи, эссе, заметки разных лет / Сост.Н.Н. Смирнова – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 352 с.
- Гершензон М.** Избранное. Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит. – 3-е изд. – М.; СПб.: 2015. – 592 с.
- Гершензон М.** Избранное. Молодая Россия / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд., дополненное. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. – 592 с.
- Гершензон М.** Избранное. Тройственный образ совершенства / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 2015. – 640 с.
- Гершензон М.** Избранное. Образы прошлого / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 2015. – 432 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Исторические записки / Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 352 с.
- Гершензон М.О.** «Узнать и полюбить». Из переписки 1893–1925 гг. / Сост. Е. Литвин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 572 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Образы прошлого / Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 448 с.
- Гуревич А.** Индивид и социум на средневековом Западе. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 423 с.

- Гуревич А.Я.** Исторический синтез и Школа «Анналов». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 432 с.
- Густав Шпет и шекспировский круг:** Письма, документы, переводы / Отв. ред.-сост., предисловие, комментарий, археографическая работа Т.Г. Щедрина. – М.; СПб.: Петроглиф, 2013. – 760 с.
- Земсков В.Б.** Образ России в современном мире и другие сюжеты / Сост. Т.Н. Красавченко. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015. – 343 с.
- Земсков В.Б.** О литературе и культуре Нового Света. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 592 с.
- Зинченко В.П.** Философское наследие / Науч. ред. Т.Г. Щедрина; сост. Т.Г. Щедрина, В.Н. Порус. – М.; СПб.: ЦГИ «Принт», 2016. – 504 с.
- Исупов К.Г.** Русская философская культура. – СПб.: Университетская книга, 2010. – 592 с.
- Кантор В.К.** Изображая, понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 832 с.
- Кантор В.К.** «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: Очерки. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 422 с.
- Кантор В.К.** «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 608 с.
- Кантор В.К.** Русская классика, или Бытие России. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 600 с. (переработанное издание).
- Кантор В.К.** «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 528 с.
- Маньковская Н.Б.** Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 496 с.
- Медушевская О.** Теория исторического познания: Избранные произведения. – СПб.: Университетская книга, 2010. – 572 с.
- Пинский Л.Е.** Магистральный сюжет: Ф. Вийон, У. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 400 с.
- Пинский Л.Е.** Ренессанс. Барокко. Просвещение. – М.; СПб., 2014. – 358 с.
- Пинский Л.** Реализм эпохи Возрождения. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 320 с.
- Пинский Л.** Шекспир. Основные начала драматургии. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 623 с.
- Померанц Г.С.** Выход из транс. – 3-е изд., испр. и доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 592 с.
- Померанц Г.С.** Открытость бездне: Встречи с Достоевским. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Сны земли. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 464 с.

- Померанц Г.С.** Страстная односторонность и бесстрашие духа. – 2-е изд. испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 618 с.
- Померанц Г.С.** Открытость бездне: Встречи с Достоевским. – 3-е изд., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Сны земли. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Дороги духа и зигзаги истории. – 2-е изд., доп. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Выход из транса. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 583 с.
- Пушкин в русской философской критике.** Конец XIX – XX века. – 3-е изд., испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 591 с.
- Сафонов В.И.** Избранное. «Давайте переписываться с американской быстротою...»: Переписка 1880–1905 годов / Сост. Е.Д. Кривицкая, Л.Л. Тумаринсон. – СПб.: Петроглиф, 2011. – 760 с. – ил.
- Степун Ф.** Письма. – М.: РОССПЭН, 2013. – 683 с.
- Стравинский И.Ф.** Хроника. Поэтика / Сост. С.И. Савенко. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 368 с.
- Трубникова Н.Н.** Традиция «исконной просветленности» в японской философской мысли. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 414 с.
- Шмит Ф.И.** Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 912 с.
- Шпет Г.Г.** Философия и наука. Лекционные курсы / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 496 с.
- Шпет Г.Г.** Философская критика: Отзывы, рецензии, обзоры / Сост. Т.Г. Щедрина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 487 с.
- Шпет Г.Г.** История как проблема логики. Часть первая. Материалы. – М.; СПб.: Университетская книга, 2014. – 510 с.
- Шпет Г.Г.** История как проблема логики: Критические и методологические исследования. Часть вторая. Архивные материалы / Отв.-ред. и сост. Т.Г. Щедрина. – М.; СПб.: Университетская книга, 2016. – 728 с.
- Юдина М.В.** Дух дышит, где хочет: Переписка 1961–1963 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 855 с.: ил.
- Юдина М.В.** Нереальность зла: Переписка 1964–1966 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 677 с.; ил.
- Юдина М.В.** Пред лицом вечности: Переписка 1966–1970 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 656 с.

Научное издание

Humanitas

Демченко Адольф Андреевич

Н.Г. Чернышевский
Научная биография (1859–1889)

Ведущий редактор *Н.А. Волынчик*
Художественный редактор *А.К. Сорокин*
Технический редактор *М.М. Ветрова*
Выпускающий редактор *Н.Н. Доломанова*
Серийное оформление *П.П. Ефремов*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 21.11.2018.
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 43.
Тираж 700 экз. Заказ

Издательство «Политическая энциклопедия»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Тел.: 8(499) 685–15–75 (общий, факс), 8(499) 672–03–95 (отдел реализации)



А.А. Демченко (1938–2016) – известный российский литературовед, доктор филологических наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, академик АПСН. Автор 19 монографий и книг, более 250 работ по проблемам истории русской литературы и литературной критики, теории биографии, источниковедения и литературного краеведения, педагогики, статей о творчестве Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.В. Дружинина, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и его эпохе. Участвовал в издании «Свистка» – сатирического приложения к журналу Н.А. Некрасова «Современник» (М., 1981), книги «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» (М., 1982), антологии «Н.Г. Чернышевский: pro et contra» (СПб., 2008). Автор уникальной научной биографии «Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)» (М.; СПб., 2015).